

ПРЕСТОЛ
И
МОНАСТЫРЬ



Annotation

В книгу вошли исторические романы Петра Полежаева «Престол и монастырь», «Лопухинское дело» и Евгения Карновича «На высоте и на доле».

Романы «Престол и монастырь» и «На высоте и на доле» рассказывают о борьбе за трон царевны Софьи Алексеевны после смерти царя Федора Алексеевича. Показаны стрелецкие бунты, судьбы известных исторических личностей — царевны Софьи Алексеевны, юного Петра и других.

Роман «Лопухинское дело» рассказывает об известном историческом факте: заговоре группы придворных во главе с лейб-медиком Лестоком, поддерживаемых французским посланником при дворе императрицы Елизаветы Петровны, против российского вице-канцлера Александра Петровича Бестужева с целью его свержения и изменения направленности российской внешней политики.

-
- [Престол и монастырь](#)
 - [Петр Полежаев](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)

- [Глава XV](#)
- [Глава XVI](#)
- [Глава XVII](#)
- [Глава XVIII](#)
- [Глава XIX](#)
- [Глава XX](#)
- [Часть вторая](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
 - [Глава XVI](#)
- [Петр Полежаев](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)

- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)

○ [Евгений Карнович](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [XXIX](#)
- [XXX](#)
- [XXXI](#)

- [XXXII](#)
- [XXXIII](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)

- [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
-

Престол и монастырь

Петр Полежаев
Престол и монастырь

Часть первая

1682 год

Глава I

Поздним вечером последних чисел августа 1681 года, в одном из теремных покоев московских царевен велся весьма оживленный разговор двух лиц — молодой женщины, лет двадцати пяти, как видно, из царского семейства, и уже пожилого московского боярина. Молодая женщина — царевна Софья Алексеевна, боярин — Иван Михайлович Милославский.

Наружность Софьи Алексеевны не могла назваться красивой. Стан, при начинающейся полноте, не стесняемый костюмом того времени, не выказывал той женственности и грации, которые так присущи ее возрасту. Лицо бело, но широко и с чертами, не выдающимися ни тонкостью линий, ни их правильностью. Только одни глаза выделялись, и то не приятностью очертаний, а глубоким, умным выражением, обильным внутреннею силой, умевшей выражать то приветливую, душевную ласку, то холодную власть. За исключением же этой характеристической черты, царевну можно было бы принять за натуру обыкновенную, дюжинную, с сильным золотушным оттенком.

В наружности Ивана Михайловича Милославского, при внимательном наблюдении, сказывалась натура эгоистическая, в досталь насыщенная только собственными своими интересами, глубоко изощренная в проведении разнообразных интриг и придворных козней, — как и всех почти зауряд бояр доброго допетровского времени. Одна только черта резко бросалась в глаза в наружности боярина и царского свойственника, это — сильное развитие нижней части лица, указывавшее на преобладание чувственности.

— Каково здоровье государя, нашего батюшки Федора Алексеевича? — спрашивал боярин царевну Софью Алексеевну.

— Плохо, Иван Михайлович, очень плохо. Ты знаешь, он здоровьем-то с измалолетства был слаб, а теперь еще хуже. Все еще он не может оправиться после кончины государыни Агафьи Семеновны, которой вот завтра будет только сороковой день, да к тому ж, как ты знаешь, на другой день Ильина умер и сынок Ильюша.

— Знаю, государыня, и болезнь. Тяжкое это несчастье для всех нас.

Боярин задумался, потупился, изредка закидывая пытливые взгляды на царевну.

— Прошлого не воротишь, царевна, мертвых не воскресишь, надо подумать о будущем.

— Я и то думаю, боярин. Теперь брата лечим усердно, сама, без устали, хожу за ним, никому не доверяю, сама и лекарство подаю. Немчик-лекарь из кожи лезет — старается, да все толку мало.

— Ну, будет ли толк или не будет, царевна, на все воля Божия. Немец, оно конечно, лекарь, знает свое ремесло, а все же не Бог; да ведь и за ним надо примечать. Неужто забыла, государыня, Артамона Матвеева?

— Не бери лишнего на душу, Иван Михайлович, Артамон не был виноват. Он был лишний нам человек, больно уж стоял горой за мачеху и надо было его удалить, а в умысле извести царя он не виноват.

— Как не виноват? А отчего же не хотел сам отведывать всякого лекарства прежде, чем подавать государю?

— Да ведь у всякого лекарства, боярин, свое свойство. Иное приносит больному пользу, а здоровому вред.

— Оно, может, и правда твоя, государыня, да все не мешает быть поопасливей. У Нарышкиных глаза зоркие и руки длинные.

Наступило несколько минут молчания. Боярин, видимо, колебался, хотел спросить об чем-то и не решался.

— А что, царевна, — и голос боярина почти спустился до шепота, — если да царь, наш батюшка, помрет, ведь все мы ходим под Богом, — как ты об этом изволишь?

— И полно, боярин, братец слаб здоровьем, но, Бог даст, оправится, да и теперь ему полегчало. Я надеюсь, он скоро

совсем оздоровеет, и тогда уговорю его жениться, да, кажется, у него уж и ноне есть на примете невеста.

— А можно спросить, государыня, из какого рода суженая?

— Сиротка, Иван Михайлович, Марфа, дочь покойного Матвея Васильевича Апраксина, убитого калмыками, кажется, лет тринадцать назад. Братьев ее, Петра, Федора и Андрея ты знаешь. Они комнатными стольниками у братца государя.

— Апраксина... Апраксина, — повторял раздумчиво Иван Михайлович, — ладно ли это будет, царевна? Ведь, кажись, Марфа-то Матвеевна крестница Артамонова, да и все Апраксины не из нашей статьи... они норовят нарышкинцам и артамонцам. Не по наущению ли братцев суженой царь указал, воротить Артамона из Мезени в Лухов и обратить ему все его вотчины, московский дом и пожаловал дворцовое село Ландех в 700 дворов? От Лухова и до Москвы недалеко.

— Не так близко, боярин, не ближе Мезени. Да пока жив братец и я подле него, Артамону не бывать здесь на очах у царя.

В голосе царевны слышался той твердой решимости, обдуманной и холодной.

— Думаю я, царевна, не о себе. Правда, Артамон мой ворог кровный, он меня ссылал и от царского двора, да у нас свои счета и мы сведем их со временем. А теперь заботит меня твое царское положение и всех сторонников наших. Была наша семья в чести и в славе и в царском жалованьи при покойном твоём родителе царе Алексее Михайловиче, а потом что вышло? Кто из нас был сослан, а кто хоть и уцелел, — так все-таки должен был уступить место новым пришлецам, подручникам какой-то бабы бездомной, голи перекатной. Пошли новые порядки, старых слуг оттиснули, явились выскочки из борку да из-под сосенки и забрали все в руки, а мы, царские ближние, должны были спину гнуть перед какими-нибудь Нарышкиными.

Ведь больно, царевна... Посмотри на свое положение. Теперь ты в чести, братец царь Федор Алексеевич слушается тебя, ты всем заправляешь, как и прилично по высокому разуму твоему, а отдай братец Богу душу свою, что из тебя сделают вороги нашего дома... ототрут, как последнюю челядь, а не то

так и совсем запрут в монастырь. Не из какой-нибудь лихой корысти говорю я тебе так, царевна, а из нелицемерной преданности твоим и нашим интересам.

Странно подействовала речь боярина на молодую женщину. Не бросилась ей краска в лицо, не живее потекла по жилам горячая кровь, не заколыхалась грудь, не дрогнула она ни одним нервом, а только как будто брови немножко посодвинулись, складочки вертикальные обозначились на лбу, да лицо стало побледнее и холоднее.

Несколько минут продолжалось молчание, как обыкновенно случается после живо затронутых жизненных, основных вопросов, решение которых скрывается в далеком неизвестном будущем.

— Ну, сколько страхов наговорил ты, Иван Михайлович, хорошо, что я не робкая. Грозен сон, да милостив Бог! Вот и братец, может, встанет, женится, будут дети, сын... наследник.

— Хорошо, кабы так, царевна, ну а если...

— Ну тогда... тогда... да кто знает, что будет? Одно только могу сказать, что не уступлю мачехе, не дам ей властвовать и мудровать, как бывало при покойном батюшке. И у меня есть люди преданные.

— Немного их, царевна, да и те верны только до времени, до черного часу. Все они будут на стороне предержавшей власти, а власть заламают в свои руки нарышкинцы.

— Никогда, боярин, сын у мачехи ребенок, а мой брат Иван старший царевич. Если он болезнен, слеповат и скудоумен, так ведь болезнен и Федор, а царствует же с моими советами. Точно так же будет править и Иван под моим руководством. Не читал ты, боярин, об императрице Пульхерии?

Боярин молчал, но, казалось, остался доволен ответом; даже насмешливая улыбка пробежала тайком под рукой, гладившей усы и бороду.

— Да полно говорить об этом, Иван Михайлович, — продолжала царевна, — скажи-ка лучше, что слышно в городе?

— Все по-прежнему. Посадские в тревоге: стрельцы волнуются. Слышал я, государыня, будто мутится

Грибоедовский полк и будто его поддерживают и другие полки, собираются кругами...

— Спасибо, боярин, что напомнил. Я посоветуюсь с Василием Васильевичем.

— Что тебе, государыня, дался все Василий Васильич, да Василий Васильич. Не больно ты ему доверяйся: скрытная он душа... Нет в нем нашей старинной боярской чести. Уж что он за родовитый человек, когда у него пошевелился язык советовать батюшке государю уничтожить нашу службу боярскую, пожечь разрядные книги.

— О князе прошу тебя, боярин, вперед никогда со мной не говорить. Не понимаешь ты его, да и мало кто его понимает.

— Как не понять! Человек, который отрекается от своего отца и матери, от дедов и прадедов...

— Нет, боярин, неправда, — с непривычной живостью перебила его Софья Алексеевна, — не отрекается он ни от отца, ни от матери, ни от предков своих, а смотрит он пошире, чем мы с тобой, видит подальше и понимает, что есть многое подороже своей корысти и чести предков.

— Однако прощай, царевна; прости, если я сказал тебе что не в угоду. Поверь — по преданности.

— Охотно верю, боярин. Ведь у нас с тобой общие предки, стало быть, и смотренье одно, — говорила Софья Алексеевна, улыбаясь и провожая гостя.

По уходе боярина Милославского царевна несколько минут прислушивалась к шуму удаляющихся шагов гостя, потом быстро пошла в свою опочивальню и позвала к себе ближнюю постельницу Федору Семеновну.

Федора Семеновна, казачка, по прозванию Родимица, не заставила себя долго ждать. Это была женщина средних лет, с мелкими чертами лица, востреньким носиком и бойко бегавшими глазками, — вообще не красива и не дурна, не глупа и не особенно умна.

Давно служившая своей госпоже, она свыклась, прилипла к ней. Безграничная преданность, редкое и случайное явление ныне, не было редкостью в то время, когда интересы служащих были так узки и коротки, так поглощались интересами

господскими. Федора Семеновна напоминала собой те вьющиеся около дерева растения, которые из коленец своих запускают корешки в кору своей крепкой опоры... От госпожи своей она не отделяла своей личной радости, своего горя, и в ней она свила себе теплое гнездышко. Кроме беззаветной преданности, Федора Семеновна отличалась еще особым весьма драгоценным качеством: чутьем ищейки. Не рассуждая, не входя ни в какие более или менее тонкие соображения, она каким-то нюхом ощущала все касающееся до своей госпожи, предана была друзьям ее, ненавидела врагов и недоброжелателей. Мало того, что она ненавидела последних, она чутьем слышала их приближение, как собака чует приближение волка.

— Ну что, Федора Семеновна? — с тревожной торопливостью спрашивала царевна. — Видела ты Василия Васильича? Что он? Как? Здоров?

— Видела, государыня матушка, князя, самого его лично видела, изволит тебе низко, земно кланяться, Слава Богу — здоров.

— Отдала ему письмо?

— Отдала самому ему в руки. При мне он и прочитал его, лицо таково просветлело и глаза будто заиграли.

— А хорош он, Федора Семеновна, краше его нет никого у нас в Москве?

— Хорош-то хорош, государыня, да, по-моему; не рука он тебе, — протянула постельница.

— Как не рука? Разве он не умен и не пригож?

— Пригож и умен, родная, да не под стать тебе. Уж если позволишь сказать правду, так не совсем у меня и сердце-то к нему лежит. Первое слово — любит ли он тебя, как надо бы, а второе — судьба его уж покончена с законной женой и детьми.

— Так что ж, что женат, — разве развести нельзя? Бывали нередкие примеры. Не захочет жена доброй волей постричься, так неволей запрут в монастырь.

— Ну, государыня, это дело нелегкое. Кого Бог; соединит, того человек не разлучает. Да и то еще подумай: положим, он княжеского рода, да все же не царского. И родня твоя вся не

потерпит этого: царь, братец твой, и старшие твои сестрицы, и тетушка Татьяна Михайловна. Как хочешь, а царскому роду зазорно.

— Зазорно, говоришь ты, Семеновна, да, зазорно, а по Божьему справедливо ли? — с нервным раздражением заговорила царевна. — Вот другие девушки хоть в Божий храм ходят Богу помолиться, все-таки народ живой видят, а мы сидим, век свой сидим взаперти, точно птицы в клетке, света не видим, волюшки своей не имеем, в церковь когда входим, так все скрытыми переходами, тишком да закрывшись, а ведь и в нас такое же сердце, так же кровь бежит, как и в других. И такое заведение только у нас одних, в чужих землях женщины и царского рода имеют везде свободный доступ.

— Да ведь то, матушка, у басурманов, на то они и нехристи, а у нас, православных, всегда женщины, а пуще царского рода, как жемчуг драгоценный хоронились.

— Было так, да вперед не будет, — перебила ее царевна. — Не у одних басурманов женщина вольная птица, вот и у эллинов в Царьграде — даже царством правили.

— Мне не сговорить с тобой, государыня, не моего ума дело. Ты обучена разным наукам, а я человек темный и знаю только, что я твоя раба верная: прикажешь что — все выполню по приказу без хитрости, и лукавства, без жалобы и нескромного слова.

— Я и люблю тебя, Федора Семеновна, больше других и не таюсь перед тобой ни в чем.

Разговор затих.

— Поздно теперь, государыня, — заговорила постельница, — пора тебе и опочивать, позволь я раздену.

— Нет, Федора Семеновна, поди, спи спокойно, а я сама разденусь. Спасибо за службу.

Федора Семеновна направилась из опочивальни.

— Отчего, Семеновна, князь ответа на письмо не прислал? — спросила царевна уходившую постельницу. — И когда мы свидимся?

— Нельзя было, государыня, ему ответа писать какой-то непростой гость с важными делами его дожидался в приемной

комнате, должно быть, из посольских. А увидится он с тобой завтра на докладе у государя.

Ну, прощай же, родная моя государыня, спокойной тебе ночи и золотые сны увидеть.

Постельница вышла.

Глава II

Взволнованные нервы царевны Софьи Алексеевны долго не могли успокоиться... Спать не хотелось. Быстро раздевшись и порывисто побросав в беспорядке верхнюю одежду, царевна подошла к окошку терема и отворила его.

Освежающий воздух широкой волной хлынул в душную комнату. Молодая женщина остановилась у отворенного окна, бессознательно любуясь на дивную панораму, раскрывшуюся перед глазами. С жадностью глотая прохладу, она невольно поддавалась успокаивающему влиянию прелестной летней ночи. И действительно, если что еще в силах успокаивать возбужденные нервы, утишать лихорадочное волнение крови, умиротворять бурные страсти и тревоги человека, так это таинственная мирообильная красота отдыхающей природы. Вид из окна представлялся очаровательный. Вдали, в Замоскворечьи, в мягких волнах матового лунного света, среди темных гущ листвы окружающих садов, выделялись жилища слобожан; ближе серебристой лентой прорезывалась между неровными берегами река, местами загроможденная плотами и судами, у бортов которых однообразно журчали набегавшие струи. Вправо поднимался к небу Божий храм с блестящим в вышине золотым крестом, как будто указывающим на единственно верное упокоение там, в недостижимой, бесконечной выси. А там, еще дальше, еще выше над крестом, над жилищами людскими, над вечно бегущей людской суетой беспредельно широко раскинулось небо, в темной глубине которого мерцали и сверкали мириады звезд. А кругом такой ароматный ласкающий воздух, такие живительные струи ветра! Тихо... беззвучно... изредка только то там, то сям послышится лай испуганной дворовой собаки. Улеглись на несколько часов

людские волнения, затихли человеческие звуки, только кое-где проносятся окрики недельщиков, часовых и караульных, да не то песня, не то брань какого-нибудь запоздалого гуляки.

И все мирнее и светлее в взволнованной душе царевны. Постепенно стали отодвигаться назад все тревожные вопросы дня, бледнели и умалелись все минутные интересы и вместо них возникали в памяти дорогие для каждого образы прошлого.

Припомнилось царевне бесцветное, но вечно милое детство на руках у нянюшек и мамушек, под заботливым взором нежной и любящей матери. Весело было это детство в кругу большого семейства восьми сестер и четырех братьев, правда, хилых и слабых, но дружных между собою. Да и нельзя им было быть недружными, для всех для лих одинакова была материнская ласка, одинаково нежен поцелуй и для всех одинаково любящее самоотверженное сердце матери. Эта любовь отзывалась и в их ребяческих сердцах. Любили и они мать свою чисто и глубоко. Резко и ярко рисовался в памяти царевны задумчивый облик матери, нежно склоненной над ее детской кроваткой, тихо шептавшей горячие молитвы и так любовно благословлявшей ее. Затем вспомнился царевне черный и несчастный день. В дворцовых теремах, всегда спокойных и чинных, вдруг началась какая-то необычная беготня и суета, потом все как-то страшно выжидательно стихло, потом прозвучал дикий раздирающий крик, крик матери их, и потом все смолкло. Новый ребенок явился к ним в товарищи, но этот ребенок уже был сирота. Больше она не видела лица матери, но любовь к ней сохранилась, прошла за весь последующий период и теперь даже остро и болезненно отразилась в захолонувшем сердце.

Вспомнила потом царевна время, — хотя ей было тогда с небольшим десять лет, — потянувшееся после смерти матери, место которой заступила старшая верховая боярыня, царская нянька Анна Петровна Хитрова. Ласкова была и боярыня, да не ласковой матери, учила и она Богу молиться и всякому добру, да как-то не так, как-то иначе. Вместо всеобильной любви явилась любовь односторонняя, любовь партий, вместо ясного взгляда на жизнь явились разные внушения, наущения и интриги.

Со смертью матери и любовь отца хоть не изменилась, но приняла другой оттенок. Подходил он по-прежнему к ее детской кроватке благословлять, да не так уже любовно и кротко, как бывало прежде. От государевых ли дел и забот, но только день от дня дальше становился отец от детей, а сердце девочки подмечало, болезненно ныло и тосковало.

Пришла пора усадить девочку за грамоту. Она понимала бойко и быстро. Скоро и далеко опередила своих сестер и братьев под руководством опытного наставника, приставленного к брату Федору, знаменитого Симеона Полоцкого. Без особенного труда выучилась читать, писать, закону Божию и всякой эллинской премудрости. Но никого не радовали ее успехи, мало того, отцу даже отчасти неприятно было, когда девочка опередила брата, объявленного наследником престола Алексея.

Через два года после смерти матери опять новая перемена: с какой-то нескрываемою злостью боярыня Анна Петровна объявила детям о решении отца государя вступить в новый брак с Натальей Кирилловной Нарышкиной.

— Вот и заведет новая государыня новые порядки и плохо нам будет, милые детки, от недоброй мачехи, — жалобно говорила верховая боярыня, и врезались эти слова в головку развитой девочки и посеяли в ней семена непримиримой ненависти к новой матери, ненависти еще неопределенной, но сильной еще более по затаенности своей. Новых порядков не наступало, но каждое незначительное изменение и отклонение стало объясняться недоброжелательным влиянием новой царицы на государя в ущерб детям от первой жены.

Да, впрочем, была и существенная перемена, но только не вследствие недоброжелательности мачехи, даже, может быть, против ее желания. Полюбив молодую и симпатичную Наталью Кирилловну, Алексей Михайлович, естественно, предался ей всей душой и тем самым отдалился от болезненных детей умершей жены. Отдалению еще более способствовало рождение такого здорового ребенка, каким был Петр. И это живо понималось понятливой девочкой, и злобное чувство выросло все больше и больше.

Стала формироваться девочка, вместе с ней формировалась в более определенные очертания и ненависть к новым приближенным отца. Реже стал призывать к себе отец государь больных детей, только по вечерам по приказу его являлись в его хоромы на разные комедиантские представления, на музыку и рассказы бывалых людей здоровые в то время дети, а в числе их, разумеется, и она — Софья, более других бойкая и здоровая. Но не сближали эти представления отца с детьми. Девочка видела его постоянно окруженным заклятыми врагами покойной матери, а следовательно, и их самих, по объяснению матушек и нянюшек. Увидеть же отца одного, рассказать ему свое горе, выплакать у него на груди свое наболевшее сердце не было возможности: всюду эти Нарышкины и этот исконный враг их дома — Матвеев, из дома которого явилась мачеха. Умиряющего проводника не было, кругом все замкнуто, в их терем не мог проникнуть никакой посторонний нескромный глаз, и оставалась девочка вечно в заколдованном кругу тех же нянек и мамок, нашептывающих злобно на новых появившихся людей.

Под таким влиянием сформировалась она уже взрослой девушкой с полным, по тогдашнему времени, образованием и с хорошо развитыми способностями, дававшими ей перевес и влияние над сестрами и братьями. Сознала это она сама и тесно ей стало в четырех стенах, в среде неразвитых, по большей части тупоумных, сенных девушек и мамок. Не могли удовлетворить ее ни их красивые, затейливые механические рукоделия, ни их обычные сплетни и рассказы. Пробудившиеся силы требовали жизни, широкой деятельности и борьбы.

Прошло еще несколько лет. Вдруг ее поразила неожиданная и негданная весть о смерти отца, бывшего и больным-то только всего несколько дней. Как подействовала на нее эта весть? Помнит она, что в первое мгновение это несчастье как-то ошеломило ее, придавило, как будто что-то близкое, часть своего существа, оторвалось от сердца, а затем второе чувство, и она не может этого скрыть от самой себя, второе ощущение было ощущение облегчающее, как бывает от струи свежего, прохладного воздуха в душной, запертой комнате.

Государем делался брат ее Федор, моложе ее тремя годами, больной, слабый, одаренный способностями, но податливый к ее влиянию. И воспользовалась она этим влиянием вволю. Переступила она запертые двери, пошла свободно и гордо по царскому дворцу сначала под видом ухаживания за больным любимым братом, а потом советницей его, разделявшей с ним бремя правления. Артамон Матвеев, как главная опора Нарышкиных и самый опасный человек по уму и дарованиям, был сослан сначала в Пустозерск, а потом в Мезень. Не пропали даром уроки эллинской истории об императрицах Пульхерии и Евдокии. Стала она присутствовать почти постоянно на докладах царских против обычая, рассуждать и решать вопросы по своим личным убеждениям. На этих-то докладах в первый раз заговорило иным языком ее девическое сердце.

Часто встречала она на совете у брата князя Василья Васильевича Голицына, которому в то время не было еще и сорока лет. Его ласковые, манящие глаза, приятные, правильные, ничем резко не выдающиеся черты лица, мягкий, прямо западающий в душу голос, непринужденные, ловкие манеры, отделяющиеся от неуклюжих манер других бояр, производили приятное впечатление. Часто и с особым вниманием вслушивалась она в его речи, с особым расположением останавливались на нем ее взгляды, и без ведома ее новое чувство незаметно закрадывалось в сердце.

Раз утром, памятным для нее утром, не отмеченным никаким важным серьезным событием, но навсегда глубоко врезавшимся в ее памяти, она сознала свою любовь и без всякой борьбы, без всякого колебания отдалась своему новому чувству.

Пустой, ничтожный случай.

Князь докладывал, государь слушал, казалось, с утомлением, прищуриваясь близорукими глазами; слушала со вниманием и царица. Заглядевшись на докладчика, она не заметила, как с ее колен соскользнул платок и упал на пол, но князь заметил и поднял его, при этом рука его коснулась ее руки. Ярким румянцем, пробившимся сквозь едва заметный слой

белил^[1], загорелись не только щеки, но даже лоб и плечи ее. С неудержимой силой заколотилось сердце, грудь поднялась высоко над широким покрывом и в глазах показались слезы. Она порывисто встала и вышла.

— Вот как разгорелась, родимая, — встретила ее мамушка в светлице, — вижу, что сглазу, дай-ко я тебя умою с уголька и надену на тебя монисто с корольковою пронизью^[2], а все оттого, что ходишь туда, не девичье дело...

Но царевна с уголька не умылась и сглаза не побоялась.

Доклады продолжались обыкновенным порядком, и ни разу она не пропускала их. Все ближе и ближе подходила она к нему, все чаще и чаще становились их, по-видимому, случайные встречи; все смелее и решительнее становились они в отношениях друг к другу: то снова упадет платок, то оба они вдруг потянутся к склянку лекарства для больного, то оба они вместе поспешат поправить подушку у брата, то интерес доклада заставит внимательнее вслушиваться и ближе садиться к докладчику.

Раз государь, чувствуя себя особенно нехорошо, просил сестру прослушать князя без него. Царевна назначила князю быть утром на другой день у ней в терему.

Памятно ей это утро и будет памятно и дорого до конца жизни. С особенным тщанием умывалась и убиралась она в это утро, с особенным искусством распущены были по плечам ее роскошные волосы, подвитые локонами. В назначенный час князь пришел, но об чем он говорил, какой вопрос разбирал, она ничего не слыхала, она только всматривалась в милые черты, только вслушивалась в звуки очаровательного голоса.

Кончилась речь князя, царевна одобрила и задумалась.

— Ты сегодня печальна, государыня, — заговорил мягкий участливый голос князя.

— Да, грустно, князь, брат все хилеет, а с его смертью я лишусь единственного человека, который меня любит.

— Ты ошибаешься, царевна, — и в голосе князя звучала особенная нежность, — нет, ты не права. У тебя верные, преданные слуги. Я с радостью готов положить за тебя и жизнь, и душу свою...

И не успел договорить князь, как она была уже на груди его, без воли ее самой, руки ее обвились кругом его шеи и губы их слились в горячем поцелуе. Вся целиком стоит эта страстная сцена в задумчивых глазах царевны. И теперь, когда она у открытого окна, и теперь еще горит на губах этот первый страстный поцелуй любви, хотя уже подобных сцен повторялось и после немало. Вся бесповоротно отдалась царевна увлекавшей ее страсти.

Спустя долго после полуночи царевна Софья Алексеевна улеглась в постель и заснула тревожным сном...

По выходе из терема царевен боярин Иван Михайлович Милославский отправился домой в карете, дожидавшейся его в нескольких стах шагах от царского двора. Странное двойственное впечатление произвел в боярине разговор с Софьей Алексеевной. В лице его проступало то удовольствие удовлетворенных надежд, то чувство тревожного беспокойства. Эта же двойственность впечатления выражалась и в тоне немногих бессвязных фраз, вырывавшихся по временам у боярина. «Решилась... да... вряд ли... в Москве Пульхерии... влюбилась... надо отвести», — почти беззвучно шептал он, а между тем целый рой различных комбинаций и интриг созревал в опытной боярской голове.

Карета остановилась у каменного дома Милославского, но только что успел Иван Михайлович сойти с экипажа, как вдруг испуганные лошади круто бросились в сторону, экипаж подвернулся и упал на бок.

— Что за притча! — удивился боярин. — Лошади смирные, никогда с ними такого случая не бывало. — И суеверный ум его задался вопросом: к добру ли?

Предмет, напугавший лошадей, действительно представлял собою необыкновенный вид. Из-под тени, откинувшейся от дома, в светлую полосу выдвигалось на четвереньках какое-то дикое, невиданное животное. Вглядываясь в это странное существо, боярин вскоре узнал в нем известного по всей Москве юродивого Федюшу.

Удивительный был этот человек Федюша, и немало толков ходило об нем по Москве. Рассказывали, будто Федюша был

сыном одного богатого торгового человека, красавец собой и известен по грамотности и по бойкости разума, что будто по смерти родителей, лет двадцать тому назад, Федюша повел дела свои еще шире, еще оборотливее. Завидовал ему свой брат торгующий, и всякий из них не прочь был породниться с ним, назвать его своим сыном, но Федюша держал себя гордо, чуждался и не зарился ни на какую девицу. Правда, подмечали соседи, что хоронилась у него в доме какая-то красавица, с которой хаживал он, разговаривая, в своем саду в летние ночи вплоть до утра. Кто была эта девица, как ни старались узнать добрые соседи — не могли, а только заметили, что не очень долго продолжались эти прогулки и живые речи: девица исчезла, а куда — неизвестно. «Должно быть, бежала, аль руку на себя наложила», — решили соседи и успокоились. Спустя несколько времени в одно прекрасное, утро исчез и сам Федюша, распорядившись, как оказалось, предварительно о передаче всего своего достатка в ближайший монастырь.

Так и пропал он, и вести об нем не было в продолжении лет четырех. Потом по истечении этого времени появился в народе юродивый, вечно бродивший по улицам на четвереньках, в лохмотьях, с босыми ногами и с обнаженной головой, зиму и лето, в трескучий мороз, в дождь и в солнечный припек. Кто был этот юродивый, откуда он явился — никто не знал, да и трудно было признать его. Ноги от постоянного хождения на четвереньках, неестественного положения и переменного влияния разного рода непогоды как-то выворотились и высохли, лицо обросло не то шерстью, не то волосами, взгляд дикий и блуждающий, речь бессвязная, и иногда только в диких звуках. Почему прозвали его Федюшей и кто именно признал в нем бывшего богатого, талантливого Федора Михайловича, до подлинности никто не мог объяснить.

Народ, пораженный неестественностью явления, стал видеть в нем человека Божьего, юродивого, а в бессвязных словах его допытываться прорицательного языка будущего. И вот ходит на четвереньках этот Федюша более десяти лет по улицам московским и днем и ночью без пристанища и без призора, отдыхая на голых камнях церковных папертей. Все

обыватели благоговейно чтили Федюшу, ласкали его, разговаривали с ним, полагая открыть в его бессмысленных ответах откровение будущего, но не ко всем он был одинаков. Замечали его какое-то пристрастие к одним лицам и, наоборот, к другим отвращение. В одни дома он любил заходить и бывал подолгу, а в другие дома его и силой нельзя было затащить — пробежит мимо зверь зверем.

Узнав Федюшу, Иван Михайлович приветливо подошел к нему.

— Здравствуй, Федюша!

— У-у-у... — хрюкнул сердито юродивый.

— Устал, чай, Федюша, — продолжал ласково боярин. — Поди, Федя, ко мне на двор, там тебя накормят, и я вышлю тебе алтын.

— У-у-у... не хочу... не хочу... — зарычал Федюша, трясая головой, — не хочу... у-у-у... свиньи бегут... труп везут... не хочу, боюсь... кровь-то... кровь-то... — И юродивый быстро побежал от боярина.

«Что бы это значило — «свиньи бегут и труп везут»? Не молвил ли он в свиньях врагов моих?» — раздумывал Иван Михайлович, поднимаясь по крыльцу.

— Был у меня кто-нибудь? — спросил он, входя во внутренние покои, у дворецкого Сидора Иванова.

— Как же, ваша боярская милость, были Иван Андреич Толстой да племянничек Александр Иваныч. Долго было поджидали, да уже решили пожаловать завтра.

— Хорошо, Иваныч. Ступай спать, а ко мне пришли Груню.

Глава III

Больной, золотушный Федор Алексеевич умирал бездетным, прожив только 20 лет и 11 месяцев. С кончиной его возникал важный государственный вопрос о престолонаследии.

В древние времена в княжеских волостях наследство волостью переходило по старшинству рода, причем дяди имели преимущество перед племянниками — сыновьями княжившего. С образованием Московского княжества выделился другой

взгляд: наследство стало переходить по нисходящей линии от отца к сыну, с соблюдением старшинства и с исключением женского пола. Такой взгляд, по мере формирования государственного начала, все более и более укоренялся и приобретал силу обычая до начала XVII века, когда старый, рюриковский дом по прямой линии пресекся.

Смутное время междуцарствия выдвинуло по необходимости опять идею выборного начала, которое, по стечению событий того времени, едва не привело к гибели всего государственного строя. Быстро следовавшие друг за другом Борис Годунов, Лже-Дмитрий, Василий Шуйский и королевич Владислав не оставили по себе почти никакого следа в государственной организации и уже, конечно, не могли содействовать к упрочению государственной формы. Мало того, деятельное вмешательство иностранцев и внутренние раздоры расшатали государство до самого основания, до полного его разрушения, и оно погибло бы, если бы вся предшествующая жизнь не выработала прочно идею национальности.

С избранием Михаила Федоровича национальное дело хотя и было спасено, но поступательному движению народной жизни предстояло еще великое и трудное дело исцеления всех ран, уничтожения множества повсюду возникших беспорядков, неустойств и злоупотреблений.

Как велики были эти неустойства и злоупотребления, как тяжка была жизнь народная, можно видеть из тех ярких явлений, которые продолжались не только в царствование Михаила Федоровича, но и во все тридцатилетнее правление сына его Алексея Михайловича. От внешних войн, бродячих отрядов шведских и польских, от вольности казацкой, от разбойничьих шаек шишей народ обеднел до крайности. Целые поселения лишались всяких средств к существованию и разбегались кто в степи, кто в леса, кто на Волгу-матушку, где становились сами разбойниками. Ощущался недостаток в самом хлебе, так как истреблялся или в полях неприятельскими отрядами, или зарывался в землю самими хозяевами в запас для прокормления себя в будущем. В таком положении оставшимся на своих местах *людишкам*, конечно, платить податей и

отбывать повинность было не можно, а между тем расходы государственные на содержание ратных людей и другие потребности возрастали в значительном размере. Затем, кроме этих законных поборов, существовало еще более поборов незаконных — взятки местных правителей, воевод, наместников и дьяков, пользующихся нетвердостью правительства и потому уверенных в безопасности. Каким же влиянием пользовались бояре, можно видеть из следующего примера: в царствование Федора Алексеевича стряпчий из дворцовых волостей Юрьевца Повольского Терентий Копытов сослан был из Москвы в Нерчинск «по приказу бояр, без царского указа». Сам Копытов рассказывает, что на Москве вся воля боярская, что бояре хотят, то и делают (Раск. дела Есипова, 1. 590–591).

Казна была истощена. Правительство, нуждаясь в деньгах, должно было прибегать к различным средствам. Оно то принимало на себя продажу богомерзкой травы (табака), то увеличивало пошлину на соль, то выпускало медные деньги вместо серебряных. Подобные меры, конечно, не только не поправляли зла, но некоторые из них положительно еще более усиливали его, еще более разоряли и без того ободранный народ. При таком общественном положении должны были являться, и действительно являлись, непрерывные народные волнения, восстания и бунты, продолжавшиеся в течение почти всего XVII века. В царствование, например, Алексея Михайловича происходили более или менее серьезные и опасные восстания в разных частях государства: в 1648 году 21 июня в г. Сольвычегодске, 8 июня в г. Устюге, потом в Новгороде и Пскове, в Соловецком монастыре (1668), на Волге — Стеньки Разина и, наконец, в самой Москве. И все эти восстания возникали положительно от грабительства правительственных лиц. Так, московское восстание 1648 года вызвано было злоупотреблениями и взяточничеством приближенных к некоторым придворным влиятельным боярам, надеющихся на защиту своих патронов. Народ особенно раздражен был взяточничеством любимцев и родственников тестя государева боярина Ильи Милославского, судьи земского приказа Леонтия Плещеева, заведывавшего пушкарским приказом Траханиотова,

думного дьяка Назария Чистого и богатого купца Шорина. Кроме того, народ жаловался на любимца царского, боярина Морозова, дававшего будто бы возможность своим родственникам наживаться за счет народа. В этом мятеже расвирепевший народ убил Плещеева, Назария Чистого, разграбил дома Шорина, князя Львова, князя Одоевского и даже дом самого боярина Морозова. Мятеж был подавлен стрельцами, но при этом, говорит хроника, много невинных людей побито, так как не время было разбирать, кто прав и кто виноват. Всего переловлено и перебито было до семи тысяч человек, из которых до 150 человек повешено, до ста потоплено, остальных же пытали, жгли, отсекали руки и ноги или пальцы у рук и ног, клеймили раскаленным железом и секли кнутом.

Обыкновенно общественное настроение сопровождается различного рода бедствиями. В 1654 году в Москве и других местностях господствовала сильная моровая язва, и смертность доходила до страшных размеров: из 6 стрельцких приказов не осталось ни одного стрельца, в Успенском соборе из многочисленного духовенства остались в живых только священник и дьячок, в Архангельском соборе весь причт вымер, в Благовещенском соборе остался один священник, в Чудовом монастыре из 182 братьев осталось в живых только 26. Из частных лиц умирало не менее. У боярина Морозова из 262 человек осталось 19, у князя Трубецкого из 278 человек осталось только 8. Народ волновался, колодники из тюрем разбегались, торговля прекращалась.

Уничтожался род человеческий Божиим попущением, уничтожалось и достояние его мечом вражеским и огнем. По свидетельству Лизека, секретаря посольства римского императора, в его бытность в России Москва горела шесть раз, и в каждый пожар истреблялось по тысяче и более домов. Такие частые и опустошительные пожары вызывали со стороны правительства энергические меры, но по большей части неудачные, по злоупотреблениям в исполнении^[3].

Помочь такому бедственному общественному положению, конечно, не могли меры, подобные выпуску медных денег, когда требовалась существенная реформа, коренное истребление

зла, ввевшегося в плоть и кровь народную, отречение от старых порядков и замкнутости, проведение живительных начал, развивающих материальные и духовные силы народа. Понималась неотложность новых требований московскими государями XVII века, и делали они попытки на сближение с Западом, попытки, впрочем, частные и робкие. Стали вызываться иностранцы, ученые, доктора, разного рода ремесленники и ратные люди. Около престола стали сгруппировываться развитые люди, понимавшие значение образования, каковы, например, Матвеев, Ордин-Нащокин, Симеон Полоцкий и другие; но эти лица не были симпатичны слепому большинству и не могли провести сами собой существенных изменений, но они дороги нам, они подготовили новых лиц — Софью и Петра, сильных умом и вполне понявших необходимость поворота к свету.

Весь XVII век — первый шаг в переходном времени и потому всегда самый тяжелый в жизни. Народ чувствовал тяжесть, но не видел пути к улучшению; он волновался и восставал.

Для усмирения народных мятежей и волнений правительство обладало одним действительным средством — воинской силой в виде стрелецких полков, но эта сила в известных условиях могла оказаться со своей стороны весьма опасным оружием.

До Петра Великого наша воинская сила заключалась в ратном ополчении, которое состояло из помещиков — поземельных владельцев, обязанных по призыву царскому являться в назначенное место и в определенный срок, вооруженными оружием по своему выбору и в сопровождении такого количества воинов, которое обязаны были выставлять по величине своего поместья. Дурно и разнообразно вооруженное, совершенно неопытное и обязанное продовольствоваться во время похода на свой счет, такое сборное ополчение, несмотря на громадность свою, доходившую до двухсот тысяч человек, и на личную храбрость, не могло отличаться ни порядком, ни стройностью, ни стойкостью и ни исполнительностью при выполнении военных операций. И действительно, от такого

неустроенного состояния войска произошли неудачи наших военных действий со шведами, поляками, крымцами в XVII веке, когда в двух первых государствах существовало уже более обученное войско.

Неудовлетворительность военной организации сознавалась нашими государями еще в XVI веке и послужила поводом к образованию особого постоянного отряда, состоящего на жалованьи и известного под названием стрельцов.

В первый раз название стрельцов встречается в 1551 году в числе лиц, сопровождавших Адашева в Казань для водворения на Казанский престол присяжника Шиг-Алея и оставленных Адашевым там для охранения Алея. Потом стрельцы упоминаются в рядах русского войска под стенами Казани и в походе новгородском. Впоследствии стрельцы встречаются почти во всех городах небольшими отрядами, но главное место их расположения находилось всегда в Москве. В стрельцы набирались люди из свободного класса с обязательством отправлять воинскую повинность бессменно, за что правительство давало им жалованье, строило им дома и снабжало оружием. Все стрелецкое войско разделялось на сотни под начальством сотников, находившихся в ведении голов, и управлялось стрелецкой избой или приказом. Впоследствии избы или приказы были переименованы в полки, головы в полковников, а главным местом управления организовался стрелецкий приказ в Москве, поручавшийся обыкновенно особо надежному и знатному боярину.

В московских полках, число которых простиралось до 20, считалось в каждом от 800 до 1000 стрельцов, а в городских от 300 до 500. Этот комплект обыкновенно пополнялся сыновьями и внуками служилых стрельцов, так как звание считалось наследственным и только в случае особенной необходимости принимались в стрельцы охотники «резвые и стрелять гораздые» и то не иначе, как с поручною записью от старых стрельцов в том, что вновь принятый не сбежит со службы.

Составляя постоянное войско, обученное воинскому искусству, стрельцы образовывали ядро русской военной силы того времени и не раз оказывали весьма важные услуги

правительству на поле брани и в мирной гарнизонной службе. Ими одержана была Добрынинская победа при Годунове, захвачен Заруцкий с Мариною, покорен Смоленск, ими прославилась защита Чигирина, ими подавлено коломенское восстание черни, мятеж войска на реке Семи, разбит Стенька Разин и ими производилось полицейское охранение Москвы, содержание караульных постов у городских ворот, ночные объезды по городу и тушение пожаров.

Но образовывая, таким образом, главный оплот правительства, стрельцы вместе с тем в организации своей имели начала весьма опасные для государственного устройства. Эти начала заключались в слишком широких привилегиях и льготах. Кроме значительного для того времени жалованья (на стрельцов расходовалось более ста тысяч рублей ежегодно из общего государственного сбора), они имели право заниматься торговлею и промыслами, не неся в то же время никаких посадских повинностей, освобождены были по своим искам и сделкам от уплаты всякого рода судных и печатных пошлин и, наконец, судились только в своем стрелецком приказе, кроме разбоя и татьбы. Такая отдельная и самостоятельная корпорация, естественно, должна была представлять собою силу решающую в общественной организации, орудие, всегда готовое и удобное в руках политической партии.

Занятие промышленностью привело к ослаблению воинской дисциплины, пренебрежению служебными обязанностями и к желанию освободиться от них, а самоуправление к своеволию и буйствам. Если же припомнить общий упадок государственного благоустройства того времени, безнаказанность чиновнического корыстолюбия и взяточничества, общий ропот и недовольство, то, конечно, подобные явления должны были проявляться у стрельцов более резкого и опасного характера. И действительно, недовольство стрельцов стало обнаруживаться в грозных признаках: завелись самовольные круги, где самые буйные и наглые имели перевес, и их съезжие избы скоро получили название каланчей, с вершин которых бунтовавшая толпа сбрасывала всех неодобрявших их поведение.

В конце царствования Федора Алексеевича опасное волнение обнаружилось в полку Семена Грибоедова. Стрельцы жаловались на притеснение своего полковника, на то, будто бы он недоплачивал им жалованья, заставлял их строить ему загородный дом, не отпуская с работы даже в Светлый праздник. Но общему совещанию грибоедовцы написали челобитную, которую потом и подали дьяку стрелецкого приказа Павлу Языкову. К несчастью, последний счел челобитную за вымысел пьяных своевольцев и в таком смысле доложил об ней заведывавшим тогда стрелецким приказом князьям Юрию Алексеевичу и Михаилу Юрьевичу Долгоруким. Согласно докладу Долгорукие распорядились высечь подателя челобитной, но исполнение не состоялось. Грибоедовцы напали на служителей приказа, избили их и освободили товарища. Непосредственно затем явно взбунтовался весь Грибоедовский полк и увлек за собой другие остальные шестнадцать полков. Мятежники решили вытребовать от правительства примерного наказания полковникам, а в случае отказа распорядиться самим.

В таком положении находились общественные дела вообще и стрелецкие в особенности при последних днях жизни бездетного Федора Алексеевича, когда выступил на сцену несчастный неопределенный вопрос престолонаследия. Преемственность наследования престолом не определялась ни законом, ни строго сложившимся обычаем. В акте избрания на царство Михаила Федоровича о преемственности не было упомянуто ни слова, и наследники его, сначала сын Алексей Михайлович, а потом внук Федор Алексеевич, восходили на престол вследствие объявления их наследниками при жизни государей. Но Федор Алексеевич, оставив после себя двух братьев, одного единокровного и единоутробного Ивана Алексеевича и другого единокровного Петра Алексеевича, не объявил себе наследника ни при жизни, ни при последних моментах. Возникал вопрос, кто же должен быть после него царем? Казалось бы, право стояло за старшего брата Ивана, но его болезненность, слабость, неспособность и слепота были

известны всем, — другой же, младший, Петр, едва только достиг десяти лет.

Глава IV

Гулко и заунывно — звучал большой московский колокол из Кремля, объявляя православным о кончине царя Федора Алексеевича 27 апреля 1682 года в тринадцатом часу дня (в 4 часа пополудни)^[4] и народ толпами двинулся в Кремль для последнего прощания с умершим государем. Конечно, не могла поразить неожиданностью смерть постоянно болезненного царя, но на всех этот печальный звон произвел тревожное впечатление. Кто будет назван царем и кто будет править в действительности, спрашивал себя каждый, и страшное предчувствие грозного будущего невольно закрадывалось в душу каждого.

Между тем, как прощался народ, во дворце в обширной комнате со сводами собралась Государева Дума для решения важного вопроса, кому быть царем. У одной из стен этой комнаты стоял золотой царский престол с колониями по сторонам, острыми кверху и с остроконечной кровлей, над которой вверху блестел двуглавый орел, а внизу на спинке престола с иконой Богоматери. На правой стороне от престола, на невысокой серебряной пирамиде, на золотой парче лежала держава, украшенная самоцветными камнями. Пол устилали богатые пестрые ковры, стены украшены иконами, живописными изображениями и серебряными подсвечниками с восковыми свечами. Кругом стен тянулись на четырех ступенях обитые красным сукном скамьи, на которых сидели теперь патриарх, митрополиты, архиепископы, бояре, окольные и думные дворяне.

Заседание открылось речью патриарха Иоакима.

— Известно вам, бояре и думные люди, что волею Всевышнего, управляющею судьбами царей и царств, наш православный великий государь, царь Федор Алексеевич, отошел в уготованную ему вечную обитель. Помолимся же мы все об успокоении души его и о ниспослании сиротствующему

царству и граду нашему нового государя. По преемственному порядку следовало бы вступить на царство и прародительский престол благоверному царевичу Иоанну Алексеевичу, но, не снисходя на мольбы наши о том, он отрекся от своего права и передает державу брату своему, благоверному царевичу Петру Алексеевичу. Излагая вам сие, мерность наша^[5] с соизволения благочестивейшей царицы Натальи Кирилловны призывает Государеву Думу на общий совет об избрании на царство царя и государя всея России.

Кончив речь, патриарх опустил на место, за ним расселись по своим местам и прочие члены Государевой Думы. Наступило молчание. На лицах видны были самые разнообразные ощущения — и тревожного опасения и удовлетворенной надежды, ясно сквозившие через напускную боярскую сановитость.

Никому не хотелось высказываться первым.

Наконец, заговорил боярин Иван Михайлович Милославский.

— Не подобает нам, верным слугам царевым, рассуждать об избрании себе государя тогда, когда здравствует благоверный царевич Иван Алексеевич, которому, как искони велось на Руси, и следует править, государством по старшинству.

— Твоя правда, боярин Иван Михайлович, — заговорил один из Нарышкиных, — но ведь святейший патриарх просил уж царевича, и он добровольно отрекся в пользу младшего брата.

— Просил святейший патриарх, — отвечал Милославский, — один, от своего лица, а теперь мы будем просить от лица всей земли, — может, он и переменит свою волю.

— Да ведь мы все знаем немощность царевича, — отозвался уже с некоторым раздражением в голосе Иван Кириллович Нарышкин, — а вдругорядь просить, когда добровольно...

— Полно, добровольно ли? — с усмешкой перебил его Милославский. — Мало ли на Москве ходит разных слухов...

— Каких слухов? — почти с запальчивостью закричал Иван Кириллович. — Ты, боярин, заговорил о слухах, так укажи нам

прямо, без домеков.

— Не мое дело передавать все слухи, мало ли что говорят... а тебе, Иван Кириллович, не след указывать постарше себя, еще молод.

Спор начал принимать все более и более крупные размеры. Страсти разгорелись; к спорившим примкнули их сторонники.

Наконец, после долгих жарких прений, по предложению патриарха согласились: быть избранию на царство общим согласием всех чинов Московского государства людей. Такое решение Думы и записали дьяки.

На площади перед дворцом толпилось и колыхалось все московское население: стольники, стряпчие, московские и городовые дворяне, дети боярские, дьяки, жильцы, гости, купцы, посадские и люди черные, ожидая с нетерпением решения Думы. Тут же на площади, примыкаясь к самому дворцу, поставлены были вольными рядами стрелецкие полки, резко отличающиеся между собою цветами кафтанов синих, голубых, темно- и светло-зеленых, малиновых и алых с золотыми перевязями, с ружьями на плечах, с воткнутыми в землю бердышами и с развевающимися знаменами, на которых виднелись изображения то Страшного Суда, то Архистратига Архангела Михаила, то красных и желтых львов.

Все более или менее ясно сознавали законность старшинства царевича Ивана Алексеевича, но все также знали его неизлечимую болезненность и очевидную неспособность к личному твердому управлению государством. Каково же постоянное боярское управление ближних свойственников от первого брака Алексея Михайловича с их приспешниками и кормильцами, было слишком хорошо известно всем и всем ненавистно. Правда, и царевич Петр был еще десятилетним ребенком, но ребенком здоровым, цветущим, быстрым, не по летам разумным, обещающим скоро освободиться от боярской опеки. Тысячи рассказов ходили в народе об остроте его ума, схватывавшего все на лету и лично вникавшего в каждое дело. Затем и ближние царицы Натальи Кирилловны были людьми новыми, свежими, еще не резко отделявшиеся от народа боярской спесью, еще не наложившими на него тяжелую руку.

Вот почему, прислушиваясь к глухому говору народа, нельзя было не заметить решительной симпатии к юному Петру.

— Стройся! Мушкет на плечо! Подыми правую руку! Понеси дугой! Клади руку на мушкет! — скомандовал по оригинальному тогдашнему многосложному артикулу начальник стрельцов, князь Михаил Юрьевич Долгорукий, вышедший из царской Думы.

Ряды стрельцов выровнялись, ружья засверкала стройными бороздами в лучах заходящего солнца.

На Красном крыльце, предшествуемый духовным синклитом, со святыми иконами и хоругвями и сопровождаемый Государевой Думой, появился патриарх Иоаким. Все головы обнажились. Воцарилась глубокая тишина.

— Богом хранимое Русское царство, — заговорил патриарх взволнованным голосом, — в державстве переходило от родителя к сыну: избранному всеми чинами Московского государства после смутного времени блаженной памяти царю и государю Михаилу Федоровичу наследовал сын его государь и самодержец Малой и Белой России Алексей Михайлович. По кончине же государя Алексея Михайловича державствовал также сын его, объявленный наследником при жизни самого родителя, царь и государь, Феодор Алексеевич. Ныне же, по преставлении Божиего волею великого государя Федора Алексеевича, не осталось ни объявленного им наследника, ни сыновей, а остались братья его благоверные царевичи Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич. Спрашиваю вас, все чины Московского государства, объявить единою волею: кому из сих царевичей быть государем и самодержцем русским?

— Царевичу Петру Алексеевичу! — раздался единодушный крик со всей площади.

Только один голос послышался после этого крика, голос приверженца царевны Софьи Алексеевны, дворянина Сунбулова: незаконно обходить старшего, следует; быть царем царевичу Иоанну Алексеевичу!

Но этот крик утонул, замер в общем клике:

— Многая лета царю Петру Алексеевичу!

— Глас народа — се глас Божий, — проговорил святейший пастырь и, обратившись к боярам, добавил: — Что же надлежит теперь?

— По избранию всех чинов Московского государства должен быть наследником царевич Петр Алексеевич, — отвечали почти все бояре Государевой Думы, за исключением только немногих приверженцев царевны Софьи.

Патриарх и бояре возвратились в дворцовые покои, где с таким живым нетерпением ожидала их царица Наталья Кирилловна.

Патриарх благословил молодого монарха.

Рушились заветные, золотые мечты царевны! Опять та же ей ненавистная мачеха стала на дороге, и опять должна она войти в запертые двери теремной тюрьмы. Но нет, игра еще не проиграна, молодой ум гибок в изворотах и сумеет проложить себе дорогу широкою... хотя бы эта дорога и залита была кровью.

Глава V

Шумный и тревожный день 27 апреля сменила ночь, ночь первых весенних дней, светлая, сырая, насквозь обхватывающая воздухом только что проступавшей земли и лопающихся почек. Темно и неприглядно, как и во всякое переходное время. Чувствуется будущее, теплое, летнее с роскошными плодами, с обильной жатвой, а в настоящем топь да невылазная грязь...

Безлюдно на московских улицах, ворота у всех на запоре, ставни плотно закрыты и на железных болтах.

В доме боярина Милославского, по-видимому, точно так же спокойном и сонном, однако ж не спят. В одной из внутренних комнат, выходящей окнами в сад, собралось несколько человек, ближних людей боярина, преданных слуг царевны Софьи Алексеевны.

Комнаты даже знатных лиц в XVII веке не отличались затейливым убранством. В переднем углу, как у всех и всегда, находилась образница с иконами в серебряных вызолоченных

окладах, перед которыми теплилась серебряная лампадка. На одной из стен висели часы, тогда только что начинавшие входить в употребление. Между окон стоял длинный стол, покрытый красным сукном, с серебряной чернильницей, несколькими свертками бумаг и с восковой свечой.

С одной стороны стола скамейка с бархатной подушкой, с других двух сторон скамьи, покрытые коврами. На скамье с бархатной подушкой сидел сам хозяин дома Иван Михайлович Милославский^[6], одетый в обиходный наряд того времени, в темно-зеленый суконный кафтан и в шапке, напоминавшей форму скуфьи. С других боков помещались гости: племянник хозяина, комнатный стряпчий Александр Иванович Милославский, стольники Иван и Петр Андреевичи Толстые, городской дворянин Сунбулов, из новгородских дворян кормовой иноземец Озеров, возле него старая знакомая, постельница царевны Софьи Алексеевны Федора Семеновна, одетая нарядно в алый сарафан с парчовыми до локтей рукавами, в желтых сапожках на высоких каблуках; на ее шее красовалось жемчужное ожерелье, а в ушах длинные серьги. По другую сторону, стола разместились стрелецкие полковники Петров, Одинцов, подполковник Цыклер и пятисотенный Чермный, одетые в обыкновенные форменные стрелецкие кафтаны.

— Так как же, Федора Семеновна, по твоим речам, царевна согласна?

— Да, боярин Иван Михайлович, милостивая царевна велела благодарить тебя за усердие к общему делу, согласна и заранее одобряет все твои распоряжения в защиту ее и старшего царевича.

— Слышите, други, — сказал боярин, обращаясь к гостям, — наша благоверная царевна не только согласна, она заранее одобряет наши действия. Царевич Иван и царевна полагаются на нас, постоем же за них верой и правдой, не выдадим их в обиду нарышкинцам, и достойная награда не оставит каждого из вас по мере усердия.

— Мы все готовы стоять за правое дело и положить головы за царевича и царевну, — первым отозвался Цыклер с тем

жаром, в котором опытное ухо чуяло напускную ревность, — только укажи нам, как и что делать.

— Прежде всего нужно избавить царевича и царевну от их заклятых, исконных врагов — Нарышкиных, а от кого именно, племянник мой изготовил список, — сказал боярин, указывая на сверток бумаг, лежавший на столе.

— Это-то мы и сами знаем, боярин, да как спустить их? — спросил Одинцов.

— По-моему, — отвечал хозяин, — втихомолку да исподволь дело не может идти. Первый же случай пробудит подозрение, заставит других быть осторожными и даст время приготовиться. Нет, надо действовать решительно и открытой силой, — а сила вся в стрельцах. Кстати, они волнуются, так и нужно поддерживать их неудовольствие, нужно как можно более раздражать и направлять их сначала против тех полковников, которые держат сторону Нарышкиных, а потом... ну, потом обрушиться решительным бунтом, то есть не бунтом, а твердой защитой правой стороны.

— От сторонников нарышкинских, изменных полковников, избавиться нетрудно, их как раз свои же стрельцы спустят с каланчей, ведь всеми они недовольны: то за вычет из жалованья, то за строгость; а как направить против самих Нарышкиных? — спросил Петров.

— Нетрудно, полковник, — отвечал Милославский, — надо только как следует объяснить стрельцам, как Нарышкины на них злобятся, как замышляют разослать их по дальним городам, оторвать от отческих домов, хозяйства и родных, а потом и совсем извести за прежнюю-то их всегда верную службу лишь назло царевне, всегда горячо стоявшей за них, и как Нарышкины вместо их хотят устроить все войско из иноземцев. А главное, господа полковники, нужно внушать им, что они пойдут за правое дело, на защиту законного наследника царевича Ивана Алексеевича, которого Нарышкины всеми мерами пытаются загубить вконец.

— За свои полки мы ручаемся, — отозвались Одинцов, Петров и Цыклер. — Только примкнут ли к нам остальные?

— И я ручаюсь за свою пятисотню сухаревцев, — отозвался и Чермный, — а другая половина, наверное, не пойдет с нами. Пятисотенный Бурмистров — любимчик Долгорукого, так, стало, будет тянуть на сторону Нарышкиных.

— Этого-то молодчика и я давно заприметил, надо бы спустить его с рук, мешают он нам.

— Трудно, боярин, любят его в пятисотне и служилые, и пятидесятники. Разве уж постараюсь как-нибудь один на один.

— Ну, так постарайтесь же, други мои, чтоб все было единомысленно. Приманите служилых и из других полков... если не пойдут с вами, так чтоб не перечили... Петр Андреич, — продолжал Милославский, обращаясь к младшему Толстому, — достаточно ли ты запасся зеленым вином?

— По твоему приказу, боярин, я уж несколько бочек заполучил с отдаточного двора, да еще на днях получу, а потом все бочки передам по полкам сколько кому угодно.

— А вы, полковники, поставьте к кругам при выпивке людей надежных да толковых, которые бы сумели направить куда следует...

— Выполним, боярин, об этом не сомневайся, только не мешало бы денег раздать сколько-нибудь по рукам да пообещать наград.

— Серебра у меня довольно, — отвечал Иван Михайлович, — будет для начала, да к тому ж царевна приказала доставить казну из всех монастырей по Двине. Ведь понапрасну там лежит, а тут дело богоугодное... защита обиженных... А что до наград, так пусть каждый выскажет, чего желает...

— А когда, боярин, начинать дело? — спросили полковники.

— Да, думаю я, около половины месяца. Недельки через две, кажись, пятнадцатого-то мая день убиения Димитрия царевича в Угличе, так оно и было б кстати.

— Так и мы к этому дню будем готовиться, боярин.

— Готовьтесь, други мои, готовьтесь, только не пускайте заранее в огласку. Тогда все дело изьяните. Нарышкины увернутся, а вы поплатитесь головой. А ты бы, Федора

Семеновна, поприглядывала в тереме-то Натальи Кирилловны и как что услышишь, дала бы нам весточку.

— Свое дело я знаю, барин, — отозвалась постельница, — свела я задушевное знакомство с двумя сенными ближними девицами царицы и выведу от них всю подноготную; они мне передают каждое-то словечко царицы...

Во все время совещания Федора Семеновна казалась необычно рассеянной, поглощенной своим личным интересом. Дело в том, что давно уже приглянулся ей сосед ее, кормовой иноземец Озеров, давно уже сердечко ее пылало тайной страстью к пригожему молодцу. Эту страсть знала добрая царевна и обещала устроить свадьбу своей верной постельницы по сердечному выбору в случае желанного успеха. Вот почему Федора Семеновна и казалась рассеянной, вот почему глазки ее так часто покоились на пригожем лице кормового иноземца, а тощенькое, непорочное тельце ее все ближе и ближе подвигалось к дюжему соседу. Но приглядываясь и прижимаясь к милому ей человеку, она все-таки следила за ходом дружеской беседы. Многие в этой беседе не нравились ей. «Отчего это, — думала она, — боярин все напирает на царевича да выставляет себя, а об царевне говорит как будто вскользь. Ну, не разумней ли их всех моя, жемчуг перекаточный, царевна, ну, не достойна ли она править не то что каким-нибудь русским царством, а и всем миром. Нет, не для пользы царевны хлопочет боярин, — решила она, — а для своих видов, да из злобы на Нарышкиных».

— А как говорят при дворе царицы Натальи Кирилловны? — спросил Иван Михайлович постельницу.

— Да вот поджидают Артамона Сергеича, вчера, вишь, послали нарочного гонца в Лухов. Ден через пять, чай, прибудет.

— Прибудет, да поздно будет, — заметил боярин, — Да, кстати, племянничек, в списке твоём, кажись, нет Артамона?

— Не записан он, дядюшка, не знал я, что вернется к тому времени.

— Нет, племянник, его запиши первым. Пусть вспоминает услугу Ивана Михайловича... по-приятельски с ним рассчитаемся... Да не забудь, племянник, написать побольше таких списков для раздачи по несколько штук на каждый полк.

— Да, растолкуй, боярин, — спросил молчавший до сих пор Петров, — как это могло случиться, что Государева Дума при жизни наследников предоставила выбор всем чинам московским, ведь этого никогда еще не бывало!

— Мало ль что не бывало, — угрюмо отвечал Иван Михайлович, — при наших порядках не то еще увидишь. Понасажали в Думу разных молокососов... родственников да свойственников царицыных, ну они и вертят по своей воле. До того было дошло, что родимый-то братец царицы вздумал сделать царем Петра Алексеевича от имени Думы по одному лишь заявлению патриарха об отречении старшего царевича. Да я по-своему осадил Ивашку Нарышкинского, а Думе говорю — мол, не по закону и не по обычаю обходить старшего брата, что по всем правам подобает царствовать Ивану Алексеевичу. И перетянул бы я, да к ним на подмогу заговорил Михайло Юрьич, известный их прихлебальник. Правда, и к моей стороне стал князь Иван Андреевич, да ведь не речист он в делах царских-то, ему бы только каноны говорить... Вот как я увидел, что нашим не пересилить, так и согласился на избрание по земству. Авось, думаю, хоть там потянут по старине, а вышло не так... загорланили иноземцы, приспешники козых бород^[7], а за ними и все чины. Ну, да в наших руках сила... поставим по-своему...

— А правду ль говорят, боярин, — спросил один из полковников, — будто молодой-то боярин Нарышкинский, срам сказать, сквернословил про покойного царя?

— Да как же неправда! Всем известно... сама сестрица потатчица, при ней и дело было. Все мы видели, как Наталья Кирилловна с сыном не хотели отслушать до конца отпевания. Все тогда смутились, а тетки-то покойного Анна Михайловна и Татьяна Михайловна не удержались и выговаривали Наталье Кирилловне через монахинь. Так, вишь, стала отговариваться, будто сынок мал, не мог выстоять на голодный желудок, а братец-то Ивашка тут и брякнул: кто умер, тот пускай-де и лежит, а царь не умирал и живет^[8].

— Ну уж и люди эти Нарышкины, — единодушно отозвались слушатели, — от таких срамословов и святотатцев чего ожидать доброго!

— Прощенья просим, боярин, не будет ли от тебя какого-нибудь наказа к царевне, — говорила постельница, собираясь уходить.

— Расскажи, Федора Семеновна, все, что видела и слышала, передай государыне мою нелицемерную рабскую верность, — готов служить ей до гробовой доски. Да вот что, Семеновна, — продолжал боярин, понижая голос и отводя постельницу в сторону, — сослужи ты мне добрую службу, и я не забуду тебя никогда. Вот и теперь есть у меня для тебя богатые запястья с самоцветными камнями, которые привез мне иноземный гость, да еще дорогая телогрейка.

— И без посулов, боярин, я готова завсегда служить тебе, спрашивай только, не таись.

— Скажи же мне по правде, по душе, как часто бывал у нашей царевны князь Василий Васильич. Об чем они разговаривают? Не заходит ли когда речь обо мне? Насколько милостива к нему царевна...

— Бывал, боярин, князь Василий Васильич у царевны, не солгу, бывал, только не часто, когда только, бывало, придет к ней покойный государь братец за каким ни есть делом. А так, чтоб без делов, никогда не бывало. Об тебе же, боярин, царевна разговаривает нередко, вот хоть бы и со мной, и считает тебя что ни есть самым умнейшим и разумнейшим.

— А как царевна говорит о других, вот хоть бы о князе Иване Андреиче?

— О князе Иване Андреиче? Хованском? Как-то мало приходилось разговаривать об нем, боярин. Царевна уважает его. Да она и видит-то его нечасто.

Постельница собиралась уходить, но, уходя, она еще раз умильно поглядела на бывшего соседа и ласково проговорила:

— Не по дороге ли нам идти, Иван Андреич. Пошли бы вместе, а то боязно, как бы не обидели прохожие или дозорные с решетчатым.

— Хоть не по дороге, Федора Семеновна, — ответил бравый кормовой иноземец, — а проводить всегда готов.

И оба, простившись с хозяином и гостями, вышли.

— Время и нам расходиться, боярин. Позволь проститься, — заговорили и прочие гости, кланяясь хозяину, — когда прикажешь нам наведаться?

— Да всем-то собираться незачем. Приметно, да и все уж улажено; а кому случится нужда, так и завернет либо ко мне, либо к племяннику. До назначенного дня я под видом болезни выезжать не буду. Только не забудьте уговор.

— Помним, помним, боярин...

Гости вышли, кроме подполковника Цыклера.

— Боярин, — заговорил подполковник, оставшись наедине с хозяином, — я нарочно остался переговорить с тобой.

— Рад служить тебе, подполковник.

— Видишь что, боярин. Дело, за которое мы беремся, — дело опасное и будет стоить головы или теперь же, если не удастся, или впоследствии. А за такое дело берутся или неразумные из непонятной для меня собачьей преданности, или умные за что-нибудь для себя выгодное. Так как я не считаю себя неразумным, то прошу тебя, боярин, сказать мне откровенно — на что я должен рассчитывать.

— А чего бы ты желал, подполковник?

— Желал бы я не очень многого, боярин: поместья доброго да звания боярского.

Передернуло едва заметно боярина такое нахальное требование, складывались уж губы в презрительный ответ, но, вовремя спохватившись, Иван Михайлович ласково улыбнулся и, погладив бороду, спокойно ответил:

— Люблю подполковника за откровенную речь. По крайности начистоту. Обещаю тебе за царевну в случае успеха боярство и поместье.

И боярин, кивнув головой подполковнику, вышел во внутренние покои.

«Поместье и боярство, — думал про себя Цыклер, выходя из комнаты, — оно, конечно, дело хорошее, а все-таки своя голова дороже. С головой добудешь и того и другого, а без головы не поможет ни поместье, ни боярство. Надо подумать и рассчитать повернее. Теперь, кажется, дело верное и

безопасное, а после можно будет вовремя и другой стороне... верно, не останется без благодарности».

Затихло все в доме боярина Милославского, не слышно ничего, кроме храпа многочисленной челяди боярской да прихлебальников. Только долго не мог заснуть сам боярин под влиянием картин воспаленного воображения о будущем величии. Обаятельная мечта уносила его далеко: то она казала ему его самого во главе Думы царской, как самовластного, сильного правителя, перед которым смиренно преклонялись боярские головы, покорно ожидающие от него милостивого слова или опального голоса, а там, в пустынях какого-нибудь Пустозерска, обнищавшие и голодные тянут безотрадную жизнь его враги, то представляла ему, как он будет принимать всех послов, которые, пораженные его умом и величием, разнесут славу об нем по всем концам крещенного и некрещенного мира, то представляла ему славу мудрого законодателя, осыпанного повсюду благословениями. Впрочем, мечта о мудрости законодательной недолго останавливалась в его голове и скоро сменилась другими, более усладительными образами. В разыгравшемся воображении боярина стали носиться другие облики, прелестные тени юных красавиц. Вот она, обольстительная русская женщина, — стройная, высокая, с полными развитыми формами, с густыми шелковистыми, длинными почти до пят волосами, с глубокими, полными нежной истомы очами...

Любил боярин и Груш, и Марфуш, и Любаш и беззаветно отдавался их губительным ласкам. Не действовали на него и мудрые предостережения книги «зело потребной, а женам досадной о злонравных женах». Напрасно читал боярин разумные советы: «не помысли красоте женстей, не падайся на красоту ея, не насладишия речей ея и не возведи на нея очей своих, да не погибнешь от нея. Бежи от красоты женския невозвратно, яко Ной от потопа... Человече, не гляди на жену многохотну и на девицу красноличную, да не впадеш нагло в грех... Не дай жене души своея... девы не глядай, с мужатницею отнюдь не сиди — о доброте бо женстей мнози соблазнишася, даже и разумные жены прельщают... Взор на жены рождает

уязвление, уязвление рождает помышление, помышление родит разжение, разжение родит дерзновение, дерзновение родит действие, действие же исполнение хотения, исполнение же хотения родит грех... Человече, отвори лицо свое от жены чужия прекрасный, не зри прилежно на лице ея: красоты ради женския мнози погибоша. Красота жены веселит сердце человека и введет человека в жалось на всякое желание. Человече, с чужою женою на едине николи же беседуй, ни возлагай с нею за столом лахтей своих; словеса ея яко огонь пополяет и похоть ея яко пополяет пламя, отрезвися умом и отскочи жен блудливых»^[9].

Не вразумлялся Иван Михайлович разумными наставлениями, пополялся он в пламени, и погиб.

Глава VI

Постельница Федора Семеновна о призыве к двору боярина Матвеева сказала правду. По кончине Федора Алексеевича царица Наталья Кирилловна увидела себя в главе партии, правда, довольно многочисленной, но совершенно неопытной, молодой, увлекающейся, еще неокрепшей в ведении исконных придворных интриг. Требовался опытный руководитель, и боярин Артамон Сергеевич Матвеев как нельзя более мог удовлетворить все вопросы сложившихся обстоятельств.

Артамон Сергеевич происходил не из знатного рода «дьячих детей», но выдвинулся на вершину умом, способностями и образованием. Служа стрелецким головою, он под Смоленском своею распорядительностью обратил на себя внимание царя Алексея Михайловича. Затем, по обязанности уже думного дворянина, он участвовал в совещаниях Думы Государевой, а впоследствии заведывал некоторыми приказами (аптекаарским). Скоро он сделался самым ближним сотрудником царя, «его верной и избранной головой».

Считаясь во главе новаторов того времени, Матвеев действительно был передовым и самым развитым из своих современников русских. Он занимался науками и искусствами, оставил после себя первый опыт русской истории

(государственная большая книга, описание великих князей и царей российских) и первый устроил из своих дворовых труппу актеров. Дом его был обставлен по-европейски с большими стенными часами и картинами по стенам. В этом-то доме царь Алексей Михайлович в первый раз увидел Наталью Кирилловну Нарышкину, полюбил и потом женился на ней. При свадьбе Артамон Сергеевич был пожалован в окольнічы, а через год и в бояре.

Отделяясь от придворных образованием, он в то же время отличался редкою в современниках добросовестностью, отсутствием корыстолюбия и не относился к народу с обычной спесью. Москвичи любили его. Сохранился известный характеристический анекдот о постройке его дома. Старый, ветхий дом Артамона Сергеевича требовал большой перестройки, о чем не раз настаивал и Алексей Михайлович, вызываясь принять издержки по постройке на счет казны. Боярин, наконец, обещался перестроить, но решительно отказался от казенной помощи. Таким решением он поставил себя в затруднительное положение. В наличности денег не было, да и камня в ту пору, тоже не оказывалось в продаже. И вот однажды утром на двор к нему въехало множество телег с камнями. Оказалось, что московские обыватели, стрельцы, торговые и посадские люди, узнав о его затруднении, собрали камни с могил своих отцов и поклонились ими боярину, отказавшись, разумеется, от всякой платы.

Пользуясь значением при дворе только по личному расположению царя, Матвеев, по кончине Алексея Михайловича, не мог выдержать борьбы с старой боярской придворной партией. И действительно, вскоре, не далее полугола по воцарении — Федора Алексеевича, вследствие доноса сначала в корыстолюбии, а потом в — чародействе, Артамон Сергеевич сослан был воеводствовать в Верхотурье, а потом в ссылку в Мезень.

Понятно, какую значительную поддержку могла оказать опытность Матвеева партии царицы Натальи Кирилловны, понятна поспешность, с какой был послан в Лухов за боярином Матвеевым стольник Алмазов, понятно, с каким нетерпением

ожидала его приезда царица, и понятна, наконец, торжественность его приема.

Еще в Троицкой лавре он был встречен приветствием от имени царя Петра Алексеевича Юрием Лутохиным, а в селе Братовщине Афанасием Кирилловичем Нарышкиным от имени царицы.

Прибыв в Москву 11 мая, Матвеев нашел положение дел весьма опасным и неисправимым. Волнения стрельцов приняли громадные размеры, а неопытное правительство не только не принимало строгих и внушительных мер, но, напротив, робкою уступчивостью поощряло их к дальнейшим волнениям.

Соединившись с Грибоедовским полком, прочие стрельцы 30 апреля подали общую челобитную, в которой повторялись те же жалобы на притеснения своих полковников в недодаче им жалованья, с угрозой в случае отказа правительства расправиться самим. Вместо быстрого и беспристрастного расследования жалобы правительство поспешило отставить от должностей полковников, возбудивших жалобы, взыскать с них правеем удержанные будто бы ими деньги стрельцов и удалить нелюбимых стрельцами оружейничего боярина Ивана Языкова и братьев Лихачевых. Поощренные таким образом робостью правительства по отношению к жалобам на главных начальников, стрельцы сочли себя вправе разделяться своим судом с лицами второстепенными, — и вот строгие, обуздывавшие их пятисотенные, сотенные, пятидесятники и пристава — все погибли, сброшенные с каланчей.

Развитием мятежного настроения весьма ловко воспользовались люди, преданные царевне Софье Алексеевне. Разгоряченное воображение легко и слепо поддается обману. Искусственные рассказы о злобных умыслах Нарышкиных против стрельцов, об отравлении ими покойного царя Федора Алексеевича, о насильном принуждении старшего царевича отречься от престола, о намерении изгубить Ивана Алексеевича, может быть, в другое время остались бы без внимания, но теперь, при общем воспалении, находили доверчивых слушателей. Истребить, наказать зловредный род губительных временщиков — становилось в их глазах делом

справедливости, значило постоять за правду, за царей, за веру. Осязательный факт был налицо: царевич Иван обойден, а неслыханно быстрое возвышение молодых, еще неопытных Нарышкиных против старых бояр, неоправдываемое никакими еще заслугами (из Нарышкиных Иван Кириллович пожалован был оружейничим и саном боярским на 23 году. Афанасий Кириллович комнатным стольником, Кирилл Алексеевич кравчим), не могло не возбудить общего неудовольствия и не могло не казаться подозрительным. Как же было не верить стрельцам своим любимым полковникам, когда вся внешняя обстановка совершенно согласовалась с их рассказами и когда в среде их не раздавалось ни одного голоса, раскрывавшего истину.

Увлечение стрельцов было глубокое и истинное. На бесчеловечную форму проявления этого увлечения имело неоспоримое влияние доброе вино отдаточного двора и богатые награды. Да, впрочем, конец XVII века и нигде не отличался особенной мягкостью нравов.

Утро 14 мая. В приемной комнате перед внутренними покоями царицы Натальи Кирилловны дежурил стряпчий. Характер дежурства того времени несколько не отличался от нашего: та же бездеятельность и томящая скука, то же невыносимое однообразие, та же досада на бесконечно долго тянущиеся часы. Стряпчий от нечего делать занимался глубокомысленным созерцанием линий на ладони левой руки, то сгибая, то их расправляя.

— Передай матушке царице, что я пришла повидать ее, — сказала неожиданно вошедшая царевна Софья.

Озадаченный необычным приходом царевны, стряпчий сначала как-то бессознательно оглядел ее, а потом опрометью бросился в соседнюю комнату, где вышивала за пяльцами золотом и жемчугом постельница царицы Натальи Кирилловны.

— Доложи государыне царице, изволила прибыть к ней царевна Софья Алексеевна и ожидает в приемной палате.

Постельница быстро направилась к опочивальне и передала изумленной Наталье Кирилловне поручение стряпчего.

Изменилась в лице царица при этой вести, не ожидала она такого поступка от падчерицы, с которой никогда не могла сойтись подушевно, от которой никогда не видела приветливого взгляда. Едко защемило сердце мачехи.

— Спасибо, царевна, что вздумала проведать меня, — говорила царица, выходя к ожидавшей ее Софье Алексеевне в большую парадную приемную.

Обе женщины уселись одна против другой за столом, украшенным искусной золотой резьбой.

Трудно представить себе более противоположных типов, как Наталья Кирилловна и Софья Алексеевна. Во всем облике первой, без ведома ее самой, так и бросалась в глаза натура женственная, не способная к геройским подвигам, но вместе с тем самоотверженная и любящая к дорогим ее сердцу. Цветущая молодостью и красотой, описывает ее Рейтенфельс (1671–1673 гг.), стройная, черноокая, с челом прекрасным и с приятной улыбкой, она пленяла и мелодичною речью и прелестью всех движений. Пять лет вдовства, полного горя, стеснений, оскорблений, мелких, но тем не менее чувствительных уколов, пять лет ссылки от двора уничтожили цветущий румянец, охолодили нежное сердце.

Холодом веяло от царевны. Стальной энергией смотрели голубые глаза, на губах лежала нервная улыбка. Воспитание сумело развить ей ум, но не развило чувства. Правда, и царевна любила, но как любила? В самой любви ее сказывалось более эгоистичности и более чувственной стороны.

— Как здоровье твое, царевна? — продолжала царица приветливо.

— Благодарю, матушка. После смерти братца все еще не могу прийти в себя: голова болит, грудь ломит, во всех суставах какая-то немочь — точно будто свалилась с высокого места. Заниматься ничем не могу...

— Понимаю, царевна, и сочувствую тебе, — участливо отвечала царица.

— А как твое, матушка, здоровье и государя братца Петра Алексеевича?

— Мы, как видишь, слава Всевышнему. Сын занимается теперь с учителем. Боюсь за него, царевна, больно уж резов...

— А я к тебе, царица, по особому делу. Вчера были у меня митрополиты, епископы и выборные люди от народа, молили воцарения на прародительский престол законного наследника царевича Ивана Алексеевича.

— Да как же это, царевна? — не веря ушам своим и с недоумением глядя, спросила царица, — ведь все же чины Московского государства единодушно выбрали моего Петра?

— Видно, одумались, матушка, — с некоторой насмешкой ответила царевна.

— Невозможное дело, Софья Алексеевна. Царевич Иван сам добровольно и решительно отказался от престола.

— Ничего не значит, матушка. Справедливо — он отказался, но по просьбе всего народа московского может переменить и согласиться, а царевич Петр может разделиться царством с братом, может добровольно с своей стороны уступить ему первенство как старшему.

— Да ведь царевич Иван больной, не может... не в состоянии править государством.

— И... и... матушка царица, не все же цари и короли — голиафы. На что ж советные-то мужи и Государева Дума? Точно так же и Петр царевич — еще ребенок, также не может сам править царством...

Если бы дело касалось лично только до Натальи Кирилловны, то, вероятно, она не оказала бы большого противодействия, но в настоящем случае терял ее милый сын, интересы которого она, как мать, должна отстаивать твердо. И вот в одно мгновение она решила всей жизнью своей защищать права своего ненаглядного Петруши.

— Нет, царевна, — с решительностью отозвалась царица, — кого раз избрал весь народ и кто получил Божье благословенье, тот не может уж отречься от своего назначения.

— Ну, как знаешь, матушка. Как близкая родная я хотела предупредить тебя, как бы не вышло смуты великой в государстве... народ волнуется... не полилась бы неповинная кровь.

— Что Богу будет угодно. Надеюсь на Его милосердие и готова на все.

Обе стороны остались недовольны свиданием.

— Напрасно только послушалась я Василья, — говорила про себя царица, уходя, — попытайся... да попытайся... Может, она добровольно уступит Ивану Алексеевичу, тогда и смуты никакой не будет и кровь не прольется... Не такие люди Нарышкины... добром с ними не разделаешься... с корнем только можно вырвать злое племя. Как бы еще не испортили... теперь ведь предупреждены... Хорошо, что не разболтала...

Ошеломленной и растерянной осталась после свидания царица. Что делать? Что предпринять? Она не знала, она знала только и на что твердо решилась — это неотступно стоять за судьбу дорогого сына, не уступать никому Богом предназначенного ему предопределения. К кому обратиться за советом? Отец — стар, да и неопытен в подобных делах. Братья? Молоды и бессильны. К Артамону Сергеичу? Да, к нему. Он опытен и умен. Он сможет отвратить беду.

— Пошли скорей гонцов к Артамону Сергеичу и брату Ивану Кирилловичу, — приказала она стряпчему, — зови их сейчас ко мне.

Отдав приказание, Наталья Кирилловна вошла в свою опочивальню и опустилась на колени перед ликом Пресвятой Девы. И горяча была материнская молитва, слезы струями текли по побледневшим щекам, губы судорожно шептали бессвязные звуки, но с одним глубоким смыслом мольбы о счастье сына.

— О, Боже милостивый, спаси его! Если нужна жертва — возьми меня, отними от меня все, лиши всего, но надели его всеми земными благами, отклони от него все несчастья и передай их все на мою несчастную голову. Сделай бессильными козни врагов его, подай мне крепость и силу на борьбу, научи меня, слабую женщину...

Вошла постельница с докладом о приезде Ивана Кирилловича и Артамона Сергеича.

— Что с тобой, сестра, — спросил встревоженный Иван Кириллович вышедшую сестру, — на тебе лица нет?

— Я в страшной тревоге... послала за вами, благодетель и друг мой Артамон Сергеич и брат Иван. Была у меня сейчас царевна Софья.

И царица передала весь разговор с царевной.

По мере рассказа все более и более бледнело лицо Ивана Кирилловича и все серьезнее становился Артамон Сергеевич.

— Да, царица, дело важное и опасное, — сказал Артамон Сергеич, — я знаю царевну. Если она решилась высказаться, так, значит, совершенно уверена в успехе, значит, все подготовлено...

— Неужто ты думаешь, сама царевна подымает смуту? — спрашивала недоверчиво Наталья Кирилловна, не понимая, как царевна, при тогдашней обстановке женского царского семейства, могла быть основой какого-нибудь политического движения. — С какой же целью?

— Я не думаю, царица, а убежден в этом — Софья Алексеевна хочет власти. Как властвовала она при царе Федоре Алексеевиче, так будет властвовать, если еще не больше, при больном Иване. А может быть, она пойдет и дальше... Ясно. Но не в этом важность, а валено знать: какими средствами решилась действовать... Я здесь всего только два дня, не успел присмотреться к новым порядкам. На преданность каких бояр можно рассчитывать?

— Да ведь они все кажутся преданными, — ответила Наталья Кирилловна.

Старый боярин улыбнулся.

— Отстала от двора, родная... Скажи мне по крайности: кто в Государевой Думе говорил за Ивана Алексеевича?

— Говорили Иван Михайлович Милославский, Иван Андреевич Хованский, поддерживал князь Василий Васильевич Голицын, да еще кто-то...

— Василий Васильевич? Нет... он слишком осторожен, не пойдет он явно в мятежники... Иван Андреевич? Глуп — быть вожаком. Иван Михайлович? Ну, у этого голова изворотливая...

— Боярин Иван Михайлович лежит дома больной, — вмешался Иван Кириллович, — я вчера встретил его холопа...

спрашивал: больной, говорит, трясучкой лежит... Вот уж недели две никуда не выезжает.

— Болезнь может быть и отводная... и не выходя из дома можно орудовать... Ты не распорядилась, царица, за ним присматривать? Кто у него бывает?

— Нет, Артамон Сергеич, мне этого и в голову не входило.

— Народ волнуется, — как будто сам с собой говорил Матвеев. — Какой народ? Давно ли этот народ выбрал единодушно царем Петра Алексеевича? По какому поводу в такое короткое время мог измениться? Странно! По улицам не видно никакого волнения... ни между посадскими, ни торговыми, ни жильцами... не заметно волнения в духовенстве и в думе боярской... Где ж волнение? Слышал я, царица, стрельцы крамольничают. Чего они хотят?

— Они были недовольны своими полковниками, просили о недоданных деньгах, и челобитную их тотчас уважили, стрельцов-то я не опасаюсь, — отвечала Наталья Кирилловна.

— Уважены, говоришь, да как? Без разбора, без розыска, как я слышал, царица. Так такая поноровка только пуще вредит. Говорят — по ночам в их слободах пьянство да крики. Кто мутит? Уверена ты, царица, в в Михайле Юрьиче?

— Ты знаешь его больше меня, Артамон Сергеич, По мне, он не способен на измену.

— Правда твоя — он честная, открытая душа, не пойдет на хитрости. Завтра надо его расспросить. Жаль, человек он не покладливый... горд... держит себя далеко от стрельцов. Ноне же, — продолжал Артамон Сергеич, обращаясь к Ивану Кирилловичу, — оповести патриарха, Долгорукого, Черкасского и других, кого ты знаешь из наших ближних, прибыть завтра к царице по важному делу на совет. Завтра мы переговорим и решим, как должно делать, а теперь прощай, Наталья Кирилловна, будь покойна. Грозен сон, да милостив Бог. Может, и все пройдет благополучно.

— А будет велика смута, — говорил Иван Кириллович боярину Матвееву, спускаясь по дворцовой лестнице. — Чаю я от царевны конечной гибели себе и всему нашему роду.

— Да, — раздумчиво ответил последний, — не пройдет даром наша затея. Бог один знает, что будет. Щемит у меня сердце больше, чем, бывало, в ратном деле. Много будет пролито невинной крови... во многом отдаст царевна отчет Богу на последнем суде.

Бояре расстались, отправляясь каждый в свою сторону, под влиянием тяжелого чувства. И во весь тот остальной день боярин Матвеев, возвратившись домой, был сам не в себе. Грустно останавливались его глаза на юном его сыне Андрюше, которого он с такой нежной любовью старался образовать и воспитать сообразно с европейскими условиями. Не знали его хлопоты по устройству заброшенного в его отсутствии дома, и с удвоенной лаской целовал он сына при прощании.

Чувствовалась ему, что это прощание на ночь 15 мая будет последним поцелуем сыну..

Глава VII

На другой день ранним утром 15 мая съехались в дворец к Наталье Кирилловне оповещенные Иваном Кирилловичем все приближенные нарышкинской партии. Тут были, кроме отца царицы Кирилла Полуэктовича и брата Ивана Кирилловича, патриарх Иоаким, боярин Артамон Сергеич Матвеев, князь Михаил Юрьич Долгорукий, князь Михаил Алегукович Черкасский, боярин Петр Михайлович Салтыков и другие.

Совещание началось заявлением Артамона Сергеича о вчерашнем предложении, царевны Софьи.

Предложение царевны было отвергнуто всеми с негодованием. По общему единодушному мнению, уступка престола царем Петром Алексеевичем была бы нарушением законного порядка и что всякая попытка на осуществление предложения силою должна считаться, после торжественного избрания и объявления царем Петра, после данной ему от всех чинов и обывателей московских присяги, — должна считаться мятежом и бунтом.

— Но царевна ссылается на волнения и требования народа, — начал боярин Матвеев, — не может никто указать, на

какие волнения и требования намекала царевна, откуда выходят эти требования и какие поэтому надо взять меры. А я с своей стороны, — продолжал боярин, — не слыхал ни о каких волнениях, кроме буянства стрельцов.

— По сведениям, доставленным мне пятисотенным Сухаревского полка Бурмистровым, одним из самых преданных слуг законного царя, — отвечал князь Михаил Юрьич Долгорукий, особенно отчеканивая слова «законного царя», — стрельцы почти всех полков чуть не каждую ночь собираются в своих съезжих избах кругами, пьянствуют и болтают разный вздор. Какие-то зловредные люди распустили между ними слух, будто родственники царицы замыслили всех их извести, будто царевич Иван Алексеевич отказался по принуждению от престола. Рассказывают, будто на днях Иван Кириллыч надевал на себя царскую корону, что будто бы видела царевна Софья Алексеевна и царица Марфа Матвеевна; царевна и царица упрекали его, а он в озлоблении бросился на Ивана Алексеевича, и чуть не задушил его. Вздор, о котором не стоит и говорить, и которому верит разве только одна пьяная сволочь.

— А давно ли, князь, начались эти слухи? — спросил Матвеев.

— Недели с две.

— И ты, князь, ни разу не доложил об них царице?

— Зачем мне было тревожить государыню разным вздором, болтовней пьяных.

— Но этими пьяными, князь, управляют трезвые головы, они составляют силу, способную погубить царя, царицу и всех нас.

— И... полно, Артамон Сергеич. Не след бывшему стрелецкому голове и начальнику стрелецкому трусить пьяной толпы...

— Теперь, когда мы знаем, откуда идет гроза, надо обсудить, каким путем отворотить ее, — продолжал Матвеев.

— По-моему, — отозвался Михаил Юрьич, — с пьяной толпой справиться трудно, но если мятежники действительно окажутся силой и покусятся на царский дворец, так мы можем отразить их тоже силой: у нас преданный Сухаревский полк, Бутырский и Стремяной. С этими полками мы можем запереть

все входы в Кремль и держаться до прибытия подкреплений. А между тем мы сейчас же можем разослать гонцов с призывом по ближним воеводствам, ратного ополчения. Тогда это ополчение ударит на мятежников с тыла, и мы одновременно сделаем вылазку из Кремля. Ручаюсь — не спасется ни одна голова.

— Твое мнение хорошо, князь, — возразил Артамон Сергеич, — но подумай только: ратное ополчение собирается медленно, можем ли мы с двумя, много тремя полками, и то, вероятно, неполными, так как и в их числе найдутся изменники, продержаться долго в Кремле, держа караулы при всех выходах? Поэтому, по моему бы мнению, к такому средству можно, прибегнуть только в крайности... предварительно же надо испытать другие меры. Может, удастся избежать кровопролития.

— А какие средства пригодны по-твоему, Артамон Сергеич? — спросил боярин Салтыков.

— Пусть Михаил Юрьич через преданных стрельцов Сухаревского полка узнает, кто зачинщики мятежа и кем разносятся нелепые слухи. Узнав их, мы можем призвать их, убедить в нелепости наговоров и привлечь на свою сторону. Полезно было бы святейшему патриарху послать в стрелецкие слободы надежных отцов для увещевания и вразумления.

— Поможет ли это, боярин? — заметил патриарх. — В полках стрелецких появилось много раскольников после возвращения из астраханского похода на Стеньку Разина. Лучшие стрельцы оставлены там, в Астрахани, и сюда прислано много людей буйных и еретиков.

— Узнав главных вожаков, — продолжал боярин Матвеев, — и перетянув если не всех, то некоторых из них, мы разрушим единодушие и во всяком случае замедлим мятеж, а тем временем соберется ратное ополчение. А как твое мнение, царица?

— По мне, — отвечала Наталья Кирилловна, — нужно все сделать, чтобы только кровь не лилась. Впрочем, я во всем полагаюсь на вас, бояре.

— Не мешало бы, — отозвался князь Долгорукий, — запретить отпуск вина с отдаточного двора для стрельцов.

— Это бы хорошо, — возразил боярин Салтыков, — да трудно выполнить. Они могут получать вино не прямо с отдаточного двора, а от своих знакомцев, да, вероятно, у них есть и свои запасы.

Наконец после долгих прений и рассуждений положено было принять оба мнения: и боярина Матвеева, и князя Долгорукого, то есть при неуспешности предварительных мер, в случае крайности действовать энергически согласно мнению Михаила Юрьича.

Близилось к полудню. Собрание предполагало было расходиться, как вдруг послышался набат в ближайших к Кремлю церквях и вслед за тем отдаленный барабанный бой.

— Как? Что такое? Отчего? — спрашивала царица и бояре друг друга.

— На полдень, государыня, — сказал князь Черкасский, подходя к окну, — видна не то туча, не то пыль, и оттуда несется гул какой-то.

— Узнай, Артамон Сергеич, — распорядилась Наталья Кирилловна, — и распорядись как нужно.

Матвеев вышел.

Через несколько минут он воротился бледный и расстроенный.

— Поздно, государыня, — сказал он. — На лестнице встретили меня князь Федор Семеныч Урусов, подполковники Горюшкин с Дохтуровым и передали мне, будто мятежники стрельцы еще ранним утром вышли из своих слобод при пушечных снарядах, прошли Земляной и Белый город, отслужили молебен в Китай-городе у Знаменского монастыря и теперь подходят к Кремлю. Стрельцы пьяны... кричат: «Всем Нарышкиным отомстим за смерть царевича Ивана!» Им кто-то наказывал, будто царевича убили... Я велел запереть все кремлевские ворота.

— А я прикажу построиться в боевой порядок очередным караульным стрельцам при дворце. — Михаил Юрьич вышел из палаты и, приказав полсотне Сухаревского полка, стоявшей в тот день на карауле, быть наготове, сам воротился к царице.

Но отданные приказания не могли быть исполнены. Громадные толпы пьяных стрельцов успели ворваться в Кремль и окружить Красное крыльцо. Звуки набата на Ивановской колокольне, бой барабанов, неистовые крики и проклятия, гул и треск наводили невольный ужас. Царица бросилась к образам и казалась в отчаянии, губы ее шевелились, но из них вылетали только неопределенные звуки, молящие, скорбные звуки, не слагавшиеся в слова молитвы.

Все присутствующие, кроме царицы, стояли у окон.

— Посмотри, Михаил Юрьич, — говорил князь Черкасский, — с какой яростью лезут стрельцы на крыльцо. Они ломают решетку.

— Государыня, — сказал подполковник Дохтуров, входя в палату, — бунтовщики думают, будто царевич Иван Алексеевич убит, если б показать им царевича...

В это время вошел Кирилл Полуэктович, держа за руки царя Петра Алексеевича и царевича Ивана.

— Вот, дочь моя, я привел к тебе твою силу и защиту.

Все бояре решили немедленно же показать обоих братьев разъяренной толпе и, видимо, обличить ложь. С мужеством отчаяния, доведенного до крайнего предела, царица взяла обоих братьев и в сопровождении патриарха и всех бояр вывела их на Красное крыльцо.

Выставленных на показ царевича и царя вмиг окружила толпа, перелезшая через перила. Шестнадцатилетний больной царевич дрожал от испуга, бледное лицо еще более помертвело, а загноившиеся подслеповатые глазки беспрерывно моргали от напиравших слез. Иначе действовал испуг на ребенка Петра. Глаза его смело смотрели на пьяную, бесчисленную, ревущую перед ним толпу, и только легкое подергивание личных нервов, явление, выразившееся у него и впоследствии всегда при сильных ощущениях, указывало на коренное нравственное потрясение.

— Ты ли это, царевич Иван, — спрашивали старшего царевича многие из стрельцов, бесцеремонно ощупывая его руками.

Аз есмь, — отвечал он, — жив и никем не обижен.

— Как же, братцы, стало, нас обманули, царевич-то здоров и не обижен, — говорили в передовых рядах стрельцы и попятились назад. Крики смолкли, — наступила минута недоумения и нерешительности.

Царица увела братьев в палаты, а оставшиеся на крыльце патриарх и боярин Матвеев старались воспользоваться благоприятной минутой и уговорить стрельцов. Боярин напомнил то время, когда он был их головой при покойном царе Алексее Михайловиче, как он делил с ними одну хлеб-соль, горе и радость, как за них всегда стоял грудью, любил их, как детей своих.

— Тогда вы верили мне, братцы, верьте же и теперь. Злые люди смутили вас, насажали неправду, как вы и сами убедились, с умыслом обольстить вас... отвести от крестного целования... Но стрельцы никогда не были изменниками, они всегда были за правое дело... за избранного, венчанного царя. Успокойтесь же, братцы, и с миром разойдитесь по домам. Вы не виноваты... Царица вас любит и прощает... Никто не имеет против вас ничего, и никто не желает вам никакого лиха.

Речь боярина произвела, видимо, сильное впечатление на стрельцов.

— А что ж, ребята, — слышалось в рядах, — боярин-то правду сказал, не разойтись ли нам по домам.

Передние ряды отступали.

Это был решительный момент, и им-то боярин Матвеев не сумел воспользоваться. Вместо того, чтоб остаться и лично руководить выходом стрельцов из Кремля, он, обрадованный успехом, поспешил уйти во дворец объявить добрые вести беспокоившейся царице. Его удаление дало возможность сторонникам царевны дать делу иной оборот.

— Не слушайте его, — стали кричать в задних рядах. — Известно... он из нарышкинских. Разве царица Марфа Матвеевна и царевна Софья Алексеевна не видели сами, как Ивашка Нарышкинский надевал корону, надругался над царевичем и чуть не задушил его. Нынче надругался, завтра изведут. Потом и нас всех изведут. Смерть Нарышкиным! Режь их!

И тысячные толпы снова бросились на Красное крыльцо.

Вдруг они остановились. На крыльце стоял князь Михаил Юрьич Долгорукий с обнаженной саблей.

— Прочь, изменники, бунтовщики! Первого, кто взойдет — разрублю! — прогремел звучный голос князя.

Отчаянная решимость и твердая воля ошеломила толпу и остановила ее на минуту. Несколько человек бросились на князя. Передовой из них скатился с разрубленной головой, второй тоже упал раненый, но третьему удалось ударить князя копьем так ловко, что тот пошатнулся и упал. Тотчас же на него бросилась масса, схватила на руки, раздела, подняла на вершину крыльца и оттуда с силой бросила вниз на копья стрельцов. Грузное тело князя пронзилось остриями копий, и ручьи крови, сбегав с древок, обагрили руки.

— Любо ли? — кричали сверху.

— Любо! Любо! — отвечали снизу.

Сбросив тело князя с копий на землю, толпа рассекла его бердышами на куски. Это была первая, но не последняя жертва первого кровавого дня. Страсть дикого, хищного животного пробудилась в человеке от запаха крови.

В это время другая толпа стрельцов ворвалась во дворец через сени Грановитой палаты и, обежав комнаты, увидела боярина Матвеева в спальне царицы.

— Берите его: он из тех! — закричал, видимо, руководивший толпой.

— Оставьте его, моего благодетеля, второго отца, берите, что хотите, но не трогайте его! — молила царица, не выпуская из своих рук Матвеева.

— Тащите его, кончайте, как велено, — приказывал тот же голос, и стрельцы вырвали Матвеева из рук царицы и перенесли в другую комнату.

— Прочь! — На выручку Матвеева бросился князь Черкасский с обнаженной саблей, но эта помощь одного человека была слишком ничтожна. Раненный в плечо, пикой, Черкасский упал, а Матвеева вынесли на Красное крыльцо, где, раскачав, как и князя Долгорукого, бросили вниз на копья с тем

же криком «любо ли» сверху и с тем же откликом «любо, любо» — внизу.

В это время часть стрельцов, находившихся на площади, схватила между патриаршим двором и Чудовым монастырем боярина князя Григория Григорьевича Ромадановского и «ведуще его за власы браду зело ругательно терзаху и по лицу бивше» — подняли против разряда вверх на копья и потом, сбросив, всего изрубили; сына же его Андрея освободили, вспомнив его долгий мучительный плен у татар.

— Во дворец, во дворец! — кричали рассвирепевшие стрельцы. — Ищите изменников Нарышкиных! — И дворец наполнился толпами по всем палатам. Царица с сыном Петром и царевичем Иваном удалилась в Грановитую палату.

Обегая комнаты, мятежники нашли подполковников Горюшкина и Дохтурова и изрубили их бердышами, у которых для более свободного действия окоротили древки еще перед выходом из слобод.

В одной из палат они отыскивали стольника Федора Петровича Салтыкова.

— Кто ты? — допрашивали его убийцы.

Молодой человек от испуга не мог отвечать.

— Молчит — ну так, стало, изменник, — и юноша упал под секирой.

— Сын мой, сын мой! — вскричал несчастный отец, Петр Михайлович Салтыков, вбегая в этот момент в комнату и бросаясь на окровавленный труп сына.

— Так он не Афанасий Нарышкин? Ну ошиблись, извини... по спешности... боярин. А сам-то ты кто? Салтыков? Записан... надо покончить!

И труп отца свалился на труп сына; отец пережил сына только несколькими минутами.

Убийцы искали Ивана и Афанасия Нарышкиных. Перебегая из комнаты в комнату, один из них заметил спрятавшегося под столом человека.

— Вылезай, проклятый, а не то приколю к стене!

Вылез карлик царицы Натальи Кирилловны Фомка Хомяков.

— Говори, кукла, куда спрятались Иван да Афанасий Нарышкины? — допрашивали стрельцы.

— Где спрятался Иван — не знаю, а Афанасия указать могу; он в церкви Воскресения на сенях.

— Туда, братцы! Идем!

Отыскали пономаря и заставили его отпереть церковь, где действительно укрывался Афанасий Нарышкин.

Этот юный брат царицы мог быть обвинен разве только в одном преступлении: быть Нарышкиным. Отказавшись от боярства и считаясь только комнатным спальником, он не вмешивался в государственные дела и деятельность свою исключительно посвятил благотворительности. Услыхав об участии Матвеева и Долгорукого, он поспешил к священнику церкви Воскресения на сенях и там, исповедавшись и причастившись, приготовился встретить смерть безропотно. Только настоятельные просьбы священника заставили его согласиться укрыть себя в алтаре под престолом. К несчастью, в это время проходил мимо карлик Хомяков. Он заметил вход в церковь священника вместе с Афанасием Нарышкиным и выход оттуда уже только одного священника.

Не найдя жертвы ни в церкви, ни в алтаре, стрельцы решились было выходить, когда один из них, просунув под престол пику, скользнувшую по кафтану Нарышкина, приподнял ею покров престола.

— А... вот где он — изменник! — И вся толпа, в одно мгновение бросившись к жертве, вытащила ее из-под престола, и положив на церковный порог, как на плаху, отсекала голову. Затем, разрубив тело на части, окровавленными кусками сбросила на площадь.

Принялись отыскивать Ивана Нарышкина, но во дворце его нигде не нашли. Оставив дворец, мятежники рассыпались по всему городу, разбивая кружалы, пьянствуя, грабя, впрочем, только дома одних убитых бояр и отыскивая тех, которые скрывались и которые числились в *списках*. Тогда погибли укрывавшиеся в домах своих родственник царицы комнатный стольник Иван Фомич Нарышкин, дом которого находился за Москвою-рекою, думный дворянин Илларион Иванов и другие.

Вечером этого же кровавого дня бродячие по городу толпы разбили приказы судный и холопий, разломали находившиеся там сундуки и истребили дела кабальные и разного рода записи.

— Всем слугам боярским дана от нас полная воля на все стороны! — кричали мятежники.

Предоставляя таким образом боярским холопам полную свободу, стрельцы надеялись на поддержку их против бояр. Но холопы не приняли никакого участия в мятеже и даже во многих случаях выказывали высокую преданность господам.

Наконец вечером, после солнечного заката, оставив в Кремле у всех выходов значительные караулы, стрельцы вернулись в свои слободы.

Коротки майские ночи. Одна заря сменяет другую, освещая мерцающим светом окровавленные трупы, разбросанные члены и куски человеческого мяса. Опустели площади. Кто и не спал, все-таки поглубже упрятался дома. Только не боится юродивый Федюша. И ходит он по площадям, всматриваясь в тела и ворча свою непонятную речь.

Глава VIII

Те же страшные сцены бесчеловечных убийств и истязаний на другой день 16 мая с раннего утра. Проходя по главной улице Белого города мимо дома князя Юрия Алексеевича Долгорукого, отца убитого накануне Михаила Юрьича, толпа стрельцов ворвалась в дом. Восьмидесятилетний старик, огорченный смертью сына, лежал больной. Действительно ли из сострадания к горю отца или притворно, но только стрельцы на коленях просили прощения у старого князя, оправдываясь в убийстве ослеплением раздражения.

Старик, по-видимому, чистосердечно простил убийц в приказал отпереть для них погреб с вином. Но в то время, когда стрельцы перепились, один из боярских холопов передал им, будто старый князь, получив известие о смерти сына, выразился: «Щуку убили, да зубы остались... придет время... перевешают бунтовщиков по всем зубцам городских стен». Злодеи рассвирепели, бросились в комнаты и, стащив старика с

постели за седые волосы на двор, убили и бросили на навозную кучу. Потом, захватив в кухне приготовляемую к обеду рыбу, кинули ее на грудь убитого.

— Вот тебе щука! Вот тебе зубы!

В этот день, как и в предшествующий, главные силы стрельцов сосредоточивались около Кремля. Оставался еще в живых один из главных намеченных жертв — Иван Кириллович.

С открытия мятежа отец царицы Кирилл Полуэктович и брат Иван Кириллович в продолжении всего дня скрывались в одной потайной комнате подле спальни царицы, где и провели тревожную ночь. На другой день, из опасения другого, более тщательного обыска царского дворца царевна Марья Алексеевна, старшая из царевен, предложила царице перевести их в ее деревянный дворец, подле патриаршего двора, куда трудно было добраться, не зная всех переходов, темных сеней и лестниц. Нарышкины перешли туда.

Опасения оправдались. Прибывшие 16 мая к дворцу стрельцы произвели более тщательный поиск, осматривали подробно все комнаты и тайники, перевортывали постели, сундуки, пробуя в глухих местах копьями. Однако же и теперь все поиски оказались бесплодными.

Напрасно кравчий князь Борис Алексеевич Голицын уверял их, будто Иван Кириллович уехал из Москвы. Стрельцы не верили и, собравшись на Красном крыльце, вызвали к себе бояр.

— Передайте царице, — кричали они, — что если завтра не будет выдан изменник Ивашка, то все будут изрублены и дворец сожжен.

После этого мятежники с прежними предосторожностями оставили Кремль.

На третий день, то есть 17 мая, снова раздался зловещий набат и барабанный бой, и снова вся кремлевская площадь наполнилась мятежниками, но только крики их теперь стали грознее и требования настоятельнее.

В страшной тревоге собрались бояре в палатах царицы. Каждый в тайном уголке своего сердца желал избежать личной опасности от дальнейшего укрывательства Ивана Кирилловича,

но никто не решался выразить открыто своего желания. Более откровенной выказалась царевна.

— Матушка царица! — сказала она, неожиданно входя в палату. — Стрельцы требуют выдачи Ивана Кириллыча, они грозятся всех изрубить и сжечь дворец.

— Я готов! — вдруг послышался в дверях голос Ивана Кирилловича.

Странное впечатление произвело неожиданное появление молодого человека. Недоумение, сожаление и вместе с тем радость можно было прочесть почти на всех лицах бояр. Царица онемела от горя и отчаяния. Все молчали. Первая пришла в себя царевна:

— Ты жертвуешь собой за всех нас, дядюшка. Жизнь твоя спасет царство, и я завидую тебе...

И в первый раз еще в душе царевны шевельнулось непривычное чувство, так резко противоположное прошлому, мягкое чувство, как будто симпатия к одному из всего ненавистного рода Нарышкиных.

— Я желал бы только, — сказал Иван Кириллович, — прежде, чем явиться к ним, выслушать последнее христианское напутствие.

Царевна поспешила послать к стрельцам оповестить, что требуемый ими Нарышкин передается им после обедни в дворцовой церкви Спаса Нерукотворенного.

В церковь отправились, кроме самого Нарышкина, царицы Натальи Кирилловны, царевны Софьи и бояр, множество стрельцов, стороживших жертву. После исповеди началась литургия — последняя литургия для несчастного. Теперь только стали совершенно понятными для него, добровольно предававшего себя за спасение других, божественные слова Спасителя об искуплении. Жадно вслушивался он в эти слова, и высокая тайна самоотвержения вливалась в его душу чувство успокоения. Но и в эти последние минуты земная жизнь мгновениями брала свое: мелькали и неуловимо следовали одно за другим представления пережитого, и детские годы, и страстные увлечения юности, и полное гордой надежды

будущее. В один час сконцентрировалась вся человеческая жизнь.

Под тяжелым впечатлением важности последнего часа священнодействие проникалось особенным благоговением: понятно и выразительно выговаривались пресвитером слова Спасителя, гармонически-сладко звучали песни и славословия хора. С каким глубоким значением повторялись теперь в душе несчастного слова «да будет воля Твоя» и «остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». И от всего сердца простил он теперь долги своим должникам, мало того, что простил, он просил, он молился за них. Наступило высокое таинство общения с Богом с призывом: «со страхом Божиим и верою приступите». Совершилось таинственное общение, и отразилось оно во всем существе человека. Беспредельною любовью осветился взор, бесконечной приветливостью очертились уста. Легко на сердце, нет и следа животного страха.

Обедня кончилась. Настала последняя и самая тяжкая минута прощания с близкими. Царица-сестра, казалось, потеряла сознание. Она смотрела на любимца брата, обвила руками вокруг его шеи и замерла.

Вошел боярин князь Яков Никитич Одоевский.

— Государыня, — сказал он с необычной торопливостью, — стрельцы там... внизу торопят... раздражены... грозят всех изрубить... — Но не слыхала царица слов Одоевского, по-прежнему смотрела она на брата, по-прежнему рука ее судорожно обвивала его шею.

— Ну, прощай, сестра, не мучь себя, — сказал он, с усилием вырываясь из рук сестры, — мне не страшно... готов... помни и молись обо мне...

Какое впечатление произвела эта раздирающая сцена на душу царевны Софьи? Пробудившаяся симпатия в душе ее достигла даже до реального осуществления настолько, насколько способно было это чувство уместиться с ее честолюбивыми стремлениями. Она подошла к иконостасу, взяла с налоя икону Божией матери и; отдавая ее царице, сказала:

— Передай этот образ брату, может быть, при виде его стрельцы смягчатся и он спасется от смерти. — Слова эти, сказанные громко и с особенным ударением, очевидно, предназначались мятежникам.

Приняв образ, Иван Кириллович спокойно пошел к дверям золотой решетки в сопровождении царицы и царевны. Внушительный намек царевны не остался бесплодным. Молодой человек не был растерзан, как его предшественники, но тем не менее участь его еще более отягчилась. Ожидавшие у золотой решетки стрельцы взяли его из рук сестры и племянницы, вывели из Кремля и повели в Константиновский застенок.

Там за столом с свертками бумаг сидел подьячий, один из преданных и усердных слуг царевны.

Начался допрос — с *пристрастием*.

— Признавайся, боярин, — допрашивал подьячий, — замышлял ли извести благоверного царевича Иоанна Алексеевича? Не сознаешься?.. Надо пытаться...

Жестокие страдания от пытки измучили страдальца, но не привели к сознанию в ложном обвинении.

— Опять не сознаешься в злом умысле? Молчишь? Впрочем, молчание можно принять и за сознание. Ну, так дальше... Надевал ли на себя царскую порфиру? Молчит... стало, согласен, сознался... Соображая же теперь твою государеву измену, доказанную собственным сознанием, с силою 2-й статьи главы II Уложения ты подлежишь смертной казни.

Станный суд и достойный его приговор, на законность или незаконность которого никто не обращал никакого внимания.

Стрельцы повели осужденного к Красной площади.

В это время к Константиновскому застенку привели еще нового преступника, одетого в лохмотья доктора Стефана Гадена. По рассказам прибывших, они поймали его переодетого нищим в немецкой слободе и хотели было тут же покончить, да он, чернокнижник, запросил суда.

— Какой суд чернокнижнику! — заревели стоявшие кругом стрельцы, — все мы знаем, как он яблоком отравил покойного

государя царя Федора Алексеевича! На Красную его!

Нарышкина и Гадена повели обоих на место казни.

Красная площадь в те дни служила главным средоточием злодейств. На ней по преимуществу совершались казни, и на нее же приносили и сваливали тела тех бояр, которые были убиты в Кремле.

— Дорогу! Дорогу боярину! — кричали с хохотом стрельцы, волоча через Никольские или Спасские ворота обезображенные трупы, — Едет боярин, кланяйтесь его чести!

Приведя с ругательствами на площадь Нарышкина и Гадена, стрельцы раздели их, подняли на копья и, сбросив на землю, разрубили по членам. Отсеченные головы подняли на пики.

В эту минуту прибежал на площадь старик отец Кирилл Полуэктович. Утомленный предшествующей бессонной ночью, он заснул в скрытом тайнике царевны Марьи Алексеевны, куда был отведен вместе с сыном Иваном., Этим-то сном и воспользовался сын, добровольно отдаваясь в руки убийц.

Проснувшись, отец догадался о поступке сына, бросился искать его и вот, прибежав на площадь, увидел на копье голову любимца.

Старик лишился чувств.

— Поднимите-ка и его, братцы, что ему горевать, — заговорили было некоторые стрельцы.

— Нет, братцы, — отвечали другие, — кончать его не указано. — И после небольшого совещания старика отправили в Чудов монастырь, где потом архимандрит Адриан постриг его в монашество под именем Киприяна. Вскоре несчастный отец перевезен был на покой в Кириллов монастырь на Бело-озеро.

В эти дни погибли также боярин Иван Максимович Языков, скрывшийся было в доме священника церкви св. Николая на Хлыпове, но, преданный холопом, Василий Филимонович Нарышкин, сын доктора Гадена, думный дьяк Аверкий Кириллов — заведовавший приказом большого прихода, доктор Гутменш и другие. Всего же в эти дни погибло шестьдесят семь жертв, следовательно, одиннадцатью жертвами более, чем значилось в списке, переданном Милославским стрелецким полковникам.

Нарышкинская партия обессилена; крупные ее представители — Артамон Сергеич, опасный по опытности государственной, и Иван Кириллыч, опасный по энергии и смелости, — исчезли — исчезли также и все влиятельные бояре этой партии. С казнью Ивана Кириллыча задача мятежа выполнена, и дальнейшее продолжение не имело бы смысла. И действительно, вечером после убийства Ивана Нарышкина стрельцы воротились в свои слободы, не оставив в Кремле значительных сторожевых постов. Правда, в Москве еще не водворилось спокойствие, бродячие шайки все еще шатались по улицам, грабя, пьянствуя и распевая непристойные песни, это были эпилоги кровавой драмы.

Первая главная часть задуманного дела выполнена: Нарышкиных нет, но тем не менее на престоле оставалась отрасль Нарышкиных — царь Петр Алексеевичу Необходимо было если не совершенно отстранить, то по крайней мере совместить с его законным правом еще более веское право первородства, право царевича Ивана Алексеевича.

Царица Наталья дрожала, уединившись в дворец, боясь разлуки с сыном, боясь насильственного заключения в монастыре, дрожали и бояре, попрятавшись в своих хоромах, заперлись посадские и торговые люди; закрыв свои лавки и торговые помещения, на улицах редко можно было видеть прохожего не стрельца — разве уж только выгоняла самая крайняя нужда. Не боялась стрельцов, не пугалась их буйства одна только царевна Софья. Напротив, она смело распоряжалась, и они в ее руках делались верными, хоть и не всегда послушными орудиями. Среди неистовой, буйной толпы мятежников видел ее датский резидент Бутелант фон Розенбуш, и лично сам слышал этот резидент, как князь Иван Андреич Хованский спрашивал царевну, не изгнать ли Наталью Кирилловну из царского дворца. Этот же резидент в донесении своему двору объясняет свое опасение от ярости стрельцов, принявшего его за лекаря Даниила, только объявлением его проводников, что он посланный и говорил с царевной.

И благодарил же царевна Софья Алексеевна стрельцов за верную службу. Не успел еще кончиться мятеж), как каждый из

стрельцов получил по 10 рублей, если не более, так как в награду им истратилась огромная сумма, какая могла только набраться в то время, и весь стрелецкий корпус получил почетное название надворной пехоты, в начальники которой назначен любимый ими князь Иван Андреич Хованский.

Опираясь на такую силу, царевна могла смело идти вперед — и она пошла. Тотчас же после мятежа забегала по стрелецким слободам доверенная ее постельница Родимица с тайными поручениями и приказаниями: результат этих посещений не замедлил обнаружиться.

Не прошло недели (23 мая), как явились во дворец выборные от стрелецкого войска, объявившие через своего начальника Хованского желание свое и чинов Московского государства видеть на престоле обоих братьев. При этом в челобитной своей добавляли, «если же кто воспротивится тому, они придут опять с оружием и будет мятеж немалый». Стрельцы стали понимать свою решающую силу и стали пользоваться ею сначала по указаниям сверху, а потом и по собственной воле.

Для рассмотрения требования стрельцов собралась Государева Дума, которая, не смея противоречить, определила собрать для решения вопроса собор, пригласив к участию выборных из всех сословий. Собравшийся собор, приняв в руководство примеры разделения власти между двумя лицами из византийской истории, решил совместное царствование, обоих братьев, а патриарх с духовенством, отслужив торжественное в Успенском соборе благодарственное молебствие, благословил на царство обоих братьев — Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича.

Новое изменение составляло, очевидно, только переходный шаг, так как оно по слабости и болезненности Ивана Алексеевича не изменяло сущности дела. И вот не далее как через день (25 мая) снова в Кремль явились выборные от стрельцов по одному от каждого полка «для устройства порядка в государстве». Этот порядок заключался в назначении первым царем Ивана Алексеевича, а вторым уже — Петра Алексеевича. Послушный воле стрельцов, новый собор 26 мая утвердил этот

порядок, и цари снова приняли поздравление от всех чинов, несмотря на пассивный протест со стороны Ивана Алексеевича.

Заручившись в этих определениях твердой почвой, царица Софья Алексеевна решительнее двинулась далее. 29 мая стрельцы объявили Государевой Думе новую свою волю, чтоб правительство по болезненному состоянию старшего царя и по малолетству второго было вручено их сестре Софье Алексеевне. Исполняя эту волю, цари и царицы, патриарх и бояре обратились к царице Софье с молением о принятии на себя правления царством. Долго отказывалась царица, долго не соглашалась на *общее* желание и только после продолжительных общих настойчивых просьб согласилась наконец взять себе управление государственными делами. «Для совершенного уже утверждения и постоянной крепости» новая правительница повелела во всех указах имя свое писать с именами государей, ограничиваясь титулом великой государыни, благоверной царицы и великой княжны Софьи Алексеевны.

Глава IX

В богато убранной шелком, парчой и золотом рабочей палате царского дворца правительницы царицы Софьи Алексеевны докладывали два боярина — Иван Михайлович Милославский и князь Иван Андреевич Хованский.

Новый начальник стрельцов, Иван Андреевич, мог по справедливости назваться типом боярской сановитости того времени. Далеко еще не старый (ему было под пятьдесят), он обладал хорошим физическим (развитием, а густые с проседью волосы, длинная, окладистая, полуседедая борода, густые, темные, полунахмуренные брови, блестящие черные глаза, правильный орлиный нос, суровое и важное выражение всей фигуры заметно выделяли его в среде опухлых и расплывшихся от жира бояр. Это был цельный представитель старой жизни с ее замкнутостью, фанатизмом и беспредельным тщеславием. Не обладая обширным умом, остававшийся от стрелецкого мятежа постоянно в тени и обязанный настоящим высоким

положением дружбе с Милославским и преданности интересам царевны, он с замечательной наивностью тотчас же нашел себя не только в уровне с передовыми людьми, но даже выше их, нашел себя вдруг и достойным и способным стать в главе государственного движения из того только, что стал в главе всерешающей грубой силы. Впрочем, такие типы еще не редкость и в наше время, но только в скорлупе более элегантной.

— Не скупись, государыня, — говорил он царевне, — стрельцы служили тебе верой и правдой... отблагодари и ты их по-царски. Они тебе пригодятся и впредь...

Легким движением сдвинулась морщинка на лбу правительницы., неприятное впечатление произвело на нее это напоминание, как напоминание старого долга, долга еще не оплаченного и с которым сливается и напоминание и нечистого дела, породившего заем.

— Я готова награждать по-царски за заслуги, оказанные государству, но я замечаю, князь, — и в медленном тоне царевны слышалось особенное ударение, — что ты пришиваешь к государственным делам какие-то личные счета, которых не было и не могло быть. Стрельцы были недовольны неслыханными притеснениями и корыстием своих начальных людей, как были недовольны посадские взятками почти во всех приказах... стрельцы видели, как их начальных людей поддерживают и покрывают временщики Нарышкины, злобились на них и опасались, как бы эти временщики, повыскакивавшие в бояре чуть не с пеленок, не укрепились еще больше за своим родичем — ребенком и не извели бы сначала царевича Ивана, а потом и их самих. Но лично мне их мятеж принес нежеланную тягость. Видя общее настроение, шатость и повсюду зло, я против воли своей согласилась на общие моления править государством по моему разуму и по совету, — прибавила она с ласковой улыбкой, — опытных и преданных мне слуг... твоих, например, вот боярина Ивана Михайловича... Василия Васильича.

Во все продолжение внушительной речи Иван Михайлович, казалось, весь погружен был сосредоточенным

рассматриванием узорчато-отчеканенной большой серебряной чернильницы в виде глобуса на столе правительницы.

— Но, царевна, разве освободить народ от притеснителей — не заслуга, разве не должна быть награждена? Разве не должны мы все сделать, чтоб успокоить волнение и шатость умов? — сказал князь Хованский, насупливая еще более густые брови.

— Боярин, — сказала правительница, обращаясь к Милославскому, — укажи нам, какие награды даны стрельцам.

— Первая награда, государыня, именоваться впредь вместо стрельцов — надворной пехотой, вторая — выстроить каменный столб на Красной площади у лобного места, с прописанием преступлений избиенных. Потом жалованную грамотою 6 июня повелено: деяния стрельцов впредь называть побиением за дом Пресвятой Богородицы, воспрещено попрекать их изменниками и бунтовщиками. Затем от твоего доброго сердца, царевна, пожалованы им многие льготы, увеличено жалованье, служба в городах определена только в один год, строго воспрещено начальным людям назначать стрельцов на свои работы и наказывать телесно без царского указа, прощены разные недоимки, предоставлено право судиться с кем бы то ни было в своем стрелецком приказе, куда они могут приводить всякого, кто объявится в каком-либо *воровстве*, указано, чтоб во всех приказах дела их вершились без волокиты. А для временной награды деньгами ты, царевна, приказала стольнику князю Львову ехать в монастыри на Двине за монастырской казной да указала еще выслать таможенных и кабацких голов с деньгами в Москву.

— Что ж, князь, разве этих наград от меня мало? Чего ж ты хочешь еще?

— Стрельцы просят, царевна, дозволения о своих нуждах прямо просить тебя чрез своих выборных.

— Я согласна... но без особого указа. Все или еще что есть?

— Стрельцы просят даровать им самим своим судом взыскивать с своих начальных людей все несправедливо удержанные у них деньги и вычеты их жалованья.

— Об этом, князь, по-настоящему-то не должно быть и речи. Все долги свои стрельцы выколотили уж с полковников правезом, а позволять это и на будущее, значит, потакать своеволиям и буйствам. Впрочем, я подумаю... посоветуюсь... Все?

— Да вот еще, царевна, и на этом стрельцы особенно стоят. Большая часть стрельцов держится старой, истинной веры... Они желают просить тебя, царевна, дозволить им словопрение с патриархом о вере на площади. Так как они надеются уличить обманы новых толкований... то отменить неподобные меры, установленные покойным государем царем Федором Алексеевичем.

— А сколько, полагаешь, князь, раскольников в стрелецких полках?

— До подлинности сказать не умею, государыня, а только большая часть их держится старой веры, Вот на днях весь Титов полк положил единодушно взыскать старую веру...

— А как ты сам думаешь об этом, князь?

— По моему разуму, государыня, нужно уважить жалобу стрельцов. В словопрении обнаружится, которая сторона права, которая вера настоящая, истинная... тогда уничтожится всякое разномыслие.

Дело принимало серьезный оборот. Просвещенный ум царевны вполне понимал всю нелепость фанатического ослепления раскольников. По ее же мнению были сожжены всенародно главные ересиархи Аввакум и Лазарь, по ее же мнению установлены были жестокие меры сожжения в срубках против закоренелых раскольников, а теперь приходилось или стать самой против той же силы, которая подвела ее к престолу, или стать на стороне их, в ряды грубого бессмысленного фанатизма, видевшего в старом свой заветный идеал и с отвращением отталкивавшего всякое просвещенное стремление. Вопрос, поставленный князем, не допускал никакого примирения, никаких полумер и выжиданий. Она сама испытала, к чему может привести, когда управляющая сила в руках одних животных инстинктов.

— Я подумаю, князь, о твоём предложении, — ответила Софья Алексеевна после нескольких минут молчания. — Ты знаешь, как я ценю своих верных стрельцов... я желала бы оказать им милость, но в этом деле нужна осторожность... нельзя восстановить...

— Пока за тебя, государыня, стрельцы, тебе бояться нечего и некого. Подумай. Вот недели через две будут венчать на царство обоих государей... стрельцы боятся, как бы венчание не было по никоновскому чину. Нельзя ли, государыня, словопрение назначить до этого времени. Опасно раздражать стрельцов.

— Я не боялась и не боюсь стрельцов, князь, и теперь, когда у них любимый начальник, мой самый верный и преданный слуга и друг...

В голосе царевны слышались мягкость и добродушие, в глазах выражалось столько дружеской приветливости... опутала эта ласка сурового князя и верил он ей, как всегда охотно верится в счастливую будущность.

— Теперь прощай, князь, будь уверен в моём неизменном расположении. Успокой стрельцов. Да, чуть было не забыла спросить тебя: какие полки ты полагаешь назначить на службу по городам? Не Титов ли?

— Об этом не заботься, государыня, это мое дело и я распоряжусь *сам*, когда мне что будет нужно, — отвечал князь, низко откланиваясь царевне и гордо оглядев Милославского.

Собрался уходить и Иван Михайлович, но царевна, удержала его. Хованский вышел, бросив искоса суровый взгляд на оставшегося боярина.

— Ну, что скажешь? — спросила царевна, обращаясь с дружеской короткостью к родственнику. — Ведь по твоему совету я назначила стрелецким начальником Ивана Андреича.

— Вижу сам, государыня. Ошибся. Я знал его как человека недалёкого и тебе преданного, стало, самым подходящим. Не чаял я за ним такой гордости.

— Известно, чем глупей человек, тем больше думает о себе, тем больше в себе уверен. Да не в этом теперь дело... каяться поздно. Скажи — что делать?

— Зачем тебе, царевна, мой глупый совет, есть советники у тебя поопытней да поумней, к ним оборотись.

— На каких советников намекаешь, Иван Михайлович?

— Да вот хоть бы князь Василий Васильич. Не успела и осмотреться, как пожаловала его в ближние, да в оберегатели большой и малой печати. Он человек умный... советный. А мы что? Нам можно только лоб подставлять, а потом и в сторону...

— Грешно тебе, Иван Михайлович. Не из одного ли мы рода? Не одни ли у нас интересы?

— Куда уж мне, царевна, я и явился-то к тебе только попроситься.

— Как? Ты оставляешь меня на первых же порах? Ты уезжаешь? Куда? Надолго ли?

— Вотчины свои осмотреть, царевна. Давно в них не бывал, а главное — из Москвы нужно скорей выбраться.

— Отчего?

— Разве сама не видишь, каким зверем смотрит на меня князь Иван Андреич, а он теперь человек властный. Прикажет какому ни есть стрельцу — изведут ни за что, ни про что.

— Не осмелится.

— Он-то? Плохо же ты его знаешь, государыня. Если ты хочешь правды, так я тебе скажу, что настоящий-то государь он, а не ты.

Софья Алексеевна задумалась.

— Вот, государыня, ты не соизволила стрельцам самовольно расправляться с своими начальными людьми, а он без твоего разрешения дозволял, да и теперь запрета не наложит.

— Я властна его сменить... казнить...

— Властна? Нет, Софья. Алексеевна, власть-то у него, а не у тебя. Его стрельцы любят, родным отцом величают, за него головы готовы положить, а стрельцы ноне, сама знаешь, сила... ничего не поделаешь въявь.

— Я найду средства...

— Ну это другое дело, если успеешь вызвать его из Москвы, а здесь нельзя... стрельцы берегут.

— Я подумаю и... — хотела что-то добавить царевна и остановилась.

— Подумай, государыня, а меня теперь уволь.

— Ну как хочешь, Иван Михайлович, Прощай. В какую вотчину едешь?

— И сам еще не знаю, государыня. Встретится во мне надобность, так потрудись повестить на дом, там уж знают, где меня найти.

Царевна протянула ему руку. Иван Михайлович горячо поцеловал ее.

Глава X

Насмешливой улыбкой проводила уходившего боярина царевна. «Все они таковы, — думала она, — все они готовы есть друг друга, унижать, губить, всеми средствами очищать себе дорогу вперед. А к чему приводит эта дорога-то? Вот и мое желание исполнилось, а счастлива ли я? Я думала, какое будет счастье, когда унижу, уничтожу женщину, которая ввела в нашу семью раздор, которая отвратила от родных детей сердце отца и государя. Я достигла цели. Эта женщина сброшена, таится, никто в ней не ищет, ближние ее уничтожены. А счастлива ли я? Нет... я дошла до высоты, до которой не доходила еще ни одна женщина в Московском государстве... мне повинуются миллионы людей, мое слово может осчастливить, обогатить и уничтожить тысячи людей, моего взгляда ловят, в моей воле — воля земного бога, управляющего царством. Все это я знаю... чего же мне еще и куда мне идти? Я поведу мой народ к свету. Все силы мои будут посвящены этому полудикому, ко верному народу, я открою ему лучшую будущность, сведу его с другими народами, покажу ему, что значит просвещение, наука, искусства, имя мое будут благословлять в потомстве, я буду идти к моей цели твердо, и горе тем, Кто станет мне на дороге. Уж, конечно, я не побоюсь женщины без воли и силы или ребенка — товарища уличных мальчишек. Я не остановлюсь ни перед чем. Я теперь — судьба народа и останусь ею. А между тем, — и мысль ее снова перебежала к себе, — счастлива ли я?

Нет... При счастии я жила бы полною жизнью ума и сердца, не было бы тоски, не чувствовала бы себя одинокой... А разве я не люблю и разве меня не любят?.. Да любит... я счастлива его любовью... Только любовь ли это? не просто ли увлечение?»

И как будто ответом на этот вопрос вошел без доклада князь Василий Васильич Голицын. Князю было лет сорок, но по наружности казался моложавей, Среднего роста, стройный, с правильными, нерезкими чертами лица, с нежною белизною, с обычной приветливой улыбкой, с умным взглядом почти всегда полуопущенных глаз, он мог назваться еще красивым и привлечь внимание женщины.

— Не помешал тебе, царевна? — ровным голосом сказал князь, входя без торопливости и волнения.

— Ах, Васенька, Васенька! Можешь ли ты когда-нибудь помешать мне... — и Софья Алексеевна с необычной порывистостью поднялась к нему. Руки ее крепко обвили шею около шеи князя, и губы горячо прильнули к его губам.

— Я ждала тебя, Васенька, и задумалась. Отчего запоздал?

— Надо было повидаться с патриархом, условиться с ним, а потом распорядиться, моя дорогая, насчет церемонии венчания обоих царей 25 июня.

— Ты не ввел никаких перемен против прежних?

— Никаких. Я прочту тебе весь порядок: поутру все бояре соберутся, с окольными и думными дворянами у государей в Грановитой палате, а в сенях перед палатою будут находиться стольники, стряпчие, дворяне, дьяки и гости — в золотом платье. Государи прикажут мне, князю Голицыну, как оберегателю большой и малой государевой печати, принести с казенного двора животворящий крест и святые бармы Мономаха для царевича Иоанна и другие точно такие же, сделанные нарочно для царевича Петра. По принесении все эти царские утвари бояре отнесут на золотых блюдах под пеленами, униженными драгоценными камнями, в Успенский собор и передадут патриарху. В соборе же устроено будет против алтаря у задних столпов высокое чертожное место с двенадцатью ступенями, укрытое красным сукном. На чертожном месте поставлено будет двое кресел, обитых бархатом и украшенных камнями, а

налево кресло для патриарха. От чертожного места до алтаря с обеих сторон устроены будут две скамьи, покрытые золотыми персидскими коврами, для митрополитов, архиепископов и епископов. Когда бояре передадут царские утвари патриарху, он положит их на шести налоях, поставленных на амвоне, и пошлет меня с боярами звать царей в собор. Государь изволят идти в храм с Красного крыльца. Впереди государей пойдут окольные, думные дьяки, стольники, стряпчие, дворяне и протопоп с крестом в руке, окропляющий путь их святою водою, позади же государей будут следовать бояре, думные дворяне, дети боярские и всяких чинов люди, а по сторонам поодаль солдатские и стрелецкие полковники. Затем по правую и по левую руку от Красного крыльца будут стоять ряды стрельцов.

— Напрасно меня не вписал в церемонии, Васенька, — прервала царевна чтение. — Надо же народу привыкать видеть меня.

— Привыкнут, государыня, потом, а теперь не след нарушать установленный чин.

— По пришествии в храм, — продолжал чтение оберегатель, — государей встретит пение многолетия, после чего государь приложится к иконам, Спасовой ризе, мощам, и патриарх благословит их. После благословения, государь и патриарх сядут на места свои и спустя несколько времени, встав с патриархом, объявят ему, что желают быть венчаны на царство по примеру предков и по преданию святой восточной церкви. Тогда патриарх спросит их: как веруете и исповедуете Отца и Сына и Св. Духа, а государь скажут символ веры. После же сего патриарх благословит царей двумя животворящими крестами и, приняв с налоев царскую утварь, передаст ее государям, посадив их на царском месте при пении многолетия, и затем общий собор, а за ним бояре и все находящиеся в храме принесут свои поздравления, чем и окончится первая часть церемонии. Начнется литургия, в продолжении которой государь будут стоять на древнем царском месте в правой стороне собора, от которого места до царских врат послан будет алый бархатный ковер, шитый золотом. По этому пути государь приблизятся к царским вратам, а патриарх выйдет из

алтаря с митрополитом, который будет иметь золотое блюдо с святым мирром в хрустальном сосуде. Государи, приложась к Спасову образу, письма греческого царя Еммануила, к иконе Владимирской Божией матери, письма св. евангелиста Луки и к иконе Успения Богородицы, останутся перед царскими вратами, снимут венцы и отдадут как их, так скипетры и державы боярам. Совершив мирропомазание, патриарх велит двум ризничим и двум диаконам ввести государей в алтарь чрез царские врата, где подаст им с дискоса часть животворящего тела и потир с кровью Христовой. Причастившись Св. Таин, цари выйдут из алтаря и, получив от патриарха часть антидора, наденут венцы, возьмут скипетры и станут на свои прежние места. По совершении литургии государей поздравят с помазанием мирром и с принятием Св. Таин, а они пригласят патриарха, весь собор, бояр, окольных и думных дворян к своему государеву столу. При выходе царей из собора в венцах и бармах сибирские царевичи (Григорий и Василий Алексеевичи) осыпят их золотыми монетами. Из Успенского собора цари пойдут по устланному красному сукну в церковь Михаила Архангела приложиться к мощам св. Дмитрия царевича, к гробницам своих родителей и к прочим царского рода, а из церкви Михаила Архангела пройдут в церковь Благовещения Пресв. Богородицы приложиться и там к св. иконам и уже по выходе из церкви Благовещения возвратятся чрез постельное крыльцо в царские палаты... Как при выходе из Архангельской церкви, так и из Благовещенской те же сибирские царевичи будут осыпать государей золотом. Вот, царевна, весь обряд церемонии венчания, — закончил Василий Васильич. — Как ты прикажешь насчет обеденного стола? По-моему бы, быть трем столам: за особым столом сидеть государям и патриарху, за другим столом по левую руку митрополитам, архиепископам, епископам и всем священнослужителям, бывшим при венчании, а за третьим *кривым* столом, по правую руку, сидеть боярам, окольным и думным дворянам. Как же прикажешь, государыня, рассаживать бояр?

— Быть всем без мест, Василий Васильич.

— И я то же думал, только ты все-таки укажи, кому быть на первых местах.

— На первом, конечно, тебе, Василий, на втором пусть сядет Иван Михайлович, а на третьем князь Иван Андреич. Да, кстати, Васенька, перед тобой были Иван Михайлович да Иван Андреич. Иван Михайлыч собирается уехать в вотчины...

— Что так? Осерчал за посольский приказ да за оберегателя государевых печатей? На то была не моя воля...

Софья Алексеевна улыбнулась.

— Не опасайся, Вася, он сердится не на тебя, а на князя Ивана Андрейча.

— Об князе-то и я хотел доложить тебе. Превозносится уж выше меры. Вчера после совета напомнил я ему твое приказание насчет посылки стрелецких полков в Казань на обережение тамошних окраин, так он прямо отказал да в споре-то и говорит мне, что он-то и есть глава всему, что нечего ему кого слушать, что им только и держится Московское государство и что-де без него в Москве и теперь бы ходили по колени в крови.

— Иван Михайлыч уж докладывал мне. Надо бы, Вася, от него избавиться.

— Опасно, царевна. Около дома караулы стрелецкие берегут. Спускает он им всякие бесчинства. Вот хоть, бы насчет самовольных взысканий. Какому ни на есть стрельцу вздумается объявить на кого долг, так без всякого розыска тотчас того и тащат на правож. Навели такой страх по городу, что всякий боится за себя да за добро свое.

— Надо же, Вася, положить конец своеволию. Придумаем средство...

— По моему мнению, царевна, Ивана Андрейча нужно захватить не в Москве, а где-нибудь за городом да прежде тихомолком обезопасить себя ратным ополчением земских людей на случай, если б стрельцы задумали выручать его силой.

— Хорошо, князь, спасибо, я придумаю, как сделать.

— Об чем же тебе, царевна, докладывал князь Иван Андреич?

— Передал челобитную стрельцов о назначении всенародного словопрения с патриархом по вере, просил назначить этот день вскорости. Я хотела посоветоваться с тобой и ничего ему не сказала.

— Видишь что, дорогая моя царевна. Я слышал от верных людей, будто князь сам раскольник и хочет ввести снова прежние заблуждения. Он-то сам и мутит стрельцов. А с какой целью — доподлинно не знаю. Говорят, будто в этой смуте он замыслил сначала покончить патриарха, а потом будто и все царское семейство, кроме царевны Екатерины, Алексеевны, на которой задумал женить сына Андрея, а самому управлять государством. Не с этой ли целью он и торопит словопрением до царского венчания? Не отказать ли, государыня, вовсе в челобитной стрельцов?

— Нет, если я прямо откажу, так они повторят прежние смуты... лучше назначу словопрение после венчания, а тем временем придумаем, как обезопасить себя от стрельцов на будущее.

— Дело не очень мудреное, дорогая, если б удалось только отстранить князя. Тогда бы все ненадежные полки разослать по дальним городам и туда же бы перевести людей беспокойных из других полков. В начальники назначить людей сподручных, а главное, верного человека выбрать в начальники всего стрелецкого приказа.

— Верного человека, — задумчиво повторила царевна, — а где найдешь такого верного человека? На кого можно положиться-то?

— Знаю я такого человека, государыня моя, преданного тебе и неглупого: Федор Леонтьевич Шакловитый...

— Думного дьяка?

— Его самого, царевна.

— Молод... и рода невидного.

— Что молод-то, государыня, не порок. Ведь управиться с стрельцами — не старик нужен, а молодой, с свежими силами и смелый. А что незнатного рода — так это обезопасит от крамолы. Не стать из незнатного рода лезть в головы. Напротив, как обязанный всем тебе, он будет стоять за тебя верно. Да

посмотри-ка и на бояр-то наших... нетто люди? Спесь, чванство да дуровство одно...

— Правда твоя, Вася. Да он мне и самой нравится.: Заметила его: он такой решительный, а мне такие люди нужны... — При этом неожиданно вырвавшемся выражении царевна в первый раз еще сделала сравнение, и это сравнение не было в пользу князя Василья Васильича. Его осторожный, обдумчивый, порою нерешительный склад характера не роднился ее решительному и смелому взгляду. Судьба соединила их, но не сроднила.

Заметил ли мимолетную мысль царевны или нет, на лице дипломата-князя прочесть было нельзя. В душе своей он и сам сознавал рознь между ними, не раз пугали его смелые замыслы царевны, подчас готов был бы он и отстраниться от нее, да куда идти? Где дорога? Везде непроходимая глушь да лес... везде полное бездорожье, а самому прокладывать дорогу не под силу было способному, умному, но далеко не энергичному боярину.

— Прощай, царевна, — сказал Василий Васильич после непродолжительного молчания.

— Как? Уж уходишь? — как будто очнулась царевна. — Куда торопишься?

— Да надо разослать гонцов с известительными грамотами о восшествии на престол царей Ивана и Петра к иностранным государствам.

— Куда посылаешь? Кого?

— В Варшаву к королю польскому посылаю подьячего посольского приказа Никифора Венюкова, к королю шведскому в Стокгольм подьячего Никиту Алексеева. Венюков же потом проедет в Вену, а Алексеев в Копенгаген. В Гагу и Лондон отправляется гонец Дмитрий Симановский, а к султану турецкому в Константинополь Михайло Тарасов. Всем им надо дать словесные указы по разным вопросам.

— А вечером придешь, Вася?

— Приду, царевна.

— Ну, прощай! — царевна горячо поцеловала оберегателя.

— Пстой, пстой! — крикнула царевна вслед уходившему Голицыну. — Изготовь пожалование ко дню венчания старшего

сына князя Ивана Андреича в бояре.

— Как, царевна, из стольников прямо в бояре? Да к тому же сына Ивана Андреича?

— Да, голубчик, да.

«Прост же ты, Васенька! — прибавила она мысленно. — Да не за это ли я и полюбила-то тебя?».

Глава XI

Не без основания боярин Милославский и князь Голицын предупреждали правительницу. Смуты и волнения стрельцов не только не утихали, но, напротив, принимали все большие и большие размеры.

Кроме того, что расходившееся раздражение не могло само собой скоро улечься, его постоянно поддерживали и пропойки награбленных боярских богатств, и легкость добывания денег, и возможность, как будто узаконенная, самоуправства, а главное, мятежные речи, раскольнических попов. В особенности отличался любимый начальником князем Хованским полк Титов.

Начало раскола относится к государствованию царя Алексея Михайловича. С тех пор раскол, вследствие неудачных мер, принятых правительством, постепенно принимал прочное положение, проникая во все слои общества, даже в церковь и царский двор, приобретая фанатических последователей, запечатлевших кровью преданность своим убеждениям. Поводом к расколу послужила мера разумная и совершенно необходимая, но, к несчастью, в исполнении допустившая жестокость насилия, немислимого в сфере внутренних убеждений.

Переведенные еще в VIII столетии с греческого языка славянскими апостолами богослужебные книги от умышленных и неумышленных ошибок переписчиков заключали в себе весьма большие уклонения от подлинников и даже разнились между собою; Требовалось исправление их по лучшим старинным рукописям, и наши святители заботились об этом ревностно и усердно. К сожалению, выбор лиц, назначенных к сличению и исправлению книг, оказался в высшей степени

неудачным. Избранные протопопы Аввакум, Иван Перинов, попы Лазарь и Никита, диакон Федор Иванов по незнанию греческого языка не могли руководствоваться подлинным текстом, а потому, ограничиваясь только древними славянскими рукописями, нередко разноречивыми между собой, принимали текст своеобразный по своим толкованиям и личным взглядам. Таким образом, в круг служебных книг, напечатанных около половины XVII столетия, вошли ложные учения о двуперстном крестном знамении, о сугубой аллилуии, в символ веры прибавлено о св. Духе слово «истинного» и проч.

Такое искажение церковных книг тотчас же было замечено как у нас, внутри государства, так и за границей. Никон, бывший в то время митрополитом Новгородским, энергически писал об этом патриарху Иосифу и требовал исправлений. Монахи Афонской горы, получив эти книги, в которых заключалось учение о двуперстном кресте, сожгли их на соборе и об этом написали в Москву. И, наконец, бывший в 1649 году в Москве Иерусалимский патриарх Паисий признал напечатанные книги отступлением от правил восточной церкви.

Все эти заявления открыли глаза патриарху Иосифу, но зло было уже сделано. Патриарх, отстранив Аввакума и его товарищей от печатания церковных книг, вызвал для этого из Киева людей ученых и правое славных, которым и поручил пересмотреть уже изданные.

Но еще более ревности по исправлению книг оказал вступивший в управление церковью Никон. Сознывая, что толкования лжеучителей имели значительный успех в народе, в особенности с тех пор, как учения их получили как будто освящение изданием печатных книг, Никон нашел необходимым всенародно на соборе 1654 года поставить вопрос: должно ли руководствоваться вышедшими печатными московскими книгами, несогласными с греческими, или же держаться древних греческих и славянских, которым следовали восточные церкви и московские святители?

По единогласному мнению собора, положено было исправить вновь изданные книги по древним оригиналам греческим и славянским, на что испросить благословения

восточных патриархов. Присылая на такое святое дело свое благословение, патриарх Паисий прислал вместе с тем и самый верный список Никейского символа веры для обличения Аввакума относительно члена о св. Духе.

Заручившись определением собора и одобрением вселенских иерархов, Никон с обычной своей энергией принялся за исправление изданных при его предшественниках церковных книг. Добросовестная проверка этих книг лицами просвещенными и сличение их с огромным запасом как греческих, так и славянских оригиналов обнаружили не одно невежество прежних издателей, но и умышленные искажения. Вследствие этого бывшие издатели были преданы суду и обвинены: Аввакум сослан в Сибирь к берегам Байкала, а князь Львов, начальник типографии, заведовавший изданиями, заключен в Соловецкий монастырь. Учения их о двуперстном знаменнии и сугубой аллилуии как в России, так и в Греции признаны уклонениями, а патриарх Макарий, бывший в Москве в 1655 году, предал последователей анафеме.

Новые книги изданы, а старые стали отбираться к уничтожению. Вместе с уничтожением старых книг началась по церквам принудительная замена икон старого письма — новым, живописным. Такой крутой поворот, действовавший не путем убеждения, а силою власти, не мог не взволновать умы, склонные упорно держаться старых порядков. В их глазах всякое улучшение казалось пагубной новизной, всякая свежая мысль обличала опасного новатора. К несчастью еще большему, крутой и гордый Никон, возбуждивши против себя суровостью требований большинство общества, в это критическое время вовлекся в открытый самонадеянный спор с государем. Это обстоятельство развязало руки врагам его и побудило их даже к открытому осуждению всех его действий. Ободрившись и последователи старых книг и ободрившись до того, что ученики Аввакума, Авраамий, Никита и Лазарь, осмелились даже подать царю челобитную о старой вере и выпустить несколько сочинений в ее защиту. Сам ересиарх Аввакум, успев бежать из ссылки, явился в Москве и был принят там с большим почетом.

При такой обстановке, конечно, не могли иметь серьезного влияния на соборы греческих и русских святителей, одоббивших все распоряжения Никона по делам церковным, ни увещания восточных патриархов, ни царские грамоты. Последователи старых книг упорно держались своих убеждений и образовали собою первую основу раскола, под именем старообрядцев.

Расколу держались и в простом народе, и при царском дворе, и в чернецах. При царском дворе две знатнейшие боярыни, сестры, урожденные Соковнины, Феодосия Прокопьевна (вдова боярина Глеба Ивановича Морозова) и Евдокия Прокопьевна (жена боярина князя Петра Семеныча Урусова) предпочли перенести всевозможные угнетения, чем отречься от раскола. Они умерли в боровском заключении, заслужив у раскольников славу преподобных мучениц.

Упорство чернецов соловецкой братии разразилось открытым бунтом, и хотя в царствование Алексея Михайловича усмирился мятеж, но не искоренилось упорство раскольников. Напротив того, крутые меры приводили раскольников еще к большему ожесточению, еще к большему ослеплению. Они рассеялись по поморью, завели в недоступных глухих местах скиты и сделались рассадником для дальнейших разветвлений. Правительство после смерти Алексея Михайловича прибегло к крайним жестоким мерам. По настоянию патриарха Иоакима главные ересиархи Аввакум и Лазарь были сожжены всенародно, и указано сжигать в срубках всех, упорно державшихся раскола. Вследствие такого гонения раскольники становились ожесточеннее и многочисленнее — в особенности в самой Москве между стрельцами.

Назначение князя Хованского, придерживающегося раскола и обожаемого раскольниками, должно было иметь громадное влияние. И действительно, в двадцатых же числах мая стрельцы Титова полка начали составлять круги с целью взыскать старую веру. Они составили челобитную, в которой, дерзко обвиняя православных пастырей, упрекали их в том, «будто они повелевают христианам ходить без крестов по-татарски, признают Спасителя грешником, не веруют в пришествие Сына Божия, не проповедуют Воскресения Христова, допускают

моление к лукавому духу, умерших, вместо еля, посыпают пеплом, отвергают животворящий крест Господень от певга, кедра и кипариса, заменив его крыжем латынским, заставляют креститься тремя перстами, а не двумя, вопреки предания св. отец, отвергают сугубую аллилуйю, издревле установленную, в молитве господней не именуют Иисуса Христа Сыном Божиим, искажают символ веры, исключив из члена о Духе Святом слово «истиннаго», в троицкой вечерне молятся по-римски, стоя на коленях, не преклоняя главы, допускают истощение св. Духа, печатают новые служебники несогласно с древними харатейными, совершают службу не на седми просфорах с истинным крестом, а на пяти с крыжом латынским, вместо жезла святителя Петра чудотворца носят жезлы с проклятыми змиями, искажают иноческий чин, надевая клобуки, как бабы, и, наконец, греческими книгами истребили христианскую веру до такой степени, что и следов православия не осталось».

Когда эта челобитная была прочитана в съезжей избе Титова полка Саввою Романовым, бывшим келейником архимандрита Макариева-Желтоводского монастыря, раскольники стрельцы умилились и поклялись стоять за истинную веру, не щадя живота своего. Один экземпляр челобитной оставлен, был в Титовом полку за рукоприкладством девяти стрелецких полков и Пушкарского приказа, а другой был передан князю Хованскому для представления на царское усмотрение. Князь Иван Андреич благосклонно принял челобитную и обещал свое содействие, посоветовав им выбрать для словопрения искусного книжника, так как представители раскольников, посадские люди, Никита Борисов, Иван Курбатов, Павел Захарьев, келейник Савва Романов и нижегородский чернец Сергей, далеко не могли назваться — искусными адвокатами.

Для защиты своих убеждений стрельцы вызвали — в Москву книжных ересиархов отцов Великоламских пустынь: Савватия, Дорофея и Гавриила, но самым горячим адвокатом выступил на сцену известный *Никита Пустосвят*. Бывший суздальский священник, отличавшийся красноречием, Никита писал еще при Никоне в защиту раскола и с таким успехом, что

вызвал появление против себя особого сочинения «Жезл» Симеона Полоцкого. За упорное распространение раскола Никита Пустосвят собором 1667 года лишен был священства и сослан в заточение. Вскоре после того он притворился раскаявшимся и просил патриарха Иоакима о помиловании. Обманутый патриарх освободил его, но не возвратил, однако ж, священнического сана. С тех пор Никита Пустосвят жил постоянно в Москве, распространяя раскол.

Князь Хованский, лично зная Никиту и считая его за достойного соперника патриарху, слывшему между раскольниками под названием «хищного волка», совершенно одобрил выбор стрельцов. Полный уверенности в победе, он настаивал перед царевной Софьей о назначении словопрения 23 июня, но правительница отклонила...

Глава XII

Вечером 4 июля в одной из комнат солидно устроенного дома, перед отходом ко сну, князь Иван Андреич по обычаю читал душеспасительную книгу. Но или князь был плохой грамотей, или печать от частого употребления сделалась неудобочитаемой, или мешало неправильное освещение от лучей западавшего солнца, лившихся в комнату через мелкостекольчатую раму и беспрерывно менявшихся цветами в тени оконных переплет, или, что всего вероятнее, сам князь был настроен не для такого назидательного занятия, только его чтение в полувслух как-то не клеилось, звуки выходили отрывистыми, непонятными и разделялись значительными паузами. А между тем книга была поучительная и вразумительная: в ней заключались и *страдание священнопротопопа Аввакума многотерпеливого, и житие многострадального Иоанна от Великих Лук, и страдание за древнее благочестие Василия иже бысть Крестецкого Яму и инока Авраамия, выписано о времени сем елико от отец навыкох, реку тебе, рассуди писания, да познавши время совершенно.*

Мысли боярина никак не могли, несмотря на все усилия чтеца, сосредоточиться на Аввакуме, ни на Василии, ни на Иоанне. Они поглощались более интересными — самим собою.

— «Оклеветан же бысть от некоего боярина ко дарю, яко держится древнего благочестия и отвращает народы, еже к церкви Божией не приходити и нового учения не слушати», — произносят бессознательно губы боярина, а в голове слагается другая нить мыслей: «Царевна, видимо, не хочет допустить всенародного словопрения, не хочет торжества истинного православия и изгнать хищного волка... пусть пеняет на себя. Меня, грешного и ничтожного, избрал Господь орудием своей пресвятой воли, по пророчеству отца Никиты, и я повинуюсь призванию. Пусть погибнут все претящие мне».

— «Посылает царь гонцы по Иоанна и ят бывает и к судии градскому представиша его. Судия же невероваша, зане возрастом бе Иоанн мал художрачен и возопив гласом велиим», — снова продолжает читать князь, с усилием отбрасывая своенравные мечты, и снова они помимо его воли отрывают его от спасительных слов и уносят к светлому будущему: «Если в праведном восстании христолюбивых воев, погибнет царский род и исчезнет хищный волк — кому править царством?... Конечно, мне, держащему и ныне тяжкие бразды правления... Да и в ком же теперь царский род-то? Иоанн слаб и немощен... Петр детеск, неразумен и склонен к пагубным забавам, а женщинам не подобает быть в главе православного царства... а может, царевна еще согласится разделить со мной...».

— Ох... грешные мысли одолевают, — проговорил князь, как будто очнувшись, и снова монотонным голосом продолжал читать.

— Во имя Отца и Сына и св. Духа, — послышался голос за дверью.

— Аминь. Гряди, отче Никита, — отвечал князь, поднимаясь со скамьи.

В комнату вошел человек среднего роста, в монашеской рясе, с бледным лицом и с длинной седой бородой. Блуждающие, огневые взгляды, непрерывно подергивающиеся

углы рта, продолговатая и узкая форма головы обличали натуру нервную, увлекающуюся и фанатическую, Голос его был звонок и довольно приятен, только верхние ноты выдавались резкостью. Это был — Никита Пустосвят.

Князь подошел под благословение.

— Благо поучаться житиям (многострадальных пастырей древнего благочестия, чадо Иоанне, но теперь пришла пора действовать истинным ревнителям.

— Я готов, отче Никита. Что прикажешь? — с покорностью отвечал князь.

— Слово мое одно, чадо: исхитить из рук хищного волка святительский жезл и обличить всенародно на Красной площади у Лобного места суемудрые умыслы нечестивых толкователей. Скажи мне, что сделал ты по моему слову?

— Настаивал я, святой отче, у правительницы ускорить словопрение для обличения и торжества истины, но царевна, видимо, стоит за хищного волка и до сих пор того словопрения не разрешила. Видя ее упорство в защите неправды, я вчера призывал в Ответную палату всю надворную пехоту и Пушкарский приказ и спрашивал их: готовы ли они ополчиться за веру православную? Когда они утвердили единодушно, я повел их в Крестовую палату и вызвал туда самого хищного волка.

— И ты выпустил его, чадо, из рук цела и невредима?

— Нельзя было, отче, его окружали все власти. Силой брать — не решился, пожалуй, стрельцы не послушались бы... тогда хуже...

— Нет достойной ревности в сердце твоём, чадо. Что ж дальше?

— По вызову моему вышел хищный волк и спрашивает — для чего мы пришли. Пришли мы, надворная пехота, пушкари и всяких чинов люди, чернослободцы и посадские, отвечаем, просить об исправлении старого благочестия православной христианской веры и как служили при великих князях и благоверных царях российские чудотворцы и святейшие патриархи по старым книгам, так и ныне служить бы в соборной церкви по тем же книгам единогласно и не мятежно по апостолу:

«Един Господь и едина вера, едино крещение и един Бог, отец всех». Потом стрелец Воробьиная полка Алексей Юдин настойчиво допрашивал, почему отринуты старые книги, печатанные при великих государях и патриархах.

— А что ж хищный волк?

— Принял на себя, отче, личину смирения. Я-де не своей волей сел на апостольский престол, а по выбору покойного государя царя Алексея Михайловича и по благословению всего освященного собора. Потом стал убеждать, будто в старых книгах по незнанию вкрались ошибки. Я было испугался, отче, как бы волк не смутил кого из наших, еще не твердых в нашей истинной вере, да благо выручил Павел Данилович. Он с похвальным дерзновением опросил алчного волка: как же по старым книгам угодили Богу наши великие святители и чудотворцы? Смутился волк и начал ссылаться на наше невежество, не дело-де наше судить о таких предметах, вы-де чина воинского и не подобает вам судить своих пастырей. Тут наши стали неотступно требовать и вызывать его на Красную для словопрений... Испугался волк и выходить решительно отказался. Как же нам делать, прикажи, отче!

— Принудить его, нечестивца, силою его, чадо Иоанне, тащить. Тебе подобает... Можешь приказать ему от имени царевны.

— Опасно... ведь не все стрельцы держатся нашего православия, много из них доселе пребывают в когтях дьявольских, как бы не навлечь на свою голову напрасной срамоты. Трепещет душа моя, отче.

— Маловерен еще ты, чадо, и пути Божии еще не открыты тебе. Внимай и уповай на меня, ибо Дух Божий глаголет моими устами. Восторжествует наше древнее благочестие и погибнут все супротивные порождения сатаны.

— Кто же, отче, погибнут? И царский род погибнет? И цари, и царевны?

— И цари, и царевны погибнут, и хищный волк, и весь сонм лжеучителей.

— Кто же царствовать-то будет? — с замиранием сердца спрашивал князь.

— Ты, чадо Иоанне, будешь царем православным и превознесется глава твоя выше всех владык земных. Из царского рода произошел ты, чадо, и на царство воссядешь!

— Правда твоя, святитель, происхожу я из рода литовского короля Ягеллы.

— Пути грядущего открыты мне. Взоры мои видят венец, опускающийся на главу твою, — говорил вдохновенным, глубоко убежденным голосам Никита. Глаза его горели безумным огнем, руки, простертые к небу, дрожали, дрожал и весь сам он в припадке фанатического исступления.

Принимая это болезненное явление за боговдохновенное пророчество, князь пал ниц перед пророком и едва слышным голосом пытал будущее:

— Царевна Софья погибнет?

— Погибнет нечестивая.

— Царевна Катерина Алексеевна?

— Тоже погибнет, если не примет нашего православия.

— Сын мой Андрей приведет ее, святой отче, к нашему благочестию. Он вздумал приять ее себе в жены.

— Пусть приведет заблудшую овцу к верному единому стаду и тогда получит благословение от пастыря.

Нервное возбуждение начинало ослабевать, мускульная сила упала, и отец Никита с закрытыми глазами опустил на скамью.

Просидев несколько минут неподвижно, Никита поднялся и упавшим голосом сказал:

— Прощай, чадо Иоанне, приготовь все к завтрашнему великому дню. Прикажи полкам следовать при солнечном восходе к Кремлю для похищения хищного волка.

— Куда грядешь теперь, святой отче?

— Иду за Язу в слободу Титова полка, Оттуда по другим полкам и по всем градским стогнам буду проповедовать слово истинное и призывать к завтрашнему подвигу на Красную площадь.

По уходе учителя и наставника князь приказал дворецкому позвать очередного по его дому стрелецкого караульного десятника.

— Пошли стрельца по всем полковникам, подполковникам и пятисотенным, — приказал князь вошедшему десятнику, — и оповести от меня явиться сюда немедленно же. А сам после смены, когда воротишься в слободу, передай мой приказ с завтрашнего дня являться ко мне в дом не десяти стрельцам, как было до сих пор, а сотне, с сотником, вооруженными не одними саблями, а и мушкетами.

По выходе десятника князя взяло раздумье, «Завтра, — думал он, — великий день. Завтра все вой небесные ополчатся на злого духа... и победа, несомненно, останется за нами... Идти ли мне завтра самому — забыл спросить об этом святого отца. Если пойду — весь подвиг останется за мной в случае удачи, а если будет неудача? Тогда... тогда... Нет, я лучше буду пребывать дома и молиться... Молитва — всеильное орудие на одоление врага Божия. Да... а как же стрельцы будут без пастыря, кто ж будет руководить ими? Нет... лучше сам».

Глава XIII

Утром 5 июля в слободе Титова полка проявилось особенное движение: суетились и волновались стрельцы этого полка, стекаясь толпами к площадке перед своей съезжей избой, куда прибывали, хотя и меньшими партиями, стрельцы и из других полков. На площадке перед избой служился молебен Никитой Пустосвятом по раскольничьему толку. По окончании молебна Никита в сопровождении нескольких тысяч стрельцов и простого народа, постоянно все более и более прибывавшего, направился к Кремлю для состязания о вере. Толпа представляла странный вид и не могла не привлечь всеобщего любопытства.

Впереди открывали шествие двенадцать мужиков с восковыми зажженными свечами. За ними шел сам Никита с крестом в руке, поднятой кверху, громко говоря по обе стороны народу:

— Православные! Пойдите за истинную веру, православие погиге на земли, ибо антихрист настал. Гряду, братие, очистить святую церковь от когтей хищного волка!

За Никитой попарно шли сподвижники его с древними иконами, книгами, соловецкими тетрадами и налоями. Вся толпа, войдя в Кремль, расположилась у церкви Михаила Архангела перед царскими палатами, установила высокие скамьи, сложила на налои иконы, пред которыми стали мужики с зажженными свечами.

Устроившись, Никита и чернецы Сергей, два Савватия, проповедники Дорофей и Гавриил разложили свои тетради и начали поучать народ истинному православию, указывая на храмы, обращенные еретиками в амбары и хлевы. Их проповедям вторили неистовые крики буйных, исступленных изуверов, вызывающих патриарха на прение.

Между тем патриарх Иоаким с высшим духовенством, бывшим тогда в Москве, и со всем духовенством московских церквей совершал молебен о спасении царства и церкви от мятежа раскольников. Когда исступленные крики раздались близ стен Успенского собора, патриарх выслал протопопа Василия для вразумления народа и обличения Пустосвята. Посланный при себе имел копию с той повинной, которою Никита еще при царе Алексее Михайловиче каялся в своих еретических заблуждениях, умолял о прощении и отрекался торжественно от раскола. Но обличений отца Василия никто не слушал, самого его избили, повинную изорвали в мелкие клочки, и только чудом мог он спастись, скрывшись снова в Успенском соборе.

По окончании молебна и обедни патриарх с духовенством ушли в Крестовую палату. Крики, вызывающие патриарха, обратились в оглушительный рев. Толпа, увеличиваясь с каждым часом любопытными, наполняла всю кремлевскую площадь, но в особенности скупивалась у Красного крыльца, где стоявшие раскольники держали в руках камни для убиения патриарха.

Князь Хованский пошел в Крестовую палату и передал патриарху желание государей, чтобы все духовенство вместе с патриархом пришло во дворец через Красное крыльцо. Испуганный патриарх, опасаясь насилий от исступленной толпы, не согласился. Тогда князь явился к правительнице.

— Укажи, царевна, патриарху выйти на площадь к народу для словопрения, — докладывал Хованский.

— Для какого словопрения, князь, с кем и о чем? — спросила царевна почти ровным голосом, едва обличавшим признаки внутреннего волнения.

— Видишь, государыня, на площади чернецов с книгами? Они желают говорить с патриархам о вере.

— Кто ж их позвал сюда? Кто позволил?

— Самовольно, царевна. За них стоит весь народ московский и стрельцы. Посмотри в окно, какая давка у Красного крыльца.

— И князь Хованский, глава, начальник стрельцов, любимец их, допустил к такому своевольству?! Не ожидала.

— Что ж могу сделать один против всего народа? Опасаюсь того же, что было пятнадцатого мая, если не будет улажено. Я готов защищать тебя до последней капли крови... но...

— Хорошо, князь.

После минутного раздумья твердая решимость создалась, голос отвердел.

— Хорошо. Позови патриарха ко мне во дворец, со всем духовенством.

Князь вышел.

По выходе князя Софья Алексеевна тотчас подозвала двух стряпчих и послала первого к патриарху передать секретное приказание спешить во дворец, но не через Красное крыльцо, а через лестницу Ризположенскую, а второго отыскать и привести сейчас же стрелецких начальников полковников Цыклера, Озерова, Петрова и пятисотенного Бурмистрова.

Между тем к царевне собрались, исключая государей, почти все члены царского семейства: царевна Татьяна Михайловна, царица Наталья Кирилловна, царевна Марья Алексеевна, множество бояр, окольничих и других думных чинов. Пришел и патриарх через Ризположенскую лестницу. В то же время прочее духовенство с книгами и свертками переходило через Краевое крыльцо. Труден и опасен был этот небольшой переход сквозь тесно сплоченную народную массу, но, к счастью, он совершился без особенных приключений. Приготовившись убить

патриарха во время перехода, изуверы, не видя его в числе духовенства, не сделали и прочим никакого насилия.

Вскоре явились в царский дворец отысканные стрелецкие полковники Цыклер, Озеров, Петров и пятисотенный Бурмистров.

— Я призвала вас, — сказала им правительница, — зная ваше усердие и преданность нам. Мятежные отступники от веры православной с угрозой и насилием требуют состязания с патриархом. Я согласилась дозволить это прение в надежде образумить изуверов, но хочу сама присутствовать на нем. Вам приказываю быть тут же и охранять нас, святейшего патриарха, православное духовенство и преданных нам бояр. Вы отвечаете за безопасность своей головой... а за верную службу обещаю награды.

— Как, государыня, — вскричал воротившийся в дворец князь Хованский, — ты сама хочешь присутствовать на словопрении! Невозможно! Ради своей безопасности, ни ты, ни государи не должны показываться перед разъяренной толпой...

— Неужели ты думал, князь, что я покину святую церковь и нашего пастыря? Если необходимо словопрение, то... я назначаю собор в Грановитой палате, Я иду туда, и пусть идут за мной все, кто пожелает. Вы, полковники, выберите надежных стрельцов и будьте там, а ты, князь, позови чернецов в Грановитую.

Вслед за правительницей пошли царица Наталья Кирилловна, царевны. Татьяна Михайловна и Марья Алексеевна, духовенство и вся Государева Дума.

Назначение состязания в Грановитой палате и выбор надежных стрельцов разрушали все предположения раскольников. То, что казалась возможно и легко на площади среди несметной массы, в хаосе общего движения, крика и шума, становилось невозможным в палате, где за размещением царского семейства, духовенства, членов Думы, выборных стрельцов и Чернецов оставалось слишком мало места для народа. Быстрое соображение царевны сказалось и выручило в решительную минуту.

Ошеломленный князь вышел на площадь и объявил, что государыни царевны желают лично сами слышать челобитную и присутствовать при словопрении, а как им на площади быть зорно, то и приказали отцов ввести в Грановитую палату.

Масса заволновалась.

— Боярин, государь батюшка, — первым выступил вперед чернец Сергей. — Идти нам в палату опасно... там мы будем одни... народу не пустят, а что мы сделаем без народу? Пошли лучше хищного волка сюда перед всем народом препираться...

— Никому не воспрещено быть в палате, — отвечал князь, — а если вы боитесь, святые отцы, то, клянусь пречистой кровью Спасителя, вам не сделают никакого Зла. Что будет со мной, то будет и с вами.

Мятежники колебались, но не колебался Никита, фанатически преданный своему делу.

— Идем! — вскричал он, и вся многочисленная толпа его сподвижников двинулась к дворцу на Красное крыльцо. Здесь произошло смятение: ломившийся народ встретился с возвращавшимися в Успенский собор священниками, относившими в дворец церковные книги. Началась драка; несколько священников было изувечено и избито, остальные разбежались.

Шумно ввалилась толпа в Грановитую палату, где уже находилось царское семейство, духовенство и бояре. На царских тронах сидели царевны Софья Алексеевна и Татьяна Михайловна, ниже их, в креслах, царица Наталья Кирилловна и Марья Алексеевна, на особом кресле патриарх; на правой руке от тронов разместились митрополиты: Корнилий Новгородский, Никифор Астраханский, Павел Сибирский, Иона Ростовский, Маркел Псковский, Варсонофий Сарский, Филарет Нижегородский, Павел Рязанский, архиепископы: Семен Вологодский, Сергей Тверской, Никита Коломенский, Афанасий Холмогорский, Герасим Устюжский, епископы: Леонтий Тамбовский и Митрофан Воронежский, архимандриты, игумены и священники. На левой стороне члены Государевой Думы, между которыми был и князь Хованский, дьяки, придворные и выборные стрельцы.

Впереди толпы раскольников ворвались в палату двенадцать мужиков с зажженными восковыми свечами, за ними сотоварищи Никиты с иконами, книгами, тетрадами и налоями; наконец, сам Никита с крестом в руке, поддерживаемый под руки Дорофеем и Гавриилом. За Пустосвятом следовали чернецы Сергей и два Савватия. Едва поклонившись царскому семейству и отворотившись от духовенства, раскольники спешили расставить налой и разложить на них иконы, книги и тетради. Впереди каждого налоя стал мужик с свечой.

— Зачем вы пришли сюда к царскому дворцу в таком множестве, с угрозами и насилием? — опросила царевна, сурово смотря на вошедших.

— Пришли мы, — отвечал Никита, — от всего народа московского и всех православных христиан просить о восстановлении старой истинной веры, как было при покойном благоверном государе Михаиле Федоровиче и святейшем патриархе Филарете Никитиче и чтоб церкви Божии были в мире и согласии, а не в мятеже и в раздражении.

— Не ваше дело — исправление церковное, — заметил патриарх. — Заботятся об этом архиереи, которые носят на себе образ Христов и имеют власть вязать и разрешать. Ваша же обязанность повиноваться общей нашей матери соборной апостольской церкви и всем архиереям, пекущимся о вашем спасении. Вера наша старого православия греческого закона, исправленная с греческих и наших славянских харатейных книг по грамматике, от себя, мы ничего не внесли, вы же грамматического...

— Пришли мы, — с пылкостью перебил его Никита, — не о грамматике рассуждать, а о догмате веры.

— Да знаешь ли ты сам, что такое вера и различие старой веры от новой? — спросила правительница, обращаясь к Никите.

— Старая вера спасает души, а новая ведет к гибели. Старая вера наша, а новая последователей антихриста Никона.

— Я тебя спрашиваю, что такое вера? — повторила вопрос царевна.

— Не вопрошать следует о вере, а следовать ее учению, никто из истинных сынов православия и не будет спрашивать об этом, только сподвижники антихриста...

— Как же ты смел явиться сюда, когда сам не знаешь, чего требуешь? Как смел ты надеть на себя одежду священника, когда ты лишен ее? Забыл разве свою повинную блаженной памяти отцу нашему, святейшему патриарху и всему собору с великою клятвою никогда впредь не бить челом о вере!

— Правда, приносил я повинную да за мечом, да за срубом и та повинная не в повинную. А сана моего священнического не мог меня лишит хищный волк, так как сам он антихрист и нет у него власти над истинными православными...

— Молчи! — с гневом перебила правительница.

— Не я говорю, а Дух Божий говорит устами моими. Подавал я собору челобитную о вере, которую писал семь лет, а что было ответом? Тюрьма да истязания. Написал, правда, против нее Симеон Полоцкий книгу «Жезл», да в ней не разобрано и пятой доли моей челобитной. Так я теперь готов разобрать этот Жезл и очистить...

И речь фанатика ересиарха полилась обильным потоком витиеватых толкований и хитрых софизмов опытного оратора, ловко направленная, чтоб смутить скромного и небойкого — патриарха. Но этот удар встретил противник опытный и сильный — Афанасий, архиепископ Холмогорский, иерарх очень почитаемый и, главное, основательно знакомый с раскольничими софизмами.

— Ты как смел? Я не тебе говорю, а патриарху. Разве нога выше головы становится? — в бешенстве закричал Никита, бросаясь на архиепископа с поднятыми кулаками. Выборные стрельцы едва могли защитить Афанасия от насилия.

— Видите ли буйство Никиты! — закричала правительница, вставая с трона, — в нашем присутствии осмеливается бить архиерея, что же будет без нас?

— Нет, царевна, — заговорили сопровождавшие Никиту раскольники, — он только рукой отвел, чтоб не говорил прежде патриарха.

Правительница сдержалась. Она умела владеть собой всегда и во всех обстоятельствах. Затворническое детство в затхлых теремах научило искусству уходить в себя, не выдавать волнений, и это искусство пригодилось ей в жизни, полной тревог и опасностей.

— Говорите же теперь вы — зачем пришли сюда? — говорила уже спокойным голосом царица, обращаясь к товарищам Никиты.

— Мы принесли тебе челобитную, государыня царица, — отвечал чернец Сергей, вынимая бумагу.

Правительница приказала дьяку взять бумагу и читать вслух.

Эту челобитную составляли двадцать четыре пункта, никем не подписанных и озаглавленных: «бьют челом святыя восточныя церкви Христовы, царские, богомольцы, священнический и иноческий чин и вси православный христиане, опрично тех, которые новым Никоновым книгам последуют, а старые хулят».

Стали прочитывать все пункты, начиная с первого по порядку, и по каждому из них следовали возражения и опровержения; некоторые в особенности возбудили неистовые крики и проклятия.

Когда прочтен был пятый пункт, в котором говорилось, что будто бы в новом требнике изложено моление к лукавому духу, архиепископ Афанасий спокойно начал говорить:

— Клевета эта проистекла от незнания грамматики, В молитве при крещении после слов: «Ты сам Владыко Господи «Царю прииди», — говорится: «Да не снидет с крещаемым, молимся Тебе Господи, дух лукавый». В молитве слова «*молимся Тебе Господи*» поставлены в звательном падеже и потому отделены запятыми, как слова обращения, слова же «*дух лукавый*» поставлены не в звательном падеже, не, сказано «душе лукавый» и потому относятся к словам, предшествующим словам обращения. Поэтому смысл молитвы таков: молимся Тебе Господи! Да не снидет с крещаемым дух лукавый.

— Что ты мне говоришь, сын сатаны, — запальчиво возразил Никита, — о грамматике. Разве грамматика учит

православному догмату? Это вы, антихристовы ученики, кривите и изворачиваете все под видом грамматических художеств, а мы понимаем прямо, как, и следует — православным.

По прочтении восьмого пункта челобитной, в котором говорилось, что в новых книгах велено креститься не двумя, а тремя перстами, против предания святых отцов, тот же архиепископ ответил:

— Учение креститься тремя перстами перешло к нам от греческой церкви еще при Владимире святом и сохраняется как в Греции, так и у нас до сих пор по преданию апостольскому. Ссылка ваша на Феодорита, епископа Курского, — лжива, а действительно еретик Мартин армянин еще в 666 году учил двуперстному знаменю, но за то в том же году и был предан за это проклятию киевским собором.

Вместо логического возражения против этого объяснения архиепископа раскольники неистово завопили, подняв правые руки с сложенными двумя перстами:

— Так надо креститься, так! А вы, сыны дьявола, богоотступники!

С трудом правительница могла заставить замолкнуть вопли, угрозы и продолжать чтение челобитной.

В девятом пункте заключалось обвинение на проповедников новой веры в гордости и немилосердии: за каждое противное слово мучат и предают смерти.

Как только кончилось чтение этого пункта, Никита развернул лежавшую перед ним тетрадь и с жаром начал читать:

— «Великие страдальцы Алексей и Феодор града Ростова начата обличати Никоново новопредание, царь же восхоте сих озлобити, аще и духовнии наступоваху на кровопролитие, но не послуша царь, во изгнание осуждает их в поморскую страну, во окиянские пределы, близ Кольского острога в монастырь Кондолажский идеже всякую скорбь и тесноту и скудость приемлюще яко до сорока лет. Сего ради отсюда народи притекающе слышати от них душеполезные словеса от всея поморские страны. Тогда на Холмогорех новопредавленному архиепископу Афанасию лютейшу зело завистию, Никоновых новопредаваний любителю, возвещено бысть о сих блаженных яко

всю поморскую страну подтверждают еже о древнем благочестии. Архиерей яростию распалився, воины взяв от воеводы в Кондолажский монастырь посылает. Тогда взяша страдальцев, в темницу за крепкую стражу посадиша, посем представиша архиерею, и прежде увещеваху, еже крестися тремя персты и прияти новопечатные книги. Они же не приемляху, но и приемлющих поношаста. Тогда архиерей повелз бити их и вопрошаше: покорятеся-ли? Страдальцы же никакого же хотяху, но терпети обещающеся за древнее благочестие. Недоумеаяся архиерей коим бы хитротворением привлеци к своей воли, повеле их в темницу посадити и гладом морити, хотя сих некими прелестью одолети. Брашно начат к тем от себя посылати, но прежде нечто действовав над брашны, и рукою пятиперстым благословением оградив посылает. Спяще вседивному Феодору, Алексей брашно приемлет, и егда гладом преклоняем восхоте Алексей от принесенного прияти брашна, восстав Феодор, удержа его за руку и рече: не прикасайся приносимым, не видиши ли змия черного на брашне лежаща? Прежде помолися со слезами, и увидиши прелесть. Тогда Алексей начат молитися и виде на всех брашнях змиево лежание. Тогда взял брашно, верзе за оконце на землю. Стрегущие Зряху, возвещают сия архиерею. И начаста страдальцы гладом пребывати, от архиерея не приемлюще брашна. И некогда Алексей жаждою объят быв, повеле стрегущему сосудец принести воды. Стрегущий шед доложися архиерею. Повеле архиерей принести воды и взял к себе нечто действоваше, и рукою оградив пятиперстным сложением, посылает. Но духопрозорительный Феодор, взял сосуд, рече Алексиеви: видиша ли яко змий в сосуде на воде плавает? Таже дивный Феодор глагола к стрегущему: был где с водою? Оному же отпирающуся, глаголаше старец: само видение воды являет, яко у архиерея был еси, сего ради змий черный по воде плавает невидимо. И тако взял воду за окно изливает на землю. Преподобный Феодор гладом преставися, многотерпеливый же Алексей девять седмиц (63 дня) без пищи и пития препроводив, преставися и тако оба скончастася за древнее благочестие».

Вот как поступаешь ты, порождение сатаны, душегубец с праведными, святыми мужами, — заключил Никита, кончив чтение и обратясь к Афанасию Холмогорскому.

— Новая клевета, как и другие все обвинения, — отвечал Афанасий тем же ровным голосом, в котором слышалась даже некоторая доля иронии, — клевета, видимая сама собой при простом чтении. Дело было так. Дошли до меня верные вести, что сосланные по царскому указу в Кондолажский монастырь раскольники учат народ не бывать в церквах и повсюду распространяют свою ересь. Я вызвал этих раскольников к себе и всеми средствами убеждения и кроткими увещаниями старался опять возвратить их к православной церкви. Но как закоснелые еретики, они не хотели слушать ни разъяснений, ни доказательств. Мучений и терзаний им никаких не было. Голодом их никто не морил. По моему приказанию им носили пищу и питье, и я не виноват, если им казались плавающими на поверхности пищи черные змии невидимые. Сам же Феодор говорит, что змии были невидимы — как же он их видел? И как многотерпеливый Алексей имел терпение без пищи и питья прожить шестьдесят три дня.

Если б это объяснение было высказано спокойно, тоном теплого убеждения, то, может быть, оно бы и имело влияние хоть на некоторых из еретиков, но в настоящей обстановке оно было искрой для полного взрыва. Как обыкновенно, ровный и насмешливый тон на противника в состоянии возбужденном производит разрушительное действие, приводит его к совершенной потере самообладания, к полному исступлению.

— Святые Феодор и Алексей, услышьте молитву нашу, помогите отомстить за вашу смерть этому нечестивцу, — завопили раскольники. И Никита первым бросился на архиепископа, замахнулся на его голову тяжелым крестом, но выборные стрельцы удержали поднятую руку.

— Не смейте сходить с мест своих, — закричала правительница раскольникам, — а тебе, Никита, если ты осмелишься еще раз поднять руку, я прикажу отрубить голову.

Волнение стихло, но ненадолго. Когда раскольники стали называть еретика Никона развратителем души царя Алексея

Михайловича и доказывать исчезновение в Руси святого благочестия, Софья Алексеевна сошла с трона и, обращаясь к боярам и стрельцам, сказала:

— Мы не можем выносить такой хулы. Если Никон и отец наш были еретиками, так и мы все тоже. Стало быть, и братья мои — не цари и патриарх не пастырь. Ни мне, ни всему царскому дому оставаться в Москве больше нельзя, и я удалюсь в чужие страны.

Не успела царевна выговорить свои угрозы, как из скучившейся толпы ясно послышался чей-то голос:

— И пора, государыня, давно бы пора вам в монастырь, полно-де вам царством-то мутить, были бы только здоровы цари государи, а ваше место пусто не будет.

Но этот голос заглушился громким общим криком бояр и стрельцов, окруживших правительницу с заявлениями о готовности положить головы свои за царский дом. Царевна и бояре воротились на свои места. Чтение челобитной продолжалось. Напрасно патриарх и все духовенство старались вразумить, упорных отступников, доказывая всю ошибочность их мнений, напрасно они предлагали им греческие и старинные славянские рукописи для сличения с печатанными при прежних патриархах с указанием явных ошибок в последних, раскольники не хотели ни видеть, ни слышать, ни понимать, — Так, когда один из священников указал им в книге, напечатанной при патриархе Филарете, следовательно, авторитетной для них, явную несообразность о разрешении в великий четверг и в великую субботу употребления мирянами мяса, а иноками масла и сыра, Никита, не задумываясь, отвечал: «Такие же плуты писали, как и вы».

Вечерняя служба в церквах оканчивалась. Все, присутствующие на прении с утра, крайне утомились.

Правительница объявила раскольникам, что продолжать прение невозможно, что челобитная их будет рассмотрена и чтоб они ожидали царского указа. Высказав это, царевна сошла с трона и удалилась из Грановитой палаты, за ней последовали тетка ее Татьяна Михайловна, сестра Марья Алексеевна,

царица Наталья Кирилловна, патриарх и присутствовавшие бояре.

Раскольники считали свое дело выигранным. С торжеством они вышли из дворца и, подняв кверху руки с сложенным двуперстным знаменем, кричали ожидавшей их на площади толпе: «Так веруйте! Так веруйте! Всех архиереев препрехом и посрамихом!» С Кремлевской площади торжественной процессией они перешли на Красную площадь к Лобному месту, где остановились, установили снова свои налои и долго поучали народ по своим Соловецким тетрадам. Отсюда раскольники в сопровождении многочисленной толпы отправились в том же порядке за Яузу, где в слободе Титова полка встречены были колокольным звоном. Здесь отслужено было благодарственное молебствие в церкви-Всемилоственного Спаса на Чигацах.

Постоянное напряжение нервной природы Никиты не обошлось ему даром. При последнем слове молебна смертельная бледность разлилась по лицу, голова запрокинулась на спину, руки вытянулись вперед, как будто ища себе опоры, и все тело, упав на землю, закорчилось в страшных судорогах.

Глава XIV

Преждевременно торопились раскольники благодарственным молебном. Нелегко было Софью Алексеевну испугать народной смутой и заставить ее растеряться. Она не теряла времени в обдумываниях и колебаниях... напротив, быстро и энергично принимала решительные меры. Вечером того же дня она призвала к себе на Верх выборных стрельцов от всех полков. По приказу ее явились все, кроме выборных Титова полка, не приславшего ни одного человека.

— Вы или ваши товарищи сегодня видели сами, — говорила выборным правительница, — до чего дошла дерзость Пустосвята и раскольников. Они не уважали ни царского рода, ни святейшего патриарха, ни именитой издревле боярской Думы. В нашем присутствии Пустосвят осмелился нанести руку на служителя. Божия и убил бы его, если б не доблестная

защита всегда преданных царскому престолу стрельцов. Если оставить безнаказанным подобное оскорбление царского имени, то до чего дойдет их смелость? Могут ли существовать торговля и промыслы, — чем занимаетесь и вы также, — если не будет порядка и безопасности, если не будет никакой управы на злодеев. Никакое царство не сможет существовать без царской власти, которая казнит и награждает. Стрельцы всегда были опорой царей и деда моего блаженной памяти царя Михаила Федоровича и родителя моего великого царя и государя Алексея Михайловича и недавно скончавшегося братца царя Федора Алексеевича. Все они любили, жаловали и награждали вас. И я разве не люблю вас и не жалею вас, — голос царевны задрожал и слезы показались на глазах, — разве не отличала вас, своих верных слуг! Вот и теперь в тяжкую смуту я обращаюсь к вам же и требую вашей помощи. Доколе будут свободны изуверы, доколе не будет покоя и порядка. Необходимо изыскать Пустосвята и его главных сообщников и представить их к моему царскому беспристрастному суду. Неужели вы променяете нас на каких-то чернецов и предадите святейшего патриарха на поругание?

Речь царевны, ее уменье затронуть живую струну, вовремя стыдить, хвалить и ласкать — произвели глубокое впечатление на простые души стрельцов. И царевна достигла своей цели: выборные Стремянного полка, в рядах которого почти вовсе не было раскольников, первыми заговорили в один голос:

— Мы, государыня царевна, за веру старую не стоим и не наше это дело. Это дело патриарха и всего освященного собора, а за тебя мы готовы положить свои головы с радостью.

То же отвечали и выборные других полков.

Для поощрения правительница тотчас же двух пятисотенных Стремянного полка, особенно выказавших свое усердие, пожаловала в думные дьяки, а всех — прочих угостила вином из царских погребов. Кроме того, каждый из них в награду за преданность, в виде особенной милости, получил денежный подарок.

— Нет нам дела до старой веры, — говорили они, возвращаясь в свои слободы, — постоим мы за нашу матушку

государыню царевну.

Так кончился в Москве день 5 июля, богатый событиями, имеющими особое влияние, по местным усложнениям, на весь последующий — ход общественной жизни. Для нас, по истечении почти двухсот лет, эти события могут казаться не особенно рельефными, не выражающими почти никакого значения. Что значит какой-нибудь нелепый заговор каких-то безграмотных, безумных чернецов? Но если мы подойдем к этим событиям ближе, если отрешимся от настоящего склада и проживем жизнью того времени, то мнимая легкость исчезнет сама собою. В речах Пустосвята и его сообщников не должно видеть выражения одиночных воззрений., нет, это был формальный протест всей старой жизни, страстное стремление к удержанию старого порядка и к отрицанию всякого поступательного движения. Это было не несколько изуверов — это было большинство, отвергавшее всякую новизну, видевшее в каждом новаторе — антихриста. Удайся замысел раскольников — к чему имелось немало шансов, по малолетству царей и по разъединенности государственных партий, — течение русской общественной жизни, вероятно, надолго получило бы иное направление. Ум правительницы понял значение протестации, и хотя последняя скорее могла бы быть в пользу ее личных честолюбивых видов, могла бы быть могущественным орудием в ее руках, она без колебания двинулась навстречу поднявшейся грозе. Только ее энергическим мерам обязана была новая жизнь своей окрепостью, а следовательно, и способностью к дальнейшему движению.

Усталая и измученная легла Софья Алексеевна в ночь на 6 июля, но зато в полном сознании исполненного долга. Меры, принятые ею, оказались действительными, хотя тем не менее протестация не покорилась безмолвно.

Выборные стрельцы всеми силами старались в пользу правительницы, но рядовые высказывали явное неудовольствие на них.

— Вы выбраны были говорить правду, — кричало недовольное большинство, — а вы поступили не по правде. Вы прельстились водкой да красным вином.

И неудовольствие росло все больше и больше, опасность становилась грозней и грозней. Не раз уж приходили выборные к правительнице с жалобой и мольбой о помощи против товарищей, грозивших побить их камнями. В Титовой слободе почти ежедневно слышались крики:

— Добром не разделаешься... пора опять приниматься за собачьи шкуры...

С другой стороны и выборные царевны не уставали работать. С каждым днем они привлекали на ее сторону новых сподручников, которые, побывав у нее на верху и обласканные, возвращались в слободы самыми рьяными агентами. Сторона ее росла, и через несколько дней уже на ее руке было большинство. Оставался один опасный и сильный, по своей искренней фанатической преданности своему делу, враг — Никита Пустосвят. Его привлечь было невозможно: ни на подкуп, ни на ласки, ни на какие обещания он поддаться не мог. Как бы ни были ложны и неосновательны его убеждения, по он верил им, они были его плоть и кровь, и с ними он мог расстаться только с потерей жизни. И он расстался с ними, только расставшись с жизнью.

Двое стрельцов из Стремянного полка дали обещание правительнице изловить Пустосвята и передать его суду. Изловить было нетрудно. Никита не скрывался, напротив, он ежедневно, то в одной, то в другой слободе всенародно проповедывал учение. За ним стали следить и подстергать.

Раз уже почти ночью, возвращаясь в слободу Титова полка с проповеди в другой отдаленной части города, Никита проходил длинным, узким переулком, по бокам которого тянулись нескончаемые заборы. Сосредоточенный, как обыкновенно, Никита не замечал, как почти с самого места проповеди следили за ним двое стрельцов. В середине переулка эти два стрельца быстро кинулись на него и прежде, чем тот заметил опасность, нанесли ему сильный удар в голову. Никита упал без чувств, не издав ни крика, ни стога. Стрельцы, вместе с еще несколькими подоспевшими к ним на помощь, подняли ошеломленного и отнесли на Лыков двор. В этот же вечер схвачены были и другие

более выдающиеся из учителей и приведены на тот же двор, где и были посажены по разным местам.

На рассвете начался суд, и не более как в один час Никита был приговорен к смертной казни — отсечению головы, в случае нераскаяния, и к ссылке в отдаленный монастырь, если бы раскаялся в своих преступлениях и всенародно признал заблуждение ереси.

Суд и исполнение заняли немного времени. В опровержение общего ропота на медленность и волокиту суда того времени, тем же утром и все еще довольно рано Никиту вывели на Красную площадь, быстро наполнившуюся толпами народа.

Думный дьяк прочитал указ.

Не сказав ни слова, не выразив ни одной жалобы, ни одной просьбы, осужденный твердыми шагами пошел к приготовленной плахе.

— Раскаиваешься ли? — спросил его думный дьяк.

— Проклинаю антихриста Никона и всех сподвижников его! — сказал твердо и громко Никита и потом добавил еще громче, обращаясь к народу: — Пойдите, братья, за старую веру православную и истинную.

— В последний раз тебя спрашиваю: раскаиваешься ли? — более для соблюдения формальности спросил дьяк.

— Умру за истинное древнее благочестие!

И, перекрестившись двумя перстами, преступник склонил голову на плаху.

Палач, широким кругом махнув секирой, сильным ударом опустил ее на плаху. Отсеченная голова скатилась, и кровь ручьем брызнула на помост. Народ молча разошелся по домам.

Из последователей Никиты чернец Сергей сослан в Ярославль в Спасский монастырь, другие же разосланы по разным отдаленным местам в заточенье. Вся толпа многочисленных последователей рассеялась в разные стороны.

Глава XV

Казнь Пустосвята, при остром характере положения общества того времени, оправдывалась государственною

необходимостью. Она разрубила главный узел, привязывавший Русь к старине. Правда, смерть ересиарха не поколебала ложных убеждений, так как кровью не только никогда не истреблялись никакие верования и убеждения, напротив, кровью эти убеждения становились жизненнее и устойчивее, но она лишила раскольников значения государственной партии. Остававшиеся в Москве раскольники не могли быть опасными; они, по крайней мере, в большинстве сами не были проникнуты силой правоты своих верований и потому не доходили до самоотвержения.

С Пустосвятом раскол лишился воодушевления, но оставалась внешняя сила — в князе Хованском. Как сила, князь казался громадной опасностью, но и как во всякой только внешней силе, лишенной внутренней крепости, эта опасность не имела в себе существенного значения.

Князь отслужил панихиду по убиенному учителю и записал его кончину как кончину мученика, пострадавшего за веру. Князь не был человеком мысли и дела; храбрость и решительность его всегда были следствием чуждого побуждения. А теперь явилось перепутье, и ему самому предстояло выбрать себе путь. Одна дорога, казавшаяся ему особенно привлекательной, вела далеко — к самому трону. На эту дорогу указывал ему покойный учитель и все его приверженцы из староверов-стрельцов, этой дороги желал старший его сын Андрей, и об этой дороге не раз мечтал и он сам. Другая дорога скромно вела к первым рядам преданных слуг Софьи. Последняя дорога безопасна, но совершенно противоречила завещанию учителя и ставила его Лицом к лицу, на одну доску с другими придворными, более его ловкими, более его изворотливыми, подпольная борьба с которыми была ему не по силам. Да и тяжело было ему становиться на одну доску с теми, которых он так высокомерно унижал и оскорблял и которым не раз говаривал в Думе:

— Никто из вас так не служивал, как я... где вы ни бывали, куда вас ни посылали, везде государство терпело только вред и поношение от вашей безумной гордости, мною же держится все царство.

Нерешительный характер заставил его выбирать средний путь, оставить обстоятельства складываться помимо его воли своим обычным течением и принять только полумеры в виде ограждения своей личной безопасности. В этом последнем отношении он чрезвычайно успел. Выхлопотав формальный царский указ о переименовании стрельцов в надворную пехоту, исполняя все требования стрельцов, когда даже эти требования расходились с видами правительства, награждая и одаряя даже при полном истощении казны, обращаясь приветливо и ласково, он совершенно овладел нехитрыми душами стрельцов. Все полки — за исключением Сухаревского и Стремянного, отделившихся из общей массы особняком, — видели в нем отца родного и готовы были положить за него свои головы. Таким образом, имея под руками стрелецкие слободы и окружась у себя дома достаточной стражей, он мог считать себя в полной безопасности, а при благоприятных обстоятельствах и полным самовластным решителем судьбы государства.

Отчетливо и ясно сознавала Софья Алексеевна все внутреннее бессилие князя, и лично он сам не казался ей опасным, но она понимала ненормальность положения того государства, где решающая сила находилась в топоре. Воспользовавшись сама этой силой, она не могла не видеть возможности и другой более смелой узурпации. Требовалось во что бы то ни стало разрушить этот грозный фатум, сделать из него слепое и послушное орудие, — а это казалось невозможным, пока во главе войска стоял обожаемый им начальник, горячо отстаивавший все его интересы.

А между тем скорейшее принятие мер вызывалось настоятельно. Буйство стрельцов превосходило всякие границы. На другой день после казни Никиты Пустосвята толпа стрельцов явилась перед дворцом и требовала выдачи им головой некоторых бояр, будто замыслившись перевести стрельцов. Волнение, продолжавшееся два дня, утихло только с казнью пустившего в ход между стрельцами этот слух Одышевского царевича, недовольного правительством за малый себе почет и за скудное содержание. Не успело стихнуть это волнение, как возникло другое по такому же поводу, вследствие слуха,

распущенного каким-то посадским человеком, ярославцем. Не раз подавал повод и сам князь Хованский, в досаде на бояр высказывавший стрельцам:

— Ну, дети, уж и мне за вас грозят бояре, мне делать больше нечего, как хотите, так и промышляйте сами.

При такой группировке обстоятельств судьба князя составляла решительный момент, и только недалёковидный, нерешительный ум его не мог сознавать этого значения, мог предоставлять свою судьбу течению обстоятельств.

В некоторых наших хрониках встречается указание на более деятельную роль князя, на заговор его, на подговор будто бы им стрельцов погубить все царское семейство в день праздника (19 августа) Донской Богоматери во время крестного хода в Донской монастырь, неудавшийся только по предусмотрительности правительницы, приехавшей с царями в монастырь уже после хода, когда началась церковная служба. Это известие нельзя считать достоверным, оно не встречается в других, более верных хрониках и не согласно с характером князя.

За несколько дней до Нового года^[10] на царском дворе началось особенное движение. Выдвигались и тщательно осматривались дорожные объёмистые колымаги, вытиралась и чистилась сбруя, смазывались колеса, нагружались экипажи разного рода вещами и, как видно, не для одного путешествия, а для более или менее продолжительной остановки где-нибудь.

Все царское семейство выезжало — но куда? Никто не знал. Немало хлопотали узнать, комнатные стольники, стряпчие и низшая дворцовая челядь, да узнали только то, что царевна приказала укладываться как возможно поспешнее. Терялась в догадках дворцовая челядь, да и было отчего растеряться. С незапамятных времен не запомнят, чтоб весь царский род выезжал из Москвы. Выезжали, правда, и прежде цари государи в свои подмосковные села, но ненадолго, не всем семейством, а только потешиться своей любимой соколиной охотой. Теперь же некому и тешиться-то любимой забавой. Старшему царю не до охоты, а младшему не по душе были такого рода забавы. Петр из всего урядника охоты нашел любопытными только одну приписку отца покойного Алексея Михайловича: «Правды же и

суда и милостивые любве и ратного строя николи же не забывают: делу время и потехе час» — и не пленяли его молодого воображения красноречивые для того времени советы урядника охотникам: «Приимает кречета образцовато, красовато, бережно и держит честно, смело, весело, подправительно, подъявительно, к видению человеческого и красоте крещатъей и стоит урядно, радостно, уповательно, удивительно и т. д.». Следовательно, о забаве соколиной не могло быть и речи.

Да зачем бы выезжать всем царевнам? На богомолье? Не статочное теперь время для богомолья, да и снаряженье другое. Едут вместе и отстраненная царица Наталья Кирилловна, и правительница Софья Алексеевна, тогда как с самого стрелецкого бунта царица Наталья Кирилловна жила в Преображенском особняком, ни во что не вмешиваясь.

Недолго продолжались дорожные сборы, так спешили и суетились. Наконец после обычных хлопот, беготни и размещений царский поезд тронулся из Москвы по Коломенской дороге. За выездом его с каждым днем стали разъезжаться и боярские чины, кто в Коломенское, а кто по своим вотчинам и поместьям.

С удивлением провожали москвичи эти длинные поезда. Не добром веяло от этих неожиданных, негаданных отъездов. Осиротела Москва. Когда это бывало, чтоб вдруг ни с того, ни с чего весь царский двор покидал столицу, как будто подступал к ней какой-нибудь враг с необъятной силой.

Из первостепенных сановников остался в Москве только один князь Хованский. Приуныли посадские и городские, попрятавшись по домам. Только одни стрельцы гордо расхаживали по городу, чувствуя себя полными хозяевами и считая себя в полном праве опустошать то погреб, то клеть которого-нибудь из уехавших бояр. Да и действительно, фактическое право, право силы, было на их стороне. Куда идти жаловаться? Где искать суда и защиты? В те же стрелецкие приказы, к тем же стрельцам. Грустно провожали москвичи последние дни умирающего года, и все с нетерпением ожидали наступления нового.

Привыкли москвичи встречать Новый год в общении с царем, усердной молитвой к Всевышнему о ниспослании благ на грядущее лето. Привыкли они присутствовать в день Нового года вместе с царем на торжественном молебствии, совершаемом самим патриархом на кремлевской дворцовой площади. Вероятно, к этому дню, чаяли москвичи, воротится в Москву если не все царское семейство, то уж непременно царь-государь.

Наступил и этот торжественный день, а никто из царского семейства в Москву не приехал. Только накануне прискакал из Коломенского гонец с наказом царевны к князю Хованскому быть ему непременно лично на молебствии вместо государей на площади. Задумался старый князь, получив эту грамоту.

«Исполнить или нет? — раздумывал он. — Хорошо бы исполнить — пусть народ видит вместо царей государей — глаз привыкает... А с другой стороны — не будет ли от этого какого лиха? С какой целью царевна велела... а спроста она не прикажет. Вот, дескать, самовольно занял цареву место... недругам боярам на руку... распишут... обвинят. Другое бы дело, если б здесь был царский двор, тогда... тогда... молодцы мои могли бы сразу порешить все... А теперь лучше я вовсе не пойду на площадь, останусь дома... скажусь, дескать, болен».

Так на молебствие старый князь и не явился, а послал окольного Хлопова. Молебен прошел благополучно, без помехи, только как-то необычно грустно, да и стрельцы не скупилась на неопределенные угрозы и оскорбительные восклицания против патриарха.

Дни шли за днями однообразно и утомительно — скучно. Через несколько дней после Нового года новый гонец от царевны к князю Ивану Андреевичу с требованием присылки в село Коломенское преданного правительнице стрелецкого полка Стремяного.

В то время как гонец явился к князю, у него в гостях сидел стрелецкий полковник Одинцов. Прочитав грамоту, князь передал ее Одинцову.

— Что скажешь, Борис Андреич? — обратился князь, когда Одинцов прочитал грамоту.

— Не знаю, как и думать, боярин, — отвечал Одинцов, — только не чаю тут хорошего. Для чего царевне понадобился Стремянной полк? Не для забавы же Петра Алексеича? Ему и дворовых мальчишек довольно. И заметь, князь, именно Стремянной — самый для нас ненадежный.

— Может, для собственной охраны, Борис Андреич.

— Что за охрана, боярин, в селе Коломенском-то! Нет, тут, ведаю, потаенное... Говорил мне сегодня Иван Борисов, стрелец моего полка, брат его еще служит конюхом у царевны, будто она разослала гонцов по разным городам с приказом собирать рать. Не ведомо тебе, для него?

— Не знаю... не слыхал... Борис Андреич, кажись бы, незачем... Недавно поехали наши гонцы к соседям с приглашением съехаться с обеих сторон для переговоров о вечном мире.

— Так для чего ж ополчение?

— Не знаю... полагаю так... пустая болтовня. Мало ль что вретя в челяди.

— Ну а зачем Стремянной полк царевне?

— Может, какая-нибудь надобность встретилась. Может, жалоба какая на кого из стремянных... Она многих знает лично, принимает участие.

— Если б жалоба, то передала бы тебе, князь, или переслала б в приказ.

— А может, и в самом деле царю Петру Алексеевичу хочется научиться воинскому строю. Он хоть и ребенок, а острый.

— Да дело не в этом, Борис Андреич, — продолжал князь, — а скажи мне: посылать ли стремянцев к царевне.

— Я бы не послал, князь.

— Да и я так думаю. Скажу, что, мол, полк собирается идти на очередь в Киев.

— Да вот еще забыл передать тебе, боярин. Тот стрелец сказывал мне, будто как только приехала царевна в Коломенское, так туда тотчас же явился Ванька Надорванный.

— Как, Надорванный в Коломенском? — с живостью спросил князь. — Правду ли сказал твой стрелец? Не врет ли?

— Не ручаюсь, от того же брата он слышал.

— Может, оба были пьяны?

— Не знаю. Оно правда, стрелец-то мой шибко запивает, до беспамяства, да, кажись, теперь не очередь. А с Надорванным разве ты разошелся, боярин?

— Разошелся, — отрывисто и насупившись отвечал князь.

— Что так? Про что?

— Да так... вздумал приказывать. Считал на свойство с царевной и задрал нос, да я скоро ошиб. Молод... не больно из дальних... старыми князьями помыкать не след. Я ему и пригрозил по-своему...

Разговор оборвался. Напоминание о Милославском, видимо, раздражало князя. Одинцов скоро ушел.

На другой день гонец уехал в Коломенское с отказом князя в высылке туда Стремянного полка.

Глава XVI

Между тем как в Москве все стихало и таилось в каком-то болезненном ожидании, в селе Коломенском проявились необычные движение и деятельность. Давно Коломенское не видало у себя таких многочисленных гостей и притом таких беспокойных. Не успевал первый поезд разгрузиться, как следует домовитым хозяевам, не успевала пыль улечься по старым местам, как новая поднималась в безветренном воздухе и новый поезд подходил к селу, за этим поездом еще и еще... Кончились поезда, стали наезжать отдельные экипажи.

Шум, беготня, смех и ругань на царском дворе неумолчные; то ногу кому-нибудь прихватит колесом, то какой-нибудь ловкий парень изловчится ущипнуть бойкую сенную девушку на бегу, и каждый пользуется неурядицей для своего личного дела.

Наконец разгруженные экипажи задвинуты на задний двор, лошади пущены на подножный корм. Казалось, можно было бы человеку и угомониться, сходить в приготовленную баньку, покушать поплотнее на живительном деревенском воздухе и заснуть сном безмятежного праведника — так нет... Несонливые гости наехали. Гонцы верхами засновали по дороге, тот в Москву, этот из Москвы — и конца и счета им нет.

Мало-помалу все-таки стало поутихать, и день Нового года прошел благополучно, а, на другой день — новая перемена.

На рассвете второго сентября подъехал к Коломенскому дворцу преданный царевне стрелецкий полковник Акинфий Данилов. Сойдя с лошади и подойдя к запертым еще воротам, он при свете пробивающегося дня заметил прибитую к полотну ворот бумажку.

«Ба, что это? Не приказ ли какой приезжающим, — подумал он и, осторожно сняв бумажку, с трудом прочитал крупно начерченные знаки: «Вручить царевне Софье Алексеевне». — Странное письмо, а все-таки нужно передать государыне», — решил он, спрятав письмо в карман. Затем он постучал в ворота.

— Что, государыня царевна еще не изволила встать? — спросил он, входя во внутренний двор, привратника, лениво затворявшего за ним ворота.

— А вон видишь отворенное окно-то? Это в ее опочивальне. Видно, уж изволила встать.

— Так скажи кому-нибудь доложить государыне о приезде из Москвы стрелецкого полковника.

Привратник направился к дворцу.

Вскоре из внутренних покоев вышел ближний стряпчий царевны и, подойдя к приехавшему, с неласковостью и видимым оттенком подозрительности допросил.

— Кого тебе нужно, честной господин?

— К государыне приехал, к царевне Софье Алексеевне, — отвечал приехавший.

— А как обзывать тебя?

— Акинфий Данилов.

— А званья какого и откуда?

— Стрелецкий полковник — из Москвы.

— А с каким умыслом?

— Про то буду докладывать государыне, а не тебе, — с досадой уже ответил полковник.

— Ну иди за мной. Государыня сама изволила тебя видеть в окошко и приказала привести к себе, да опасливо...

Царевна действительно не только встала, но уж успела сделать свой утренний туалет и помолиться Богу. [Теперь она у окна читала книгу.

— Здравствуй, мой верный Данилов, — приветливо начала она вошедшему, благосклонно протягивая руку, которую тот поцеловал.

— Когда из Москвы и каких вестей привез?

— Выехал я, государыня, ночью тайком от стрельцов других полков и вестей особых с собой не привез.

— Когда Стремянной полк придет сюда?

— Не ведаю, государыня, а слышал я, будто князь назначает его к походу в Киев.

— Да, он мне писал об этом, но я приказала переменить и назначить к походу другой полк, — с раздражением стала говорить правительница, и снова на лбу ее образовалась знакомая складка.

— На молебствии вчера ничего не случилось?

— Ничего, государыня, говорили, правда, стрельцы из раскольников против патриарха непригожие слова, да пустое.

— Как осмелились при князе? И он дозволил... не остановил их?

— Князя Ивана Андреича на молебне не бывало.

— Как не бывало, когда я ему именно приказывала быть?

— Князь весь день вчера пробыл дома, может, по болезни... а на молебне вместо его был окольный Хлопов.

— А... — протянула правительница.

— Вести-то для тебя, царевна, я подобрал на дороге. Вот сейчас снял с дворцовых ворот письмо к тебе, — сказал полковник, вынимая из кармана письмо и подавая его царевне.

Софья Алексеевна взяла письмо и стала читать; по мере продолжения чтения лицо ее становилось беспокойней и мрачней.

Письмо заключало в себе донос на князя^[11].

— Хорошо, полковник, — сказала правительница, кончив читать, — спасибо за преданность, поверь — не забуду. Оставайся здесь при нас... нам нужны теперь преданные слуги.

Поди отдохни покуда да скажи, чтоб позвали ко мне Ивана Михайловича да Василья Васильевича.

Через несколько минут тот и другой были в приемной.

— Сейчас был у меня стрелецкий полковник Акинфий Данилов, приехавший сюда из Москвы ночью похоронном, и привез нехорошие вести. Верного мне Стремянного полка, несмотря на мое вторичное приказание, князь не присылает до сих пор и не знаю — пришлет ли когда-нибудь. Потом приказывала я князю непременно самому лично быть на молебне в день Нового года, а он опять ослушался въявь, на молебне не был, оставил нашего святейшего патриарха выносить оскорбления от раскольников стрельцов. И, наконец, вот я получила известительное письмо о злоумышленных делах Ивана Хованского, как изменника явного. Прочтите и скажите, как поступить.

Правительница передала письмо Василию Васильевичу, но тот отклонился.

— Пускай прежде, государыня, прочтет Иван Михайлыч, он постарше меня.

Боярин стал читать, а мягкий, но внимательный взгляд князя не уставал следить за выражением лица читавшего. Это выражение читавшего ясно высказывало удивление и негодование, но странное дело, глаза боярина не следили за каждой буквой, что можно было бы ожидать от небойкого грамотея, а скользили по письму, как будто по давно знакомому полю.

Прочитав донос, боярин передал его князю. Этот, напротив, читал не торопясь и не волнуясь — только углы губ его передергивало от сдержанного движения.

— Что, мои верные ближние, посоветуете? — спросила правительница.

Первым начал говорить Милославский.

— Я давно говорил тебе, царевна, давно предупреждал о злых умыслах Хованского, писал к тебе не раз из деревни, наконец приехал сам лично рассказать, что мне передавали за тайну верные мои люди из стрельцов, а вот теперь и письмо... Верно и Василий Васильевич тоже...

— Ну, положим, письмо-то ровно ничего не показывает, — спокойно отозвался князь.

— Как? Разве не читал, князь... — с жаром заговорил Милославский.

— Читал, боярин, да не признаю в нем важности... Первое — оно пашквиль, а пашквилям, по-моему, веры иметь не должно, второе — ничего не мешало доносчикам явиться самим к царевне, бояться им нечего, третье — по характеру князь не способен на исполнение такого дела, четвертое — об таких умыслах не говорят на площадях или, что все едино, с десятками лиц, в верности которых не убеждены. Правда, нанимают убийц, но когда верность их обеспечена. Нет, не подметным письмам верить, а нужно, боярин, в душу человека заглянуть, да так заглянуть, чтоб порошинки не осталось утайной... Да что мне тебе рассказывать, боярин, ты сам лучше меня знаешь, — заключил князь, улыбаясь и как-то двусмысленно глядя на Милославского.

Во все время Софья Алексеевна с любовью смотрела на князя.

«Вот таким-то я и люблю тебя, мой милый, — думала она. — Выше ты их всех по разуму, и далеко они отстали от тебя... А то иной раз таким покажешься двуличным, да трусливым, так бы и отвернулась от тебя...».

— Так, по-твоему, князь, — между тем говорил Иван Михайлович, горячась и с покрасневшими глазами, — царевне нужно добровольно протянуть шею и ждать, когда голову снимут...

— Ты не понял меня, боярин, — спокойно отвечал Голицын. — Я говорил только о подметном письме, а что до безопасности, так я уж докладывал государыне о мерах...

— Какие ж меры, князь?

— Долго говорить об этом, боярин, теперь не время, — уклончиво отозвался князь.

— Видишь, в чем дело, Иван Михайлович, если б дерзость Хованского превысила пределы моего терпения и сделалась бы опасной, так я задумала устранить его от стрельцов, а для своей безопасности призвать к себе земское ополчение.

— Хорошо, царевна, да невозможно. — заметил Милославский.

— Отчего ж, боярин, невозможно?

— Да оттого, что по князе все стрельцы встанут грудью, а земская рать собирается медленно.

— И то, и другое — не помеха. Князь Иван Андреич может сам приехать сюда ко мне — за это я берусь, — а земское ополчение из ближних мест может собраться скоро, особенно если на сборных местах будут наблюдать и торопить мои гонцы. Готовы ли у тебя окружные грамоты, Василий Васильевич?

— Давно готовы, еще в Москве, — отвечал Голицын, вынимая из кармана сверток, — Не изволишь ли прислушать.

И обычным своим мягким, ровным голосом князь прочитал воззвание правительницы о крамолах стрельцов по подстрекательствам Хованского, избивших столько бояр. «Спешите, — говорилось в заключение, — всегда верные защитники престола, к нам на помощь; мы сами поведем вас к Москве, чтобы смирить бунтующее войско, наказать мятежного подданного, очистить царствующий град Москву от воров и изменников и отомстить неповинную кровь».

«Так вот оно что, — думал Милославский во время чтения Голицына, — здесь все уже покончено, все устроено, и я опять лишней спицей. Так-то вот всегда со мной. Сначала Артамон, враг мой, мешал, стер его... вот, думал, буду властвовать, а вышло не так... на нос сел мой же подручник Хованский. Хлопочу спихнуть того, скачу сюда, подвожу ловко, а на деле опять ни при чем... место занято. Нет... верно, опять укрыться в своем углу да забавиться домашней ягодкой».

— Не нужно ли, Василий Васильич, — говорила Софья Алексеевна, — прибавить в грамоте об умысле Хованского извести весь царский род и сесть самому на Московском государстве?

— Не нужно, государыня, будет совсем лишнее. Зачем понапрасну тешить досужих вымышленников, — отвечал князь, лукаво и искоса поглядев на Милославского. — Из этого не стоит составлять новые грамоты.

— Еще одно слово, Василий Васильевич, не находишь ли ты Коломенское опасным? Не переехать ли нам в другое место?

— Да, государыня, не мешает, — отвечал Голицын. — От Москвы недалеко, а оборониться здесь негде и нечем. Предложил бы я переехать в Саввин-Сторожевский монастырь. Там хоть ветхие, да все-таки стены, и можно отсидеться хоть некоторое время до ополчения.

— И ты то же думаешь, Иван Михайлыч?

— Да, государыня, и я то же думаю, — подтвердил Милославский, почти бессознательно.

— Так чем скорее, тем лучше. Прикажи, Василий Васильич, собираться в Саввин.

Голицын вышел. Стал прощаться и боярин Милославский.

— Ты куда, боярин?

— Думаю, государыня, отправиться в вотчины. Уволь. Здесь-то, я вижу, ни к чему не пригоден.

— Полно, Иван Михайлыч, я не отпущу тебя. Кому же, как не тебе, делить со мной опасное время? — сказала царевна с той улыбкой, которая так притягивала к ней и которая так редко в последнее время появлялась у ней.

— А теперь прощай. Иду собираться в дорогу. Сбирайся и ты со мной, Иван Михайлыч.

И снова колымаги вывозились на передний двор, и снова начались та же суетня, те же хлопоты, то же ворчанье старых и заигрывание молодежи. Ближайшая постельница царевны лично присматривала за укладкой и торопила. Различного рода и вида сундуки и сундучки, ларцы и ларчики, узлы и мешки быстро прятались внутри колымаг. Наконец экипажи подвезли к крыльцу, и все царское семейство, и ближние люди разместились на мягких подушках и перинах, наложенных чуть не до верха. Поезд тронулся и длинной вереницей потянулся по дороге в Саввин монастырь.

Снова опустело Коломенское с своей немногочисленной дворцовой прислугой. За воротами стоял старый привратник и долго следил за удалявшимся поездом, прикрыв прищуренные глазки ладонью от лучей западавшего солнца, бивших ему прямо в глаза.

— Слава тебе, Господи, милосердному Создателю нашему, уехала с своей бесовской прелестью. Измаялся день-деньской. Пойти отдохнуть маленько, — и, перекрестившись двуперстным знаменем, поплелся старик в свою каморку.

Глава XVII

Как все почти наши древние русские обители, Саввин-Сторожевский монастырь построен в одной из самых живописных местностей Московского государства, в пятидесяти верстах к западу от Москвы и в полутора верстах от Звенигорода на довольно высокой горе Сторожи, составляющей левые берега речек Москвы и Разварни. В древние времена, во времена нежданных, негаданных литовских набегов перед основанием монастыря на этой горе постоянно находился сторожевой пост, наблюдавший над Смоленской дорогой. Трудно было выбрать место более удобное. С горы открывался далекий вид на окрестности, на тянущуюся серую полосу дороги, обрамленную густой листвой, на разбросанные там и сям поселки и на самый удельный город Звенигород.

Основание монастыря относится к последнему или предпоследнему году XIV столетия и приписывается Савве, иноку и питомцу Сергия Радонежского. Любимый, ученик св. Сергия, славившийся своей строгой жизнью, Савва был духовным отцом Дмитровского и Звенигородского удельного князя Юрия Дмитриевича, брата Василия Дмитриевича, великого князя Московского. По настоятельному убеждению духовного сына князя Юрья Савва, покинув основанную им Дубенскую обитель, где был настоятелем, перешел в Звенигород и, выбрав место для новой обители на горе Сторожи, срубил деревянную церковь во имя Рождества Богородицы. Вскоре вместо этой деревянной церкви ревностью князя Юрья выстроена была новая, уже каменная церковь, обильно снабженная всей церковной утварью^[12], а весь монастырь обнесен деревянной стеной. Семь лет управлял Савва новоустроенным монастырем и умер 3 декабря 1407 года. После смерти основателя монастырь не только не умалился, но,

напротив, все более и более расширялся. Богато наделил обитель князь Юрий, много дал он ей земель и сел, но еще более дары умножились, когда в народе стали распространяться слухи о чудесах над гробом почившего основателя.

Рассказывали, например, что будто бы много лет спустя игумену Сторожевскому Дионисию во сне явился инок и сказал:

— Напиши образ мой.

— Но кто ж ты? — спросил Дионисий.

— Я начальник месту сему — Савва, — отвечал инок.

Проснувшись, Дионисий стал спрашивать о покойном Савве. Нашелся один старик, еще помнивший Савву, и по его рассказам, явившийся во сне инок оказался действительно почившим основателем. Дионисий, искусный в живописи, по памяти написал образ.

Слухи все более и более распространялись, число братьев увеличивалось, обитель богатела. Великие князья московские под влиянием религиозного чувства стали посещать чудотворное место, совершать обычное богомолье, внося каждый раз от себя щедрые вклады. Но из всех государей самым щедрым оказался царь Алексей Михайлович. Этот государь, любя страстно охоту в привольных монастырских окрестностях, построил себе на монастырском дворе особый дворец с крытым переходом в собор.

Одно предание, записанное в монастырских хрониках, объясняет религиозную ревность государя Алексея чудом покойного, чудом, послужившим будто бы основой к открытию мощей св. Саввы.

Раз, охотясь в лесах, окружавших Звенигород, Алексей Михайлович отдалился от всей сопровождавшей его свиты. Очутившись совершенно одиноким в незнакомом месте среди почти непроходимой чащи, государь смутился, невольно закралось в его душу тревожное чувство. Опасность действительно была, и даже близкая, неотразимая. В нескольких шагах от государя и прямо к нему направлялся громадный медведь, по-видимому, раздраженный шумом охоты. Алексей Михайлович оледенел от ужаса, но вдруг совершилось чудо: подле государя неведомо, откуда явился старец в

иноческой одежде, от взгляда которого медведь побежал прочь. Изумленный царь спросил об имени избавителя.

— Я инок Сторожевской обители, Савва, — отвечал незнакомый и пошел к монастырю. Государь последовал за ним, но при въезде в монастырь потерял из виду. Вскоре прибыли и отставшие придворные.

Увидев архимандрита Сторожевского, государь поспешил рассказать ему об этом случае и приказал привести к нему инока Савву-избавителя.

— Государь, такого инока нет у нас в обители, — отозвался настоятель.

— Нет? А вот его образ у вас? — и государь указал на портрет, рисованный настоятелем Дионисием.

Оказанная помощь объяснилась заступничеством св. Саввы.

После этого происшествия Алексей Михайлович приказал вскрыть гроб покойного Саввы. По вскрытии оказалось, что тело, лежавшее в земле 245 лет, осталось нетленным.

Алексей Михайлович часто и подолгу, со всем своим семейством, жывал в монастыре и в настоящее время сохраняются богатые ризы и пелены, низанные крупным жемчугом — рукоделья дочерей царя Алексея. Царевна Софья выстроила церковь во имя Преображения (к северу от главного собора). Трапеза этой церкви, по позднейшей переделке, сделалась помещением для классов духовных училищ.

Начало сентября и глубокие сумерки. Как будто в укор, в обличение людских несправедливых поговорок и прозваний, сентябрь 1682 года выдался особенно приятной погодой. После удушливого знойного лета начались теплые, мягкие дни с длинными сумерками осенних вечеров. Это — время полного умирающего отдохновения. Производительная сила природы после страстного напряжения отдыхает и нежится, любуясь грандиозностью созданного ею в течение нескольких месяцев.

Чудный вечер. В ароматном воздухе слышится ласкающее, освежающее, возбуждающее нервы. Почти полная луна то высвободится от быстро бегущих неопределенных очертаний

облаков, обольет матовым светом и деревья, и каждый кустик, придаст им вдруг причудливые формы, отбросит от них играющие тени, то вдруг мгновенно спрячется в бегущей воздушной группе, оставя прежнюю серую темь.

На довольно обширной дерновой скамье Саввин-Сторожевского монастырского сада, искусно устроенной монахами под кустами акаций с переплетенными верхними ветвями в форме беседки полусидели или, лучше сказать, полулежали двое Голицыных, двоюродных братьев, Василий Васильевич и Борис Алексеевич, кравчий двора царицы Натальи Кирилловны.

Трудно представить типов более резко различных. Насколько во всех движениях Василия Васильича виднелась холодная сдержанность, обычное свойство дипломатов всех веков и народов, настолько же во всей наружности Бориса Алексеича так и бросалась размашистая славянская натура. Борис Алексеич был весь наружу и всегда нараспашку. В больших голубых глазах его почти постоянно искрилась беззаботная веселость, толстые подвижные губы дышали простодушием, а широкий нос, начинавший краснеть, выдавал слабость кравчего к увеселительным напиткам. Откровенный характер Бориса Голицына целиком выливается в каждой строчке последующей переписки его с Петром, в которой, например, встречается подобная подпись: «Бориско хотя быть пьян».

Но некоторые черты у обоих братьев были общими. Оба считались передовыми, образованными людьми своего времени, оба были знатоками латинской премудрости, но один извлекал из нее уроки житейской горькой опытности, а другой, беспечного наслаждения благами мира сего. Оба были преданы своему делу и тем, кому посвятили свои силы. Борис Алексеевич душой привязался к царице Наталье Кирилловне и ее сыну, игривому, бойкому мальчику. Не задумавшись, не моргнув глазом, не поведя бровью, отдал бы жизнь свою Борис Алексеевич за матушку царицу и за своего питомца Петра и отдал бы со своей всегдашней любящей, незлобной улыбкой. Отдал бы жизнь свою и Василий Васильич за свое дело, но

отдал бы не опрометчиво, а испробовал бы прежде всего все другие обходные средства, обезопасил бы себя от неприятных случайностей.

— Я тебе говорю, брат Василий Васильич, он удивительный ребенок. Ты всмотришь хорошенько, в глаза, в каждое его движение: огонь, пламя. Как быстро схватывает на лету каждую мысль и не как-нибудь, а целиком, и не какую-нибудь обиходную, а над которой голову поломаешь.

— Ну, ты судишь пристрастно.

— Хорошо — согласен. Я сужу пристрастно... не отрекаюсь... я люблю его... Ну, спроси датского резидента.

— Жаль, если таким способностям не дадут хорошего развития, а, как я знаю, его выучил только одной грамоте дьяк Никита Зотов.

— В этом я с тобой, Василий Васильич, не согласен. По моему, пичкать и набивать молоденькую головку ребенка ученьем бездарных учителей — приносить только вред. А где у нас хорошие учителя? Правду сказал наш Симеон Полоцкий о воспитанию.

Плевелы от пшеницы жезл тверд отбивает,
Розга буйство из сердец детских прогоняет
Родителем деревянный жезл буди...

— Положим, при Наталье Кирилловне деревянный жезл в употреблении не был, а все таки в воспитании то же бездарное вколачивание.

— У нас хороших наставников, конечно, вовсе нет, но можно бы найти толкового иностранца.

— Да, конечно, можно б. Да и говорили одно время о генерале Мезениусе... как-то не состоялось. Сама Наталья Кирилловна не желает изнурять ребенка... Может, и к лучшему. Пусть, мальчик растет и набирается силы — пригодится потом.

А недостаток познаний пополнится. При бойкости и остроте он в час сделает, что другой в год. Посмотрел бы ты на него в Преображенском, на его игры с мальчишками.

— Возня и беганье с дворовыми мальчишками едва ли, Борис Алексеевич, полезны ребенку. Разовьются дурные наклонности, неблагородные привычки.

— А по-моему, дурного тут нет. Никакой мальчишка на него влияние иметь не может. Он всех их выше и умней: ему теперь не вступило 11 лет, а кажет лег четырнадцати. Да и игры их — потешные бои, баталии, постройка крепостей и оборона их всегда на моих глазах. И посмотрел бы ты, как он распоряжается! Нет, брат, с ним сладить нелегко. Вот годика через три, четыре — из него выйдет прямой русский богатырь. Несдобровать тогда сестрице Софье.

— Улита едет — когда-то будет. Да и царевна сама не очень покладистая женщина... не даст себя сломить мальчику.

— Ну, брат, каков мальчик! Наш скоро сделается орлом... не под силу будет бороться с ним царевне. Не забудь, брат, что все эти смуты стрельцов и раскольников, убийства родных и дорогих лиц не могли не засесть в впечатлительную душу ребенка, а все эти смуты связаны с именем царевны...

— Так по-твоему, Борис Алексеевич, Софья Алексеевна выходит заводчицей смут... Не кажусь ли я убийцей?

— Трудно судить, а тем больше обвинять в тайных делах, но...

— Да тут и тайны никакой нет, а дело явное. Стрельцы бунтовали и прежде, злились на начальство. Мудрено ль сорвать злобу, когда не было твердой руки в правлении. На Нарышкиных оборвалось, как на временщиках...

— Не спору, брат Василий Васильевич, и не хотелось бы видеть в царевне злодея, а все-таки, Бог знает, чего бы не дал я видеть тебя между нас, людей, преданных настоящему государю, а не в ряду сторонников царевны, — с глубокой грустью высказался Борис Алексеевич.

— Не должен ли я стать на ряду с Нарышкиными? — с раздражительностью и несвойственной живостью отвечал Василий Васильевич. — Не получать ли мне от них милостивые слова, как подачек? Нет, брат, я выбрал дорогу по убеждению и твердо пойду по ней, куда бы ни привела... хоть на плаху. Не мог и не могу иначе, — продолжал он все с большим

одушевлением. — Государство при последних годах Алексея Михайловича и при Федоре стояло на скользком пути, оно расшатывалось от прежних тяжких неустойств. Вести государство в такое время не мог ребенок, да и из приближенных Нарышкиных не было способных. Ты укажешь, может быть, на Артамона Матвеича? Хорош он был в свое время, как советник такого государя, как Алексей Михайлович, а заправлять смутой не его силе. А между тем еще при Федоре я сошелся ближе с царевной, узнал ее ум, образование, твердую волю, верный взгляд и горячее желание блага государству. Это сближение решило...

Василий Васильевич вдруг замолчал. Разговор оборвался. Оба брата невольно сознали невозможность дальнейшей откровенности.

— В каком, однако ж, мы странном положении, — первым заговорил Борис Алексеевич, — вдруг убежали из Москвы и бегаем теперь, как от гончих.

— Гоняться-то теперь никто еще не гонится, а могут гнаться, и надо принять заранее меры. Сегодня я разослал окружные грамоты в Суздаль, Владимир и другие ближние города с призывом ополчения и велел гонцам лично наблюдать за сбором поместных. Как только соберется сколько-нибудь, тотчас вести сюда, не ожидая других.

— Сколько тревоги по милости этих стрельцов... не мешало б обуздать.

— Для безопасности государства это, пожалуй что, и необходимо, да подходить-то к такому делу надо с большой опаской.

Больше этого Василий Васильич или не мог, или не хотел сказать.

Разговор опять приостановился.

— А когда вы ждете первых поместных?

— Да так, дня через два или три.

— Как вы их разместите здесь? Видишь — везде какая теснота?

— Я говорил уж об этом царевне... Кажется, она думает ехать в конце этой недели в Троицкий монастырь через

Воздвиженское — дворцовое село.

— Ну... опять перебираться, — заметил с неудовольствием Борис Алексеич, — да когда же перестанем прятаться?

— А вот что Бог даст. Что делать — время такое тяжкое...

— Однако поздно, брат. Пора спать. Прощай.

Братья расстались, отправясь каждый в свое помещение.

Глава XVIII

Почти три недели миновало с выезда царского двора и приближенных бояр из Москвы. Испуганные жители, торговые и посадские люди ждали какой-нибудь решительной перемены, и это ожидание томило умы неопределенным, давящим кошмаром. Спокойными казались только одни стрельцы, а в особенности любимый начальник их, князь Хованский.

Оставаясь в Москве полным распорядителем судьбы государства, благодаря всемогущей поддержке стрелецких полков-, князь не проявлял никакой деятельности, не принимал никаких мер, которые могли бы его подвинуть к исполнению его заветной цели. Это был один из тех так часто встречаемых характеров, которые сильны и деятельны только под влиянием посторонней силы, которые способны и к великим подвигам, но когда их приведет к тому сила обстоятельств. Но когда обстоятельства выставляют их самих действующими лицами и решителями общественных вопросов, тогда эти случайные герои безучастно складывают руки. Так и теперь Хованский оставался спокойным более всех москвичей и выжидал извне какого-либо указания, не понимая всей важности настоящего положения дел и серьезности роли, которую бросила ему судьба.

В таком странном положении князь мог бы оставаться бесконечно долго, если б не вывел его опять-таки случай извне. В Москву прискакал гонец с известием о скором приезде туда сына малороссийского гетмана. Надобно было принять гостя, необходимо было сказать слово, по назойливому общественному делу. И вот Хованский — Тараруй почувствовал себя не в уровне с обстоятельствами, не способным к самостоятельному ходу и вместо всяких личных распоряжений

поспешил уведомить царевну о скором прибытии гостя и просить ее указаний. Но вместо просимых инструкций он получил от царевны милое письмо, в котором она так ласково и любезно хвалит его за верную службу и так приветливо приглашает приехать к ней на свидание для совещания по малороссийским делам.

Быть или не быть? Ехать или не ехать?

Ехать — значило ставить себя в положение опасное, отдать себя в руки врагов, от которых трудно ожидать пощады, судя по молве о призывных грамотах земских ратных людей; не ехать — значило сделать решительный шаг к восстанию, открыто поставить себя узурпатором.

После долгих колебаний князь решился на первое, как более согласное с его личной храбростью и слабостью воли. Да и чего ж было опасаться? Не служил ли порукой безопасности самый день свидания 17 сентября, день именин царевны Софьи Алексеевны? Можно ли как более согласное с его личной храбростью и слабостями, готовыми на защиту его встать поголовно?.. Да ведь и не один же он и поедет-то на свидание в село Воздвиженское — с ним будет его многочисленная дворня и хоть немногочисленный, но верный отряд стрельцов, которых не испугает какой-нибудь мужичий сброд вовсе не привычных к ратному делу? А между тем, свидевшись лично с царевной, он досконально узнает положение дел и вернее может определить свои будущие отношения.

Неприветливо проглянул на свет Божий день 17 сентября. Однообразным сереньким полотном закуталось так недавно сиявшее и блестящее голубое небо. Мелкий, почти нераздельный для глаза дождик моросил без усталости, образуя какой-то сплошной туман. Сырой воздух с резким ветром обхватывал человека, проникал под его одежду и раздражал даже привыкшие к всякой непогоде нервы. В такую непогоду дороги становились почти непроходимыми. Грязь налипала к колесам, уходившим по ступицу в размокшие колеи. Лошади тонули в топкой глине, откуда с трудом выдирали ноги.

Угрюмо подвигался небольшой поезд и свита князя Хованского в это утро по дороге к селу Воздвиженскому.

— Ну уж погодка! И что это батюшке вздумалось, в такое время тащиться к царевне и за каким прахом! Бросила Москву — сама виновата... проживем и без нее, — говорили провожатые стрельцы, ежась и кутаясь, протирая глаза, утирая носы и отворачиваясь от свежего, резкого ветра.

Невесело было и на душе самого князя. Тяжелым камнем лежали на сердце его размолвки с преданным другом, полковником Одинцовым и с любимым старшим сыном Иваном. Оба они настойчиво уговаривали его не ехать к царевне, не верить льстивым словам и оба, однако ж, не хотели отделиться и покинуть его в минуты опасности. Одинцов провожал его, а сын отделился только на время, по крайней нужде заехать по дороге в свою вотчину на Клязьме.

Напрасно пытался князь рассеять свои мрачные думы, рисуя в воображении ласковый прием царевны, ее внимательность к нему предпочтительно перед всеми боярами, похвальные речи, угодливость его желаниям и, наконец, теплый приют и вкусный обед. Помимо воли непослушная мысль вдруг переносилась от лакомых яств к обезглавленному трупу Пустосвята, от задушевных звонких речей царевны к свисту секиры над плахой, от фряжских вин к теплой крови. Перекрестился князь — и крест не помогает.

— Что за чертовщина лезет в голову, — говорил он с досадой, отряхиваясь и внимательно всматриваясь в дорожную смурюю даль, а между тем снова перед глазами те же бессмысленные глаза Пустосвята. И вот кажется князю — будто бы безжизненный труп оживает, глаза загораются ярким огнем, немалые уста шевелятся, и вот чудится князю — будто мученик машет ему рукой, зовет к себе.

С большим трудом и в досталь намучившись, поезд проследовал только 25 верст и продвинулся к патриаршему селу Пушкину. Необходимо было и коням дать отдых, и людям перекусить. Раскинули шатер у пригорка при опушке леса за пушкинскими крестьянскими гумнами. Это был последний отдых князя.

Извещенная о намерении князя Хованского приехать к ней в село Воздвиженское 17 сентября, правительница поспешила

принять решительные меры. По приезде в Воздвиженское, встретив первые отряды ратных людей, прибывших по призыву ее на защиту царского дома, она тотчас же распорядилась послать их под начальством боярина князя Ивана Михайлыча Лыкова на дорогу из Москвы в Воздвиженское караулить князя Хованского, захватить его и привезти под крепким караулом к ней.

Лыков расположил свой отряд по избам села Пушкина, выставив на дорогу наблюдательные сторожевые посты. Вскоре гонцы из расставленных постов один за другим донесли ему о приближении князя Хованского к селу Пушкину, а вслед за тем и о выборе им места для отдыха. Собрав свой отряд и проведя его незаметно по опушке, он вдруг, словно цепью, окружил шатер князя. Безоружные, ошеломленные дворня и стрельцы, конечно, не могли сопротивляться, точно так же, как и князь с Одинцовым.

— Сдайся, князь! — сказал вошедший в шатер Хованского Лыков.

— Как смеешь ты нападать на дороге, как разбойник? Разве не узнал меня, — нахмурившись, спросил князь.

— Узнал, Иван Андреич. Только я не дорожный разбойник, а слуга царский и беру тебя по приказу царевны. Не самовольно же я мог взять ратных людей!

— Ты лжешь! Я покажу тебе милостивое письмо самой царевны ко мне с приглашением.

— Может, князь, царевна и вызвала тебя ласковым приглашением из Москвы, как гостя дорогого, а по дороге велела схватить тебя как изменника и ослушника.

Спорить не приходилось. Князь и Одинцов дозволили обезоружить себя и связать. Их обоих посадили на крестьянскую телегу.

— Теперь, ребята, за князем Андреем, — распорядился князь Лыков, садясь на коня и отправляя в то же время нарочного гонца к царевне с известием о благополучном выполнении поручения.

Отряд двинулся к вотчине князя Андрея Хованского.

Здесь дело не обошлось так легко. Выехав на деревенскую площадь и окружив господский дом, князь Лыков хотел войти туда, но двери оказались запертыми. На грозное требование отворить их в ответ отворились окна в верхнем жилье и выставились дулы ружей.

— Стреляйте в разбойников! — послышался голос князя Андрея. Раздались выстрелы, и один раненый свалился из нападавших.

— Ко мне, сюда, молодцы, с топорами! Ломайте двери! — закричал Лыков, и толпа ратников бросилась на крыльцо. Здесь они были безопасны от выстрелов из окон. Под дружными ударами топоров скоро выломались сенные двери, и толпа ворвалась в комнаты. Испуганная дворня побросала ружья и бросилась бежать, оставив князя Андрея одиноким. Несмотря на отчаянное сопротивление последнего, его обезоружили, связали и усадили в телегу рядом с отцом и Одинцовым.

Выразительным взглядом обменялись отец с сыном: на любовную мольбу отца, как будто искавшего прощения, ответило горячее скорбное участие сына. Одинцов сидел, опустив голову.

Окончив вполне поручение, отряд, сопровождая телегу с пленниками, двинулся к селу Воздвиженскому.

Во всю непродолжительную дорогу на тряской телеге пленники не разменялись ни словом. Томительно-жгучий, недоумевающий вопрос поднимался у каждого в голове, хотя решение могло казаться неизвестным только для самих жертв.

Человек по природе своей существо самообольщающееся. Как бы ни были грозны и тяжки обстоятельства, он всегда отыщет в них сначала вопрос, недоумение и сомнение, потом благоприятную для себя сторону и, наконец, дойдет до полной уверенности в светлом обороте. И даже чем грознее и очевиднее обстоятельства, тем сильнее работает самообольщающееся чувство. То же испытывал и старый князь. Ошеломленная неожиданностью удара, его мозговая система парализовалась, но потом, мало-помалу освобождаясь от тяжелого впечатления, он стал обдумывать свое положение.

«Что ж это значит? — начал он вопросом. — Зачем бы так поступать царевне с таким верным и преданным слугою, как я? Не я ли работал для нее с стрельцами и не я ли подвел ее к престолу? Не я ли защитил ее от старых ревнителей православия? Нет... тут должна быть очевидная ошибка. Могла царевна обмолвиться, мог и Лыков обслышаться, принять одно имя за другое... мало ли у царевны врагов. Вот приедем — все разъяснится... тогда уж я потребую полного удовлетворения... Да и опасаться мне нечего, — продолжал убаюкивать себя князь, — мои детки — стрельцы разве потерпят лиха надо мной! Как только узнают, — а узнают они тотчас же, — всеми полками явятся в Воздвиженское, камня на камне не оставят, скорее весь царский двор изведут, а меня выручат. Может, это еще и к лучшему... сама судьба ведет к гибели моих врагов... Припомню ж я Ивану Михайлычу».

В это время телега и ратники въезжали в длинную улицу села Воздвиженского. На улице былолюдно, так как до солнечного заката было еще далеко. Во многих местах то толпились кучками, то расхаживали поодиночке, вновь прибывшие земские ратники. Все останавливались и провожали глазами проезжающую телегу с пленниками, и из многих кучек слышались слова:

— Ага, попался-таки изменник! Недолго, значит, мы будем здесь гостить. Скоро, как раз вовремя поспеем в поле к бабам на помощь.

Телега между тем въезжала на центральную площадь села перед царским дворцом. На площади точно так же сновали люди и в особенности на одной стороне ее, где лежало случайно оставленное толстое бревно. Тут недалеко от этого бревна, почти против царского дворца, остановилась телега и пленников поставили на площади. Недолго пришлось им ожидать решения своей участи. Не прошло и десяти минут, как с дворцовой лестницы уже сходили бояре с дьяком, в руках которого находился уже готовый боярский приговор.

Подойдя к обвиняемым, дьяк прочитал звонким голосом во всеуслышание толпившемуся народу:

— «Князь Иван! Заведывая стрелецким приказом, ты действовал самовольно без доклада государем, ты раздавал денежную казну и тем, кому не надлежало, в отягощение государства и народа, ты позволял стрельцам входить в царские палаты с наглым невежеством, ты пытал и истязал в стрелецком приказе многих людей, твоему суду неподсудных, ты взыскивал незаконно бесчеловечным правожом с разных лиц большие суммы, ты дозволил стрельцам беззаконно собрать с дворцовых волостей более 100 000 рублей, ты, не уважая царского присутствия, пред всеми боярами с чрезмерной гордостью похвалялся своей службой, ты несколько раз высказывал в палате, что государство стоит только по твою кончину, а после тебя все будут ходить по колена в крови, ты с дерзостью и наглым шумом оспаривал дела, вершенные по уложению, оскорбляя свою братью бояр и даже угрожая им копьями, ты восставал вместе с раскольниками на св. церковь и потом защищал их от заслуженной кары, ты ослушался царских указов об отправлении стрельцов для защиты казанских мест от калмыков и башкирцев, ты не отпустил в село Коломенское Стремянной полк ко дню тезоименитства царя Иоанна Алексеевича, ты ослушался указа и не присутствовал в Москве на праздновании нового лета в неприязнь к патриарху, ты наставлял царевне Софье Алексеевне на новгородских дворян, что они собираются на Москву для избияния всех без исключения, ты своевольно назначал в города воевод, ты наставлял на надворную пехоту, будто она питает мятежные замыслы, которых в действительности у нее не было, и в то же время надворной пехоте, не выходя из царских палат, говорил смутные речи. К тому ж на тебя явилось в селе Коломенском обвинительное письмо (при этом дьяк прочитал все подметное письмо). А так как воровские дела твои с тем обвинительным письмом сходны, злохитростный умысел твой на царское здоровье обличился и измена твоя несомненна, то *великие государи указали тебя, князь Иван Хованский, за многие твои великие вины и за многие воровства и за измену казнить смертью*».

Смертный же приговор был прочитан и сыну князю Андрею, но только в нем, вместо исчисления вин, глухо упоминалось «за многие преступления».

Гробовое молчание последовало за объявлением приговора.

— Без суда и без розыска обвиняете меня, бояре, братья мои. Самого последнего холопа, ведомого злодея, вы спрашиваете, слушаете его оправданий, а меня лишаете слова, не захотели выслушать от меня правды. Я виноват перед вами, братья, я унижал и оскорблял вас, но в преступлениях я неповинен. Я всегда служил царевне честно всеми своими силами. За что же казнить меня? Молю вас, братья, выслушайте меня, выслушайте мою правдивую речь, исповедь мою, как пред Богом. Вы узнаете тогда, кто виноват, какого голоса я слушался, и вы отмените приговор. Я навсегда удалюсь отсюда, не буду мешать вам, похоронюсь в далеких лесах, и никогда не услышите имени моего — только не убивайте меня, не отрывайте навсегда от жены и малых детей. Вы сами мужья и отцы, вы исполните мою последнюю просьбу: доложите царевне о моем молении, и я вечно буду молить за вас Бога.

Правда слышалась в судорожном, прерывистом, полном рыдания голосе старого князя и отозвалась участливым ответом в сердцах многих. Двое бояр выделились из толпы и пошли к дворцу. Их встретил во дворце о первых же комнатах боярин Иван Михайлович Милославский.

— Царевна приказала сейчас же исполнить приговор и не слушать от князя никаких оправданий, — проговорил он, не давая высказать боярам ни слова. — А ты, полковник, — продолжал он, обращаясь к начальнику Стремянного полка, — приведи скорей надежного стрельца для выполнения казни.

Бояре и полковник — вышли на площадь. Молча бояре заняли места свои.

Немым, тревожным вопросом уставился князь в глаза пришедшим и понял бесплодность попытки.

Часто видел старый князь смерть в кровавых боях и смело, нетрепетно смотрел, ей прямо в глаза, ведя свой полк в жестокий огонь. Отчего же теперь так бледно лицо его? Отчего

так нервно подергиваются его члены? Казалось бы дело привычное... Нет, никогда человек не может привыкнуть к смерти, никогда не может с ней освоиться. Смерть в бою представляется случайностью, имеются некоторые шансы на спасение... Человек увлекается примером товарищей, укрепляется необходимостью долга, воодушевляется идеей. Фанатик мужественно и без всякого колебания встречает смерть ради развития идеи, поглощающей все его существо. Умирает с наслаждением еще тот, кто потерял для себя цель жизни, все для себя дорогое и видит в будущем только долгую, бесконечную цепь страданий. Но князь Хованский не принадлежал к числу таких лиц. Он не был фанатиком, он видел в жизни только одну привлекательную сторону: общественное положение вполне удовлетворяло его самолюбию, любовь жены и детей приносили ему только радость. Он черпал все блага земные, еще не пресытившись ими. И вот все это должно порваться — и как порваться! Бесчестно, позорно, с клеймом для близких, с вечным осуждением потомства!

Ужас насильственного перерыва жизни, еще не исчерпанной и еще жаждавшей, леденил весь организм старого князя. От чрезмерного напряжения духа умственные представления прожитого быстро, неопределенно и смутно сменялись: то мелькало перед его глазами детство с такими давно забытыми подробностями-, которых могла вызвать только такая усиленная до последних пределов работа духа, то рядом с детством врывались в память образ царевны, некогда, может быть, слишком им горячо любимый, то образы товарищей — бояр, к которым уж не ощущалось в глубине сердца ни гнева, ни сильной злобы, то образы жены, детей, стрельцов и всего, что имело для него живую окраску.

Не слышал князь, как грубая рука служителя взяла его за руку, подвела к лежащему на площади бревну, поставила на колена и наклонила его голову так, что шея приходилась на самой верхней окраине бревна. Но это еще не конец. Судорожно дрогнули нервы, и голова снова поднялась: мелькнула мысль — молиться... молиться...

— Господи! Господи! — начали шептать бескровные губы, но дальше слов не было, они не наворачивались на язык, не облекались в форму человеческой речи. Это была молитва духа, последнее прощание с земным. Стремянной стрелец снова наклонил голову князя, снова обнаженная шея очутилась на бревне. Секира взвизгнула в воздухе, и голова князя отлетела от бревна... полились потоки крови...

Князь Андрей рванулся вперед к трупу отца, схватил отлетевшую голову, из которой текла ручьями кровь, долго и нежно целовал в сомкнутые глаза и губы.

— Ну пойдем, князек, за тобой очередь... — сказал ему исправлявший должность палача, взяв за руку молодого князя и подводя его к окровавленному бревну. Юноша сам скинул боярский кафтан, три раза перекрестился двуперстным знаменем, глянул на небо и без всякой жалобы, ропота, не промолвив ни одного слова, обнажил сам шею и положил ее на бревно. Во второй раз сверкнула секира в воздухе, и другая голова отскочила от бревна. Кровь отца и сына слилась вместе.

Тупым и бессмысленным взглядом следил за казнью любимого начальника и его сына третий пленник, стрелецкий полковник Одинцов. Ему не был прочитан приговор, и он не считал себя осужденным... И вдруг, к его крайнему изумлению и ужасу, палач, после казни Хованских, прямо подошел к нему и точно так же взял за руку.

— Прочь от меня! Меня не судили, мне не читали приговора, — кричал несчастный, отдергивая локоть из сильной руки палача.

— Не читали... стало, и не стоило, а мне приказано.

Одинцов упирался и отбивался всем телом, и хотя руки его были связаны, но нервное напряжение до такой степени удвоило его отчаянные усилия, что потребовалась помощь нескольких служителей. Одинцова скрутили и уложили на плаху.

— Матушка, царевна Софья Алексеевна! Смилуйся! Заступись! Я ни в чем неповинен перед тобой... За что хотят казнить меня! Я ль не служил тебе! Бояре, дайте мне время покаяться!

Недолго раздавались мольбы и вопли несчастного. В третий раз сверкнула секира, и еще новая голова покатила по земле, облитая кровью.

Народ стал расходиться с площади молча, под тяжелым впечатлением виденного; не слышалось уже укорительных, бранных слов. Не в русской натуре осуждать наказанного.

Трупы казненных Хованских, отца и сына, сложили вместе в один гроб и перевезли в село Троицкое, городец то ж, близ села Воздвиженского, а тело Одинцова просто зарыли в ближайшем лесу.

Глава XIX

В комнате, смежной с опочивальней царевны Софьи Алексеевны, у окна, из которого открывался вид на всю площадь, во время совершения казни находились сама царевна, боярин князь Василий Васильич Голицын, боярин Иван Михайлович Милославский и Федор Леонтьевич Шакловитый.

Царевна сидела за столом, боком к окну, облокотившись на левую руку и отворотившись вполоборота от площади. Во всей фигуре ее, полной самообладания и сдержанности, едва было можно уловить определенное выражение чувства и внутреннее волнение. У противоположной стороны стола, прямо к окну стоял боярин Милославский, не сводивший глаз с площади. Лицо его, истощенное страстями и носившее ясные следы той болезни, которая недолго спустя после казни Хованских свела его в могилу, было бледно и подвижно. По вниманию, с которым он следил за разыгрывающейся драмой, по легкой усмешке, вырезавшейся еще более глубокой складкой у углов рта, по расширенным ноздрям можно было ясно видеть в нем если не автора, то главного актера драмы. Напротив того, насколько внутреннее движение пробивалось у царского свойственника, настолько оно было похоронено у князя — оберегателя. В его полуопущенных глазах невозможно было ничего прочесть, кроме обычной мягкости. Да и стоял он в полутени, позади царевны. Подле боярина Голицына, несколько позади, стояло новое лицо в интимном кружке царевны — Федор Леонтьевич Шакловитый.

По первому взгляду можно было судить, что этому лицу будет предстоять видная роль. Высокий, стройный, с выразительными чертами лица, он выдавался именно тою энергическою красотою, которая так нравится женщинам. Черные волосы, смуглый цвет лица, правильные, хотя и резкие линии, большие черные глаза, из которых так и била беззаветная отвага, составляли тип совершенно противоположный тому типу, представителем которого мог назваться Голицын. Это был тип физической силы, не лишенный здравого ума, но и не надломленный чрезмерным развитием духовной стороны.

— Покончено... не раскаиваюсь, — говорила царица медленно, ни к кому особенно не обращаясь, как будто заикаясь и к чему-то прислушиваясь внутри себя. — Такой порядок, какой был при Хованских, невозможен.

Никто не возражал.

— Василий Васильич не совсем согласен? — спросила она, уж прямо обратившись к Голицыну, и в то же время взгляд ее, скользя с лица любимца, упал на красивого Шакловитого.

— Нет, царица, я то же думаю. Порядки Хованского не могут быть допускаемы в государстве, но я полагал бы... было бы... могли бы быть и другие меры... не такие решительные...

— Других мер не было, Василий Васильич. Хорошо знаю князя Хованского. Никакой монастырь, никакие стены не удержали бы стрельцов освободить его... В этом, кажется, нельзя сомневаться...

— Да, государыня, но...

— Понимаю, князь. Ты хочешь сказать, что в Иване Андреиче я потеряла верного слугу, на которого могла бы иметь влияние. В том-то и беда, что на покойного, — при этом царица перекрестилась, — могли иметь, если еще не больше, влияние и другие... Ты знаешь, — продолжала она уже с некоторым раздражением в голосе, — в какое опасное положение для всех стали стрельцы. Никто, начиная с нас и до последнего чернослободца, не был в безопасности. Я не менее твоего, Василий Васильич, против казней, не менее твоего жалею Хованских, но никогда не отступлю, когда потребует общее

благо... А ты как думаешь? — спросила царица, вдруг оборотившись к Шакловитому.

— По моему разуму, государыня, — отвечал Шакловитый, — к цели лучше идти смело, прямой дорогой, а то разные обходные пути могут сбить самого и привести совсем не туда, куда нужно...

Ответ понравился Софье Алексеевне, и она милостиво улыбнулась дьяку.

— В твоих словах много правды, Федор Леонтыч, — заметил Голицын, — только не забудь: иногда прямая дорога бывает непроходною.

— Э... боярин, была бы воля... и новую можно проложить.

— По необходимости приговор мой исполнен, и говорить об этом нечего, — начала царица после непродолжительного молчания. — Теперь надо подумать, кого назначить в Стрелецкий приказ и какие принять меры к обороне.

— По моему мнению, царица, — высказался Голицын, — лучше всего назначить окольного Змеева.

— Почему ж лучше, князь?

— Змеева, государыня, стрельцы знают давно и не будут против него, а он, хоть и не из худородных, а все из твоей воли не выйдет.

— Согласится ли он?

— Разве государыня должна спрашивать согласия у слуги своего? Будет не по силам, так и сам попросит уволить.

— Хорошо. Приготовь грамоту. Много будет хлопот ему, да и всем нам, как узнают стрельцы о смерти *батюшки*. Много ли у нас в сборе ратных людей, Василий Васильич?

— Стрельцов, государыня, не опасайся. Будут они горланить, да единства у них нет, а без единства только будет шум да пьянство. Притом же с нашей стороны надежные меры: сегодня переезжаем к Троице, где, как ты сама знаешь, есть и боевой снаряд и прочные стены, за которыми легко отсидеться.

— Медленно собираются, Василий Васильич, ратные люди, не послать ли гонцов с понуждением...

— Сегодня утром, царица, — отвечал Василий Васильич, вынимая из кармана книжечку и справляясь с записками, — я

отправил боярина Петра Семеныча Урусова в Суздаль, Владимир, Юрьев, Лух и Шую; окольного Матвея Петровича Измайлова в рязанские пригороды; боярина Алексея Семеныча Шеина в Коломну, Комиру, Тулу и Крапивну; казначея Семена Федоровича Толочанова в Кострому, Углич, Романов и Пошехонье; думного дворянина Зова Демидовича Голохвостова в Ростов, Ярославль и Переяславль Залесский, Всем им я наказывал как можно настойчивей спешить, без всяких отговорок, сбором ратных людей к Троице во всем вооружении. С таким же требованием послал я тоже царскую грамоту и в Новонемецкую слободу к полковникам и начальным людям. Вероятно, передовые скоро уж будут подходить.

— Кому поверить главное начальство, Василий Васильич?

— Кого назначишь, государыня. В твоей воле.

— Кому ж, как не тебе, родной мой. Изготовь грамоту о том, что государи оборону Троицы и все воинские распоряжения вверяют тебе, дворовому воеводе и ближнему боярину, а в товарищи к тебе напиши боярина, князя Михаила Ивановича Лыкова, думного дворянина Алексея Ивановича Ржевского и думного генерала Аггея Алексеевича Шепелева.

— Слушаю, царевна. А теперь позволь мне удалиться... прибираться к дороге.

— Ступай, князь, и торопи других к выезду, — сказала царевна, отпуская Голицына и Шакловитого.

Выйдя из комнаты царевны, они молча прошли все покои и молча спустились с лестницы. Только на последней ступени Шакловитый решился спросить всесильного любимца.

— Позволь мне сказать тебе, боярин, Змеев не сладит в теперешнее смутное время со стрельцами. Царевна, как я замечаю, желает сократить их, а Змеев не способен на такое опасное дело.

— Знаю.

— Какой же он начальник?

— Он и не будет.

— Да ведь царевна приказала назначить?

— Она приказала, да он сам откажется.

— Откажется... а кто ж будет?

— Кто? Ты, Федор Леонтыч...

— Я? Шутишь, боярин, надо мной — малым человеком. Стрелецким приказом всегда заправляли знатные бояре, а я, как ты сам знаешь, из худородных. И царевна не согласится.

Тонкая улыбка пробежала по губам Василия Васильича.

— Ныне, Федор Леонтыч, не прежние времена, считаться местами не след. Царевне не знатные роды нужны, а люди верные. Мало ль что может случиться... может, ты не только стрелецким начальником, а будешь и повыше... Будь только предан и не жалея головы...

— Я ли не предан, Василий Васильич? Отца и мать родных для нее не пожалел бы... Да и не только что за нее, я и за тебя готов голову свою сложить, кровь пролить.

— Хвалю тебя за это, Федор Леонтыч, — говорил князь с той же тонкой улыбкой, смысл которой не высказывался словами. — Ты пойдешь далеко, но помни всегда: всем ты будешь обязан царевне... для тебя — она свет Божий. У других... у знатных — сильные руки в родне, а у тебя никого и ничего нет — только она одна... А за твое расположение ко мне — спасибо: верю тебе и надеюсь — надейся и ты на меня.

Новые друзья расстались, крепко пожав друг другу руки.

Отпустив любимца и думного дьяка, Софья Алексеевна крепко задумалась.

«Вот еще новый шаг по крови, — думала она, — а к чему он приведет? Какой мудрец ответит на это? Но к чему бы ни привел он, а я пойду вперед... Я одна в силах вырвать из болотной гнили и показать дорогу к лучшему... Я найду преданных людей и обопрюсь на них, людей новых, с умом и дарованиями, дам им ход, с помощью их уничтожу злоупотребления тупого боярства».

Этими думами не старалась ли она обманывать и сама себя? Не представлялись ли эти новые люди в красивых чертах думного дьяка? Общим благом не маскировалась ли потребность собственного сердца? Ее любовь к милому Голицыну приняла с некоторых пор странное направление. Встретившись у постели больного брата в ту пору женского сердца, когда оно жаждет любви, несмотря на все оковы замкнутой теремной жизни, она полюбила его неудержимым

порывом, но она полюбила бы в то время всякого... Но потом, когда насыщен был первый пыл страсти, стали возникать иные вопросы. Как передовой, умный и образованный человек он упрочил за собой внимание и уважение молодой женщины, умевшей по собственному развитию оценивать эти качества, но вместе с тем стало все больше и больше выясняться различие характеров, склонностей и воззрений. Житейская опытность, врожденная и еще более развившаяся от склада своих обязанностей, сдержанность и осторожность не могли приурочиваться к порывистой страсти женщины, только что начавшей так поздно жить сердцем. И эти чувства женщины оставались неудовлетворенными.

— Позволь и мне удалиться, государыня.

— Как, Иван Михайлович, ты здесь еще? — невольно сорвалось у царевны, смутившейся от неожиданности услышать голос свойственника, о котором она совершенно забыла.

Действительно, Милославский, так внимательно следивший во все время за исполнением казни на площади, по окончании ее отошел от окна в полутьму простенка и во все продолжение разговора хозяйки с обычным советником не высказал ни слова.

— Куда ж ты? — спрашивала царевна.

— Если позволишь, государыня, так я бы — отъехал опять в вотчины свои... делишки там кой-какие есть... да и здесь мне оставаться незачем.

— Ну как знаешь, родной, не удерживаю.

— Не удерживаю... не удерживаю... — бормотал про себя боярин Милославский, сходя с лестницы. — Вот тебе и награда за верную старую службу. Не удерживаю... значит, отправляйся, мол, на все четыре стороны, обойдемся-де и без тебя. Старые слуги держатся старых порядков, а ты, Софья Алексеевна, пошла по новой дорожке... Только далеко ли уйдешь-то? Наметила ты себя высоко... да оборвешься... Новые люди тебя не поддержат... Они будут на стороне силы и закона, а сторонники твои будут крамольниками.

Глава XX

Обыкновенно большие люди не замечают людей маленьких. Какое им дело до их ощущеньиц, чувствованьиц! Это так мелко, ничтожно, и не стоит обращать никакого внимания. Так и при дворе царевны Софьи Алексеевны не обратили внимания, что в числе зрителей казни князей Хованских находились: комнатный стольник царя Петра Алексеевича, юный сын казненного князя Иван Иваныч и друг его, сын окольного, Григорий Павлович Языков.

Ужасное впечатление произвела на молодых людей казнь дорогих для них лиц, в их глазах невинных и погибших единственно по боярским интригам. Без определенной цели, под влиянием охватившего все их существо чувства злобы, поскакали они из села Воздвиженского в Москву и, не останавливаясь для отдыха, в ту же ночь явились в стрелецких слободах.

— Отца нашего казнили позорно по козням бояр, — кричали они собиравшимся стрельцам, — без суда, без розыска и без царского указа! Покончив с отцом, бояре, по замыслам Одоевских и Голицыных, хотят истребить всех вас, стрельцов, с вашими женами и детьми, а дома ваши пожечь. Мы сами дорогою видели ратных людей, собранных боярами.

Язык глубокого и истинного чувства почти всегда отзывается полным сочувствием, а тем более когда этот язык защищает наши личные интересы. Поэтому неудивительно, что почти одновременно по всем стрелецким полкам разлилось всеобщее волнение. В полночь же во всех съезжих избах ударили в набат и загремели барабаны. Прежде всего стрельцы бросились к пушечному двору и разграбили его. Из захваченных пушек часть увезли по своим полкам, а часть поставили в Кремле. Из других орудий, ружья и карабины, сабли и копья, а также порох и пули частью взяли себе, а частью раздали народу. Решившись *засесть* Москву, они поставили сильные сторожевые отряды в Кремле, на Красной площади, в Китае и Белом городе и начали устраивать несколько укреплений в Земляном городе, где загородили улицы насыпями и палисадами. Семейства свои и имущество для большей безопасности стрельцы перевели из своих слобод в Белый город.

Москва неожиданно, негаданно, вдруг, в одну ночь преобразилась в военный город. Почти на всех площадях раздавались грозные крики стрельцов, ружейные выстрелы, треск барабанов и грохот колес от перевозимых пушек и пороховых ящиков. Испуганные мирные жители впросонках повскакали с постелей, не зная причины волнения, и в страхе и трепете ожидали общей резни.

Но во всей этой суматохе не было единства, не было головы, способной руководить определенным движением. Самые смелейшие требовали немедленного похода на Воздвиженское, уничтожить бояр, весь царский двор и преобразовать государство. Ночью они ворвались в Крестовую палату, разбудили патриарха и требовали от него грамот в украинские города с призывом оттуда на помощь служилых Людей. Напуганный патриарх плакал, умолял успокоиться, не верить подстрекательствам, терпеливо ожидать царского указа и не решаться на своевольный поход.

— Знай, — отвечали ему мятежники на увещевания, — если и ты заодно с боярами, так убьем и тебя.

Часы проходили, а буйные толпы не приходили ни к какому решению. Одни упорно кричали: «Идем в Воздвиженское на бояр!», другие, более осторожные, говорили: «Подождем, пока все выяснится».

Настало утро... Вдруг шумная толпа, стоявшая в Крестовой палате, заколыхалась: сторожевой отряд привел к патриарху схваченного у заставы гонца, стольника Петра Зиновьева, посланного из Воздвиженского с царскою грамотою к патриарху. Стрельцы требовали прочитать им грамоту вслух. В этой грамоте цари извещали патриарха о казни князей Хованских за вины, которые уже известны из обвинительного приговора, и указывали объявить о том всему духовному ведомству.

Вслед за Зиновьевым явился к надворной пехоте стольник Григорий Бахметьев с грамотою, в которой цари извещали о том же пехоту, убеждали служить верно по-прежнему, не верить никаким коварным наветам и не опасаться ни опалы, ни гнева. По неопределенности своей грамоты эти, конечно, не могли

успокоить мятежников, и они продолжали ожидать с часу на час нападения бояр с ратными людьми.

Прошли сутки, а никакого нападения не было, и это, видимо, успокоило стрельцов. Одумавшись на другой день, бунтовщики явились к патриарху уже с поклоном и просьбой отписать к царям, что с их стороны никакого злого умысла нет, что они готовы служить верно по-прежнему и что они умоляют царей возвратиться в Москву, так как такое долгое отсутствие царей их крайне смущает. Патриарх старался их успокоить, объясняя отсутствие государей древним обычаем творить шествие в Троицкую лавру в память преподобного Сергия и обещаясь донести царям о желании надворной пехоты. Действительно, он исполнил свое обещание, послал вместе со стольником Зиновьевым в Троицкую лавру архимандрита Чудова монастыря Адриана, но поручил последнему тайно предостеречь царевну насчет стрельцов, не отказавшихся еще совершенно от мысли истребить бояр.

Предостережение едва ли не было излишним. Правительница знала хорошо положение дел и приняла свои меры.

Лавра, поступившая в ведение нового дворцового воеводы, приняла очень внушительный воинственный вид: на раскатах стояли пушки, по стенам размещалась воинская рать, ворота охранялись достаточной стражей, а по дороге к Москве, по всем оврагам, расположились наблюдательные отряды. С каждым часом прибывали ополченцы, но, находя прибывающие отряды все еще недостаточными, царевна послала с новыми понуждениями стольника князя Порфирия Ивановича Шаховского в Дмитров, Кашин, Углич и Бежецкий Верх, стольника князя Ивана Федорыча Волконского в Старицу, Тверь, Торжок и Клин, стольника Дмитрия Артемьича Камынина в Можайск, Верею, Рузу, Звенигород, Борисов и Волоколамск, стольника Ивана Богданыча Яковлева в Калугу, Малоярославец, Боровск, Воротынский и Перемышль, стольника Михаила Денисыча Тургенева в Серпухов, Алексин и Одоев.

Увидев наконец в распоряжении своем значительные силы, Софья Алексеевна стала действовать смелее и решительней. В

ответ (20 сентября) на прощение стрельцов, переданное патриархом чрез архимандрита Адриана о возвращении царей в Москву, она уже твердым тоном потребовала от стрельцов отказаться от всяких мятежных действий за казнь Хованских, напомнила им о достоинстве царской власти и об обязанности безусловного ей повиновения. Вместе с тем она поручила патриарху убедить стрельцов в ее добром расположении, если только они раскаются, будут служить верно и дадут обязательства в своей преданности, доказательством которой должна служить присылка в Троицкий монастырь лучших людей по 20 человек от каждого полка. Увещания патриарха должен был поддерживать присланный для смотренья в Москву боярин Михаил Петрович Головин.

По мере того как укреплялась одна сторона, сторона правительства, падала бодрость духа у стороны мятежников. Сознвая свое полное бессилие в виду собирающихся в стороне лавры земских ополчений, они думали только о том, как бы выйти живыми из своего критического положения. По словам очевидца Медведева, вместо прежних буйных криков в стрельецких слободах господствовали уныние и ужас. Так, недавно суровые мстители теперь плакали, как дети, безропотно перенося насмешки мирных обывателей.

— Куда вам, сиволапым, указывать великим государям и распоряжаться умными людьми! — говорили им в глаза успокоенные москвичи, и, сознавая справедливость насмешек, стрельцы молча выносили оскорбления. По-прежнему толкались они в Крестовой палате, но теперь уж не с наглыми требованиями, а с слезной мольбой о заступлении и о милости. Подозревая в требовании выборных лучших людей назначение им заранее смертного приговора, они несколько дней колебались, но наконец, успокоенные словами патриарха, решились исполнить и это требование царевны.

24 сентября выборные выступили из Москвы в Троицкий монастырь в сопровождении Суздальского митрополита Иллариона, простившись с братьями, родными и товарищами, как прощаются перед эшафотом. Убежденные в неизбежной смерти, несчастные выборные во всю дорогу воображали

видеть везде засады, поимки и казни. В каждом встречавшемся им отряде ратных людей на пути через села Мытищи и Пушкино они ожидали своих палачей, но отряды проходили мимо и мимо. Когда же перед селом Воздвиженским они увидели сплоченную, многочисленную рать, бодрость их совершенно покинула. Многие из выборных убежали, да, вероятно, они разбежались бы и все, если б не подоспел к ним стольник Нармацкий, высланный царевной с милостивым словом и обещанием полной безопасности.

Положение стрельцов действительно было опасное. Сильные отряды земских ополченцев все теснее и теснее железным поясом стягивали Москву: на Тверской дороге в селе Черкизове стоял Северский полк боярина князя Андрея Ивановича Голицына, на Владимирской дороге Рогожу занимал Владимирский полк воеводы князя Петра Семеныча Урусова, на Коломенской дороге, у Боровского перевоза, находился Рязанский полк боярина и воеводы Алексея Семеныча Шеина и, наконец, Заоцкий полк боярина и воеводы Ивана Федоровича Волынского располагался в Вязьме, на Можайской дороге. Правда, все эти войска составляли толпы не привычных к ратному делу людей, не способных выдерживать правильного боя с обученными стрельцами, но тем не менее они подавляли и душили массами.

Между тем выборные, прибыв к Троице, с тревогой ждали решения своей участи. 27 сентября царевна Софья Алексеевна вышла к ним, и очевидцы передали нам речь ее, в которой вместо прежних просьб и жалоб слышалось неудовольствие укрепившейся власти. Выборные, стоя на коленях, униженно молили о прощении, каялись в своих заблуждениях и вручили царевне письменную сказку служить на будущее время неизменно, не слушая никаких наветов. Царевна похвалила покорность, дозволила им возвратиться домой и объявить товарищам, что государи готовы простить их, но только с условиями, о чем будет написано в особой грамоте.

— Но если не выполните этих условий, — сказала в заключение царевна, — то горе вам! Великие государи пойдут на вас с великим воинством.

Радостные отправились домой накануне праздника Покрова Богородицы выборные, и радостно встретили их в Москве товарищи, отчаявшиеся видеть их живыми. После обедни в праздник Покрова патриарх созвал стрельцов в Крестовую палату и прочитал им царскую грамоту, в которой высказывались условия прощения. Условия эти состояли: 1) мятежей на будущее время не возбуждать, кругов не устраивать и к крамольникам не приставать, 2) о всяких смутных наветах и подстрекательствах доносить тотчас же в приказ надворной пехоты, 3) к начальствующим с наглостью не ходить, никого не клепать и не в свое дело не вмешиваться, 4) самовольно никого не хватать и быть у начальников в безответном послушании, 5) боевой снаряд, самовольно взятый с казенного двора, возвратить в целости, 6) на царскую службу, хотя бы и в поход, отправляться беспрекословно, 7) чужих дворов не отнимать и не сговаривать в пехотный строй несвободных, 8) никого без царского указа в стрельцы не приписывать, а принятых прежде в смутное время возвратить назад их помещикам, 9) — за казнь Хованских не вступаться ни под каким предлогом, 10) служить государям вперед непоколебимо верно, покорно и с чистым сердцем и 11) если кто прежние дела начнет хвалить или затеет новое смятение или же кто, услыша о таких преступных замыслах, не донесет, того казнить смертью без всякого милосердия.

Так как эти условия были приняты стрельцами без возражений, то оставалось только объявить прощение с приличным торжеством. Для этого патриарх назначил день 8 октября. В этот день, отслужив торжественно литургию в Успенском соборе, в присутствии стрельцов, первосвященник на амвоне пред св. Евангелием и нетленной рукой апостола Андрея Первозванного прочитал во всеуслышание милостивую царскую грамоту и условные статьи. Стрельцы единогласно изъявили готовность в точности выполнить царскую волю. Затем патриарх раздал по полкам отдельные экземпляры статей, и каждый полк, подходя к налою, клялся в исполнении над Евангелием и рукой св. апостола. После этого полки возвратились в слободы. Здесь

снова в своих съезжих избах стрельцы перечитали статьи и снова не нашли в них никакого повода к возражению.

На следующий день выборные от всех полков приходили к патриарху благодарить его за ходатайство и снова повторили обещание служить на будущее время верно и без всякой шатости.

Отдаваясь на всю волю правительницы, стрельцы выдали боярину Головину молодого Ивана Иваныча Хованского, виновника последнего мятежа. Боярин переслал его к правительнице в Троицкий монастырь, где ему объявили — смертную казнь, но приговора не привели в исполнение; его сняли с плахи и сослали.

Мятеж совершенно прекратился еще в первых числах октября, но царский двор медлил переездом в Москву и распусчением собранного ополчения. Какая была причина медленности, неизвестно, но, вероятно, правительница все еще не доверяла верности стрельцов и желала обеспечить безопасность более коренными мерами.

Часть вторая

1689 год

Глава I

Начальник стрельцов, окольный Федор Леонтьевич Шакловитый, казался особенно озабоченным. Сидел он за своим рабочим столом в своем загородном доме с пером в руке и наклонив несколько набок красивую голову. Работа не спорилась. Внимание бывшего думного дьяка не поглощалось всецело, как бывало прежде, процессом писания букв; взгляд его, обыкновенно заботливо следивший за красивым вычерчиванием тогдашнего писания, был теперь устремлен как-то неопределенно, будто уходил в себя, задавался внутренним вопросом. Поэтому-то и неудивительно, если, за отсутствием руководителя, рука грамотея выводила вместо букв странные узоры.

С последних событий достопамятного 1682 года протекло пять лет. В эти пять лет многое пережилось если не во всем укладе старой русской жизни, то, по крайней мере, в том пункте, где сосредоточивались политические движения. Подавление второго стрелецкого бунта, меры, соображенные правительницею и добросовестно выполненные новым стрелецким начальником, бывшим худородным подьячим, прочно утвердили правительство царевны Софьи. Вместо странного двоевластия царей, больного косноязычного Ивана и ребенка Петра Алексеевичей, в действительности существовала одна могучая власть царевны-правительницы, захватившей царское достояние в свои руки, вразрез с существовавшим тогда взглядом на положение женщины. Но захватить не значит еще удержать. Для удержания и упрочения власти, кроме личных качеств, нужно и *право*, осознанное окружающей средой. А этого-то права и недоставало царевне.

Правда, до сих пор ее правление имело еще некоторый вид права по болезни старшего царя и малолетству младшего, но

это призрачное право не могло продолжаться долго. Жизнь Ивана Алексеевича не обещала продолжительности, а малолетство Петра, видимо, должно было сократиться чрезвычайно быстрым развитием здоровых сил ребенка. Какое же будущее ожидало царевну? Возвращение к прежней затхлой теремной жизни или монастырское пострижение? От того и другого отворачивались ее молодые силы; то и другое казалось ей уж невозможным, как невозможно птице жить в воде, как невозможно рыбе нырять в вольном воздухе. Самая смерть казалась приветливее ей, изведавшей обольщения власти. Обладание властью всегда и во все времена имело и имеет на природу человека всемогущественное влияние, каково же должно быть это влияние на существо, достигшее власти усилием *своей воли*, и притом же после теремной жизни...

И вот царевна стала задумываться все более и более об упрочении за собой этой власти, о приискании каких-нибудь, хоть бы только призрачных, прав на нее.

Раздумывалась Софья Алексеевна, раздумывались преданные ее делу бояре, об том же раздумывался и теперь ближний ее человек окольный Федор Леонтьевич Шакловитый, сидя за своим письменным прибором. Только думы его никак не могли уложиться в письменную форму: вместо красивых букв из-под пера опытного дьяка выходили не то цветы, не то здания, не то птицы, не то квадраты, не то треугольники какие-то.

— Монах пришел к тебе, Федор Леонтьич, — доложил вошедший в комнату караульный стрелецкий урядник Афанасий Ларионов.

— Какой монах?

— Сил... Сил... имя-то мудреное. Мы зовем его лешим медведем.

— Какой леший медведь?! — с досадой повторил вопрос окольный.

— Да вот что живет в Андреевском монастыре^[13].

— Дурак! Не смей обзывать так преподобного отца Сильвестра Медведева. Проси его скорей сюда.

Вошел небольшого роста плотный монах. На широком, одутловатом лице его на первый взгляд бросалось выражение

смирения и благодушия, не ладившееся с лукавым огоньком быстро бегавших глазок, в узких разрезах прищуренных век. С сильною проседью густая окладистая борода и такие же густые волосы, выбившиеся из-под черного клобука, придавали физиономии некоторую сановитость, скрывававшую от наблюдения сильно развитую челюсть.

— Благослови, преподобный отче, — с оттенком особенного благоговения обратился к вошедшему хозяин, низко кланяясь и протягивая руки под благословение.

— Да благословит Бог тебя, доброе чадо, и дом твой, — отвечал тот несколько певучим голосом, осеняя крестным знаменем хозяина и подавая ему для поцелуя руку, предварительно помолившись перед образами, стоявшими в киоте в серебряных и золотых окладах, украшенных драгоценными камнями. Мелкими разноцветными искрами горели драгоценные камни, отражая мерцающий свет предыконной лампадки.

— Милости прошу присесть сюда, преподобный отче, — говорил хозяин, усаживая гостя в переднем месте у стола и заботливо подкладывая за его спину подушку, вышитую хитрым узором.

— Уж несколько дней собираюсь к тебе, отче, — продолжал хозяин, — каждый день собираюсь, да все не удосужился: делов много, а нужно бы тебя видеть очень.

— И я о тебе соскучился, Федор Леонтьич; в последние дни никто из наших не забегал ко мне.

— Не прикажешь ли, отче, медку?.. Видишь, как парит, а в жар-то он хорошо прохлаждает, особливо после пути.

Скоро искристый мед зашипел в объемистом кубке.

— А какая нужда случилась во мне? — спросил отец Сильвестр, отведывая понемногу шипучего напитка и прищуривая глазки.

— Да что, отче, все по старому делу. Заботит оно больно нашу матушку государыню. Об этом-то деле я и хотел поговорить с тобой.

— Давненько я государыню не удостоился видеть, да как быть! В Успеньев пост хворь накинута, так мне и не случилось

побывать на Верху. Какое же дело-то это?

— Перед тобой мне скрываться нечего, отче, ты и сам без меня все знаешь, знаешь, каково положение нашей милостивицы. Ведь она и сама с тобой частенько советуется. Вот что: прихожу это-то я к государыне, а на ней и лица нет, бледная такая и дрожит вся. Что, мол, с тобой приключилось, матушка государыня, спрашиваю я ее, а она как вскинет на меня очи, да так и залилась слезами. «Не долго уж, видно, мне быть с вами, други мои, — отвечала она мне сквозь слезы, — отымут вас от меня, вороги злые». Я допытываюсь и, как бы ты думал, что узнаю?.. Сидела государыня за своими царскими делами, как вдруг грянет гром, стекла даже зазвенели в палате. Государыня к окну, смотрит, а небо такое синее да чистое, ни одного облачка не видно на нем. Государыня и вспомнила тогда такой же гром и в такое же ясное время — помнишь пятнадцатого-то мая? Вспомнила и испугалась. Опять, видно, кара будет, только от кого будет эта кара — неизвестно. Думает так-то государыня, а к ней и входит стряпчий и говорит: не извольте, мол, беспокоиться, государыня, это потешные конюхи царя Петра Алексеича тешатся. Видишь, отче, они уж и пушки завели. Ну долго ль до беды с такой забавой?

— Опасная забава, Федор Леонтьич, совсем непригодная, — вставил отец Сильвестр, прихлебывая из кубка, — а особенно в руках таких пьяных озорников и головорезов, как потешные.

— Вот государыня и говорит мне: «Видно, Федор, век мне быть под опаской от мачехи да от сына ее. Горько мне, а пуще горько за моих ближних. Возьмут пьяницы верх, пойдет все вверх дном, смута будет без конца; мне будет тошно, а вам еще тошней: изведут вас в корень конюхи». Зачем, государыня, отвечаю ей, доводить до этого, мы прежде того сами их изведем.

Она выслушала меня, да так ласково улыбнулась и говорит: «На тебя-то я, Федор, надеюсь, да еще на двух-трех, а прочие-то как? Сможете ли вы? Ты бы, Федор, проведаль у стрельцов, какая будет от них отповедь, если б я вздумала венчаться царским венцом».

— Ну, что ж, Федор Леонтьич, говорил со стрельцами?

— Сегодня вечером велел собраться сюда человекам тридцати стрелецким урядникам. Поговорю с ними, да не чаю от них большого проку. Народ ноне в стрельцах не прежний — послушливый да смирный такой. Всех бойких-то мы ведь повыметали.

— Да, народ не прежний, — задумчиво повторил Сильвестр, — забегает он ко мне в монастырь частенько побеседовать. С таким народом ничего не поделаешь.

— Так вот, преподобный отче, я хотел поговорить с тобой, позаймовать от тебя ума-разума. Как тут быть?

— Времена трудные, Федор Леонтыч, больно трудные. Надо нам действовать сообща, дружно.

— Как действовать-то?

— Первое, Федор Леонтыч, нужно зорко наблюдать за тамошним двором, что делается у конюхов-то.

— Это-то мы наблюдаем. Постельницы Натальи Кирилловны нам передают все в точности. Рассказывали они нам, как обозлилась Наталья Кирилловна, когда узнала, что царевна в грамотах стала писаться самодержицей наряду с братьями-государями. Даже не утерпела и высказала своим-то: «Для чего учала она писаться с великими государями обще? У нас люди есть и того дела не покинут». Кто же эти люди, и не замышляют ли они чего? Для разведок я и подсылаю к ним в тайности моих молодцов наблюдать и передавать мне. Раз сказали они мне, будто стольник Григорий Языков при многих людях выболтал: «Государское имя царя Петра Алексеича видим, а бить челом ему ни о чем не смеем». Я и хотел допытать, что значат те его речи. Приводили его ко мне стрельцы, и пытал я его один на один крепко, да ничего не узнал. Стоит в одном: сказал-де зря, без, всякого умыслу. Так и выгнал его из Москвы, пригрозив не болтать напередки под смертной казнью. Были у меня и другие люди под пытаньем: верховый дьякон дворцовой церкви Воскресения Никифор да еще татарин Обраим Долокадзин, частенько пришатывающийся к Кирилле Полуэктовичу и к кравчему Борису Алексеичу, да и от них тоже ничего не допытался, хоть пытал и крепко, клал на (плаху и грозил топором. Вот сегодня не будет ли удачней.

Велел ночью привести сюда поблизости, в Марьину рощу, какого-то дворянина, приметного в доброхотстве к конюхам. Уж я ли не стараюсь, отче, ничего, кажись, не упускаю из виду. Вот когда князь Михаил Алегукович Черкасский представлял Петру новгородских дворян, перед Крымским походом, так при имени князя Путятина что-то шепнул царю... я сейчас же послал гонца к Василью Васильичу, чтоб зорко смотрел за этим Путятиным.

— Все это хорошо, Федор Леонтьич, да все мало, надо принять и другие меры...

— Какие же?

— Мало ль их! Всякая хороша, если ведет к цели, — значит, Богу годна. Разумно делает царевна по моему совету, что приучает народ к своему государствованию, заранее именуясь самодержицею и приготавливаясь к венчанию. Русский народ не любит новизны, и необходимо ему давать свыкнуться с новыми порядками; но это не все...

— Что ж еще-то?

— Нужно, — продолжал Медведев внушительным тоном, прищуривая и почти закрывая глазки, — нужно возбудить народ, а главное, стрельцов против наших врагов.

— Да как возбудить?

— Вот хоть бы письмецо написать какое-нибудь подметное, с известием о смутных замыслах потешных. Это может, большую пользу принести, главное, отвратить народ. А стрельцов можно раздражать какими-нибудь стеснениями или, например, истязаниями, причиняемыми будто бы Нарышкиными... Разве нет у тебя между верными людьми схожих, по облику, с Львом Нарышкиным?.. Да ты понимаешь, как это сделать! Не учить же тебя, Федор Леонтьич!

— Понимаю, отче. У меня в стрельцах есть один молодец, схожий со Львом, а в потемках так и совсем не распознаешь.

— Понял, Федор Леонтьич?.. Ну, а когда начнется смута против конюхов, так мудрено ль в смятении *принять* не одних потешных или ближних людей — Льва и Бориса, а и самую медведицу с сыном. Только помеха будет большая от старика Иоакима.

— А разве старика, отче, нельзя также принять? Царевна не токмо что стоять за него, она даже сама рада будет. Я знаю ее мысли... и доподлинно говорю тебе, что Иоакиму при царевне не быть.

— Да и сам посуди, Федор Леонтьич, какой Иоаким патриарх! На таком месте нужно человека ученого и речистого, который бы твердо стоял за царевну, а старик едва грамоте знает. Кого ж царевна метит назначить патриархом?

— Кого ж, отче, как не тебя! Ты разумом дошел и велеречием. Всем известно, как еще покойный государь-батюшка Федор Алексеич тебя изволил сам навещать, лично беседовать... и посылать за тобой не за редкость. А расположение-то царевны к тебе ты и сам знаешь какое. Она без твоего совета, почитай, ничего не делает.

— Так... так... Федор Леонтьич, государыня меня жалует. Да и тебя тоже прошу при случае молвить обо мне доброе словечко, а я в долгу не останусь: буду за тебя радеть всеми силами... А не знаешь ли, как мыслит об этом князь Василий Васильич?

Напоминание о князе темным облаком пробежало по красивому лицу бывшего думного дьяка.

— От князя, отче, не скоро допытаешь правду, да и человек-то он нетвердый. Вот хоть бы и насчет царевны. Где он показал ей преданность? Все мотает, как бы вильнуть в сторону. Раз только он и проговорился. Закручинилась как-то царевна, уж очень сильно — забоялась за свое государствование... я утешал ее. Тут только он и обмолвился: «Для чего и прежде вместе с братьями ее (Наталью Кирилловну) не уходили, ничего бы теперь и не было». Да и государыня-то, я тебе скажу, отче, по тайности, не так уж к нему благоволит, как прежде.

Отче Сильвестр не отвечал, но лукаво метнулись его глазки на хозяина, и едва заметная насмешливая улыбка передернула углы рта.

— Засиделся, однако, я у тебя, Федор Леонтьич, а у самого на дому есть нужное дельце, — говорил гость, поднявшись с места и молясь перед иконами.

Федор Леонтыч снова почтительно подошел под благословение святого отца и снова усердно облобызал — его руку.

— Не смею удерживать тебя, святой отче, знаю, как время тебе дорого. Не забудь и меня грешного в своих святых молитвах.

Глава II

Проводив преподобного отца Сильвестра, Шакловитый вышел на крыльцо, выходящее на двор, где кучками толпились стрельцы. На дворе собралось до тридцати урядников четырех стрелецких полков, между которыми находились пятисотенные Ларион Елизарьев и Василий Бурмистров, пятидесятники и пристава Андрей Кондратьев, Обросим Петров, Алексей Стрижов, Афанасий Ларионов, Борис Дмитриев и другие.

— Пятисотенные и пятидесятники стрелецкие! Сами вы видите, как велика к вам царская милость, а вся эта милость исходит только от одной нашей благоверной государыни, царевны Софьи Алексеевны. Докажите же ей вашу преданность, вашу готовность служить ей честно, нелицемерно, вашу готовность положить за нее животы свои. А доказать ноне вы можете челобитною, чтобы ей, благоверной государыне, венчаться царским венцом. Если таково ваше желание, то напишите челобитную, я доложу царевне, а потом подадим великим государям, когда они выйдут на обновление лета (1 сентября).

Речь была коротка, но не убедительна. Видно было, что бывший думный дьяк, борзой в писании, не обладал даром элоквенции, да и в тоне его голоса не звучало той твердости и уверенности, которые так влияют на неразвитые умы.

Вообще отношения нового начальника к стрельцам нисколько не напоминали отношений бывшего начальника — князя Хованского. Бывало, простые слова покойного князя-товарища и такого же служаки, разделявшего нередко труды походной жизни с простыми людьми, прямо доходили до нехитрых душ стрельцов и звучали симпатичной струной. Не

таковы были отношения Шакловитого. Бывший подьячий обращался со стрельцами холодно, высокомерно и строго. Между ним и стрельцами не было ничего общего. Они боялись, но не любили его.

— Как изволишь, — нерешительно ответили стрельцы на речь начальника, — а мы челобитной писать не умеем.

— Это ничего, — заметил им Федор Леонтьич, — челобитную я вам сам напишу.

Решение это, видимо, еще более озадачило стрельцов.

— Да послушает ли нас царь Петр Алексеевич? — заговорили они опасливо и с явным желанием избавиться от предложенной чести.

— Если не будет слушать вас, — ответил бывший дьяк, — и отойдет от вас на Верх, так вы задержите ближних его людей, боярина Льва Кирилловича и кравчего Бориса Алексеевича, тогда он остановится и ваше челобитье примет.

— Да патриарх с боярами откажутся венчать царицу, — слышались некоторые более смелые голоса из стрельцов.

— А что такое патриарх? — запальчиво закричал Шакловитый, раздосадованный нерешительностью и колебанием подчиненных. — Не теперешний, так другой будет на его месте, свято место пусто не будет! Любой из духовных властей пойдет на его место, а если и откажутся, возьмем простого старца. Такая же честь будет и ему! А о боярах не тревожьтесь: все они сохлое, зяблое дерево; только один из них постоит до времени — князь Василий Васильич.

Затем, отпуская стрельцов, Шакловитый наказывал:

— Когда воротитесь в слободы, призовите тихомолком в съезжие избы известных вам товарищей, в небольшом числе, правоверных, *старых* и разумных, поговорите с ними накрепко, а что скажут они вам, донесите мне. Челобитную же я приготовлю.

Для более чувствительного убеждения при отпуске каждый стрелец получил по пяти рублей.

Сцена эта разочаровала Шакловитого. Вместо жданных восторженных изъявлений беззаветной готовности и преданности в ответах стрельцов ясно проглядывало сомнение,

видимое нежелание вмешиваться не в свое дело. Времена были не прежние — не прежние были и люди.

Взбешенному дьяку-окольничему хотелось на ком-нибудь сорвать раздражение.

«Бабы, трусы, — думал он про себя, провожая далеко не ласковым взглядом уходящих стрельцов, — изменники, предатели, а может, и подкупленные потешными конюхами. Не из этих ли подкупателей-лиходеев сидит у меня теперь в тайнике? Душу у него вытяну, а допытаюсь о замыслах конюхов...»

— Эй!.. Терентьич!

— Чего изволишь... — отозвался выбежавший из ближайших служб старший домоправитель.

— Тот сидит в тайнике?

— Сидит, батюшка Федор Леонтьич.

— Взять его сейчас туда... знаешь, в Марьину... Я сам допрошу его.

— Слушаюсь, батюшка, а мастера брать с собой?

— Взять.

В то время Марьина роща далеко не была таким избитым, расчищенным и излюбленным местом общественных гульбищ, как в настоящее время. Тогда это было дикое, глухое место, где могло удобно хоронить всякое преступление, оставаясь незримым Божескому свету в густой, с трудом проходимой чаще. По такому дорогому качеству роща эта сделалась любимым местом допросов с пристрастием людей, преданных юному царю Петру. Здесь пытали стольника Языкова, дьякона Никифора, татарина Долокодзина и многих других. Сюда же привели и новую жертву, какого-то дворянина, часто бывавшего, по словам шпиона-стрельца, в домах Льва Нарышкина и Бориса Голицына.

— Говори все, что знаешь, да говори правду, а не то допытаюсь пыткой, — начал свой допрос Шакловитый. — Бывал ты в домах Льва Нарышкина и Бориса Голицына?

— Бывал... и нередко. Дворецкий нарышкинский мне кум, а милостником у Бориса Алексеича братец моей супружницы.

— Рассказывай, что там говорят о царевне Софье Алексеевне.

— Разговаривали мы о своих делах, а о царевне не слышал я ни разу ни единого слова.

— Врешь... не будешь говорить доброй волей, так скажешь под пыткой... Что умышляют против царевны? Говорят ли о скором венчании ее на царство?

— Ничего не говорили, ничего не слышал, — был ответ.

— Так, принимайтесь, — распорядился окольник.

Связанного по рукам дворянина раздели и с обнаженной спиной положили ничком на землю. Жертва билась, сколько позволяли члены. Служители стали держать за голову и за ноги.

— Мастер — за дело!

Заплечный мастер расправил свою плеть или, вернее, кнут с длинными ременчатыми концами, постепенно суживающимися до толщины тонкого шнура. Ловко взмахнул он кнутом; тонкий ремень, опоясав в воздухе изогнутую линию, со свистом упал на обнаженную спину. Ярко-багровый рубец резко обозначился во всю ширину спины. Несчастный громко вскрикнул от боли.

— Скажешь теперь, что слышал у злодеев?

— Знать не знаю, ведать не ведаю.

Новый свист, и новая полоса легла подле первой. За этим ударом следовали другие в правильных промежутках. Отчаянные вопли и раздирающие крики несчастной жертвы все более и более раздражали самовольного судью — и палача — и доводили его до самозабвения. Скоро из-под новых ударов потекли кровавые струйки: крики становились тише и глуше.

— Скажешь теперь?

— Ничего не знаю.

— Встань.

Несчастный пробовал приподняться, но силы ослабели, и он не мог даже подняться на колени. Его подняли и держали служители.

— Не скажешь?

— Не ведаю.

— Мастер, долой два пальца с каждой руки!

Палач мигом отхватил от рук по два пальца; кровь ручьями брызнула из порубленных мест.

— Скажешь?

— Не ве... — Несчастный не в силах был говорить.

— Не говоришь... так вырвать у него язык!

Служители схватили голову дворянина, раскрыли рот, и палач острым ножом вырезал язык. Кровь полила изо рта. Весь окровавленный, искалеченный, несчастный лишился чувств, а может быть, и жизни.

Так ничего и не сказал.

А в голове окольникового все без умолку и безуданно слышатся слова Натальи Кирилловны: «У нас люди есть и того дела не покинут». Значит, есть же, живут же подле меня такие люди и замышляют же они против нас злое! Знать бы их... всем бы урезал языки... Да как тут узнаешь!

Между тем как ретивый окольниковый, пытал и допытывался признаний в таких замыслах, которых в действительности не было, выборные стрелецкие, возвратившиеся в слободы, стали исполнять данное им поручение. В слободских полковых съезжих избах поочередно сменялись толпы за толпами. Рьяные пропагандисты стороны царевны Софьи Алексеевны, между которыми выдавались Обросим Петров, Андрей Кондратьев и в особенности пятидесятники Никита Гладкий, Кузьма Чермный и Алексей Стрижов, до хрипоты кричали о милостях к ним царевны, для которой следовало изготовить челобитную о венчании ее на царство. Но холодно принимали стрельцы дело царевны: иные колебались, иные наотрез отказывались от всякого участия.

— Дело это великое и вовсе не подходное нам, — говорили они, — не рука нам вмешиваться в государственные распри, а можем мы только молить Бога об устройении царства по его святой воле.

Так ли говорили стрельцы пять лет назад!

Охотников подписать челобитную оказывалось мало. Наступило и прошло новолетие 1687 года, а Софья Алексеевна на свое коронование не решилась и отложила его до

ближайшего будущего, когда вернее подготовятся меры и обеспечится успех. Каковы же были эти меры?

Мудрые советы преподобного отца Сильвестра упали на плодородную почву.

Вдруг по всей Москве разнеслась молва о подметном письме. Пятисотенный Ларион Елизарьев, возвращаясь в стрелецкую слободу, поднял на Лубянке письмо, которое и принес к своему начальнику Шакловитому. По прочтении этого письма оказалось, что в нем заключается только объявление народу, будто в Казанском соборе, за иконою Богоматери, имеется другое письмо с подробным содержанием. Действительно, на указанном месте нашлось это другое письмо — четырехлистная тетрадь, написанная полууставом, вся наполненная самыми оскорбительными выражениями о царевне Софье и с призывом народа к избиению всех бояр, ей преданных.

Это письмо давало царевне право казаться испуганной и принимать для своей защиты всевозможные меры, но оно не затрагивало интересов стрельцов и не возбуждало их против партии царицы. Требовалось действовать и с этой стороны.

И вот по улицам московским стали совершаться странные дела. В июльские ночи 1688 года стала разъезжать по улицам толпа всадников под предводительством знатного боярина на богатом коне, одетого в белый атласный кафтан и боярскую шапку. Этот боярин, встречая случайно попадавшихся ему стрельцов и наезжая на стрелецкие караулы при Мясницких и Покровских воротах, бил их нещадно обухами, чеканами и кистенями, забивая почти до смерти, причем приговаривал:

— Вот вам за братьев моих! Да погодите... еще будет хуже!

Во время таких истязаний сопровождавшие боярина усовещевали его, говоря:

— Да полно тебе бить их, Лев Кириллыч, и так умрут!

А когда изувеченные и искалеченные стрельцы приходили в Стрелецкий приказ с жалобами, Шакловитый осматривал эти раны, переломленные члены, отрубленные пальцы, показывая их посторонним людям и выдавая лекарства из царской аптеки, с глубоким соболезнованием повторял:

— Жаль мне вас... будут и вас таскать за ноги, как вы прежде таскали! Всех вас переведут! Меня высадят из приказа, стрельцов разошлют по разным городам из Москвы. Кого им теперь бояться? Называют же Лев Нарышкин и Борис Голицын нашу милостивую государыню девкой и хотят ее выгнать. Если же не будет нашей матушки, пропадем мы все... А всем царством мутит царица Наталья Кирилловна...

Глава III

Преображенский дворец в настоящее время не существует, и место, занимаемое им, ныне застроено городскими зданиями^[14], но в XVII столетии он считался любимым загородным потешным дворцом. В нем-то, по известиям разрядных записок, в 1677 году представлялись комедии отсечения головы Олоферна и подвиги царя Артаксеркса, играли немцы на органах, фиолах и других инструментах и танцевали. В нем-то покойный царь Алексей Михайлович любил проводить свободные часы в потехе соколиной охотой.

И действительно, красивое местоположение села Преображенского вполне оправдывало царское предпочтение. Широкие хлебные поля, отделяя его от назойливой столичной суеты, невольно наводили мирное настроение на истомленную душу, а густая растительность и красивые пруды садов, окружавших самый дворец, целили нанесенные раны вечно свежим, вечно понятным голосом природы. По смерти Алексея Михайловича вдова его, Наталья Кирилловна, с сыном, ребенком Петром, во все время царствования Федора Алексеевича и потом правления Софьи Алексеевны почти постоянно жила в Преображенском дворце. Здесь на привольном воздухе свободно, без всякого гнета развивались богатырские силы Петра. Почти совершенно не стесняемый книжным учением, иссушающим силы ребенка в затхлой атмосфере, молодой царь рос вне всяких хитросплетенных этикетных пут, как растет всякое произведение природы при благоприятных условиях.

Не было недостатка в ребяческих играх, так сильно влияющих на организм человека. Юный государь окружил себя сверстниками из окрестных мальчиков, играл с ними в войну и сделал из них для себя потешное войско. И это войско, эта ребяческая игра, мало-помалу постепенно увеличиваясь и устрояясь, стала принимать вид постоянного правильного военного строя. Из этих ребятишек образовалась сначала рота, обученная иноземцами по артикулу с более быстрыми приемами, потом из роты образовался полк, впоследствии разделившийся на два по имени двух сел: Преображенского и Семеновского. В рядах потешных простым солдатом служил и сам царь Петр, одинаково с прочими рядовыми спал в палатке, учился барабанному бою, бил зорю, отправлял по очереди караульную службу, копал и возил землю для сооружения различного рода укреплений, *служил* в полном и действительном значении этого слова и выслужился, к крайнему его удовольствию, до чина сержанта.

Странна казалась эта служба старым русским людям, не привыкшим видеть своих царей простыми черноработными. И не раз патриарх, по совету бояр, пытался отклонить молодого государя от трудов, будто бы несоизмеренных с его здоровьем, и каждый раз получал решительный ответ.

— Труды не ослабляют здоровья, а, напротив, укрепляют его. В забавах проходит немало времени, однако ж никто меня от них не отстраняет, — говорил Петр.

Правительница почти никогда не бывала в Преображенском у мачехи. Долго она не обращала никакого внимания на тамошние забавы, с презрением отзывалась о потешных конюхах, и, может быть, так продолжалось бы еще немалое время, если бы вдруг раздавшиеся выстрелы не указали опасности. А между тем еще задолго прежде, еще в 1684 году, когда Петру было только 12 лет, можно было предвидеть опасность. В этом году, при осмотре московского пушечного двора, Петр в первый раз увидел пушки, приказал стрелять из них в цель и метать бомбы; мало того, он даже сам нацеливал и прикладывал фитиль к затравке.

Живой, впечатлительный, с громадными способностями, с ненасытной жадой все знать, все испытать самому, Петр в отроческую пору практически сам стал пополнять детское воспитание, пренебреженное любовью матери. Сама царица Наталья Кирилловна хоть и получила в доме воспитателя Матвеева образование, но это образование ограничивалось одной внешней стороной, одним знанием европейского обращения. Потом удаленная от двора, озлобленная насильственным отстранением себя от участия в правлении, она перенесла все упования, надежды и желания на любимого единственного сына. Лишь было бы весело и здорово дитя, а к чему книжная мудрость?

И благодаря свободной деревенской жизни это дитя росло не по годам, а по часам. В одиннадцать лет Петр казался пятнадцатилетним, в пятнадцать лет — взрослым юношей. Вместе с физическим развитием росла и жажда умственного развития, заставившая его оборотиться от внешних явлений к книжному объяснению. При таком настроении каждое, по-видимому, ничтожное обстоятельство могло служить, и действительно служило, поводом к вопросам науки. Так, рассказ Якова Федоровича Долгорукого, при прощании его перед поездкою во Францию послом, о каком-то бывшем у него и потом затерявшемся забавном инструменте, посредством которого можно снимать отдаленные расстояния, возбудил любопытство царя и заставил его просить привезти такой инструмент из-за границы. Инструмент-забава (астролябия, кокор — готовальня с циркулями) был вывезен, но кто может научить его употреблять? Сам придворный доктор Захар Гулетлу оказался невеждой. После долгих поисков наконец нашелся учитель, не только знающий употребление привезенных инструментов, но и вообще знаток наук математических, — Франц Тиммерман.

С помощью учителя пятнадцатилетний Петр принялся за арифметику, геометрию, фортификацию и артиллерию. Впоследствии учитель оказался недалеким математиком, но все-таки он мог показать путь, по которому предстояло идти. Скоро понимал, соображал и выводил заключения здоровый ум

государя, и от первых четырех правил арифметики (аддицию, субстракцию, мультипликацию и дивизию) он с изумительной быстротой перешел к более высшим частям математики, понял теорию астролябии, узнал, как собирать, измерять поле, выучил все иностранные термины, сообразил главные основания крепостных сооружений а научился вычислять направление полета бомб.

Раз, в ту же пору, обходя амбары в селе Измайлове, Петр увидал на льяном дворе, между разными остатками хлама дома деда своего Никиты Ивановича Романова, новый странный предмет — поломанный ботик. На расспросы государя Тиммерман объяснил, что это ботик, на котором можно плавать на парусах не только по ветру, но и против ветра. Петр заинтересовался. Нашли мастера Карштена Брандта, который взялся исправить изломанный ботик, и скоро Петр весь отдался новой забаве.

Начались нескончаемые плавания сначала по Яузе, а потом по Просянному озеру, но и первая, и второе, по ограниченности пространства, оказались вскоре неудобными. Забаву перенесли на более обширное Переяславское озеро, лежащее от Москвы в 120 верстах. Здесь уже представилась возможность постройки более обширных судов, чем и занялись Карштен Брандт, мастер Корш и другие, при личном участии царя. Так как постройка судов требовала применения технических знаний, то при быстром соображении Петра ему скоро стали знакомы основные законы практической механики.

С опытами кораблестроения начались продолжительные отлучки царя из села Преображенского, к сердечному горю матери. Правда, и в Преображенском кипучая, неутомимая деятельность не давала ее сыну оставаться в тесных стенах, но все-таки она знала, что дитя ее близко, что она может во всякое время его видеть, а с такими отдаленными поездками, при таких щекотливых отношениях с сестрой-правительницей мало ли что могло случиться! И сердце матери билось тревожно, и искало оно средств связать богатыря.

Средство найдено — женитьба. Царица избрала сыну невесту, дочь окольного Федора Абрамовича Лопухина из

рода, преданного ее партии, хорошенькую, молоденькую Авдотью Федоровну, воспитанную в понятиях того времени. Свадьбу отпраздновали 27 января 1689 года... Но средство оказалось действительным не больше как на один месяц. Еще не начала вскрываться реки, как страстный моряк, бросив молодую жену, отправился в Переяславль, где на берегу Трубежа строились для него новые суда. Желая ускорить изготовлением и спуском судов, Петр лично принялся за топор. Работа закипела, и к вскрытию озера все корабли, кроме самого большого, были окончены подстройкой.

Не удалось, однако ж, царю насладиться охотой. Мать царица и красавица жена письмо за письмом слали к нему с мольбами о скорейшем возвращении. К просьбам присоединилась и необходимость: по строго соблюдаемому обычаю, следовало непременно присутствовать на панихиде в день кончины Федора Алексеевича, 27 апреля. Петр поскакал в Москву и едва поспел на панихиду. Но, пробыв в Москве не более месяца, он снова уехал на свое любимое озеро, хоть только взглянуть на свое детище, так как предстояло снова скоро вернуться в Москву к вторичной панихиде в день тезоименитства покойного брата — 8 июня.

По дороге из Москвы к селу Преображенскому, утром часу в девятом, в половине июня, ехал верховой, как видно по богатой одежде и по дорогому коню, принадлежавший к числу царедворцев. Дорога, огороженная пряслами, пролегла изгибами, то западая лощиной, то выбегая на пологую возвышенность, и становилась совершенно ровной и открытой только недалеко от дворца. Ехал верховой не торопясь, как и подобает немалому чину, осторожно выбирая тропы более торные, где и коню был ход поровнее, и самому поспокойнее. Да и грешно было бы торопиться в такое чудное время. Солнце хоть и высоко стояло в небе, но еще не обдавало знойным жаром. Воздух, освеженный обильным дождем минувшего вечера, пропитан был ароматом полевых цветов и недавно скошенной травы. Легко становилось на душе, и грудь с жадностью вбирала живительный воздух.

Обогнув колок острым углом выбежавших на дорогу молодого ельника и берез, верховой оправился на седле, передернул уздечку и поехал живее. Ровная дорога прямой линией лежала ко дворцу.

Верхового заметили из дворца. У одного из открытых окон сидели две женщины за работой.

— Посмотри-ка, Авдотьюшка, — говорила старшая из них, царица Наталья Кирилловна, своей невестке, — кто бы это ехал к нам из Москвы? Глаза-то мои стали не прежние. Много иссушили их слезы.

Молодая женщина отложила вышивание в сторону и посмотрела в окно.

— Не знаю, матушка, кажется, не из наших. Если б был кто из Апраксинских или из моих Лопухинских, я бы сейчас узнала. Да... нет и не из них... Теперь вот я вижу весь облик — незнакомый какой-то.

— Если незнакомый, так, стало, от той... — И бледное лицо старой царицы, по выражению софьинской партии, медведихи, стало еще бледнее. Много переменилась царица в последние десять лет, много горя перенесла она. Живая, веселая, бойкая красавица стала подозрительной, угрюмой и озлобленной. Да и как было не озлобиться, как не зачерстветь в таких крутых оборотах. После нежной ласки покойного мужа, для которого она была светлым лучом беспредельного счастья, наступило холодное, невзгодное время совершенно чуждых отношений пасынка. Оттертая от власти, но окруженная родными, друзьями, она могла по крайней мере спокойно радоваться ребенком — сыном, пользоваться мирным, счастьем частной жизни, но и это продолжалось недолго. Больной пасынок прожил недолго. С его смертью снова улыбнулась ей жизнь, снова поманило радостное будущее, если не для себя, то — что еще дороже — для ребенка — сына, избранного царем. Только мелькнуло это время несколькими днями. На глазах у нее погибли ужасной смертью все ей близкие люди и родные, сама же она, своими руками, должна была отдать на жертву любимого, дорогого брата, и все эти несчастья от кого, для кого они понадобились? Дело говорило само за себя ясно и

положительно, оно определенно указывало на лицо, воспользовавшееся ее несчастьями, и не только воспользовавшееся, но даже намеренно подготовившее их. Думала ли красавица всемогущая царица, входя в царское семейство, что в падчерице, в этой золотушной некрасивой девочке, она не далее как через несколько лет встретит врага неумолимого, не отступающего ни перед какими бы то ни было средствами, упорно гнетущего, подрывающего в корне все ее будущее.

Мудрено ли, что цветущее здоровье надломилось, полные розовые щеки побледнели и осунулись, ласковые и лучистые глаза приняли выражение испуганной пытливости и подозрительности, роскошные волосы поседели, стройный, прямой стан сгорбился, походка сделалась нервная. Мудрено ли, что и теперь, при одном ожидании известия от врага, резкие морщины сложились на лбу, а губы помертвели и нервно задрожали. Мудрено ли, что неумолимая память моментально воспроизвела кровавые картины прошлого и, болезненно сжав сердце, прекратила его биение.

«Чего хочет еще эта женщина, — мелькнуло в ее голове, — моей смерти? Я не бегу от смерти! Нет... она жаждет смерти моего сына... он стоит на ее дороге... нет, этого не будет... я закрою сына своим телом, приму на себя все удары, пусть буду изорвана, истерзана, но он, мой милый, ненаглядный, спасется...».

Ничто так не заразительно, как страх. Тревога матери перешла и к молодой женщине.

— Что с тобой, матушка, ты дрожишь... помертвела?

— Ничего, дитя, пройдет. Где сын, муж твой? — А больное воображение мигом нарисовало ряды копий вслед за всадником, кровавую борьбу, и на этих копьях растерзанное, облитое кровью тело сына.

— Он, ты знаешь, матушка, верно, с своими потешными. Чего ты боишься?

— Ничего, дитя, ничего. Так, вспомнилось прошлое. Дай Бог тебе не испытывать того, что перенесла я. Бог милостив, не бойся ничего. Успокойся, тебе в твоём положении вредно...

Молодая женщина стыдливо потупилась.

— Ты не говорила мужу?

— Нет, матушка, да я и видела-то его только несколько минут.

Оправившись от испуга, Наталья Кирилловна сама посмотрела в окно. Верховой был уже очень близко, и она могла явственно рассмотреть его.

— Теперь я узнаю: это окольный Нарбеков — один из ближних людей *той*...

Между тем наделавший столько тревоги верховой успел въехать на двор. Осведомившись, где царское семейство, он отдал коня привратнику, а сам стал подниматься по лестнице во дворец.

— Передай матушке царице, что, мол, приехал от государыни царевны гонец и желает видеть ее пресветлые очи.

Постельница передала поручение старой царице и получила разрешение ввести гонца в комнату, где обе царицы занимались вышиванием.

Окольный Нарбеков, войдя в комнату, помолился перед иконами и, держа перед собой обеими руками шапку, отвесил два низких поклона обеим царицам.

— От царевны Софьи Алексеевны? — лаконически спросила Наталья Кирилловна.

— Точно так, матушка царица. Государыня царевна Софья Алексеевна наказала мне повидать вашу царскую милость и спросить о вашем благополучном здравии.

— Мы здоровы, слава Богу. Что еще?

— Еще государыня царевна Софья Алексеевна наказывала узнать о пребывании его государской милости, царя Петра Алексеевича.

— Зачем знать об этом царевне? — уже неровным голосом спрашивала мать.

— Не ведаю, государыня.

— Больше ничего?

— Наказывала еще государыня царевна Софья Алексеевна доложить государю царю Петру Алексеевичу по некоторым делам...

— По каким? Я передам сыну.

— Прости, государыня, но мне наказано самолично исполнить приказание царевны.

Гордая, недобрая улыбка пробежала по губам царицы Натальи Кирилловны.

— Ступай, — окольный, челядь тебе укажет, где царь.

Нарбеков опять отвесил два низких поклона царицам и вышел. У царского конюха он расспросил, где можно было бы видеть Петра.

— Ну, это, ваша милость, нелегкое дело. Царь-батюшка Петр Алексеевич не любит сидеть на одном месте... теперь-то, чай, учится с потешными. Недавно слышал трескотню барабанную.

— А в котором месте потешное учение?

— Да вот как пойдешь на правую-то руку и пройдешь садовую огорожу, так и увидишь поле там и учение.

Окольный прошел по указанию конюха дорогу мимо садовой городьбы и вышел в поле. Здесь, на широком, ровном пространстве, стояло несколько отдельных колонн преображенцев и семеновцев поротно и вольно. Офицеры столпились кучкой. Между ними выделялись: заведовавший учением, за болезнью полковника Юрия фон Менгдена, майор Иван Иванович Бутурлин и молодой прапорщик. В этом прапорщике, лет семнадцати, открытого чрезвычайно красивого лица, в котором задорно играла здоровая кровь юности, окольный без труда узнал Петра. Да и мудрено было не узнать. Несмотря на полное пренебрежение наружности, несмотря на холод, ветер, грязь и всякую непогоду, несмотря на грубую физическую работу, молодой царь отличался выдающейся красотой. По словам Кемпфера, видевшего Петра на аудиенции, когда последнему было шестнадцать лет, царь отличался пленительной наружностью: «Если б он был девицей, то все влюблялись бы в нее».

Окольный степенным шагом подошел к молодому офицеру, сняв шапку.

— Государь, царь-батюшка, Петр Алексеевич, — начал он.

— Здесь нет царя, — с живостью перебил молодой человек, — царь во дворце, а здесь прапорщик Преображенского полка. Прикажешь становиться в ряды, господин полковник, и куда мне становиться? — обратился он к командиру.

— При первой роте Преображенского полка, — лаконически распорядился майор.

Кучка офицеров разошлась по рядам.

Ошеломленный окольный Василий Саввич не верил глазам, не знал, что делать. «Не идти ли мне во дворец, — спрашивал он мысленно сам себя, — там ведь царя нет, ведь я знаю его и сам с ним говорил. Приставать к нему — не велел... да вон уж и команда началась. Лучше обожду здесь». И окольный отошел к сторонке выжидать конца учению.

Барабаны забили, раздались слова команды, и стройные ряды преображенцев и семеновцев двинулись в разных направлениях. Все движения исполнялись твердо и отчетливо, приемы — скоро и одновременно, либо смотреть было на безупречные построения, то растянувшиеся лентой, то сгущающиеся густой массой, то рассыпающиеся в одиночку, то движущиеся медленным шагом, то бегущие ровным рядом. Молодой прапорщик, наравне с другими, выполнял по правилам артикула, передавал команду, отдавал честь перед проходившим командиром, откликаясь его одобрителюму отзыву. Смотря на эти легкие и быстрые движения, окольный не мог не залюбоваться ими и не мог мысленно не сравнить их с тяжелыми неровными движениями стрелцов.

Учение кончилось. Потешные направились к квартирам, в поле оставались только майор Бутурлин с окружавшими его офицерами, в числе которых находился и молодой прапорщик. Майор высказывал последние замечания, обращая внимание офицеров на те неточности, о которых неудобно было высказывать во фронте. Вскоре почти все офицеры удалились, остались командир и прапорщик.

— Ну, Иван Иванович, спасибо. Вижу, не сложа руки сидели вы тут без меня. Спасибо — удружил. Лихо отхватывали по

артикулу. — И молодой прапорщик милостиво отпустил командира, поцеловал его в лоб.

— А... окольный! Ты здесь еще? — сказал Петр, оборотившись и заметив Нарбекова. — Ну, как показались тебе мои потешные?

— Знатная забава, ваша царская милость.

— Была забава, окольный, а теперь служба, — заметил, несколько нахмуривая брови, Петр. — Ну что у тебя? Говори теперь.

— Государыня царица Софья Алексеевна наказывала мне осведомиться о благополучном здравии твоей царской милости.

Легкая усмешка появилась на губах Петра.

— Потом наказывала государыня, — продолжал невозмутимо ровно окольный, — осведомиться, сколько изволит пробыть здесь твоя царская милость.

— Передай государыне сестрице, сам царь, дескать, не знает: может, долго, а может, и скоро отбудет. А зачем бы государыне царице знать?

— Государыня царица приказывала... наказывала мне... — продолжал окольный, как будто не замечая вопроса царя и затрудняясь выражением своего поручения, — доложить тебе... узнать твое царское желание... Ратные люди вашего царского величества, после неслыханных победительств над агарянами, ныне возвращаются, и государыня, в похваление за великие подвиги начальных людей, изготавляла им золотые медали по достоинству каждого. Так как изволишь на это, государь-батюшка?

— Ты правду упомянул, господин посол, о неслыханных победительствах. Ни я и никто другой из добрых людей русских не слышал о победительствах, а ведомо нам всем, что Василий Голицын с великими потерями прошел только по степи, за Перекоп не осмелился перейти, никакой сурьезной баталии не учинял, а, растеряв много людей и всякого добра, возвращается с великим срамом. Так за такие победительства наказывают, а не награждают. Так и передай государыне царице. Больше мне некогда. Прощай.

Отказ, положительный и ясный, выраженный суровым и раздражительным тоном, вконец озадачил Василия Саввича. С полуоткрытым ртом, выпученным недоумевающим взглядом провожал он быстро уходившего царя, а в голове смутно шевелилось: как же быть-то теперь, как с таким ответом воротиться к царевне, да она и на глаза не пустит.

Потом мало-помалу определенные мысли стали складываться в догадливом уме окольного и появились утешительные соображения: оно, конечно, царь сказал, да мало ли что мальчик в сердцах наговорит, а сделается иначе... Лучше я пойду к Борису Алексеичу, расскажу ему... ведь срам Василия Васильевича замарают весь род их боярский. Может, он уладит дело...

И окольный своим степенным шагом пошел отыскивать Бориса Алексеича Голицына.

Между тем царь входил к своим. Он казался очень взволнованным, и это тотчас угадали обе женщины. Они угадали бы сердцем, если бы даже взгляды их общего любимца и не метали искр, но ни та, ни другая не показали вида, будто не заметили.

— Ну что потешные? — первая заговорила мать.

— Мои потешные молодцы. Посмотрела бы ты, матушка, на них. Не то что стрельцы. Да куда стрельцам до них! Они по выправке далеко выше и солдат иноземного строя. А каково стреляют в цель! Знаешь, матушка, нашего конюха Сережку Бухвостова^[15], на что был увалень, а посмотри теперь, каким молодцом вышколился. Да как палит: из пяти выстрелов четыре раза в цель. Да мало ль таких... я не говорю уж об Якишке Воронине иль Гришке Лукине... эти почти с измалолетства у меня в строю... попривыкли... Если Бог будет милостив, так я из своих потешных понаделаю целый строй.

По мере того как говорил царь, неудовольствие исчезало и радость быстро разливалась по оживленным чертам.

— Да, спасибо Бутурлину, спасибо. Я чаял, что без меня в этот месяц они изнеряшились, а вышло, они вправду принялся за дело.

— Ты будешь еще принимать в потешные?

— Всеконечно.

— Ну, а как же стрельцы-то?

— Будут сокращаться, будут отправлять службу по украинам. Найдется, и им дело. Да какие они солдаты — лавошники гулящие.

— Боюсь я, Петруша, твоих затей. Будь осторожен. Стрельцы — народ буйный, пьяный, своевольный. Проведает твои мысли та, так подговорит их, и подымет она опять смуту. Ты был ребенок, может, не помнишь, как погибли родимые...

— Нет, матушка, помню... все помню, как будто вчера на глазах, — отвечал царь, и все лицо его побледнело и задрожало, как в ту ужасную минуту, когда стоял он подле матери и брата на Красном крыльце перед разъяренными толпами стрельцов, нервно передернулись губы недоброй улыбкой, а в глазах засверкало не гневное, нет, а злобное чувство.

— Теперь времена не прежние, — продолжал он, несколько успокаиваясь. — Не бойся, матушка.

Но материнское сердце сумело скрыть в самом себе всю накипевшую, острым ножом режущую боль, только руки усиленнее принялись за вышивание да голова понижее опустилась к работе. Зачем пугать, может быть, напрасно дорогого сына и больную невестку?

— Да, я было и забыла тебе сказать — был здесь окольный Нарбеков. Видел ты его?

— Видел. — И царь рассказал о предложении Софьи Алексеевны и своем отказе.

— Петруша, Петруша, напрасно ты так сделал, — говорила умоляющим голосом мать. — Ты знаешь, как близок князь Василий к той... Теперь она озлобится и заведет большую... чует мое сердце.

— Ты забываешь, матушка, мне теперь не десять лет и мы теперь не беззащитны, как тогда. Поверь, она сама остережется. Я совершеннолетний и не уступлю своих прав. А на каком основании она самовластвует?.. Да что с тобой, Дуняша? — Петр заметил бледность жены.

— Ничего... так... пройдет...

— Да она больна, матушка! Пошли за доктором Захаром^[16].

— Нет, Петруша, не тревожься, от этой болезни не излечит Захар, а пройдет она сама собой через несколько месяцев, — успокаивала мать, улыбаясь.

— Да чем, чем больна-то она? — нетерпеливо продолжал допрашивать Петр.

— Ну пушай она тебе сама скажет.

Царь подошел к жене, горячо обнял ее и наклонил к ней голову. Авдотья Федоровна, покраснев, шепнула ему на ухо.

Лицо Петра просветлело. Еще крепче он обнял, еще любовнее он поцеловал ее. Новость, сказанная на ухо, отозвалась прямо в сердце. Семнадцатилетний юноша должен был через несколько месяцев войти в новую роль — отца.

Но натура Петра не увлекалась чувствами, не могла ни минуты оставаться без деятельности. Он стал собираться.

— Куда ты? — с мольбой шептала жена.

— Пойду проведать нашего полковника — шибко заболел, сказывал Иван Иваныч.

Долгим взглядом проводила жена мужа, и засветилось в этом взгляде новое, непривычное чувство оскорбленной женщины и будущей матери. Не того ждало ее любящее сердце...

Глава IV

В Преображенском занимались своим делом без интриг и козней: в сознании права там твердо надеялись на будущее и шаг за шагом неуклонно подготавливались к нему.

Не то было в Москве, у Софьи. Она чувствовала, как каждый день, каждый час приближал неминуемое, решительное столкновение права с узурпаторством, чувствовала опасность своего положения и, не находя у себя никакой твердой основы, жадно бросалась и искала эту основу повсюду. Такое настроение отражалось и у приближенных. Без прочной почвы ум человеческий колеблется, желает опереться где бы то ни было, на что бы то ни было, хотя бы на сверхъестественное незримое содействие.

И вот действительно Софья и ее советники прибегают к чародейству.

В то время славился чародейством какой-то поляк Дмитрий Силин, вызванный Софьей в 1686 году пользоваться от глазной болезни царя Ивана Алексеевича. Этот поляк жил несколько лет у Сильвестра Медведева (который сам считался тоже не последним астрологом) и уверял всех в знании им таинственных зелий от различного рода болезней. Ему верили, и у него лечились даже такие передовые люди, каков был, например, князь Василий Васильевич Голицын, не имевший, впрочем, кроме мнительности, никакой болезни. Даже сам Силин, призванный к нему, нашел только одну болезнь, которую высказал бесцеремонно: «Любишь ты, князь, чужбинку». Для открытия такой болезни, конечно, не требовалось никаких сверхъестественных знаний.

Уверял еще поляк в своей способности глядеть на солнце и читать в нем будущую судьбу человека. Веря в его таинственное знание, Медведев, по просьбе царевны, просил чародея узнать ее будущее. Два раза Силин ходил на Ивановскую колокольню поглядеть на солнце и оба раза возвращался с неутешительными вестями. «У государей, — рассказывал он, возвращаясь, — царские венцы лежали на головах, у князя Василия Васильевича венец мотался по груди и по спине, а сам князь был темен и ходил колесом; царевна Софья Алексеевна казалась печальной и смущенной, Медведев темным, а Шакловитый повесил голову.» Таковы были предсказания чародея, которому нетрудно было давать такие прорицания, зная от Медведева во всей подробности положение дел и отношения действующих лиц.

По словам поляка, Шакловитый повесил голову, но он был не такая личность, он не мог повесить голову, запутаться и отступить от своей цели. Напротив, не имея за собой никаких путей к отступлению, он верил в себя, верил в царевну, обольщался сам, обольщал и ее блестящими надеждами, которым всегда так верится легко. Царевне он льстил различными панегириками и рисовкой портретов, а себя обеспечивал содействием стрельцов.

Жил у ахтырского полковника Ивана Перекреста домашним учителем некто Ян Богдановский, великий мастер по изготовлению торжественных приветствий. К этому-то мастеру и обратился Федор Леонтьич с просьбой — построить великой государыне царевне достойную похвалу.

— А какую же похвалу написать? — спросил недоумевающий педагог.

— А такую похвалу, — разъяснил Федор Леонтьич, — что она, великая государыня, усмирила мятеж, ревнительна к построению монастырей, милостива к людям и премудра.

Педагог согласился, но заметил, что было бы еще лучше, если бы к похвале приложен был портрет царевны, и что это дело возможное, так как у полковника Перекреста имеются две медные доски, на которых изображена ее персона, а в Чернигове живет и мастер Тарасеевич, умеющий искусно печатать.

По распоряжению Шакловитого доски Перекреста были доставлены, но оказались не удовлетворяющими цели, потому что на них персона царевны изображалась не отдельно, а обще с обоими царями. Вследствие этого Тарасеевичу заказано было вырезать на других досках персону царевны одну, окруженную пышною арматурою, наподобие портретов римских императоров в среде курфирстов, и с символами власти.

Тарасеевич принялся за работу, и вскоре им вырезаны были две доски, из которых на одной изображалась царевна Софья в короне, с державою и скипетром и с прописанием вокруг полного царского московского титула? «Софья Алексеевна, Божиею милостью, благочестивейшая и самодержавнейшая великая государыня, царевна и великая княжна всея великия и малый и белыя России самодержица Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, царевна Казанская, царевна Астраханская, царевна Сибирская, государыня Псковская, великая княжна Смоленская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иных, государыня и великая княжна Новгорода низовых земель, Черниговская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, Белозерская, Удорская, Обдорская, Кондинская, всея северная страны повелительница и

государыня Иверския земли, карталинских и грузинских царей и Кабардииския земли черкесских и горских князей и иных многих государей и, земель восточных, и западных, и северных отечественных величеств государыня и наследница и обладательница».

Затем кругом этой надписи вырезаны были аллегорические изображения качеств царевны, как «семи даров духа: разума, целомудрия, правды, надежды, благочестия, щедрости и великодушия, предназначенных заменить собой семь курфирстов императорских изображений. Под портретом находились похвальные вирши, в которых царевна приравнивалась по славным делам своим Семирамиде Вавилонской, Елизавете Английской, Пульхерии Греческой и, наконец, высказывалось, что как Россия ни велика, а еще мала в сравнении с мудростью царевны.

На другой доске вырезано было изображение святого мученика Федора Стратилата, окруженное воинской арматурой.

Оттиски с обеих досок печатались на бумаге, тафте, атласе, объяри и расходились в обществе, а для того, чтоб «такая же была слава великой государыне и за морем, как в Московском государстве», Шакловитый один из оттисков отослал к амстердамскому бургомистру Витсену с просьбой снять с него копию с переводом виршей на латинский и немецкий языки и разослать по иным землям. Витсен исполнил просьбу, и несколько таких оттисков было доставлено в Москву.

Без всякого сомнения, подобные восхваления нравились тщеславию молодой женщины, но, кроме того, в них скрывалось другое, более практическое основание. Они приучали народ свыкаться с именем Софьи как именем самодержицы русской, приучали смотреть на нее как на достойную государыню, законную наследницу престола, если какая-нибудь случайность доставит ей возможность наследства.

Случайность... но откуда ж могла быть такая случайность? Естественного повода не предвиделось. Здоровье Петра казалось закаленным и прочным, а супружество с молодой, красивой Лопухиной обещало обильное преемство. Но разве не могло возникнуть какое-нибудь непредвиденное, случайное

обстоятельство или, лучше сказать, разве нельзя подготовить это обстоятельство?.. С подготовкой требовалось спешить... Скоро могло появиться потомство у Петра, тогда дело усложнялось... Ум царевны и предприимчивость худародного окольного — надежные факторы.

И вот бывший думный дьяк призывает к себе и не раз преданного ему стрельца Филиппа Сапогова и научает: «Как пойдет куда царь Петр в поход, так брось ты на пути его ручную гранату аль, крадучись, положи ее в потешные сани, а если и это не удастся, так зажги несколько дворов в Преображенском, а когда царь, по обычаю, выйдет тушить, так тут в общей суматохе можно его и принять».

У Филиппа Сапогова не доставало, однако ж, силы ни отказать решительно начальнику, ни исполнить его поручение. Так и проходило время.

За неудавшейся попыткой одиночной случайности оставалось более верное средство — действовать массой, как это и удалось пять лет тому назад. Необходимо было возбудить стрельцов против партии *медведихи* и в общей смуте достигнуть вполне своей цели. Возбудить же можно было угрозой злых умыслов царицы. Софья Алексеевна понимала это и приводила в исполнение с обычной своей энергией.

— Зачинает царица с братьями своими и с Борисом Голицыным против меня бунт, да и патриарх, вместо того, чтоб унимать, только мутит да потакает им, — лично говорила царевна нескольким надежным стрельцам, призванным ночью к Спасу на Сенях.

Стрельцы молчали, но бывший подьячий поддержал царевну:

— А для чего бы, государыня, Льва Нарышкина и Голицына не принять? Можно бы принять и царицу — не велик ее род, ходила в Смоленске в лаптях!

Как худародный подьячий, Шакловитый не мог в душе своей не придавать особенного значения знатности рода и не видеть в худародности обстоятельства, значительно облегчающего мятеж.

Несмотря, однако ж, на вызов начальника, стрельцы не вызывались *принять* и уклонялись от прямого участия.

— Жаль мне их (Нарышкина, Бориса Голицына и Наталью Кирилловну), — ответила царица, обращаясь к стрельцам, — они и так Богом убиты.

— Как изволишь, государыня, так и делай; воля твоя, — говорили стрельцы, расходясь по домам.

Угрозы и застраивания злыми умыслами нарышкинского двора действовали плохо, оказывалась необходимость принимать более сильные средства: разжигать дурные инстинкты. Средство опасное, но время шло, а с каждым днем опасность для царицы увеличивалась.

Такими опасными средствами были вино и грабеж.

И начали преданные начальнику стрелецкие урядники зазывать сбирца, поить вином, раздражать и манить золотыми прибытками.

— Вы теперь нуждаетесь да голодуете, — внушал стрельцам Кузьма Гладкий, — а вот будет ярмонка, и станете вы боярские дома и лавки торговых людей грабить и прибытки их дуванить. Вот на Рязанском подворье у боярина Ивана Васильевича Бутурлина хранится шестьдесят цепей серебряных, мы их разделим и в клад церковный положим. Да и что нам стоять за Нарышкинских, — продолжал он, — царь с ума спился, только тешится да играет, не то что наша царица., она непрестанно Бога молит.

Не обошли и патриарха, авторитетством своей пастырской власти стоявшего за законность.

— Какой он учитель, — говорил о патриархе Гладкий, — не велит после аминя кланяться, доберусь же я до его пестрой рясы и уличу его. Вот только получу тетрадки от старца Сильвестра.

Задавшись или, вернее сказать, всецело поглотившись замыслами против нарышкинской партии, как сама царица, так и близкие ей люди не доверяли противникам, были убеждены в таких умыслах у сторонников Петра. Под этим убеждением царица постоянно уклонялась от личных свиданий с Петром, а

когда эти свидания становились необходимостью, то всегда окружала себя надежной стражей.

Так, во время посещения царевною Преображенского, еще 1 августа 1688 года, по случаю водоосвящения на Яузе ее провожал значительный отряд вооруженных стрельцов. Размещая этот отряд, Шакловитый часть его поставил на кормовом дворе в самом Преображенском, а часть разместил в рощах и оврагах кругом села. При этом он отдавал такой приказ отрядным начальникам Филиппу Сапогову и пятисотенному Нифонту Чулошникову:

— Слушайте, если учинится в хоромех крик, так вы будьте готовы и бейте всех, кого вам будут подавать из хором.

Затем, обращаясь к денщикам своим — стрельцам Стремянного полка Федору Турке, Михайле Капанову и Ивану Троицкому, говорил:

— Когда на меня кинутся, рубите всех кого ни попало и дайте тотчас же весть всем остальным, спрятым в оврагах и лесах.

Дело обошлось, однако ж, одним пустым страхом. Никакого покушения не было.

В таком напряженном положении находились обе партии. Взаимное раздражение их доходило до крайних пределов, и для открытого разрыва, для явной борьбы недоставало только какого-нибудь более или менее крупного случая, этот случай выдался 8 июля 1689 года. С этого рокового дня, в особенности с возвращения князя Василия Васильича из Крымского похода, развязка драмы шла с ускоренной быстротой.

Небо покрыто светло-серым покровом не густо слоистых облаков; дождя не было, да и нельзя было ожидать его, но зато не было и удушливого июльского зноя. Колокола гудели в Москве, и народ всякого сословия и звания толпами валил к Кремлю на крестный ход в день праздника явления Казанской Богоматери.

По обычаю, в Успенском соборе служил литургию сам патриарх Иоаким при многочисленном стечении народа и в присутствии всего царского семейства: обоих царей, цариц и царевен. Литургия кончилась скорее обыкновенного, так как

предстояло еще идти с иконами и хоругвями в Казанский собор на Красную площадь. По окончании обедни богомольцы стали поднимать кресты, иконы, и в числе первых царевна Софья Алексеевна приняла к себе икону «О Тебе радуется».

Прежде царевны никогда не участвовали в ходах, и такая выходка, выведившая женщину из тени и ставившая ее на равную статью с мужчиной, как явное доказательство стремления царевны, раздражило молодого Петра.

— Неприлично тебе, сестра, идти с нами в крестный ход, искони женщины не участвовали в торжествах, — сказал Петр, останавливая сестру.

— Я знаю и без твоего указа, что мне прилично, — гордо отвечала царевна и с образом пошла вперед.

Вспыхнул молодой царь, вышел из церкви, отошел к стороне и махнул рукой конюшему. Подвели лошадь, и, вскочив в седло, он быстро поскакал в Коломенское.

Ссора брата с сестрой не осталась незамеченной. Она была подхвачена на лету, переходила от одного к другому с различными прибавлениями и прикрасами. На этот раз общественное мнение становилось на сторону царя — защитника старины.

— Зазорно девице из царского рода ходить во всевиденье всех, — говорили одни.

— Быть недоброму, — говорили другие, подметившие злобные взгляды, какими обменялись между собою брат и сестра.

Это было первое явное столкновение.

«Он хочет не только лишиться меня власти, а по-прежнему запереть в терем. Нет, этого не будет. Я или он — пьяный конюх, а место для нас обоих тесно», — подумала царевна и решила действовать.

Глава V

— Васенька, светик ты мой ненаглядный! — говорила Софья Алексеевна, обнимая и горячо целуя князя Василия. —

Желанный ты мой! Сколько трудов ты безмерных понес для меня, драгоценного здоровья своего не жалеючи.

Обнимала царица возвратившегося из второго Крымского похода своего первого друга и оберегателя князя Голицына, неустанно обнимала его, целовала и в очи, и в лоб, и в уста, но как-то порывисты и суетливы были эти ласки, и не было в них того, что так ясно сказывалось и без слов, без всякого напуска в прежних ее ласках.

Прошел год, как князь уехал победительствовать над агарянами в Крым, добывать себе лавровых венков и вечной благодарности от отечества. Год этот прошел не бесследно для женского сердца. Крепко кручинилась царица, проводив своего Друга в опасный путь, много пролила слез на ночное изголовье, страстно молилась о его спасении, обходя богомольем пешком окрестные монастыри, но время лучший и верный врач. Мало-помалу слезы становились менее обильными, резкая боль в сердце сменилась тупою и тихою грустью, а жаркие молитвы все чаще и чаще обрывались думами и вопросами другого рода. Образ князя бледнел, и чаще вставал из-за него другой образ — более красивый, бьющий жизнью и энергией, манивший долгими наслаждениями. И вот прежняя рознь в характерах и взглядах, забытая было в первое время разлуки с князем, выдвигалась определеннее и отодвигала прежнее счастье, хоть и вечно милое, в безвозвратно прошедшее.

Молодое, еще не изжившее сердце не может довольствоваться пережевыванием канувшего в вечность, оно жадно пользуется настоящим, неудержимо стремясь все вперед, все дальше и дальше. А тут еще разрослись и окрепли иные стремления, не совсем ладившиеся с прежними, и эти-то стремления поддерживались, а может, и подсказывались новым образом. И вот, незаметно для самой себя, царица постепенно отшатывалась от прошедшего и отдавалась новому чувству.

Частые, неизбежные отношения царицы и дьяка — видного Шакловитого — невольно породили между ними короткость, перешедшую в тесную связь их общих интересов и материальной потребности жизни. От нового сближения побледнел образ князя как дорогого для сердца, но не

побледнел этот образ как человека необходимого, человека думы, человека — опоры ее общественного положения. Да и не без борьбы совершилась перемена в чувствах царевны. Часто описывая крымскому другу все новости дня и величая его нежными словами^[17], она упрекала себя за измену, маскировала, пыталась обманывать сама себя, но упреки и раскаяние скорее могут убить окончательно отлетающую жизнь, но не вдохнуть.

В таком положении застал молодую женщину приезд бывшего любимца.

— Ах, касатик ты мой дорогой! Сколько натерпелась я без тебя, стосковалась как! — продолжала царевна, а между тем внутри ее шептало: «Как переменялся он... где белизна и атласность облика... загорелость, черствость, шероховатость... глаза какие-то стали отцветшие, а вон и складки появились у глаз и у рта... совсем обрюзг».

— Дорогая моя, — отвечал на ласковые речи князь, внимательно-всматриваясь из-под полуопущенных глаз в самую глубь души любимой женщины, — спасибо тебе за ласку да за память. Не забывала ты меня цыдулами.

— И что ты, Васенька, денно и ночью молила пресвятую Матерь Божию за здравие твое, за одоление агарян окаянных.

— Ну, верно, молитвы твои, милая — царевна; не дошли до господ. Трудности превеликие приходилось преодолевать от самой природы, от врагов, да и от своих тайных недоброжелателей. Не того чаял, отправляючись в поход.

— Что делать, Васенька. И так заслуги твои великие.

— Какие ж, царевна? Не вижу я их. Народу погублено много, а аванжа нет.

— Какого ж еще аванжа надо? Мир заключен почетный, страх нагнан на врагов, а пленных сколько воротил с неволи!

Князь не отвечал и только горько улыбнулся.

— И все так думают, все восхваляют твое усердие безмерное, — продолжала успокаивать царевна.

— Все? Полно, так ли? Не обманывай понапрасну и себя и меня.

— Все, все, решительно все. Токмо вот у врагов наших общих ропот да козни. Ну да ведь ты знаешь, из злобы на меня.

— А вот, кстати, царевна, скажи мне; как ты с братьями и с мачехой? Я хоть и получал от тебя вести, да все как-то выходило темно.

— Не хотелось мне тебя, Васенька, огорчать только что с приезде твоего нашими делами, да сам заговорил. Старая с сыном живет в Преображенском, женила его на Дуньке Лопухиной — думала остепенить. Да где тут его остепенишь! Слышала я, будто и жену-то бросил совсем. С озорниками живмя живет, пьянствует, беззаконничает, срам на все наше государство.

— А брат Борис ведь при нем? Чего он смотрит?

— Борис твой и сам пьет горькую, да и то сказать, разве тот послушает кого, когда и мать и жену не слушает. Вот всю нынешнюю весну, почитай, на Переяславском в мастеровые записался, с холопьями топором рубил. Царское ли это дело? Какому примеру поучается, какое будет уважение к нему?.

— А из родовитых кто к нему ближе? Чаю, забрали Лопухинские?

— Нет, не слышно. Он больше к подлому народу. Жену-то жаль. Вот Федя... Федор... — поспешила поправиться правительница, невольно смутившись, — рассказывают, будто беременна...

— Какой Федор?

— Леонтьич... Шакловитый, стрелецкий начальник, ближний твой человек, ты мне и привел его.

— Как не знать, самый задушевный благоприятель мой. Не оставлял меня и в Крыму. Спасибо. — В тоне князя просвечивала сквозь обычную мягкость будто горькая ирония, которую не могла не заметить и молодая женщина.

— А как я тебя, Васенька, ждала! Кажется, все глаза проглядела, — начала царевна, круто обрывая прежний разговор. — Подарок тебе приготовила, сейчас принесу.

Софья Алексеевна вышла в спальню и вынесла оттуда сверток, тщательно завернутый в тафту.

Князь развернул сверток: это был его портрет с виршами сочинения самой царевны. Он прочитал:

«Камо бежиши, воине избранный!
Многажды славне, честию венчанный,
Трудов сицевых и воинской брани
Вечно ты славы дотекше, престани.
Не ты, но образ князя преславного
Во всяких странах, зде начертанного.
Отныне будет славою сияти,
Честь Голицынов везде прославляти».

— Спасибо, ненаглядная царевна, за презент. Дорог он моему сердцу, — говорил князь Василий, горячо целуя молодую женщину, — только будь же добра до конца и подари мне свое изображение.

— Да у меня... Вася... У меня... нет, так чтоб схожего...

— Как нет? А мастер Тарасеевич достаточно изобразил твою персону.

— Не понравилось мне, Вася, его изображение, да и мало их было... я, кажется, велела уничтожить...

— Не уничтожили их, царевна, а разослали по иностранным землям, а не токмо у себя дома.

— Если разослали иль раздавали, так без моего ведома, Вася, а для тебя я велю вновь изобразить.

— Не трудись, царевна, зачем? Есть у меня... прислали мне в Крым твое-то изображение, и немало я скорбел там... Скажи мне только по правде: кто изображен на другой стороне твоей персоны...

— Будто не знаешь, Васенька, не узнал эмблемы московской...

— Эмблему-то московскую я знаю, да не признал ее в изображении. Эмблема московская — святой великомученик Георгий, а изображен, кажется, Федор Стратилат.

— Будто забыл, Вася, ведь святой Георгий убил змия, пожиравшего...

— Правда твоя, но Георгий убил его копием, как и обозначается в эмблеме, а в твоём изображении убиение мечом, как приписывается Федору Евхаитскому.

— Не домекнулась я тогда, не обратила внимания. Чудно мне, что и ты так принимаешь...

— Эх, царевна, царевна... знаю я все, все, что здесь без меня творилось... Дурные люди тебя наущают, напрасно ты их приблизила к себе и слушала...

— Князь Василий! Я не ребенок. Знаю я, куда иду, и тех, кто меня окружает. Умею отличить людей мне истинно преданных от фальшивых, — горячо заговорила молодая женщина, но вслед же за тем в голосе ее новая перемена, и опять зазвучала в нем прежняя заискивающая нежность. Она продолжала:

— Что это, Вася, за беседа такая странная, первая после твоего возвращения. Верно, тебе наговорили лихие люди незнай чего... Вот отдохнешь, увидишь сам. Ты всегда был мне единственным другом и будешь им... Раздражен ты, вижу я. Отдохни и приходи ко мне. Мне нужно с тобой о многом...

— Отдохнуть мне нужно, правда твоя, царевна, только поможет ли отдых? Прощай, дорогая моя! Когда и где свидимся — Бог весть... Надоедать тебе не буду... да и не к чему...

И князь как-то странно, с несвойственной торопливостью, поцеловав руку правительнице, вышел.

Тупым взглядом проводила бывшего любимца царевна Софья Алексеевна и долго стояла, точно застывшая. Проснулось ли в ней прежнее чувство или только боль, с какою провожается прощальный привет навсегда отлетевшему прошедшему? Трудно анализировать человеческое сердце, а женское в особенности.

Ожидала она его — вот он воротится... нельзя же так вдруг все порвать, все, что так крепко, так неразрывно связывало их так долго. Но он не воротился, и последний звук его шагов, каких-то неровных, постепенно стихал и наконец совершенно замолк в коридорах.

Почти бессознательно перешла молодая женщина в соседний покой, где ожидал ее сидевший бесцеремонно бывший дьяк Шакловитый.

— Что, милая, видела его? Что он? — забрасывал вопросами дьяк.

— Ничего... — странно протянула она.

— Ну, так я и ожидал... от князя и ожидать нечего... зяблое дерево... — говорил, успокаивая царевну, Федор Леонтьич, — если б и знал он... да куда ему знать...

— Знает он, Федя, все знает, хоть и не сказал он мне этого прямо, да вижу я, чувствую это, Федя... Потеряла я его... Теперь один ты у меня остался из ближних и преданных стоять за меня, — продолжала молодая женщина; порывисто обхватывая руками шею любимца, слезы обильными струями бороздили встревоженное лицо и падали на дорогой парчовый кафтан красивого дьяка.

— Полно, моя милая, ненаглядная, не бойся ты его. Слабый он человек, и не любил он тебя никогда. Обойдемся и без него. Может, и лучше еще... не будет помехой...

Ошеломленным и разбитым вышел князь Василий Васильевич из терема царского и пошел без цели, не понимая, куда и зачем он идет. Странное явление переживал он.

Давно, много лет назад судьба связала его с царевной. Не страстное и неодолимое чувство увлекало его тогда — нет, скорее тщеславие, гордость, самодовольствие обладать сердцем молодой девушки, если и не особенно красивой, то высоко стоящей положением, умом и образованием. Но годы шли, и привязанность князя крепла. Ум царевны сумел закрепить за собой влияние, постепенно и совершенно незаметно для самого князя она делалась для него все более и более необходимее и дороже.

До какой степени укоренилась привязанность в его сердце — в первый раз высказалось князю во время первого Крымского похода, но еще более и еще больше во время второго.

Огорченный неудачным ходом военных операций, общей разладицей, подозрительным отношением союзника-гетмана, он искал отрады в письмах царевны, выдвинутого и облагодетельствованного им Шакловитого и других доброжелателей. И тут у него в первый раз шевельнулось сомнение. Каким резким холодом сказалась фальшь в ласковых

речах царевны! Почему и отчего? Он и сам не понимал. Было ли это от необъяснимого провидения чувства или от темных намеков благоприятелей? Ему так неудержимо захотелось бросить все и скакать туда, к ней... опасность потерять которую обратила, по-видимому, спокойную привязанность в страсть.

Но бросить было нельзя. Не было лица, которому можно было бы сдать такое важное поручение; громадное, неустроенное сбродное войско, при возникших кознях и раздорах начальников, могло погибнуть и возложить на него ответственность за сотни тысяч душ. Предстояло одно средство: кончить войну во что бы то ни стало, хоть и не с выгодой, хоть по крайней мере без большого позора. И вот князь ухватился за первый попавшийся случай и завязал переговоры о мире. Долго, бесконечно долго тянулись эти переговоры, но он упорно держался за них, как будто то был единственный исход. Он понимал, что такая ничем не объяснимая жажда мира могла объясняться оскорбительно для него самого, его трусостью, неспособностью и, наконец, подкупом. Ему все равно, лишь бы скорее.

Наконец мир заключен, и князь поскакал в Москву, а по приезде туда — к царевне.

Расстроенным и потерянным шел князь Василий по улицам московским от Софьи Алексеевны. Ни одной определенной мысли в голове, только чувство боли, будто оборвалось что-то и порвалось такое, от чего и жить казалось лишним, и цели никакой не оставалось.

После долгого физического утомления мысль стала высвобождаться от подавляющего гнета и складываться вопросом о будущем. Казалось бы, ничего особенного не случилось, никакого эффектного обстоятельства, один обыкновенный разговор, а между тем этот ничего не значащий разговор изменил все существо человека, лишил будущности, отнял у жизни всякое значение. Этот разговор ясно показал князю, что он стал лишним для любимой женщины, что другой встал в ее сердце на его месте. И кто же этот другой? Ничтожный, им же выведенный худородный подьячий, без способностей, без образования. Желчь кипела, душила,

останавливала дыхание. Скорее отшатнуться, бросить ту, около которой для него уж нет места, но куда идти?.. К ее врагам?.. Нет, это дорога переметчиков, а не князей Голицыных.

Остается один исход — отрешиться от всякой деятельности...

«Да... но могу ли отрешиться от самого себя? — думалось князю Василию. — И могу ли бросить дело, великое дело, от которого плоды только в будущем, которое только потомки оценят и поймут, сколько я принес жертвы, сколько должен был вынести за них от своих же кровных братьев». И пронеслось в памяти князя еще недавнее, неостывшее дело местничества, сожженное, но в пепле которого еще таились неугасшие искры. Да и одно ли это дело? А где деятели... не Шакловитый ли?^[18]

Чувство собственного сознания и самоуслаждения во все времена было и будет самым быстрым и целительным средством от нравственных ран. От его пробуждения боль стала терять свою остроту, внешние ощущения как будто стали высвобождаться из-под гнета и сказываться физическим страданием, упадком сил и слабостью всех членов. Усталым и разбитым князь воротился домой, молча прошел в свои хитроузорочные покои, которым тогда так дивились даже иностранцы, и заперся в кабинете.

А между тем все-таки главный вопрос остался нерешенным...

Глава VI

Не ошибся расчетом достопочтенный Василий Саввич Нарбеков. Князь Борис Алексеевич Голицын и сама царица Наталья Кирилловна стали деятельно хлопотать за Василия Васильевича. Но царь упорно стоял в своем решении, и только самые усиленные настояния и просьбы могли вынудить у него согласие на раздачу предположенных царевной наград. Когда же Василий Васильевич с товарищами своими по Крымскому походу явились в Преображенское благодарить царя за награды, он решительно отказался принять их.

Такое открытое неудовольствие Петра раздражило правительницу, но не особенно огорчило крымских героев, и по самому Василию Васильевичу оно скользнуло не въедаясь: большой ранок. В душе князь не мог не сознавать вины своей в неудачном походе. С израненным сердцем и самолюбием он, с возвращением в Москву, стал постоянно отклоняться от непосредственного участия в закипевшей борьбе. В современных летописях вовсе не встречается имени Василия Васильевича, разве только как одно сухое упоминание, что в соборнице-де был и Василий Васильевич да записан еще один приказ его (в первых числах августа) дежурному полковнику по стенному караулу Норматскому о том, чтоб ворота в Кремле, Китае и Белгороде запирались в первый час ночи, а отпирались за час до рассвета.

Зато с этого, времени на первый план выступает деятельность Федора Леонтьича, почти единственного бойца правительницы. Но без большого ума, без такта, только с большим запасом дерзости хуторного человека, мог ли он быть ей особенно полезным?

По уму и образованию став во главе поступательного движения к цивилизации, Софья Алексеевна увидела себя совершенно одинокой, без всякой опоры. Почти все боярские роды миловались со стариной, и если не явно, то тайно все держались стороны Петра, первые шаги которого ступали по старинной почве обычая. Новых людей не было, их могло подготовить только время или железная воля богатыря. Поэтому, когда борьба имела вид семейной распри, козней, боярских интриг, царевна находила большую поддержку, но когда выдвинулось государственное дело, тогда она увидела подле себя только одного хуторного. Не могла не видеть царевна своего отчаянного положения, не имевшего никаких шансов на успех, но власть слишком обаятельна, и отказаться не только от полного объема ее, но даже и от части не могут и сильные умы. Овладев властью дорогой ценой, насыщаясь ее упоением в продолжение многих лет, могла ли она уступить без борьбы, и кому же уступить — мальчишке, пьянице, конюху?..

Правительница решилась на борьбу, решилась употребить все какие бы то ни было средства: притом же, если на ее стороне не было аристократических родов, то она могла рассчитывать на преданность всемогущих стрельцов. Начальник их, красавец Федор Леонтьич, делается ее неразлучным спутником, постоянным думцем. С этого времени он уж почти совершенно переселился во дворец: день проводит в Золотой палате, а ночь в Грановитой... Вместе с этим одновременно правительница уж не пропускала случая самой лично говорить со стрельцами, ласкать их, дарить и всеми средствами приманивать на свою сторону.

В день праздника пресвятой Богородицы Одигитрии Смоленской (28 июля) царевна совершала пеший поход ко всенощной в Новодевичий монастырь в сопровождении пятисотенных и пятидесятников всех стрелецких полков. Выйдя из церкви по окончании службы, часу в четвертом ночи, она подозвала к себе стрельцов и стала им высказывать:

— И так беда была, да Бог охранил, а ныне опять беду начинает мачеха Наталья Кирилловна... Скажите: любы ли мы вам? Если любы, вы за нас стойте, а если не любы, так я с братом Иваном покинем государство.

— Воля твоя, государыня, — отвечали стрельцы, — а мы готовы исполнять, что прикажешь.

Царевна, казалось, осталась довольной готовностью стрельцов.

— Так ждите повестки, — заключила она.

Но эта готовность была неискренняя и далеко не единодушная. Так, когда на другой день рьяные сторонники Софьи Алексеевны, Андрей Кондратьев, Ларион Елизаров, Никита Гладкий, Егор Романов, Обросим Петров и урядники объявили по слободам приказ Шакловитого приготовить по 50 и по 100 человек от каждого полка для избиения князя Бориса Голицына, Льва Нарышкина с братьями и других преданных Петру бояр, замысливших будто извести царевну, стрельцы решительно отказались.

— Если в том их есть вина, — говорили они, — то пусть нам объявит думный дьяк о том царский указ, и мы тогда виновного

возьмем, а без указа ничего делать не будем, хоть многожды бей в набат.

Не по плечу оказался Федор Леонтьич покойному Ивану Михайловичу, не мог сравняться простой худородный, возбудивший против себя подчиненных надменностью выскочки, с хитроумным боярином, но если не было ловкого умения того, то зато больше стойкости и упорства.

Не останавливаясь от неудач, приверженцы правительницы, а в особенности один из них — Алексей Стрижов — не уставали зазывать к себе пятисотенных, пятидесятников и других стрельцов, поить их и возбуждать.

— Государыне царевне смерть приходит, — говорил им Алексей Стрижов, — хотят ее убить, а без нее стрельцам житья не будет.

— Что ж делать-то, — был ответ, — надобно просить обоих государей о розыске.

— Зачем просить? — продолжал обыкновенно Стрижов. — Как только объявится — стачка будет. Нам ведь известны злодеи царевны! Пусть только она укажет, а мы их примем.

Такие смутные речи высказывались не тайком где-нибудь, при запертых дверях да с оглядкой, а явно, открыто, при всяком удобном случае. О них говорили в городе, о них говорили встревоженные торговые люди, слобожане, и потому неудивительно, что они наконец достигли и до Преображенского. Страшно напугала предстоявшая смута исстрадавшуюся, болезненную старую царицу-мать и беременную молодую, и удержала она милого для них Петра от отлучек на излюбленное Переяславское озеро. Выжидательное, страдательное положение томило огневую душу Петра.

Не мог выдержать долго он бездействия, и в первых же числах августа сделал распоряжение схватить главного распространителя смутных речей Стрижова и доставить его к нему в Преображенское. Но Шакловитый не позволил взять его, отзываясь неимением приказа от царевны. Такое дерзкое слушание раздражило Петра, и он, не задумываясь, Приказал схватить самого Шакловитого. На этот раз приказание было исполнено. Солдаты из потешных уловчились захватить Федора

Леонтыча в Измайлове и арестовать. Страшная буря поднялась тогда со стороны правительницы. Гонец за гонцом летели в Преображенское с самыми настоятельными требованиями.

Под влиянием слез испуганных матери и жены Петр отменил распоряжение и освободил стрелецкого начальника, но эта решительная мера показала правительнице, как дорого время и как каждый день и каждый час увеличивают силу стороны брата, стороны права и как настоятельно, скорее и решительнее приступить к развязке. А между тем для этого-то момента у нее и не оказывалось способного лица. Василий Васильевич, видимо, отшатнулся. От боли ли обманутой сердечной привязанности, от оскорбленного ли самолюбия, от природной ли осторожности или от сознания неминуемого проигрыша дела царевны, а может быть, и от всех этих условий вместе, но только он почти совершенно перестал принимать участие да и показывался при дворе ненадолго. На Федора Леонтыча тоже плохая надежда, хоть и по другой причине. У этого рвения было много, да толку мало. Из красивой головы бывшего подьячего нельзя было выжать ни одного тонкого соображения, нельзя было выкроить ни одной ловко придуманной интриги. Он не сумел даже приобрести себе влиятельного положения не только между родовитыми людьми, но даже и между своими стрельцами. Оставался Медведев. У этого, конечно, не было недостатка в изворотливости, но он был монах, жил в монастыре и, следовательно, не мог принимать непосредственного участия.

Царевне оставалось действовать самой и одной, и она стала действовать, надеясь только на свои силы.

4 августа ее истопником Евдокимовым приведены были к ней к палатке церкви Ризположения стрельцы Елизарьев, Гладкий и другие двое. Убедительно, с полными слез глазами жаловалась она им словами простыми, но способными действовать на нехитрые умы:

— Житья мне больше нет от Бориса Голицына и Льва Нарышкина: государя Петра, они совсем споили, братом Иваном небрегут, даже и комнату его завалили дровами, а меня прозывают девкою, как будто бы я вовсе не дочь царя Алексея

Михайловича; князю Василью Васильичу грозятся голову срубить, а уж он ли не сделал добра: и польский мир заключил, и доспел выдачи наших православных с Дона. Радела я о царстве, берегла и хранила, что было моей мочи, а они все в разные стороны тащат. Скажите: можно ли на вас надеяться? Годны ли мы вам? Если не годны, то пойдем мы с братом Иваном искать себе где-нибудь кельи...

Разумеется, на такие речи стрельцы отвечали изъявлениями преданности.

Подобные приводы истопником Евдокимовым или истопником Осиповым отдельных небольших партий стрельцов то к церкви Ризположения, то к церкви Воскресения Христова, то в собственные покои царевны в последние дни участились. Все выходили от нее восхищенные, под обаянием ее красноречия, приветливости и доступности. Немало способствовали возбуждению и подарки, рублей по двадцати пяти, которыми оделяла царевна каждого приходившего стрельца.

Правительница располагала достаточным числом преданных, готовых беззаветно выполнять ее волю, но этим все и ограничивалось. Не было руководителя, не было плана с ясно определенным образом действий, со строго обдуманной деталями, с предвидением всех возможных случайностей. Царевна говорила речи, увлекавшие единичных лиц, стрельцы получали подарки, пили, буянили...

Наконец, найдя себя достаточно заручившейся преданностью стрельцов, царевна назначила днем исполнения своей цели 7 августа..

Глава VII

В исходе одиннадцатый час, наступила ночь на 8 августа, но, несмотря на такое позднее время, в Кремле живейшее движение. Из Лыкова и Житнова дворов, что близ Боровицкого моста, доносятся говор, смех и крики. Там гуляют, распивая вино из царских погребов, стрельцы из полков Рязанова, Жукова и Ефимьева. С завистью прислушивается к этому веселому говору

стрелецкий отряд, поставленный у дворцовой лестницы, ожидая и себе такого же угощения.

Невдалеке от этого караульного отряда беседовало трое стрелецких начальников: полковники Петров, Цыклер и подполковник Чермный. Петров и Чермный сидели на скамье у стены близ ворот, Цыклер стоял перед ними, по временам запахиваясь от пробиравшего свежего ночного ветра.

— Что стоишь-то, Иван Данилыч, ноги, чаю, свои — не жалко? Может, придется и долго... — говорил Петров Цыклеру, очищая ему местечко на скамье подле себя.

— Присяду, как устану. Боюсь, как сяду — засну.

— И то правда Да не знаешь ли, Иван Данилыч, — ты ведь любишь все обстоятельно разузнать, — зачем нас сюда привели?

— Говорил мне вестовой Федора Леонтьича, урядник Андрюха Кондратьев, будто царевна желает совершить ночной поход на богомолье в Донской монастырь. Она, вишь, боится без надежной охраны... Намеднись, как ходила в Девичий, у нее на глазах зарезали конюха.

— Так, ради опаски собирают, почитай, из всех полков по сту, да какое по сту, чай, больше... Вон какая громада, — продолжал Петров, указывая на дворы Лыков и Житнов, на отряды у лестницы и у задних дворцовых ворот.

— Полно, брат, не хитри. Ты все знаешь, да не хочешь говорить... Скрытная душа, прямо боярская.

Цыклер съежился. Каким образом товарищи узнали об условии, назначенном им боярину Милославскому при первом стрелецком бунте (о котором боярин, несмотря на свое обещание, после успеха, казалось, совершенно забыл) — неизвестно, но только с тех пор так и осталось, за ним прозвище боярская душа.

— Я такой же боярин, как ты, — сердито огрызнулся Цыклер, — а слышал я, правду сказать, от Евдокимова, будто ноне поутру объявилось на Верху подметное письмо, извещавшее, что в эту ночь потешные нагрянут на дворец убить царя Ивана и нашу царевну... А правда ли, я почем знаю!

Разговор оборвался. Каждому не хотелось высказывать своих тайных предположений и надежд.

В это время какой-то стрелец бежал по направлению от Ивановской колокольни к Спасской башне.

— Э... да это Гладкий Никитка, — заговорил снова Петров. — Эй, Гладкий, поди сюда!

Стрелец подбежал.

— Отдохни маленько... вишь, упарился. Куда бежишь, по какому делу?

Стрелец едва переводил дух.

— Скажи нам, зачем мы здесь? Ты ведь с Федором Леонтьичем чашка и ложка, — продолжал допрашивать Петров.

— Не время отдыхать — работы много. Сейчас все приготовил к набату на Ивановской, а теперь бегу подвязывать к языку на Спасской...

— Разве и вправду ждете потешных?

— Какое «ждете»! Мы сами пойдём туда, конечно, не все: одни пойдут туда, а другие останутся здесь покончить с Нарышкинскими да Лопухинскими, поугагать Иоакиму старого да пошарить по боярским хоромам и по лавкам из Нарышкинских... Да некогда мне. Улажу на Спасской, поеду на Лубянку посмотреть, изготовился ли Стремянной полк. Приказал Федор Леонтьич.

Стрелец убежал.

Все время разговора полковников с Никитой Гладким невдалеке, вслушиваясь в их речи, стоял какой-то стрелец. На него разговаривающие не обращали внимания — всякому ведь хотелось знать, — да если б и заметили его, то, конечно, ни в чем не заподозрили бы. То был пятидесятник, стрелец Дмитрий Мелнов — один из заведомо преданных людей царевны.

После торопливого ухода Гладкого исчез и Мелнов.

Долго сидели полковники, молча обдумывая и соображая про себя полученные вести. Наконец первым заговорил Кузьма Чермный, молчавший до сих пор:

— Не знаю, как вы, товарищи, а я рад. Наконец-то наша царевна решилась покончить... По-моему бы, давно пора

извести весь этот злой корень нарышкинский. Покамест не примем старой медведицы с детенышем, не будет нам покоя.

Товарищи не отвечали, а Кузьма Чермный, поднявшись со скамьи, стал собираться.

— Куда? — спросил его Петров.

— Хочу посмотреть на Житном своих молодцов, как они там веселятся за царским вином, да, кстати, порадую и весточкой; надо их приготовить как следует.

— А ты, Иван Данилыч, как думаешь? — спрашивал Петров Цыклера, провожая глазами уходившего Чермного.

— Не знаю... не знаю... Мое дело исполнять, что прикажут. Только люди ныне не прежние... Вряд ли удастся, а впрочем...

— Эх, Иван Данилыч, виляешь ты, брат, боярская душа.

Между тем подслушавший известие Гладкого, пятидесятник спешил к Стремянному полку на Лубянку.

Федор Леонтьич считал самыми преданными себе людьми своих денщиков Федора Турку, Ивана Троицкого и Михаила Капранова и жестоко ошибался. Характер стрелецкого начальника не мог внушать беспредельной преданности. Близко стоящие к нему люди и выносившие, на себе его надменное, а подчас и жестокое обращение более других не могли любить его. Им припоминался образ бывшего начальника — князя Хованского, — доброго, ласкового, симпатичного им, и от этого сравнения худородный человек казался им еще более неприятным. Жива в памяти у стрельцов его беспощадная суровость при самом вступлении в должность к тем, которые так горячо стояли за дело царевны.

Правда, Федор Леонтьич не жалел царской казны на непрерывные денежные выдачи своим приближенным, но преданность не покупается деньгами. Напротив того, от подкупов отвращается нравственное чутье, заставляет смотреть подозрительно. Может быть, именно вследствие таких-то подкупов у стрельцов и возник вопрос — справедлива ли сторона царевны и не возьмут ли они на свою душу страшного, ничем не смываемого греха, отстраняя права царя Петра? А как только мог возникнуть подобный вопрос, решение его не могло быть сомнительным. По русскому взгляду того времени, женское

государствование казалось странным, неестественным явлением, а насильственное устранение, еще, может быть, и с убийством, *законного царя* — таким грехом, которого не замолишь ни в сей жизни, ни в будущей. И вот в той самой среде, на которую исключительно опиралась царица, явилось движение Тайное, но тем не менее неудержимое в пользу Петра.

В доме пятисотенного Стремянного полка Лариона Елизарьева, самого приближенного и доверенного стрельца Софьи Алексеевны, так часто бывавшего у нее на Верху, всегда сопровождавшего ее в походах, постоянного слушателя ее жалоб на враждебную партию, стали собираться стрельцы, решившиеся тайно поддерживать царя. И то были не одни простые, рядовые стрельцы, но поставленные впереди и уже потому имеющие более или менее нравственное влияние на других: пятидесятники Дмитрий Мелнов, Иван Ульфов, десятники Яков Ладогин, Михаил Феоктистов, Иван Троицкий, Федор Турка и Михаил Капранов.

Заметив лихорадочное волнение в последнее время у своего начальника, учащенное зазывание и спаивание стрельцов и получив наконец приказ о сборе 7 августа в Кремле стрелецких отрядов, новое, тайно протестующее общество решилось и с своей стороны действовать неотложно. Оно-то и послало Дмитрия Мелнова в Кремль для разведки.

Почти заморив коня и сам едва переводя дух от волнения, Мелнов прискакал прямо к избе Елизарьева.

— В Кремле видимо-невидимо собрано народу, — порывисто и задыхаясь рассказывал Мелнов товарищам, — одних посылают в Преображенское, а других оставляют здесь кончать с ближними царскими. Сам я слышал от Гладкого. Он сейчас и сам сюда прибежит.

— Так пора и нам приниматься за дело, — сказал Елизарьев, — пойдете первое в церковь, поклянетесь не выдавать друг друга и отстоять царя.

Отперли ближайшую церковь во имя преподобного отца Феодосия на Лубянке. Приходский священник, приятель

Елизарьева, вынеся святое Евангелие с животворящим крестом, отобрал от них добровольную клятву.

— Ну, теперь с Богом, начнемте. Ты, Мелнов, с Ладогиним, — распорядился Елизарьев, — поезжайте как можно скорее — лошадей не жалеете — в Преображенское и расскажите самому государю обо всем. Пусть соберет своих... а мы останемся здесь и, как начнется свалка, ударим с тыла.

Мелнов и Ладогин ускакали.

Вскоре по отъезде гонцов прибежал на Лубянку и Никита Гладкий отдать последние распоряжения начальника Стремянному полку. К немалому удивлению, вместо сбора всего полка или по крайней мере не менее трех сотен человек, как было указано, он увидел около пятисотенного Елизарьева только незначительную кучку стрельцов.

— Отчего полк не собран? У нас там все готово, а вашего приказа нет! — кричал он. — Скорей скликайте по слободам да слушайте набату. Что вам велят делать, то и делайте.

И он снова убежал в Кремль. Вслед за ним отправился туда и Елизарьев с товарищами, а полк все-таки остался несобранным.

Пробила полночь на башенных часах Кремля, Одолевает сон здорового человека. Напрасно силится он бороться с дремотой, с усилием таращит глаза, пытается завести голосом знакомую песню, — напрасно: отяжелевшие веки опускаются, голос обрывается, в голове становится смутно и туманно. Расставленные у стенных застав и у царских теремов караульные сладко дремлют, опершись на воткнутые бердыши. По временам даже и храп проносится в свежем, чутком ночном воздухе. Тише становится нестройный говор на дворах Лыковом и Житном.

На Верху не спят. С последним звуком полночного боя часов там особенное движение. Забегали огоньки по всем покоям, и на освещенном фоне окон то и дело мелькают тени. Быстро сбежали дежурные стряпчие с дворцовой лестницы, разбудили ближайших часовых и побежали на Лыков и Житный.

— Изготавливайтесь в поход, — говорили они дремавшим стрельцам.

— Да куда? — сонно спрашивают те, отряхавшись и протирая кулаками отяжелевшие веки.

— За царевной. Она сама изволит идти, а куда пойдет, сами увидите.

Ждать оставалось недолго. Не успели стрельцы выстроиться как следует в ряды, как сама царевна сошла с Верху на площадь в сопровождении верного своего Федора Леонтьича и окольного Нарбекова. Лицо царевны спокойно, только обычные складки глубже засели на лбу, нервы натянуты, белилы и румяны скрывают бледность, а опущенные веки — тревожное выражение. Мерной и плавной, обычной своей грузной походкой с перевальцем, сошла она на площадь и своим обычным же ровным голосом распорядилась.

— Прикажи, Федор Леонтьич, стрельцам следовать за нами к Казанскому.

Приказание передано. «К Казанскому, к Казанскому...», — повторялось с недоумением на разные тоны в рядах. «Царевна хочет молиться, так это делалось ею и прежде обычно, но зачем нас-то всех подымать? Царевна, бывало, ходила прежде и в долгий путь под охраной только нескольких стрельцов, а теперь и весь путь-то рукой подать», — спрашивали некоторые недогадливые стрельцы.

— А нам, Федор Леонтьич, прикажешь следовать за тобой? — спрашивали Шакловитого его денщики Турка, Троицкий и Капранов.

— Вам-то? Да... я и забыл. Вы поезжайте скорей к Преображенскому, остановитесь там, в тайности в скрытых местах и высматривайте, где стоят часовые... где скрытее подходы... где царь... не уехал ли он куда... А когда мы туда подойдем, так укажите дорогу.

Денщики уехали, а оставшиеся двинулись в поход.

Подле царевны шел Федор Леонтьич, а позади — окольный Нарбеков.

— Распорядился ли ты, Федор Леонтьич, как следует? В Преображенском потешные. Чаю, и караулы держут... готовы ли стрельцы в случае чего...

— Готовы, государыня, я ручаюсь за них. Лишь бы только нам захватить врасплох, — успокаивал худародный, но в голосе его не звучало той твердой уверенности полководца, обдумавшего во всех подробностях план, которая так ободряет подчиненных.

«В нашем деле нужна великая опытность, а несведущ ты, мой милый Федя, в ратном искусстве, — думала про себя царевна, — ну, а если не удастся... сделает какую поруху...»

— Федя, а знаешь ты, где стоит снаряд у конюхов? Может, дойдет и до огненного боя... — проговорила царевна уже громко.

— Сейчас послал, царевна, денщиков моих, Федьку с Ивашкой, разузнать, все осмотреть.

— Сейчас только, Федя? Да чего ж они увидят ночью-то?

— Не успел... делов было много — в каждую малость входить.

«И это он называет малостью... все, все от этого зависит... эх, Федя... Федя...», — думала про себя царевна.

— А знаешь что, Федя, — начала она громко, но не договорив начатой речи, только спросила. — Отчего князя Василья нет?

— Не знаю... слышал ведь он о походе, а не прибыл... мне ему не кланяться...

— А разве тебе зазорно? — и мысленно прибавила царевна худародному: «Поклониться князю Василью?»

— Ничего, что зазорно, да толку в том не вижу, — оборвал уже с видимой досадой Шакловитый.

— Видишь что... Федя, — начала снова царевна почти заискивающим голосом, после непродолжительного молчания, — женщина я и боюсь всего... Василий Васильич приобьик к ратному делу, знает приемы и подходы... нам он человек нужный..

— Хорошо, царевна, будь по-твоему. Пошлю за ним, — Эй, Оброська Петров! Поезжай сейчас к князю Василью Васильичу и передай ему, что, мол, царевна идет к Казанской и зовет его сейчас к себе, — приказал Федор Леонтьич одному из

проводивших, — да смотри торопись, — кричал он вслед убежавшему стрелцу.

Остальную дорогу шли молча. Переход до Казанского собора не длинен. Скоро подошли к церкви, вызвали священника и вошли в храм — царевна, Шакловитый и окольный Нарбеков. Затешили свечи в одном из приделов, в котором царевна приказала отслужить напутственный молебен.

Прибыл и гонец, но только ни с чем.

— До князя меня не допустили, — докладывал он, — нездоров, дескать, и докладывать к нему вовсе не ходили. Не приказывал.

Софья Алексеевна, видимо, встревожилась.

— Федя, верно, стрелец не сумел передать. Побывай ты сам у князя... попроси ты сам... сделай это для меня...

Федор Леонтыч молча вышел из церкви.

Тускло горят тонкие восковые свечи, освещая только темные лики местных икон, отбрасывая под своды светлые полосы и сгущая за ними еще более ночную темь. Торжественно и тихо. Странно отдаются под сводами почти вполголоса произносимые молитвы священником. Тепло, с обильными потоками слез молилась царевна, испрашивая на свое дело покровительство и помощь Заступницы Богоматери как на дело святое и правое.

— Не для себя подъяла я труд, — беззвучно складывались слова молитвы, — а для пользы и счастья миллионов народа. Только я могу сделать народ счастливым, просветить его, дать ему мир, спокойствие и безопасность. Много я сделала, много я сделаю, в чем беру в свидетели Бога, и не пожалею я ни здоровья, ни жизни своей. Могу ли я покинуть царство на руки пьяниц и развратников? Что сделается с ним? Конечная гибель и разоренье. Не должна ли я пожертвовать двумя-тремя жизнями для спасения всех?

Царевна была убеждена в необходимости себя для государства. Как бы ни была странна и дика иная мысль, но когда мы стараемся убедить себя в ее верности, когда смотрим на нее с одной точки зрения, непрерывно освещаем желаемым нам колоритом, эта мысль становится для нас непреложной

истиной. Да и можно ли было назвать странной и дикой мысль царевны? Не была ли действительно она права при том состоянии государства? В царском семействе не была ли Софья Алексеевна одна, способная править в смутное время неурядиц? Около нарышкинского двора собралась старая партия бояр Лопухиных, Апраксиных, Шереметевых и других, грудью стоявших за старые порядки, открещивающихся от всякой новизны, как от наваждения антихриста. Правда, молодой царь Петр проявлял энергическую, живую и боевую силу, но неизвестно, куда еще будет направлена та сила, а в настоящее время она расходовалась только, по словам приближенных к правительнице лиц, на пьянство и дебоши.

Торопливые шаги послышались на паперти, и вслед за тем порывисто скрипнула дверь в самой церкви. Чьи это шаги?.. Да... точно... шаги одного... Забыта молитва, и с томительным напряжением, оборотившись ко входу, царевна старалась признать входившего. Скоро из мрака вырисовалась стройная фигура Шакловитого.

— Что? — только и смогла сказать царевна. Сердце ее колотилось до физической боли, дыхание спиралось.

— Не будет. Передавал твое приказание, государыня, говорил и от себя. Все одно: обходились, говорит, без меня, обойдитесь и теперь. Стал ненужным человеком, так нечего и ввязываться.

— Так как же, Федя?

— Ничего, обойдемся и без него.

— Нет, Федя, не обойдемся. Он бывалый, умеет все воинские хитрости. Помнишь, кто меня выручил после раскольнических смут? Он всем делом заправлял во всех походах к Сторожаем и к Троице. Без него не обойдемся... Наудачу ходить нельзя. Если не успех — что тогда? Твоя голова да и моя не удержатся... Лучше отложить до другого времени, а между тем склонить его на свою сторону.

— Как изволишь, царевна, воля, конечно, твоя, а по-моему, прямо бы идти к Преображенскому.

— Ах, Федя, ведь ты и в стрельцах-то не уверен.

— Да в чем же уверяться-то? Приказал идти, они пойдут.

Царевна горько улыбнулась.

— Нет, лучше отложу на день иль два, а завтра поговорю сама, с князем.

Подумала царевна, как будто на минуту ушла в себя в нерешимости, пристально взглянула на Федора Леонтьича и с нервным движением пошла к выходу.

Выйдя на площадку, она велела подозвать к себе стоявших на площади стрельцов.

Утренний свет начинал пробиваться, выделяя из темного фона вершины колоколен и башен, едва заметно редела темь, и внизу можно было распознать очертания ближайших предметов. Во дворце зазвучал колокол к заутрене.

— Спасибо за службу, мои верные стрельцы, — обратилась она к надвинувшемуся отряду, — если б я не опаслась, всех бы нас извели нонешнею ночью потешные конюхи. Идите по слободам, да будьте готовы, когда вас повещу... А ты, Василий Саввич, — обратилась она к окольному Нарбекову, стоявшему в отдалении и все время молчавшему, — поди к моему истопнику Евдокимову, возьми от него припасенные три мешка и раздай каждому стрельцу по рублю.

Беспорядочной толпой бросились вслед за Нарбековым стрельцы, а Софья Алексеевна, в сопровождении Шакловитого, тихо направилась к Верху.

«Василий любит меня и ревнует к Феде, — думала она, — а если любит, так сделает по-моему. Не удалось сегодня, удастся завтра». И успокоенная, она стала всходить по дворцовой лестнице.

— Ваша милость! Ваша милость! Федор Леонтьич! — кричал снизу, с площади, торопливый голос стрельца. Федор Леонтьич, оставив на Верху царевну, поспешил сойти с крыльца.

— А... Федька, ты из Преображенского? Что там?

— В Преображенском великая суматоха... царя Петра согнали оттуда.... ускакал...

— Куда?

— Не ведаю. Видел сам, а спросить было не можно. Ускакал один, а за ним уехали мать и супружница.

— Давно уехали?

— Да часа четыре будет. Я нарочно помедлил в овражке — хотелось узнать, что дальше будет, и доложить твоей милости.

— А отчего в Преображенском идет смута?

— Не ведаю. Только гонцы так и шныряют из дворца к Преображенскому и Семеновскому. То ли собираются куда...

— Вольно ж, сбесясь, бегать, — заметил, подумав, Федор Леонтыч и отправился доложить вести царевне.

Но царевна, приняла эти вести иначе. При первых же словах лицо ее побледнело и задрожали ноги.

— Нам изменили... изменили... все пропало... все... — шептали побледневшие губы.

Глава VIII

Не жалея лошадей и рискуя сломать себе голову, скакали в темную ночь к Преображенскому Мелнов и Ладогин. Чрез какие-нибудь полчаса они были уже у загородного потешного дворца, но тут-то именно и возникли главные затруднения. Темно кругом дворца, все спало глубоким, непробудным сном, а между тем время дорого, каждая потерянная минута могла стоить жизни.

Сойдя с лошадей и ощупью отыскав ворота, Мелнов и Ладогин что было силы забарабанили в запертую калитку. Громко раздался в ночной тишине нетерпеливый стук и при первых ударах разбудил всех дворовых собак. Поднялся оглушительный лай всевозможных голосов, разбудивший наконец и воротного сторожа. Послышался скрип двери, тихие шаги босых ног и, наконец, человеческий голос, унимавший собак, бегавших около ворот.

— Чего стучите? Кого надоть?

— Отвори калитку да веди нас скорей к царю!

— Прятки больно! Царь почивает, будить не указано для всякого. Да цыц... вы, проклятые псы. — унимал голос собак.

— У нас дело есть... смертное дело... отвори скорей, — умоляли стучавшие.

— Да кто вы? Откуда?

— Стрельцы... из Москвы.

— Стрельцы?! Ну так для вас и подавно не отопру. Мало вас здесь шатается озорников. Почитай, дня не пройдет без озорства. Кто поджигает-то? Чай, не вы!

— Да отвори, Христа ради. Мы к царю с словом и делом. Спасти его.

— Знамо, теперь так говорите, а только отопри — беда.

— Не отопрешь — будешь в ответе в великой беде.

— Царя поднимать для вас не буду, а разве что Бориса Алексеича...

— Ну хоть Бориса Алексеича. Только скорей, ради Бога.

— Да сколько вас?

— Двое.

— Двое. А может, вас тут видимо-невидимо.

— Отопрешь — так узнаешь. Скорей! Скорей! — торопили голоса.

— Знамо, узнаю, да поздно будет узнавать-то. А как вас прозывать?

— Про то сами скажем царю аль Борису Алексеичу. Отопри ж, а не то мы станем в окна царские стучать.

— Ладно, сейчас. — И старик пошел к дворцовым покоем, но предварительно завернул в свою каморку.

— Встань-ка, Парфенка, да беги тишком задами на улицу, посмотри, сколько там человек у ворот, говорят, они двое, а может, и больше. Да беги зорко: не спрятаны ли где поблизости. Вестимо, что за люди стрельцы.

Парфенка — мальчишка лет двенадцати, довольный поручением, мигом набросил кафтанишко и пустился по задворкам, а сторож пошел будить ближнего человека, князя Бориса Алексеевича.

Не скоро добудились князя Бориса, заснувшего крепким сном после вечернего кутежа, но когда он узнал, в чем дело, вечерний туман мигом рассеялся и беззаботный кутила негаданно, может быть и для самого себя, вдруг сделался предусмотрительным вожаком.

Распросив толково в немногих словах Мелнова и Ладогина о сборище в Кремле, о приготовлениях Шакловитого к ночному походу в Преображенское, Борис Алексеевич быстро сообразил

и наметил весь будущий план действий. Живо он еще помнил положение дел 1682 года, подобное настоящему, когда они бегали из Воздвиженского к Троице, когда они так ловко избежали опасности благодаря распорядительности Василия Васильевича. Точно так же и теперь другого выхода не было, но только новые осложнения придавали еще более остроты, еще более не позволяли терять напрасно время.

Отпустив Мелнова и Ладогина с секретным наказом своим людям не упускать их из виду, Борис Алексеевич поспешил к царским покоям. По пути бесцеремонно толкнув спавшую постельницу старой царицы и приказав ей собираться в дорогу как можно скорее, он вошел в опочивальню молодых царя и царицы. При свете передыконной лампадки в переднем углу Борис Алексеевич прямо подошел к двухспальной постели, на которой, откинувши богатырскую руку, с разнообразным всхрапыванием, утомившись неустанной физической работой, спокойно спал молодой Петр подле хорошенькой царицы Евдокии.

— Спасайся, государь, стрельцы идут в Преображенское, — сказал кравчий, дотрагиваясь до свесившейся руки Петра.

С диким, блуждающим взглядом мгновенно вскочил государь. Как в высшей степени нервная натура, он при самом глубоком сне сохранял удивительную чуткость; разбудить его достаточно было не только одного прикосновения, но даже не очень значительного шума подле него. Страшное впечатление произвело известие князя Бориса. С быстротой электрической искры пробежало оно по всему его организму и передернуло. Бессвязно в голове замелькали представления: стрельцы здесь... кровь... кровь... резня... всех, и под страшным давлением этих неопределенных представлений он рванулся к двери и выбежал. С изумительной быстротой пронеслась его колоссальная фигура в одной ночной рубашке по всем покоям, слетела с лестницы на двор и скрылась в ближайшей роще. Оставив молоденькую царицу протирать сонные глазки, а захватив только лежавшее подле кровати платье Петра, Борис Алексеевич вслед за Петром бросился догонять его, кубарем скатился с лестницы и, успев только крикнуть стоявшему на

дворе оторопелому конюху вывести самую лучшую лошадь, сам точно так же скрылся в той же роще.

— Пресвятая мати Богородица! Царь-то с ума рехнулся, — бормотал про себя конюх, выводя из конюшни самую добрую лошадь и ведя ее к роще. — Вот оказия-то!

На знакомый оклик князя Бориса в роще Петр откликнулся и подбежал к нему. Ночной свежий воздух обвеял голову, и процесс мышления стал принимать форму. Князь одел его и рассказал все, что сам узнал от Мелнова и Ладогина.

— Что делать? — спросил Петр, сдерживая пронизывавшую его дрожь от расхолодившихся нервов и ночного воздуха.

— Опасности еще нет, государь, но нельзя терять время. Здесь против силы удержаться нельзя. Садись на лошадь и поезжай к Троице, а я сейчас же за тобой привезу мать и жену и прикажу всем потешным ехать туда ж. В Троице за стенами мы безопасны... а там, что Бог даст... подумаем. Поезжай осторожно. Дорогу хоть и знаешь, да ведь темно, можешь сбиться или спастись с лошади. Смотри лошадь не горячи, — продолжал князь, успокаивая Петра и снабжая его наставлениями, — конь добрый. При понуканье в такую темь пуще утомишь, а дорога дальняя. Ну, прощай. Господь да благословит тебя, — заключил он, перекрестив Петра и на прощание поцеловав его в лоб. — Жди нас в Троице.

Лошадь действительно оказалась доброю. Она, по видимому, поняла наставления князя Бориса и понесла седока почти без участия его по дороге к Троице, то рысью, то вскачь, то, в трудных местах, и шагом, искусно выбирая более удобную дорогу. Минуты шли за минутами, часы за часами. Едва заметная полоска на востоке становилась все явственнее, все ширилась и наконец обняла чуть ли не весь небесный свод. Вот и сноп световых лучей — полился оттуда и озарил всю окрестность блеском и жизнью. Закопошились люди в сельских полях созревших хлебов и, сбрасывая ночную дрему, принимались с серпом за тяжелую страдную работу. И не одна жница выронила из рук срезанный сноп, следя с удивлением за стройным всадником — юношей без шапки, утерянной, видно, где-нибудь на дороге, с развевающимися по ветру черными

кудрями, с неопределенным и жадно устремленным взглядом вперед.

Наконец после пятичасового пути на горизонте отчетливо вырезались белые стены и башни Троицкого монастыря. Еще одно последнее усилие, и Петр у монастырских ворот. Да и пора было: и всадник едва держался, и конь выбивался из последних сил, беспрестанно спотыкался и припадал.

Утренняя служба кончилась; монахи и послушники выходили из храма, когда Петр въезжал на монастырский двор, проехав, таким образом, верхом в ночное время, в продолжение пяти часов, около шестидесяти верст. Не скоро признали монахи в этом истомленном, бледном и нервно-искаженном лице бойкого молодого государя. С изумлением и каким-то испугом обступили монахи Петра, взяли под уздцы его измученную лошадь и подвели ее к крыльцу кельи настоятеля отца Викентия, которого предупредить бросились несколько послушников. Петр как будто не узнавал никого, позволил снять себя с лошади и на руках отнести в келью настоятеля.

Отец Викентий, только что было расположившийся отдохнуть после утрени и с благодушием выпить чайку, перетревожился, затормошился и встретил Петра уже только на пороге своей кельи. Но еще более спутался почтенный отец, когда услышал от Петра дико вылетающие с глухим стоном слова:

— Спаси меня, отец... меня хотят убить... за мной гонятся...

— Успокойся, государь, здесь у меня в обители ты в безопасности, — успокаивал отец Викентий, распорядясь между тем отсылкой лишних любопытных, кого с приказанием запереть монастырские ворота и все выходы, кого по разным домашним надобностям. И только с немногими оставшимися, на скромность которых мог положиться, отец Викентий стал хлопотать около Петра, раздел его, уложил в постель и предложил испить освежающего чайку.

Перемена положения, быстрый переход от езды к постели произвели реакцию в организме. Нервное напряжение разразилось страшной истерикой. Петр зарыдал сильно, неудержимо, как умеют рыдать в наше время женщины.

Прерывающимся от спазматических рыданий голосом он рассказал отцу Викентию то немногое, что мог знать и что успел передать ему при прощании князь Борис.

С окончанием истерического припадка государь почувствовал облегчение и скоро заснул глубоким сном. Отец Викентий, осторожно прибравшись, вышел из комнаты, оставив в соседнем покое на всякий случай надежного старца, и пошел кругом своих владений лично наобшари за исполнением своих распоряжений: заперты ли ворота, имеется ли при них стража и замкнуты ли другие боковые входы. Озабоченный вид настоятеля отразился на всем монастырском строе — все засуетилось, о чем-то захопотало, но все делалось шепотом, таинственно, с многознаменательным кивком на келью отца Викентия.

Не успел отец Викентий обойти всех своих владений, как прибежал к нему монастырский привратник с известием, что на дороге из Москвы показалось несколько колымаг.

— А воинства, отец Варсонофий, не приметил при оных колымагах? — спросил настоятель.

— Скачут только несколько вершников около колымаг, святой отче, а больше никого из сторожевой башни не видно во всю дорогу.

«Должно быть, царицы», — подумал настоятель и приказал вслух:

— Ты, отец Варсонофий, прежде чем отпирать ворота, оклики, и если приезжие будут царица Наталья Кирилловна и царица Евдокия, то неупустительно дай мне знать да скажи, чтоб изготовлены были царские покои.

Отец Варсонофий побежал исполнять, а отец Викентий тихо побрел к своему жилью, раздумывая и передумывая разного рода комбинации.

«Вот притча-то, — думал он, — значит, у государя с царевной спор: либо он, либо она, а обоим вместе не быть. Как же нам тут быть? Царевна — жена преизрядная, преисполненная книжной премудрости и милостливая тож. От нее монастырю тепло, а каков-то еще будет Петр — не знаем. Знаем только, что любит выпить да к заморским порядкам и

проходимцам забулдыгам привязчив. Да... нельзя ж и его отстранять, ведь царь законный, венчаный... Как тут решить?»

Да решать отцу Викентию и не пришлось. Через несколько минут въехали на двор колымаги, из них вышли царицы Наталья Кирилловна с дочерью, молодая Евдокия и князь Борис Алексеевич. Царицы, успокоившись от отца Викентия насчет Петра, отправились в царские терема в сопровождении настоятеля, а князь Борис тотчас же распорядился двум вершникам сменить лошадей и направиться по Московской дороге для разведки и извещения в случае появления преданных царевне стрельцов, а остальным вершникам стать у ворот на страже. Таким образом, власть над монастырем фактически перешла от отца Викентия к князю Голицыну, вступившему в ту же роль, какую исполнял брат его, Василий Васильевич, семь лет тому назад.

Томительно провело царское семейство первые часы своего пребывания в Троице, все ожидая погони, все вздрагивая и замирая при каждом внешнем звуке, но вместо погони вскоре прибыл отряд налетов под предводительством преданного нарышкинской стороне пятисотенного Бурмистрова, затем преображенцы, семеновцы, Сухаревский стрелецкий полк, а за ними перед вечером стали наезжать ближние Наталье Кирилловне бояре и придворные. А наконец, после них уже, перед сумерками, прибыл капрал потешных Лука Хабаров, пробравшийся проселочными дорогами из Преображенского с пушками, мортирами и боевыми снарядами^[19].

И вот с Петром совершился переворот, как со сказочным принцем. Уснул он бедным беглецом, проснулся сильным монархом полночного царства, в среде придворных, под охраной воинской.

Весело проснулся молодой царь, освеженный целительным сном, и радостно поздравил его князь Борис Алексеевич. Правда, опасность еще не миновала: в Москве господствовала царевна, управлявшая значительно превышавшим численностью отрядом стрельцов и солдатских полков, но тем не менее, хотя не с многочисленным, но с твердым и хорошо обученным войском, и притом же в стенах, способных

выдержать даже продолжительную осаду, Петр мог смело и решительно выставить свое право, признаваемое всем земством Московского государства.

Решение не могло быть сомнительно, и вопрос сводился лишь к тому, каким путем подойти к этому решению, какими воспользоваться средствами. И в этом отношении во всем блеске выказались находчивость и талантливость пестуна и кравчего Петра. Искусно и ловко расспросив во всей подробности явившихся в Лавру стрельцов Лариона Елизарьева, сотенного Михаила Феоктистова, пятидесятника Ульфо́ва, десятников Турка, Капранова и Троицкого и наконец полковника Цыклера обо всех приготовлениях и намерениях Софьи и о состоянии умов стрельцов, он верно оценил положение дел и повел переговоры в сознании своей силы — твердо, но без задора.

Глава IX

«Государь со всей семьей и потешными убежал ночью из Преображенского, но куда? зачем? от кого? от стрельцов? его хотели убить?» — задавали друг другу вопросы шепотом и с оглядкой москвичи утром 8 августа. «Видно, новая смута! Чем это все кончится?» — спрашивал каждый и невольно осуждал правительницу. А что в это время передумала и перечувствовала сама правительница?

Известие денщиков Шакловитого об отъезде Петра поразило ее. Она мгновенно поняла, что этот отъезд ставит вопрос о власти в открытую и исключается возможность всяких случайностей... а в открытой борьбе сторона женщины почти всегда оказывается слабой.

Утомленная бессонной ночью, правительница думала, воротившись из Казанского похода, освежить свои силы сном, но возбужденные нервы не давали отдыха: с усилием закрытые глаза открывались, руки металась беспокойно, в голове толпились и скрещивались тысячи представлений, бессвязных, смутных, противоречивых. Кровь била в виски, широкой волной заливала сердце и ярко окрашивала лоб, глаза, щеки и шею.

Порывисто сбросилась она с постели и быстро заходила по комнате.

— Мавра! — крикнула она постельницу, заменившую Радимицу Федору Семеновцу, уж давно вышедшую замуж за кормового иноземца Озерова и недавно уехавшую с мужем в новопожалованные поместья. — Мавра! Позови ко мне денщика Турку!

Явился Турка. Царевна приказала ему снова рассказать все подробно о выезде брата, но узнать положительно и отчетливо и теперь все-таки не могла. Несвязно и глухо тот передал только свои наблюдения с ночного поста: как вдруг ни с того ни с сего зажглись огни в Преображенском дворце, как закопошились там люди, забегали к потешным, как запрягали лошадей, укладывались и выезжали.

— А куда выехали, — заключил немногосложный рассказ Турка — не у кого было допытываться, торопились сюда с вестями, да лошадь сшибла в дороге... запоздали.

— Вас на посту был не один человек, один мог оставаться и следить, куда едут, а другой ехать сюда.

— Не домекнулись, царевна, в разных местах были, не сговорились.

— А в котором часу уехали?

— Часов-то мы не знаем, царевна. Дрем — по солнышку, а ночью, особливо в дороге, кто разберет. Скоро рассветать стало.

— Ступай и сейчас разузнай, куда уехали из Преображенского.

— Предатели... — бросила вслед уходившему царевна. — Я ли не ласкала их, не награждала, не одаряла, а чем платят они мне? Изменой... предательством... И на таких-то людей рассчитывал Федор... вздумал царствовать... прямой худородный... — невольно с горькой иронией и презрительно вырвалось у царевны.

Будто в ответ на зов в дверях показалась красивая фигура Федора Леонтьича.

— Ступай, Федор, если нужно будет, позову тебя, — досадливо проговорила она, нетерпеливо махнув рукой. Федор Леонтьич исчез.

Молодая женщина переживала переворот. Вся занятая, всей своей плотью и кровью, важностью совершающихся событий, она круто высвободилась из-под обаяния чувственности, и как мелок, как ничтожен показался ей тогда вчерашний любимец, ничего не давший ей, кроме страстных ласк.

— Мавра! Позови ко мне, как только явится, Турку.

— Воротился он, государыня, и ждет твоего приказа...

— Узнал? — спросила она, оборачиваясь к входившему стрельцу.

— Узнал, государыня. Царь Петр Алексеевич уехал из Преображенского верхом в полночь к Троице, вслед за ним отправились туда обе царицы и князь Борис Алексеевич с потешными и налетами, а на рассвете выехал туда ж и весь боевой снаряд.

— Как? И огненный бой перевезли?

— Перевезли...

— И я об этом узнаю только теперь, когда нет возможности... нет средств. Ступай вон! — крикнула она стрельцу.

«К Троице... конечно, туда... сама же показала дорогу... сама научила... Семь лет князь Василий...»

— Мавра! — позвала она снова постельницу. — Пошли за Василием Васильевичем.

И теперь в новую критическую пору своей жизни молодая женщина снова обратилась к забытому старому другу, к тому, кто первый научил ее правилам политической мудрости. С нетерпением она ждала его.

В дверях появился князь Василий. С лихорадочным волнением бросилась к нему навстречу молодая женщина и — остановилась.

— Князь Василий, — прошептала она, — я ждала...

— Поздно, государыня, — отвечал он тихим, но не прежним ровным, а надорванным голосом.

Глаза их встретились, и многое прочитали они друг у друга, многое, что не высказывается словами. Страшно изменился князь Василий с возвращения из Крымского похода, стал почти

неузнаваем. Загорелый, но все еще мягкий и приятный цвет лица принял желчно-буроватую черствую тень, черты сделались резкими, нос заострился и выдался, глубокие складки избороздили лоб и очертили рот, сжатый в холодную усмешку, а из полуопущенных век вырывались не прежние бархатные ласкающие лучи, а какой-то пристальный, тревожный и всеподозревающий взгляд. Этот-то стальной взгляд и остудил порыв молодой женщины, бросившейся было к нему, правда, под влиянием чувства самосохранения, но не прежнего сердечного увлечения, которого не было да и не могло быть. Человек не отрыгает, не пережевывает дважды одного и того же чувства.

— Я позвала тебя, князь, для совета... и как ми... постоянного, верного слугу... — начала снова Софья Алексеевна, овладев собой.

— Государыня, Голицыны всегда были верными слугами... никогда не изменяли.

— Ты знаешь, — продолжала царевна, как будто не замечая едкого упрека, — все, что случилось... из Преображенского бежали в эту ночь... Что теперь делать? Да садись сюда, князь, к столу... подумаем, как бывало прежде...

И опять они сидели так же близко, как в былое время. Та же женщина с таким же доверием обращалась к нему, и недавнее тяжело пережитое стало уходить из памяти князя. Теплое, ласкающее что-то облило его, и в голосе его ответа зазвучала прежняя сердечная мягкость.

— Ты напомнила, царевна, о прежнем, и я начну говорить с прежнего, говорить правду, какую ты давно не слыхала, да может, и не услышишь больше никогда. Только о себе ничего не скажу...

После покойного братца твоего, Федора Алексеевича, ты помнишь, какое осталось во всем нестроение, а из всего царского семейства, кроме тебя, никого не было, кто бы мог управлять всем царством. Ты по разуму своему и по образованию могла заправлять всеми делами, и ты стала царствовать — каким путем, мне до этого дела нет — лишь бы царство не теряло да народу легче стало. Многие ты сделала,

но еще больше не могла успеть — подготовки не было прочной, надо было начинать. Но твое царствование было временное, царица, только до возраста царя. Так все думали, так думала и ты сама. Во время отлучек моих в Крым ты изменилась... Тебе стали нашептывать преступные мысли. Люди недостойные из желания угодить, а может, и из своей корысти потворствовали твоей слабости, но, поверь, царица, людей этих немного, и они только зачернят тебя в рознь с братом, в такую рознь, что нет вам общей дороги... А так как ты не в силах брату переступить дорогу, то лучше, по моему мнению, царица, тебе самой отказаться... Поезжай куда-нибудь, хоть в Польшу, например, я за тобой поеду... и можешь ты быть там спокойной и счастливой...

Софья Алексеевна задумалась, но не надолго... Она слишком втянулась в самовластную сферу, в ту сферу, откуда почти нет добровольного выхода.

— Бежать! От кого? От пьяного конюха? От женщины, мучившей меня с детства? И ты советуешь мне... оставить царство и мой народ, для которого я столь сделала и... сделаю, на руки всякому сброду... никогда. Лучше борьба на жизнь и на смерть...

— Поверь, государыня, и борьбы не будет, — продолжал князь упавшим голосом. — У тебя нет силы. Тебя принудят сделать то, что теперь ты бы сделала добровольно и в чем были бы тебе благодарны.

— Ошибаешься, князь, я не одинока, и принудить меня нелегко... Ну, а другого средства, по-твоему, вовсе нет?

— Есть... Только это все одно что броситься в пропасть... Если веришь в свою силу, то собери рать и поди открыто на осаду к Троице. Только в этом я тебе не слуга, да и мало их будет, кроме пьяных... И их, и себя погубишь...

— Лучше гибнуть, чем бежать... а может, еще и уладится... подумаю... Если бы у меня были только твердые руки, на которые могла бы положиться... а то одна... и всегда буду одна... Неужели ты, князь, думаешь, что, отстраняясь от меня, ты спасешься, что тебя пощадят?

— Не знаю, что со мной будет, государыня, да для меня теперь все равно...

Разговор оборвался.

— Прощай, Василий, увидимся ли мы? Спасибо за прежнее... — и Софья протянула ему руку.

Горячо поцеловал протянутую руку Василий Васильевич. Сердце говорило ему, что это было последнее целование.

Сколько ни думала правительница, но ни к какому выводу не пришла. На другой день утром (9 августа) прискакал гонец из-под Троицы от царя Петра, и, как есть, запыленный с дороги, приведен был прямо в покои правительницы.

— Здоров ли брат мой? — спросила царевна с тем самообладанием, с тем видом наружного спокойствия, которые она так умела брать на себя при приемах в минуты самого тревожного волнения.

— Царь и государь-батюшка Петр Алексеевич Божиею милостью жив и здоров и приказывал мне, рабу своему, спросить у братца своего, царя и государя Ивана Алексеевича, и у тебя, государыня: для какой надобности собрано было такое множество ратных людей в Кремле в ночи третьего дня? — говорил гонец, отвечивая обычный земной поклон.

— В разъездах своих да превеликих трудах и заботах царь, видно, забыл, что я, по обычаю, ночью хаживаю помолиться святым угодникам. Днем бывает недосужно. Так вот и третьего дня я собиралась на богомолье в Донской монастырь, а ратные люди снарядились сопровождать меня ради опаски. Недавно и так при моих глазах человека зарезали на Девичьем. Людей было снаряжено не много... верно, братцу вести перенеслись неверные. От кого такие вести?

— Не ведаю, государыня, и твой наказ передам в точности. Теперь увидеть бы мне позволь государя Ивана Алексеевича.

— Увидеть нельзя, — отвечала царевна, — голова у него болит — допускать к себе никого не велел.

— А отчего братец с такой великой поспешностью вдруг собрался к Троице? — продолжала царевна после небольшого молчания. — Его внезапный отъезд привел ;в смущение все государство и Москву...

— Не ведаю, государыня, ничего не ведаю. Государь ничего наказывать не изволил.

Видя, что от гонца ничего добиться нельзя, правительница поспешила его отпустить.

«У Петра люди есть... они решились действовать и пробуют силу, — думала она по уходе гонца, — а я... надобно же на что-нибудь решиться... Не идти ль на Троицу? У Петра только потешные конюхи, а у меня восемнадцать стрелецких полков. Да и в самом монастыре разве не найду пособников? Неужто отец Викентий забыл мои благодеяния! Посмотрим еще...»

Но это были только мечты, разлетевшиеся от суровой действительности. В соседней комнате слышались торопливые шаги, и к ней, без доклада, почти вбежал Федор Леонтьевич. На бледном, встревоженном лице его ясно можно было читать испуг и отчаяние.

— Спаси, государыня,, о твоей пользе радел я...

— Что с тобой, Федор Леонтьич, чего испугался?

— Беда над моей головой, государыня, денщики мои, на верность которых я надеялся, которым верил, перед которыми не скрывался, убежали к Троице... к царю Петру...

Как ни была испугана сама правительница таким серьезным известием, но не могла удержаться от презрительной улыбки и едкого слова.

— Хорош ты воин, Федор Леонтьич, коли своих денщиков растерял до брани. Ступай и успокойся. Царевна Софья не выдает своих слуг.

Известие действительно могло заставить растеряться и не такую голову, какая была у Федора Леонтьича. Побег Елизарьева, Капранова, Троицкого и Турки, с одной стороны, выказывал, как шатка была преданность стрельцов, как мало можно было полагаться на них в открытой борьбе, а с другой стороны, доставлял противной стороне все сведения, все подробности планов и действий Шакловитого и царевны.

Не успела опомниться Софья Алексеевна от этого удара, как доложили ей о прибытии нового гонца из-под Троицы. С этим гонцом Петр уже требовал присылки к себе полковника Стремянного полка Ивана Цыклера с пятьюдесятью стрельцами.

Немало удивило это требование царевну Софью. Она помнила услуги Цыклера в деле 1682 года и считала его за одного из самых преданных себе людей. «Погубить хочет его», — подумала она, и первым движением ее было не выдавать полковника, но не значило ли это подтвердить все доносы на нее? И она решилась лучше спросить самого Цыклера.

— Брат Петр требует тебя к себе с пятьюдесятью стрельцами, — обратилась она к вошедшему Цыклеру — как думаешь?

— Воля твоя, государыня, а я готов, — отвечал он спокойно.

— Я всегда ценила твою верную службу, Иван Данилыч. Сообрази: братец Петр Алексеич может быть не доволен тобой, может... поверить клеветникам на тебя. Насказали ему ведь и на меня.

— Я открою, государыня, царю всю напраслину. Доложу ему, как злые люди мутят.

Цыклер был отпущен. Правительница и не подозревала предательства Цыклера, не знала, что дня за два он наказывал одному из перебежчиков-стрельцов просить царя о вытребовании его к себе, заявляя готовность раскрыть всю истину о замыслах царевны и Шакловитого.

Глава X

Прошло несколько дней. Не сила Петра, не потешные его и какой-нибудь Сухаревский полк пугали правительницу, а собственное бессилие, неимение способного, энергического руководителя, нередко обнаруживающаяся нежизненность ее власти не только в народе, но даже в среде самой преданной ей — в среде стрельцов. При таком положении открытая борьба становилась слишком рискованной. Она видела это и решилась на примирение.

«Для меня время дорого, — думала она, — мое правление еще не успело укорениться. Чем долее оно продержится, тем более увидят, куда я иду, чего хочу, сколько я желаю добра народу и сколько я могу его сделать. Оценят... и моя власть

будет прочна. Пусть братец с потешными пьянствует и забавляется; они сами мне очистят дорогу. Да... сближение необходимо, и я должна его добиться. Но как? Как утишить озлобление, как оправдаться? Впрочем... где ж против меня улики? Наговоры беглых, да, может, еще из-под пытки — разве доказательства? Да и они что могут сказать? Разве то, что я береглась от озорства потешных... хотела защищаться... Если б я хотела гибели Нарышкиных, разве я стала бы ждать столько лет? Если б я только увидалась... я уговорила бы воротиться сюда... Послать... но кого?

И в уме правительницы перебирались бояре, но подходящего долго не отыскивалось: то или склонен к партии Нарышкиных, то слишком прост или неречист, не выскажет всего как следует. Наконец выбор ее остановился на боярине князе Иване Борисовиче Троекурове.

Призвав его к себе на Верх, она с обычным своим красноречием жаловалась на поступки брата, с ее стороны ничем не вызванные, яркими красками описывала бедствия, к которым ведет такая рознь, изъявляла полную готовность к примирению и наконец поручила ему уговорить брата воротиться.

— А услуги твоей, боярин, я век не забуду, — заключила она, отпуская его.

Решившись достигнуть всеми средствами примирения, правительница в то же время принимала деятельные меры к охранению себя. Бесперывные перешатывания стрельцов из Москвы к Троице развивали между ними настроение, совершенно противоположное ее видам, служа живым проводником интересов царя Петра. Для пресечения, свободного сообщения правительница распорядилась поставить сильные заставы по Троицкой дороге, усилить городские караулы и приказала в случае появления каких писем из похода, то есть из-под Троицы, в полках письма те, не распечатывая, доставлять к ней на Верх. Но, несмотря на принятые меры, пересылки случались нередко.

14 августа от Петра князем Борисом Алексеевичем присланы были грамоты во все стрелецкие полки и в оба

солдатские, Гордона и Захарова, с наказом явиться в Троицкий монастырь полковникам, урядникам и по десяти стрельцов от каждого полка к 18 августа «для великого государственного дела». Посланные с этими грамотами были схвачены на заставах и представлены Софье Алексеевне, но, однако, некоторые из них успели пробраться тайком и передать грамоты на съезжие избы. По этому поводу правительница призвала к себе полковников с выборными и строго запретила им вмешиваться в ссору ее с братом и к Троице не ходить. Запрещение этого ставило в затруднительное положение полковников, заставляло их оказать явное непослушание царской воле.

— Отчего бы нам не идти? — говорили они между собой. — Разве через это будет какая государству поруха?

Эти слова были переданы правительнице, и она снова вышла к ним, но уже с грозным словом:

— Если кто соберется идти к Троице, тому велю отрубить голову.

Полковники остались, как остался и солдатский Бутырский полк генерала Гордона.

Прошло еще два дня томительного ожидания. Из Троицы не слышно никаких вестей, даже поехавший туда боярин Иван Борисович словно умер. Истомившись от нетерпения, Софья Алексеевна уговорила брата Ивана Алексеевича послать к Троице своего дядьку, всеми уважаемого старого боярина князя Петра Ивановича Прозоровского с тою же целью — склонить Петра воротиться в Москву. Прозоровского провожал духовник Петра — протоиерей Меркурий. Но и эта попытка не удалась: на другой же день Прозоровский воротился в Москву ни с чем.

Тогда правительница вспомнила о старинном и забытом ею печальнике и миротворце всех княжеских смут и раздоров — патриархе Иоакиме. И она обратилась к нему. Красноречиво и с блестящими на полуопущенных ресницах слезами жаловалась она ему, как злые люди встали между нею и братом, наговорили ему Бог знает что на нее, не виновной ни в чем, и нет человека, который бы позаботился о примирении их и об устройении царства. Старик размягчился и, несмотря на хворь свою,

собрался и поехал к Троице. Уехал он утром 18 августа, и, по уговору с Софьей, надобно было ждать его возвращения либо на другой, либо на третий день. Прошли другой, третий и четвертый дни, а патриарха нет. Значит, он так там и остался. «И этот обманул меня», — думала она и жаловалась стрельцам:

— Послала я патриарха для примирения с братом, а и он обманул, уехал в поход, живет там и к Москве не едет.

А между тем с каждым днем все назойливее и назойливее возникал вопрос «что делать?». Нельзя же вечно оставаться в таком положении... Где и в ком искать? К Шакловитому и обращаться не стоит, она узнала его пустоту. Василий Васильевич отстраняется, и хоть по призыву ее бывает на Верху, но, видимо, опустившийся, без воли и энергии. Пыталась было она, по совету его, переманить стрельцов Сухаревского полка из Троицы в Москву, рассчитывая, что если перебегут они, то перебегут за ними и другие, а тогда и царь Петр должен будет воротиться поневоле и с ней помириться. Подсылал Шакловитый к женам сухаревцев, оставшимся в Москве, с наказом уговаривать своих мужей воротиться. «Иначе, — говорили подосланные, — и ваши мужья погибнут в неравном бою, так как у Петра только один полк, а у царевны девятнадцать, погибнете и вы, и все ваше имущество разграбится». Сухаревские стрельчихи испугались, посылали гонцов за гонцами к мужьям, но те плотно засели в Троице и не двигались.

Прибегали и к чародейству. Преданные Софье Стрижев, Гладкий и Чермный живмя жили в келье у Медведева все с одним и тем же вопросом: что делать и что будет?

— Не бойтесь, — обыкновенно ободрял их отец Сильвестр, — как будто и будет брать верх сторона Петра, но ненадолго, много-много — дней на десять, а там опять укрепится рука государыни царевны. Надобно перетерпеть...

Но пророчество, видимо, не сбывалось, и рука правительницы не только не укреплялась, а, напротив, слабела с каждым днем. Так, вторичные грамоты, присланные князем Борисом от имени Петра из Троицкого монастыря в Москву в стрелецкие слободы, в гостиные сотни, дворцовые слободы и

черные сотни, с приказанием полковникам и урядникам с десятью стрельцами от каждого полка, старостам и выборным с десятью теглецами от каждой слободы и сотни явиться без оплошки к Троице под угрозой смертной казни за ослушание, не были уже задержаны на заставах, а доставлены беспрепятственно по назначению.

Грамоты произвели ожидаемое действие. Полковники Нормецкий, Спиридонов, Дуров, Сергеев и Нечаев с пятьюстами урядников и множеством стрельцов тотчас же собрались и без разрешения отправились к Петру. Но еще более чувствительным для правительницы ударом была перебежка 29 августа к Троице двух братьев Сапоговых, стрелецких капитанов Ефимьева и Рязанова полков. Как самые преданные и деятельные люди Софьиной стороны, участвовавшие во всех ее замыслах, некогда ездившие с подьячим Шониным по улицам московским под видом Льва Нарышкина увечить стрельцов, они могли быть самыми опасными свидетелями.

Видя, как близкие к ней люди бежали от нее, кто с доносом в Троицу, кто спасаясь в окрестные села и деревни, царевна быстро решила на последнее средство: ехать самой к брату и помириться. Много труда стоило ей это решение, нужно было большое усилие воли сломить свою гордость, но она по крайней мере убаюкивала себя несомненным и все вознаграждавшим успехом. С полной уверенностью собралась царевна и 29 августа выехала из Москвы в поход почти без всякой свиты. Как мала была партия ее в это время, можно видеть из того, что в числе провожавших ее современный летописец называет только князей Василия и Андрея Голицыных, Шакловитого, Неплюева, Змеева и Нарбекова. Эти лица проводили уезжавшую до загородного дома Шеина, где она отпустила их, милостиво пожаловав им на прощание свою руку.

Доехав до села Воздвиженского (в 10 верстах от Троицы), столь памятного ей по катастрофе с князьями Хованскими, она приказала остановиться отдохнуть и приготовиться к переезду в монастырь. Не успели расположиться как следует на отдых, как доложили о приезде гонца от царя Петра, комнатного стольника Ивана Ивановича Бутурлина.

Царевна поторопилась допустить его к себе.

— Государь царь-батюшка Петр Алексеевич наказывал мне доложить тебе, царевна, чтобы ты в монастырь не ходила.

— Братец приказывать мне не может, — вся вспыхнув, отвечала царевна и приказала челяди после трапезы готовиться к отъезду.

Отдохнув и перекусив, царевна стала собираться снова продолжать поход, когда доложили о новом гонце из Троицы, уже о боярине и князе Иване Борисовиче. Раздражительно прозвучало это имя в ушах Софьи Алексеевны. Не она ли так доверчиво послала его от себя к брату, и не он ли не только не дал от себя никакой отповеди, но даже и сам остался там у ее врага.

Боярин вошел и отдал обычный поклон, но подозрительно смотревшей на него Софье почудилось во всем облике боярина какое-то дерзкое выражение: будто в самом встряхивании волос, после поклона, скрывалась наглость.

— Здравствуй, братцев посол, князь Иван Борисович, — обратилась она к нему с насмешкой, — что передать ты хочешь теперь от братца?

— Государь Петр Алексеевич указал мне не пускать тебя, царевна, в монастырь, — резко отчеканил боярин.

— Не пускать? Меня? Твою государыню? Не посмотрю я ни на тебя, ни на братца...

— Государь приказал мне предупредить тебя, что если ты, царевна, с упорством придешь в монастырь, то с тобою поступлено будет нечестно.

— Ступай вон, холоп! — вскрикнула правительница, уже не сдерживаясь больше от душившего гнева.

Кровь ключом била и стучала в висках, все тело нервно дрожало, сердце замирало от такого неслыханного дерзкого оскорбления гордости, свыкшейся с самовластием. О, никогда, никогда не забудет она этого первого тяжкого удара... И во всю обратную дорогу в Москву она уже не думала о примирении. Голова ее работала усиленно, тысячи планов создавались, уничтожались другими и снова возникали, но в конце концов все-таки не выработалось, да и не могло выработаться от самой

страстности увлечения, никакого холодно обдуманного содержания.

Ночью на 1 сентября уже воротилась она в Кремль, не ощущая от нервного возбуждения никакой усталости от дальнего похода. При выходе из экипажа она тут же отдала приказ верному своему истопнику Евдокимову собрать к себе на Верх всех стрельцов, стоявших на карауле в Кремле, и позвать преданных Обросима Петрова с товарищами. Как скоро собрались они, она вышла к ним, встревоженная и раздраженная.

— В Воздвиженском чуть не застрелили меня, — обратилась она к ним с нервной порывистостью, — наскочили на меня люди с самопалами и луками, и насилу я скрылась от них и прибежала к Москве в пять часов. Нарышкины с Лопухинскими затеяли известить царя Ивана Алексеевича и меня вместе с ним. Сама я соберу полки и буду говорить с ними... А вы к Троице не уходите, а мне послужите... Я вам доверяю, да и как же мне не верить вам, моим старым слугам... А пожалуй, и вы побежите? Лучше поклянитесь мне и поцелуйте крест.

Верховая сенная девушка принесла крест, а царевна, взяв его, сама стала приводить к присяге стрельцов.

— Если же не исполните клятвы и побежите, — продолжала она, — то животворящий крест на вас взыщет. Прелестные же письма, какие будут из-под Троицы, приносите ко мне, не читая.

Отобрав клятву от стрельцов, правительница воротилась к себе на Верх, немного успокоилась и легла. Недолго продолжался, однако, этот отдых. Часа через два или три ее легкую дрему прервал необычный гул на площади. Сотни голосов кричали, перебивая и покрывая друг друга, сливаясь в одной трескучей волне. По временам из этого глухого гула вдруг выделялся отдельный звук топота лошади или лязг оружия.

— Что это? Кто? Потешные? — снова встревожилась Софья Алексеевна. — Федор! Марфа! Бегите, узнайте, что там...

Постельница бросилась вниз и вскоре воротилась в сопровождении дьяка стрелецкого приказа Кириллы Алексеева. Дьяк держал бумагу.

— Полковник Нечаев с стрельцами прибыл из Троицы, — докладывал дьяк, — и отдал мне царскую грамоту на Красном крыльце под шатром.

— Приехал? И полковник Айгустов пропустил его на большой заставе?

— Не знаю, государыня, видно, объехали проселком. Вот и царская грамота.

Царевна почти вырвала из рук дьяка грамоту. Много пережила она в эти дни, посменно переходя из одного скорбного ощущения к другому.

Исказилось лицо ее при взгляде на грамоту, помертвевшие губы беззвучно шевелились, как будто складывая слова, широко раскрытые глаза упорно впивались в бумагу, но без ясного, последовательного сознания. Она не могла читать, но смысл грамоты поражал общим своим колоритом. В ней, после короткого изложения всего хода преступных попыток Шакловитого, заключалось воззвание Петра о поимке его и его сообщников для доставления к Троице. В грамоте не упоминалось о правительнице, но тем не менее она ясно понимала все значение грамоты, она читала между строк другие слова — слова собственного приговора.

— Как осмелился ты явиться сюда с таким поручением? — спросила она Нечаева, более не сдерживаясь.

— Не своей волей явился, государыня, а по приказу царя Петра Алексеевича.

— А... — протянула царевна, — его приказа послушаться нельзя, а моего можно?.. Можно бегать от своей государыни? Так я в тебе, как сулила, накажу изменника и перебежчика. Отрубить ему голову... — решила она, и, оставив испуганного полковника на Верху, сама прошла мимо на лестницу, спустилась и, подойдя к толпившимся внизу стрельцам, с увлечением говорила:

— Троицкие грамоты по сказке от воров писаны.

За что ж мне по напрасным наветам выдавать людей добрых и верных? Станут их мучить, пытаться, и они от той пытки напрасно оговорят других: девять оговорят девятьсот. Не лучше ль было бы изветчиков доставить в Москву и разыскивать здесь.

Я и сама хотела, ради истины, присутствовать при розыске и ходила к Троице, но злые люди рассорили меня с братом, наговорили ему об умыслах, которых не было, очернили людей добрых, как вот Федора Леонтьича, у которого на уме только одно благо государства. Не допустил меня брат, отверг, и воротилась я со стыдом и срамом. А я ли не радела о государстве: семь лет правила, усмирила, мятеж и нестроение, учинила вечный и славный мир с соседними народами и прибытков больших добыла... Не была ли я к вам всегда милостива, не награждала ли я вас всегда щедро? Докажите ж вы мне теперь свою преданность и не верьте лживым наветам. Не головы Федора Леонтьича хотят враги, а моей собственной и брата Ивана. За верную службу обещаю вам новые милости и награды, но... горе послушникам! Если и убегут они к Троице, то жены и дети их останутся здесь.

В финал царевна отдала стрельцам один из дворцовых: погребов.

Шумно бросились они на даровое угощение, а между тем Софья обратилась к массам народа, толпившимся на площади в ожидании обычного празднования нового года 1 сентября, с такую же речью. Три часа говорила правительница на площади, с утра до самого полудня. Только стальные нервы молодой женщины могли вынести утомление пути, по состоянию дорог того времени немалое, острую боль от оскорбления, бессонную ночь, тревогу, и быть в состоянии так милостиво, так любезно беседовать с приглашенными ею с площади начальными людьми. Даже самого Нечаева она обласкала, и он, наравне с другими, был пожалован чаркой вина из рук царя Ивана Алексеевича.

Галдели, кричали, обнимались и клялись душу свою положить за царевну стрельцы, распивая мед и разное вино из дворцового погреба, но на другой же день, отрезвившись, их головы заработали по-другому.

— Как нам послушаться законного, прирожденного государя, — говорили они между собою, — царевна хоть и милостива к нам, да ведь она только временно, куда царь был детеск, а то править царством — дело не бабье. По слабости

женской она может и вора́м норовить, а мы за воров стоять не хотим и по сыске их должны исполнить по указу.

И те же самые стрельцы с примерным усердием стали ловить и отсылать к Троице, без ведома государыни, всех ее преданных слуг. Таким образом схвачены были и отправлены в монастырь Дементий Лаврентьев, Егор Романов, Иван Муромцев, Андрей Сергеев, Кузьма Чермный и наконец пятидесятник Ефимьева полка Обросим Петров, самый главный и доверенный слуга царевны и Шакловитого.

Нелегко было захватить энергичного Обросима. Окружили было его стрельцы в своей съезжей избе Ефимьева полка, но он отбилса саблей, очистил дорогу, ушел к себе на двор, а оттуда перешел и укрылся в погребе приятеля — пономаря церкви апостола Филиппа. Просидев там несколько дней, Обросим соскучился и вышел повидаться со знакомым стрельцом в лесном ряду. Тут-то стрельцы и захватили его, скрутили и отвезли прямо к Троице. Поимка его наносила самый чувствительный удар делу царевны, так как показания его могли раскрыть все таившиеся еще подробности.

Между тем как стрельцы изменяли своей благодетельнице, она сама, не зная еще во всем объеме их измены, мечтала о борьбе с братом, даже надеялась если не на перевес, то по крайней мере на выгодное примирение. В полдень (5 сентября) она, по обыкновению, занималась делами, выслушивая доклады думного своего советника Федора Леонтьича. Резко изменилась царевна в последнее время, изменилась до того, что не видевший ее каких-нибудь два месяца почти не признавал в ней цветущей здоровьем и силой молодой женщины. Бурые желчные пятна сквозили в лице через довольно уже плотный слой белил и румян, пухлые, несколько одутловатые щеки опали, не ложилась морщинка, как бывало, складкой между бровями, а целая сеть их глубоко бороздила весь лоб и забиралась под веки, к вискам и рту, в волосах, несмотря на их русый цвет, протягивались серебристые нити, некогда и еще так недавно глубокий и приветливый взгляд принял какое-то быстро меняющееся выражение, то холодно-суровое, то пугливо-безнадежное. С наружностью изменился и характер. Из

сдержанной, обдумчивой она сделалась раздражительной, порывистой и жестокой. Во всех ее движениях нельзя было приметить никакого следа мягкой, женской натуры. Синяки на всех частях тела сенных девушек ясно говорили, как часто госпожа была недовольна их мешкотой и неловкостью.

Царевна с вниманием читала бумагу, написанную красивым почерком докладчика, плод его дьячего красноречия. В этой бумаге заключалась сказка или воззвание от имени царевны ко всем чинам Московского государства. После витиеватого предисловия о государствовании царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, о событиях воцарения Ивана и Петра, о восприятии правления благоверной царевной Софьей Алексеевной по слезному челобитью всего российского народа — после всего этого пространного вступления правительница жаловалась народу на Нарышкиных: будто они ругаются государскому имени, вовсе не ходят к руке ее, царевны, и царя Ивана, завели особых потешных конюхов, от которых многим людям чинятся обиды и утеснения, о чем она, царевна, неоднократно жаловалась царю Петру, и что наконец они, Нарышкины, даже забросали дровами комнаты царя Ивана Алексеевича и вконец поломали царский венец.

Прочитав грамоту, правительница, видимо, осталась ею довольна и даже милостиво протянула к докладчику руку. Такой милости в последние дни редко удостоивался бывший дьяк. Вообще отношения их после праздника Преображения заметно приняли другой характер. Кроме того что склонности и взгляды худородного, перелившегося в новую форму прежнюю закваску, не могли не возбудить презрения в царственной молодой женщине, последние серьезные события, с вопросами о жизни и смерти, не могли не оторвать ее от чувственной стороны...

— Грамоту эту разошли, Федор Леонтьич, — проговорила благосклонно царевна. — Да изготовлен ли указ в окрестные города и уезды о том, чтоб по-прежнему все денежные и хлебные сборы доставляли б сюда, в Москву, а не смели б слушаться наказов Петра и не везли бы ничего к Троице.

— Указ готов, государыня, и разошлется немедля.

— Хорошо. Теперь больше заниматься не буду.

По окончании занятий в последнее время Софья Алексеевна тотчас же отпускала докладчика, вообще она старалась не длить своих аудиенций с ним. Но Федор Леонтьич теперь не уходил, нерешительно переминаясь.

— Ты еще хочешь о чем-нибудь доложить?

— Стрельцы чинят большое воровство, государыня. Твоих наказов не слушают, к Троице перебегают, всех твоих сподручников ловят и переводят туда...

— Ты лжешь, Федор, Леонтьич, клеветешь на моих верных и старых слуг... Кого они схватили?

— Да вчера схватили Кузьму Чермного... Андрея Сергеева и...

— Чермного... схватили... — машинально повторила царевна упавшим голосом, как будто дело касалось до лиц, ей совсем незнакомых.

— Схватили и увезли, государыня. Увезли и Петрова.

— И Петрова? — повторила она тем же голосом.

— И Петрова, государыня.

Софья Алексеевна как будто застыла.

— Стрижев и Кондратьев, на днях бежавшие было с отцом Сильвестром, — начал снова, после небольшого молчания, передавать новости Федор Леонтьич, — вчера воротились сюда во дворец к тебе, государыня, молили Евдокимова спрятать их здесь. Евдокимов спрашивал меня... я не велел...

— Ты не велел?... Понятно... а я велю...

— Помилуй, государыня, теперь каждому из нас только до себя...

— Тебе... да... но не мне... Я, если не в силах защитить, так хоть укрою... укрою... — повторяла она почти бессознательно, потирая рукой лоб, как будто собирая разбродившиеся мысли. — Прикажи псаломщику Муромцеву запереть их в церкви Распятия Господня... или нет... постой... церковь обшарят... лучше в тайник спрятать... как было тогда... только не им теперь... а мне::: В какой тайник спрятать?... Я подумаю... а теперь пусть Евдокимов отведет их в мою мыльную... там надежно — искать не будут...

— Слушаю, государыня, да вот уж и об себе хотел доложить...

— О себе? Что... тоже прятаться?

— Моей головы, государыня, пуще всего домогаются. Мне и укрыться трудно — везде найдут. Велел было я моему подьячему, двоюродному братцу Семену Надеину, спросить в подмосковной деревне у доброхота моего Перфилья Лямина, не можно ли в лесу у него поставить келью, где бы я укрылся. Перфилий говорит: лесу-де много и прожить можно. Так я и велел у дворцовой лестницы держать наготове лошадь, а у Девичьего коляску.

— И хорошо... беги!

— Бежать-то опасно, государыня. По всему Кремлю бродят стрельцы. Пожалуй, чего доброго, признают...

— Выбери ночь потемнее...

Федор Леонтьич вышел. Царевна, казалось, не заметила его ухода. Она не могла думать, соображать, точно камень свалился на голову, точно гром небесный оглушил ее. Какие-то отдельные, неясные представления бродили в голове... она силилась придать им окраску, форму, и не удавалось.

Да, не было времени оглянуться сознательно. Тотчас после ухода Шакловитого в дверях, без зова, явилась бледная, расстроенная фигура Федоры Калужиной, любимой комнатной девушки Софьи Алексеевны.

— Матушка государыня, спаси нас! Защити Пресвятая Богородица! — выкрикивала девушка визгливым и отчаянным голосом.

— Что еще? — безучастно, равнодушно спросила царевна.

— Стрельцы навалили везде... вся площадь и двор полны... здешние все да и из-под Троицы...

— Зачем?

— Позволь, государыня, изымать Федьку Шакловитого. Царь Петр Алексеевич прислал нас и накрепко наказал доставить его к Троице, — отвечал вместо Калужиной полковник Спиридонов, отстраняя девушку и входя в покои. За плечами Спиридонова виднелись головы другого полковника, Сергеева, и стрельцов... Говор и шум слышались в соседних покоях и переходах.

— Петр Алексеевич велел, а царь-брат Иван Алексеевич запрещает и строго взыщет с ослушников, — холодно сказала царевна, — подите спросите у братца...

Спиридонов вышел и через несколько минут воротился смущенный.

— Что царь Иван Алексеевич?

— Он изволил сказать, что сам прибудет к Троице и, что хотя за Федьку Шакловитого не стоит, буде он виноват, но выдаст его только тогда, когда приедет за ним боярин Петр Иванович Прозоровский.

— Вот так и передайте Петру Алексеевичу.

Полковники переглянулись между собой. Переминаясь и не зная, на что решиться, они постояли-постояли, но затем стали выходить.

Гроза на этот раз миновала Федора Леонтьича, но не надолго. Наказы за наказами, все страшнее и грознее, присылались из Троицы; стрельцы, никогда не любившие начальника за надменность, роптали и волновались.

— Не отвечать же нам всем за него, изменника, вора, — говорили они громко, не стесняясь, — не выдают, так силой добудем.

И вот караулы дневные и ночные усилились около дворца, и не стало возможности не только Федору Леонтьичу, а и самому малому зверьку перебежать оттуда непризнанным.

На другой день, с утра, волнение между стрельцами увеличилось. Посланные от Петра полковники Нечаев, Спиридонов и Сергеев, ошеломленные с первого раза отказом старшего царя, потом одумались. «Царь-то Иван, — думали они, — не в своем разуме, все делает по воле царевны, а как царевны не будет, и он стоять за Федьку не станет... а мы тогда будем в ответе». И решили они на другой день исполнить непременно приказ Петра.

Теперь, при сложившихся обстоятельствах, арестование стрелецкого начальника не выдвигало никаких затруднений. Энергия Софьи Алексеевны сломилась. Покинутая всеми, разбитая в своих верованиях, обманутая в доверчивости на преданность и благодарность окружающих, она в эти моменты,

казалось, ничего не чувствовала, как будто все нервы парализовались, только отражая внешнее, но не передавая и не возбуждая никаких ощущений.

Бессознательно увидела она входивших к себе, как и накануне, тех же стрельцов, бессознательно выслушала опять ту же просьбу о выдаче им изменника Шакловитого и бессознательно выговорила:

— Делайте, как хотите!

Слышала она потом шепот и шумную беготню в соседних покоях вслед за уходом полковников, стук и возню в своей опочивальне, где укрывался красивый Федор Леонтьич, слышала все это и ни на что не отозвалась. Только когда до ее слуха долетел подавленный, глухой крик слишком знакомого голоса, а потом странное шуршание, как будто волочили что-то грузное мимо ее комнаты, какою-то резкою болью кольнуло в ее сердце, да и то почти мимолетно. По-прежнему сидела она застывшая, окаменелая... не шевельнулась, не встала посмотреть, что делалось с тем, кого она прежде хоть и чувственно, и животно, но все-таки любила.

А между тем Федор Леонтьич в синяках, с связанными и закрученными назад руками лежал плашмя на дне телеги, прыгавшей по тряской дороге к Троице, стучаясь при каждом толчке то затылком, то висками. Невесела была ему дорога, но еще более невеселым представлялось будущее.

Глава XI

На следующий же день началось следствие. В одном из царских покоев Сергиево-Троицкого монастыря изготовлена была допросная камера, с обычными принадлежностями следственного процесса. Допросы должны были производиться, как они уже производились несколько дней, с самого начала перебежки стрельцов, доверенными лицами Петровской партии, между которыми выделялись, в особенности князь Борис Алексеевич Голицын, боярин Борис Васильевич Бутурлин, боярин Тихон Никитич Стрешнев, Федор Абрамович Лопухин и князь Иван Борисович Троекуров. Большею частью при

допросах присутствовал сам Петр, к крайнему неудовольствию Бориса Алексеевича.

— Никто в своем деле не судья, — не раз говаривал он молодому царю, — и не след юноше мешать старикам.

Но возбужденное состояние увлекало Петра и заставляло его принимать личное участие в допросах.

Главная обязанность производства допросов лежала на князе Троекурове, как человеку опытном в таком деле, рассудительном и умеющем выслеживать истину в разноречивых и неопределенных показаниях.

Утром 7 сентября в следственную камеру ввели связанного Федора Леонтьича и поставили перед боярами, сидевшими за столом, на этот раз без участия Петра. Трудно было узнать в этом изможденном, всклоченном и грязном оборванце красивого, стройного дьяка; только и напоминали его большие темные блестящие глаза, казавшиеся еще больше от осунувшихся щек.

После обычного увещевания говорить правду, ничего не скрывать и не покрывать никого, кто бы ни были виновные, так как только чистосердечное и полное раскаяние и раскрытие всех обстоятельств могут преклонить к милости государя, князь Троекуров поставил первым вопрос: «С какой целью днем и в ночь на 8 августа собрано было в Кремле такое большое количество вооруженных стрельцов?».

На этот вопрос Шакловитый отвечал, что стрельцов собирали и прежде для охраны, из опаски озорства потешных конюхов, на которых поступали многие жалобы, и что 7 августа наряжено было в Кремль сто стрельцов для сопровождения царевны в поход в Донской монастырь. Когда же нашлось на Верху письмо, объявлявшее об умысле потешных напасть на дворцовые хоромы в ночь на 8 августа, то царевна в поход не пошла, а приказала стрельцов оставить в Кремле и на ночь.

На второй же вопрос: «С какой целью собирались стрельцы на Лубянке и посылались разведчики к Преображенскому?»— Федор Леонтьич заперся, отрицая положительно сбор стрельцов, посылку лазутчиков и всякую мысль о нападении на Преображенское. Точно так же он отрекся и от подговоров убить

царицу Наталью Кирилловну и царя Петра. Только в одном сознался он, именно в том, что года за два по приказу царевны разузнавал у стрельцов, согласны ли они будут на венчание ее царским венцом, но что и эту мысль он покинул, оставив челобитную у себя, никому, кроме двух или трех лиц, ее не читая.

— Для очной ставки позваны были изветчики-стрельцы. Из них Филипп Сапогов упорно уличал своего бывшего начальника в нередком подговоре его убить царя Петра и Наталью Кирилловну, Кузьма Чермный и Обросим Петров — в подговоре стрельцов зажечь Преображенское и в пожарной суматохе убить Наталью Кирилловну, а денщики Турка и Троицкий — в постоянном возбуждении неудовольствия между стрельцами против нарышкинского двора. На все эти улики Шакловитый твердил одно: «Знать не знаю, ведать не ведаю, ничего не мыслил, ничего не приказывал».

По окончании очных ставок подсудимых отвели на монастырский воловий двор, где находился застенок. Здесь, в виду орудий пытки, в присутствии тех же бояр, за исключением князя Бориса Алексеича, вообще не одобрявшего употребления пыток, произведен был новый допрос. Шакловитый показал: помнится, будто слова «зажечь в Преображенском» говорил, но без умысла на жизнь великого государя, про царицу же Наталью Кирилловну, может, и говорил, но только норовя стрельцам или для утешки царевны Софьи Алексеевны.

Подвергли пыточным допросам сначала изветчиков Обросима Петрова и Кузьму Чермного, подтвердивших слово в слово свои прежние показания, а потом подняли на дыбу и Федора Леонтьича, причем ему дано пятнадцать ударов^[20]. При этом допросе он во всем, что ни доводили на него изветчики, повинился.

Допрос кончился, и бояре разошлись. Боярин Троекуров отправился к Борису Алексеевичу передать результат следствия.

— Сознался? — спросил Борис входившего Троекурова, заметив его сияющее лицо.

— Сознался... добровольно... почти... только и успели поднять да положить с пятнадцать... А ты вот недоволен, князь Борис Алексеевич, — говорил Троекуров с удивлением и как будто с упреком, смотря на сморщенное лицо Голицына.

— Не люблю я, Иван Борисович, пыток. Мало ль что может насказать человек под кнутом? Пожалуй, оговорит и мать, и отца... Вот если б он сознался добровольно... на письме... Большое бы тебе сказали спасибо.

— Можно... и без кнута... — проговорил Троекуров, раздумывая. — Только пусть не мешают мне... пусть я один буду допрашивать.

— Хорошо, Иван Борисович, завтра один допрашивай.

— Еще забыл тебя спросить, Борис Алексеевич, не слыхал ли ты, кто будет стрелецким начальником после Федора Леонтьича?

Намек был слишком ясен, и не мог не догадаться князь Борис.

— Не слыхал еще... не говорил государь... а, полагаю, что тебя назначат. Рука у тебя твердая, поноровки не даст.

— На меня, князь, положиться можно. Не прихвостень какой-нибудь худородный. Не пойду, как Федька, с братцем твоим... Да вот, кстати, о твоём братце. Как ты мыслишь, если Федька его будет оговаривать?

— Оговаривать, Иван Борисович? Мало ль кто вздумал бы оговаривать! Брата я знаю коротко... ни на какое бесчестное дело он не способен. Да чаю я, что он и сам подъедет к Троице, давно бы был, если б не хворь...

— Верю, князь, и сам знаю, да говорят-то больно много о нем... Вчера говорит мне Лев Кириллович, что, мол, мы все пытаем Федьку, а корень оставляем — известно, чьей головой жила сестрица...

— У Софьи Алексеевны своя голова не хуже чужой — не занимать, стать, другой. Пустое говорят.

— Пустое, Борис Алексеич, по зависти. Понимаю я это, да рука-то у них сильна... За братцем Львом Кирилловичем то же говорит и сама старая царица, а там лопухинские... мало ль их... Ведь князья Голицыны для многих как бельмо...

— Э, Иван Борисович, на всякое чиханье не наздравствуешься. Пусть говорят, лишь бы только царь жаловал.

— Что и говорить, Борис Алексеич, царь тебя любит. Известно, против тебя не пойдет. Я и сказал так... ради твоей опаски... чтоб чужие уши не слышали...

— Не услышат, Иван Борисович, не бойся. Своих секретов у меня нет, своих слов не сдерживаю, а чужих не передаю, — успокаивал князь Борис Алексеич, улыбаясь своими веселыми голубыми глазами.

На другой день утром следственная камера изменилась. Вместо совета боярского и длинного неизбежного стола, покрытого сукном, заседал только один Иван Борисович, да и заседал-то он не как судья с приличной важностью, а просто как добрый боярин дома у себя в благодушном расположении духа. Перед ним не длинный судейский стол, а другой, гораздо меньше, покрытый салфеткой, на котором вместо роковой чернильницы с бумагами красовался графинчик с добрым вином. Совсем другой вид. По комнате носился не холодный запах смерти, а аромат вкусных яств, поставленных где-то в соседнем покое.

В камеру ввели Федора Леонтьича, изнуренного, страшно изменившегося даже со вчерашнего дня, но глаза его казались еще больше, еще жизненнее, еще больше блестели затаенной злобой.

— Здравствуй, Федор Леонтьича, — ласково обратился к нему Иван Борисович, показывая на стул недалеко от себя. — Извини, потревожил. Хотелось мне поговорить с тобой с глазу на глаз подушевно.

Федор Леонтьич молча опустил на стул.

— Видишь что... Федор Леонтьевич... вчера ты сознался...

— Ни в чем я, князь, не винился и не в чем мне виниться. А что, может, вчера болтал, так на дыбе да под кнутом. Известно, все вы кровопийцы...

— Сознался... — продолжал Троекуров, как будто и не слыша опровержений подсудимого, — и показания твои согласны с показаниями других и обстоятельствами дела.

Стало, виновен и подлежишь лишению жизни, но мне жаль тебя... Вспомнил я, Федор Леонтьич, твое прежнее обходительство, и захотелось помочь тебе... облегчить чем-нибудь... Посуди сам: сторона Петра взяла верх, свои братья стрельцы вам все изменили, царевне больше не встать, и держаться тебе за нее нечего. Расскажи все по душе, как было, ничего не скрывая, может, царь и смилуется.

— Милости мне ждать от него нечего, — порывисто оборвал подсудимый.

— Конечно, гнев на тебя велик, — продолжал Троекуров невозмутимо, ласково посматривая на подсудимого, — нечего таить, но, видя твою правду и чистосердечность, может внять твоим мольбам, может помиловать. Зажил бы тогда припеваючи на свободе в вотчине своей... Достатку у тебя, слава Богу, довольно... утех много... разных... телом бы набрался, а то посмотри, какой теперь... ослабел, бедняга... Подкрепись хотя стопочкой.

И боярин, прежде налив себе стопочку душистого вина, опорожнил ее, а потом предложил Федору Леонтьичу.

Тот протянул сначала нерешительно дрожавшую руку, потом вцепился в стаканчик и жадно выпил. Приятная теплота разлилась по всем жилам истощенного организма, живее погнала кровь к сердцу и к голове, возникли жизненные, обольстительные представления различных утех, какое-то сладкое ощущение охватило все нервы. Но вместе с оживлением еще настойчивее заговорили насущные потребности организма. Два дня Федор Леонтьич ничего не ел, голод немилосердно сосал, терзал, доводил до иступления, и теперь это новое искусственное оживление вызвало еще более невыносимые муки. А вдобавок еще этот сладко щекотавший обоняние запах от яств!

— Иван Борисович!.. Я... два дня ничего не ел!..

— Два дня! Ах, бедняга... бедняга! Как же ты, думаю, проголодался-то... Два дня! Ну уж намылю же я голову отцу Павлу! Видишь что... Федор Леонтьич, народу теперь собралось много, рук недостает кормить, да и продовольствие-то на

исходе... Везде такой беспорядок... Будь покоен, я распоряджусь...

— Мне теперь, Иван Борисович... теперь дай есть, — шепотом молил Шакловитый, — а там... после, может, и не нужно будет, — прибавил он с грустной улыбкой.

— Теперь, Федор Леонтьич! Так я велю подать тебе, что у меня там изготовлено. — Боярин пошел было уже приказывать, но на дороге остановился.

— Да как же, Федор Леонтьич, а ты хотел показание-то написать... После обеда несподручно.

— Напишу, князь, все напишу, давай мне бумагу и перо. Только, ради Христа, прикажи принести мне хлеба.

— Сейчас, сейчас, — заторопился Троекуров, — вот тебе бумага и перо. Пиши, голубчик, с Богом, а как напишешь, так тебе сейчас и обед готов.

И Федор Леонтьич стал писать свое последнее предсмертное показание^[21], в котором высказал почти то же: что умысла на жизнь царя Петра у него никогда не было, что если носились слухи о близкой его кончине, то ему неизвестно, кем и с какой целью рассказывались эти слухи, что об убийстве царицы Натальи Кирилловны бывали у него речи с Кузьмой Чермным, но по почину последнего, что об этом знал также и Василий Васильевич Голицын, что о поджоге в Преображенском действительно упоминалось, что стрельцы собирались неоднократно ради опаски, но не для бунта, о чем знавал и Василий Васильич, что включать во все акты имя царевны как самодержицы он начал не ранее получения о том памяти из Посольского приказа и что венчания царевны царским венцом ни он, ни Голицын ей не советовали.

С лихорадочной живостью написал это показание Шакловитый и подал его Ивану Борисовичу. Князь прочитал толком, с расстановкой взвешивая каждое слово и немножко хмурясь.

— Говорил бы о себе, Федор Леонтьич, каялся бы да просил милости, а тут других оговариваешь. Другим будет своя линия. Ну, да уж нечего делать, написал... Вот сейчас подадут тебе кушать, а меня извини, мне недосужно, надобность сходить к

благоприятелю, — сказал Иван Борисович, складывая показание в карман кафтана и собираясь уходить.

Князь вышел, а Федору Леонтьичу подали его последний в жизни обед, вкусный и обильный различного рода яствами: поросятиной, гусятиной, солониной в разнообразных приготовлениях и наконец с фруктами.

Иван Борисович отправился между тем к князю Борису Алексеичу, у которого должны были собраться и все члены боярского суда над Шакловитым. В это время бояре еще не прибыли, а Борис Алексеич молча суетился по комнате, прибирая все нужное для совета и убирая все излишнее по домашности.

— Вот, Борис Алексеич, и собственноручное показание Федьки без пытки и не под кнутом, — говорил Троекуров, подавая показание Голицыну.

Князь взял бумагу и стал внимательно читать.

«Не по мысли ссылка на братца, — думал про себя Троекуров, — да как тут быть-то... Оно, конечно, можно было бы понагнуть Федьку как следует... так не угодишь Льву Кириллычу с сестрицей, а ведь они сила...»

— Нового тут ничего не написано, — заметил князь Голицын, складывая бумагу Троекурова, — вот соберутся все — почитаем... потолкуем.

Скоро собрались все члены, и заседание открылось. Пришел и сам Петр.

Прочитав показание, Иван Борисович предложил на общее обсуждение вопрос: следует ли подвергать подсудимого новому допросу или же приступить к суду над ним?

Почти все бояре согласились с бесполезностью дальнейших допросов Шакловитого, и все единогласно нашли, по данным показаниям, подсудимого достойным смертной казни. Только Лев Кириллович не остановился на одном обвинении, а пошел дальше.

— Что вору Федьке отсекут голову — справедливо, и я о том не спорю, но ведь он не один, может, за ним таятся другие, еще больше виновные. Вот хоть Василий Васильевич Голицын. Федька ссылается на него в подговоре извести мою сестрицу,

царицу Наталью Кирилловну, по приказанию Василья собирались стрельцы в Кремле, и память о самодержавстве царевны первоначально была из Посольского приказа. Нельзя ж все это оставить. По-моему, надо бы Федьку пытать крепко и расспросить об участии других подробно.

— Показания Федьки одинаковы — под пыткой и без пытки, стало, сказать нового ничего не может. Разве в мучениях зачнет клепать на всех и каждого без разбора, так таким наговорам веры иметь не след. Не верю я даже и всему тому, что он написал-то, себя оправляя. А что ты, боярин Лев Кириллович, наметки делаешь на князя Василья Васильича, то неправда, и давно бы он был здесь, если б не лежал хворый в Медведкове. Князья Голицыны искони не были изменниками и, с Божьей помощью, не будут. Знаю я брата Василия — не виноват он ни в чем, разве в несчастий... так в этом пусть Бог его судит, а не мы. Заслуг он оказал немало, не то что какие-нибудь выскочки... — говорил Борис Алексеевич, бурливо и азартно горячась.

Лев Кириллович тоже вскипел, и дело приняло бы острый оборот, если бы не находчивый Иван Борисович. Услыхав крупную речь князя Бориса и заметив затруднительное положение Петра, уважавшего Льва Кирилловича, как дядю, и сердечно любившего старого пестуна, он поспешил вмешаться в спор успокоительной речью.

— Судить и рядить бояре, нам самовольно никого не след, без царского указу, а от государя слова о князе Василии Васильиче мы не слышали, стало, и говорить о нем не приходится. Речь теперь наша, бояре, должна быть одна: подлежит ли за воровство свое Федька Шакловитый смертному убивству?

На этот категорический вопрос все члены — бояре отвечали одним утвердительным «повинен».

— Так и приговор напишем, только не соизволишь ли, государь, — доложил князь Троекуров, обращаясь к Петру, — прежде сослаться с государем-братцем Иваном Алексеевичем?

— Всенепременно, — отвечал Петр, — я напишу к нему сам, а до его указа приговора не исполнять.

Заседание кончилось, и бояре поднялись со своих мест. В это время вошел стряпчий с докладом, что перед монастырскими воротами остановились и просят дозволения въехать князь Василий Васильевич Голицын с сыном Алексеем Васильичем, окольников Неплюев и Змеев, думный дворянин Косогов и думный дьяк Украинцев.

Бояре переглянулись между собой, на всех лицах выразилось напряженное выжидание.

Пусть Украинцев не медля явится сюда, а прочим сказать — ожидать моего указа на посадe, — отчетливо, после небольшого раздумья, сказал Петр, уходя осматривать крепостные снаряжения.

Бояре разошлись, решая по-своему, каждый в уме своем, важный для них вопрос: чья сторона возьмет верх?

В комнате оставались только Борис Алексеевич, суетливо убиравший со стола принадлежности письменоводства, и князь Троекуров, видимо выжидавший ухода товарищей.

— Слышал, Борис Алексеевич, теперь и сам речи Льва Кириллыча? Не от себя ведь он говорил, а со слов сестрицы-царицы. Понаведаться бы тебе к ней да уладить...

— Нечего улаживать, Иван Борисович, — отвечал еще не успокоившийся князь Борис, — от родни да от чувства я не отступлю. Либо я пропаду, либо выгорожу брата Василия, а улаживать не буду — только лишняя свара...

— Ну, как знаешь, как знаешь. Свой ум — царь в голове. Я только как добрый слуга твой чаял тебе помочь, — говорил Троекуров, прощаясь и уходя довольный, что разузнал-таки почву, на которой следует крепко держаться. «Князь-то Василий теперь выгородится, да не поднимется, — решил он сам с собой. — Царь хоть и уважает Бориску, а все-таки бабы поставят на своем. Вот и ладно, что Федьку не настроил».

Глава XII

На другой день любимый дядька Ивана Алексеевича, боярин князь Петр Иванович, приехавший в Москву, вручил старшему царю собственноручное письмо Петра, в котором тот

прочил его уполномочить на перемещение и назначение судей; кроме этого, боярину поручено было словесно испросить у царя Ивана разрешение на самостоятельные распоряжения в Троице по розыскному делу.

Захиревший Иван Алексеевич не противоречил и охотно предоставил младшему брату полную самостоятельность.

И сделал он это не по любви к Петру, которой он не мог иметь, и не по равнодушию к сестре, дорогой для него по кровной связи и по воспоминаниям детства, но в силу общего господствовавшего воззрения на положение женщин того времени, воззрения, воспитавшего его и за пределы которого не могло переступить его слабое понимание.

Петровская партия увидела себя развязанной, единовластной и первым делом поспешила укрепить под собою почву. Тотчас по получении согласия старшего царя из Троицкого монастыря вышел царский указ, исключавший имя царевны-правительницы из всех актов, где оно упоминалось, рядом с именами обоих государей. Но этого было мало. Пока Софья Алексеевна жила в Кремле и пользовалась свободой, она могла собраться с силами и при удобном случае объявить от себя решительную протестацию, опираясь на всегда существующую партию недовольных. Решено было удалить царевну, запереть ее в монастырь, а захваченных ее преданных слуг казнить.

Для исполнения первой задачи, как самой щекотливой ввиду неминуемого противодействия со стороны царевны, послан был в Москву все тот же князь Иван Борисович, выказавший в это смутное время столько находчивости и стойкости, а исполнением второй, то есть развязкой с приверженцами правительницы, заботились все собравшиеся в Троице сторонники Петра.

Но эти сторонники не составляли собою плотной однородной массы, проникнутой единым направлением и преследующей одни интересы, напротив, их соединяло только одно противодействие правительнице, несимпатичной им по пренебрежению ею старинного боярского значения. Поэтому по уничтожении этого связующего интереса из этих сторонников тотчас же выработались особые партии — Нарышкинская,

Лопухинская, иноземская и другие — с их личными интересами. Как непрочно было единодушие сторонников Петра, можно видеть из ссоры, возникшей на первых же порах по поводу Василия Васильевича.

Тесная дружба связывала двоюродных братьев, Василия Васильевича и Бориса Алексеевича, несмотря на разность некоторых взглядов и на положение их в противоположных лагерях. Дружба эта не прекратилась с падением правительства Софьи, и нередко гонцы с искренними дружескими письмами переезжали из Троицы в Медведково и обратно. Да если б даже и не было таких коротких отношений, одна принадлежность их к одному корню, святость кровного союза заставили бы их принимать горячее участие друг в друге. Борис Алексеич с жаром защищал перед Петром своего брата и успел-таки избавить его от всяких расспросов и допросов, пыточных и, непыточных, по оговору Шакловитого.

С другой стороны, заклятыми врагами оберегателя явились сама царица Наталья Кирилловна, ее брат и невестка с родственниками. Старая царица, постоянно видевшая в падчерице к себе упорное недоброжелательство, естественно, приписывала это чуждому влиянию, и в особенности влиянию Василья Васильича. Вытерпев столько мучений, Наталья Кирилловна видела в князе главного виновника своих страданий. Очерствелая и сухая, она жила только двумя чувствами: любовью к сыну и ненавистью к оберегателю. Понятно, что при таком настроении Наталья Кирилловна придавала особую цену оговорам Шакловитого и употребляла все свое влияние на сына к обвинению и гибели Голицына.

Между такими двумя противоположными советами молодой царь выбрал середину и, конечно, не удовлетворил ни ту, ни другую сторону.

9 сентября утром князя Василья Васильича позвали с посада в монастырь. Не получая известий от брата, он обрадовался этому зову и взял с собой объяснительную записку в 17 статьях, но его к царю не допустили. Думный дьяк, остановив его у дворцового крыльца, громко перед многочисленной толпой народа прочитал ему царский указ, —

которым они, Голицыны, отец и сын, лишались боярского звания и ссылались вместе с женами и детьми в Каргополь. Все имущество их конфисковалось на государя. О показаниях Шакловитого относительно подстрекательств к убийству Натальи Кирилловны и относительно сбора стрельцов в указе не упоминалось ни слова.

В таком положении, в каком находился Василий Васильич, его не мог удивить или поразить подобный приговор, и сам он отнесся к нему почти безропотно.

Исполнением приговора торопились, быстро снарядили все семейство Голицыных и под присмотром пристава Бредина со стрельцами отправили в пути.

Но если безропотно отнесся к своей участи сам Василий Васильич, то не так равнодушно узнали о таком приговоре его враги. Старой царице наказание показалось слишком ничтожным в сравнении с тем злом, которое она вынесла. И вот под ее влиянием бывшие в Троице дворяне на другой же день составили челобитную к царю Петру, в которой просили его пытать Шакловитого на площади всенародно для подробного раскрытия участия в замыслах царевны всех сообщников. Это незваное вмешательство не могло понравиться молодому государю, и он приказал объявить челобитчикам приказание — впредь не мешаться не в свое дело, и что он показания Шакловитого находит достаточными.

Окружающие замолкли, но старая царица не остановилась. Сдержав себя на первое время, она и по ее совету молодая жена не упускали впоследствии никакого случая возбудить Петра против Голицына и наконец достигли отчасти своей цели.

Через несколько дней послан был стольник Скрябин с поручением догнать опальных Голицыных и объявить им новое распоряжение. Скрябин догнал их уже в Ярославле, отобрал по допросным пунктам ответы против показаний Шакловитого и под надежной охраной пятидесяти стрельцов повез уже не в Каргополь, а в Яренск, тогда бедную зырянскую деревушку^[22] не более как из 30 дворов, в 700 верстах от Вологды.

Вопрос о судьбе Голицыных кончился, но борьба, возникшая по поводу их между Борисом Алексеевичем и Нарышкинской

партией, проявилась потом по другому поводу при иной обстановке.

За исключением Голицыных, участь остальных преданных лиц царевны подлежала суду боярскому и не вызывала затруднений. По боярскому приговору 11 сентября из арестованных окольных Шакловитый, стрелецкие пятидесятники Обросим Петров, Кузьма Чермный, пятисотенный Иван Муромцев, полковник Семен Рязанов и стрелец Дементий Лаврентьев были приговорены к смертной казни, а остальные — к нещадному наказанию кнутом и к ссылке в Сибирь. Кроме того, из сотрудников князя Василия его ратный товарищ, севский воевода Леонтий Романович Неплюев, был лишен чести, звания, всего имущества и осужден к вечной ссылке в Пустозерск. Другой сотрудник — Змеев — сослан на житье в его костромское имение. Только думный дворянин Косоков и думный дьяк Украинцев не были наказаны и оставлены на прежних местах.

Счастливым поворотом обстоятельств расположил к милосердию молодого царя, тогда еще не очерствелого и не раздраженного смелую стойкостью противной партии. По рассказу Гордона, с которым одинаково говорят и другие современные очевидцы, Петр высказывал намерение пощадить жизнь всех обвиненных и только по усиленным убеждениям патриарха согласился на смертную казнь главных трех преступников: Шакловитого, Петрова и Чермного. Таким образом, и на этот раз церковь не изменила своим традициям как верного охранителя самодержавной власти.

Приговор был исполнен 12 сентября на открытом месте перед монастырем у Московской дороги при многочисленном стечении народа.

Последние три дня Федора Леонтьича не тревожили допросами и о нем как будто забыли. Еще более захудел он за это время. После лукулловского обеда у князя Троекурова снова наступили долгие, голодные дни, так как кусок черного заскорузлого хлеба и кружка какой-то желтоватой вонючей веды не могли приходиться по вкусу желудку, привыкшему к сочным боярским яствам.

«Вот и третий день прошел, а меня не только пытать, а и не спрашивают, — думал заключенный, полулежа или полусидя на связке соломы в своем совершенно почти темном ящике-каморке, грязном и вонючем, без скамьи и стола. — Не дошла ли царица у Ивана Алексеича моего освобождения. Царице ведь без меня не жить... Разве заболела с испуга и горя... Уж не умерла ли? Нет... тогда и царь здесь не жил бы, уехал бы в Москву... Чаю, скоро придут за мной...»

Действительно, за Федором Леонтьичем скоро пришли — освободить, и пришла даже целая команда. Только чудно это освобождение: лица у пришедших серьезные и мрачные, подняли так грубо, не так, как стрелецкого начальника, руки связали, вывели из тюрьмы, но повели не к дворцу, а вон из монастыря. На дороге присоединились еще такие же команды с Оброськой, Кузьмой, Дементием, Ивашкой и Семеном Рязановым. Прошли монастырский двор и вышли из ограды на площадь. Народу тьма кишит, и все толкаются около какого-то возвышающегося помоста, на котором прохаживается странный человек. Догадался наконец Федор Леонтьич, за каким делом привели их... остановился... уперся... Грубые толчки заставили, однако ж, все приближаться и приближаться к роковому месту. «Вот оно что... казнят... — как-то туманно пробежало по мозгу. — Да не острастка ли?»

Вот подошли они вплоть к помосту. Думный дьяк прочитал смертный приговор, смысла которого Федор Леонтьич даже и не понял, так в голове все свилось и затуманилось. Слышит... кто-то, как будто голос Оброськи, причитает, плачет, кается перед православными, крестится и просит в чем-то прощения... Зачем он убивается? Ведь это так... случается, и положат вон туда на плаху, а потом и снимут и отпустят на свободу на все четыре стороны. С дикими, безумно-расширенными глазами поднялся машинально Федор Леонтьич на помост, бессознательно, по привычке сотворил правой рукой крестное знамение, не почувствовал, как сам ли он наклонился или другие наклонили низко... низко... так, что голова коснулась плахи... Вот сейчас прочтут приговор и поднимут... но не сошел Федор Леонтьич, а только красивая голова его скатилась с помоста.

Вслед за головой стрелецкого начальника скатились головы Обросима Петрова и Кузьмы Чермного.

С полковником Рязановым, Муромцевым и Лаврентьевым поступлено было иначе. Их тоже вводили на помост, тоже клали голову на плаху, но тотчас же поднимали и, раздев, укладывали ничком... Другой человек явился с ременным кнутом и... бил нещадно. Подняли их, бесчувственных, вырезали языки и отнесли... Куда?.. Для отправки на вечное жительство в Сибирь.

Не менее тяжкая доля постигла и других преданных лиц царевны. Преподобный монах Сильвестр Медведев, предвидя неминуемую развязку, тотчас по приезде в Кремль полковника Нечаева убежал вместе с Никитой Гладким из Москвы в монастырское село Микулино (в 7 верстах от Москвы) к другу своему — расстриге попу Григорию, а оттуда побежали в Польшу. Пробираясь по Смоленской дороге, они остановились на несколько дней отдохнуть в Бизюковом монастыре, близ Дорогобужа, у старого знакомого — игумена Варфоломея, Здесь-то и захватил их дорогобужский воевода Борис Суворов, извещенный послушником отца Варфоломея Медведева и Гладкого доставили в Троицкий монастырь спустя два дня после казни Шакловитого.

Начались новые допросы. Медведев показал, что он знал о намерении царевны венчаться царским венцом, что действительно подписывал к ее портрету полный титул и вирши, что слышал от Шакловитого намеки на убийство царицы Натальи Кирилловны в таких выражениях: «Если бы ее (Натальи Кирилловны) не было, у государыни царевны с братом было бы советно», но затем отрекся от всякого соучастия в преступных замыслах. Точно так же и на вторичном допросе под ударами кнута, после расстрижения и отлучения от церкви, он ничего нового не высказал.

Более податливым оказался друг его, Никита Гладкий. Как на первом допросе, так и на втором под пыткой он сознавался и, во всем показывая согласно с показаниями Обросима Петрова, плакал и кричал:

— Во всем виновата царевна Софья Алексеевна, взыщет на ней Господь Бог за нашу кровь!

Обоих их тогда же приговорили к смертной казни, но приговор был исполнен только над одним Гладким, Медведева же, вероятно по ходатайству патриарха, заключили в келью Троицкого монастыря, где и подвергли его увещаниям архимандрита Новоспасского монастыря Игнатия и ученого грека Лихуды Софрония. Потом, уже почти через полтора года, когда захвачен был один из главных сообщников Шакловитого — Алексей Стрижев и открыты были тесные сношения Сильвестра с чародеем, поляком Силиным, Медведева снова допрашивали под страшной пыткой «огнем и железом» и наконец казнили 11 февраля 1691 года.

Безустанно работали заплечные мастера, полосуюя тела и отрубая головы приверженцам правительницы, и никого почти в живых не осталось.

Иван Борисович приехал в Москву с поручением выжить царевну из кремлевских палат и водворить ее в Новодевичий монастырь. Нелегкое было это поручение.

На убеждения рассчитывать было трудно, а на насилие он не был уполномочен, да и старший царь, Иван, едва ли бы согласился. Оставалось надеяться только на настойчивость да на то, что правительница наконец сама убедится на невозможность дальнейшего своего пребывания в Кремле.

Нервное возбуждение, выказанное правительницей в первый день нового года, по случаю приезда полковника Нечаева, сменилось упадком сил — апатией. Совершенным автоматом прожила она последующие дни, дни буйства стрельцов, взятия Шакловитого и всех ее приближенных. Да и не было вокруг нее ничего, что могло пробудить упавшую энергию. Вести, доходившие до нее, были крайне неутешительны. Постельница ее, Арина Федоровна Оглоблина, водившая большое и короткое знакомство в стрелецких слободах, каждый день передавала ей все, что узнавала от стрельчих, мужа которых были в Троицком монастыре. Оглоблина последовательно рассказывала царевне сведения о допросах Шакловитого, Обросима Петрова и других, об их показаниях и наконец об их казни.

Как повлияла на нее смерть Федора Леонтыча?

Странное дело. Самая тесная связь соединяла ее с Шакловитым, а между тем она отнеслась к его смерти почти равнодушно, ее даже более поразила участь Петрова, Чермного и Рязанова. Но еще с большим интересом, с большим сердечным участием следила она за борьбой, начавшейся за судьбу Голицыных.

Царевне минуло тридцать два года, а она еще никого не любила. Девять лет тому назад, поддавшись влиянию обольстительной речи Голицына, она отдалась ему, серьезно привязалась и думала выйти за него замуж, но разница в годах и взглядах скоро провела между ними резкую разъединяющую черту. Молодой, живой ум, жаждущий деятельности, поделиться избытком своих сил для счастья других, не мог сродниться с постоянным холодным расчетом, с математическими выкладками житейской опытности князя, и она отошла от него, но все-таки сохраняла к нему преданность и уважение к его уму, дарованиям и обширному образованию. Но отсутствие в Крымском походе... Подвернулся худородный красавец. Заговорило животное чувство, потребность самки, и царица допустила его к себе, не рассмотрев, насколько подходит он к ней по духовному развитию. И вот в странном положении очутилась она. Телом принадлежала она ему, но чем ближе и чаще становились отношения, тем дальше она уходила от него. Скудоумие и эгоизм худородного все яснее и яснее рисовались в ее глазах, и в последнее время у нее появилось какое-то отвращение к нему. Иногда пыталась она наложить на его образ лучшие краски, обмануть и оправдать себя, поставить его на высоту, но и эти усилия все более отдаляли.

Царица старалась забыть в трудах, отдаваясь делу правления, но сердце женское присасывается ко всему; живет и вечно работает. По неимению субъекта для любви оно присасывается к чувству ненависти... Любовь и ненависть, по сущности, одинаковы — как то, так и другое приносят страстное увлечение.

С ребяческих лет жизнь поставила царицу в неприязненные отношения к мачехе, и эти отношения,

естественно, перешли под влиянием сложившихся обстоятельств в ненависть. Старая царица и молодая царевна ненавидели друг друга, и это перешло к их приближенным, думающим, живущим их головой. Вот почему у всех старых стрельцов и у Шакловитого постоянно была одна мысль — *принять старую царицу медведиху*, а не ее сына, тогда как весь политический интерес должен бы сосредоточиваться на нем.

Ненависть против Петра у царевны развилась уже впоследствии, после смерти старой царицы, от унижения, лишения власти и личного оскорбления.

Когда апатическое состояние духа после первых чисел сентября у царевны миновало, и она трезво оглянула свое положение, оно представлялось ей мрачным, но не безнадежным. Правда, она лишилась почти всех преданных, то засеченных, то обезглавленных, но в среде старых стрельцов имя ее пользовалось симпатией и всегда выговаривалось с глубокой благодарностью. Эта симпатия не могла не относиться подозрительно ко всем новым порядкам, а при случае могла превратиться и в открытое неудовольствие. Надобно было наблюдать и выжидать благоприятного момента, отстраняясь на время от всякого участия. Но наблюдать в Кремле, где на виду каждый шаг, где сотни глаз следят за каждым движением, в действительности оказалось невозможным. Самым лучшим, удобным местом в этом отношении представлялся монастырь, где под наружным отречением от мирских интересов в те времена именно и сосредоточивались мирские вопросы. Из монастырей велись самые деятельные переговоры со стрелецкими слободами, и ниоткуда столько, как из монастырей, не бегали за различными снадобьями к разным колдунам и знахарям.

Увидев лучший для себя выход из настоящего затруднительного положения только в переезде в монастырь не в качестве постриженной монахини, отрекшейся от мира, но как живущей на покое, царевна не имела ничего против выбора Новодевичьего монастыря. Напротив того, если бы ей самой предоставлено было право выбора, то она остановилась бы

именно на этом монастыре, где весь штат был ей хорошо знаком, где у нее было столько благодарных и преданных.

Софья Алексеевна послала сказать боярину Ивану Борисовичу о своем согласии исполнить требование брата. Обрадованный князь, рассыпаясь в изъявлениях благодарности и преданности, стал торопить с отъездом.

Начались бесконечные хлопоты и сборы к переезду, так как царевна брала с собой всю почти домашнюю обиходность и свой служебный штат.

Наконец в одно прекрасное утро царская колымага увезла Софью из терема в Новодевичий... Грустно было царевне прощаться с своим теремом, где, правда, мало видела она счастья, но где каждая мелочь в минувшем по воспоминаниям отливалась счастьем. Грустно ей было расставаться с сестрами Екатериной Алексеевной и Марфой Алексеевной, в особенности с последней, с которой она была более дружна. Екатерина и Марфа обещали навещать нередко, а Марфа успела втихомолку дать обещание извещать решительно обо всем.

Глава XIII

Софья Алексеевна в монастыре. Бесконечной цепью потянулось время, день за днем, однообразно до утомления, до иступления... В первое время царевне как будто даже нравилась эта невозмутимая тишина, это отрешение от прошлого, но потом нервное возбуждение пробудилось, и потребность деятельности заговорила снова. С напряженным вниманием стала следить она за действиями нового правительства; частенько постельницы ее, Ульяна Калужкина, Авдотья Григорьева или Вера Васютинская, бегали к знакомым им стрельчихам, тщательно собирая и передавая ей все вести. Нередко навещала ее и царевна Марфа Алексеевна, а еще чаще пересылала она ей все новости в *стряпне*. Да и кроме этих источников царевна могла сама лично разузнавать о настроении умов от многочисленных богомольцев, беспрепятственно допускаемых в монастырь во время праздников и крестных ходов, в которых и она сама почти всегда

участвовала. Правда, для наблюдения за ней постоянно находилась на монастырском дворе дежурная стража, но эта стража, ничего не подозревавшая и не предполагавшая, отправляла обязанности свои беспечно. Все были уверены в твердости нового правительства и в совершенной невозможности какой-либо попытки со стороны царевны.

И действительно, в первое время всякая попытка была невозможна. Новое правительство обеспечило себя решительными и энергичными мерами. Почти все преданные царевне, занимавшие высшие должности, были удалены и заменены преданными людьми со стороны Петра^[23]. Редкий день проходил без печальной новости для царевны, то о ссылках, то об опалах сотрудников быстро таявшей ее партии. Новое правительство окружил о себя верными слугами и в первое время руководилось взглядами большинства.

Все русское общество того времени, за исключением князей Голицыных и весьма немногих образованных людей, с ненавистью смотрело на все более и более усиливающийся наплыв иностранцев. Народ с презрением относился к вере, обычаям и наряду иностранцев и при всяком удобном случае осыпал их насмешками и оскорблениями. Пруд на Покровке, где строились при царе Михаиле Федоровиче дома иностранцев, носил прозвище поганого, а слобода немецкая — Кукуя. «Немец! Немец! Шиш на Кукуе!» — кричали уличные мальчишки и лавочники при проходе иностранца, осыпая его нарядное платье пылью и грязью. Дикие казались народу иноземные обычаи, не понимал он, как, например, можно есть траву (салат), как какой-нибудь корове. Да и не один простой народ относился таким образом к иностранцам. Духовенство, передовое сословие по образованию, с озлоблением смотрело на прилив иностранцев, в особенности на дозволение строить им свои храмы, не одобряло тайно и явно мер правительства к сближению с чуждыми государствами.

Кроток и смирен сердцем был патриарх Иоаким, но и он в завещании своем говорит: «Молю их царское пресветлое величество и пред Спасителем нашим Богом заповедываю: да возбранят проклятым еретикам-иноверцам начальствовать...

над служивыми людьми, но да велют отставить их врагов христианских все совершенно, потому что иноверцы с нами, православными христианами, в вере не единомысленны, в преданиях отеческих не согласны, церкви — матери нашей — чужды, какая же может быть польза от них, проклятых еретиков?.. Дивлюся я, — далее пишет Иоаким, — царским палатным советникам и правителям, которые бывали в чужих краях на посольствах: разве не видели они, что в каждом государстве есть свои нравы, обычаи, одежды, что людям иной веры там никаких достоинств не дают... А здесь, чего и не бывало, то еретикам дозволено...»

Ввиду такого склада русского общества царевна в цивилизующем деле действовала чрезвычайно осторожно. Точно так же, как и отец ее, она покровительствовала иностранцам, вызывала их, позволяла французским эмигрантам, притесненным Людовиком XIV, свободный проезд в Россию по всем рубежам, но вместе с тем строго охраняла религиозное чувство народа. Так, при первой попытке фанатика лютеранина Квирина Кульмана она поспешила прекратить его пропаганду, подвергнуть его самого аресту, потом розыску и наконец утвердила его смертный приговор.

Можно ли было ожидать такой же осторожности от впечатлительной, увлекающейся натуры Петра? Семнадцатилетний царь сошелся с немцами, веселая слободская жизнь немцев понравилась ему. Там бывали пиры, танцевальные вечера, маскарады, там много пили, там допускалось свободное обращение с женщинами, и нетрудно было предвидеть, что страстный юноша весь отдастся этой новой жизни и потребует такой жизни от всего русского народа.

И стала рассчитывать царевна на неизбежные промахи нового правительства. Темными ночами, на монастырском ложе и в храме, среди церковной службы, отдававшейся в ее ушах только одними звуками, постоянно задавался в уме один вопрос: когда настанет это время, когда общее раздражение вызовет ее опять к прежней деятельности?

Но прошел долгий год, прошел и другой, а расчеты не сбывались. Около Петра стояли люди, имевшие на него влияние

и жившие одинаковой жизнью с массой: царица Наталья Кирилловна и еще не надоевшая молодая жена. По настоянию матери тотчас же по окончании борьба брата с сестрой, через девять месяцев после приглашения эмигрантов-французов протестантского вероисповедания, вышел новый указ, запрещающий уже переезд в Россию иностранцев без предварительного отобрания от них различных подробных сведений и без разрешения пропуска из Москвы. В таком же смысле, согласном с мнением русского большинства, разрешен был и вопрос о выборе патриарха. Старый Иоаким умер 17 марта 1690 года. В преемники ему собор в июле представил государю трех кандидатов: Адриана — митрополита Казанского, Никиту — архиепископа Коломенского и Викентия — архиепископа Троице-Сергиевой лавры, Но, кроме этих кандидатов, некоторые иерархи, особенно высшие, указывали на Маркелла — архиепископа Псковского. Государь, помимо кандидатов выборных, желал назначить Маркелла, человека образованного, уступчивого и не относившегося враждебно к иностранцам, но тем не менее против своего желания, по настояниям Натальи Кирилловны, 22 августа 1690 года выбрал Адриана Казанского, друга Иоакима, разделявшего все взгляды и убеждения покойного.

В дворце проявилось двоякое направление. Как частный человек, Петр любил кутнуть с иноземцами, панибратствовал с ними, но в официальных сферах иностранцы совершенно ступшеывались. Не только рядовые немцы, но даже генералы и полковники не допускались во дворец, когда духовенство, бояре, военные и торговые люди чествовались в дни высокаторжественные чаркою водки из царских рук. Не было исключения даже для самого Гордона, и, раз явившись по приглашению к царскому столу (по случаю рождения наследника Алексея Петровича 28 февраля 1690 года), даже он должен был удалиться.

Все эти новости, своевременно доходившие в Новодевичий монастырь, приводили царевну в тяжкое раздумье. Неужели она ошиблась в расчете? Неужели ей вечно сидеть в этих ненавистных монастырских стенах? Уныние начинало

подтачивать здоровье, явилось сомнение в самой себе, в своих силах, нерешительность, упадок энергии и мужества.

Между тем расчеты царевны были верны. Только действительность шла медленнее нетерпеливых ожиданий. Влияние Натальи Кирилловны по мере развития государственной деятельности молодого царя, его постоянных мыканий по разным частям государства, естественно, слабело, а красивая молодая жена все больше и больше наскучивала своими вечными слезливыми сантиментами.

Прошло еще три года. Будничная монастырская жизнь с ее ежедневными сплетнями и лукавыми интригами все теснее и теснее охватывала царевну, незаметно и исподволь увлекая ее в тину своих мелких интересов. Сестры по-прежнему навещали ее часто, а в особенности Марфа, но и от них тоже передавались такие же сплетни, расходившиеся от стрельчих, жен и вдов, являвшихся к царевнам по прикормкам и плативших за даровой корм разнообразными новостями, большей части доморощенного творчества^[24]. Передавалось более или менее таинственно, под большим секретом, на ухо, без свидетелей о том, что царь Петр совсем спился с круга, что он и днюет и ночует у проклятых немцев, измаял всех потешными играми да походами и что во всех-то тех походах вся тягость падает на бедных стрельцов, которых царь, видимо, не любит и при всяком случае унижает перед своими любимыми потешными, что стрельцы ропщут на такую несправедливость.

Выслушивала все эти вести царевна безучастно, пропуская их мимо ушей; узнала она и испытала, насколько можно им верить.

Однажды в двадцатых числах января, вставши от послеобеденного отдыха, царевна уместилась за своим обычным вышиванием в поджидании вечерней службы. Не успела она сделать и нескольких стежков, как в коридоре перед кельей послышалось торопливое движение и в комнату вошла постельница.

— Матушка государыня, — торопилась она высказаться, — сестрица Марфа Алексеевна изволила пожаловать.

— Сестрица Марфа? — апатично переспросила царевна. — Кажись, она недавно была, — добавила она, как будто говоря сама с собой.

— Голубушка, Сонюшка, а я к тебе с важным, — заговорила Марфа Алексеевна, только что показавшись в дверях.

Марфа Алексеевна была 42 лет, следовательно, старше Софьи пятью годами, но выглядела моложе. Голубенькие глазки ее добродушно смотрели из-под светло-русых бровей, голос отливал чистым звуком, а в движениях выказывалась еще бойкость сохранившихся сил.

— Рада тебе, матушка государыня сестрица Марфа Алексеевна, милости просим, — отвечала царевна, не забывая величания полным именем, как требовали того строго соблюдаемые обычаи отношений младших сестер к старшим. Впрочем, только в этом величании и заключалось все преимущество Марфы Алексеевны, во всех же прочих отношениях она сама признавала превосходство младшей сестры, искренно любила ее и безропотно исполняла ее волю.

— Как здоровье твое, государыня сестрица, — не забыла осведомиться Софья Алексеевна, соблюдая весь этикет того времени, обязывающий непременно прежде всего ради уважения, особенно к старшим, осведомляться о здоровье.

— Слава Господу Богу, по святым молитвам матери Дорофее и твоим, Сонюшка, голубушка, — проговорила Марфа Алексеевна, усаживаясь в глубокое кресло подле сестры, — а я к тебе с вестями, да еще с какими!

— Не родила ли Ульянка опять двойню? — с едва заметной усмешкой спросила Софья, принимаясь снова за вышивание.

— И... мать моя, что ты! Неужто каждый месяц будет носить по двойне? Совсем не то... Переполох у нас там страшный. Сама царица Наталья Кирилловна недужит.

— Недужит? Да ведь она часто недужит... оправится.

— Нет, голубушка, видно, не оправится ей. Не чаёт встать. Утром призывала к себе отца патриарха и братца Ивана прощаться. Все уговаривала братца Ивана и сына жить в любви и согласии, заодно, не идти друг против друга, а отца Адриана просила не оставлять их своими советами и

молитвами. Так, слышно, говорила все жалостливо... рекой разливалась...

— Нечего было жалобиться-то, — холодно отозвалась Софья, — братец Иван и так из воли сына не выйдет. Была я, со мной был дружен, теперь верх взял нарышкинец — будет с ним заодно.

— На братца Ивана не жалься, голубушка, ты ведь знаешь, каков он был сызмальства... — добродушно старалась оправдать брата Марфа Алексеевна.

— Я и не жалюсь сестрица, а так, к слову пришлось:) нечего было разливаться-то. А что, сынок с милой... сестренкой-то жалеет мать?

— Как не жалеть! Плачут оба... А пуще их плачет. Авдотья... разливается...

— Что ж ей, сестрица, разливаться? Не мать родная.

— Эх, голубушка, не мать родная, а дороже Наталья для нее матери родной. Только и жила Авдотья за свекровью. Пропадет теперь она.

— Неужто, сестрица, правда, что говорят?..

— Кто их знает. Ихние же постельницы болтают. Больно уж любят они друг друга., братец с сестрицей. Оба они такие пригожие да огневые. Он, почитай, каждый день пьян, от одной зари до другой все с басурманами — еретиками. Чаю, что и грехом-то не считает.

— И у немцев, сестрица, это грехом прозывается.

— У еретиков-то? У еретиков, голубушка, ни в чем греха нет. Анна рассказывала мне, — а ей передавала стрельчиха, что жила летось у одного немца в слободе, — такие страсти... такие...

Не успела, однако ж, высказать Марфа Алексеевна, какие видела страсти у немца стрельчиха, как в это время колокол ударил к вечерней службе.

— Прощай, голубушка, тебе в церковь, а мне домой пора.

— Навещайте, сестрица, меня, горемычную заключенницу. Только и отрады мне, как вы приедете. Все почти меня забыли. Царицы и тетушка Татьяна Михайловна никогда не навестят,

видно, боятся. Вот вы да Екатерина не забываете, — говорила Софья Алексеевна, провожая старшую сестру.

Вечерняя служба шла по уставу. На своем обыкновенном месте стояла царевна Софья Алексеевна, по обыкновению, земные и поясные поклоны клала она, не слыша ни одного слова из молитвенных песнопений. «Что мне теперь в смерти мачехи! Какая польза? Если б несколько лет назад... не стояла б я здесь, как в тюрьме. А все она... всему причиной она! Исстрадалась я от нее всю свою жизнь. Должна бы радоваться, если ее не будет, а мне теперь как-то все равно. Точно обтерпелось... видно, можно привыкнуть и к тюрьме... и к неволе... Как-то поведет тебя Петр... узды не будет... понесется, пожалуй... может и голову сломить».

В последние годы расстроенное здоровье царицы Натальи Кирилловны заметно ухудшилось, но так как болезненные припадки проходили и царица как будто совершенно оправлялась, то и на припадок, случившийся с ней 20 января 1694 года, почти никто не обратил особенного внимания, и даже сам Петр не отменил назначенного им на 25 января похода. Но еще накануне царица почувствовала себя очень дурно, а призванный доктор объявил положение ее безнадежным. 25 января утром в восемь часов она скончалась после пятидневной болезни на 42-м году своей жизни.

Похороны происходили, по обычаю того времени, на другой день с приличными обрядами в московском Вознесенском девичьем монастыре.

В продолжение трех суток сын горевал и тосковал, но уже вечер четвертого дня провел с *компанией* у Лефорта, а утром следующего дня отправил в Архангельск к графу Федору Матвеевичу Апраскину собственноручное письмо, в котором делал подробные распоряжения о заготовлении леса, железа и других материалов для постройки малого корабля, «яко Ной, от беды мало отдохнув и о невозвратном оставя, о живом пишу».

Глава XIV

С кончиной старой царицы-матери спали с Петра последние путы старой русской жизни. С неудержимой силой страстной нервной природы он отдался новым заморским друзьям своим, с ними веселился, пил и курил, от них учился, с ними советовался, как перекроить и у себя точно так же, как там жилось у них на Западе. Увлеченный сначала только свободой развитой жизни Запада, беззаботной веселостью товарищей-иностранцев, этих юрких искателей счастья и приключений, он пошел дальше и скоро увидел необходимость единения с Западом, необходимость пересадки к себе всего, что было выработано, не без тяжкого труда жизнью наших западных соседей. Он понял, что пересадка совершалась и прежде, только тихо и медленно, — новое растение хирело, гложло от доморощенных сорных трав, и он в избытке физических сил своих почувствовал возможность вдруг одним махом и очистить почву, и вырастить *целое* дерево.

Потешные походы, в которых участвовали стрельцы — представители старого строя, — и новые полки, обученные иностранцами, походы на Белое море уже подготавливали средства к далеко не потешному походу под Азов.

Неудачен был первый поход под Азов, много погубилось народу, но он выяснил наши слабые стороны, на что надобно было обратить внимание. И вот только что кончился этот поход, как стали приготавливаться к новому туда же, начались громадные работы по сооружению флота.

С удивлением смотрел на новые замыслы единокровного брата другой соправитель — царь Иван Алексеевич, может быть, он сомневался и не доверял, но не вмешивался и не противоречил ни единым словом. Как ни слабо было умственное развитие царя Ивана, но он сознавал, что брат идет не новой дорогой, а той же, какой шли и дед, и отец его, и сестра Софья, только поступь брата иная, поступь сильного нервного человека.

Особенно сдружились братья после смерти Натальи Кирилловны, как будто предчувствовали скорую вечную разлуку. Ровно через два года после смерти старой царицы, в январе же (29-го числа), в 10 часов утра Иван Алексеевич умер скоропостижно, 30 лет, оставив вдову Прасковью Федоровну, из

дома Салтыковых, и трех дочерей: Катерину, Анну и Прасковью^[25].

Смерть Ивана Алексеевича, кроме личного горя, не принесла никакой перемены. Давно уж и старая русская партия, и царевна Софья перестали смотреть на него как на опору, самостоятельно действующую и способную к борьбе.

Да и некогда было горевать Петру, деятельному работнику, занятому от зари до зари. Весною этого же года он создавал флотилии, необходимые для осады турецких крепостей, а с началом лета началась вторичная осада Азова под непосредственным его начальством. На этот раз поход увенчался успехом, Азов был взят, и 30 сентября 1696 года победоносная армия удостоилась триумфального входа в столицу.

Этот первый успех, как плод преобразовательных начинаний, еще более убедил Петра в необходимости полного преобразования и в возможности достигнуть этого силою своей воли. Проекты различных реформ тысячами зародились в его голове — недоставало только способных исполнителей. Поэтому, покончив с военными действиями, он принялся за вколачивание просвещения и на первый раз для изучения морского дела «многое число благородных послал в Голландию и иные государства учиться архитектуре и управлению корабельному».

Итак, русские бояре отправились учиться за границу. В числе этих избранных (50 комнатных стольников и спальников) находились дети первых русских фамилий: Долгоруких, Голицыных, Толстых, Прозоровских и т. д. Но этого мало: с электрической быстротой облетело Москву известие, что государь сам в свите своего посла, любимца Лефорта, едет за границу.

Такие вести поразили всех и встревожили: теперь дело не касалось только до забав потешных царя, а забиралось в интересах каждого. Разумеется, более всех встревожилась старая русская партия, видевшая в чужих краях страны богомерзкие, рассадник всякого зла и гибель всего православия царства русского. Вспомнилось доброе старое время,

вспомнилось правление Софьи, и скоро неудовольствие выразилось составлением заговора.

В двадцатых числах февраля послы собрались в путь, и Лефорт в своем доме 23 февраля давал последний увеселительный вечер с танцами и музыкой. Беззаботно веселился молодой государь в кругу своих компанейцев; объемистая чарка не раз уж обошла пирующих с пожеланиями счастливого пути и скорого возвращения, когда к общему изумлению неожиданное обстоятельство остановило отъезд на несколько времени, Вдруг среди пира отзывают Петра в другую комнату под предлогом весьма важного дела. В этой комнате два стрельца Стремянного полка Канищева пятидесятники Ларион Елизарьев и Григорий Силин рассказывают ему об умысле полковника и думного дворянина Ивана Даниловича Цыклера убить его, для чего будто бы и подговаривает стрельцов зажечь дом и на пожаре совершить преступление.

Не смутившись, Петр тотчас распорядился послать капитана гвардии Лопухина собрать солдат и явиться с ними к дому Цыклера, боярина Льва Кирилловича Нарышкина послал с извечиками в Преображенское для отобрания допросов, а сам с некоторыми приближенными поехал лично арестовать преступников.

В доме Цыклера он застал всех соучастников заговора: окольного Алексея Соковнина, стольника Федора Пушкина, стрельца Филиппова, стрельца Рожина, казака Лукьянова — и, арестовав всех, отправил в Преображенское. Из допросов извечиков между тем обнаружилось: из речей Елизарьева, что будто полковник Цыклер выпрашивал — смирно ли в стрелецких полках, выпытывал, кто будет государем, если что случится с государем за морем, намекая при этом, что тщится государыня из Девичьего монастыря. По показанию другого извечика — Григория Силина, Цыклер обвинялся еще более положительно: будто Цыклер говорил: «Известно государю, что у него, Ивана (Цыклера), жена и дочь хороши, и хотел государь к нему быть и над женою его и над дочерью учинить блудное дело, и в то число он, Иван, его, государя, изрежет ножей в пять».

На эти обвинения и улики Цыклер сначала не признавался, но после пытки стал ссылаться и обвинять Соковнина, будто именно тот выспрашивал у него, что делается в стрелецких полках, в таких выражениях: «Где они б... дети передевались. Знать, спят. Где они пропали? Мочно им государя убить, потому что ездит он один, и на пожаре бывает малолюдством, и около посольского дома ездит одиночеством. Что они спят, по се число ничего не учинят?» И подобные выражения об убийстве государя и о стрельцах Соковнин повторял в каждый приезд к нему Цыклера.^[26]

Соковнин после 10 ударов повинился и обвинил зятя своего Федора Пушкина, будто тот говорил ему такие слова: «Погубил государь нас всех, и мочно его за то убить». Кроме этих слов, будто Федор Пушкин еще жаловался на посылку детей за море учиться да еще на гнев государя к отцу его.

Кроме данных показаний, полковник Цыклер сознался как в подговоре им стрельцов Василия Филиппова и Федора Рожина убить государя, так и в подготовке поднять на смуту донских казаков.

По окончании розыска, веденного самим Петром, назначен был над обвиняемым суд из бояр, окольных и думных дворян, который, по выслушании улик и пыточных речей, приговорил Алексея Соковнина и Ивана Цыклера четвертовать, а Федору Пушкину, двум стрельцам, Филиппову и Рожину, а также казаку Лукьянову отсечь головы.

Казнь совершилась 4 марта при самой ужасной обстановке...

Припомнились Петру детские впечатления первого стрелецкого бунта, угнетения матери, интриги Ивана Михайловича Милославского, и под влиянием этих-то впечатлений он приказал вырыть за 12 лет перед этим похороненное в трапезе церкви Святого Николая Столпника (что на Покровке) тело Милославского, привезти его на телеге, запряженной шестью чудскими свиньями в Преображенское и поставить в открытом гробу, под плахой, на которой должна была совершиться казнь.^[27]

Отсекались руки и ноги Соковнина и Цыклера, затем головы, как их, так и остальных трех преступников, лилась кровь и потоком поливала труп Ивана Михайловича...

Но этим еще не кончилось. 4 же марта выстроен был на Красной площади каменный столб с вделанными в него пятью шпицами. По совершении казни в Преображенском трупы были перевезены на площадь, головы воткнуты на шпицах, а тела разбросаны кругом столба. И долго, в продолжение нескольких месяцев, торчали эти головы на шпицах, а разлагающиеся трупы заражали воздух.

Это был прощальный привет Москве от Петра перед отъездом его в чужие края.

Не избегли опалы и родственники казненных. Все они были разосланы по отдаленным городам, причем некоторые были лишены чести и званий. Заодно уж ссылка поразила и родственников молодой царицы — Лопухиных. Федор Абрамович, отец царицы Евдокии, сослан в Тотьму, а дяди ее, Василь и Сергей Абрамовичи, первый — в Саратов, а второй — в Вязьму. Но за какие вины сосланы были они, про это знал только Петр...

Участия царевны Софьи Алексеевны в заговоре убить государя разыскное дело не обнаружило, но тем не менее одно упоминание имени сестры, как претендательницы на престол в случае смерти государя, навлекло на нее подозрение и возбуждало стихнувшую вражду. Не желая оставлять царевне и малейшей возможности воспользоваться его отсутствием, Петр приказал усилить караулы (не менее ста человек) под начальством полковника и двух капитанов, строго охранять и днем, и ночью все монастырские входы и не пропускать туда никого из посторонних, даже нищих и богомольцев.

Глава XV

- Стрельцы к Москве пришли.
- Что будет им?
- Велено рубить.
- Жаль мне их, бедных!

Переписывались между собой царевна Марфа Алексеевна и Софья записками, спрятанными в стряпне (в хлебах, пирогах) или в рукоделии. Да и кроме этих лаконических известий, Софья Алексеевна имела самые полные, подробные сведения обо всем, что делалось в Москве, и даже о том, чего вовсе не делалось, но могло делаться (в плодовитом воображении стрельчих и комнатных постельниц), от карлицы Марфы Алексеевны, приносившей стряпню к заключенной царевне в Новодевичий монастырь.

Первого числа апреля 1698 года, Истекает великий пост, и в монастыре делаются приготовления к встрече светлого праздника. Правда, не прежние это приготовления. Бывало, в вербное воскресенье и во всю страстную седмицу народу в монастыре видимо-невидимо: и богомольцев, и заказчиков разных обнов, вышиваний и изукрашенных верб, а теперь пусто — ни молельщиков, ни нищих на обширном монастырском дворе, по которому изредка пробежит только какая-нибудь послушница за приказанием к матери игуменьи или к казначее. Посторонних никого, у ворот стоят крепкие караулы царского войска и не пропускают почти никого, разве уж по особому разрешению князя Михаила Григорьевича Ромодановского. Но и здесь, как и везде и во всех репрессивных мерах, страдают только невинные, а кому нужно... те изобретут дорогу...

Утомленная продолжительной утренней службой воротилась царевна Софья в свою келью. От весеннего ли утреннего воздуха, от внутреннего ли волнения или от болезненного нервного настроения, но, несмотря на утомление долгого стояния, Софья Алексеевна выглядела не по-прежнему. Розовый румянец густо застыл на щеках, начинавших тускнеть, полуопущенные, как и подобает монастырке, глаза по временам бодро и весело оглядывают кругом, порой какая-то странная усмешка пробежит по сжатым губам. Царевне 42-й год. Состарившаяся в последнее время вдруг на несколько лет, она теперь снова как будто помолодела, и как будто тверже стала ее походка.

Быстро сбросив и откинув в угол свое покрывало и верхнее платье, царевна осмотрелась и, удостоверясь, что в соседней

комнате нет никого, опустилась в кресло, стоявшее перед ее рабочим столиком, на котором в беспорядке лежали ее вышивание и несколько книг. С неудовольствием оттолкнув свесившуюся со стола швейную работу, она поставила на стол оба локтя, оперев на руки голову. Вся фигура ее была — нетерпение.

За нею следом вошло в комнату, ковыляя немного на правую ножку, маленькое худенькое существо с ребячьим телом и с несоразмерно развитой головой — карлица Марфы Алексеевны, Дуня. При всем безобразии своем карлица не была неприятна, напротив, в самом безобразии сказывалась симпатичная миловидность. Разноцветные глаза — один глаз голубовато-серый, другой карий — смотрели так смышлено, лукаво, но вместе с тем и так приветливо, широкий рот, чуть не до ушей, с толстыми губами, складывался в постоянную добродушную улыбку. Со всеми была она в дружбе; на что уж был злющ лохматый пес Солтан, не пропускавший без ворчания никого из прохожих, и тот при каждом выходе Дуни на задворок важно подходил к ней, становился на задние лапы, вскидывал передние к ней на плечи и лизал морщинистый лоб. И все любили ее, начиная с прачки и оканчивая царевной Марфой Алексеевной; все, и постельницы, и сенные девушки, постоянно поверяли ей секреты, тайные похождения; все пользовались ее услугами, и никому никогда не изменяла она.

Войдя в комнату, карлица набожно помолилась перед иконами, отвесила земной поклон царевне и, поцеловав ее руку, стала у рабочего стола, смиренно сложив калачиком маленькие ручки.

— Заждалась я тебя, Дуня, измучилась совсем. Что у вас там делается на Верху? — закидывала вопросами царевна.

— Чему делаться-то, матушка государыня, акромья дурного... ничего. Ноне времена... и... и... — протянула карлица, в пояснение покачав головой.

— Что тот-то? Все нет от него писем, Дуня?

— Ничего нет, матушка, ни строчки. Вот уж сколько времени словно камень в воду — сами потешные дивуются. Слышно, говор такой в народе идет, будто кончился... И царство бы ему

небесное, пусть бы вселил его в селения праведных... и здесь много накуролесил. Вот хоть и ноне. Уехал к еретикам, прости ему Господи, бросил все, а потешные всем орудуют. На днях Федоровна, барская барыня при княгине Прасковье Ивановне Ромодановской, — а как бы ей не знать аль солгать, — при мне сказывала стрельчихе Артарской, будто бояре хотели не то удушить, не то украсть ребенка-царевича и платье на него уж другое надели, да царица проведала и не допустила. Так бояре и царицу-то по щекам били. Ну, слыханное ли такое дело? Не так было при тебе, государыня-матушка, когда ты державствовала... И жалеют-то тебя теперь как!..

— Жалеют, Дуняша? Кто? Стрельцы? А не сами ль они меня выдали? Я ли их не жаловала?

— Все неразумие наше, государыня, одно. Теперь спохватились... И плачутся же они как по тебе! Ведь нам все известно. Стрельчихи не токмо на кормках, а и в будни завсегда у наших постельниц... говорят ведь...

— Что они рассказывают? На что больше жалуются?

— На все, государыня, житья им нет. Государь, как связался с немцами, совсем переменялся, зверем смотрит на них... Как только принял державство, так и пошел курить. Помнишь, бывало, при тебе стрельцам был покой, служба не тяжкая, пришел с караула — лежи себе аль торгуй, а у него какой покой! Ноне поход, завтра поход, то крепости ему рой, то баталии производи, а вместо спасиба одни насмешки да унижения. Везде, вишь, немцы берут верх, а наших бьют да срамят. Вон под Азов, под турку, пошли, и там от немцев житья не было. Немец поведет подкоп будто под крепость, а в сам деле наших православных взорвет. На штурму, где больше бьют, туда и посылали стрельцов. Больно их, говорят, много легло под Азовом. А как взяли Азов, ну, думают стрельцы, теперь отдохнем дома в матушке-Москве, ан немцы и тут удружили. Всех, как есть всех разослали: кого под Азовом оставили на тяжкую работу, кого в обереженье от турка иль поляка по рубежам отослали, в Москве как есть ни одного стрельца, только одни потешные да солдатские. Ну сама посуди, государыня, каково им? Сами на чужой стороне голодуют, извелись, а в Москве их

жены без мужей, дети без отцов совсем обнищали, оборвались все, только и живут милостыней Христа ради. Нетто от хорошего житья прибегли они сюда!

— Сколько, Дуняша, прибежало?

— Сотни две, матушка, да они и все готовы сбежать...

— Что они гадают, Дуняша, на чем решили?

— Решили, государыня, привести опять тебя на державство.

Моление ведь свое они тебе передали?

— Передали, Дуня, и я грамотку им от себя послала. Переслала им сестрица?

— Как же, государыня, передала. При мне матушка Марфа Алексеевна посылала постельницу Клушину с грамоткой к стрельчихе Анютке Никитиной, чтоб та передала Ваське Туме. При мне и наказывала ей строго-настрога. «Письмо я тебе отдаю, — приказывала царевна, — поверя тебе, а буде пронесется, тебя же распытают, а мне ведь, опричь монастыря, ничего не будет!» И передала Никитина письмецо Туме, я доподлинно знаю, передала на дворишке его у Арбата, у явленного Николы.

— Спасибо сестрице Марфе Алексеевне, не забывает она меня заключенную, — с чувством проговорила царевна, задумавшись.

— Как можно забывать, — отозвалась словоохотливая карлица. — Помнит твою добродетель, как ты была в державстве. Да и другие твои сестрицы, Мария, Екатерина и Федосья, тоже не забывают. Бывало, нет им от тебя ни в чем отказу, чего только душенька пожелает. Ну, а теперь нет... не то... не подступиться... скуп. Может, и дает... какой Монсовой...

— Не все помнят, Дуняша. Вот царицы тоже от меня дурного не видали, а забыли: редко, редко, когда навестят. Может, боятся.

— Боятся, родная, поверь слову, боятся. Да и то сказать: Марфа Матвеевна и Прасковья Федоровна не плоть ведь твоя, а свойственники...

Царевна, казалось, не слушала слов Дуни. Она, видимо, обдумывала и соображала.

— Долго пробудут, Дуняша, здесь стрельцы?

— Уж этого не знаю, матушка государыня; Не хотят они вовсе отсюда уходить-то. Бояре было им велели воротиться в полки и сроку дали до 3 апреля, да куда... и слушать не хотят. Пришли намерднись к Ивану Борисычу да такой гвалт подняли! Князь попытался захватить главных вожаков, да товарищи отбили. А потом приходили в свой приказ, бесчинствовали, ругали начальство срамословными словами. Народ, ты сама знаешь, какой — буйный, слышно, еретики-бояре трясмя трясутся.

Это последнее известие, казалось, больше всего было по душе царевне. Стрельцы пробудились. Старый дух начинает говорить в них, а к чему может повести этот дух, она знает по опыту. И не боится она грозной смуты, она чувствует еще в себе силу, твердую и надежную, способную управлять массой по своему желанию. Напротив, ей ненавистны были слабость и отсутствие энергии, ее погубившие.

Между тем Дуняша все продолжала болтать, но вдруг голос ее понизился почти до шепота, не слышного в двух шагах.

— Вот что еще, матушка государыня, я хотела тебе доложить. Стрельцы, что теперь в Москве, задумали сделать подкоп под монастырь и подкопом-то вывести тебя. Как ты изволишь на это?^[28]

Царевна задумалась, но, быстро сообразив все шансы успеха и неудачи, решилась, не колеблясь, отклонить.

— Нет, Дуня, передай им... скажи, что я этого не хочу. Их здесь мало, и их задавит. Напрасно только кровь будет литься. После, когда они все будут готовы, тогда... Тогда я возьму державство... А теперь, Дуня, передай Туме или Проскурякову письмо мое. Сама передай им, или через Никитину, или через Офимку Кондратьеву Артарскую, только, смотри, бережно, чтоб безвременно не пронеслось. Сама знаешь, какое дело. Сестрица правду говорила... запытают. И передай им с великою клятвою, чтоб в случае чего не годного письмо бы сожгли и в руки бы сопровитников не доставалось никак.

— На меня надежна будь, царевна. Нешто стрела чихи сболтают, а у меня хоть жилы тяни, не выдам. Что мне... помирать все едино надо... радостей-то мало было мне на веку,

а какие и были, так все от тебя, да от сестрицы твоей, — говорила карлица необычным своим веселым голосом.

В письме Софья писала: «Известно мне учинилось, что ваших полков приходило к Москве малое число, а вам бы быть в Москве: всем четверем полкам, и стать под Девичьим монастырем табором, и бить челом мне идти к Москве против прежнего на державство, а если бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве отпускать не стали, и с ними бы управиться, их побить и к Москве быть, а кто б не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой».

Карлица ушла, а царевна, улыбаясь весело незримому будущему, как, бывало, улыбалась в годы своей силы, принялась обдумывать и соображать. И казался возможным ей этот возврат прошедшего, но только теперь, наделенная опытом, она уже будет действовать иначе. Она знает теперь цену людям... «Где-то теперь Васенька? Получил ли он мое письмо?».

Уезжая за границу, Петр сознавал, что оставляет за собой массу недовольных, в главе которых стояли стрельцы. Примкнувши к его стороне по чувству законности и отчасти по нерасположению к надменному выскочке Шакловитому, стрельцы вскоре же почувствовали на себе перемену правительства. Петр создавал новое войско на новых началах и потому, естественно, смотрел на стрельцов как на такое наследие старины, от которого необходимо каким бы то ни было способом избавиться. Начались постоянные унижения и оскорбления. Стрельцы выносили, находя утешение в своем общественном и семейном положении, занимаясь торговыми прибытками и хозяйством. Скоро нескончаемыми походами уничтожились фактически и дорогие для них) привилегии.

После покорения Азова, задумав путешествие за границу, Петр решил не оставлять в Москве ни одного стрелецкого полка, а потому оставшихся там стрельцов отправил отчасти на южные Украины для обережения от крымцев, отчасти в Азов для сооружения крепостей, а следовавшие к возвращению в Москву на смену четыре полка, уже начавшие это возвращение,

распорядился отправить прямо с дороги на западные границы, для наблюдения за польскими делами.

Можно представить отчаяние стрельцов этих четырех полков (Чубарова, Колзакова, Черного и Гундертмарка), надеявшихся видаться в Москве со своими женами и детьми, а вместо того отправляемых на неопределенное время к западным границам. Они повиновались, но с неудовольствием и ропотом. Некоторые стрельцы самовольно кинули полки и явились в Москве, где у них, естественно, родилось желание ввести опять на державство Софью, всегда к ним благоволившую, вместо передавшегося еретикам государя, может быть в настоящее время уж и умершего, судя по долгому неполучению от него писем.

Встревоженные таким своеволием и явным ослушанием бояре-правители приказали им вернуться к полкам, и назначили срок. Беглецы не послушались, но выгнанные силою потешными полками из Москвы, они хоть и отправились к квартирам своих полков в Великие Луки, но с твердым намерением убедить и своих товарищей к явному возмущению. При этом трудно им было оставаться равнодушными, когда получались через жен их из Москвы положительные предостережения.

«Теперь вам худо, — писала, например, София, — а вперед еще будет хуже. Ступайте к Москве, чего вы стали. Про государя ничего не слышно...»

Случай представился скоро. Начальствовавший над дворянскими рейтарскими и солдатскими полками на Литовской границе князь Михаил Юрьевич Ромодановский получил распоряжение: по прибытии четырех стрелецких полков свои войска распустить, самому приехать в Москву, стрельцов, расквартировать по окраинным городам, а прибывших в полки из Москвы беглых отобрать и сослать на вечное жительство по малороссийским городам.

При объявлении в полках этого распоряжения стрельцы, сочувствующие и вполне разделявшие желания и намерения своих товарищей — воротившихся беглецов, явно отказались их выдать, отказались расходиться по назначенным расквартировкам, а вместо того в полном составе, оставив

своих полковников и капитанов, выбрав вместо них для полкового управления из десятников и рядовых, двинулись через Зубцов к Волоколамску.

Полки спешили в походе, предполагая захватить в Москве бояр врасплох, неприготовленными, а в том случае, если это предположение не удастся и они встретят высланные против них боевые отряды, то решили, обойдя Москву, занять Серпухов или Тулу и оттуда разослать призывы присоединиться к ним во все стрелецкие квартиры в Белгород, Севск, Азов и другие города. Число мятежников во всех четырех полках не превышало 2200 человек, и с этими-то силами они мечтали о возможности занять Москву, смутить чернь, перебить бояр-немцев, провозгласить по-прежнему царевну, а царя, если он не умер, в государство не допускать.

Первый слух о возмущении и о походе стрельцов достиг Москвы 10 июня, а на другой день явились туда отставленные от возмущившихся полков капитаны. Бояре-правители собрались на совет, на котором решили отправить против бунтовщиков воеводу Шеина, поручив, ему стрельцов в Москву «для прелести и возмущения» не допускать, а возвратить их на назначенные квартиры. В помощь к воеводе назначили генерал-поручиков Гордона, у которого под командою было по 500 человек от полков Преображенского, Семеновского, Лефортова и Бутырского, и князя Кольцова-Масальского, начальствовавшего над ратными людьми из отставных, подьячих, конюшенных и придворных служителей. Всего в отряде Шеина находилось не менее 3700 человек с 25 пушками.

Сделав смотр на Ходынке назначенному отряду, Шеин выступил из Москвы 16 июня по направлению к Тушину, куда и прибыл на другой день. Здесь получилось первое положительное известие о близости стрельцов и о намерении их занять Воскресенский монастырь. Вследствие этого известия передовой отряд под начальством генерала Гордона двинулся вперед и перед вечером занял выгодную позицию на холмах близ монастырской слободы Рогожи. От холмов впереди их лежало ровное луговое пространство, составлявшее левый берег реки Истры.

Тем же вечером, после захождения солнца, показались от деревни Сычевки передовые толпы стрельцов. Они стали перебираться через реку вброд, занимать луг, находившийся внизу холмов, чем ясно и выказали намерение овладеть Московской дорогой. Заметив это, Гордон поставил на дороге два полка, а другим двум полкам велел, обойдя слободу, занять дефиле.

Тотчас же по переправе через Истру начались переговоры, и стрельцы прислали воеводе изветное письмо, в котором они высказывали причины и цель похода.

Из этого письма, видно, что служба их действительно была нелегкая^[29].

В ответ на это изветное письмо воевода Шеин решил послать к стрельцам генерала Гордона объявить, что если они возвратятся к назначенным им расквартированим, выдадут 145 человек беглецов, бывших в Москве, а также зачинщиков и подстрекателей, то государь простит их и прикажет выдать им жалованье и провиант.

На другой день утром 18 июня с ответом воеводы Гордон поехал к стрельцам. Его обступила беспорядочная толпа. Но вместо хладнокровного обсуждения и переговоров стрельцы кричали одно:

— Умрем, а будем в Москве!

— Подумайте, — говорил им Гордон, — переговорите в каждом полку отдельно.

— Нечего нам говорить, — кричали они, — у всех у нас одна дума — быть в Москве.

Видя бесполезность дальнейших убеждений, Гордон уехал, назначив им срок четверть часа, по истечении которого пощады не будет.

Стрельцы стали приготовляться к битве; священники по полкам служили молебны о победе. Все было нестройно, беспорядочно и шумно. Общий говор покрывал один крик: «Постоим, братцы, что Бог ни пошлет». Некоторые пытались было прокрасться в полки Шеина для подговора, но попытки оказались неудачными.

Между тем и в царском войске начались передвижения. Большой полк выстроился полукругом, в середине которого против стрельцов находились пехота и артиллерия, конница заняла левый фланг до реки Истры, сильный отряд занимал дефиле по дороге.

Прошло более назначенных четверти часа. Воевода приказал начать пальбу, для первого раза без прицела в неприятеля. Раздался залп из 25 орудий, но ядра пролетели над головами стрельцов. Эта безвредность еще более ободрила их, и они со своей стороны открыли пушечную (из 2-х орудий) и ружейную пальбу. В царском войске пало несколько человек. Тогда артиллерийский полковник Граге понизил орудия, навел их и дал второй залп, у стрельцов упало много убитыми и ранеными. Они бросились к дефиле, но, встреченные там Лефортовым полком, а во фланге бутырцами, бросились назад. Раздался третий залп. В отчаянии, с криком, «пойдем, братцы, на пролом» стрельцы ринулись было на пехоту, но их встретил четвертый залп. Стрельцы смешались; одни кинулись бежать, другие стали просить пощады.

Вся битва продолжалась не более часа. В войске Шеина опасно ранено было не более 4 человек, у стрельцов же убито 15 и ранено 37. Войска заняли лагерь мятежников и принялись ловить разбежавшихся в паническом страхе стрельцов. Почти все они были в тот же день переловлены и рассажены по крепким местам Воскресенского монастыря.

Вслед за тем начался розыск. Один за другим подходили стрельцы в составе своих полков к разрядному шатру, где производилась им перекличка по полковым спискам, делались отметки и где допрашивались: кто были выбранные вместо выгнанных начальников., кто были беглецы в Москву с Великих Лук и кто были главными заводчиками. При первом расспросе облихованных беглецов оказалось 162 человека, и ими-то принялся разыскивать воевода пыткой и огнем.

Главных подстрекателей к бунту розыскано при допросах до 56 человек, все из великолуцких беглецов. О причинах мятежа подстрекатели, равно как и все прочие, показали одно: хлебный недород и голод. Что же касается до цели, то они желали,

произведя в Москве бунт, убить из бояр Тихона Никитича Стрешнева и Федора Юрьевича Ромодановского за отягощение службой. Ивана Борисовича Троекурова за недодачу им хлебного и денежного жалованья.

Вот все, до чего доискался воевода Шеин пытками и огнем. Ни один из стрельцов под ужасными муками не заикнулся о письмах царевны; напротив того, все твердили одно: никаких присылок с Москвы не было, ничего о них не знали и не слышали. Правда, что некоторые из них проговорились, будто на общем совещании еще в Волоколамске было предположено по приходе в Москву стать близ Девичьего монастыря, но это, естественно, объяснялось близостью этой местности к их слободам.

Розыскное дело воевода представил в Москву, и бояре приговорили всех великолуцких повесить, облихованных бунтовщиков (140 человек) наказать кнутом и сослать в ссылку, некоторых, как особенно подозрительных, закованных в кандалы, содержать в тюрьме для дальнейшего розыска, а остальных (1965 человек) разослать в колодках по тюрьмам ближайших городов и монастырей.

2 июля совершилась казнь. Из 281 человека (так как впоследствии к бывшим 162 разыскалось еще 119 человек) пощажены только 26 человек по малолетству да 9 по одобрению полками.

Близ монастыря, у места служения Богу милости и правды, на возвышенном месте, откуда глаз обнимал беспредельное пространство, соорудился странный лес человеческого насаждения — лес виселиц. И то на каждую виселицу приходилось по три, а иногда и по пяти жертв. Молча, с изнуренными, болезненными лицами от розыскных пыток и колодочного содержания подходили один за другим жертвы к роковым столбам, крестились и надевали сами на себя петли...

Глава XVI

Бунт кончился. Бояре ожили, повеселели и с довольным самоуслаждением ждали себе милостивого слова, но не

милостивое слово сказалось им.

Донесение от бояр о походе стрельцов на Москву царь получил в Вене только 17 июля. Торопливо покончив со всеми посольскими церемониями, он 19 июля послал за почтовыми лошадьми и в четвертом часу пополудни в сопровождении небольшого числа приближенных в пяти колясках поскакал в Россию. Но в то время дороги были не нынешние. После самых утомительных переездов и днем, и ночью он только через 5 суток мог доехать до Кракова. Здесь он получил второе донесение о поражении стрельцов и усмирении бунта.

Торопиться уже не было необходимости, и поэтому дальнейшее возвращение производилось с расстановками, ночлегами, с различными увеселениями у богатых польских панов; только вечером 25 августа государь въехал в Москву. По приезде Петр развез своих товарищей по домам, а сам отправился в свое Преображенское. Не отдыхая от дороги, а стряхнув только плотно засевшую на кафтане пыль, он тотчас поехал в город, где побывал у нескольких бояр, а затем провел вечер в немецкой слободе у красавицы Монс. Разбитная и ловкая немецкая мещаночка Аннушка сумела встретить царя по-европейски.

— O mein Gott! Mein Gott! Как я рада! — выговаривали розовые губки Аннушки, а зазывные голубенькие глазки говорили еще больше... И просидел Петр у нее вплоть до ночи, не вспомнив ни разу, что недалеко, там, наверху, ждала его, ноя и болея сердцем, некогда милая, но уж давно опостылая Авдотья.

Простившись с немцами и сорвав горячий поцелуй с влажных губок Аннушки, царь отправился ночевать, но не в Кремль, не к жене, а на свою холостую квартиру в Преображенском, где из всех царевен жила одна только родная сестра Петра — Наталья Алексеевна.

Мгновенно облетела Москву весть о приезде царя и ранним утром следующего дня собрались в Преображенском поздравить с благополучным приездом все приближенные ко двору знатные и незнатные, бояре и немцы-ремесленники. На всех русских лицах через напускную сановитость так и сквозил

тревожный вопрос: что-то будет? Что привез он оттуда, из-за моря, от басурманов? Как-то встретит он после полугодового отсутствия?

Встретил государь всех милостиво и приветливо, рассказывал о заморских чудесах, о свиданиях с венчанными особами, о дружбе своей с королем Польским, подходил к каждому, обнимал, целовал в голову, но в то же время ловко забирал левой рукой окладистую боярскую бороду, а правой отстригал ее прочь. Только и уцелели бороды, что у Тихона Никитича Стрешнева да престарелого Михаила Алегуковича Черкасского. Не спаслись от осквернения ни воевода Шеин, ни сам кесарь Ромодановский. А давно ли последний не верил возможности такого осквернения, давно ли он, когда услышал, что Головин являлся к венскому двору с обритой бородой и в немецком платье, не верил, даже сплюнул и выразился: «Не верю, не дойдет Головин до такого безумия».

Русскому народу в то время бритье бород казалось безумием и ужасным богохульством. Недавно еще преемник Иоакима патриарх Адриан обращался к народу с посланием. «О пребеззаконники! Ужели вы считаете красотой, — писал он, — брить бороды и оставлять одни усы? Но так сотворены Богом не человеки, а коты и псы. Ужели хотите уподобиться скотам бессмысленным или смешаться с еретиками, которые в такую глубину пали, что не только простые и благородные, но и монахи стригут бороды и усы и оттого видятся подобны пификам и обезьянам... Брадобритие не только есть безобразие и бесчестие, но и грех смертный: проклято бо сие блудозрелищное неистовство». В заключение ревнивый пастырь угрожал: «Люди православные! Не приемлите сего злодейского знамения, но внушайте им, как некою мерзостью: ибо нераскаявшимся брадобрийцам вход в церкви возбранен и причастия св. тайн они лишены. Если кто из них умрет, не раскаявшись, не подобает над тем быть ни христианскому погребению, ни в церковных молитвах поминовению. И жив сый, противляйся закону Божию, где станет он на страшном суде — с праведными, украшенными брадою, или с еретиками-брадобрийцами, — сами рассудите».

Но не боялся Петр ломки ни народных убеждений, ни народных обычаев.

В день новолетия (1 сентября 1698 года) у генераллиссимуса Шеина был пир на весь мир. Многое на этом пире отзывалось стариной, многие еще были в бородах, но вместе с тем веяло и новизной: рядом с боярами в обширных покоях хозяина толкались ремесленники, немцы и матросы. Царь веселился, потчевал из собственных ручек яблоками, предлагал, при пушечных залпах, тост за тостом, а между тем любимый шут Тургенев, при взрывах хохота и при острой шутке, ловко отмахивал бороды то у того, то у другого из недогадливых.

Потом дня через три задал пир и любимец царя Лефортов, пир совсем с европейской обстановкой. Бородачей вовсе не было, швее русские в новых кафтанах смотрелись какими-то странными немцами. Гремела музыка, гости были с фамилиями, то есть женами и дочерьми, танцевали. Петр надел для парадного танцевального вечера своего любимца свое самое нарядное платье, которое, по бережливости своей, надевал, очень редко: суконный французский кафтан василькового цвета, обложенный лентами с обшивными пуговицами, на красной подкладке, камзол волнистый на тафтяной подкладке, с блестящими медными пуговицами и наконец бархатные панталоны, обхваченные шелковыми чулками. Царственный облик и стройный стан были безукоризненно прекрасны.

Отличалась и Аннушка Моне. В танцах еще заметь нее выделялись ее стройная, грациозная фигура, гибкий стан и роскошные формы, глаза казались выразительнее, то стыдливо потупляясь, то вскидываясь вызывающим соблазном. Аннушка не чета была нашим русским неуклюжим красавицам; свобода обращения давно научила ее всем хитрым приемам великого искусства нравиться. Молодой царь не мог, оторвать от нее страстных глаз.

— Здорова ли наша великая государыня? Как рады вы и она увидятся после такой долгой разлуки? — говорила она, в то же время пожимая своей маленькой ручкой руку красавца гиганта царя.

Напоминание было кинуту ловко и вовремя. Сдвинулись густые брови, в глазах блеснул злобный огонек, и передернуло лицо у государя. «Надо кончить... кончить одним разом», — подумал он.

И он действительно кончил разом, Призвав жену свою в дом почтмейстера Виниуса, куда сам приехал для этого свидания, он долго старался сначала убедить ее в невозможности совместной супружеской жизни при отсутствии любви, при различии характеров и убеждений, потом пытался угрозами вынудить согласие, но Евдокия владела немалою долею отрицательного мужества. На все убеждения, на все угрозы она или молчала или отвечала односложным «нет». Так свидание ничем и не кончилось, но оно еще более укрепило решимость Петра.

Вскоре после этого свидания царевна Наталья Алексеевна приехала в Кремлевский дворец и увезла к себе в Преображенское восьмилетнего племянника Алексея, а напуганную ошеломленную мать в простой карете, без всякой свиты отвезли в Суздальский Покровский девичий монастырь... где потом через десять месяцев и была она пострижена под именем инокини Елены.

Впрочем, роковая судьба царицы Евдокии стала неизбежна помимо влияния царевны-сестры Натальи и влияния обольстительной красоты бойкой немецкой мещаночки Аннушки. Петру все претило в Евдокии, начиная с наружности и кончая убеждениями. Если он и любил ее в первые месяцы, а может быть, даже и годы, то это было животное влечение страсти. По удовлетворение этих порывов ему эти отношения становились еще неприятнее, в особенности же когда новые воззрения становились насущной потребностью. Напрасно молодая женщина, не понимая разладицы между собою и мужем, старалась привлечь его к себе непрерывными призывами, ласковыми речами и упреками, от этих упреков и ласк мужу становилось еще тошнее, и еще дальше он уходил от нее^[30]. Чтоб удержать его, надобно было самой идти по его дороге, сделаться частью его самого, его стремлений и видов, но на это она была не способна.

Выросшая в старинной русской семье, в которой свято хранились все отцовские предания, она видела в действиях мужа только одну разнузданность гуляки. Она пыталась отвлечь, привязать к себе и, когда это не удалось, сама стала в оппозиционную сторону, правда, не действующую, но упорно страдательную и безмолвно все осуждающую. Такая оппозиция более всего должна была раздражать до крайности страстную натуру Петра, для которого борьба была жизнь.

Брачные узы становились царю невыносимыми, и он задумал разорвать их. Для разрыва в русской жизни XVII века было только одно средство: пострижение опостылевшей супруги. К этому средству прибегнул и царь. В письмах из Лондона к Л. К. Нарышкину, Т. Н. Стрешневу и духовнику жены он поручал настойчиво уговаривать царицу к добровольному пострижению. Об этом же он писал и Ромодановскому, прося его помогать Стрешневу: «Пожалуй, сделай то, о чем тебе станет говорить Тихон Никитич».

Но ни советы, ни убеждения не имели влияния на лимфатическую, упорную натуру царицы. Она поддалась только физической силе.

Покончив с брадобритием и женой, Петр принялся за стрельцов. При первом обзоре розыскного дела, произведенного Шеиным под Воскресенским монастырем, он заметил недостаток энергии следователей, слабость и нерешительность, а отсюда и неудовлетворительность результатов.

— Я допрошу, — сказал он Гордону, просмотрев дело, — построже вашего.

Схваченные после битвы под Воскресенским монастырем стрельцы, в числе 1714 человек, содержались по тюрьмам и тайникам городов и монастырей, окружающих Москву. И из этих мест по распоряжению Иноземного приказа с половины сентября потянулись по Московской дороге более или менее значительные партии колодников-стрельцов под прикрытием отрядов солдатских полков. По мере прибытия партии размещались по тайникам монастырей Симонова, Новоспасского, Андреева, Донского и Покровского, заковывались и приковывались к стенам. Скоро этих помещений

оказалось недостаточно: стали размещать по окрестным селам: в Ивановском, Мытищах, Растокине, Никольском, Черкизове и других.

Главным местом производства нового розыска назначено было село Преображенское с его четырнадцатью застенками^[31], состоящими под ведением ближних к Петру людей^[32], но главных преступников допрашивал сам царь, взявший на себя общее руководство всем производством. Следствие началось 17 сентября, в день именин царевны и казни князей Хованских. И началась ежедневная работа во всех застенках, неустанная, кровавая работа. Работали по 8 часов в сутки, допрашивалось в день по 16 человек, сначала поодиночке, потом на очных ставках и наконец с пыткой под дыбой и огнем.

Первые показания получились те же, что и под Воскресенским монастырем, но затем, при дальнейшем ходе, под жестокой *Петровской* пыткой открылись и новые обстоятельства. Открылось, что стрелецкие полки шли прямо к Новодевичьему монастырю с целью вывести оттуда царевну Софью и возвести ее снова на престол, открылись пересылки бывшей правительницы со стрельцами через стрельчих и дворцовых прислужниц, при живом участии царевны Марфы, и наконец открылась посылка к возмущившимся полкам воззвания Софьи.

Самые успешные показания получились при допросах Ивана Борисовича, который не уставал в усердии и жег стрельцов, каждого по два и по три раза, а самые неудовлетворительные — в допросах Бориса Алексеевича, которому не было открыто ни одного нового обстоятельства.

Узнав об участии царевен, Петр призвал к допросу нищих и стрельчих Артарскую, Маврутку, Логунову, Степанову Марью, сестру Тумы — стрельчиху Прасковью Савельевну Пахалину и прислужниц Марфы и Софьи, кормилицу вдову Марфу Вяземскую, девиц Веру Васютинскую, Авдотью Григорьеву, Ульяну Калужкину, княжну Авдотью Касаткину и после *пристрастного с подъемом* их допроса сам наконец допрашивал и обеих сестер.

Трусливая Марфа Алексеевна при первом вопросе Петра, приехавшего к ней в село Покровское, рассказала о своих посещениях Новодевичьего монастыря, разговорах с сестрой по передаче последней известий о стрелецких смутах и предположениях возвести ее снова на престол, но заперлась совершенно в передаче от сестры писем и на все улики постельницы Ульяны Калужкиной твердила одно: «А больше этого ничего знать не знаю, ведать не ведаю».

Еще меньшая удача ожидала Петра у царевны Софьи, ясно понимавшей всю невыгоду сознания и видевшей в нем себе верную гибель. Застращать царевну было трудно, а еще труднее сбить и запутать вопросами.

— Писем^[33], о которых болтают стрельцы под огнем в свое оправдание, я не писывала и не посылала, — говорила она утвердительно, — а пришли они к Москве и решились звать меня по-прежнему на правительство, то это не вследствие моих писем, которых не было, а знатно, потому, что я была в правительстве.

В последних числах сентября кончился розыск первых партий стрельцов, доставленных из близлежащих к Москве местностей и размещенных около Преображенского. В этих партиях считалось до 341 человека.

Начался суд скорый, но справедливый ли? Охватившее Петра злобное чувство, как вообще у всех нервных натур, от вида крови и страданий раздражалось, кипело и выливалось из пределов: оно требовало крови, крови и крови. Составился приговор: 40 человек, из главных преступников, оставлено живых для улик при последующих розысках, 100 человек малолетних, от 15–20 лет, наказаны кнутом, заклеяены и сосланы, а 201 человек присужден к смертной казни: к обезглавлению, колесованию и повешению.

Слух о предстоящих казнях в таких громадных размерах распространился по городу. Патриарх Адриан, по обычному печалованию пастырей, поднял икону Богородицы и отправился с ней в Преображенское просить милосердия.

— Убирайся и поставь икону на место, — закричал ему раздраженный царь, — я не меньше тебя почитаю Бога и Его

святую Матерь, но я знаю свой долг. Наказывать злые умыслы и охранять народ — богоугодное дело.

— Государь забыл, что любовь и милосердие соединяют царя с народом, а жестокость, а тем более несправедливость, лишают его силы и преданности народной.

Патриарх ушел.

Утром 30 сентября из села Преображенского двинулась длинная процессия: под охраной трех полков мерно подвигался к Белому городу ряд телег, в которых сидели по двое стрельцов, осужденных, с зажженными в руках восковыми свечами. За телегами бежали с отчаянным воплем матери, жены и дети. У Покровских ворот поезд остановился; его окружила огромная толпа зрителей, в среде которых видны были иностранные послы и резиденты. За поездом вскоре приехал верхом и сам царь, окруженный свитой приближенных, в числе которых находились Лефорт, генерал Карпович, Автомон Головин, князь М. Н. Львов, князь Ю. Ф. Щербатый, С. И. Языков, Л. И. Головин и другие.

По приезде царя дьяк прочитал осужденным смертный приговор, в котором по изложению вины преступников, состоящей в умысле прийти к Москве, учинить в ней бунт, бояр и немцев побить, немецкую слободу разорить и чернь возмутить, говорилось: «...и за то ваше воровство великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея великия и малыя, и белыя России самодержец указал — казнить смертью...».

Для исполнения приговора стрельцов развезли по местам, где устроены были для них виселицы. 112 человек были повешены у 70 ворот кругом Белого города, 36 человек — у трех ворот Замоскворечья, 48 — у съезжих изб возмутившихся полков, оставалось пятеро (Плешивый, Глотов, Жюченок, Гонец и Долгий), которым предстояла особая честь...

Насмотревшись на последние конвульсии повешенных у Покровских ворот, государь возвратился в Преображенское. Там перед дворцом устроен был помост, приготовлена плаха и лежала секира, но заплечного мастера не было. Государю захотелось попробовать свою силу, потешиться над живым человеческим мясом...

Обрадовались было оставшиеся пять стрельцов, не видя палача. Не зная за собой никакой вины, кроме невольного, почти бессознательного участия в действиях товарищей, они убедили себя в прощении. «Да в чем же мы виноваты? — спрашивали они себя. — Что хотели сестру царя на державство? Так она и прежде с ним державствовала, а его не было больше года.... Сами набольшие начальники говорили, будто он и умер... боярам, известно, хотелось самим. Разве мало они нас и голодом, и холодом изводили».

Между тем как радовались и обнадеживались стрельцы, царь с новым любимцем своим Алексашей и свитой сходил с крыльца прямо к устроенному помосту. С довольной улыбкой подошел он к плахе, поднял тяжелую секиру, как перышко, и ловко взмахнул ею несколько раз.

Стали поочередно подводить обезумевших стрельцов, каждого из них старательно укладывали на плаху, и каждому из них гигантская рука, не дрогнув, наносила смертельный удар. Действительно, рука была твердая — при каждом взмахе голова мгновенно с прыжком отскакивала с помоста...

С другого дня начались новые розыски с другими партиями, прибывшими после первых из более отдаленных мест. В этих новых партиях числилось до 856 человек, допросы их продолжались около двух недель. По боярскому приговору, утвержденному государем, все они были приговорены к смертной казни, за исключением только 93, прощенных по малолетству, и 14 — из главных руководителей, оставленных для новых розысков. Казнено было:

11 октября — 144 человека

12 октября — 205

13 октября — 141

17 октября — 109

18 октября — 35

19 октября — 106

21 октября — 2

Всего 772 человека.

Виды казни разнообразились: виселицы, обезглавления и колесования, с некоторыми утонченностями. Вешали по всему

Земляному городу у всех ворот, точно так же, как у всех ворот Белого города. Сквозь зубцы городских стен пропущены были бревна, закрепленные внутри, на концах которых и висели несчастные. Вешание назначалось для всех рядовых обвиненных, для более же виновных определялось колесование. Один из современников (Желябужский) передает ужасные подробности: «А пуще воры и заводчики: у них за их воровство ломаны руки и ноги колесами. И те колеса воткнуты были на Красной площади на колья, и те стрельцы за свое воровство ломаны живые, положены были на те колеса, и живы были на тех колесах немного не сутки, и на тех колесах стонали и охали. И по указу великого государя один из них застрелен из фузеи; а застрелил его Преображенский сержант Александр Меньшиков. А попы, которые с теми стрельцами были у них в тех полках, один перед Тиунскою избою повешен, а другому отсечена голова и воткнута на кол, а тело его положено на колесо так же, что и стрельцы».

Для личной же забавы государя и его двора отделились особые отряды стрельцов, числом в 109 человек, которые и приводились в Преображенское. Здесь приближенные царя упражнялись в искусстве рубить головы. Князь Ромодановский отрубил головы четырем стрельцам, Александр Меньшиков — двадцати, Борис Алексеевич Голицын по приказанию царя тоже рубил голову одному стрельцу, но рубил неловко, за что и получил строгий выговор от царя, наблюдавшего это зрелище.

И царевна Софья Алексеевна не была забыта: перед ее кельями повешено было 195 человек, из которых трем, висевшим перед самими ее окнами, вложены были в руки челобитные, согласно их показаниям о письмах царевны. И долго, целых пять месяцев, держались эти челобитные перед окнами Софьи, целых пять месяцев трупы не убирались ни с городских стен, ни с площадей, целых пять месяцев собаки и вороны пользовались роскошным столом из человеческого мяса. Трупный запах заражал воздух, бил в нос проходившим и проникал в жилища.

После казни стрельцов вдовы их высылались из Москвы... и шли они по дешевой цене... разбирали их по деревням всяких

чинов люди...

Как перенесла это тяжелое время бывшая правительница, что почувствовала она — никто не знал. Сосредоточилась она в самой себе и никому не говорили ни слова. По целым часам сидела она в глубине кельи перед столом неподвижно, упорно наблюдая за качавшимися от ветра трупами стрельцов с челобитными да за воронами, садившимися то на голову, то на плечи висельников и выбиравшими себе лакомые куски. Казалось, она не замечала ничего вокруг себя, не замечала, что при ней уже больше нет ее постельниц, что вместо них какая-то суровая монахиня, молчавшая или говорившая сухим голосом, как будто в насмешку, о благодати Божией, не замечала, как все переменилось в отношении к ней, как отстраняются от нее как от зараженной. Одна, одна... и всегда одна, ходила она по-прежнему в церковь... но не молиться, а... проклинать.

Не заметила она, наконец, и того, как через несколько дней пришли к ней настоятельница с сестрами и повели ее в церковь, как поставили ее зачем-то посередине, как что-то говорили, читали и пели, как сделалась она наконец инокиней Сусанной. Нет теперь больше поворота на другую дорогу. Все кончено.

Софья Алексеевна прожила еще почти шесть лет и умерла, унеся с собой свои последние думы.

Петр Полежаев
Лопухинское дело

Не жаркий, но и не пасмурный апрельский день. Молочную рябью с серыми клубнями по небу несутся весенние облака, то покрывая проступившую землю темным скользящим налетом, то выставляя ее напоказ оживляющим теплым лучам. А выставить напоказ было что. Давно ли на всех перекрестках и в переулках лежали бурые сугробы разной смеси снега, мусора и навоза, а теперь, почти вдруг, в невылазной грязи петербургских улиц по всем направлениям появились тропки, а по окраинам и на берегу стали пробиваться яркие зеленые стебельки молодой травки. Давно ли, не прошло и двух недель, по широкой Неве можно еще было переходить без опаски человеку, а теперь вольные невские струи гонят массивные льдины прочь от себя к морю, вливаются, не удерживаемые, как теперь, гранитными стенами, в плоские берега и журчат им новые веселые речи.

Петербург празднует пасху 1742 года.

Русский народ особенно любит этот первый весенний великий праздник. Умиляясь в глубоком религиозном чувстве торжественными церковными песнями о любви и братских объятиях, серый люд под веянием мягкой теплоты умягчается и сам, как будто бодрее смотрит на свою тяжелую будущность и если не верит в лучшие времена, то по крайней мере укрепляется в силах нести дальше свой крест и терпеть...

Много таких пасхальных праздников во все десятилетнее царствование императрицы Анны Иоанновны провел этот серый люд в невольной сдержанности, в ежеминутной боязни шпионов и доносчиков, провел и не поминает лихом. В последний год отдохнул было он при ребенке-императоре и доброй правительнице Анне Леопольдовне. Но теперь снова перемена с загадочными признаками.

На том месте, где ныне Адмиралтейство, высилась полтора столетия назад Адмиралтейская крепость на берегу Невы, недалеко от прежнего Зимнего дворца, бывшего тоже на том же месте, на котором находится и нынешний.

Адмиралтейство недаром называлось тогда крепостью: крепостные казематы охватывал довольно глубокий ров с возвышающимся валом, с которого угрюмо смотрели жерла расставленных пушек. Адмиралтейская крепость, вместе с находящеюся против нее Петропавловскою крепостью, составляла тот замок, которым замыкался тогдашний Петербург от нападений незваных немецких гостей. От валов кругом почти до самой Мии, нынешней Мойки, простиралась луговая местность, по которой в летнее время мирно бродили и щипали травку коровы, лошади, овцы и другие домашние животные. Далее за этим лугом, с левой стороны, начиная от берега, валялись нагроможденные кучи разного хлама, бунты бревен и склады камня, приготовленные для постройки нового Зимнего дворца. Почти подле этих разбросанных строительных материалов начиналась аллея Невской перспективы, убегавшей внутрь далеко — мимо Елизаветинского дворца у нынешнего Полицейского моста, мимо деревянных гостиных рядов до самой Аничковской слободы и рощи. От Невской перспективы по берегу Мии тянулись ряды жилых строений — каменных и деревянных — с затейливыми, хитрыми узорами и с флюгерами, между которыми выделялись красивые дома Волынского, Остермана и других сановников, а против крепости на самой середине красовались увеселительные заведения и бильярдные дома.

На площади кругом Адмиралтейской крепости — народное гулянье.

Более тесные толпы группируются около качелей, около плохо сколоченных подмостков, на которых расхаживает и машет руками какая-то фигура с длинной льняной бородой и в высокой остроконечной шапке, около раевщика и около ларей со сбитнем, орехами, коврижками, гречишниками, пряниками, леденцами и тому подобными любимыми сладостями.

В воздухе стоит шум, говор, щелканье орехов, женский визг и доносящийся со всех сторон праздничный трезвон церковных колоколов.

В особенности около качелей и арлекина с льняной бородой толпится народ; оттуда слышатся прибаутки и взрывы хохота,

там заигрывают парни с молодухами. Вон на качелях поднялась какая-то пара, высоко, над головами зрителей, несется оттуда мужской раскатистый смех с аккомпанементом женской звонко выкрикиваемой брани, вслед за которой летит сверху мещанская шапка. Для толпы новый повод для веселья. Шапка от порывов ветра летит по направлению к Неве, упала на землю и катится все дальше и дальше по берегу к реке.

— Молодец, баба лихо! Ай да козырь! Так его! — ободряют басистые голоса из толпы.

— Лови шапку-то, парень! К морю поплыла рыбу ловить! — визжат пискливые женские голоса.

И новый смех, с новыми прибаутками.

Около раевщика тоже немалая толпа зрителей, охотников до диковинок.

Эй, честные господа,
Вы пожалуйста сюда!
Вот, изволите видеть, —
Москва
Всем российским городам глава... —

нараспев гнусавил раевщик, поворачивая картины под зрительным стеклом, а зритель усердно прикладывал свой глаз к стеклу, жмуря другой и кривя бородатое лицо.

— Не угодно ли свеженьких орешков либо сладеньких сусальных коньков? — бойко предлагал молодцеватый горожанин в немецком картузе молоденькой мещаночке, развертывая перед ней красный набивной платок с орехами и пряниками.

— Покорно благодарим-с, мы и сами имеем немало всяческих сластей, — жеманилась девушка, потупив голову, но успев, однако ж, до тонкости оглядеть учливого кавалера.

В стороне от молодежи солидно прохаживались степенные купчины, размениваясь между собою серьезными речами о разных политических предметах. Разговаривали оживленно, но

вполголоса: видно, что не совсем еще прошла опаска доносов и допросов.

— Дождались мы, милостивец мой, Кузьма Ерофеич, свои пошли в ход, родовые, а басурманов — вон, — говорил приземистый торговец в тулупе, покрытом синим сукном, товарищу своему в меховой сибирке, торгующему в рыбном ряду.

— Давно бы пора нашей матушке-государыне вступиться за свой стол, — басом отвечала сибирка. — Говорил мне свояк, ученик бриллианщика Граворова, будто еще при жизни государыни Анны Иоанновны у покойной с цесаревной были споры. Наша-то государыня-цесаревна упрекала покойную, за что-де императрица жалует иноземцев золотыми монетами, а своих прирожденных слуг только медными, просила у ней льготы от всякой тяготы на три года для черни, да покойная по смутам своего Бирона рассердилась на цесаревну, и была у них за то тогда превеликая ссора.

— Слышал и я, Кузьма Ерофеич, евти речи. Что и говорить, нынче времечко другое, вольготное. Вон и нашего Василия Владимировича, значит, Долгорукова, слышно, воротили с прежним почетом фельдмаршалом. Да... пошли мы на прежнее... Только знаешь что, кум, ведь и басурманов-то иных жаль. Видел, чай, сам, как опосля святок самых набольших немцев, Мыныха, Востерманова, ставили на шафот. Не дрогнули... словно награду какую им читали. Народ — кремень!

— Эх, братец, известно, басурманину сам нечистый помощь дает — от евтого самого и храбер.

— Оно так-то так, Кузьма Ерофеич, точно не без нечистого, а все жалостливо. Вот хоть бы и матушку-императрицу Анну Леопольдовну тоже жаль... Государыня была добрая, милостивая, никого-то она на веку своем не обидела. Отдохнули мы при ней. Оно, конечно, и нынче-то ничего, грех сказать, только вот силу превеликую взяли... — И синий тулуп, наклонившись к самому уху меховой сибирки, стал шептать, опасливо озираясь на все стороны. — И такую-то силу возымели он и, Кузьма Ерофеич, — продолжал рассуждать первый торговец уже вполголоса, не заметив подле себя

подозрительных лиц — такую-то силу, что страсти. Пьянствуют, насильничают, грабят, по всем домам бегают с поздравлениями: где не дадут угощения, там силком схапуют. И никакой управы на них нет. Чего тут наши домишки, на днях, слышь, в самом дворце государыни приступили к канцлеру и ну требовать денег... Тот перетрусился, офицер ихний стал уговаривать: знаете ли, говорит им, с какой знатной особой говорите, как вы смеете? А они с озорством и ну кричать: плевать нам на знатных, сами мы всех знатнее.

— Нашел о чем толковать на людях, эвтаких-то сусниций не токмо болтать, но и в мыслях не дерзай иметь, — опасливо отозвалась меховая сибирка, отходя от приятеля к первому ближайшему столику со сбитнем.

К вечеру от моря повеяло свежую влажностью, на народу на площади прибывало все больше и больше. К группам присоединялись новые гулящие из городских обывательниц и солдат.

От толпы у качелей отделились две девушки, направляясь от ларей и навесов к берегу Мии.

Обе девушки, по-видимому — подружки, были очень красивы, каждая в своем роде.

Та, что была повыше, брюнетка, дочь мелкого торговца из отпущенных, Стеня Лопухинская, отмечалась энергическим, смелым типом. Все прекрасное, правильное и резко очерченное лицо девушки выражало стойкость и властный характер. Силою дышали ее темные глаза, смело глядевшие из-под черных длинных ресниц, загибавшихся кверху, окаймленные шелковистою, высоко поднятою черною бровью; жесткие, густые, воронова крыла волосы с трудом, казалось, держались в двух толстых косах, спускавшихся по душегрее до пояса; твердость, если не упрямство, сквозила в подвижных ноздрях прямого с небольшою горбинкою носа, в линиях, очерчивающих рот, и в небольшом, несколько выдающемся подбородке; поступь стройного стана уверенная, с едва заметным наклоном вперед.

Другая девушка, Феня Горохова, — смуглая блондинка, с ясным, простодушным характером, так и проступающим во всем

ее существо, начиная с полного, несколько одутловатого лица, с сереньких небольших глазок, как будто заплывавших в золотушных веках, окаймленных редкими белокурыми ресницами, и кончая полным телом, без всякого почти изгиба шеи и талии. Но, несмотря на эти недостатки, Феня Горохова, благодаря милому, наивному выражению, казалась очень миловидной.

Девушки, может быть, именно вследствие типического их различия, считались большими приятельницами; жили они рядом.

— Мы куда идем, Стеня? — спросила Феня Горохова, когда они подходили к мосту через Мию.

— Домой.

— Что ты! Да теперь только и стал сбегаться народ! Смотри! Вон идут кавалеры-солдатики... То-то будет веселье!

— Весело? Так оставайся.

— Нет уж, мне пошто одной!

Девушки прошли несколько шагов молча.

— Стеня, а Стеня.

— Что?

— Отчего ты такая?

— Какая?

— Да неразговорчивая... Все молчишь, о чем-то думаешь...

— Бог так создал.

Девушки опять замолчали.

— Стеня, а Стеня! — снова заговорила Феня Горохова.

— Да что тебе?

— А я знаю, зачем ты идешь домой!

— А зачем бы, по-твоему?

— Да думаешь свидеться с Иваном Степанычем?

— Очень мне нужно!

— Стало, нужно, если бегаешь чуть ли не кажинный день в Лопухинские палаты.

— А ты почем знаешь?

— Подмечала... Ты думаешь, я такая простоволосая, а я все в тебе вижу.

— Что ж ты видишь?

— Любишь ты Ивана Степаныча.

— Не знаю... Может быть.

— А он тебя любит?

— Не знаю.

— Уж верно, любит... Ты такая писаная. Только проку-то из этого никакого не выйдет.

Стеня Лопухинская даже повернулась от изумления к подруге.

— Говорю тебе, проку не будет, — упорно настаивала Феня.

— Это почему?

— Одно слово — не пара... Он из знатного рода; тятенька говорит, что с царской родни, а ты дочь ихнего отпущенника. Побалуется он тобой да и бросит.

— Ну это увидим — не таковская, — с резкостью оборвала Стеня.

Девушки снова замолчали и, перейдя мост, пошли по проулку, который вел к отдаленной окраине Петербурга, к той стороне, где прежде была Калинкина деревня, а теперь обстраивалась домишками бедных городских обывателей. В это время до их слуха донеслись от площади какие-то звуки, странные, то хриплые, гортанные, то звонкие, визгливые, словно душили, грабили или резали кого-то. Девушки испугались и ускорили шаги.

Скоро им стали попадаться навстречу бежавшие на площадь солдатики, а затем встретился и целый отряд напольного полка под командой офицера.

Такие же отряды двигались, как слышно было по мерному отбивному шагу, и в соседних улицах, и также по направлению к площади.

С разных сторон барабаны били тревогу.

На площади происходил между тем дикий, необыкновенный курьез. Гвардейский солдат Семеновского полка, пошатываясь и припевая, проходя между ларей, недалеко от качелей, увидел корзину с красными яйцами, выставленную торговкой для продажи. Солдатику захотелось покушать яичек, и, недолго думая, он запустил руку в корзину, вынул оттуда два яйца и разбил.

Торговка обозлилась.

— Ты пошто, разбойник, схапал, не торгуясь! Давай денежки! — завизжала она на всю площадь.

— Ах ты, рябая форма, да как смеешь спрашивать деньги за гнилые яйца с кавалера... Да я тебя, проклятая ведьма, да я...

— Что «я»! Яйца взял, так и деньги давай, не больно куражься, — вмешался молодой солдат-гренадер одного из напольных полков, племянник торговки, стоявший подле у открытого ларя.

— Ах ты щенок! — заревел гвардеец, оскорбленный заступничеством простого армейского солдата. — Я тебя выучу знать, кто я!

И гвардеец, накинувшись на гренадера, хватил его кулаком по уху.

Гренадер не остался в долгу и отплатил таким же ударом.

Началась рукопашная схватка. Около соперников сдвинулся кружок зрителей; женщины визжали, мужчины кричали, то одобряя, то подзадоривая дерущихся.

— Ай да молодец! Вот так его, так! Под микитки! — кричали одни.

— Куда гвардейцу супротив гренадера! Тех же шей, да пожиже влей! Жидок, брат, не выстоишь! — со смехом орали другие.

К даровому занимательному зрелищу хлынули толпы от раевщика, от балагана-паяца и даже с отдаленных концов площади.

Прибежали несколько гвардейцев и солдат из напольных армейских полков и бросились было разнимать драку, но, получив хлесткие затрецины, сами приняли деятельное участие. Свалка между солдатами делалась общею; шум и суматоха принимали грандиозные размеры.

Крики и общее смятение привлекли внимание проходившего по площади офицера из иностранцев Гейкина, а по солдатскому прозвищу Гайкина.

Узнав, в чем дело, он протиснулся сквозь зрителей и бросился к драчунам с целью прекратить безобразие, но дело вышло еще хуже.

— Стой, шельм, ни с мест, пошел по казарм, мой велит палькой, — командовал офицер, коверкая русские слова к общей потехе зрителей, и, конечно, его комические угрозы произвели совершенно противоположное действие.

— А ты, колбаса, пошел прочь, пока цел! — крикнул один из драчунов.

— Молодец! — отозвался кто-то громко из толпы. — К черту немца! Свои собаки грызутся, чужая не мешай!

Ошалелый немец-офицер оторопел было, но оскорбленное военное достоинство закипело гневом, и он, бросившись к ближайшему солдату, схватил его за шиворот.

— Не тронь, немец! — дерзко огрызнулся тот, крутым поворотом освобождаясь из его рук.

— Не трожь, не трожь его! — заорали все — и товарищи, и недавние соперники в драке.

За этой сценой внимательно следили из окоп второго этажа бильярдного дома, стоявшего на площади, в нескольких саженях от побоища.

Дом принадлежал иностранцу Бернару и преимущественно посещался немцами-офицерами. По обыкновению и теперь в бильярдной комнате второго этажа собралось несколько иностранных офицеров, из которых некоторые играли на бильярде, другие стояли у окон, наблюдая картину народного гулянья и перекидываясь между собой тяжелыми немецкими каламбурами. Сначала они громко хохотали над начавшейся дракой гвардейца с гренадером, но, когда в побоище приняло участие солидное число драчунов, и в особенности, когда попытка офицера Гейкина оказалась не только бесплодной, но даже вызвавшей энергический и оскорбительный отпор, офицеры решились немедленно же выручить товарища.

— Идем, господа, помогать Гейкину! — всполошился флигель-адъютант фельдмаршала Ласси Соутрон, первый бросившись к двери.

— Идемте! Идемте! — закричали офицеры фон Роз, Зитман и Миллер, тоже выбегая за адъютантом на площадь.

Но теперь усмирить возбуждение было не так легко. То, что представлялось возможным и легким вначале для сильного,

быстрого и решительного человека, а не для немецкого мямли Гейкина, то по разгоревшемуся раздражению оказалось невозможным и опасным.

Град ругательств непечатными словами со стороны пьяных солдат и задорливых насмешек со стороны столпившегося народа встретил прибежавших офицеров.

Вспыльчивый фон Роз бросился на первого ближайшего к нему ругателя и вцепился в его воротник, но солдат сильным ударом кулака отшиб руку прочь.

— Славно, так его, так! Бей немчишек! — редела толпа, окружающая кольцом и надвигаясь все ближе и ближе.

Офицеры, увидев опасность, бросились бежать назад к бильярдному дому Бернара. Толпа двинулась за ними с громкими криками, свистками и бранью; несколько комков грязи вlepились в спины некоторых офицеров, но они успели, однако ж, добежать до ворот и скрыться за ними, заперев за собой как ворота, так и калитку.

Толпа приостановилась, но не надолго. Под общие крики «Бей иноземщиков!», «Мало они ругались над нами!» — солдаты дружно наперлись в ворота, и плохо скрепленные полотна при первом же натиске отлетели с петель.

На крыльце стояла группа офицеров с обнаженными шпагами. На этой позиции, имея обеспеченными тыл и фланги, они считали себя достаточно сильными против безоружной массы, которой, по их мнению, стоило только показать лезвие шпаги.

Под натиском задних рядов передние подступили вплоть к самому крыльцу.

Настал тот решительный момент, когда громовое молодецкое слово на родном языке электризует массу и заставляет ее или падать на колени, или со слепой яростью бросаться на пролом... но этим словом не владели немцы, и их вытянутые фигуры, даже и с блестящими клинками, не были внушительны и грозны.

— Чаво стали? — кричали в задних рядах. — Аль испугались иноземщиков? Самой государыне любо казнить поганых немцев!

И двое передовых, притиснутые к крыльцу, уже подняли ноги на первую ступень. Один рыжеватый солдатик, плюгавый и юркий, тот самый, которого фон Роз душил за воротник, поднял руку с намерением вырвать шпагу из рук стоявшего впереди капитана Брауна.

— Пошел прочь, мерзавец! — пропел капитан и, замахнувшись шпагой, порубил ею ладонь рыжеватого солдатика. Кровь брызнула и окончательно ослепила яростью головы нападавших. Теперь не один уже и не двое, а весь первый ряд, под напором задних рядов, хлынул на крыльцо; еще двое или трое были порублены, но это не останавливало, а, напротив, воспаляло остальных.

Видя невозможность удерживаться долее, офицеры бросились в комнаты, успев запереть за собою сенные двери. Солдаты заняли крыльцо и стали ломиться в двери, которые, конечно, не могли выдерживать долго напора всей массы. Между тем в это время офицеры решились скрыться и выбрали чердак, как самое удобное место, откуда открывалась возможность чрез слуховое окно выбраться на крышу. Только что успели они взобраться по узкой лестнице из задних комнат на чердак и набросать на спускную дверь разного хлама, как раздался треск разлетевшейся двери, а затем торопливое топанье в прихожей и передних комнатах. Пока бунтовщики толковали и спорили о том, куда могли утаиться офицеры, последние успели один за другим вылезти на крышу и оттуда непримеченными спуститься на соседний двор. На чердаке остались в виде арьергарда только адъютант Соутрон и капитан Браун, решившиеся задержать толпу и жизнью своей обеспечить спасение товарищей.

Выломав двери, солдаты и народ рассыпались по всем комнатам, отыскивая немцев, шарили по углам, заглядывали под диваны, столы, стулья, в ярости ломали мебель, били посуду, причем некоторые, не пропуская благоприятного случая, запрятавали кое-что в свои карманы и за пазуху, вероятно на память. Наконец отыскали в углу чулана спрятавшихся там штаб-лекаря Фусади, иностранца, и хозяина бильярдного дома Бернара, из дружеских допросов которых узнали о лестнице на

вышку. Намяв бока лекарю и трактирщику, толпа полезла на чердак под предводительством того же рыжеватого солдата, вооруженного теперь лекарской шпагой.

Выломать спускную дверь было делом одной минуты.

На чердаке перед дверью стояли с обнаженными шпагами адъютант Соутрон, капитан Браун и служитель капитана, верный Кампф, не хотевший отстать от господина в тяжелую минуту. Все они казались покойными, решившимися дорого продать свою Жизнь и готовыми без страха встретить смерть. Легкая усмешка даже блуждала по губам Соутрона: как будто он прислушивался к чему-то отдаленному, к каким-то звукам, по временам неясно доносившимся из слухового окна. Казалось, ему нужно было выиграть время, но время не ждало. Отчаянная борьба, завязалась только на несколько минут. Окруженный со всех сторон, Соутрон отбивался шпагой, но в то мгновение, когда он ловким ударом ранил напиравшего на него гвардейца, рыжеватый солдатик нанес ему со всего размаха тяжелый удар по голове лекарскою шпагой. Соутрон упал, облитый кровью, и десятки кулаков, десятки сапогов стали бить, топтать и уродовать несчастного офицера. Натешившись досыта, солдаты подняв его за волосы и ноги, раскачали и сбросили вниз по лестнице, о ступени которой прыгала и стучала голова безжизненного трупа.

Такая же участь постигла Брауна и Кампфа.

Но это был последний эпизод печальной драмы. Звуки барабанной тревоги, слышавшиеся сначала издали и тихо, заглушаемые криками и ругательствами, стали со всех сторон доноситься явственнее. Все ближе и сконцентрированное раздавались тревожные перебаты, и наконец загрохотала дробь на площади, на дворе, кругом всего бильярдного дома. Отряды, приближавшиеся с окраин к площади в боевом порядке, разгоняли народные толпы; как зайцы, бросились врассыпную, в разные стороны все, только что перед тем до хрипоты вопившие ругань. Охватившая цепь солдат забрала, как овец, всех бунтовавших в доме.

Фельдмаршал Ласси, оставшийся главным начальником столицы за отъездом двора в Москву на коронацию,

распорядился удачно и энергично. Тотчас же, как только было им получено известие о смуте на площади, он разослал приказы к начальникам армейских напольных полков двинуться к площади, разогнать толпы и захватить виновных.

Бильярдный дом Бернара и площадь опустели; тихо — только во всю ночь и по всем улицам раздавались окрики и шаги обходивших патрулей.

— Спасибо, Стеня, что пришла.

— А разве не ждал меня?

— Ждал, как не ждать... сердце все изныло; да ты редко приходишь!

— Нельзя, Ваня, — мать стала за мной смотреть зорко.

— Нет, не то, Стеня; мать не увидела бы, если б ты сама захотела... а не любишь меня...

— Стало, люблю, коли пришла..

— Пришла... да какая пришла, — холодная, бесприветная.

— Ну, какая уродилась.

— Не такая бы ты была, коли любила бы.

— А как же, по-твоему, любят?

— Не расскажешь, Стеня... Кто любит, тот только и думает о своем предмете, так вот он и стоит всегда и днем, и ночью перед глазами, точно живой. Все не мило...

— Не знаю... — протянула девушка задумчиво. — А ты любишь? — быстро повернула она к говорившему свою красивую головку.

— Люблю тебя, Стеня, больше жизни своей люблю.

— Любишь... а кто любит, разве так ведет себя, как ты? Нет, кто чувствует так, как ты говоришь, тот не станет бражничать, день-деньской с товарищами гулять в разных вольных да непристойных домах.

— С горя, Стеня, с досады на тебя. Полюби ты меня крепко, отдайся мне вся и душой, и телом — и буду я совсем другим человеком.

— Погоди... будет время.

— Да когда будет-то?

— А вот когда исполнится все, как ты говорил; когда мне будет не зазорно перед целым Божьим светом глядеть на своего милого Ваню.

И девушка, порывисто охватив голову Вани, прижалась к нему и страстно поцеловала. Молодой человек потянул было к

себе девушку, но та быстро и решительно отклонилаь.

— Прощай, Ваня, пора домой... поздно.

Действительно было поздно.

Трепетная, мерцающая майская ночь спустилась над Петербургом; молодой месяц, прорезавшись в густой листве лопухинского сада, вдруг облил голубоватым светом молодую чету, заиграл огоньком в глубоких черных глазах девушки, осветил ее бледное, прелестное лицо, перебежал на голову молодого человека, скользнул с его курчавых волос, причесанных по-немецки, на длинный ус и побежал прочь, дальше, играя, переливаясь и заглядывая в другие потайные места.

В саду тихо, только шелест молодых, только что распутившихся листьев один таинственно вторил тихим речам молодых людей.

Иван Степанович Лопухин и Степанида Матвеевна, или, как ее все называли, Стеня Лопухинская, были молочные брат и сестра.

Небогатая и не особенно родовитая фамилия Лопухиных скромно, чуть не убого, жила в своих незначительных поместьях, строго выполняя в домашнем обиходе все мудрые уставы «Домостроя», по временам выставляя к московскому двору кого-нибудь из своих членов на должности второстепенных чинов, до тех пор пока в конце XVII века злополучная судьба вдруг не выдвинула ее на первый план.

После свадьбы юного государя Петра I с молоденькой Авдотьей Федоровной Лопухиной все члены этой фамилии повзросли и получили права на большие оклады, поместья и на особенный почет.

Но не в пору выпала такая завидная доля Лопухиным, повитым и выросшим в ненарушимом почтении к старинным преданиям.

Молодому царю захотелось новых порядков, захотелось переkreить затхлую жизнь по новым образцам, и он принялся за это дело со всей силой своей энергической, страстной природы. Хорошенькая, но неразвитая жена и вся новая царская родня не поняли замыслов юноши, нашли их законопротивными,

вредными, стали наперекор и отнеслись к новым сотрудникам царя с явным недоброжелательством. Раз, например, на какой-то пирушке брат царицы, подвыпивши, не удержался и задал любимцу Лефорту такую встрепку, от которой у любимца многоэтажный парик съехал совсем набок. Конечно, подобный курьез не остался безнаказанным, и сам Петр тотчас поспешил надавать шурина порядочных пощечин, но дело не ограничилось дракой, а пошло дальше.

После возвращения Петра из первого заграничного путешествия Авдотья Федоровна попала в монастырь, а братья ее были удалены от двора для жительства в поместьях.

Между тем перекройка продолжалась упорно: с каждым днем и чуть ли не с каждым часом появлялись новшества, обязательные для всех и каждого, и скоро самые слепые, даже сами Лопухины, догадались, что делать нечего, что плетью обуха не перешибешь, что приходится и самим залезать в кургузое платье, — и они полезли с ловкостью заспавшегося в берлоге медведя. Лопухины поехали за границу, откуда налетали странные новшества, выучились, но, разумеется, выучились только внешним приемам, привыкли к новому костюму, освоились с новой обстановкой жизни, но сохраняли все еще в себе всю прежнюю суть.

Лопухины появились при дворе, поступили в служебные ранги и, по-видимому, примирились с новыми порядками. Мало того, перекройка у них дошла даже до того, что сын Василия Федоровича Лопухина, молодой Степан, даже примкнул к петровским птенцам, женился на красавице Наталье Федоровне и наконец скрепя сердце помирился с мыслью о замещении места тетки Авдотьи Федоровны Екатериною Бал к из кровного новаторского семейства. Таким образом, Степан Васильевич очутился на двух стульях: по воспитанию, по убеждениям он упирался на старинные предания, на дедовские и отцовские взгляды, а по служебным отношениям и по связям жены невольно примыкал к вожакам новшества. Положение щекотливое, требовавшее особенной ловкости, уменья искусно балансировать; но особенною ловкостью не отличался Степан Васильевич, а напротив, во всей его фигуре было что-то прямое,

медвежье. Правда, он получил по службе высокий пост, но большим влиянием никогда не пользовался.

Ловкости у Степана Васильевича доставало только на то, чтобы держаться на службе, и он держался не только при Петре, но даже и после его смерти, при лично ненавистной ему Екатерине, держался и получал награды с повышениями в рангах. Вдова-императрица не забывала любимого семейства Балк.

Более приветно улыбнулась судьба Лопухиным после Екатерины, в коротенькое царствование отрока Петра II. Юный государь выдвинул было всех Лопухиных, начиная с родной бабки своей, инокини Елены, приблизил к себе, и не из любви к ним, не по заслугам их, а чисто из протеста бывшим любимцам деда, не благоволившим к родне разведенной жены.

Инокня Елена получила тогда восемь тысяч дворов, и к ней назначен был особый придворный штат, на содержание которого отпускалось из казны по шестидесяти тысяч рублей в год. Весь этот штат состоял из лопухинского рода, за исключением Степана Васильевича, которого назначили камер-юнкером к самому государю и которого наградили вотчинами из отписных имений ссыльного Меншикова.

Но царствование Петра II продолжалось недолго, и через два года снова невзгода налегла на экс-царское семейство. Императрица Анна Иоанновна лично ничего не имела против Лопухиных, напротив, по складу своего характера, по глубокому религиозному чувству она тяготела к старине, но волею ее владели немцы, сердцем — курляндец Бирон, а умом Остерман — и за этими проходимцами на долю Лопухиных не выпадало ровно ничего.

Оттиснутый от расположения государыни, единственного источника милостей и общественного положения, Степан Васильевич становился даже, хотя нетвердо и нерешительно, на сторону оппозиции, посещал известные в то время либеральные собрания в доме кабинет-министра Артемия Петровича Вольтынского, выслушивал горячие речи министра против иностранцев, его осуждение даже самой императрицы, но — несчастный министр и его ближние скоро поплатились за свои

речи головой, поплатились и его конфиденты, не поплатился только Лопухин, может быть, потому, что вся его вина заключалась в одних выслушиваниях и симпатиях, а еще более вероятно, потому, что он не представлялся торжествующим жожакам чем-либо опасным. Лопухин уцелел.

В годовое правление Анны Леопольдовны счастья снова улыбнулось Лопухиным. Их приблизили ко двору: сам Степан Васильевич занял видный пост генерал-кригскомиссара, а сын его, Иван Степанович, был назначен камер-юнкером к двору Анны Леопольдовны. Дружеские отношения Натальи Федоровны с одним из самых влиятельных семейств при принцессе, с семейством графа Михаила Гавриловича Головкина, давали надежду на продолжение милостей, и вдруг новый крах — несчастную принцессу сменила Елизавета.

Удалив с приличными взысканиями всех приближенных лиц свергнутой правительницы, Елизавета Петровна удалила и Степана Васильевича от занимаемой им должности, даже держала его несколько времени под арестом, а вместе с тем удалила и сына его, Ивана Степановича, из камер-юнкеров, переводя в, подполковники неизвестно какого полка.

Невидное общественное положение Степана Васильевича, конечно, более всего зависело от быстро сменяющихся правительств, которых в продолжение пятнадцати лет насчитывалось не менее четырех, но частью и от личных его свойств. Степан Васильевич не отличался ни быстрым соображением, ни гибкостью, ни придворным чутьем, следовательно, ни одним из тех качеств, которые требовались в то время. Недальновидный, упрямый и самонадеянный, как почти все тогдашние Лопухины, он не видел и не мог оценить потребностей современного общества. Если Степан Васильевич и получил образование в поездках за границу, то это образование ограничивалось одним лоском, умением надевать парик, манжеты и камзол, подражанием всесильным фаворитам да разве еще не совсем глубокими техническими сведениями. В другое бы время, при других условиях, Степан Васильевич прожил бы мирно свой век в мудром управлении поместьями, но

судьба зло подсмеялась, кинув его в среду придворных интриг и соединив с Натальей Федоровной Балк.

Замечательная красавица своего времени, Наталья Федоровна была самой типичной представительницей русской женщины тридцатых и сороковых годов XVIII века, когда эта женщина, вырвавшись из когтей Домостроя, вдруг получила полную свободу и, не заручившись общественными нравственными началами, зажила только легкими инстинктами женской природы. Наталья Федоровна славилась красотой, очаровательной любезностью, милым кокетством, любовью к светским удовольствиям — одним словом, всеми теми качествами, которые были диаметрально противоположны характеру Степана Васильевича. От этой противоположности и жизнь супругов сделалась двойственной, с постоянным разладом, в котором, впрочем, слабейшая сторона, как почти всегда, завладела решительным перевесом.

Плодом супружества было рождение сына-первенца, названного Иваном, и нескольких детей, мальчиков и девочек^[34]. Степан Васильевич заикнулся было о необходимости кормления первенца-ребенка матерью, но Наталья Федоровна чувствовала себя нехорошо, слабой, утомленной, и потому решено было выписать из вотчин кормилицу.

Из тверской лопухинской вотчины прибыла для такого важного дела жена самого приказчика из крепостных, Арина Кузьминична, как самая надежная и самая подходящая. Арина Кузьминична оказалась действительно образцовой кормилицей и женщиной покладистой со всякой обстановкой. Кроме изобилия здорового молока, она обладала драгоценным свойством — не ценить своих небогатых умственных способностей, а напротив, признавать их в других даже в более значительной степени, чем они были. Скоро она сделалась необходимым лицом в доме, начиная от самой барыни, которая, положась на усердие и заботливость кормилицы, стала продолжать свою светскую жизнь, наполненную приемами и выездами, и кончая последней судомойкой, которой приезжая успевала оказать какую-нибудь услугу.

Ариша работала без устали во весь досуг, когда лопухинский младенец спал, туго завернутый в пеленки, работала охотно, без ворчания, как будто услужить всем ей доставляло самой душевное удовольствие. Ее полюбили все, полюбили за работу, тихость, скромность и добродушие.

Когда пошел второй год Ивану Степановичу и наступила пора кончить кормление грудью, ребенок вышел здоровым, полным, как яблочко наливное; незаметно почти прорезались у него зубы и явилось желание поработать самому над более твердыми яствами. Все сознавали, сам Степан Васильевич, Наталья Федоровна и вся дворня, главный камердинер Терентий Карпович и приближенная юнгфера Василиса Ивановна, что пора отпустить кормилицу домой, и все как-то оттягивали отсылку. Наконец дело уладилось само собою очень просто. В награду за добрые услуги Ариши и усердие ее мужа, приказчика Матвея Андреевича, им дали отпускную с обязательством переселиться в Петербург, где тоже нередко встречалась надобность в находчивости и расторопности бывшего приказчика.

Получив отпускную и приняв от благодетелей фамилию Лопухинский, Матвей Андреич устроился в Петербурге очень удобно, благодаря щедрости господ и собственному капитальцу, сколоченному безгрешно во время управления вотчиной. Он купил небольшой домишко позади господских палат, перестроил его заново и занялся мелочной торговлей, в то время весьма прибыльной по наплыву в новую столицу разного рода людей волей и неволей. К изрядному доходцу от торговли немало также перепадало прибытку и от дома благодетеля. Степан Васильевич часто нуждался в деньгах, а Матвей Андреич всегда находил возможность выручить барина из беды, не забывая и себя, как не забывал себя и во время исполнения поручений Степана Васильевича по ревизии более отдаленных вотчин.

Но еще более необходимой для дома бывших господ сделалась Арина Кузьминична. Она исполняла поручения Натальи Федоровны, присматривала в кухне, за кладовыми, в которых необозримыми ворохами лежали запасы жизненных припасов, навезенных из вотчин, зорко глядела за детской, в

которой проживал ее любимец, молочный сын Ваня. Чуть не весь день она проводила в господском доме, где все смотрели на нее как на свою. Зато немало и перепало ей от Натальи Федоровны; помимо жизненных припасов: муки, зерна, масла, домашней птицы и разных подарков, ей дарилось и по части женского туалета, за исключением, разумеется, носильных господских платьев, которые всегда, по заведенному обычаю, с полненьких, пухленьких плечиков Натальи Федоровны переходили на более упругие, но не менее бойкие плечики поверенной юнгферы, Кати.

Через год по переселении в Петербург новосозданных самостоятельных граждан у них родилась дочь, окрещенная Степанидой в честь празднования этой святой 11 ноября.

Были у Лопухинских и прежде дети, но все они умирали — кто от зубков, кто от родимчика, а кто и Бог знает отчего. Понятно, как обрадовало родителей появление детища, для которого они в ожидании будущего копили, сберегали и приобретали. Конечно, больше было, бы по душе Матвею Андреичу рождение сына как наследника новоприобретенного имени, увековечивавшего его в потомстве, но и это печальное обстоятельство скользнуло по сердцу родителя: ведь оба они далеко еще не стары — будут и сыновья, а теперь, по крайности, есть утешение.

С рождением дочери прежние близкие отношения двух соседей, Лопухиных и Лопухинских, нисколько не изменились. Арина Кузьминична, бывало, как только управится по хозяйству и накормит свою Стеню, тотчас бежит в господский дом взглянуть на барчонок. И барчонок платил ей такую же любовь. Придет, бывало, в детскую сам Степан Васильевич полюбоваться сынком, придет, кажется, такой ласковый, возьмет его на руки, тютюшкает, но как-то неловко, жестко, и барчонок заревет во все детское крикливое горлышко и начнет отпихиваться ручонками; приветливее встретит ребенок хорошенькую мамашу, Наталью Федоровну, улыбнется ей, поиграет ее шелковистыми локонами, подергает кружева, поцелует, но все-таки не так, как целует и смотрит он на свою ненаглядную кормилицу.

Ваня Лопухин и Стеня Лопухинская с колыбели сделались неразлучными друзьями. Правда, он был старше ее почти на два года, но рыхлее, и силы их уравнивались. Дружба началась еще с того бессознательного состояния, когда они лезли друг к другу ручонками с явным намерением выцарапать глаза. В одно время стали они учиться ходить, поддерживаемые обеими руками Ариши, и грешно было бы сказать, что меньшая заботливость падала на долю молочного сына. С математическим равенством делила Ариша между друзьями-ребенками свою любовь и ласку, когда они заслуживали их; затруднение представлялось только в том редком случае, когда два — друга совершали противоположные деяния: один, например, капризничал, а другой вел себя совершенно безукоризненно. В таких случаях Ариша хоть и журила капризного, укоряла, выставляла в пример друга-умницу, но в то же время в самой воркотне ее чувствовалось что-то приголубливающее.

Лет десяти посадили Ваню за учение, к общему неудовольствию Ариши и восьмидесятилетней няни Парани, бывшей за дряхлостью не у дел и только брюзжавшей весь день на все и на всех, не исключая и самого барина, в ее глазах молодого еще барчонка Степы. И Ариша, и Параня — обе сходились в одинаковом мнении, что грамота нужна только разве проходимцам да беднякам, а у русских барчат от нее мозжечок портится да здоровье слабеет. Несмотря, однако ж, на протесты няни и кормилицы, для преподавания русской грамоты был приглашен Степаном Васильевичем — Наталья Федоровна в русское учение не вмешивалась — сам протопоп ближайшей Спасской церкви, отец Иринарх, славившийся в то время ученостью, а еще более беспримерным терпением.

Ване плохо давалась грамота; никак не мог он отличить «аза» от «веди», только «живете» врезалось в его память своей оригинальностью. Как ни бился отец Иринарх напечатлеть в

голове ученика различные очертания букв, Ваня сонно глядел в букварь, вяло указывал пальчиком и если называл правильно, то всегда с подсказок друга.

О Стене при условиях занятий ничего не говорилось отцу протопопу, но девочка казалась такой смирной, так настойчиво во весь урок стояла за кресельцем барчонка, с таким вниманием следила за указкой учителя, что изгонять ее из классной комнаты не представлялось никакой надобности. Скоро учитель заметил, что из девочки он может извлечь пользу и для себя. Она умела лучше приноровиться к пониманию друга, и иногда урок, видимо не понятый Ванею, оказывался приготовленным и вполне понятным к следующему классу. Это обстоятельство побудило отца Иринарха невольно привлечь и Стеню в круг своих занятий как посредника дарового и притом значительно облегчающего его самого. Стене это посредничество обходилось очень жутко.

Когда, например, несмотря на все разъяснения, на все разнообразные толкования, сопровождавшиеся обильными каплями пота на крутых висках отца протопопа, ученик все-таки не понимал и тупо смотрел в книжку, духовный отец, не смея оборвать сердце на знатном барчонке, протягивал мощную длань к девочке, схватывал ее за ушко и жестоко наказывал. Девочка не кричала, все обходилось благополучно — и урок приготовлялся.

Классная комната во время занятий считалась всеми обитателями каким-то таинственным святилищем: все, начиная с холопов и кончая приживальцами, мимо нее ходили на цыпочках, вытянув голову и подобрав животы. Если же какой-нибудь ротозей, позабывшись, проходя мимо, затопчет сапожищами, тогда на такого дерзкого тотчас же накидывались или няня Параня, или Ариша, всегда дежурившие около классной.

— Что затоптал, леший! Аль забыл, что барчонок изволят учиться!

И дерзкий, подобравшись чуть не в комок, удалялся тише мухи.

В доме стояла тишина; во время класса никто не смел входить в комнату, разве только изредка няня или Ариша поприотворят тихонько дверь, посмотрят на маленьких мучеников, покачают неодобрительно головой и опять скроются..

Раз в неделю посещал класс сам Степан Васильевич, входивший с важностью, благоговейно получивший благословение от отца протопopa и всегда обращавшийся к нему с одним и тем же вопросом: «А как, святой отец, преуспеваете?».

— Преизрядно преуспевает, ваше сиятельство, — уклончиво ответит отец Иринарх.

Благосклонно оглянет Степан Васильевич сына Ваню и, не заметив глубокого, сосредоточенного взгляда черноглазой девочки, стоящей за стулом сына, обратится к преподавателю с речью:

— А что, святой отче, слышно в городе новенького?

— Ничего не слышал, ваше сиятельство; в нынешние опасливые времена разговоров происходит мало, ибо за оные дерзновенные подпадают под опеку Андрея Иваныча, — ответит обыкновенно отец Иринарх.

— Да, Андрей Иваныч Ушаков шутить не любит, нечего сказать — русский, а верный слуга немцам, — с горечью проворчит Степан Васильевич и потом, по обыкновению же, поведет речь о том, что не так было несколько лет назад, при господствовании отрока, внука Петра Великого, расскажет несколько анекдотов об остроте ума и великодушии покойного императора-отрока и об интригах, бывших в то время.

Иной раз содержание разговора Степана Васильевича изменялось; вместо анекдотов о Петре II он начинал рассказы о своем пребывании за границей, иллюстрируя тамошнюю жизнь красками собственного творчества.

Пробеседовав таким образом с полчаса в классной, Степан Васильевич снова подходил под благословение отца Иринарха и удалялся, глубоко убежденный в своем строгом наблюдении за воспитанием сына.

Наталья Федоровна вовсе не бывала в классе. Раз только, проходя мимо и по какой-то странной случайности вспомнив о сыне, она вдруг отворила дверь в классную.

Ее неожиданное появление, поразило ученых тружеников: отец Иринарх встал и растерянно соображал в уме, нужно ли подойти к знатной красавице или нет, благоугодно ли или неблагоугодно будет ее сиятельству получить его пастырское благословение, Ваня как протянул пальчик к какой-то мудреной букве, так и застыл, а Стеня в испуге забыла вскочить с кресельца и встать позади барчонка.

— Зачем Стеня здесь? — спросила Наталья Федоровна, которой взгляд, как нарочно, упал на смущенную и, как пион, покрасневшую девочку.

— Она... она... ваше сиятельство... проводником... — Но кому могла служить девочка проводником, этого святой отец так и не объяснил.

Наталья Федоровна с неудовольствием затворила дверь, а в соседней комнате строго повторила свой вопрос Арише и няне.

— Сподручнее отцу протопопу, матушка-барыня, ваше сиятельство, — находчиво отвечала мать. — Иной раз барчонок не внимает аль капризничает, так батюшка и накажет Стеню в пример.

Наталья Федоровна, найдя, вероятно, объяснение резонным, удалилась, не сделав распоряжения об удалении девочки, а та с этих пор уже получила в комнате право гражданства.

С грехом пополам, но наконец Ваня выучился читать, первым четырем правилам арифметики и мог с запинкой рассказать о сотворении мира.

Стеня же бойко читала, считала и рассказывала любую историю из Ветхого завета.

В прежнюю пору такого образования было бы слишком достаточно для боярского сына, но в наступившие зловерные времена оно оказывалось далеко не удовлетворительным, и Степан Васильевич пригласил какого-то пленного шведа для обучения немецкому разговору, а парижанина, приехавшего в

посольстве Шетарди, французскому. Долго мучились с Ваней швед и француз и, вероятно, совсем бы не успели, если б и тут не помогла Стеня. При помощи ее Ваня наконец стал понимать любую немецкую или французскую речь и даже мог объясняться сам, тогда как Стеня очень быстро стала отлично понимать. Запоминая с изумительной памятью названия предметов и обороты речи, она передавала свои познания Ване, и он с ее слов усваивал легче, запоминал тверже.

Ване иностранные языки понравились больше русского букваря, арифметики и закона Божия, во-первых, потому, что сами учителя не казались такими грозными, как отец Иринарх, а во-вторых, иноземная болтовня придавала ему некоторый вес в глазах няни Парани и Ариши. Во всем доме говорили «по-птичьему», как выражалась няня: Степан Васильевич, Наталья Федоровна да главный камердинер Терентий Карпыч, живший со Степаном Васильевичем за границей, т. е. именно те лица, с которыми менее всего приходили в соприкосновение дети.

Ване нравилось говорить со Стеней и знать, что их никто не поймет, что некому передать и насплетничать.

Конечно, из их разговора выходила такая дикая смесь, что и сами бы учителя ничего не поняли, но Ване до этого не было заботы, — лишь бы понимала его Стеня.

Учебные занятия далеко не наполняли всего времени детей; много часов им оставалось для игр, беганья и придумывания различного рода проказ.

Самым излюбленным местом Вани и Стени был сад, тянувшийся за домом почти десятины на две.

Никто из лиц, власть имеющих, не занимался садом, да и незачем, — это был не больше, как обгороженный участок, весь почти заросший дикими деревьями, липами, дубами и березой, за исключением только небольшого уголка, занятого огородными грядками с различными овощами для домашнего потребления.

В саду не было укатанных и убитых песком дорожек, не было бассейнов, клумб и подстриженных деревьев, зато по разным направлениям извивались заманчивые тропинки, густые деревья давали прохладу в летний зной, а в воздухе стоял несмолкаемый концерт; величаво колыхались многолетние

ветвистые дубы и говорили странные речи, к которым детское ухо прислушивалось с замиранием.

В саду дети наслаждались без надзора няни и Ариши полной свободой, играли в лошадки — причем Ваня бывал не кучером, как бы следовало по мужскому достоинству, а лошадкой, бойко управляемой Стеней, — лазили по деревьям, отыскивали птичьи гнезда, бегали вперегонки.

Изобретательницею и заводчицею всех проказ обыкновенно являлась Стеня, желания которой исполнялись Ванею безропотно, несмотря на ушибы, синяки и разорванное платье.

Раз Стеня заметила на самой вершине громадного дуба гнездо, которого прежде не было или которого не замечала.

— Ваня! Ваня! Смотри, как высоко! — лепетала она, указывая пальчиком на гнездо. — Видишь?

— Вижу.

— Ведь прежде его не было? Не было?

— Не было, — хладнокровно вторил Ваня.

— А какое гнездо? Грачиное?

— Грачиное.

— Там, должно быть, теперь молоденькие грачи, такие маленькие. Как бы мне хотелось взглянуть на них!

— Высоко; видишь, на каких тонких ветвях, а внизу сучков вовсе нет, — не влезешь, — обсуждал Ваня.

— Попробуй, миленький, голубчик, попробуй! — уговаривала девочка.

— Нечего и пробовать, — не влезешь, — упорно настаивал Ваня.

— Попробуй же, голубчик, ну для меня, — продолжала умолять Стеня, глазки которой разгорелись от препятствия.

— А что дашь? — вдруг заторговался начинавший колебаться мальчик.

— Что хочешь, то и дам.

— Поцелуешь, если достану? — спросил Ваня, которому нравилось, когда его целовала Стеня.

— Вот чего захотел — я тебе дам руку поцеловать.

— Очень нужно, руки твои грязные, — упорствовал Ваня в прежней цене.

— Врешь, врешь, не в грязи, а совсем чистые! — оправдывалась девочка, показывая свои розовые пальчики. — А вот твои так грязные. Ты не понимаешь, а я знаю, что кавалеры всегда целуют ручки у дам. Вчера я прохожу тихонько мимо уборной твоей мамы и слышу — говорят. Я приостановилась, посмотрела в замок и вижу: Рейнгольд Иваныч стоит перед Натальей Федоровной на коленях и целует у ней руки, а она лежит на диване и так весело ему улыбается. Видишь, глупенький, еще на коленях стоял.

— Да ведь это другое дело: моя мамаша знатная дама, — пробовал возражать Ваня.

— А я чем хуже знатной? Собой буду не хуже, говорить иностранному умею и сама, наверное, сделаюсь что ни есть самой знатной.

Убежденный ли доводами молочной сестры или прельщенный наградой, Ваня полез на дерево, изорвал платице, чуть не выколол себе глаза, ободрал до крови руки, но все-таки с торжеством поднес своей знатной даме пару неоперившихся галчат.

— Ах, какие они гадкие! Головы большие, голенькие, как противно рот открывают! Зачем ты их вынул?

— Да ведь ты же просила!

— Разве я знала, что они такие гадкие? И тебе вовсе не нужно было так вот сейчас и лезть на дерево!

Когда Ваня и Стеня утомлялись или когда им наскучивало рыскать по саду, они забивались в какой-нибудь кругом заросший уголок и, усевшись рядом, вели беседу о разных злобах дня. Чаще всего, конечно, речь касалась папаши и мамыши Вани.

— Знаешь ли что? — глубокомысленно утешала девочка на жалобы Вани о том, что ни отец, ни мать его не ласкают. — Любят ли тебя они — я не знаю, но что твой папаша не любит мамыши — это я знаю наверное.

— Ты почему это знаешь? — широко раскрыл глаза и открыл рот мальчик на решительное заявление Стени.

— Мало ли что я знаю! — с важностью продолжала девочка таинственно и понижая голос. — Помнишь... давно это было —

когда твоя сестра Паша родилась, — сижу я в классной, учу урок и слышу: по зале идет твой папаша с какой-то дамой — шелковое платье так и шуршит. Я к двери и вижу: твой папаша встречает знатную даму — помнится, ее называли леди Рондо, — и разговаривают между собою по-английски. Слова все знакомые, я и понимаю. Дама поздравляет твоего папашу с рождением дочери, а он вдруг ей и отвечает: «Что вы меня поздравляете! Вы лучше поздравьте Рейнгольда Иваныча Левенвольда. Полноте! Ни для кого это не тайна. Говорят, будто жена моя красавица: я этого не вижу. Женился я по приказанию Петра Первого, послушаться было нельзя, — знаете сами, какой он был, — жену свою я невлюбил, да и она меня тоже. Живем мы розно, скандалов она не делает... я и доволен». Что это значит, Ваня, скандалов не делает?

— Не знаю, Стеня, должно быть, займы не берет а отец не любит тратить денег.

Так прожили, пробежали и проучились Ваня и Стеня до той переходной поры, когда кончается детство и появляются признаки отрочества. Многие замечают для них самих стало изменяться и в их отношениях. Ариша стала зорче присматривать за ними; миновала прежняя свобода бегать одним по всем отдаленным закоулкам сада, и даже сами они стали держаться друг к другу сдержаннее, как будто что-то затаивая, не выкладывая по-прежнему все беззаветно.

Скоро наступила решительная перемена. С легкой руки Петра Великого все русское юношество высшего общества, под влиянием плотно засевшей мысли о необходимости заграничного воспитания, летело в чужие края, где оно, кроме обучения в науках, получало необходимую светскую полировку. Степан Васильевич знал это, сам в молодости учился в Лондоне морскому делу и вследствие этого учения потом мог получить звания контр-адмирала, вице-адмирала и другие высшие ранги.

По любви ли к Ване, которого он мог еще действительно считать своим сыном, или под давлением общества, к мнению которого он, в сущности, был очень чуток, несмотря на наружную оригинальность и самонадеянность, только Степан

Васильевич стал наведываться и выискивать время к отправке сына.

Случай скоро представился. Один из его родственников отправлялся в Париж по какому-то поручению к нашему посланнику Антиоху Дмитриевичу Кантемиру и должен был там прожить несколько лет. Ожидать другого, более благоприятного случая было трудно, и Степан Васильевич в одно прекрасное утро объявил сыну о решенной им поездке, а домашним приказал торопиться сборами.

И вот Ваня очутился в Париже, если не на полной свободе, то, во всяком случае, без стеснения от бдительного присмотра Ариши и нескончаемой воркотни няни Парани.

Сначала к нему ходили учителя, а потом его записали в техническую школу, где в это же время образовывали свои умы и несколько других птенцов. Ваня познакомился с товарищами, сошелся с ними, что было нетрудно по его открытому характеру, и стал развиваться, как развивалась тогда парижская молодежь высшего общества. Научные познания укладывались в Ваню туго, плохо воспринимались неподготовленными умственными способностями, но зато он приобрел некоторую развязность манер от созерцания эlegantного общества, бывавшего у нашего посланника, познакомился с женщинами, а главное — развил, в себе вкус к кутежам.

Знакомство с прекрасным полом совершилось не вдруг. Долго Ваня помнил советы няни Парани и Ариши, заповедавших ему при отъезде как можно дальше удаляться от прелестей басурманок, сгубивших не одну христианскую душу; долго живой образ Стени царствовал самовластно в его памяти, но кровь, возбужденная вином, закипала, а молоденькие, кокетливые гризетки были так обольстительны!

Раз, проходя в школу по одному из бульваров, Ваня обратил внимание на стройную женскую фигурку. Девушка шла по тому же направлению, в нескольких шагах впереди, бойкой походкой и грациозно подобрала платье, из-под которого мелькали хорошенькие маленькие ножки.

Ване захотелось увидеть лицо этой женщины, и он, ускорив шаги, скоро поравнялся с ней.

Незнакомка оказалась прехорошеньким существом, с нежным, розовым личиком, с лукавыми, весело смотревшими глазками и с пухленькими губками. Ваня замедлил шаг и пошел подле. Девушка быстро окинула его ласковым взглядом и улыбнулась, как будто вызывая или одобряя на дальнейшую смелость.

— Вы куда спешите? — решился Ваня боязливо и чуть слышно обратиться к девушке.

— В магазин, а вы? — вовсе не боязливо отвечала она, задорно передернув плечиком.

— В школу.

— Так вы учитесь? Хорошие люди студенты!

Завязался живой разговор, в котором Ваня сообщил, что он русский, из знатного рода, приехал учиться, а от нее узнал, что она Лора, работает в модном магазине, что хозяйка у них скарред-женщина, что она была дружна со студентом медицины Франсуа, жила с ним, но что он недавно — такой гадкий и отвратительный — изменил ей, переметнулся к Жюли и живет теперь с ней, что она никогда, никогда не простит ни ей, ни ему и непременно отплатит ему тем же.

У дверей магазина молодые люди расстались, пожав друг другу дружески руки и условившись видаться по пути в определенное время. На другой день Ваня вел себя гораздо свободнее, смелее, знаменательнее пожал ручку и, узнав, где квартира незнакомки, без труда получил от нее позволение ее навестить.

Квартирка Лоры находилась всего дома через два от квартиры Вани в мансарде, и он, вероятно ради близости, стал посещать соседку каждый день, проводить с ней вечера, потом часть ночи, а наконец, и все ночи. Жизнь раскинула перед ним новые стороны, и немудрено, что он, не знавший ничего, кроме Лопухинских палат, увлекся до самозабвения. Ваня забыл Стеню, познакомился с подругами Лоры, с Луизой, Нанеттой, и Жозефиной, подружился с их сожителями-студентами, кутил с ними, изменял Лоре — одним словом, рачительно занимался всем, кроме того, зачем приехал, то есть кроме учения. Изредка только в беззаботную жизнь вносили полутень лаконические

письма отца с вечными вопросами о результатах учения, со скучными советами беречь деньги, в которых Ваня всегда испытывал крайнюю нужду.

Ваня блаженствовал, не предчувствуя, как грозные тучи набегали на его светлый небосклон. В конце третьего года его проживания в Париже, в самый разгар удовольствий, Ваня получал письмо от отца, в котором тот, извещая о здравии и благоденствии своем и Натальи Федоровны, между прочим писал: «...а как понеже она пертурбация совершилась, зловерный регент ниспровержен и возвысилась на ступень правления благодущная великая княгиня Анна Леопольдовна, изрядно расположенная к нашему Лопухинскому дому, того ради приказываю тебе, афинировав свои занятия по дифферантным сциансам, немедля ехать сюда к нам в Санкт-Петербург, где и получишь конвенанбельное место при дворе».

Перспектива жизни в отцовском доме и службы при дворе показалась Ване до такой степени непривлекательной, что первую его мыслью было остаться во что бы то ни стало в Париже, отозваться каким-нибудь благовидным предлогом — или необходимостью окончания учения, или слабостью здоровья, но потом, подумав и обсудив хладнокровно, он решился исполнить волю отца.

Ваня знал очень хорошо, что отец не посмотрит ни на какие отговорки и тотчас же приостановит присылку денег, а без них в Париже, более чем где-либо, жить нельзя.

Неприветно встретило Ваню серенькое небо родины по возвращении его из Парижа.

Жалок и убог показался ему Питер, хотя и довольно изменившийся в эти три года, утомительно скучен отцовский очаг, в котором не замечалось особенных перемен.

Отец по-прежнему суров, недоступен, даже стал как будто раздражительнее, мать по-прежнему сияла красотой и элегантностью, по-прежнему ее навещали старые друзья, а в особенности милый Рейнгольд Иванович, только поразительные перемены заметны в старшей сестре Насте, оставленной им почти ребенком, а теперь вдруг сделавшейся взрослой

девушкой, такой же красавицею, как и мать, да в нянюшке Паране, совсем почти оглохшей и ослепшей, не сходявшей теперь с лежанки и неумолчно ворчавшей какие-то бессвязные спора.

Благодаря дружбе Натальи Федоровны с Рейнгольдом Ивановичем, а еще более с Анной Гавриловной, сестрою самого влиятельного из приближенных лиц к Анне Леопольдовне, Иван Степанович немедленно по приезде получил назначение камер-юнкером. Но придворная жизнь не нравилась ему. Правда, легкие нравы высшего петербургского общества не очень разнились от парижских, но почва была совсем иная. При дворе группировались плотоядные политические партии, кичливые, лицемерно-угодливые, но вместе с тем враждовавшие, вечно подкапывавшиеся друг под друга, партии, которых Иван Степанович не мог понять, привыкши к откровенной и веселой парижской жизни гризеток и студентов. Новый камер-юнкер аккуратно исполнял обязанности, являлся ко двору, но душа его туда не льнула; от скуки он стал посещать бильярдные дома.

О Стене Иван Степанович по приезде забыл осведомиться, и, казалось, детские впечатления не оставили по себе и следа, но они жили бессознательно для него самого.

Через несколько дней, проходя от сестры Насти в свою комнату через классную, Иван Степанович увидел девушку, стоявшую у дверей и, по-видимому, поджидавшую его. Девушка поразила его красотой, с которой не могли сравняться парижские Лоры, Нанетты и Жюли. Не скоро узнал он в красавице неизменного детского друга.

За эти три года. Стеня изменилась во всех отношениях.

Прежнюю Стеню напоминали только черные, жгучие глаза да курчавые волосы, прежде космами болтавшиеся на несложившихся плечиках, а теперь спускавшиеся длинной широкой косой по высокому, стройному стану. Девушка сформировалась, развилась умственно, в ней выработались убеждения, определился характер. В то время как Ваня гулял с гризетками, Стеня училась, читала, работала и присматривалась.

— Стеня! Вы ли? — заговорил Ваня, протягивая руку и остановившись перед девушкой в полном изумлении.

— Я, Иван Степанович, и пришла сама повидаться; я не забывала вас, — отвечала Стеня, дружески пожимая ему руку.

— И я не забывал тебя... вас... но никак не ожидал. Ты... вы стали таким... — запинаясь говорил Ваня, испытывая приятное, странное ощущение от этих твердых, блестящих глаз, о которых забыл он под похотливыми взглядами парижских гризеток.

— Стала таким уродом, хотите вы сказать, Иван Степанович! Немудрено показаться уродом после чужеземных красавиц, — улыбалась Стеня.

— Уродом! Да ведь все парижские поддельные красотки не стоят одного твоего мизинчика! — с жаром продолжал Ваня. — Когда это вы успели так похорошеть?

— Полноте говорить комплименты! Я ведь доморощенная, у нас здесь девушки живут попросту... Вот а вы, Иван Степанович, стали другим, совсем другим, и не узнать прежнего Ваню: теперь вы знатный придворный вельможа!

— Для тебя, Стеня, прежний же Ваня.

Молодые люди расстались, условившись встречаться как можно чаще.

Иван Степанович оживился. Как будто воскресшие в его памяти счастливые дни детства отрезвили от парижского чада и принесли какое-то новое, еще не испытанное им чувство.

На другой день и в последующие Иван Степанович и Стеня видались в той же своей бывшей классной комнате и говорили друзьями.

Иван Степанович передал другу о своих приключениях, все без утайки, на что и не способна была его откровенная природа, но рассказала ли все Стеня? Нет. Она подробно говорила о своем учении, о своем житье, но не высказывала того, о чем задумывалась ее головка, наклоненная над книгой или работой, какие сумасбродные мечты создавались и развивались по мере того, как она сознавала свою красоту и свое образование, далеко опередившее образование знатных барынь того времени. Из классной они переходили в сад, на место детских

игр, где каждая лужайка, каждый куст смотрели на них так же любовно, как смотрели и в былые дни.

Иван Степанович полюбил Стеню беззаветно, всей полнотой нетронутого чувства, как не любил он ни Лор, ни Нанетт, ни Жозефин, так как и Лоры, и Жозефины только возбуждали одну его чувственность:

— Любишь ли ты меня, Стеня? — допрашивал Иван Степанович девушку, когда они сидели рядом на той же лужайке, на которой так часто совещались по части отыскивания птичьих гнезд.

— Люблю... но... — И девушка отклонялась.

— Если любишь, так зачем «но»?

— Послушай, Иван Степаныч, милый мой, давно я хотела сказать тебе, да все откладывала., боялась... больно было... Мне самой так сладко глядеть на тебя... быть с тобой... К чему наша любовь? Хорошо, я верю тебе, ты меня любишь, и я, да что же из этого выйдет? Ты — вельможа, а я — простолюдинка. Жениться на мне тебе нельзя, родители твои не позволят, а любовницей я не хочу быть: лучше руки на себя наложу...

Девушка говорила решительно, с раздирающим отчаянием в голосе; глаза ее горели диким блеском, во всех побледневших чертах выразилось такое глубокое страдание, что у Ивана Степановича невольно опустилась рука, протянутая к талии Стени.

Молодой человек задумался, но вдруг блеснула у него решительная мысль, и он бодро поднял голову.

— Знаешь что, Стеня, милая, ты не бойся, все может уладиться, — начал он даже весело, заглядывая ей в глаза.

— Уладиться? Нет, милый мой, недостаточное это дело: не обманывай ни себя, ни меня. Лучше расстанемся; ты поплачешь, потоскуешь, а потом утетишься, а я... да обо мне и говорить не стоит.

— Нет, не расстанемся, я не вынесу этого, да и незачем. Разве я не могу жениться на тебе? Кто были Тендряковы и Ефимовские, а теперь графини... Почему же не быть тебе Лопухиной? — утешал ее Ваня.

— А Степан Васильевич и Наталья Федоровна? Ведь они гордыня: потерпят ли, чтоб дочерью их стала своя же крепостная?

— И отец, и мать сделают все, чего захочет государыня. Нынче не прежние времена. Надобно только правительницу привлечь на свою сторону, да ведь это нетрудно: она такая добрая и милостивая. Я буду теперь чаще бывать при дворе, зайду в графе Линаре, и с его помощью — а он все может сделать, что захочет, — устрою так, чтоб тебя взяли во дворец., Ты понравись государыне, сделаешься ее любимицей и тогда...

Стеня порывисто обхватила голову Ивана Степановича, прижала ее к своей высоко поднимавшейся груди, страстно поцеловала в лоб и бросилась бежать. Голова ее горела, в висках билась кровь; наконец-то ее неопределенные мечты приняли ясные формы, будущее посулило почет, славу, силу великую!

Иван Степанович ретиво принялся приводить задуманный им план в исполнение.

Заручиться благосклонностью графа Линара оказалось делом нетрудным. Владея безграничным расположением принцессы-правительницы, но стоя особняком и даже в оппозиции ко всем политическим партиям того времени, граф-фаворит с удовольствием принимал искательства в себе молодого русского придворного из хорошей родовой фамилии, а за ним стала приветливее, как заметил Иван Степанович, и сама правительница Анна Леопольдовна. Молодого Лопухина приняли в интимный кружок правительницы; нередко любимица Юлиана шутила с ним, играла в карты, обыгрывала и давала возможность все больше и больше выигрывать в придворном значении. Иван Степанович быстро пошел в гору; ему уже казалось близким то время, когда он с уверенностью обратится к графу Линару с просьбою о Стене, им уже мысленно назначался и день, как вдруг — крах — правительство Брауншвейгской фамилии рухнуло, уступив место императрице Елизавете, подозрительно и враждебно смотревшей на всех приближенных своей предшественницы.

В первые же дни правления Елизаветы на Лопухиных налегла опала. Степан Васильевич лишился должности и отставлен тем же чином генерал-поручика, без всякого повышения и награды; Иван Степанович тоже отчислен от камер-юнкеров, с переводом в армию подполковником, без назначения в полк; Наталья Федоровна хоть и получила даже назначение быть статс-дамою, но, чувствуя нерасположение к себе новой императрицы, завистливо смотревшей и прежде на ее очаровательную красоту, сначала показывалась при дворе, а потом и вовсе перестала бывать. Да и не в силах она была лицемерить: ее друг, к которому она так искренне привязалась, ее дорогой Рейнгольд Иваныч судился вместе с Минихом и Остерманом. С горя Наталья Федоровна занемогла серьезно.

С Анной Леопольдовной рухнули все надежды Ивана Степановича и Стени, а между тем в это время счастливых призраков они сошлись ближе, Стеня бывала задушевнее, страстнее ласкала друга, хоть и твердо держалась своего слова. Иван Степанович опустил, часто стал заходить в бильярдные дома, кутил, искал спасения в вине, и вино оказывало ему добрую услугу: оно окрыляло воображение, рисовало в будущем возможность новой перемены, восстановления только что погибшего.

IV

Новая императрица должна была прежде всего обеспечить себя, оградить себя от таких ударов, какие нанесены были Минихом Бирону и ею самою брауншвейгцам. Сочинены и обнаружены были два манифеста, один за другим, в которых выставлялись права на престол Елизаветы, но эти манифесты только оправдывали, объясняли, но не ограждали фактически. Необходимо было избавиться от противной немецкой партии, враждебно властвовавшей до сих пор... И вот самые видные вожаки этой партии — Миних, Остерман, Менгден, Левенвольд и Головкин, — с их конфидентами, кто сослан, кто удален в надежные места тотчас же по воцарении Елизаветы. Вслед за тем или одновременно последовали милости, привязывавшие новых — правительственных людей, посыпались ордена, небывалые прежде повышения и назначения, привилегии и пожалования. Был вызван и признан наследником престола сын старшей дочери Петра Великого Анна Петровна, Петр Федорович, который больше Елизаветы имел прав на престол, но который по молодости и незначительности своей не мог быть опасен тетке. И наконец, стали торопиться освятить вступление религиозным образом, осеняющим новую императрицу Божиим благословением.

Как только прошли в заботах и удовольствиях рождественские праздники и святки, при дворе начали собираться к коронации. Царский выезд совершился 23 февраля, великим постом, когда в Москве, более чем где-либо, дышится религиозным чувством.

Зима с 1741 на 1742 год отличалась особенным постоянством; глубокие снега лежали ровной настилкой и представляли самый удобный путь. Благодаря прекрасной погоде, поезд, состоявший из несметного числа колымаг, возков и кибиток, катился быстро, и 26-го числа назначен был торжественный въезд в первопрестольную столицу, где в это время оканчивались обычные приготовления.

На рассвете торжественного дня грянули, как вестники великого дела, пушечные выстрелы на Красной площади, вслед за которыми раздался первый удар колокола с колокольни Ивана Великого. Этот удар подхватили другие сорок сороков, и несется по всей Москве ликующий и радостный гул.

Тысячные толпы со всех концов спешат к Тверским воротам — взглянуть на свою родную матушку-царицу, которую они все знали, которая не гнушалась, бывало, и сама участвовать в деревенских хороводах.

С полной, непритворной радостью встречала новую императрицу Москва, в которой русский дух живет везде: в каждом камне высоких стен, в каждой струе реки, в каждом облачке, несущемся над золотыми главами, в каждой нечесаной и чесаной голове обывателя.

Бывали и прежде торжественные встречи, но не было такой радостной и знаменательной. Долго Москва сиротела; грустную память оставила в ней по себе покойная Анна Иоанновна, потом уехавшая в Петербург, откуда доносились по временам тревожные слухи о принижении русских и невыносимой кичливости иноземцев, о кончине государыни, о регентстве курляндца, и, наконец, о правлении молодой принцессы Анны Леопольдовны. Правительницу Москва почти вовсе не знала; она помнила ее только слабеньким, худеньким ребенком, грустным, прятавшимся при каждом шумном выражении или за юбки матери, строгой Катерины Ивановны, или за не менее суровую тетку Анну Иоанновну; а не зная, понятно, и жалеть не могла.

Нынешняя государыня — совсем иное дело: своя кровная, русская, с русской речью, с русскою песнью, которую и слагала сама.

В девять часов утра экипаж Елизаветы Петровны, в сопровождении многочисленной свиты, въехал в Тверскую слободу, где ожидала парадная карета, в которую пересела императрица, а свита устроилась и разместилась по заранее определенному церемониалу. Шествие началось между двумя рядами расставленных шпалерами войск и среди сгрудившейся

массы народа, при звуках военной музыки и нескончаемых оглушительных криках.

В Успенском соборе императрица, приложившись к мощам святых угодников, встала на императорское место, а герцог Голштинский, Петр Федорович, занял царицыно место. Позади обоих теснились иностранные послы и русские сановники, из числа которых выделялись новопожалованные лица: Алексей Григорьевич Разумовский, лейб-медик Лесток, граф Михаил Илларионович Воронцов, Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, Александр Иванович Шувалов, Петр Иванович Шувалов и сильно в последнее время постаревший московский градоначальник граф Семен Андреевич Салтыков.

Государыню приветствовал витиеватою речью новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич, тот самый, который в должности епископа вологодского два года назад сказал не менее витиеватую предиду по случаю венчания принцессы Анны и принца Антона.

Обойдя потом соборы Архангельский и Благовещенский, Елизавета в парадной карете направилась в приготовленный для нее зимний Яузский дворец, напутствуемая и сопровождаемая нерасходившимися народными массами.

У синодальных Триумфальных ворот, создания знаменитого в то время архитектора Бланка, императрицу встретили воспитанники Славяно-греко-латинской академии в эффектных белых одеждах с венками на головах и с лавровыми ветвями в руках, отменно пропевшие нарочно сочиненную для этого торжественного дня кантату:

Присне день красный
Воссияло ведро,
Милость России
Небеса прещедро
Давно желанну
Зрети показали.

Прошел великий пост с лощением и говениями, строго соблюдаемыми тогда в Москве, совершилось коронование подряд со светлым праздником с обычными торжествами, с пожалованиями, милостями и наградами, миновались празднества с народными угощениями, ослепительными иллюминациями и фейерверками, настало будничное время, — а двор не готовился к отъезду, и даже не было речи о переезде в Петербург.

Прошел слух о перенесении навсегда столицы в Москву, и москвичи возликовали. Но к радости всегда примешивается горе: вместе с криками восторга слышались жалобы и ропот. Громадный наплыв всякого сброда по случаю коронации, а в особенности скопление войска, вызвал значительное увеличение беспорядков. Во всех харчевнях и постоялых дворах по целым ночам бражничали солдаты, безобразничавшие не менее, если не более, чем в Петербурге, уверенные, что все им благополучно сойдете рук; каждую ночь совершались какие-нибудь преступления, убийства, грабежи, часто слышались выстрелы и крики о помощи; не только в отдаленных, но даже и в центральных улицах бывало небезопасно выходить из домов в сумерки. Все громче и громче раздавался ропот; все жаловались на бездействие полиции, но что она могла сделать при ничтожном составе, усиленном только пятьюдесятью драгунами, когда тысячи своевольных, разнузданных солдат считали себя полными хозяевами всякого достоинства? Нередко полицейские обходы задерживали буянивших и вели их в кутузки, но на пути бродившие шайки нападали на полицейских, избивали их и освобождали арестантов. Гуляли лейб-кампанцы, гуляли гвардейцы, а за ними и солдаты армейских напольных полков, ободряемые несмелостью еще не установившейся и нетвердой власти. Солдаты ходили по домам всех особ, власть имеющих, с поздравлениями и получали обильно на водку, отчасти добровольно, отчасти из боязни грабежа, но чаще всего солдаты шатались к французскому посланнику маркизу Шетарди, которого считали самым искренним другом императрицы Елизаветы, называли отцом родным, высказывали свои симпатии к Франции и даже просили его скорее привезти в

Россию французскую принцессу для супружества за герцога
Голштинского, будущего наследника русского престола.

Ясное утро последних чисел мая; в растворенное окно кабинета Елизаветы Петровны широкой волной вливается свежий, благоухающий воздух; легкий ветерок ворвется в окно, пошелестит разбросанными по письменному столу бумагами, пробежит по лицу и открытым плечам сидящей у стола императрицы, отлетит в сторону, приподнимет кончики какой-то наколки на Мавре Егоровне Шепелевой, занятой разборкой в корзине, поиграет ими и улетит снова в то же окно для нового осмотра других лиц и других мест.

Елизавете Петровне тридцать три года. Роскошная, в ярком блеске красота ее напоминает красоту вполне развившейся розы. Полнота форм, обезобразившая ее впоследствии, теперь сохраняла еще легкость и упругость молодости, кипевшей жизнью и жаждавшей наслаждений. Государыня казалась задумчивой или утомленной. Правильного очертания голова несколько запрокинулась назад, выставляя очаровательную белую и полную шею; полузакрытые голубые глаза как будто тонули в пространстве, вызывая в памяти приятные грезы или создавая новые мечты.

Мавра Егоровна, углубленная в свое занятие, не нарушала молчания; по временам ее пронизательные, умные взгляды окидывали государыню, и тогда какая-то неопределенная усмешка проскальзывала по губам, но такая быстрая, что уловить ее и подметить выражение не было возможности.

Мавра Егоровна Шепелева состояла фрейлиной старшей дочери Петра, Анны Петровны, с которой и жила в Голштинии, но всегда пользовалась особенным расположением, дружбою и полною доверенностью Елизаветы Петровны. Беспредельною откровенностью и доверчивостью дышит вся переписка Шепелевой с цесаревной Елизаветой, когда первая уехала вместе с Анной Петровной в Киль.

После смерти герцогини Голштинской Мавра Егоровна воротилась в Петербург и с тех пор постоянно находилась при

Елизавете в качестве верной рабы и холопки, дочери и «кузыни», как она выражалась в своих письмах^[35].

Послышались три удара в дверь кабинета, и вслед за тем вошел граф Лесток, лейб-медик, верный, слуга и любимец, один из тех, которые имели право входить в кабинет государыни во всякое время без доклада. Лесток принадлежал к немалому числу смелых авантюристов, нахлынувших в Россию во время Петра Великого. Игрок и кутила, находчивый и неразборчивый в средствах, он после разных треволнений пристроился лейб-медиком при дворе цесаревны Елизаветы и приобрел ее доверенность.

Лейб-медик вошел самоуверенно, с видом обычного посетителя и домашнего человека, перед которым ничего нет скрытного. Развязно подошел он к Елизавете Петровне, взял ее руку и ощупал пульс. Государыня приподняла голову и молча взглядом ожидала совета.

— Хорошо, ваше величество, очень хорошо. Если б все мои пациентки пользовались таким же здоровьем, так мне пришлось бы медицину отложить в сторону.

— Однако, граф, я чувствую себя не совсем здоровой — какое-то расслабление и утомление, — лениво протянула Елизавета Петровна.

— Нервы немножко возбуждены, государыня, пульс подтверже, чем бы следовало, но это ничего — кровь кипит, горячий темперамент... май...: воздух такой... могу посоветовать только одно: быть поумереннее.

— Лекарства, граф, никакого не нужно?

— Решительно никакого. Как медик я совершенней доволен вашим величеством, но как друг, озабоченный вашей безопасностью, я встревожен весьма важным замыслом...

— Что ж такое, Лесток? Не грозит ли мне какая нибудь опасность? — обеспокоилась государыня.

— Опасности нет, благодаря бдительности вашего слуги и друга, однако необходимо быть осторожной и принять меры.

— Да говори же скорее, граф, в чем опасность?

— Не тревожьтесь, государыня, и не волнуйтесь, я сказал, опасности никакой нет, а нужно подумать и хладнокровно

сообразить меры.

— В чем же дело?

— Ни больше ни меньше, государыня, как замыслили вас захватить и убить, вместе и герцога Голштинского, а потом и нас, преданных слуг!

— Да за что ж и кто? Кому я сделала зло? — с отчаянием говорила Елизавета Петровна, на выразительном лице которой нежный румянец быстро сменился бледностью и дуговые брови приподнялись вверх.

— За что — угадать нетрудно, а кто — об этом я теперь стараюсь узнать. Давно вы, ваше величество, видели своего камер-лакея Турчанинова?

— Его несколько дней не видно, и я хотела спросить, здоров ли он?

— Не беспокойтесь, он у меня в застенке, здоров; то есть теперь-то не совсем здоров, немножко помят, ну да это ничего: я, как хирург, могу вновь поправить, — улыбался Лесток.

— Так он? Не ошибаешься ли, граф, он казался таким хорошим... Кто еще с ним?

— До сих пор я узнал только двоих: Преображенского полка прапорщика Петра Ивашкина и Семеновского полка сержанта Сновидова Ивана, а кто другие — об этом допытываюсь.

— Боже мой! Моя гвардия, которой я столько обязана и которую я столько наградила! Не верится, чтоб мои гвардейцы стали такими неблагодарными, да и за что?.

Лесток придвинул свой стул ближе к государыне и продолжал докладывать ровно, убедительно, придавая вескость каждому слову.

— Вспомните, государыня, какая была моя первая просьба, когда вы вступили на престол?

— Помню: ты просил увольнения и собирался уехать на родину.

— Точно так. Я просил вас отпустить меня, но вы не согласились, вы назвали меня тогда своим другом, на которого вам всегда можно положиться, а между тем вы не слушаетесь советов этого друга.

— Неправда, граф, в чем я не спрашивала твоего совета?

— Да, вы спрашиваете, но не исполняете; вы выслушаете, а исполните то, что вам нашепчут люди, вам не преданные... Вспомните, я сам советовал прежде всего оградить себя от покушений брауншвейгцев: у них много преданных слуг, готовых для них на всевозможные жертвы; необходимо было их всех уничтожить.

— Они и уничтожены. Миних, Остерман, Головкин, Левенвольд, Менгден и все их приближенные разосланы в надежные места под строгий караул. Если я не казнила их, то я дала клятву — никого не казнить смертью, да это было бы слишком жестоко; я не могу... не могу... — говорила императрица со слезами, нависшими на ресницах.

— Положим, вожак разосланы, не опасны, но сколько им преданных, которых мы не знаем и которые могут быть еще более опасны? Самый корень зла на свободе.

— Ты говоришь о кузине Анне?

— Конечно, о ней! Принцесса пользуется почетом, влиянием, и во все время, пока она будет на свободе, ее приверженцы не будут терять надежды на ее возвращение к престолу, не будет конца заговорам в ее пользу.

— О, насчет кузины, граф, я совершенно покойна! Она тяготилась властью и, поверь, нисколько о ней не думает. Я ее знаю хорошо. Жить своею жизнью, подальше от всяких интриг, для нее счастье, и она никогда не задумается о короне.

— Может быть, она сама лично и не будет интриговать — в этом я согласен, — но от этого не легче. Все-таки на нее будут смотреть как на имеющую право, и все недовольные вами, которых, вероятно, будет немало, даже помимо ее воли будут за нее действовать. Она окажется вечной, невольной причиной всех смут, возмущений и заговоров.

— Да что же делать, граф, ведь не убить же их?

— Я не говорю о смерти, государыня, а настаиваю только на том, чтоб сделать безвредными.

— За границей, граф, они будут безвредны.

— Совершенно напротив, государыня. За границей они на полной свободе, никакого надежного наблюдения с нашей стороны не может быть, а следовательно, не может быть и

предпринято никаких своевременных мер. По моему мнению, я как тогда, так и теперь повторяю: необходимо, напротив, держать их в России под самым строгим надзором, лишить возможности всяких свиданий и переговоров с кем бы то ни было.

— Но ведь ты предлагаешь тюрьму? Это невозможно. Я дала торжественное слово, даже в манифесте об этом сказано.

— Никаких слов и торжественных обещаний в политических делах не бывает, а что в манифесте было сказано... так это ничего не значит и ни к чему не обязывает. Ради вашего спокойствия и безопасности, умоляю, ваше величество, — не позволяйте брауншвейгцам уехать за границу, прикажите их задержать на дороге и окружить караулом!

Елизавета Петровна колебалась; озабоченная тревога сказывалась в произвольных движениях, в ее взглядах то на своего лейб-медика, то на Мавру Егоровну, которую она как будто просила прийти к себе на помощь, но та, продолжая заниматься своим делом, упорно молчала, иногда переглядываясь с Лестоком.

— Хорошо, граф, согласна, — наконец решилась она с большим усилием над собой. — Ты знаешь, я приказала Василию Федоровичу Салтыкову в отмену прежнего приказа ехать медленнее, и, вероятно, он теперь близ Риги. Пусть он там останется, выберем место и приставим надежных людей для присмотра, но запирайте в тюрьму... кузину... ни в чем не повинную... не могу и не могу... Да мне и другие не советуют.

— Кто же эти другие?

— Например, Алексей Петрович Бестужев.

— Алексею Петровичу не совсем доверяйтесь, государыня: он человек лукавый... Помните, когда на другой же день вашего восшествия на престол вы спрашивали меня, кого назначить вице-канцлером на место Остермана, и не согласились на мое предложение о назначении Михаила Ларионовича Воронцова по молодости и неопытности его, я тогда же указал вам на Алексея Петровича как на человека способного. Вы долго не соглашались и когда, наконец, решились, то высказали: «Смотри, Лесток, ты выбираешь на себя розгу». Боюсь, как бы

ваше предсказание не сбылось и Алексей Петрович не оказался бы неблагодарным.

Елизавета Петровна не возражала и, чтобы переменить разговор, спросила Лестока о подробностях заговора.

— Я и сам знаю только то, — сообщил лейб-медик, — что передал вашему величеству; но вы будьте покойны. Пока подле вас я — злодеи не успеют. Теперь иду сейчас отправить в Ригу курьера к Василию Федоровичу.

Граф Лесток подходил уже к дверям, когда, вспомнив о чем-то, воротился.

— Я забыл передать вашему величеству, что все иностранные послы просят вашего разрешения — обращаться с переговорами не к канцлеру князю Алексею Михайловичу Черкасскому, а к вице-канцлеру Алексею Петровичу.

— Это отчего? — быстро спросила императрица.

— Послы находят, что с Алексеем Михайловичем переговоров вести почти невозможно. Он слишком ожирел, ленив, а главное — не знает ни одного иностранного языка: послам приходится объясняться через переводчиков, а это во многих случаях очень неудобно.

— Да, конечно... — нерешительно заметила государыня, — но как же мимо канцлера? Ведь это не деликатно — обидеть старика? К тому же, как я думаю, и надобности большой нет: Шетарди может переговариваться лично со мной.

— А английский посол Финч и австрийский де Ботта?

— Финч, да и Ботта тоже, так интриговали против меня при кузине Анне, так стирали меня, что мне об их удобствах заботиться незачем, — с раздражением вспомнила о прежних обидах государыня.

По уходе Лестока императрица тревожно прошлась несколько раз по кабинету, бессвязно высказывая отрывистые выражения: «...в тюрьму... изменники... неблагодарные... вот и за последнее буйство в Петербурге на народном гулянье только четырех отправила в Сибирь на заводы, а прочих разослала по гарнизонам... кому же верить?..»

Потом, вдруг остановившись перед Маврой Егоровной, спросила:

— Ты как думаешь, Мавруша?

— О чем, милая моя государыня, об изменниках? Она всегда найдутся, но беспокоиться вам, между верными людьми, не стоит.

— Нет... нет.. Мавруша, не то... ты не поняла. Как мне быть с кухней? Неужели в тюрьму запереть... она такая добрая... слабая... не вынесет. В чем же она виновата? А с другой стороны, нельзя же и себя не беречь. Лесток говорит правду, что, пока она на свободе, спокойствия не будет: вечные заговоры, казни... Как быть?

В это время вошел новый посетитель, имевший тоже право входить без доклада, фаворит государыни, недавно, четыре года назад, сын реестрового казака, потом певчий и бандурист, а теперь сделавшийся действительным камергером, поручиком лейб-компания, генерал-аншефом, Андреевским кавалером, — ; Алексей Григорьевич Разумовский.

Почести не изменили внутреннего мира малороссийского казака Разума, они переменили только его наружность, преобразив неотесанного парубка в стройного, высокого, красивого, с черными жгучими глазами, с роскошными волнистыми волосами вельможу, обвешанного орденами.

Добродушный и веселый, он вполне владел сердцем императрицы, видевшей в преданности его любовь к женщине.

Алексей Григорьевич с неловкостью, особенно в сравнении с манерами лейб-медика, но не лишенной, однако ж, своеобразной грации, подошел к Елизавете Петровне и горячо поцеловал ее руку.

С приходом его все лицо государыни осветилось радостью, на полных губах заиграла невыразимо ласковая улыбка, и яркий огонек загорелся в глазах.

— Алеша, мой дорогой, вот кстати... знаешь ли, меня хотят убить! Заговор... — тихо заговорила она, ласково положив ему руку на плечо.

— И кто это брешет тебе, милостивая моя государыня, такой вздор? — простодушно спросил Алексей Григорьевич малороссийским наречием, от которого в четыре года не мог отвыкнуть.

— Лесток.

— Фю-ю-ю! — протянул с беззаботным комизмом малоросс.

И это добродушное, ироническое «фю», может быть, утвердило Алексея Григорьевича больше, чем все его хитроумные соображения.

Елизавета Петровна звонко засмеялась.

— Добрый ты мой, хороший Алеша! — почти шептала она фавориту, не отрываясь от его блестящих, ясно смотревших глаз. — Когда приедет матушка, Наталья Демьяновна?

— Каждую минуточку жду.

— Как приедет, мы все отправимся в подмосковное Перово. Понимаешь — зачем?

От государыни лейб-медик отправился к своему другу, французскому посланнику.

Маркиз де ла Шетарди, первый посланник французского короля в России, приехал в Петербург с тайным серьезным поручением — ослабить начинающееся влияние России на международные отношения государств в Европе, угнать ее подалее по-прежнему в Азию, отвлечь русское правительство от союза с Австрией во что бы то ни стало, не останавливаясь даже и перед устройством переворота, который вырвал бы правление из рук немцев-брауншвейгцев и передал бы в руки противной партии, руководимой исключительно влиянием версальского кабинета. К такому щекотливому и трудному поручению, казалось, как нельзя более подходил маркиз де ла Шетарди.

Ловкий, изворотливый, снабженный громадными средствами, французский посланник, убедившись по приезде, что при дворе правительницы Анны Леопольдовны немецкий элемент до того сплочен, что исполнение поручения невозможно, повел деятельную интригу о низвержении правительницы и о возведении Елизаветы. С одной стороны, передавая значительные денежные суммы Лестоку, лейб-медику цесаревны Елизаветы, с которым, как с французом, ему не трудно было сойтись, для привлечения к цесаревне гвардии, он, с другой стороны, действовал внешними силами, возбуждением войны с Швецией, которая будто бы подняла оружие против России для защиты русских же интересов, для освобождения русских от влияния немцев и за права дочери того, который лишил Швецию значительных финляндских владений. Интрига удалась. Елизавета Петровна вступила на престол, но вступила неожиданно собственными силами, без непосредственного вмешательства посланника, чем вдруг и разрушились все его планы. Не чувствуя себя связанной обязательствами с Францией, Елизавета Петровна могла не считать себя и

обязанною исполнять условия, заключенные Швецией с королем Франции.

По подстрекательству французского короля начатая шведами война с тайной целью возвращения отнятых Петром Великим владений, но с обнародованным предлогом защиты интересов Елизаветы с восшествием ее на престол теряла смысл и, по-видимому, должна была прекратиться. И действительно, де ла Шетарди тотчас же по воцарении Елизаветы Петровны — по собственному ли побуждению или, может быть, и по желанию новой императрицы — написал командующему шведскими войсками графу Левенгаупту остановить движение войска и ожидать мирных переговоров.

После обмена взаимными поздравлениями и учтивостями, для заключения мирного трактата шведский посланник Нолькен приехал в Москву, где и остановился в доме, занимаемом французским посольством, переехавшим из Петербурга вместе с русским двором на коронацию. Но с первых же слов дипломатов выказалась между ними рознь: шведы, обнадеженные французским королем, затребовали возвращения завоеванных Петром земель как вознаграждения за оказанные услуги, а русские об уступках не хотели и слышать.

— Король, мой всемилостивейший государь, питая чувства уважения к особе вашего величества, поднял шведов на восстановление законно принадлежащих вам прав, а потому он и надеется, — говорил Шетарди императрице Елизавете Петровне в частной аудиенции, бывшей в одном из внутренних покоев, в присутствии только Лестока, — надеется, что ваше величество оцените его доброе расположение вниманием к услугам Швеции.

— Я готова употребить все средства для изъявления своей благодарности Швеции, — отвечала императрица, — кроме тех, которые противны чести и славе России. Могу ли я, дочь Петра, согласиться на уступки завоеванных им земель, когда моя предшественница, чужеземка, временная правительница, предпочла уступкам войну?

Возражать против такого веского замечания оказывалось невозможно, а потому Шетарди, обходя этот вопрос, высказал,

что так как война была предпринята для защиты интересов цесаревны, то за благополучным восстановлением этих интересов по справедливости должна явиться и необходимость вознаграждения за военные издержки.

— Это вы говорите, маркиз, о таких поводах со стороны Швеции, а наши русские посланники говорят совсем другое, — с живым уже нетерпением заметила Елизавета Петровна. — Мое вступление основано на прирожденных правах, а не на силе оружия шведов, которые к тому же с самого начала войны терпели постоянные неудачи.

Аудиенция так и кончилась ничем.

Ловкий маркиз сам очутился в весьма неловком положении — в положении посредника между двумя противниками, у которых не может быть соглашения и у которых каждое предложение взаимных уступок вызывает неудовольствие с обеих сторон. Надеясь на личное расположение Елизаветы Петровны, на услуги свои, на влияние Лестока, он уверял свой кабинет в своем полнейшем успехе, в своем громадном значении при русском дворе, а теперь вдруг оказалось наоборот: теперь пришлось самому выпутываться, оправдываться в неудачах, обвинять шведов в несчастном ведении войны, объяснять упорство русской императрицы удовлетворительным положением дел в России, прекрасным состоянием ее армии и финансов, увеличенных конфискацией имущества попавших в опалу сановников.

«Удивительно скверное положение, и как это вдруг все перевернулось, — думал и передумывал маркиз де ла Шетарди, волнуясь и почти бегая по своему роскошному кабинету занимаемого им великолепного дома князей Оболенских на Басманной. — Так мне все удавалось до сих пор: с немцами кончил, дал корону женщине, не готовой и не способной к правлению, которая должна бы во всем идти по нашим видам, а тут вдруг — увидел себя в дураках! Бездна денег истрочена без толку! Эти русские, эти варвары так самого оболванили, что и выхода нет! Рассчитывал быть каким-то диктатором, всем заправлять, а вышло — мною управляют, за мои же услуги меня же хлещут! Черт знает что такое! Король, видимо, мной

недоволен, не смел бы Амелог писать ко мне таких обидных депеш, если б не был уверен в поддержке Флери и не знал бы о моей немилости у короля. Чего доброго, пожалуй, отзовут как неспособного человека!»

И де ла Шетарди почти в сотый раз останавливался перед столом, схватывал порывисто только что полученную депешу, читал, перечитывал, хоть в этом и не было вовсе нужды — каждое слово, каждая фраза до последней буквы при первом же чтении крепко врезались в его памяти.

Вошедший камердинер доложил о приезде графа Лестока.

«Вот кстати!» — подумал, обрадовавшись, посланник.

От императрицы после аудиенции, в которой говорилось об измене камер-лакея Турчанинова, лейб-медик направился к французскому посланнику с обычной целью занять у него денег. Назначенного огромного содержания по семи тысяч рублей в год по должности лейб-медика и начальника всей медицинской части в России и получаемой аккуратно пенсии из французского посольства далеко недоставало Лестоку, и он беспрерывно и бесцеремонно обращался с просьбами о деньгах то к императрице, то к другу Шетарди, получал от них подарки и все-таки постоянно нуждался. Деньги без счета выливались из его бездонного кармана на игру, на вино, на содержание французских, немецких и русских куртизанок.

— Кстати пожаловали, граф! Могу порадовать вас известиями, которыми я обязан вам. Хороша благодарность за мои добрые услуги! — И маркиз, почти не поздоровавшись с гостем, совал ему в глаза неприятную депешу.

В депеше версальского кабинета говорилось между прочим:

«В прежних ваших депешах вы постоянно высказывали о бессилии русского правительства, страшного только одним внешним блеском и страдающего внутри неисцелимыми язвами. Каким же образом теперь вы говорите совсем другое? В 24 часа все изменилось, Россия стала до того сильна, что может уничтожить Швецию, что спасение шведов зависит единственно от доброжелательности царицы. Наш всемилостивейший король думает напротив. По его мнению, русская царица не из уважения к посредничеству короля поспешила обратиться к вам

для прекращения войны со Швецией, а из опасения движения шведских войск. Вы были приведены в заблуждение неправильными сведениями...»

— Понимаете ли вы, что должно читать между строками в этой депеше? Недовольство, немилость, отставку... А кто в этом виноват? А? Кто виноват? — почти задыхаясь, допрашивал Шетарди Лестока.

Лейб-медика, несмотря на все его легкомыслие, содержание депеши видимо смутило. Перспектива и ему представилась крайне неприглядной: с отъездом Шетарди он лишился бы дома, в котором всегда находил изящный стол, тонкое, прекрасное вино, а в карманах хозяина всегда готовую субсидию для игры. Притом с переменой посла возникал другой существенный вопрос: будет ли продолжаться пенсия от французского двора за содействие видам Франции, так как король, видимо, недоволен действиями своих агентов.

— Не понимаю, — продолжал волноваться Шетарди, — почему король так упорно стоит за Швецию. Отпуская меня, он ясно высказывал, что главной моей целью должно быть отвлечение России от союза с Австрией и ослабление России, отчего Франция, естественно, сделалась бы центром всех политических отношений, решительницей судеб Европы. И этой цели я, кажется, достигнул. Совершившийся переворот разорвал все связи России с Австрией) и отдал беспомощных габсбургцев в руки Франции, всех способных политических руководителей в России изгнал бесповоротно, во главе нового правительства поставил людей неспособных и неопытных. Мало того, правление новой императрицы, к государственным делам не подготовленной, не может быть устойчиво; оно должно постоянно поглощаться внутренними беспорядками, которых нельзя не предвидеть от лиц, преданных Брауншвейгской фамилии. Зачем же именно настаивать на уступке Швеции какого-нибудь клочка земли, от которого Россия не сделается сильнее. Напротив, удерживая этот клочок, русские всегда будут связаны но рукам, всегда должны опасаться, что Швеция при всяком благоприятном случае начнет за этот клочок новую борьбу. Очевидно, король введен в заблуждение, но теперь

ничего не поделаешь. Подумайте-ка лучше, граф, нет ли каких-нибудь средств уломать царицу; вы этим окажете добрую услугу моему государю, а он, как вы знаете, не имеет привычки быть неблагодарным.

— Никаких, — упавшим голосом отозвался развязный и всегда находчивый в изобретении средств лейб-медик, — пациентку свою я знаю. Если б еще можно было перетянуть на свою сторону канцлера, но... и это трудно, невозможно... Он богат, как Крез, по глупости честен и, как все недалгие люди, крепко держится в своем слове.

— Нельзя ли, по крайней мере, заручиться вице-канцлером?

— Я сейчас предлагал государыне позволить послам обращаться к Бестужеву мимо Черкасского.

— Что же? Согласна?

— Не совсем... совестится обидеть старика, указала: Шетарди пусть прямо объясняется со мной, а другие послы как хотят, так и объясняются с канцлером.

— Так вы говорите, что с канцлером Черкасским нет возможности поладить?

— Никакой. Когда властвовал бывший оракул Андрей Иванович Остерман, он ему завидовал и интриговал против него, насколько было мозга в голове и сколько позволяла ему непроходимая лень, а после Остермана он сам считает за святыню держаться той же политики, а вы знаете, каковы были мнения Андрея Ивановича: всеми силами отстаивать австрийский дом, как будто в этом все спасение Европы.

— А как думает Алексей Петрович?

— Положительно не знаю... — нерешительно проговорил Лесток, — ведь от него не узнаешь правды. На словах он согласен, а исподтишка черт один знает, что делает. Во всяком случае, он человек податливый и с ним можно сойтись...

— Будет ли это государыне приятно?

— Э... Елизавете Петровне чем меньше заботы, тем лучше, лишь бы не мешали ей забавляться!

— К подаркам склонен вице-канцлер?

— Положительно тоже не знаю, а полагаю, любит.

— Видите ли что, граф. Недавно я получил инструкцию от своего двора, в которой мне советуют не исключительно обращаться к самой императрице, отчего будто бы возбуждается недоброжелательство министров, а стараться поладить с теми в особенности, кто имеет влияние. Предвидя, что Алексей Петрович рано ли, поздно ли выдвинется, я старался с ним сблизиться, заводил с ним разговоры конфиденциальные и пытался узнать, какого он мнения.

— Отчего вы мне не говорили?

— Не случилось, да притом положительных и ясных объяснений не было. Я только передавал ему взгляд нашего двора на отношения государств между собою, старался разъяснить, насколько выгодна для России дружба с Францией и насколько, напротив, была пагубна связь с Австрией, от которой Россия всегда видела одно предательство. Вице-канцлер, по-видимому, совершенно входил в мои виды. Пользуясь этим, я тотчас же стал уверять его, насколько расположен лично к нему наш король, как он высоко ценит его государственные заслуги, а в заключение просил его принять от короля ежегодную пенсию в пятнадцать тысяч ливров, исключая те знаки благорасположения, которые ему будут оказываться временно.

— Вот, я думаю, обрадовался-то? — с жадностью заметил Лесток.

— В том-то и дело, что нет. Зная по опыту, как любят русские сановники подарки, я уверен был в согласии Алексея Петровича, а вышло не совсем так. Алексей Петрович благодарил короля за внимание к его службе, рассыпался в личной преданности, но от пенсии и подарков отказался, отговариваясь тем, что будто бы не заслужил еще такой щедрой награды. Что это значит? Действительно ли он неподкупен, или выжидает большего, или не завел ли связей с Австрией? Как вы думаете?

Отказаться от взятки представлялось уму лейб-медика вообще самым необыкновенным, а в особенности отказаться русскому сановнику! По его мнению, такой сверхъестественный случай мог быть объяснен только или крайним неумением дающего, чего в настоящем случае не могло быть по известной

находчивости и ловкости посланника, или же получением взятки с противной стороны, хотя это последнее обстоятельство, по личному убеждению лейб-медика, нисколько не может стеснять.

Бескорыстия граф Лесток не допускал, не верил в него, как не верил ни в какие порядочные стороны человека.

«Странно! — думал он. — Очевидно, должен быть подход с другой стороны, но когда и кем именно? Финчем? Не может быть. Английский король слишком скуп. Он и к нему даже, к самому Лестоку, ограничивается пустяками, а все пробавляется ни к чему не обязывающими обещаниями; так Бестужеву если и предложит взятку, то какую-нибудь ничтожную в сравнении с предложением французского короля. Боттою? Предположение более вероятно, при положении Австрии нельзя скупиться, но отношения Бестужева с Боттой далеко не дружеские». Лейб-медик зорко наблюдал за этим, так как он сам намеревался что-нибудь сорвать с Ботты.

— Так как же вы думаете? — с нетерпением повторил вопрос Шетарди.

— Вы мне передали вещи самые невероятные, самые неслыханные, милый маркиз, и я, право, крайне затрудняюсь. Мне кажется... я полагаю... что Алексей Петрович, напуганный недавней немилостью и удалением от двора, сделался слишком осторожным... Может быть, было бы лучше действовать на него посредством его брата обер-гофмаршала Михаила Петровича. Братья между собою очень дружны.

— С Михаилом Петровичем мне не приходилось иметь такого рода дела... Надежный он человек? — спросил Шетарди.

— О... совершенно надежный... Хороший человек..? Когда он был посланником в Стокгольме, немало тысяч червонцев осталось у него в кармане от тех, которые отпускались ему для подарков членам сейма. Человек обязательный!

Деловое совещание кончилось; оба друга замолчали, не договорившись до полных разъяснений, и каждый из них задался личным интересом.

Маркиз соображал, под каким благовидным предлогом завести сношения с Михаилом Петровичем и какую сумму ему предложить, а граф Лесток в это время разрешал, отчего это он

проиграл так безбожно вчера вечером, когда, казалось, ему улыбалось счастье, и где бы достать денег на сегодняшний вечер.

«Вчера еще одну бы карту — и я был бы в выигрыше... Проклятая девятка!»

— Меня удивляет одно, любезный граф, — начал посланник после довольно продолжительного молчания, оглядывая внимательно друга, — как это вы, при вашей еще и теперь сохранившейся миловидности, а несколько лет назад еще более замечательной, при вашей любезности и ловкости, не заняли сами место фаворита при цесаревне? Она такая красивая, а вы, сколько я знаю, не любите обходить хороших.

— Расчет, мой милейший маркиз, полнейший расчет. Теперь я пользуюсь полным доверием, дружбой, а это гораздо прочнее. Поставив себя незаменимым другом, я уверен в непоколебимой прочности своего влияния. Как теперь, как прежде, так долго, очень долго я буду единственным лицом, пользующимся беспредельным доверием государыни.

Лесток замолчал, но потом, быстро изменяя разговор, обратился к маркизу.

— Вчера я был очень несчастлив, но сегодня наверное отыграю вчерашнее. Не одолжите ли вы мне, любезнейший маркиз, какой-нибудь ничтожной суммы на один только вечер, — заикаясь и нерешительно высказал Лесток, несмотря на обычное свое нахальство.

— При всем моем желании, граф, в настоящую минуту решительно не могу. Через несколько дней буду к вашим услугам, а между тем я надеюсь, что вы употребите все усилия привести к хорошему результату наши шведские переговоры. Завтра я буду читать последнюю депешу моего короля государыне, разумеется, в вашем присутствии, и вы постарайтесь уладить: если невозможно получить прямое согласие царицы, то пусть она передаст решение министрам.

Очевидно, маркизу наскучило быть дойной коровой, и он прямо обусловил субсидию непосредственной услугой.

Друзья расстались недовольные друг другом. В первый раз в голове Шетарди мелькнуло опасение за успех своей интриги,

сомнение в могуществе лейб-медика и предположение своей немилости.

Предположение вскоре оправдалось. В то время, как посланник и граф Лесток так спокойно обсуждали, по московской дороге подъезжал к столице новый поверенный в делах Франции граф д'Альон со специальным поручением ознакомиться с положением дел для смены маркиза.

Весь закутанный зеленью небольшой хуторок Лемеши тонет в косых лучах заходящего солнца. Около каждой из хат, разбросанных в беспорядке и весело выглядывавших из-за черешен, яблонь, груш и лип, лениво лежат истомленные зноем казаки и казачки. На низеньком крылечке шинка, приютившегося почти в середине хуторка, сидит хозяйка-шинкарка, казачка Разумиха Наталья Демьяновна. Добродушное, широкое лицо ее лоснится от пота, большие глаза сонно поглядывают из-под полуопущенных век, по временам она зевает, выставляя напоказ белые, здоровые зубы и не забывая каждый раз набожно перекрестить открытый широкий рот, чтоб не забрался какой-нибудь бис в хохлацкую душу.

В шинке гостей никого нет, да и кому быть в такую пору, когда еще не успели отдышаться от хмары? Не богата прибытками Демьяниха — свои, конечно, не брезгают ее шинком, да от них какая прибыль, а из посторонних почти никто не заезжает. Нечем было бы и жить шинкарке, если б не помогали дочери-молодухи, повышедшие замуж, да не сын Кирилка, мальчишка шустрый и бойкий, отдававший матери все свои деньги за пастьбу скота.

Сидит Демьяниха, обмахиваемая свежим ветерочком, и посматривает то на соседей, то на дорогу, вьющуюся от хутора в безбрежную степь.

Тихо — словно вымерло все, и вдруг глаза казачки блеснули странным изумлением. На дороге к хутору показался ряд карет, не простых карет или бричек, что ездят соседние паны и паночки, а каких-то странных, здесь еще никогда не виданных. Вон эти блестящие экипажи подъезжают к хутору и

останавливаются у первой хаты, возле которой нежится ленивый хохол.

— А где мне найти здесь госпожу Разумовскую? — слышится голос из первой кареты.

— А в нас зроду не було такой пани, а коли бужаете, есть удова Разумиха, — не поворачивая головы, проговорил хохол и показал рукой на шинок.

Кареты двинулись к шинку; Демьяниха смотрит и не налюбуется на них.

Вот экипажи остановились у самого ее крылечка, из них вышли какие-то господа офицеры, — должно быть, судя по блестящим камзолам, что ни есть важные паны.

Офицеры подошли прямо к шинкарке и, узнав, что она именно и есть Демьяниха Разумиха, низко поклонились и в самых почтительных выражениях доложили, что они присланы за нею от вельможного и сиятельного графа Алексея Григорьевича Разумовского; вместе с тем посланные представили ей подарки от графа: дорогую соболью шубу и другие ценные и незнакомые ей гостинцы.

Демьяниха долго смотрела то на экипажи, то на офицеров, то на гостинцы широко раскрытыми глазами и потом вдруг начала жалобиться:

— Добре люди, не глазуйте в меня, що я вам подняла?

Но офицеры с такою же почтительностью уверяли, что они присланы именно за нею от графа Разумовского и должны по приказанию самой императрицы, привезти ее с семейством в столицу; вместе с тем посланные с униженными поклонами просили ее поторопиться сборами. Нечего делать — Наталья Демьяновна должна была согласиться: стала собираться, послала за дочерьми и в поле за сыном Кирилкой, который, впрочем, и так должен был скоро пригнать в хутор стадо.

Когда все собрались и надобно было садиться в экипажи, Демьяниха, как следует доброй казачке, по старинному обычаю, позвала соседок, своих кумушек, разостлала перед крылечком на пыльную землю присланную соболью шубу, села на нее с гостями и выпила с ними горилки с приговорами: «Погладить дорожку, щоб ровна була».

Кареты летели в столицу с такой быстротой, от которой Наталья Демьяновна всю дорогу не могла и опомниться.

На последней станции Разумиху ожидало новое чудо. Только что она успела выйти из экипажа с помощью услужливого офицера, которого она не знала, как и благодарить, к ней подошел какой-то вельможа в золотом кафтане, весь увешанный орденами.

Наталья Демьяновна оторопела, а потом не на шутку испугалась, когда этот вельможа подбежал к ней и стал целовать ее грязные, заскорузлые руки, приговаривая: «Матуся! Матуся!»

Сердце матери шептало, что этот вельможа — ее сын, Алешка-певец, но шинкарка боялась признать его в этом блестящем кавалере, к которому все относились с такой рабской почтительностью. Вошли в дом. Наталья Демьяновна отвела вельможу в особую комнату, заставила его расстегнуть камзол, осмотрела плечо и, когда увидела на нем родимое пятнышко, зарыдала и зацеловала сына.

Долго беседовал граф Алексей Григорьевич с матерью, братом и сестрами перед отъездом в столицу.

На другой день граф Алексей Григорьевич повез Наталью Демьяновну во дворец. Трудно было узнать шинкарку Демьяниху в знатной даме, одетой по моде тогдашнего времени, набеленной, нарумяненной, облепленной мушками, в дорогой робе с фижмами.

Наталья Демьяновна боялась пошевелить пальцами и не смела переступить в таком нарядном платье.

Граф ввел ее в приемную залу, в которой находилось несколько придворных, ожидавших выхода императрицы.

У Натальи Демьяновны потемнело в глазах от никогда не виданной ею роскоши, но еще более закружилась голова, когда она увидела против себя какую-то даму, плывшую ж ней навстречу. Не узнав себя в громадном зеркале и приняв свою собственную персону за императрицу, она приготовилась опуститься на колени, как учил ее сын, и опустилась бы, если бы не удержал ее граф Алексей.

Наконец появилась сама императрица, благосклонно подошла к стоявшей на коленях Наталье Демьяновне, подняла

ее, поцеловала и милостиво высказала:

— Блаженно чрево твое!

Наталья Демьяновна тотчас же была пожалована статс-дамой, а чрез несколько дней с императрицей и всем своим семейством поехала в Перово...

Господин вице-канцлер Российской империи, новопроизведенный граф^[36] Алексей Петрович Бестужев-Рюмин глубоко погружен в свои любимые соображения и комбинации по части — не государственных дел или политических соображений, а различных химических соединений и физиологических явлений в человеческом организме. Вся обстановка его рабочего кабинета указывала скорее на ученого-мыслителя, чем на политического деятеля. Нигде ни одной деловой бумаги, ни одного доклада, ни одной принадлежности исключительной и излюбленной бумажной работы. Гусиные перья, очиненные с таким усердием копиистом иностранной коллегии, безмятежно лежат в том же порядке, в каком были уложены заботливым копиистом, в той же девственной чистоте, не оскорбленные чернильным осадком; да и сами чернила от злобы даже засохли в граненой чернильнице, покоившейся под сенью какого-то бронзового купидона, указывающего пыльными ручонками куда-то далеко в растворенное окно.

Зато в кабинете много странных предметов, несовместимых с обязанностями великого администратора. На столах, на окнах и на низеньких креслах беспорядочно валяются книги в кожаных переплетах на иностранных языках, карты с изображением европейских государств и тут же стеклянные сосуды, колбы и реторты; в широком шкапу карельской березы не почивают, как обыкновенно в кабинетах лиц власть имеющих кипы прошений, по очереди поступавших к докладу и тоже по очереди забытых, а вместо этих кип ящики с латинскими ярлыками, знаменующими род и значение содержимого.

Алексей Петрович — прежде всего химик и медик, хотя теперь, может быть, и поневоле. Благополучно живущий канцлер, князь Алексей Михайлович Черкасский, вечно прежде только евший, пивший и спавший, теперь, на самом склоне своих дней, когда одна нога уж потянулась к другому миру, вдруг вспомнил о своих обязанностях и вздумал заниматься: стал

забирать к себе тюки дел и бумаг, которые так и оставались нетронутыми у него в объемистых ворохах. Дела не делались, отбивался от них Алексей Петрович князем Алексеем Михайловичем, а потому за неимением государственной работы он и продолжал свои ученые труды.

Алексей Петрович — лет пятидесяти, не более, наружности не особенно красивой, но, во всяком случае, характерной. Глубоко сидящие карие глаза под широкими нависшими бровями смотрят зорко, до того зорко, что, кажется, режутся прямо в человеческую душу и выворачивают оттуда все глубоко зарытое; резкие вертикальные морщины посредине лба и по сторонам несколько опустившегося по углам рта придают лицу раздражительное и недовольное выражение, производившее неприятное впечатление, — впрочем, на короткое время: Алексей Петрович изучил себя, умел владеть собою в совершенстве и умел придавать лицу какое угодно выражение. Недаром же прошла для него практика заграничной жизни, начатой в молодости и потом проведенной почти исключительно на дипломатическом поле.

Пятнадцатилетним мальчиком Алексей Петрович отправился по приказу Петра Великого для образования себя и приготовления к служебной деятельности в чужие края, где и оставался потом почти безвыездно тридцать лет. По окончании курса учения в Копенгагене и Берлине его, девятнадцатилетнего незрелого юношу, определили чиновником к князю Куракину, с которым он и находился на Утрехтском конгрессе, а затем на следующий год перевели к ганноверскому двору камер-юнкером. Алексей Петрович до того понравился ганноверскому курфюрсту Георгу, что тот взял его с собой в Англию, когда сделался английским королем.

В Лондоне Алексей Петрович прожил четыре года до того времени, когда русское правительство вспомнило о нем, вызвало и назначило обер-камер-юнкером к герцогине Курляндской. В Митаве он пользовался, как говорят, особенным расположением герцогини Анны Иоанновны, зажил хорошо, но злая судьба, в лице юного авантюриста Бирона, камер-юнкера и

домашнего секретаря герцогини, отбросила его вновь за границу.

По просьбе Анны Иоанновны Алексея Петровича отозвали из Митавы и тотчас же отправили посланником к копенгагенскому двору, сношения с которым имели тогда для России значительную вескость, а по исполнении миссии — перевели чрезвычайным послом в Голландию.

По кончине Петра Великого, знатока и верного оценщика дарований, Алексей Петрович, благодаря личному нерасположению всесильного Меншикова, оставался в тени четыре года и только по милости Бирона, пожелавшего загладить несколько свой неблаговидный поступок, в 1732 году был назначен посланником в Гамбург и Нижний Саксонский округ. Из Гамбурга Алексея Петровича снова перевели послом в Копенгаген, где он и пробыл до 1740 года, когда был вызван и назначен на пост кабинет-министра на место казненного Артемия Петровича Волынского.

Недолго, однако ж, Алексей Петрович занимал министерский пост — по свержении Бирона милость этого временщика навлекла на него опалу правительницы Анны Леопольдовны, которая, впрочем, не имея лично против него неприязни, ограничилась только удалением его от двора с обязательством постоянного проживания в деревне, и то на короткое время. Но эта немилость имела для него счастливый исход; на него посмотрели как на лицо, пострадавшее в предшествующее царствование, а следовательно, преданное новой императрице. Елизавета Петровна, по указанию Лестока, назначила его на должность вице-канцлера, как лицо, единственно способное заменить оракула Остермана, после которого ему же в наследство передала и главное начальство над почтой.

Постоянная жизнь за границей, общение с элегантными людьми Западной Европы, а в особенности дипломатическая карьера дали ему сдержанность, наблюдательность, умение вовремя смолчать, вовремя высказаться, а угловатым манерам светскую приятность. Но рядом с человеком придворным, тонким дипломатом, в Алексее Петровиче жил другой человек —

ученый в полном смысле этого слова. Алексей Петрович до страсти любил естественные науки, знал основательно ботанику, любил заниматься химией, химическими разложениями, соединениями и применением своих знаний к медицине.

Алексей Петрович занят проверкою состава изобретенных им капель, которые потом приобрели такую громадную известность, перейдя в потомство под названием Бестужевских. «Да... именно в таком размере... ни больше ни меньше... — думал он, — капли должны иметь целебное действие». Но в то же время его мысли невольно отрывались от реторт и неслись к другой сфере, где вовсе не требовалось знаний, где ум создавал условия общественной жизни вместе с властью, славой, влиянием. И вот, рассматривая и анализируя различные осадки, он порывисто, как будто невольно, протягивал руку к звонку, нетерпеливо звонил и с раздражением спрашивал камердинера: не приехали ли те, которых он ожидал.

Наконец камердинер доложил о приезде почт-директора Аша.

С низкими поклонами и ужимками явился в кабинет начальника господин почт-директор.

— Садитесь, mein Herr, и выслушайте меня внимательно, — холодным, ровным голосом приветствовал Алексей Петрович.

Аш раболепно поместился на маленьком уголке стула и приготовился слушать с той приниженностью, которая характерно проявлялась в то время в отношениях подчиненных к начальству.

— Я вас просил к себе, господин почт-директор, по весьма важному делу — продолжал вице-канцлер тем же обыкновенным тоном.

— Вашему высокопревосходительству известна, моя глубочайшая преданность и усердие, — зашебетал Аш.

— Ваше усердие известно мне, и вы можете надеяться на отличие по службе., Дело, по которому я просил вас к себе, заключается вот в чем: знаете ли вы, когда господа иностранные послы отправляют свои депеши?

— Знаю, ваше высокопревосходительство.

— Уверены ли вы, что каждая, решительно каждая отправка вам известна?

— Помилуйте-с, ваше высокопревосходительство, могу ли я не следить за таким, можно сказать, государственным делом? Деша я лично принимаю сам и в получении выдаю расписки.

— Может быть, некоторые деша господа послы отправляют без формальностей, и тогда эти отправки, естественно, не обращают на себя вашего внимания?

— Этого никак не может случиться, ваше высокопревосходительство, во-первых, потому, что я знаю адреса, куда отправляют господа послы как свои официальные деша, так и частные корреспонденции; во-вторых, мне известны почерки рук как самих послов, так и их чиновников; и, наконец, я знаю даже всю их прислугу.

— Прекрасно, я очень доволен вами. Так я вам поручаю к самому строгому исполнению, чтобы вы каждую дешу, каждое письмо посланников прежде отправления представляли ко мне. Государыне угодно знать, когда и с кем ведут корреспонденции состоящие при ее величестве послы. Разумеется, эти деша и письма будут мною возвращаться вам вполне нетронутыми, в том же виде и запечатанными. Мне необходимо видеть их адреса, а не содержание.

— Прикажете самолично представлять к вашему высокопревосходительству?

— Да, это было бы лучше. Если я буду в то время свободен, то я тотчас же и возвратил бы. Но, во всяком случае, предваряю вас, что государыня желает сохранить это в негласности. За малейшую огласку кому бы то ни было вы подвергнетесь взысканию как за государственную измену... за усердие же к пользам ее величества можете рассчитывать на щедрую награду.

— Смею доложить, что воля вашего высокопревосходительства будет мною исполнена в самонадежнейшей пунктуальности и в полнейшей безгласности.

— Я в вас уверен. — И благосклонным наклоном головы Алексей Петрович отпустил усердного почт-директора.

«Знаем мы, какие вам, господин вице-канцлер, адреса нужны! Старые тоже воробьи, знаем, зачем депеши, — только ошибешься же: депеши все какими-то крючками да цифрами исписаны». И рьяный почт-директор с душевным самоуслаждением во всю дорогу к себе домой представлял, какую гримасу сделает его высокопревосходительство, когда вскроет пакет а увидит непонятные знаки.

Вслед за почт-директором в кабинет Алексея Петровича явились находившиеся в Москве академики Тауберт и Гольдбах. Их вице-канцлер встретил с тою деликатностью, к какой привык в заграничной жизни.

— Я попросил вас к себе, господа, — высказал Алексей Петрович, усадив академиков против себя за тем же столом, — для разрешения очень серьезного вопроса в дипломатии. Вероятно, вам известно, что кабинеты со своими агентами переписываются шифрами или знаками по условленному между ними ключу. Когда я был сам послом за границей, мне приходилось слышать, будто возможно прочитать каждую шифрованную депешу. Насколько это справедливо?

— Всякую шифрованную депешу можно прочитать, ваше высокопревосходительство, если подобрать к ней соответствующий ключ, — отвечал Тауберт.

— Но можно ли подобрать ключ?

— Очень возможно, выше высокопревосходительств во, и это даже не составит большого труда, — отозвался и со своей стороны Гольдбах.

— Вы говорите — очень возможно, но каким же образом?

— С помощью логических и тонических основ того языка, на котором написана депеша. Я объясню это вашему высокопревосходительству примером. Возьмем депешу, написанную на русском языке. Всматриваясь в знаки депеши, мы замечаем некоторые знаки повторяющимися очень часто, другие реже. Все русские слова, как известно, имеют окончания на гласные и по преимуществу на полугласные «ъ» и «ь»^[37], — и действительно, в конце шифрованных слов непременно будут по преимуществу одни и те же знаки, следовательно, этот шифрованный знак будет «ъ» или «ь». Далее: русские

однозначные слова составляются из какой-нибудь из гласных — «а», «и», «о» и «у», ни гласная «е», ни гласная «ы» в такие слова не входят. Из этого видите, ваше высокопревосходительство, что узнание гласных, составляющих важную основу в русском языке, вовсе не так затруднительно, как кажется с первого взгляда. Более трудности в определении шифров, означающих согласные буквы. Но мы знаем, что некоторые согласные с некоторыми гласными никогда не сочетаются, другие же сочетаются только в одной определенной форме. С буквою «ы», например, вовсе не сочетаются буквы «г», «ж», «ш», «щ» и некоторые другие, а сочетаются же с «ы», напротив, по преимуществу буквы «б», «в» и «т»; затем в двузначных словах с «ы» бывают только слова: «мы», «вы», ты» и прибавочная частица «бы». При этом нельзя терять из виду известного соотношения букв: на известное количество «а» всегда в употреблении встречается известное количество «б», известное количество «в» и т. д. Кроме этих примечаний, существуют еще, ваше высокопревосходительство, множество других указаний, руководясь которыми, сведущий человек может при должной внимательности и усердии открыть ключ в любой шифрованной депеше.

— Это очень любопытно видеть на деле, — заметил вице-канцлер: на днях я на пробу составлю по придуманному мною ключу что-нибудь вроде депеши на французском или немецком языке и доставлю вам, а вы, господин Тауберт, вместе с господином Гольдбахом потрудитесь открыть ключ. Любопытно, подойдет ли ваш ключ к составленному мною!

— Непременно подойдет! — единогласно подтвердили оба академика с уверенностью.

— Увидим, увидим! — сомневался Алексей Петрович. — Однако ж, господа, я должен вас предупредить, что подобные вещи за границей составляют величайшую государственную тайну, так что я, в качестве посла, несколько раз пытался проникнуть в секрет, употреблял все свои силы и средства, а все-таки ничего не мог сделать. Вы понимаете, что об этом деле, точно так же как и обо всей нашей беседе, вы должны сохранять глубочайшую тайну, не высказывая ее решительно никому,

иначе, при всем моем уважении к вам, я не буду в состоянии спасти вас от прогулки к отдаленным местам Сибири и от приличного наказания.

— Мы очень это понимаем, ваше высокопревосходительство, и смеем уверить, что не только люди, но даже и стены ничего от нас не узнают, — уверяли напуганные ученые мужи.

— Так на днях я доставлю вам свою депешу на испытание, и если ваши познания действительно так глубоки, как вы говорите, и вы доставите, мне ключ, то государыня оценит в должной мере ваши ученые достоинства и не оставит своим поощрением, — говорил Алексей Петрович, любезно провожая гостей.

С момента, когда затворились двери за академиками и вице-канцлер остался один, он вдруг удивительно повеселел. Глаза заискрились огоньком; сквозь обычную холодную сдержанность во всем лице, во всем теле, в самой походке, с какой он заходил из угла в угол, засияла радость и полное удовлетворение самолюбия.

Действительно, разговор с академиками в желанной мере исполнял его надежды. Если он будет иметь ключ — а в этом, кажется, теперь нельзя сомневаться, — он узнает все виды, все ходы послов, он будет в положении игрока, которому известны все карты противника, а при таких условиях не обеспечена ли победа?

Через час по выходе академиков в кабинет Алексея Петровича вошел брат вице-канцлера, обер-гофмаршал Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. По наружности Михаил Петрович не походил на брата. Он был выше ростом, стройнее и казался очень моложавым; голубые глаза смотрели открыто, полные, свежие губы улыбались добродушно. Но, несмотря на внешнее несходство, один дух жил в обоих, одни идеи вскормили обоих, и оба брата были дружны, как будто дополняя друг друга.

— Ну что в конференции? — спросил брата Алексей Петрович, продолжая ходить по кабинету, когда тот, поцеловав его, устало опустился в кресло.

— Да ничего, — лениво отозвался обер-гофмаршал.

— Я так и знал — из пустого переливали в порожнее, — заметил вице-канцлер, — все, верно, толковали о посредничестве! Кто был в конференции?

— Все те же: шведский посланник Нолькен, князь Алексей Михайлович, генерал Александр Иванович Румянцев, да я, и толковали все о том же. Нолькен по-прежнему настаивал на приглашении в конференцию Шетарди; так как Швеция начала войну по соглашению с французским королем для пользы Елизаветы Петровны, то поэтому будто бы и нет возможности отстранять от переговоров французского посла, тем более что сама государыня просила о посредничестве. На это Черкасский по-прежнему доказывал, что государыня просила о добрых услугах, а не о посредничестве, что для Швеции более чести переговариваться самостоятельно и что война была ведена не для пользы государыни Елизаветы Петровны, а для возвращения финляндских земель. Когда же Нолькен стал утверждать на своем о причинах войны, Черкасский-старик не утерпел и швырнул ему объяснение Шетарди. В этой ноте, как ты знаешь, французский посол, в самом начале доказывая, отчего французский король не может не поддерживать домогательств Швеции, прямо выказал, что и война-то была

начата с этой целью. Нолькен прочел, смутился и нашелся сказать только одно, что все-таки Швеция и Франция желали добра цесаревне, на основании чего теперь и рассчитывают, что цесаревна, сделавшись императрицей, не откажется быть доброю соседкой, безобидно определив пограничную черту и уступив какой-нибудь клочок Финляндии. Черкасский поставил основным условием переговоров сохранение Ништадтского мира. Так на том конференция и кончилась. Нолькен заявил, что так как он имеет инструкцию действовать только при посредничестве французского посланника, то вступать одному лично в переговоры он не считает себя вправе, а потому и должен отправиться в Стокгольм за новыми инструкциями.

— В Стокгольм Нолькен не поедет, а остановится во Фридрихсгаме и оттуда станет переговариваться. Начнутся опять военные действия. Наш Кейт несколько раз поколотит шведов, у которых, собственно, и армии-то нет в Финляндии, а так, какой-то голодный, своевольный сброд, без запасов... За военными действиями примутся за переговоры о мире, а в конце концов мы все-таки уступим частичку Финляндии, разумеется, небольшую, — с уверенностью проговорил Алексей Петрович.

— Как? А наше решительное слово не уступать ни пяди земли? Уступать после побед? — удивился обер-гофмаршал.

— Да, после побед... Таково положение государств. Французский король против воли своей советует нам доброе. Что мы выигрываем, упорно удерживая теперь за собою клочок земли? Ровно ничего, так как этот клочок будет наш рано ли, поздно ли, — а проигрываем очень многое. За этот клочок мы сделаем из Швеции вечного себе врага, который ежечасно будет стеречь нас и вредить. Франция будет иметь открытый предлог к неприязненным отношениям и к интригам против нас в Стамбуле, а тут еще Шлезвиг... Мы свяжем себя, спутаемся, уединимся, попятимся назад, тогда как наша роль должна играть в Европе, должна быть решительною в борьбе центрального цивилизованного Запада между монархиями Габсбургов, Францией и Пруссией. Наше уединение допустит усиление Франции или Пруссии, а это впоследствии падет на нас непосильной тягой. Единственный доброжелатель наш в

настоящее время — английское правительство, а Картерет, министр иностранных дел короля Георга, всеми силами настаивает на незначительной уступке Швеции.

— Зачем же и продолжать войну? Не лучше ли было бы договориться теперь же с Нолькеном?

— Говорить об этом, мой милый, мне не приходится: значило бы возбудить против себя старую русскую партию этих Румянцевых, Трубецких, Черкасских, Апраксиных и других. Погубил бы только себя.

Алексей Петрович замолчал, продолжая отмеривать диагональ кабинета, а Михаил Петрович пристально следил за ним, как будто выжидая для более важного разговора удобную минуту.

— Ну что вчера у государыни на вечернем собрании, много было? Весело? — спросил Алексей Петрович, наконец усаживаясь в кресло подле брата.

— Те же, что и прежде, обыкновенные; Лесток, великий князь, его гофмаршал Брюмер, Шетарди, новый английский посол Вейч, Шуваловы, Разумовский, Трубецкой, Черкасов Александр, Салтыков Петр, из посторонних был только Мориц Саксонский. Государыня с ним танцевала и была очень весела. Из дам тоже прежние... Анна Гавриловна Ягужинская... с дочерью... Ах да... брат... хотел переговорить с тобой.

— Об чем это? Опять об Ягужинской? — с видимой досадой спросил Алексей Петрович.

— Да, об ней... я... брат... решился... жениться...

— Послушай, брат, я высказывал прежде и теперь опять повторяю все резоны. Если хочешь оставаться со мной в братской любви, так отбрось свою глупость, а не хочешь — поступай как знаешь, но я от тебя отдаюсь. Подумай и взвесь хорошенько. Положение наше при дворе шатко, мы не имеем партии, никаких корней, никакой ни в ком поддержки. Государыня хоть и назначила меня вице-канцлером, но, вероятно, временно, по необходимости, до того, как выищется способный из ее приближенных. С детства ей натолковали, что Бестужевы стояли за Лопухину против ее матери, что я сам помогал царевичу Алексею, а какая помощь, когда мне самому

тогда было с небольшим лет двадцать! Видимо, она мне не доверяет:, недавно докладывали мы, Черкасский и я, о донесениях Антиоха Дмитриевича Кантемира из Парижа, в которых посланник предупреждает нас не доверяться любезности Шетарди, что версальский кабинет чрез своих агентов подкупает в Константинополе объявить нам войну. Что же, ты думаешь, — государыня? Рассердилась на наш доклад, покраснела и закричала: «Я не знаю, подкупают ли французские агенты в Константинополе, но знаю, что австрийский посланник получил триста тысяч золотых для подкупа моих министров». Намек прямо хотела сделать на меня, так как Черкасского по его богатству и по его глупости подозревать было бы смешно. Затем, имеем ли мы надежных доброжелателей в приближенных государыни? Ни в ком. Шуваловы и Воронцов сами за себя и к нам никакой приязни не питают. Разумовский не способен к государственным делам и помочь не может, хоть бы и хотел.

— Разумовский все может, брат, если захочет, — перебил Михаил Петрович, — государыня до того к нему расположена, что ждала только приезда его матери...

— Знаю... да от этого нам не легче. Зато, — продолжал Алексей Петрович, — если нет у нас доброжелателей, так много врагов. Первый и самый опасный — лейб-медик, подкупленный французским кабинетом. До сих пор мне удавалось уклониться, и он только сомневается в моих политических видах, но это продолжаться долго не может... Алексей Михайлович стар и скоро совсем уйдет... я должен буду высказаться, а как скоро Лесток узнает, что я иду ему поперек, конечно, употребит все свое влияние меня уничтожить; с ним же бороться, ты сам знаешь, трудно. Часто и теперь государыне докладываю, она согласна, казалось бы — дело кончено, нет, она отложит, а смотришь, на другой или на третий день говорит уж другое — значит, Лесток насказал. Он имеет доступ во внутренние покои во всякое время, и, как врач, к которому государыня привыкла и которому вверилась, он всегда имеет возможность сделать по-своему. Второй мой враг — двор наследника. Сам Петр Федорович предан интересам прусского короля до жертвования для них лично своими и своего государства.

Какой же он будет государь?! А эти Трубецкие, Румянцевы, не готовы ли они с жадностью проглотить меня?

И при таком-то положении, когда нам необходимо быть ежеминутно настороже, вдруг ты женишься на женщине, лично неприятной государыне, известной своею преданностью к брауншвейгцам и своей привязанностью к ссыльному брату Михаилу Гавриловичу Головкину! Анна Карловна^[38] рассказывала мне, как государыня еще недавно вспоминала Анну Гавриловну, когда та приезжала к ней от имени Анны Леопольдовны с таким злорадством объявить волю правительницы насчет брака цесаревны с принцем Людвигом, братом принца Антона Брауншвейгского. Не любит, да и не может любить графиню Ягужинскую Елизавета Петровна. Теперь обсуди сам, не будет ли государыня смотреть подозрительно на тебя и на меня? Объяснять увлечением любви в твои годы было бы странно!

— Может быть, ты и прав, но делать нечего... отступить не могу и не хочу... вчера вечером дело решилось.

— Ну, как хочешь, только прежних отношений между нами быть не может.

Каждый из братьев остался при своем решении, и взволнованный Михаил Петрович взялся за шляпу.

— Я прошу тебя, брат, исполнить мою, может быть, последнюю просьбу. На днях Лесток хвастался, будто он настаивает на том, чтобы Брауншвейгскую фамилию заточили, а Юлиану подвергли пытке. Юлиана — девушка нежная, слабая; если ее будут пытать, она и не знаю чего наскажет. Заступись за нее. Об этом, говорят, передадут на обсуждение министров.

— Верно, просила тебя Анна Гавриловна?

— Она. Да разве для тебя, брат, не все равно? Ты вот сейчас говорил о нашем положении, говорил справедливо, я не возражал, но позволь и мне высказать несколько слов. При дворе мы непрочны, правда, но прочен ли сам двор?

— Откуда ты увидел опасность? — с усмешкой заметил Алексей Петрович. — Где ты нашел Минихов? Нет, брат, все опасные люди под снегом, не воротятся... Вся гвардия и армия за Елизавету.

— Да разве только Минихи да солдаты могут совершить переворот? Бывают великие дела и от маленьких людей... Разве не мог удалиться замысел Турчанинова, а ведь таких людей, преданных бывшему правительству, много... Случись что-нибудь с государыней, все скорее пойдут к Ивану Антоновичу, чем к Петру Федоровичу.

Алексей Петрович задумался; он сам не любил великого князя, объявленного наследником, и предвидел много бед, если тот взойдет на престол.

— Так вот, видишь, брат, если мы разорвем всякие связи с брауншвейгцами, так и нам будет нехорошо, если они воротятся. Не лучше ли же нам не порывать совершенно отношений, разумеется, когда такие отношения не опасны и не вредны? Может быть, и Анна Гавриловна со временем окажется полезной. Если теперь оказать услугу брауншвейгцам, так они этой услуги никогда не забудут.

— Да, в твоих словах есть доля и правды, — проговорил Алексей Петрович, засновав опять отмеривать диагональ по кабинету, — да сделать я тут ничего не могу... Их стережет Лесток, а он и так уж нашептывает на ухо государыне о моей преданности брауншвейгцам и австрийскому дому. Конечно, я, как и прежде, буду стоять за высылку за границу правительницы и попытаюсь избавить Юлиану от пытки, но больше этого от меня не жди, и если женишься на Анне Гавриловне, так мы будем холодны... для людей. Борьба с Лестоком неизбежна, и борьба насмерть, Посмотрим, кто еще кого ломает!

Михаилу Петровичу больше ничего и не нужно было.

Он быстро поднялся с места и, обняв брата, вышел, а Алексей Петрович долго еще отмеривал кабинет, соображая и комбинируя, забыв даже и о своих каплях.

— Я забыл тебе передать приятную для тебя новость, — проговорил Михаил Петрович, просовывая голову в дверь, — третьего дня государыня сделалась нездорова и решилась попробовать твоих капель: они помогли, и она от них в восторге, всем теперь советует их употреблять.

— Кто тебе говорил?

— Сама Мавра Егоровна.

— Ну а что лейб-медик?

— Понятно!.. Говорит — случай и больше ничего.

IX

— Ах, Юлиана, зачем я не умерла! Без меня все вы были бы счастливее! — говорила бывшая правительница, принцесса Анна Леопольдовна, неизменному другу своему Юлиане Менгден.

Обе женщины сидели рядом на диване перед столиком в одной из комнат дома, где поместилась Брауншвейгская фамилия в Риге, по выбору сопровождавшего ее Василия Федоровича Салтыкова и по указанию коменданта крепости.

Принцессу нельзя было узнать, так изменилась она. Бледное личико правительницы, так недавно и ненадолго оживленное теплым лучом любви, осунулось и заострилось, глаза, засевшие глубоко в синие широкие каймы, горели странным блеском нервного напряжения, особенно резко выказывавшегося от общего истомленного вида; густые, темные волосы, за которыми стала было ухаживать в угоду любимому человеку, выбивались беспорядочными прядями из-под белого платка, обвязанного вокруг головы и почти не отделявшегося от молочного цвета лица; упругое, полное тело похудело до того, что вместо округлых форм выставлялись угловатости.

Да и было отчего похудеть принцессе! Кроме нравственных страданий, она только что вынесла серьезную, опасную болезнь. Вскоре по приезде в Ригу она выкинула четырехмесячного зародыша, и в продолжение нескольких недель жизнь ее находилась в крайней опасности.

Истощенная, без силы, без движений, пролежала она много долгих летних дней в своей убогой рижской спальне безучастною ко всему и ко всем.

Живую, впечатлительную Юлиану эта безжизненность и безучастность поражали более острых физических страданий. В порывах беспредельной любви напрасно она бросалась к неподвижно лежавшему другу, страстно целуя ее лицо, руки, ноги, стараясь дыханием, всеми порами своего тела передать ощущение жизни. Юлиана подносила к кровати больной

малюток — развенчанного императора Ивана и дочь, еще грудного ребенка, Екатерину, подзывала принца Антона, в надежде, что вид мужа, прежде, бывало, так раздражавшего нервы жены, произведет и теперь какое-нибудь ощущение. Напрасно...

На ласки друга принцесса открывала тусклые глаза, но ни тени ласковой улыбки не пробежало по засохшим и увядшим губам, на детей посмотрит бессознательно и безучастно, даже принц Антон не возбуждал прежнего раздражения, — напротив, на нем как будто долее останавливался взгляд ее, и не с прежнею холодностью.

Думать и соображать больная не могла; в ее памяти смутно пронеслись образы прошлого.

В ее памяти не проходил ни образ толстой, вечно брюзжавшей болтуни-матери, одинаково (щедрой на слова и колотушки дочери, ни угрюмой, болезненной и сосредоточенной Анны Иоанновны, ни образ так нахально вломившегося в ее судьбу герцога Бирона, ни даже блестящего Линара, о котором прежде столько мечтала, но зато с ясностью, неотступно стояла перед ее постелью веселая кузина Елизавета с ее ребенком на руках, потом какая-то суматоха, сборы, какая-то странная, полутемная, незнакомая комната с закопченным потолком, в которой собраны все они, она, дети, Юлиана и даже похудевший, вдруг как-то проснувшийся, с красными заплаканными глазами принц Антон, потом дорога, ощущение холода, только бородатые лица, между которыми чаще всех мелькает лицо не то друга, не то врага, к которому все обращаются, у которого все они во власти, под строгим присмотром, но у которого сквозь суровость проглядывает временами теплое сострадание, потом приезд, болезнь...

Но принцессе только двадцать четыре года, организм ее не испорчен, и жизнь поборола смерть. Мало-помалу, тихо и незаметно стали возвращаться силы, ощущения стали принимать определенную форму, явилась потребность деятельности, желание бросить постель и прильнуть к окружающей жизни; нервы заработали сильнее и напряженнее. С возвращением сил она почувствовала, чего прежде никогда не

чувствовала, — жажду свободы, воздуха и простора, именно того, чего лишилась в последнее время. Ей захотелось уйти куда-нибудь из дома, на улицу, дышать свежим воздухом, но при первой же попытке ее остановили под благовидным предлогом слабости сил, необходимости беречься. Она послушалась: потом, через несколько дней, когда почувствовала себя значительно крепче, она снова стала собираться, но тогда ей объявили, что свободный выход запрещен.

Из Москвы приезжали гонцы с нерадостными вестями; сначала привезли приказ не торопиться в дороге, потом остановиться и ждать в Риге дальнейших распоряжений и, наконец, держать под бдительным надзором, не позволять видеться никому из местных обывателей, запретить свободный выход из опасения будто бы доходящих до государыни каких-то неопределенных слухов о всеобщей симпатии населения к изгнанникам, отчего может возбудиться какая-нибудь неразумная попытка.

«И откуда бы могли доходить до Москвы такие слухи? — думал Василий Федорович, которому больно было смотреть на несчастное семейство и которому так хотелось бы скорее воротиться домой. — И чего бояться? Принцесса бессильная, немощная женщина, боится взглянуть лишний раз на дорогу; ожидать какого-нибудь конфуза от принца еще страннее, молочные дети, — только одна Юлиана бойко осматривает по сторонам да заводит разные разговоры со всеми, — с провожатым офицером, с солдатами, с латышскими крестьянами, но все эти разговоры — въявь и нет от них никакой опаски».

Даже и сам Василий Федорович любил поиграть в картишки в дурачки с Юлианой. Правда, вся сопровождающая команда полюбила своих пленников и старалась, насколько возможно, доставить им в дороге разные облегчения; правда, что, при въезде в Ригу, все улицы по пути были запружены толпившимися немцами, любопытными взглянуть на изгнанницу, не чуждую им по немецкой крови; правда, что зеваки, за теснотою улиц, влезали на заборы и на высокие крыши своих остроконечных домов; правда и то, что, Василий Федорович

слышал стороною, будто Юлиана ведет иногда и неявные разговоры с московскими гонцами, да ведь взаперти заговоришь и с чертом. Однако ж, оберегая себя, Василий Федорович все-таки распорядился постановкой караула ко всем входам и выходам со строгим наказом никого не впускать и не выпускать без особенного своего разрешения.

Прошло девять месяцев пребывания брауншвейгцев в Риге, а об отправлении за границу не получалось никаких известий, даже, напротив, явились признаки все страшнее и грознее. Вместо обещанных ста тысяч на содержание императорского семейства отпускались только самые скудные средства, и привыкшие к роскоши пленники испытывали недостатки и нужду. Особенно эти недостатки легли тяжело, когда принцесса опасно занемогла после выкидыша и когда потребовались экстраординарные издержки на лечение, белье и более питательную пищу. Выздоровела, наконец, принцесса, а приготовлений к отъезду не замечалось.

— Зачем я не умерла! Без меня вы были бы счастливее, — тоскливо повторила Анна Леопольдовна, как повторяла она это в последнее время очень часто. — С детства я была в тягость и другим; кто ко мне бывал добр, тому я всегда приносила несчастье!

— Что за вздор, милая Анна, кому же ты принесла несчастье? — отозвалась Юлиана, подняв от работы свежее личико, которое успела соорудить на веселый тон, и незаметно утерев непрошено набежавшую на глаза слезу.

— Кому? Всем: воспитательнице своей, Волынскому, мужу, Остерману, Головкину, тебе... да и кто из близких не пострадал за меня? Мне всегда было грустно, я как будто предчувствовала свое будущее.

— Полно, ты больна, оттого тебе и грустно, а, право, наша жизнь не очень скучна. Василий Федорович какой смешной! Какая походка! Заметила ты, как он подходит? Точно его кто толкает сзади, а гримасы его заметила? Я нарочно вчера целое утро училась, да не сумела! Офицер тоже такой славный, я все с ним болтаю, да и солдаты все хорошие люди...

— Все хорошие, везде хорошие люди, — задумчиво проговорила принцесса, — а жить тошно.

— Вовсе не тошно, — не соглашалась Юлиана. — Теперь мы отдохнем, потом поедem в Германию, а потом...

— Что потом?

— Потом... мало ли что может случиться! Может, и ты воротиться на свое место.

— Никогда! — высказала Анна Леопольдовна резко, с особенной энергией, не подходящей к ее обыкновенной мягкости. — Что бы ни случилось, но я никогда не возьмусь за то, к чему вовсе не рождена, что для меня бремя не по силам и мука. Я была бы счастлива только вдали от света, шума, интриг, в кругу немногих лиц, с которыми мне приятно, которых люблю. Я не завидую кухне Лизе, напротив, — мне жаль ее.

— О себе, милочка, самой судить нельзя, особенно тебе: ты слишком мало ценишь себя. Разве тебя не любили все, кто тебя знал? Разве были недовольны твоим правлением? А что солдаты... так их горсть, и голос их — не голос народа. Я положительно знаю, что теперь все — и в Петербурге, и в Москве — недовольны Елизаветой Петровной, все жалуются. Солдаты грабят, буянят.

— Да откуда ты, Юля, знаешь это под замком и в четырех стенах?

— Во-первых, ко мне Василий-Федорович милостив и не только позволяет выходить, разговаривать с офицерами, но даже и сам любит беседовать со мной; во-вторых, у меня есть смекалка, и из полуслова, какого-нибудь намека я догадываюсь обо многом. Кроме того, у меня ведется и корреспонденция...

В соседней комнате послышались шаги, и по особенной манере в походке обе женщины догадались о предстоящем посещении своего охранителя Василия Федоровича Салтыкова.

Действительно, в походке Салтыкова была оригинальная особенность, напоминавшая первые шаги от толчков сзади. Притом же Василий Федорович немного заикался, а потому и в разговоре его лицевые мускулы, около рта, конвульсивно сокращаясь, производили довольно комическую гримасу, похожую на лукавое подмигивание детей.

— В-в-ваше в-высочество;., в-в-ваша светлость, — гримасничал Василий Федорович, расшаркиваясь перед принцессой и смущаясь.

Во всю дорогу он не мог решить весьма важного вопроса, как титуловать Анну Леопольдовну — как бывшую ли принцессу-правительницу, мать императора, или как простую немецкую княгиню. Этот вопрос не предвиделся и не разрешался инструкцией, а в практике возникло недоразумение: в качестве изгнанницы принцесса становилась простою немецкой княгиней, а между тем у нее не было отобрано ни Андреевского ордена, ни ордена св. Екатерины.

— Сию минуту с гонцом я получил повеление моей всемилостивейшей государыни, — продолжал, заикаясь, Василий Федорович, стараясь обходить, по возможности, вопрос о титулах.

Принцесса помертвела и поднялась с места.

— Я готова, граф, выслушать приказание вашей и моей государыни.

— Ее величество моя государыня приказывает мне немедленно же озаботиться отправлением в-в-вашего высочества... светлости... с супругом и детьми за границу.

— Наконец-то, слава Богу! — радостно и в один голос вскрикнули обе женщины.

— С условием только, — тише и с некоторым колебанием продолжал Василий Федорович, — с условием...

— Заранее согласна на все условия, — перебила Анна Леопольдовна, — лишь бы быть на свободе! Говорите скорее, граф, какие условия?

— В-в-ваша светлость вместе с супругом благоволите подписать присланное из Москвы обещание за вашего сына и прочих детей никогда не предъявлять никаких претензий на всероссийский престол.

— Ка-а-ак? Отречение?! За себя я готова подписать что угодно, но за детей я никаких обещаний не имею права давать.

— О ваших правах государыня не упоминает.

— Не упоминает?! — заговорила принцесса с тем раздражением, которое проявляется у людей застенчивых, когда

внутреннее волнение вдруг стряхивает робость и прорывается судорожным криком. — Не упоминает?! А кто из нас имеет более прав? Если я до сих пор не предъявляла своих прав, то единственно по своей воле... Я и теперь не желаю короны... Юлиана, приведите сюда мужа и сына — я хочу отвечать в их присутствии.

Через несколько минут воротилась Юлиана с ребенком — императором Иваном на руках., а за нею вошел и принц Антон.

— Ее величество императрица Елизавета Петровна требует от нас подписать отречение от законных прав за наших детей. Скажите свое мнение, принц! — обратилась к мужу Анна Леопольдовна.

— Мне кажется... я... лицо постороннее, — бормотал принц, стараясь разгадать, какое именно, было мнение жены.

— Слышите, граф, и мой муж вам сказал то же самое. Мы относительно прав своих детей люди посторонние, а потому и не можем давать за них никаких обещаний. Отпишите об этом государыне.

Ребенок тоже, казалось, подтверждал слова матери. Протянув к ней пухленькие ручонки и широко раскрыв большие голубые глазки, он тянулся к ней как к самой верной охране, не подкупаемой никакими интересами. И с какой страстностью мать, выхватив из рук Юлианы своего сына, прижала его к груди и целовала!

Василий Федорович получил полный отказ, но не уходил; видно было, что его миссия не совсем еще кончена, что оставалось нечто, и нечто серьезное, отчего сильнее дергалось его рябоватое лицо и хлопотливее мигали глаза, как будто стараясь спровадить назад некстати выступившую гостью.

— Подумайте, в-в-ваше высочество! Я могу подождать несколько дней.

— Ни теперь, ни после и никогда не услышите другого ответа от матери!

— Подумайте, в-в-ваше высочество! — настаивал Василий Федорович. — Если вы согласитесь подписать отречение, то получите полную свободу на выезд за границу, где будет вам доставляться обещанное содержание; в противном же случае

мне приказано не только остановить отправку, усилить караулы, но даже перевезти в крепость Динаминд, где далеко не будет тех удобств, какими пользуетесь здесь.

— Не только, граф, в Динаминд, но если б меня сослали в глубь Сибири, так и тогда я бы не дала другою ответа! — решительно заявила Анна Леопольдовна.

Затаям, почувствовав, что нервное возбуждение, поддерживавшее в ней необыкновенную энергию, переходит в спазматическое сжатие горла, она поспешила отпустить Василия Федоровича, за которым, понутив голову, поплелся и принц Антон.

Юлиана осталась с другом, но потом, как будто вспомнив о чем-то, бросилась к выходу и выпорхнула, громко хлопнув за собою дверью.

С Анной Леопольдовной сделался истерический припадок, разразившийся рыданиями; она плакала долго, плакала судорожно, до тех пор, пока не воротилась Юлиана, вся радостная, сияющая, с клочком бумажки в поднятой руке.

— Хорошие вести, милочка, хорошие вести! — говорила она в дверях. — Письмо от Анны Гавриловны!

И, подбежав к принцессе, на лету расцеловав ее заплаканные глаза, принялась читать:

«Ты не можешь представить, милая Юлиана, — писала Анна Гавриловна, — как я за тебя беспокоилась. Мне за наверное передавали, будто Лесток настаивает у государыни подвергнуть тебя допросу с пыткой о каких-то замыслах принцессы. Так как из наших никого нет приближенными, то я и обратилась с просьбой к обер-гофмаршалу, моему мужу теперь. Ах да, ты не знаешь еще этой новости! Вот уже почти два месяца, как я замужем за Михаилом Петровичем Бестужевым. Трудно было мне при дворе без поддержки, а обер-гофмаршал представлялся выгодной партией. Разумеется, о любви не могло быть и речи в мои годы, хотя женщина ни в какие годы не отказывается от любви. Впрочем, он, кажется, любил меня, когда ухаживал, любил, может быть, и в первое время после свадьбы, но натура у моего мужа непостоянная, да притом Бестужевы слишком заняты своим личным интересом, чтобы

думать о других. Брат его, вице-канцлер, был очень недоволен нашей свадьбой или показывал только вид.

Тебе, бедняжке, верно, хочется знать, что делается при дворе?

Мы танцуем, веселимся, сколько хотим, а хотим мы веселиться всегда. Торжества, собрания, маскарады у нас почти каждый день, но все это не прежние собрания у нашей дорогой принцессы. Лесток по-прежнему всем управляет и наговаривает на вас; Бестужевы отстаивают; Алексею Петровичу удалось защитить тебя от розыска. Между Лестоком и вице-канцлером по этому случаю ссора. Отвечай мне с этим же человеком: он надежный. Напиши мне подробно, как вы живете, здорова ли принцесса, которой скажи, что я за нее всегда молюсь Богу.

Забыла передать еще новость: Шетарди уехал домой в Париж, уехал и маркиз Ботта в Петербург, а оттуда в Берлин. Маркиза жаль — он такой любезный и так любит принцессу. Скоро будем собираться в Петербург, откуда буду писать чаще. Забыла еще тебе сказать, о чем ты, верно, уж слышала, — у нас теперь еще другой двор, маленький дворик Петра Федоровича. Сам великий князь — лет шестнадцати, нелюбезный и несимпатичный».

— Как странно, Юлиана! — заметила принцесса, когда Юлиана кончила чтение, почти шепотом и с предварительным осмотром, нет ли кого за дверью, — Лестоку, мужу твоей родной сестры, я никогда никакого зла не сделала, напротив, была всегда внимательна и никогда не отказывала кухне в деньгах, хоть и знала, что они пойдут на игру этого француза, Бестужевых же отсылала от двора, а теперь Лесток интригует против меня, а защищает Бестужев!.. Напиши Анне, что я благодарю ее и Бестужевых.

— Хорошо, хорошо. Об этом негодяе и развратнике Лестоке мне, милочка, никогда не напоминай; он хоть и муж моей сестры, да хуже чужого, а теперь — отчего ты не подписала обещания?

— Отчего? Да как же я могу лишать сына того, что ему должно и будет принадлежать по праву?

— Полно, милая, разве может к чему-нибудь обязывать клочок бумажки, вытянутый насильно! При сыне точно так же оставались бы его права, а мы были бы на свободе.

— Может быть, так и следовало поступить, как ты говоришь, но я не могу кривить душой. Как же бы я могла не краснея говорить сыну, когда он будет понимать, внушать ему, если б я связала себя клятвой?

— Ах, Анна, Анна, губишь ты себя и нас, а между тем я еще больше люблю тебя!

Обе женщины ушли в спальню, заперлись там, и долго еще слышался их невнятный шепот о прежнем житье, о близких лицах, только в шепоте ни разу не упомянулось имени Линара. Обе старались забыть его.

На другой день, по приказу Василия Федоровича, стали собираться к переезду в Динаминд.

К дворцу большой приезд на танцевальный вечер. Все знали, что императрица предполагает через несколько дней переехать из Москвы в Петербург и этот вечер прощальный; все спешили воспользоваться случаем потереться между светил, поразведать почву, поклониться кому следует, а молодежь — беззаботно повеселиться.

При дворе Елизаветы Петровны действительно веселились и умели веселиться. Ее вечерние собрания резко отличались от раутов и собраний предшественниц.

Чинно, апатично и натянуто тянулись вечерние съезды при Анне Иоанновне, когда везде бывал блеск, роскошь, бархат и бриллианты, но вместе с тем холод и официальность — только одни шуты имели право не стесняться строгими приличиями. В определенное время гости съезжались, прохаживались по обширным, блестящим огнями и разноцветными искрами залам, улыбались, наблюдали, шпионили и в определенное же время, никак не далее 12 часов ночи, разъезжались.

При Анне Леопольдовне большие собрания назначались редко, только в очень торжественные дни; в обыкновенные же вечера, как в какой-нибудь буржуазной семье, собирался интимный кружок, в котором царствовала непринужденность с полной свободой не стесняться, играть в карты, читать, составлять кадрили.

На вечера Елизаветы Петровны собирались гости с целью повеселиться, насладиться тем, что дает жизнь, молодость и здоровье. По примеру самой императрицы танцевали почти все, танцевали не до определенного часа, а до полного изнеможения, до той поры, когда государыня удалялась в свои внутренние покои, тщательно закрытые от назойливых лучей наступавшего дня.

Со всех сторон, из разных полуосвещенных улиц к дворцовому подъезду один за другим подкатываются экипажи,

из которых то высаживаются степенно, то выпархивают мужчины и женщины.

Залы наполнились придворными дамами и кавалерами, сановниками и богатыми горожанами.

Костюмы гостей не отличаются роскошью, не так, как было лет пять назад. Не видно уборов из драгоценных камней, кафтанов из богатых тканей, вышитых золотом и серебром; вместо бархата и атласа везде сукно, которого ценность соответствует рангам.

Новым указом императрицы, знавшей, чего стоил придворный выезд в царствование ее тетки, требуется крайняя простота в костюмах. Все кавалеры не имели права носить никаких золотых и серебряных украшений, даже сукно могли употреблять ценностью не свыше четырех рублей только особы первых пяти классов, прочие классы должны были довольствоваться сукном не свыше трех рублей.

Точно так же ограничивалась и природная склонность к мотовству дам: их кружева строго соразмерялись с общественным положением их мужей.

В ожидании танцев по залам образовались особые группы около светил первых величин, между которыми прохаживались, приставая то к той, то к другой группе, или молодые люди, явившиеся собственно для танцев, или трусливые, не выбравшие себе еще партию.

Сама хозяйка в разноцветном букете дам составляла собою самый привлекательный и роскошный цветок.

Вполне развитая русская красавица, она притягивала к себе не столько как государыня, сколько как очаровательная женщина. Пышно взбитые природные густые волосы, слегка осыпанные пудрою, удивительно шли к ее свежему розовому цвету лица, по нежности которого трудно было дать ей и тридцать лет; большие глаза с поволокой горели еще юношеским оживлением.

Елизавету Петровну окружали дамы, из числа которых выделялись: неизменный друг ее Мавра Егоровна, вышедшая недавно замуж за Петра Ивановича Шувалова, Анна Гавриловна, жена обер-гофмаршала Бестужева, Анна Карловна,

жена Михаила Ларионовича Воронцова, Шарлотта, жена вице-канцлера, совершенно немецкого типа, белобрысая, с мелкими чертами лица, жена генерал-прокурора сената князя Никиты Юрьевича Трубецкого, еще сохранившая следы замечательной красоты, приковывавшей к себе сердца знаменитых ловеласов своего времени — князя Ивана Алексеевича Долгорукова и позже фельдмаршала Миниха, графини Ефимовская и Гендрикова, родственницы императрицы по матери, мадам Шмидт, дуэнья фрейлин, не забывавшая кармана насчет нравственности своих питомиц, гофмейстера маленького двора Чоглокова, три странные женщины, в придворных костюмах, неуклюже сидевших на их топорных телах, прижавшиеся друг к другу в отдельную группу, — Агафья, Анна и Вера, родные сестры графа Алексея Григорьевича Разумовского, замужние, первая за ткачом Будлянским, вторая за кройщиком Закревским и третья за казаком Дараганом, вызванные к двору и волей-неволей участницы в вечерних собраниях государыни. Позади этих трех граций, точно курица с цыплятами, пыжилась мать их, нестроевая казачка шинкаря Наталья Демьяновна, тупо смотревшая на все и на всех.

Елизавета Петровна с истинно русским радушием приветствовала подходивших к ней гостей, из которых самого наибольшего внимания удостоились представители европейских государств.

За несколько месяцев до этого честь быть представленным первым и вообще пользоваться выдающимся отличием всегда принадлежала элегантному маркизу Шетарди, но после его отъезда это отличие стал получать прусский посланник Мардефельд, истый рыжий пруссак, средних лет, с грубыми, напоминавшими казарму манерами, по-видимому, открытый и прямодушный, но в сущности тонкий и дальновидный дипломат. Он с тактом умел не выставлять напоказ оказываемого ему отличия и не бил им самолюбия других посланников, как это делал маркиз Шетарди.

— У меня с вами много общих дел, генерал, о которых желала бы лично переговорить с вами. Я приглашаю вас на

первый танец, — обратилась к Мардефельду императрица с приветливой улыбкой.

Пруссак низко поклонился и скромно отошел в сторону.

За Мардефельдом следовал английский посланник Вейч. Елизавета Петровна не любила его предшественника, недавно уехавшего посла Финча, за его интриги против себя у бывшей правительницы Анны Леопольдовны, да и вообще методичный, чопорный Финч никак не подходил к ее общительному, беспритязательному характеру.

— Вы, как я слышала, очень довольны нашему скорому переезду в Петербург? — спросила она, ласково улыбаясь, Вейча на французском языке, которым довольно бойко владела.

— Как и все истинные друзья вашего величества, — просветлел Вейч, почтительно целуя протянутую к нему руку государыни.

— Как странно!. Одни мои истинные друзья советуют непременно уехать в Петербург, другие, — императрица взглянула на стоявшего за Вейчем французского посланника графа д'Альона, — тоже мои истинные друзья — советуют оставаться в Москве. Совет противоположный, и кто-нибудь да советует не как истинный друг. Лично же до меня, — задумчиво продолжала она, — мне не хотелось бы уезжать: здесь так хорошо. Я люблю Москву, ее радушие и теплую преданность.

— Где бы ваше величество ни были — вы всегда и везде будете окружены горячею преданностью. Что же касается до противоположности мнений, то различие может зависеть не от чувства преданности, а от различия взглядов, — нашелся Вейч.

— Может быть, вы и правы, — закончила императрица, уже обращаясь к подходившему французскому посланнику, за спиной которого сиял дорогими камнями в первый раз приехавший чрезвычайный посол Персии. Австрийского посла не было за отъездом маркиза Ботты и за неприбытием вновь аккредитованного.

Заиграла музыка, кавалеры бросились отыскивать своих дам и выбирать места.

В первой паре, разумеется, была государыня с Мардефельдом.

Елизавета Петровна любила танцы до увлечения и танцевала замечательно хорошо. Нельзя было не залюбоваться на ее плавные, грациозные движения, полные жизни и очарования.

Великий князь выбрал своей дамой молодую девушку, обратившую на себя его внимание замечательной красотой, Настасью Степановну Лопухину, приехавшую из Петербурга на придворные праздники к другу своей матери, Анне Гавриловне.

Петр Федорович не отличался ни грациозностью, ни любезностью и не особенно ценил эти качества в других. Ему нравился в Настасье Степановне нерусский тип, и именно то, что в ее милых, нежных чертах что-то напоминало ему идеальное выражение немецких красавиц; легкость, какая-то воздушность хрупкого тела девушки совершенно не подходили к идеалу русской пластичности. Великий князь, старательно и пунктуально отделивая каждое па, пытался сказать своей даме какую-нибудь любезность, но никакая любезность не могла соорудиться в его голове, в которой вертелись только парады и военные экзерциции, несколько не интересные, как он и сам подозревал, для молодой девушки; от этой бесплодной потуги мысли великий князь терялся, конфузился, его неловкие манеры становились еще, более угловатыми.

Подле великого князя стояли в паре Алексей Григорьевич Разумовский с Анной Гавриловной Бестужевой.

Алексей Григорьевич танцевал неохотно, всегда ограничиваясь одним только первым танцем в угоду императрице. Его неуклюжие казацкие манеры еще более выдвигали Анну Гавриловну, знаменитую танцовку своего времени.

Общее дело, о котором намекнула императрица Мардефельду, касалось до намерения, задуманного государыней, — женить наследника русского престола.

По совету короля прусского Елизавета Петровна склонилась к сватовству своей будущей племянницы из какого-нибудь небогатого германского дома.

Перебраны были все немецкие невесты, и выбор остановился, опять-таки по совету Фридриха, на принцессе

Ангальт-Цербстской, приходившейся дальней родственницей королевскому прусскому дому. Начатые по этому поводу переговоры у голштинского гофмейстера Блюммера с матерью принцессы имели полнейший успех; невеста с матерью должны были приехать если не в этом, то в будущем году в Петербург, где будущей наследнице предстояло изучение русского языка и догматического православия.

— Вы лично знаете принцессу Софью-Фредерику? — спрашивала государыня прусского посла, когда выдалась свободная минута для разговора.

— Точно так, ваше величество.

— Скажите, хороша она собой? Портрет, который прислал мой посланник, много говорит в ее пользу.

— Смею уверить ваше величество, что портрет далеко ниже оригинала.

— В таком случае она должна быть красавица, — заметила как будто про себя Елизавета Петровна, и легкая тень раздумья пробежала по ее открытому лицу.

— Скажите еще, генерал, добра ли она? — продолжала расспрашивать государыня.

— Умна и, как ангел, добра, ваше величество, — в этом вы сами скоро изволите убедиться.

— А Марианну, генерал, дочь польского короля Августа III, когда-нибудь видели?

— Кажется, видел, ваше величество, но она не произвела на меня никакого впечатления, и об ней не могу сказать ничего положительного.

Государыня задумалась и потом тихо высказала:

— Дай Бог, дай Бог! Счастливые супружества вообще не часты, а в королевских домах, когда свободный выбор подчиняется еще различным политическим комбинациям, еще реже... Я, как женщина, придаю семейному союзу особенную цену. Племянник мой добрый мальчик, немного странен от лет, но стоит любви, и мне было бы больно сделаться виновницей его несчастья.

— О, насчет будущности для его высочества не может быть никаких сомнений при мудром руководстве вашего величества и

в союзе с принцессой!

— Будущее не всегда исполняется по человеческим расчетам; но я надеюсь, что в этом случае расчеты не ошибутся. Скоро, генерал, принцесса приедет?

— Об этом меня не извещают, хотя я вчера получил депешу для представления вашему величеству.

— Депешу, генерал, передайте моему вице-канцлеру, а мне теперь же расскажите не как государыне, а как любопытной женщине, о чем пишет король.

— Все о том же, ваше величество. Король мой совершенно одобряет изменение вашего намерения об отправке за границу Брауншвейгского семейства. Он, вполне сочувствуя интересам вашего величества, находит, что даже одно пребывание в такой близости к границе бывшей правительницы не может служить к упрочению спокойствия в вашем государстве.

— Очень благодарна королю за его доброе расположение ко мне и вполне ценю это, но не могу не находить опасений короля слишком преувеличенными. Принцесса, бывшая правительница, не может нарушить спокойствия и охраняется в Риге или Динаминде так же бдительно, как и в самых отдаленных местах.

Елизавета Петровна прекратила разговор и не начинала его до конца кадрили.

За этим обменом оживленных речей императрицы и прусского посла внимательно следили со всех сторон с совершенно различными опасениями.

— Посмотрите, граф, как озабочены ее величество, — говорила Анна Гавриловна своему кавалеру Алексею Григорьевичу, едва заметно указывая глазами на императрицу.

— Да, — лениво отозвался тот, — теперь у нас Мардефельд в чести.

— Удивительно, как это вам мог так полюбиться этот старый рыжий немец! — смеялась Бестужева.

— Мне, графиня? Нисколько. Для меня все равно, Шетарди ли, Мардефельд ли, — такие же басурманы... не варит их мой желудок.

— Зачем же вы допускаете их сблизиться с государыней?

— Не я их допускаю, а Лесток, собачий сын, простите, графиня! — извинялся Алексей Григорьевич, сконфузившись. — Не могу еще отвыкнуть от старой казацкой привычки ругнуть нараспашку.

Анна Гавриловна делала шен, окончив который и возвращаясь к кавалеру, снова начала:

— При вашем влиянии, граф, мне кажется, от вас зависит приблизить того или другого.

— То-то нет, миленькая графиня, человек я простой, в хитрых дипломатиях несведущ, а эта собака Лесток — пройдоха: в одно ухо влезет, а в другое вылезет, без шашней и каверз жить не может; прежде вот с Шетарди, а теперь с Мардефельдом да Блюммером все шепчутся.

— Да разве без вас кто может обойтись у государыни? — подзадоривала Анна Гавриловна, хотя очень хорошо знала, что в последнее время Алексей Григорьевич своими кутежами и буйством под пьяную руку значительно повредил свой кредит.

— Мне-то что, мое место у государыни обеспечено... Лесток — другое дело, ему надо работать, а мне хорошо... Пускай его теперь устраивает Петра Федоровича! Разве мне не все равно, женится ли великий князь на какой-то Софье-Фредерике или нет? — будто проболтался Алексей Григорьевич, в сущности по природному лукавству хорошо понимавший, как Бестужевым не по сердцу этот брак с Ангальт-Цербстской принцессой и как им нужно знать, кто хлопочет об нем.

— Так они теперь говорят о невесте, граф, а мне слышалась в их разговоре Рига, — простодушно продолжала Анна Гавриловна, которая в это время еще не знала ни об отказе правительницы от подписи отречения, ни о переводе Брауншвейгского семейства в Динаминд.

— Может быть, и об Риге говорят. У них между собою с Мардефельдом и Блюммером только и разговоров либо о невесте, либо об Анне Леопольдовне.

— Ах, бедная принцесса! Хоть бы вы приняли в ней участие, заступились!

— Мне заступиться? Да с какого ляду? Мне принцесса не сделала ни добра, ни зла. Для меня разве не все равно, где она

будет жить: в Риге, в крепости ли какой или в Рязани?

Анна Гавриловна осталась довольна своей ловкостью, с какою выведала от Разумовского, что ей было нужно; не менее остался доволен и Алексей Григорьевич, знавший, что не более как минут через пять все его сведения будут переданы по принадлежности Бестужевым.

Кадриль кончилась, и кавалеры с элегантною вежливостью расшаркивались перед дамами. Стали разносить прохладительные питья, мороженое и лакомства. Императрица, раскрасневшись от волнения, отмахивалась веером, грудь ее высоко поднималась, по всем членам пробегало приятное ощущение, из полуоткрытых полных губ вылетало горячее дыхание. Обводя влажными глазами группы знакомых лиц, она увидела почти в конце залы у колонны незнакомого юного офицера привлекательной наружности. Грустное, симпатичное выражение в правильных чертах лица, при изумительно нежном цвете, мечтательное и даже какое-то робкое, одинокое положение его в среде блестящих кавалеров и дам привлекло внимание государыни. Она долго и внимательно всматривалась в его глубокие, мягкие глаза и потом, обернувшись к вечно стоявшей подле нее Шуваловой, спросила:

— Видишь, Мавруша?

— Кого, матушка?

— Вон там, у колонны, — сказала государыня, указывая веером по направлению к молодому человеку.

— А... — протянула Мавра Егоровна, — тот офицер-то? Видела я его. Кажется, он недавно поступил генерал-адъютантом — не знаю, к Александру ли Ивановичу, к мужу ли или к Разумовскому, право, не знаю.

— Мавруша, милая, устрой так, чтоб мне его представить!

— Слушаю-с! — Мавра Егоровна пошла было по направлению к молодому человеку.

— Нет... нет... — воротила ее Елизавета Петровна, — не теперь... после... в конце вечера начни говорить с ним, а я подойду.

В глубине другой комнаты шел оживленный разговор между генерал-прокурором сената князем Никитой Юрьевичем Трубецким и обер-гофмаршалом голштинско-русского двора Петра Федоровича Блюммером.

Волновался, впрочем, один князь Никита Юрьевич, а хладнокровный, чинный голштинiec поддакивал, кивал одобрительно головой и по временам, когда князь уж слишком энергично напирал на него, осторожно отступал назад.

Князь Никита Юрьевич, среднего роста, коренастый мужчина в высоком напудренном парике, съехавшем набок от быстрых движений, далеко не мог похвастаться красотой, напротив, — было даже что-то неприятное в его жестких, желтых, крупных чертах.

Никита Юрьевич считался человеком умным, ею до крайности озлобленным — и не без причины. Его, впечатлительного ребенка, никто не любил, не ласкал, и он рос в родительском доме без оживляющей, проникающей в сердце любви матери.

Потом, когда он самостоятельно стал на ноги, другое, не менее едкое горе наполнило желчью его сердце. Его молодая жена, которую он страстно любил, в первые же годы супружества сделалась баснею целого города открытыми скандальными отношениями с известным в то время любимцем Петра II, князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым. Много оскорблений он вынес тогда от всемогущего ловеласа, оскорблений как мужу и как человеку. К счастью его, эта связь продолжалась недолго, не более года, — князя Ивана Алексеевича сослали в далекий Березов, а потом в Новгороде и совсем покончили.

Никита Юрьевич отдохнул было, стали заживать его тяжелые язвы, как вдруг новые оскорбления, еще невыносимее первых и с не меньшим скандалом. В той неверности, по крайней мере, виновником был молодой обольстительный юноша, от которого вскипали ключом все сантименты московских дам, в новой же и этого облегчения не было. Новым любовником княгини Трубецкой сделался почти старик, правда элегантний, но все-таки старик, — фельдмаршал Миних, один из вожаков немецкой партии. Но бороться с Минихом, своим непосредственным начальником, при полном господстве немцев в царствование Анны Иоанновны, князю Никите Юрьевичу было не по силам, и он затаил всю злобу, накапливая ее все больше и

больше. При Елизавете Петровне, когда немецкая партия совершенно пала, эта злоба вдруг разлилась по всему его существу.

— Как вам нравится? А? Нет, вы скажите, как вам нравится? Зачем же и сенат, и синод, если они ничего, ровно ничего, слабей безногой клячи, если каждый может не обращать на них никакого внимания? Нет, вы подумайте, каково это русскому! — почти выкрикивал князь Никита Юрьевич, подхватив голштинца — гофмаршала Блюммера и нервно дергая за пуговицу маршальского камзола с явным посягательством на нарушение туалета благочинного немца.

— О да, да, конечно, — отделялся Блюммер, отстраняясь от крикливого князя и стараясь освободить свою злополучную пуговицу.

— Нет, вы подумайте, каково русскому, когда ни с того ни с сего свой же русский не обращает внимания на законы своего отечества, да что не обращает внимания, — смеется над ними!

— О, конечно, такой русский — все же он человек, стало быть, и должен, без сомнения, подвергнуться законной таре, — говорил Блюммер, догадываясь, кто этот несчастный русский, и не догадываясь, какую злую насмешку он высказал о русских. Впрочем, в пылу негодования князь Трубецкой не понял грубости Блюммера и продолжал свои жалобы.

— Да помилуйте, какой же он русский: весь свой век жил за границей, хитрил да лукавил. Я сначала тоже считал его русским и тоже хлопотал о его назначении вице-канцлером, а теперь вижу, как ошибся. Да помилуйте, у нас немцы стали какими-то господами, а мы их покорными рабами, понастроили здесь своих церквей в соблазн православным. Синод сделал распоряжение уничтожить эти их кирки, а что выходит? Самая-то главная их лютеранская кирка не только стоит себе благополучно, но даже каждый день обогащается приношениями — вы думаете какого-нибудь немца? И не бывало... наш же вице-канцлер Российской империи, которому бы следовало показывать пример исполнения законов...

— О да, да, конечно, непростительно, хотя, с другой стороны... — Но ретивый генерал-прокурор не слушал, да и не

хотел слушать никакой другой стороны.

— А все отчего? Супруга его, видите ли, немка, дочка какого-то резидента Беттинера, так вот, в угоду ей и законы русские побоку.

— Но вы, как генерал-прокурор, блюститель, можете и должны покарать за преступление, — подзадоривал Блюммер.

— Покарать! Кик бы не так! У нас законы пишутся не для высоких особ. Особы могут за взятки да за подарки продавать Россию кому угодно и отвечать не будут. Да вот недалеко пример! Астраханский губернатор Татищев разорил башкирцев. Выведенные из терпения, они выбрали депутацию и отправили ее с жалобой к императрице. Что ж выходит? Депутация эта живет теперь несколько месяцев, а господа канцлеры государыне не докладывают и не доложат вовсе... А отчего? Губернатор прислал им взятку — тридцать тысяч рублей.

— Вы бы доложили об этом государыне, — подучал Блюммер.

— Да что толку-то? Государыня нерешительна и мнительна, начнет советоваться, спросит вице-канцлера, а тот сумеет вывернуться и выйти из воды чистым, как голубь. Пожалуй, меня же заподозрят. Мне самому нельзя, а всю эту историю я рассказал Лестоку: он наверное передаст императрице.

И долго бы изливался князь Никита Юрьевич в нескончаемых жалобах, но так как эти жалобы не представляли почтенному Блюммеру никакого интереса как давно уже ему известные от самого Лестока, то солидный гофмаршал и поспешил ускользнуть от генерал-прокурора.

Блюммеру известно было даже и то, чего не знал и сам Трубецкой: что Лесток передавал уже государыне башкирскую историю, что государыня не поверила, спросила объяснения от вице-канцлера и что тот совершенно оправдался. Мало того, на самого Трубецкого наложено было столько жалоб на его произвол и притеснения, возбудившие общее неудовольствие и ропот, что государыня подумывала, не послать ли по провинциям доверенного человека разобрать на месте, нет ли действительно от злобы генерал-прокурора каких-нибудь важных злоупотреблений.

Иные совсем разговоры велись в тот же вечер у действительного камергера фаворита Алексея Григорьевича Разумовского с вице-канцлером Алексеем Петровичем Бестужевым-Рюминым, разговоры спокойные, до того спокойные, что постороннему они могли казаться беседой о погоде и о других подобных же обыденных вещах.

Алексей Петрович почти никогда не волновался, а тем более с таким лицом, каков был Разумовский. Алексей Петрович понимал Разумовского далеко — не таким простачком, каким тот казался другим; по его убеждению, фаворит, напротив, обладал значительной дозой хохлацкой хитрости, глубоким пониманием своего положения и тонким умением вести свои дела. Не владея никаким образованием, конечно, Разумовский не мог поставить себя в сферу правительственной деятельности, но делает честь его уму уже то, что он сам понял это, умел отстраниться вовремя и кстати, сумел поставить себя твердо в среде перекрещивающихся интриг и сохранить, несмотря на личные свои недостатки, ига государыню влияние, хотя не постоянное, а какое-то порывистое.

Алексей Петрович вел свою речь тонко и дипломатично.

Совершенно незаметно он выяснил, как опасно быть сторонником дерзкого самохвала-врача и как, напротив того, выгодно держаться спокойного и твердого самообладания людей опытных. Для Разумовского не требовалось подробных толкований: он понимал дело в полуслове.

В конце концов Алексей Петрович мысль свою доказал примером:

— Помните вы, милостивый мой граф, как одно время наша государыня оказывала вам особливую холодность и нарочитую благосклонность Александру Ивановичу Шувалову? Отчего же этого обстоятельства не случалось никогда (прежде и никогда после, хотя Александр Иванович и прежде, и после всегда бывал при ней неотлучно? Наша государыня содейвала это совершенно бессознательно; господа врачи владеют средствами, (им одним известными, в каплях и порошках, которые заставляют человека делать то, что угодно господину врачу.

Алексей Григорьевич был истый хохол, верил в таинственное влияние различных трав и зелий на человека и потому объяснения вице-канцлера нашел совершенно удовлетворительными, хотя и не высказал этого.

В чувстве благодарности за предупреждение и он со своей стороны сообщил вице-канцлеру, что задуманный Алексеем Петровичем проект сватовства за великого князя Марианны Саксонской, дочери польского короля Августа III, не мог осуществиться вследствие интриг Лестока и Блюммера, подкупленных Мардефельдом, и некоторые другие сведения, весьма существенные и важные для господина вице-канцлера, за которые тот тоже был очень благодарен, хотя тоже не обнаружил никакого удовольствия.

Борьба между лейб-медиком и вице-канцлером завязалась упорная и беспощадная, с одинаковыми силами противников.

Если Лесток имел крупный шанс в благодарности императрицы, в укоренившемся расположении к нему в продолжение почти всей ее жизни, в расположении, доходившем почти до чувства необходимости иметь его всегда подле себя как медика и как преданного друга, то, с другой стороны, и вице-канцлер тоже имел веский шанс в знании всех целей, всех средств противников посредством чтения шифрованных депеш и из рассказов приближенных, а следовательно, имел полную возможность вовремя отпарировать каждый удар.

А между тем вечер продолжался своим обыкновенным ходом, со своими обычными интригами, танцами и беззаботным весельем.

Государыня, считая себя выполнившею свой долг назначением нескольких скучных часов в неделю для выслушивания докладов министров, беззаботно отдавалась жажде наслаждения. Она не пропускала ни одного танца, выбирая себе кавалерами, после официального танца с Мардефельдом, только лиц, с которыми ей было приятно. Избыток жизни и страстности сказывался в каждом грациозном движении ее красивого, блестящего здоровьем организма.

Перед концом вечера Мавра Егоровна выбрала удобный момент познакомиться с заинтересовавшим государыню

симпатичным офицером. Государыня, проходя в это время случайно мимо, остановилась и милостиво вмешалась в разговор.

— Вам скучно, вы весь вечер не танцевали, и мне, как доброй хозяйке, это неприятно. На следующий танец я сама вас приглашаю быть моим кавалером, — обратилась она к нему с ласкающей улыбкой.

Скоро начался этот роковой для молодого человека танец, в котором он вдруг очутился баловнем судьбы, осыпанным всеми дарами счастья. Государыня казалась очень оживленной, более оживленной, чем во все прежние танцы, и это не укрылось от зорких глаз, следивших за каждым ее движением.

— Видишь? — спросил Александр Иванович Шувалов брата Петра Ивановича.

— Вижу, — отвечал тот.

— Кто он такой?

— Мой адъютант и, сколько я понимаю, человек опасный, честолюбивый.

На лице Александра Ивановича выразилась глубокая, непритворная печаль.

Эх, рохля, рохля, давалось счастье, не сумел взять, так и пеняй на себя! — говорил Петр Иванович брату. — Не ты, так другой поумней будет и сядет на шею... От этого-то, пожалуй, избавиться нетрудно...

— Нетрудно? Да посмотри только, как она с ним говорит!

— Да это что... ничего. Дам ему завтра притираньца для сохранения цвета лица... А что потом-то будет? Не этот, так другой... Знаешь, что, брат, — предложил вполголоса Петр Иванович, — выпишем-ка племяша Ивана Ивановича. На мой взгляд, он будет покрасивей этого, а между тем все-таки человек свой...

— Как хочешь! — глухо отозвался Александр Иванович.

Блеснуло полное счастье для юного адъютанта и исчезло, как молния.

Через несколько дней он летел домой в деревню закутанный и обвязанный, с лицом, изрытым язвами, и покрытым багровыми пятнами. И прислушивается он к звону

колокольчика, в дребезжащем звоне которого так и отчеканиваются слова Петра Ивановича, с улыбкою говорившего ему на прощание: «Ну, батенька, извини, обмишулился склянницами... Поезжай домой да вылечись».

Где же во весь вечер был любимый лейб-медик, граф Лесток?

Он по обыкновению играл в карты в отдельной комнате, проигрывал, выигрывал и в конце концов все-таки проигрался. До танцев ему было мало дела, наблюдать не стоило — он чувствовал свою силу.

К Лопухинским палатам в Петербурге подходили мужчина и женщина, закутанные в дорогие меха от сорокаградусного мороза и сильного северного ветра, которыми отличались первые январские дни 1743 года. Подойдя к подъезду, женщина приостановилась и спросила товарища:

— Петя, войдешь к сестре?

— Нет, мама, у меня теперь спешное дело, — отозвался тот, отворачивая лицо от ветра и сильно переступая ногами, начинавшими зябнуть, несмотря на ходьбу.

Мужчина пошел дальше, но, не успев пройти несколько шагов, обернулся и крикнул матери:

— Передайте сестре, что в этом году будет смена караульного офицера в Соликамске!

Женщина что-то проворчала, а потом, подойдя к двери, стукнула в нее медным молотком, висевшим тут же на медной цепочке. На этот стук, глухо раздавшийся в широких сенях, слышались торопливые шаги, а потом скрип ключей.

— Ах, матушка-барыня, Матрена Ивановна, изволили пожаловать! — приветствовал, отвечивая низкие поклоны, седой камердинер, широко растворяя сенные двери и почтительно давая дорогу.

— Здорова Наташа, Карпыч? — спросила Матрена Ивановна, не отвечая на поклоны и торопясь войти в теплые комнаты.

— Как же-с, матушка-барыня, слава Богу-с.

— Где она, в своей комнате?

— Точно так-с, матушка-барыня, обнаковенно в своей каморе изволят пребывать-с. Мы теперь словно в заточении каком!

Матрена Ивановна проворно скинула шубу, развязала платок, закутывавший голову, и пошла через всю анфиладу комнат в будуар дочери.

Это была мать Натальи Федоровны Лопухиной, знаменитая Матрена Ивановна Балк.

Ей было в это время лет шестьдесят, но такого серьезного возраста никак нельзя было дать тонким чертам, сохранявшим следы прежней красоты. Необыкновенная привлекательность и обольстительная красота передавались наследственно в семействе Монсов де ла Круа, состоявшем во время переезда Монсов из Риги в Москву, из старика-отца, золотых дел мастера и искателя счастья, двух дочерей — сестер Анны и Матрены и брата их Вилима. От красавицы Матрены Ивановны наследовала очаровательную красоту Наталья Федоровна, передавая ее потом по наследству дочери своей Настеньке.

Когда проходила Матрена Ивановна по зале, из коридора внутренних комнат выбежал мальчик лет десяти, кудрявенький, нежный, розовый, с голубенькими глазками. Мальчик скачками подбежал к старушке, подпрыгнул и, обвив обеими ручонками наклонившуюся к нему шею, зацеловал все лицо бабушки.

— Экой ты шалун, Степа! — журила бабушка своего любимца-внука, младшего сына Натальи Федоровны, целуя его высокенький лобик. — Совсем сбил меня с ног!

А внук между тем расправлялся по-своему и, завладев объемистым ридикюлем бабушки, вытаскивал оттуда в подол своей рубашонки обычные гостинцы в сладостях и игрушках.

— Бабуся, а бабуся! Больше у тебя ничего нет? — лепетал мальчик, когда в ридикюле остались только платок да начатый чулок со спицами.

— Ничего, плутишка, ничего. — И бабушка намеревалась было взять внука за руку и повести с собою, но он ловко увернулся и убежал к сестрам делиться гостинцами.

— Спасибо, мама, что навестила, — говорила Наталья Федоровна, крепко целуя руки у вошедшей к ней матери и усаживая ее на любимое покойное кресло, которое та почти всегда занимала в будуаре дочери.

— Соскучилась, милая, по тебе, не побоялась и мороза, — отвечала мать, с любовью глядя волосы дочери и целуя в лоб, — хоть и не стоишь ты этого.

Мать и дочь горячо любили друг друга, делили между собою радость и горе, только последним приходилось делиться чаще.

— Недовольна я тобой, девочка, очень недовольна, — продолжала Матрена Ивановна.

Чем, мама?

— Блажишь.

— Как блажишь? — переспросила дочь.

— Да так. Разве можно так жить матери, у которой на руках семья? Разве тебе не должно устроить приличные партии дочерям?

— Настенька пользуется удовольствиями: я нарочно отправила ее в Москву к Анне Гавриловне, — оправдывалась Наталья Федоровна.

— Анна Гавриловна любит тебя, не спорю, но все-таки она не мать. Ко двору ты не ездешь, и смотрят на тебя как на опальную... Кто ж женится на дочери опальной?

— Да разве мы, мама, не опальные?

— Какие вы опальные, с чего ты взяла? Что муж твой и сын уволены, так ты знаешь, каков характер у мужа! Да все бы это ничего: могла бы ты их поставить.

— Я? — удивилась Наталья Федоровна. — Что ты, мама! Меня государыня никогда не любила.

— Знаю, девочка, все знаю, — Матрена Ивановна, лаская, часто называла свою дочь девочкой, — и все это ты могла бы поправить. Тебе государыня завидовала... Конечно, ей неприятно было видеть, что ты красивее ее, а ты бы так поступала, чтоб не возбуждать ревности, заставить полюбить тебя и забыть о твоей красоте. И это тебе было бы не трудно. Разве не Елизавета назначила тебя своей статс-дамой? А бывала ли ты при дворе?

— Что ж, что назначила, а бывало, у самой такое сердитое лицо, как я покажусь при дворе!

— Сколько раз ты бывала-то при дворе? Всего один раз! Эх, Наташа, Наташа!

— Не могу, мама! Не могу я себя приневолить, не могу притворяться веселой, когда все сердце изныло, когда противно смотреть на людей, на светлый день.

— Полно вздор городить. Пересиль, потом и сама будешь рада. Не один на свете твой Рейнгольд... Посмотри на себя, на что ты стала похожа, — краше в гроб кладут! Ну стоит ли!

— Мама, да что ж мне делать, если я люблю его? — с отчаянием высказалась Наталья Федоровна.

Матрена Ивановна пожала плечами, досадливо повела головой, и замолчала, но не в натуре ее было отказываться от взятого намерения... Через несколько минут она снова начала:

— Рейнгольду твоему, говорят, в Соликамске хорошо, живет у Строгановых, а те люди добрые, гостеприимные. Давно, думаю, забыл тебя!

— Мама, в ссылке друзей не забывают.

— Много таких друзей у Рейнгольда и здесь найдется, — сквозь зубы проворчала Матрена Ивановна.

— Неправда, — чуть не плача возражала Наталья Федоровна, — меня он одну любил. Перестаньте, мама, сами вы не испытали и не понимаете меня. У меня и так горя довольно!

— Ты думаешь, у меня горя не было и я не могу понять тебя? Не дай Бог тебе, Наташа, испытать то, что я вынесла!

— Милочка моя, хорошая моя мама, расскажи! — пристала Наталья Федоровна, желая отвлечь мать от воркотни. — Я так люблю, когда ты рассказываешь.

Матрена Ивановна не заставила долго себя упрашивать; она и сама любила вспоминать о прошлом. Вынув платок из ридикюля и защипнув пальчиками из маленькой золотой раковинки щепотку французского табаку, она задумалась и провела рукой по своему высокому, белому лбу, еще не изрытому морщинами.

— Да, милая моя, горе мое было немалое, не твое, да и люди тогда были не мелкие, не нынешние. Все радости мои и горя родились от одного человека, но зато этот человек — великан из железа и воли. Помнишь, Наташа, Петра?

— Неясно, мама; помню только, как он бывал у нас в Москве до моей свадьбы, — я год еще так боялась и всегда от него бегала, когда он приходил; а потом, когда меня по шестнадцатому году выдали замуж за Степана Васильевича, мы

почти и не жила в столице. По смерти уже царя муж вышел из морской службы и поступил камергером.

— Не ты одна боялась его, Наташа, боялись его все, боялись крепкие и закаленные мужчины, а этот великан, эта необъятная сила, любил нас, все наше семейство Монсов, горячо любил. — Говорила Матрена Ивановна тихо, почти шепотом, как будто каждое слово будило в ее, душе прежние острые впечатления. — Только мы платили ему черною неблагодарностью. Теперь, когда прошло столько лет, когда нет возврата к прошлому, я поняла его и мне больно...

Матрена Ивановна снова приостановилась, припоминая ряд глубоких сцен, оставивших по себе следы на всю ее жизнь.

При одном воспоминании этих сцен и теперь еще лицо ее бледнело и дрожали нервы.

— Познакомился с нами царь не помню у каких-то наших немецких знакомых на Кукуе. Мы были в гостях обе: тетка твоя Анна да я. Как теперь вот, вижу его при первой нашей встрече. Испугались мы обе, но я росла разбитнее, много смелее сестры и бойко отвечала ему, когда он обращался к нам, а Аннушка ни слова не сказала. Сестра была красивее меня, только такая худенькая, бледненькая и слабенькая. Впрочем, мне было и легче, на меня он смотрел приветливо, весело улыбался и говорил ласково, а с сестры не спускал глаз из которых точно искры блестели. Воротились мы домой, сестра растерянная, словно потеряла что, и все молчала.

На другой день к нам нежданно-негаданно пришел сам царь; мы так и обмерли. «Шел мимо, — говорит, — да увидел в окне своих вчерашних знакомых, так и зашел понаведаться». Просидел он у нас с час, увидел тут брата нашего, Вилима, обласкал его, назвал своим генеральс-адъютантом и обещал об нем позаботиться. Разговорились и мы; Аннушка то бледнела, то краснела, но все-таки сказала несколько слов. С тех пор царь нас стал навещать все чаще и чаще. Аннушка поободрилась немного, начала разговаривать, только бояться его никогда не переставала, до самой своей смерти. Государь полюбил Аннушку крепко, так крепко, как он уже никогда потом никого не любил. И если бы Аннушка захотела, так быть бы императрицею

ей. Прошло так несколько лет, царь все больше и больше привязывался к сестре, а через нее и я с братом стали ему дороги. Меня он выдал замуж за Федора Николаевича Балка, брата Вилима взял к себе, обучал наукам, немало денег, при всей своей бережливости, на нас тратил, дом подарил. И зажили бы мы, может быть, самыми счастливыми — да не судьба. Видно, на роду Монсов было определено быть близкими к короне, а кончать плахой...

Сестра не могла полюбить царя, все боялась его, а полюбила другого. Стал заходить к нам в дом, сначала только в царской свите, а потом и один, саксонский посланник Кенигсек, добрый такой, ласковый, да и красивый же! Полюбил он Аннушку, и она его тоже. Страшно испугалась я тогда. Думала: что делать? Ну как царь узнает, что с нами будет? Страшно, да и совестно: он так верит Аннушке, а она его обманывает. Приходило в голову и то: не открыть ли царю глаза, не лучше ли самим покаяться, предупредить, а то узнает стороной — убьет... Думала и раздумывала: пожалуй, не поверит. Да и боялась, чтоб не казнил. С другой стороны, и сестру было жаль — чем же она виновата, полюбив Кенигсека, а не царя? И пришлось мне поневоле помогать сестре и обманывать государя. Бывало, сторожишь свиданий и караулишь, как бы царь врасплох не захватил влюбленных.

Так прошел год, мы успокоились, как вдруг страшное несчастье обрушилось с той стороны, откуда не ждали. Был государь в Петербурге на осмотре крепости с Кенигсеком и свитой. Проходя по какому-то мостику, Кенигсек поскользнулся и упал в воду. Долго его искали и наконец вытащили, но уже мертвым. Государь сам хлопотал, приводил его в чувство, расстегнул мундир и в боковом кармане нашел портрет Аннушки, вместе с ее письмами к Кенигсеку.

Что было тогда с царем — передать невозможно, и если б Аннушка была тогда с ним в Петербурге, то он убил бы ее. В первом порыве он приказал заключить Аннушку и меня под арест, в котором мы и пробыли до тех пор, пока он не успокоился. Когда раздражение стихло, царь призвал Аннушку и сказал ей: «Забываю все; я сам имею слабости и сам виноват,

что доверился. Не хочу продолжать связь, не хочу унижать себя и сумею побороть страсть, но видеть тебя никогда не буду... Впрочем, нуждаться ты ни в чем не будешь».

И правда, он позаботился о ней, выдал ее замуж за Кейзерлинга, человека хорошего, только прожила она недолго: стояла от потери любимого человека, а может быть, и от потери любви царя — кто знает наше сердце?

Простил тогда царь и меня, только не хотел видеть, и мы уехали с мужем в Дерпт, куда Федор Николаевич был назначен комендантом. В Дерпте мы прожили года четыре, а потом его перевели в Эльбинг. Несколько лет, боясь гнева царя, я не показывалась ему на глаза, между тем в это время он все больше привязывался к Катерине Алексеевне. Нередко наезжал к нам в Эльбинг царь, или один, или с Катериной Алексеевной, которую иногда оставлял у нас погостить на довольно продолжительное время.

Пользуясь его отсутствием, я постаралась сойтись с Катериной Алексеевной и успела ей понравиться до того, что раз по приезде мужа она стала упрашивать его принять меня.

Государь милостиво согласился, увидел меня и обошелся по-прежнему ласково. Тем временем и брат мой Вилим входил уже в большую милость к царю и к Катерине Алексеевне, с которою царь потом вскоре и повенчался. По милости брата мужа моего перевели в столицу.

Вилим шел в гору; полюбила его государыня и назначила к себе камер-юнкером. Не знаю, помнишь ли ты, Наташа, какой он был красавец! Все мы, Монсы, были хороши, но всех красивее Вилим, и что за душа была у него!

Скоро все догадались, что вся сила в Вилиме. Государь стал по временам хилеть, болеть; могучая, не знавшая прежде устали сила его стала надламливаться, и он мало-помалу постепенно подчинялся влиянию жены, а та делала все, что желал Вилим, Стали нам все кланяться, в нас заискивать, расположения искать и через нас выхлопатывать у государя милости; все нам льстили и нас дарили.

Не подумай, что брат любил из корысти, — нет, он всей душой привязался к государыне и невольно, точно так же, как

прежде сестра Аннушка, отравил счастье царя. По дружбе к брату и я должна была участвовать в измене...

Царь не подозревал связи брата с Катериной Алексеевной — так скрытно хоронились они; раз только Елизавета Петровна, тогда еще ребенок, прибегает к отцу и болтает, как смутилась мать с Вилимом, когда она невзначай вбежала в комнату матери, но царь на детскую болтовню не обратил никакого внимания. Однако ж схоронились от грозного царя, но не успели схорониться от завистливого глаза.

Узнал как-то про связь Ягужинский Павел Иванович и написал анонимное письмо к государю. В прежнее бы время государь бросил бы письмо, не читая, но теперь, с годами, он стал подозрителен, призвал меня к себе, допрашивал и велел следить за братом и женой, Я старалась его успокоить, но, видно, он мне не поверил и захотел лично убедиться.

Вскоре, не помню, на другой или на третий день, кажется десятого ноября, государь под предлогом осмотра крепостных работ поехал в Шлиссельбург, но с дороги воротился и тихонько вошел в комнаты Катерины Алексеевны.

Я была около двери, но предупредить не успела: растерялась, да и он так быстро прошел, что и звука подать было невозможно. Царь нашел Вилима у государыни...

Ах, Наташа, не легко переживаются такие минуты! Много потом я извела тяжкого, но этой минуты мне никогда не забыть. Умирать буду, и тогда перед глазами все будет мерещиться грозное лицо, бледное, как у мертвеца, и страшно искаженное. У государя с молодости всегда при, каждом волнении нервные подергивания пробегали по лицу, а тут уже не судороги были, а какие-то страшные, неестественные корчи.

В первую минуту государь точно окаменел и только рукой показал брату на дверь.

Вилим убежал, я за ним, но в дверях остановилась и стала слушать.

Ожидала, разразится гроза — ничуть. Царь, видно, говорить не мог, мне слышались только глухие звуки, будто хрипение.

Долго оставаться у двери я побоялась и убежала к себе в комнаты, с испуга хватаясь за все вещи, словно куда собиралась

бежать. Что говорил в этот вечер государь с Катериной Алексеевной — не знаю, государыня мне никогда не рассказывала, да и я не решалась расспрашивать.

Вилима и меня взяли и отвезли сначала в казематы в разные каморки, а потом перевезли в Зимний дворец, где и содержали во время суда, по окончании которого снова перевезли в казематы. Допрашивал нас сам царь; что показывал Вилим — не знаю, но я откровенно повинилась во всем, да и как было скрывать, когда все сам видел.

Допросы продолжались недолго, всего каких-нибудь дней пять. Говорили, что во время допросов царя с Вилимом сделался паралич, — я верю этому. При первом допросе меня государь был суров, а потом необыкновенно мягок — и его железную натуру сломило горе! «Рассказывай, — сказал он мне как-то даже ласково, — какие ты, Матрена, брала взятки, с кого и за что?» — «Какие взятки? — спрашиваю и я его. — Всем я делала послуги, кто просил меня, почему ж не сделать добро? Многие потом меня и дарили, — даже указала и на кого, — да разве это взятки?». — «Ничего, — отвечает, — жена моя хоть и виновна, а все-таки она жена моя и люблю я ее...». Так и судили нас за взятки.

В последних допросах, заметив, как государь переменялся и ослабел, я ободрилась и стала умолять его о прощении, высказывая, что если и виновна в потворстве, так разве могла поступить иначе? Потом я напомнила ому прежнее, про сестру Аннушку... И как бы ты думала, Наташа, этот железный человек зарыдал, как ребенок, и как страшно было слышать его рыдания!

«Совсем простить тебя, Матренушка, — сказал он, вдоволь нарыдавшись и крепко поцеловав меня, — не могу, не в моей власти, а облегчить постараюсь».

И действительно, облегчение было: вместо десяти ударов кнутом меня наказали пятью. Потом мне передали, что и палач-то меня бил не как других преступников, а слегка, будто только для виду, сама же я ничего не помню. Мне кажется, если б меня резали на куски, так я и тогда бы ничего не почувствовала.

Очнулась я уже дорогой в Тобольск, в пошевнях, в нагольном тулупе, рядом с каким-то солдатом. Очнулась, верно, от холода да от нырков по разбитой дороге.

Ехали мы каким-то лесом, а мне все казалось, что это не лес, не деревья, а словно какие великаны, чудовища, будто тянутся они ко мне длинными лапами, хотят схватить и унести. Я снова лишалась чувств и снова пробуждалась. А ты, Наташа, говоришь, что я не испытала...

Наталья Федоровна бросилась к матери, и слезы их смешались. Матрена Ивановна вынула из ридикюля платок, отерла им слезы с лица дочери и потом, улыбаясь, продолжала:

— Досказывать теперь несчастную историю недолго. Брата казнили, голову отсекли и воткнули эту голову на шесте — пусть любуются добрый народ! Рассказывали мне после, что будто государь возил Катерину Алексеевну нарочно мимо шеста с головой и что будто бы Катерина Алексеевна холодно взглянула на красивую голову и не изменилась даже в лице. Может быть, это и правда. У государыни сердце было твердое, а что государь вздумал бесчеловечно поступить, то я этому верю: с упадком сил он стал еще мстительнее.

Матрена Ивановна задумалась.

— Мама, тебя скоро воротили? — спросила Наталья Федоровна, любившая слушать рассказ матери, хоть и знавшая всю историю во всех подробностях.

— Не знаю, скоро ли, Наташа, в точности, все я была в забытьи; помню только, что воротили с дороги и до Тобольска не довезли. После нашей казни государь занемог; прихварывал он и прежде, да не подолгу; а тут уж, видно, крепость его совсем сломилась, и он слег, а через два» месяца, в конце января, и душу свою Богу отдал. Катерина Алексеевна обо мне вспомнила тотчас по вступлении на престол, воротила из ссылки, отдала назад все имущество, которое у нас конфисковали, немало еще одарила и, наконец, назначила меня своей статс-дамой. Прожили мы так года два до смерти государыни, и была я в наружном почете, но прежней дружбы между нами не было. Труп брата не сблизил, а стал между нами... После смерти Катерины Алексеевны двор мне опротивел, и я удалилась.

— Вот видишь, мама, а как же мне советуешь бывать при дворе; мне тоже все опротивело.

— Ты еще молода, Наташа, у тебя дети малые, тебе надо их вывести: с меня нельзя брать пример.

Вошла камеристка и доложила о приезде маркиза де Ботта.

— Проси! — приказала Наталья Федоровна и обратилась к матери — Мама, выйдем к нему, он, верно, приехал проститься.

В гостиной дамы увидели бывшего австрийского посланника маркиза де Ботту, одного из выдающихся государственных людей Австрии, издавна славившейся дипломатическими деятелями. Умный, образованный, тонкий, умевший вести дело с таким дальновидным оракулом, каким был знаменитый Андрей Иванович Остерман, он как в царствование Анны Иоанновны, так и при правительнице Анне Леопольдовне до падения Остермана умел постоянно при всех встречающихся колебаниях и неудовольствиях поддерживать дружеские отношения между Россией и Австрией.

— На днях уезжаю совсем отсюда, милейшая моя Наталья Федоровна, и приехал проститься с вами, — говорил маркиз, целуя руки у дам.

— Ваш преемник приехал, маркиз? — спросила Матрена Ивановна.

— Его я ожидаю каждую минуту, но если он и не приедет сегодня или завтра, — во всяком случае я должен уехать: мое положение здесь становится настолько оскорбительным для достоинства моего государства, что даже выносить его я не считаю себя вправе. Да притом же мне необходимо быть в Берлине, куда я назначен послом.

— С вашим отъездом, маркиз, — взволнованно заговорила Наталья Федоровна, — наш интимный Кружок совсем исчезнет.

— Но поверьте, милая Наталья Федоровна, он никогда не исчезнет из моего сердца. Позвольте мне поблагодарить вас за постоянное радушие и доброту, которыми я пользовался в вашем доме, а вместе с тем и просить, что если когда-нибудь судьба позволит вам видеть бывшую правительницу, то передайте ей мои личные глубокие, искренние симпатии.

— Может быть, вы с ней сами когда-нибудь увидите? Может быть, вы потом воротитесь к нам? — с живостью спросила Наталья Федоровна дипломата.

Дипломат сомнительно покачал головою и тихо прибавил:

— Конечно, для России, как я заметил, невероятных вещей не существует... Но во всяком случае, если возможно, передайте дорогой принцессе, что я всегда лично останусь ее самым преданнейшим слугою, и если представится случай быть ей полезным, то я не упущу этого случая. Строгие меры против Брауншвейгской фамилии предпринимаются здесь отчасти по внушениям берлинского двора. Я был бы очень счастлив, если бы мне удалось расположить берлинский кабинет к более теплomu отношению к несчастной принцессе и тем сколько-нибудь облегчить ее тяжелое положение, — говорил с несвойственным увлечением всегда сдержанный дипломат.

— Видели вы, маркиз, Анну Гавриловну? — спросила Матрена Ивановна, желая переменить разговор.

— Сейчас от Бестужевых. Михайла Петровича не видел — о чем я, конечно, не жалею, но с милой Анной Гавриловной простился. Бедная, тоскует о своем брате, спрашивала меня, нет ли какой-нибудь оказии для передачи весточки бедному Михайле Гавриловичу, но, к сожалению, как я слышал случайно, в нынешнем году сменяется караульный офицер только в Соликамске, — проговорил маркиз, значительно взглянув на Наталью Федоровну.

— Не знаете, кто из офицеров едет? — с оживившимся личиком спросила Наталья Федоровна.

— Право, положительно не знаю, а слышал, как будто какой-то Бергер.

Матрена Ивановна пожала плечами, как она всегда делала, когда бывала чем недовольна, и сердито нюхнула более значительную щепотку табаку.

Маркиз, поговорив еще несколько минут, уехал.

— Скажи, пожалуйста, — с раздражением начала говорить Матрена Ивановна по отъезде гостя, — неужели ты заведешь какие-нибудь сношения с Левенвольдом?

— Да, мама, я попрошу этого офицера передать от меня Рейнгольду...

— Да знаешь ли ты, глупая, что ты этим сгубишь себя и всю твою семью? Знаешь ли ты, что от ссыльных отрекаются его самые близкие: отец, мать, братья?

— Пусть отрекаются отец и мать, а я не отрекусь! — с твердостью закончила Наталья Федоровна.

Через несколько минут в будуар позван был Иван Степанович, и Наталья Федоровна дала ему поручение отыскать некоего офицера Бергера и познакомиться с ним для передачи поручения к Рейнгольду Левенвольду.

Словно черная кошка перебежала дорогу любимому лейб-медику государыни, графу Арману Лестоку, словно чьи-то твердые руки невидимо держат его, незаметно вяжут, чей-то любопытный взгляд забирается к нему в голову и вытаскивает оттуда на свет Божий самые сокровенные мысли, которые он доверял только или преданным друзьям, на скромность которых он мог положиться, или таинственным шифрованными депешам, недоступным для непосвященного.

Инстинктивно он начинает чувствовать под собою не прежнюю твердую почву, а топкую трясику, понемногу, тихо, почти незаметно забирающую его в себя. Граф, Арман начинает соображать, обсуждать, чего прежде с ним не случалось, но как ни думал он, а положительного ответа не находил. Государыня порою по-прежнему, к нему ласкова, но только порою... впрочем, непостоянство и непоследовательность императрицы могли зависеть от различных психических сторон ее внутреннего мира; порою же в отношении к нему государыни стали проглядывать сдержанность и холодность, в словах ее иногда проскальзывали его слова, сказанные верным людям или в шифрованных депешах, но которые государыня никаким образом не могла знать. Случайность, объяснял он и успокаивался, но ненадолго. Как человек наблюдательный и сметливый, несмотря на французскую болтливость и легкость, он чувствовал по некоторым признакам работу врага, но никак не мог уловить основы и нитей этой работы. Почти бессознательно мысль его останавливалась на вице-канцлере, стремления которого как будто стали все резче и резче расходиться с его взглядами, но никаких доказательств, даже никаких указаний не виделось в осторожных действиях Алексея Петровича, и он ограничивался только дискредитированием неприятного человека в глазах государыни или, вернее, в глазах женщины. Едкими остротами и насмешками осыпал он в разговорах с государынею Алексея Петровича, до крайности комично выставлялась наружность

вице-канцлера; государыня, казалось, от души смеялась, но как будто в самом ее смехе, знакомом ему до тонкости, стали проглядывать новые нотки, как будто в самой Елизавете Петровне совершалось раздвоение государыни от женщины, и раздвоение это совершалось без участия его, доверенного лейб-медика.

Поневоле пришлось графу Арману раздумывать о том, как бы упрочить под собой базис, сделать себя для государыни необходимым, стать единственной ее опорой, спасителем и охранителем.

Граф знал, что искусное пользование ролью спасителя давало полнейшую возможность поработить себе человека твердого, а не только слабую женщину, овладеть чувствами, умом, желаниями и самоопределением воли.

Относительно же средств достижения, то легкость этих средств испытал уже граф, выпустив в свет историю мнимого заговора Турчанинова; остается только повторить, с приличными, разумеется, видоизменениями. И тем более это казалось возможным и легким, что бывшее правительство, этот постоянный кошмар, все еще оставалось близко, обладало еще возможностью если не явных, то тайных сношений с людьми, ему преданными, а что были такие преданные люди — это лично лейб-медику очень хорошо было известно.

Остановившись на этой мысли, граф Лесток занялся сочинением различных деталей.

Первыми вопросами представились: где искать заговорщиков и кого выбрать главным сотрудником? Для заговорщиков контингент был всегда готов — контингент придворных служителей, лакеев и камер-лакеев, которые, как знал Лесток-, действительно любили добрую, нетребовательную Анну Леопольдовну; что же касается до сотрудничества, то виднее, способнее и достойнее адъютанта Грюнштейна отыскать было трудно.

Грюнштейн, сын саксонского крещеного еврея, в юношеских годах переехал в Россию искать счастья, то есть наживы.

Счастье улыбнулось восемнадцатилетнему авантюристу, судьба стала наделять успехами каждое его сначала мелочное,

а потом и более крупное промышленное предприятие. Но чем более наполнялись его карманы, чем солиднее становились гешефты, тем ненасытнее становилась алчность, тем шире росла его предприимчивость. Заручившись солидным капиталом, он уже не довольствовался скромными местными доходами, а задумал дело капитальное, широкое. Собрав все свои наличные деньги, он отправился с ними на восток, в Персию, где и занялся своеобразной промышленностью.

Через десять лет, уже сделавшись крупным капиталистом, Грюнштейн отправился обратно в Россию наслаждаться плодами своих трудов, но на этот раз счастье, до сих пор улыбавшееся, вдруг ему изменило. На дороге из Астрахани, в степях, на него напали двое астраханских купцов, знавших об его больших деньгах и драгоценных товарах, ограбили, отняли все до последней копейки и оставили, как голодного волка, рыскать по степи одиноким. Беда этим не кончилась: шайка бродячих татар нашла его в степи и захватила с собой. И пришлось авантюристу, бывшему богачу, познакомиться с урочной подневольной работой и получать чувствительные телесные поощрения. Наконец после немалых тяжелых испытаний ему удалось бежать и благополучно достигнуть до Москвы. Отсюда он, поосмотревшись и отдохнув, начал судебное преследование ограбивших его астраханских купцов, но силы его оказались слишком ничтожными перед Фемидой того времени; несмотря на все хлопоты обедневшего Грюнштейна, богатые купцы оставались совершенно неповинными. Наконец под гнетом тяжелой нужды он принужден был поступить рядовым в Преображенский полк. Вслед за переворотом 25 ноября Грюнштейн, кроме назначения адъютантом — что вполне соответствовало его еврейской ловкости и изобретательности, — кроме богатой денежной награды, получил вотчину почти с тысячью душами крестьян. Дела Грюнштейна поднялись, а вместе поднялся и его пронырливый дух с еврейской заносчивостью, где она могла проявиться безнаказанно, с невыносимой надменностью к низшим и рабской угодливостью к высшим. Товарищи лейб-камpanцы его не любили, но на это он не обращал никакого

внимания, только отмечая в памяти тех, которые не оказывали ему должного почтения.

Грюнштейн представлял собою резкий тип того вида авантюристов, которые нахлынули к нам в начале XVIII века, обогащались, благодаря русской простоте, и нахально глумились над ней.

К этому-то Грюнштейну, к его находчивости, и обратился в наступившие трудные минуты граф Арман.

— Верно, ты знаешь образ мыслей всех придворных служителей? — спросил он явившегося по его приказанию Грюнштейна.

— А как же мне не знать, ваше сиятельство, когда я читаю в душах их как у себя на ладони? — отвечал, несколько не стесняясь лганьем, еврей-адъютант.

— Я так и думал. Не замечал ли ты чего-нибудь сомнительного или подозрительного в их поведении? По моему мнению, они все преданы этой принцессе Анне Леопольдовне, которая их набаловала по своей глупости.

— Совершенно преданы, ваше сиятельство, до конца ногтей преданы, — вторил Грюнштейн, все еще не догадываясь, чего желает могущественный граф, но, во всяком случае, смело поддерживая его мнение.

— Что именно ты знаешь? Что слышал? Какие у них разговоры? — продолжал спрашивать граф.

Как ни был находчив Грюнштейн, но вопрос поставил его в тупик; вдруг он никак не мог придумать подходящей истории, а поэтому и нашел более удобным уклониться от ответа, подставив вместо себя жену.

— Я так занят службой, милостивый граф, что не имею свободного времени долго разговаривать с ними, но вот жена моя знает лучше, и если вы позволите, то она вам лично передаст.

— Хорошо, пришлите ее ко мне, а мне теперь только скажите: нет ли, как я подозреваю, недовольных в самых приближенных охранителях императрицы, в ее лейб-кампанцах?

Грюнштейн задумался было перед той ответственностью, какую может понести от своих товарищей, если откроется его

донос, но тотчас же и ободрился тем, что, во-первых, никто об этом не может узнать, а во-вторых, тем, что в этом обстоятельстве представился лучший способ избавиться от вредных для себя лиц. И вот по его рассказам оказалось, что весьма многие лейб-кампанцы недовольны, ропщут на настоящее положение и что-то замышляют.

Граф Арман от удовольствия прищелкнул пальцами.

— О подробностях мы еще переговорим с тобой, почтеннейший, а теперь пришли ко мне свою жену, которая, верно, слышала разговоры лейб-кампанцев.

Через час приехала в дом Лестока, находившийся недалеко от Пяти Углов, где ныне пролегает Лештуков переулок, названный так, вероятно, в честь лейб-медика, сама супруга Грюнштейн; женщина средних лет, еще недурная собою, совершенно еврейского типа. Где и когда женился на ней предприимчивый авантюрист — никто не знал. Одни говорили, что будто она из богатого еврейского дома, бежала тихонько от родителей, которые поэтому лишили ее не только родительского благословения, навеки нерушимого, но и всякой материальной помощи; другие, напротив, рассказывали, что она сначала ходила по рукам знатных особ, а потом по милости их щедрот завела на свой счет игорный дом с отдельным секретным помещением, в котором и познакомился с нею Грюнштейн. Как бы то ни было, но почтенная дама бойкостью, развязностью и сообразительностью даже превосходила своего мужа. Она все видела, все знала, имела обширные знакомства и умела извлекать из этих знакомств всевозможную пользу.

С двух слов супруга Грюнштейн догадалась, чего желал граф, и вполне вошла во все его виды.

По ее рассказам, принявшим уже характер чистого доноса, все прежние придворные лакеи и камер-лакеи вздыхали о бывшей правительнице, милостивой государыне Анне Леопольдовне, и не прочь были содействовать к ее возвращению.

— Бездельники! Негодяи! — горячился с удовлетворительной естественностью граф. — От таких мерзавцев всего можно ожидать...

— Точно так, ваше сиятельство, это-то именно я и слышала в их разговорах промеж себя.

Затем из дальнейших переговоров обнаружилось, что некоторые из лейб-кампанцев, человек четырнадцать, высказывали крайнее неудовольствие на правительство, чернили всех знатных персон, а в особенности камергера Александра Ивановича Шувалова, лейб-медика Лестока и обер-шталмейстера Куракина, не ценивших будто бы их важных заслуг государству, и даже осмеливались осуждать безобразное поведение при дворе.

— Да это заговор, и заговор опасный! — решил не без удовольствия граф Арман.

— Заговор, ваше сиятельство, и каждый-то день они сочиняют этот заговор, наша милость.

Таким образом составилась донос о важном государственном заговоре, угрожавшем жизни государыни и некоторых первых сановников.

Чтобы придать этому заговору еще большее значение, а вместе с тем и из опасения обнаружения истины, граф Арман облек все дело таинственностью, рассказав о злых умыслах только государыне, Шувалову и Куракину, а прочим объяснив произведенные аресты лейб-кампанцев и придворных служителей незначительными будто бы проступками, ссорами, драками и неприличными выражениями. Наконец, чтоб лучше скрыть свое собственное участие, мнимых заговорщиков граф рассадил не по крепостным казематам, где они могли кому-нибудь да высказаться, а по подвалам Зимнего дворца, где они лишены были и света, и всякого сообщества.

Известно, что самым действительным средством для быстрого распространения какого-нибудь сведения служит сообщение этого сведения двум или трем, а иногда даже и одному специалисту в этом роде под видом тайны по секрету и с просьбою не говорить никому.

Переданный на ухо секрет с поразительной быстротой пробегает тоже от уха к уху с многоразличными вариантами, прибавлениями, дополнениями, разъяснениями, и разрастается этот секрет, как снежный ком, до чудовищных размеров, до тех

размеров, что, дойдя до первого автора, принимается им как нечто новое, ему совсем неизвестное.

Все придворные чины, не говоря уже о дамах, под страхом сделаться жертвою какой-то поголовной резни, проводили во дворце все ночи, прислушиваясь к каждому стуку.

Бедный животолюбивый князь Александр Борисович Куракин не только перестал совсем ночевать дома, а даже старался переменять каждый день место своего ночлега у светских приятелей. Какой был прекрасный случай выказать свое остроумие, с такой ядовитостью громившее несколько лет назад Артемия Петровича Волынского и других политических соперников, и этот случай пропал даром — остроумие Александра Борисовича оледенело. Во дворце у всех входов, во всех комнатах стояли часовые, которые получали прибавку к жалованию за ночные караулы каждый по десяти рублей за каждый день.

Императрица не менее других разделяла этот страх и, может быть, даже более.

Граф Арман знал впечатлительную природу Елизаветы Петровны, изучил ее и сумел обставить заговор самыми страшными картинами.

Не надеясь ни на кого, подозревая изменниками всех придворных служителей, государыня, естественно, подчинилась единственно бодрому человеку, графу Арманду, которому, казалось, опасность придавала еще более энергии и самоуверенности.

— Мой добрый Лесток, — говорила Елизавета Петровна своей неизменной Мавре Егоровне, — как он хлопочет! Вот истинный друг, на которого могу положиться!

И Мавра Егоровна, получив должную инструкцию от своего мужа Петра Ивановича, а может быть, и по незнанию, не опровергала государыню.

Елизавета Петровна все ночи до полного рассвета проводила в обществе придворных и засыпала уже днем, когда пробудившаяся городская жизнь не допускала возможности тайных ночных предприятий. И нередко, среди одушевленных разговоров, которые из всех сил старались поддерживать

окружающие, она вдруг умолкала, остановив неподвижный взгляд в пустом пространстве на невидимом для других предмете.

В таком постоянном нервном состоянии императрице было не до докладов.

Министры являлись и, безуспешно прождав долгие часы, уходили недопущенными, опять с теми же проектами.

А жизнь государства, как и жизнь каждого человека, шла все вперед, не останавливаясь, не откладывая вопросов до другого дня; накапливались беспорядки, возникали смуты, общественный пульс колыхался неправильными ударами.

Следствие над преступными злодеями поручено было, конечно, единственному человеку способному, не потерявшему головы, — Арману Лестоку, в помощь к которому назначили Александра Ивановича Шувалова, как начальника тайной канцелярии.

Лесток искусно повел дело, искусно до того, что никто из близких людей к государыне не подозревал его игры.

Небогатый умственными способностями и ослепленный страхом за императрицу, Александр Иванович менее всех мог обсудить хладнокровно истинное положение и более всех был склонен видеть и подозревать в каждой болтовне пьяного лакея или солдата серьезное покушение.

В подвалах Зимнего дома наскоро устроили пыточную, в которой несчастных поднимали на дыбу, секли кнутом, рвали в локутья тело и опаляли его огнем.

Несчастные под ударами винулись в бывалых и небывалых винах, в оскорбительных словах о государыне, в безумных остротах насчет ее поведения и привычек, но никакие удары не могли выбить из них сознания в умысле на жизнь государыни, на низвержение ее правительства и возведения на его место Брауншвейгской фамилии. Все они каялись в симпатии к принцессе, в жалости к ней, даже в желании ее возвращения, но никакого проблеска мысли о возможности насильственного переворота.

Следствие протянулось на несколько месяцев — да и к чему было торопиться? Не скорое окончание, а бесконечное

продолжение более было в интересах графа Армана.

Мало-помалу все стало приходить в прежний порядок; умы, освободившись от панического страха, стали успокаиваться и понемногу относиться к делу скептически; при разговорах о заговоре стали пробегать улыбки по оживленным лицам.

Обер-шталмейстер Александр Борисович опять стал ночевать дома, утопая в пуховой перине собственной постели, придворные собрания на всю ночь прекратились и начались обыкновенные занятия государыни с господами министрами.

С водворением спокойствия стала изменяться и роль графа Армана, что он и сам вскоре почувствовал. Правда, государыня обращалась с ним ласково, по временами, после доклада министров и в особенности после доклада Алексея Петровича Бестужева, в обращении ее с ним появлялась сдержанность и даже неудовольствие.

Граф Лесток начавшуюся перемену приписывал влиянию вице-канцлера и решился так или иначе покончить с ним. Два медведя в одной берлоге не уживаются.

Последние лучи заката играют золотом на вершинах деревьев, но внизу, в чаще дикого сада, в самом конце, где разделяются владения Лопухиных и Лопухинских дощатым забором из барочного леса с едва заметной калиткой посередине, уже совсем темно; там глубокие сумерки. Темно до того, что едва можно различить черты человека, прохаживающегося по природной аллее или, вернее, по широкой тропинке, взад и вперед вдоль забора мимо калитки. Прохаживается молодой Лопухин Иван Степанович. Иногда он останавливается, прислушивается, затаив дыхание, к стороне соседнего сада, где порою слышится шорох, но, видно, этот шорох не желанный, — шорох от птицы, запоздавшей на ночлег и зашелестевшей в сучках, или от какого-нибудь зверька, пробежавшего по своей надобности, не тот шорох, которого Иван Степанович ожидает с живым нетерпением. Затихнет шелест — и Иван Степанович снова зашагает на посту неровной поступью, сорвет с досады сучок, дерзко хлестнувший его по уху, и отбросит его в сторону, потом присядет на деревянной скамейке, сколоченной между двумя выбежавшими из ряда березками, и снова начинает отмеривать шаги.

Послышался шорох более явственный, слышно, будто захрустели сухие сучья под чьей-то осторожной и легкой ногой, едва слышно скрипнула калитка, и в ней показалась фигура девушки, Стени Лопухинской.

Прошел с лишком год, но в этот год не произошло никаких изменений в отношениях молодых людей. По-прежнему они виделись зимою реже в палатах Лопухиных, а летом чуть не каждый день в саду на обыкновенном месте у калитки. Но сами они много изменились. Иван Степанович, совершенно свободный от занятий, делил свою жизнь между бильярдными домами и свиданиями со Стеней, которую он любил по-прежнему; он пополнил за это время, от ночных оргий его лицо стало одутловато, манеры грубее и решительнее, в ласках

более смелости, более требовательности, и если молодая девушка еще не погибла, то в этом она была обязана глубокой его любви, выросшей с детства, вместе с искренним к ней уважением. Стеня же, напротив, из здоровой полной девушки сделалась болезненной и хрупкой. Правда, в последнюю зиму она вынесла тяжкую болезнь — воспаление легких от серьезной простуды, но не болезнь источила ее организм, сделала его восприимчивее, испортила характер, сделала его раздражительным, навела яркий, ограниченный румянец на нежную, почти прозрачную кожу, не болезнь заставляла девушку то плакать по целым ночам, то испытывать жаркие волнения крови, не от болезни зажигались огоньком полупущенные глаза. Девушка, видимо, боролась.

При входе Стени Иван Степанович, сидевший в ту минуту на скамейке, не поднял головы и, перед тем волновавшийся в смертельном ожидании, теперь не обратил на нее никакого внимания под влиянием того чувства, которое заставляет выказывать холодность к тому, что, в сущности, страстно желалось.

— Ваня, ты ждал меня? — тихо и ласково спросила девушка, кладя свою руку на его руку и заглядывая ему в лицо.

— Конечно, ждал... да тебе до этого мало нужды! — капризничал Иван Степанович, отворачивая лицо от глаз девушки.

— Не сердись же, милый мой, право, не виновата. С мамой работала, и времени выбрать было нельзя, — оправдывалась она, садясь около Ивана Степановича и наклонив головку к его плечу.

Глаза их встретились — и в долгом поцелуе забыты все неудовольствия, забыто все, забыт весь мир... Не замечали они, как все гуще и гуще спускались тени, глуше отзывалась хлопотливая жизнь, а на небе замерцали звезды, сначала одна, потом другая, третья и, наконец, миллиарды искр засверкали из таинственной вышины; не почувствовали они, как после душного вечера их стала окутывать прохладная влажность северных приморских ночей. Жизнь заговорила в них тем языком, который понятен только молодости, в котором бьется струя живой силы,

языком не в словах, а в огненных переливах крови, в страстном замирании.

— Стеня! Стеня! Где ты? — раздался голос Ариши по ту сторону калитки.

Очнулась Стеня, но не прежняя Стеня...

Она встала, оправилась, обвила снова и еще крепче шею Вани, ставшего ей еще дороже, прижалась к нему и тихо заплакала. Иван Степанович стыдливо опустил голову.

— Стеня! Стеня! — ближе и ближе раздавался голос матери.

Слышно было по хрустению сухого валежника, как Ариша пробиралась сквозь переплетенный кустарник; вот голос ее поравнялся с калиткой, замолк на минуту и потом стал удаляться по направлению к дому.

— Милый мой, ты не бросишь меня теперь... — прошептала Стеня и, горячо поцеловав Ивана Степановича, неслышно проскользнула в калитку.

По уходе Стени Иван Степанович пошел из сада к себе домой в самом приятном расположении духа. Его стыдливо опущенные глаза, перед тем избегавшие взгляда Стени, теперь засияли довольством удовлетворенного самолюбия, походка сделалась тверже, голова поднялась выше; видно было, что победа над Стеней, гордой Стеней, повысила его в собственных глазах. Но к чести Ивана Степановича, в душе своей он этой победе не давал значения только чувственного удовлетворения; напротив, он искренно любил девушку, высоко ценил ее, без зависти признавал ее ум, охотно подчинялся ее влиянию и теперь, точно так же, как и прежде, твердо держался решения со временем поставить ее рядом с собой перед Богом и людьми. Его доброе, еще не развращенное сердце понимало великость жертвы любящей девушки и не позорило ее приуравнением к продающим свое тело, как это делается молодежью, погрязшею в разврате.

Думалось ему идти сейчас же к отцу, рассказать ему все, вымолить согласие, но отец стоял всегда от него далеко, не приучил делиться с ним радостью и горем и как-то невольно заставлял бояться себя. Да и поймут ли отец и мать, не

посмотрят ли на настоящий случай как на самый обыкновенный у богатого, знатного птенца и ни к чему не обязывающий? Откажутся ли они от своих убеждений, от своей плоти и крови?

«Нет, лучше приищу какого-нибудь попа и тихонько повенчаюсь», — решил он, выходя на широкий двор, обнесенный надворными службами.

Ивану Степановичу спать не хотелось; не имея занятий, он вообще не привык к определенным размерам дня, а теперь до сна ли, когда на душе так много, такая потребность видеться с кем-нибудь, поговорить! Он вспомнил о поручении матери и решил отправиться в бильярдный дом, где надеялся встретить Бергера.

В бильярдном доме, или трактире, на этот раз посетителей было немного: два-три офицера да два каких-то немца, оканчивавшие партию на бильярде.

В одном из офицеров Иван Степанович узнал поручика Кирасирского полка Бергера, заурядного посетителя трактира, с которым он нередко встречался и прежде, но не был знаком. Бергер не пользовался симпатией; как товарищи, так и вообще молодые люди, видимо, уклонялись от сближений с ним.

Выждав окончание партии, Иван Степанович предложил Бергеру сразиться на бильярде.

— С удовольствием-с, почем идет? — спросил тот.

— Бутылка пива — не больше, — скромно ограничился молодой Лопухин.

Бергер проиграл, спросил бутылку пива, и молодые люди расположились в углу бильярдной распить и побеседовать на свободе.

— Вы, как я слышал, уезжаете отсюда в Соликамск? — спросил Иван Степанович, не забывая поручения матери.

— Да, черт побери всех этих ссыльных! Из-за них вот изволь отправляться в ссылку! — ругнулся поручик.

— Кажется, смены бывают часто, и вам не придется там долго засиживаться? — продолжал Иван Степанович.

— Зиму придется в берлоге лежать, почтеннейший, вот что, да и то бы ничего... делишки мои здесь такие... никак нельзя ехать!

— Вы бы сменились с кем-нибудь!

— Пробовал, предлагал, упрашивал — никто не соглашается. Помилуйте, кому охота ехать в трущобу из столицы на зиму!

Мирно распивая пивцо, Иван Степанович передал Бергеру поручение Натальи Федоровны поклониться милому Рейнгольду, сказать, что прежние чувства друзей не изменились, утешить, уговорить не унывать, надеяться, что настанут и лучшие времена.

Молодые люди расстались, условившись на другой день свидеться тут же и снова сразиться.

Иван Степанович отправился домой в полнейшем душевном удовольствии. Ему казалось, что он стал другим человеком, что возвращается домой не пьяным, что нет даже и желания пить, что дома у него есть интерес, личный интерес, смысл жизни, к которому ему должно стремиться. Воображение вызвало в его памяти недавнее свидание с дорогой девушкой, ее страстные ласки, и он твердо решил не позорить гордую Стеню, не заплатить низостью за доверчивость старого друга; на душе у него стало легко, как у ребенка. Ум у него словно просветлел, оживился, тысяча планов роилась о будущем в самых широких, привлекательных формах. И так радостно, так хорошо показалось ему все окружающее — и эта тишь ночи, и это глубокое небо, и это благоухание воздуха! Затем мысли его обратились к самому себе — и как жалок он показался, как мелка, ничтожна и бесплодна была его жизнь, без труда, без смысла, без цели.

«Нет, нужно выйти из этого положения, надобно трудиться, работать, — но как и где? Об этом посоветуюсь завтра с Стеней», — заключил он.

Совершенно рассвело, когда Иван Степанович подошел к отцовскому дому.

Там все еще спало; залаяла было Жучка, услышав скрип отворившейся калитки, но, узнав молодого хозяина, подбежала к нему, махая лохматым хвостом и тыкая носом в барские ноги в полнейшем недоумении, отчего это барин не толкнул ее, как

обыкновенно, ногой, а, напротив, так ласково изволил нагнуться и погладить ее шершавые, испачканные уши.

Иван Степанович возвращался почти всегда по утрам, и потому приход его никого не встревожил.

С светлым настроением проснулся Иван Степанович и пошел к матери сказать об исполнении ее поручения.

— Отчего ты так весел сегодня? — спросила Наталья Федоровна, заметив какое-то торжественное выражение в лице сына.

— Так, матушка, у меня будет до тебя и до отца просьба, большая просьба...

Наталья Федоровна не любопытствовала узнать, какая просьба у сына. Вероятно, подумала она, опять просить денег.

Однако ж не о деньгах весь этот день раздумывал Иван Степанович; в голову к нему забралась новая гостья, еще никогда не бывавшая там, и не знал он, как управиться с ней. Назойливо спрашивала его эта гостья, к чему он способен и какая польза от него для других. Но как ни ломал весь день своей головы Иван Степанович с вопросом, как бы устроиться вместе со Стеней и зажить во славу Божию, как доброму человеку, — ответа не придумывалось.

Вечером Стеня не пришла на свидание, но Иван Степанович не тревожился; он видел ее мельком у окна, проходя мимо дома Лопухинских, и потому не беспокоился о ее здоровье. Прождав несколько часов, он вспомнил, что его ждет новый знакомый в трактире.

Между тем, распив бутылку пива с Иваном Степановичем, Бергер тоже вышел из трактира и пошел шататься по безлюдным улицам. Знакомых, с которыми бы можно было провести остаток ночи, никого не было, а возвращаться домой так рано он не привык.

Невесело было на душе его от предстоящей поездки в Соликамск. Уехать, расстаться с веселой жизнью, зарыться в глушь, в снега, хотя бы и на непродолжительное время, казалось ему невыносимым несчастьем, и он изобретал всевозможные средства как-нибудь отделаться от командировки. Долго, очень долго, до настоящей ночи, не отыскивалось

никакого основательного предлога, и вдруг теперь в голове его блеснула мысль, сначала смутно, а потом и в более определенной форме — нельзя ли воспользоваться поручением Лопухиной Натальи Федоровны?

Она советовала Левенвольду не унывать и надеяться на лучшие времена. Если ему донести об этом лейб-медику государыни, то не пожелает ли он узнать об этих временах, допросить Лопухину, а следовательно, и не оставит ли его здесь как свидетеля? И чем более Бергер развивал это предположение, тем оно более ему улыбалось.

Утром же Бергер явился к графу Лестоку, приехавшему на этот день в город из Петергофа, где проводила лето государыня, и потребовал немедленной аудиенции по весьма важному государственному делу.

— Что вам нужно? — спросил граф Бергера тоном, который говорил: да как вы смеете меня беспокоить! Знаете ли, кто я и кто вы?

— Единственно из преданности к ее величеству я осмелился утруждать персону вашего сиятельства настоящим моим рапортом. Вчера бывший камер-юнкер подполковник Лопухин, встретив меня, рачительно расспрашивал, кто именно и когда отправляется для смены караула в Соликамск. Возмев подозрение о таких странных расспросах и желая в том удостовериться, я сообщил ему, что сменным караульным офицером отправляют меня и что я совершенно готов быть полезным для передачи каких-либо поручений к ссыльному Левенвольду. Тогда господин подполковник доверил мне поручение своей матери Натальи Федоровны утешить Рейнгольда Левенвольда и сказать ему, чтоб он не унывал, а надеялся бы на лучшие времена. Более он мне, несмотря на все мои расспросы, ничего не открыл, видимо, об чем-то утаивая. Полагая, что лучшие времена для зловерного Левенвольда весьма могут быть прискорбны для интересов ее величества, я и счел своей обязанностью донести об этом вашему сиятельству.

Граф Арман вспомнил о близких отношениях Левенвольда с Лопухиной, о дружбе и даже каком-то родстве Натальи

Федоровны с Анной Гавриловной Бестужевой и тоже хороших отношениях обеих к бывшему австрийскому посланнику де Ботте. Не посылает ли ему сама судьба именно то, чего он так бесплодно искал? Во всяком случае, подобного благоприятного обстоятельства упускать нельзя, и в хитроумном мозгу графа лейб-медика моментально составилась грандиозный план.

— Выражаю вам, господин поручик, благодарность от имени ее величества за ваше усердие и поручаю вам разъяснить, какие могут питаться надежды на перемену положения Левенвольда. Пригласите Лопухина к себе или в какое-нибудь заведение и постарайтесь выведать от него более подробные сведения. Для содействия обратитесь к господину капитану конной гвардии Фалькенбергу, которому я лично прикажу об этом.

— Предвидя распоряжение вашего сиятельства, я уже назначил Лопухину свидание в одном трактире.

— И прекрасно. Уговоритесь с Фалькенбергом, как и о чем расспросить, а между тем надежные люди будут в соседней комнате. Теперь отправляйтесь условиться с капитаном и никому ни слова!

— Позвольте еще доложить вашему сиятельству, что срок отправления меня в Соликамск скоро приблизится, а может быть, мое присутствие здесь... будет необходимо, да и притом же собственные мои дела. Не будет ли приказания назначить вместо меня другого?

— Конечно, конечно... об этом будет сделано распоряжение сегодня же.

Бергер отправился разыскивать Фалькенберга, а граф лейб-медик тотчас же поехал к Александру Ивановичу Шувалову, возвратясь откуда сделал необходимые распоряжения и ускакал обратно в Петергоф, где неожиданное его возвращение подняло общую тревогу.

По приезде прямо в Петергофский дворец граф передал императрице донос Бергера, но с яркой окраской собственного изобретения. По его рассказам, в поручении Натальи Федоровны должно видеть ясные указания на существование заговора, в доказательство чего приводил известную всем связь

Лопухиных со старой русской партией, напомнил, что в Суздальской волости Степана Васильевича скрывались соучастники в деле царевича Алексея, что Лопухины отличались преданностью Брауншвейгской фамилии до такой степени, что Наталья Федоровна даже не хотела являться к двору, хотя и состояла статс-дамой, и что фамилии Лопухиных, Головкиных и Бестужевых находились постоянно в самых дружеских сношениях с австрийским послом де Боттой.

Указав на все эти выводы, лейб-медик напомнил государыне на личное участие Алексея Петровича в деле царевича Алексея и накинул подозрительную тень на постоянную защиту интересов бывшей правительницы вице-канцлером.

В конце доклада граф просил у государыни разрешения на заключение Лопухиных и графини Анны Бестужевой, на осмотр всех бумаг у обоих братьев Бестужевых, и, наконец, на их арест.

— С Лопухиными и а Анной Бестужевой делай как знаешь, осмотри бумаги гофмаршала, но запрещаю тебе всякое насилие относительно вице-канцлера! — решительно проговорила Елизавета Петровна, напуганная, но не забывшая, однако ж, личной вражды лейб-медика к Алексею Петровичу, его постоянных острот и насмешек, и, наконец, зная тайные побуждения графа из его собственных депеш.

Граф, удовлетворившись решением, не настаивал относительно Алексея Петровича, в полной, уверенности, что пыточное исследование в его руках доставит ему возможность накинуть петлю на шею врага.

Когда государыня с Лестоком вышла из кабинета, то все заметили в ней перемену.

Побледневшая, с испуганным взглядом, она приказала приготовить себе карету, в которой и уехала, не сказав окружающим — куда и зачем.

«Что такое случилось? — спрашивали встревоженные придворные друг друга, — о чем говорил лейб-медик и куда они оба уехали?».

Приехав в петербургский дворец, государыня снова очень долго наедине говорила с Лестоком, который с озабоченным и

тайнственным видом переговаривался потом то с Александром Ивановичем Шуваловым, то с князем Никитою Юрьевичем Трубецким.

Небольшая отдельная комната в трактире тускло освещается двумя сальными свечами на одном из столов, расставленных между окон. Желтоватое мерцающее пламя нагоревших свечей глотается темными, закопченными стенами, освещая ярко только небольшой круг около стола, за которым поместились два офицера и один статский. На противоположных сторонах комнаты две двери; из одной слышится стук бильярдных шаров, пьяный говор и громкие выкрики «Черт поberi...», «Вот так удар!...», «Пошел подлец, в угол», и тому подобные, а из другой доносится по временам шорох, какой-то шепот и сдержанный кашель.

За столом лейб-кирасирский поручик Бергер и капитан конной гвардии Фалькенберг угощают нового своего знакомого Ивана Степановича. По зардевшемуся лицу, воспаленным глазам и бессвязной речи Лопухина заметно, что распилась не одна бутылка, что на угощение не скупилась доблестные воины.

— Черт знает, что делается? — говорил хриплым голосом Фалькенберг. — Думали, будет лучше, а вышло хуже. Никакой атенции к нашему брату, жалованье скаредное, по службе только одни придирки.

— Какое житье наше! — вставил Бергер. — Начальству вот золото льется, а мы черствый хлеб жуем!

— Начальство... да какое начальство... разве это начальство!.. — говорил пьяным голосом Иван Степанович. — Да и какое начальство может быть у нас, разве то было прежде, хоть бы при Анне Ле... ле... польдовне. Министры были настоящие, умные головы — Остерман, Левольд, а нынче что... мразь, дрянь, нестоящие, только вот один продувной каналья Лесток и вертится... — И Иван Степанович пробовал было даже отплюнуться, но не мог.

— Правда, правда, полковник, — поддакивал Бергер, — прежде лучше было, Хоть бы воротился опять император Иван!

— А что, ты думаешь, не воротится? Я тебе говорю верно... воротится, — рассуждал Лопухин.

— Да кто ему поможет-то, разве ты, Иван Степанович? — подзадоривал Фалькенберг.

— Я? Не я один, много нас... Весь рижский гарнизон тянет за императора Ивана... Дойдет до дела, так много подымутся... А кто будет против-то? А? Скажи, кто будет против-то? Триста ледащих лейб-кампанщиков! Фу-ты, сила какая! И тогда-то, кабы не лежал Петр Семенович Салтыков, он ударил бы в барабаны... не бывать бы...

— Чаю, и теперь будет не без хлопот, — сомневался Бергер, — у государыни тоже есть люди.

— А кто люди-то? — раздражался Иван Степанович. — Где они? А если кто и есть, так все больше из простого народа, ведь сама больно просто живет... а из больших все ее не любят.

— А скоро это будет? — спросил Фалькенберг.

— Скоро... через несколько месяцев... Отец, как был в деревне в прошлом году, писал к матери, чтоб ко двору не ездила и я бы никакой милости у этой государыни не искал... Я вот потому и ко двору не хожу, как ни просили... — хвастался Иван Степанович, забыв, что после отставки из камер-юнкеров он не имел права бывать при дворе.

— Хорошо, кабы скоро, — пожелал и со своей стороны Фалькенберг.

— Я тебе говорю, скоро будет перемена, — подтверждал Лопухин.

— Как все благополучно кончится, вспомни тогда обо мне, Иван Степанович, — просил Фалькенберг.

— Что ты! Друга-то и забыть! — И Иван Степанович полез было целоваться с Фалькенбергом, но, приподнявшись на локтях, снова опустился на стул.

— Нет ли кого еще побольше, к кому бы пораньше забежать? — продолжал выпрашивать Фалькенберг.

Иван Степанович молчал.

— А мне все сдается, — заметил Бергер, — что без посторонней помощи обойтись нельзя.

— Будет и со стороны помощь... король прусский за императора Ивана... Ботта, верный слуга принцессы Брау... Брау... Лепольдовиы, хлопчет теперь за нее в Берлине. Выпьемте же, братцы, за здоровье царя Ивана?

Молодые люди чокнулись.

Было уже светло, когда они, распив последнюю бутылку, стали собираться по домам.

Посетители все разошлись; из бильярдной не слышалось говора и пьяных криков, из другой комнаты тоже не доходило никаких звуков; несколько уж раз и хозяин полуотворял двери, напоминая господам офицерам о расчете и выходе из трактира.

Молодые люди вышли вместе и отправились по одному пути до той улицы, где отделялась дорога к лопухинскому дому. Иван Степанович не сознавал, как он пришел домой, как его раздели, облили голову холодной водой и уложили в постель.

Проснулся Иван Степанович далеко за полдень, словно избитый, с сильной головной болью. Он чувствовал себя скверно: глаза смотрели сонно и бессмысленно, во рту пересохло и отдавало едким, неприятным вкусом, тошнота, во всем теле вялость.

Не было лучше у него и на душе: а давно ли беспутная жизнь казалась далеко, навсегда отбежавшей от него, новые планы считались твердыми и несокрушимыми, давно ли мечталось о полезной жизни... Куда же вдруг исчезли эти мечты и долго ли продолжалось твердое решение? Каких-нибудь несколько часов — до первой рюмки.

Нещадно упрекал себя сначала Иван Степанович, но скоро появилось и самооправдание. Как и все люди слабых, легко впечатлительных и легко податливых характеров, он без всякой ломки перешел к обвинению других. Если бы Стеня пришла вчера вечером, он не пошел бы в трактир, не провел бы безобразной ночи, а следовательно, виноватой становилась Стеня, а не он, наверное бы исполнивший свое слово.

Потягивался Иван Степанович в постели, выпрямляя онемелые члены и вспоминая, где он провел ночь, но в голове стояли одни смутные представления об офицерах, из которых Бергер еще как-то выделялся отчетливо, а от облика другого в

памяти вертелся только широкий, багровый, мясистый нос с синими мелкими жилками.

Иван Степанович ждал прихода своего камердинера Васьки, помогавшего ему обыкновенно вставать и совершать утренний туалет, но Василий не являлся; не было слышно, как молодой барин ни направлял ухо, знакомой тяжелой походки.

В доме из отдаленных комнат слышались чьи-то шаги, странные шаги, какие-то бесцеремонные, а не обиходные, осторожные, на цыпочках, с нажимом мякушек. Там, в комнатах матери и отца, что-то совершается не так, как делается каждодневно. Люди приходили и уходили, голоса хриплые и странные, не своих людей; порою долетали и знакомые голоса, но отрывистые и подавленные, долетели даже звуки не то просьб, но то рыданий; наконец, отчетливо отозвался стук отъезжавших карет. Иван Степанович начинал смутно тревожиться, спустил ноги с постели и накинул на себя шлафрок.

Скоро Ивану Степановичу пришлось узнать, что такое совершается в мирных Лопухинских палатах. Не успел он подойти к двери, как она широко распахнулась и перед его глазами явился гвардейский капитан Григорий Иванович Протасов, с которым Иван Степанович не был знаком, но которого встречал нередко у общих знакомых и при дворе. Григорий Иванович одет был в полной форме, а за ним в дверях торчали фигуры каких-то солдат.

— Одевайтесь-ка, Иван Степанович, позднеенько изволите вставать, — проговорил Григорий Иванович не то с насмешкой, не то с участием.

На Ивана Степановича точно столбняк нашел; как раскрыл он широко глаза, как открыл рот при виде капитана, так и оставался без движения посередине комнаты.

— Одевайтесь же скорее, батюшка, некогда мне с вами валандаться, — повторил Григорий Иванович и, знаком подозвав из соседней комнаты солдата, приказал ему помогать барину.

— Куда? Зачем? — спросил едва слышно Иван Степанович.

— Куда и зачем — об этом вы узнаете, когда приедете на место, а теперь не до разговоров, одевайтесь!

Иван Степанович больше не спрашивал; при помощи нового слуги он стал одеваться, а Григорий Иванович принялся за осмотр комнаты.

С немецкой аккуратностью совал он нос во все ящики, ящички, шкапы и комоды, собственноручно выбирал оттуда вещи и пересматривал. Более всего, кажется, обращала на себя внимание любознательного капитана корреспонденция Ивана Степановича. Но так как молодой хозяин к письменной части не был усерден, то и пищи капитану оказалось немного: несколько счетов из лавки, одно или два безграмотных письма, какая-то пригласительная записка, да в нижнем ящичке шкапа пожелтевшие от времени свертки из синеватой бумаги тетрадок из ученических еще работ чистописания, мирно лежавших там десятки лет.

Осмотр занял немного времени, и Григорию Ивановичу пришлось еще помогать окончанием туалета и снаряжением на новую квартиру.

— Могу я проститься с отцом и матушкой? — спросил Иван Степанович.

— Уехали. В одном месте будете, может, и свидитесь, — отвечал капитан Протасов, торопя сборами.

Проходя через приемные комнаты, Иван Степанович видел везде солдат, или в виде часовых, или за уборкой вещей для переезда арестованных.

В коридоре из приемной во внутренние покои Иван Степанович заметил всю домашнюю прислугу столпившуюся и растерянную. Впереди прислуги, ему показалось, будто стоит его Стеня, бледная, в ужасе, она как будто рванулась броситься к нему, но часовой около двери грубо схватил ее за руку. Что было дальше, молодому человеку осталось тайной, Григорий Иванович заторопил, поспешил вывести на крыльцо и усадить в карету.

Часа за два до этого ареста три кареты въезжали на широкий двор Лопухинских палат. В первой помещался генерал-аншеф Андрей Иванович Ушаков, во второй — князь Никита Юрьевич Трубецкой, а в третьей — Григорий Иванович Протасов: каждая карета с своим специальным назначением.

По входе в дом приезжие разделились по заранее определенному условию: князь Никита Юрьевич и Григорий Иванович пошли в отделение Степана Васильевича, Андрей Иванович отправился в апартаменты Натальи Федоровны, а к спальне Ивана Степановича приставили часовых со строгим наказом никого не впускать и не выпускать.

Многочисленная челядь при виде таких внушительных гостей и команды солдат оторопела, растерялась и не сделала никакого движения предупредить господ, только седоволосый камердинер старого барина, Терентий Карпович бросился было к барскому кабинету, но его схватили и, несмотря на старческое барахтанье, скрутили руки и завязали рот. Никита Юрьевич вошел в кабинет.

В молодости Степан Васильевич и Никита Юрьевич были хорошо знакомы, много услуг Лопухин оказал тогда Трубецкому.

Не мог князь забыть, как раз подгулявший красавец Иван Алексеевич Долгоруков в кругу товарищей кутил у него в собственном доме Трубецких и нежничал на глазах у мужа с красавицей-женой и как он, не вытерпев, вздумал защищать свои права. Тогда красавец-любовник нанес ему оскорбительный удар и приказал прислуге выбросить барина за окно; прислуга бросилась исполнять приказание, но Степан Васильевич, тогда еще молодой человек, камер-юнкер, схватив князя Долгорукова за руку, не допустил до повторения обиды, а прислугу выслал вон. Не забывал этого князь Никита Юрьевич, как не забывал и много других подобных сцен, но, странное дело, услуги Лопухина принимались им злобно и вместо благодарности только раздражали желчь. Потом, при Анне Иоанновне, они разошлись в разные стороны, Никита Юрьевич перешел в армию и делал поход, а Степан Васильевич совершал морские кампании.

Долго они не виделись, а когда встретились снова, то прежнее знакомство не возобновлялось. Степан Васильевич относился к князю совершенно равнодушно, по-видимому, то же было и со стороны Никиты Юрьевича, но в душе последнего не утолялась вражда к бывшему защитнику.

В сущности, участь обоих была одинакова. Степан Васильевич терпел ту же участь от жены, но сколько он вынес острых страданий — про то никто не знал, кроме его самого.

Степан Васильевич сидел за своим письменным столом, подперев Голову рукой, пальцы которой скрывались в густых космах полуседых волос. При входе Никиты Юрьевича он обернулся и быстро окинул всю фигуру входившего; едва заметная усмешка пробежала по его широким губам да передернулись густые высокие брови.

— По повелению ее величества, господин генерал-поручик, объявляю, что вы арестованы, — проговорил князь голосом, которому он из всех сил пытался придать важность и торжество, но ни то ни другое не удалось.

Желтые глаза князя встретились раз с упорным взглядом Степана Васильевича и не поднимались больше.

— Пора... — только и отвечал старый барин, неторопливо снимая шлафрок и надевая камзол.

В это время князь и Григорий Иванович быстро осматривали комнату и читали бумаги. Переписка тоже оказалась немногосложною и вся почти относилась до домашних счетов хозяйственной экономии. Окончив обыск, и видимо недовольный, князь вышел из кабинета с Григорием Ивановичем и арестантом. Степан Васильевич шел спокойно, не высказывая и не выказывая своих дум, только когда он увидел своего верного слугу Терентия Карповича связанным и с завязанным ртом, взгляд осветился теплом и нервно дрогнули веки.

Григорий Иванович, оставшийся оканчивать дело арестов, отправился в спальню Ивана Степановича, а князь Никита Юрьевич с арестантом к карете. Думал ли Степан Васильевич, что он видит в последний раз свое гнездо, этого он никому не высказал, как никогда никому не высказывался.

Вслед за первой партией отправилась и другая, провожавшая арестантку Наталью Федоровну. На побледневшем лице арестованной можно было прочесть только оторопелость да застывший вопрос: что с ней делается и куда ее везут?

Наконец с отъездом Ивана Степановича Лопухинские палаты опустели — остались малолетние дети, воющая прислуга да караульные.

Арест Анны Гавриловны Бестужевой, обыск и опечатание бумаг мужа ее, обер-гофмаршала Михаила Петровича, как самое важное дело, взял на себя сам граф лейб-медик Арман Лесток. Никому другому он не поверил, да и не мог поверить исполнению такого щекотливого и многообещающего поручения, которое составляло всю сущность задуманного предприятия. И кто бы другой мог с большей проницательностью осветить все тайные помыслы врага, кто бы мог с большею изворотливостью придать обыкновенным вещам характер преступного заговора? Кроме того, ему так хотелось выказать открыто, у всех на глазах, свое торжество, уронить, затоптать в грязь, если не удалось самого вице-канцлера, то по крайней мере его родного брата, выставить в черном виде всю фамилию Бестужевых и совершенно дискредитировать ее в общественном мнении.

Анна Гавриловна с мужем на это лето занимала дачу в окрестностях Петергофа. Поэтому одновременно с распоряжением об арестовании Лопухиных сделано было распоряжение об отправлении солидной конной команды под начальством надежных гвардейских офицеров в Петергоф к даче Бестужевых. Офицерам приказано было до прибытия графа окружить дачу, поставить везде караулы, запретить выход всем жившим на даче, не спускать с них глаз и следить за каждым их движением. Для придания большей гласности отправление команды делалось далеко не секретно, и выбор офицеров пал на таких, от которых нельзя было ждать особенной деликатности.

Впрочем, команде, оцепившей кругом дачу и расставленной во всех комнатах, недолго пришлось ожидать главного начальника, с таким нетерпением искавшего случая нанести удар.

Едва успели занять часовые свои посты, как подкатила карета лейб-медика, и сам он в сопровождении адъютантов вошел в комнаты.

В первые минуты Анна Гавриловна испугалась, растерялась, но скоро успокоилась, вспомнив, что самый инквизиторский обыск не может открыть ничего подозрительного, что те два или три письма, которые она получила из Риги от Юлианы, тогда же были ею уничтожены, хотя и в этих письмах, кроме жалоб да пожеланий, не было ничего преступного.

Торжественно объявив повеление императрицы, граф приказал Анне Гавриловне собираться, а сам между тем приступил к осмотру бумаг.

С жадным вниманием он рассматривал каждый клочок, вчитывался в каждую строчку, но, несмотря на всю свою ловкость и изворотливость, не находил ни одного подозрительного пятнышка, из которого можно было бы разрисовать картину. Конечно, не все еще потеряно, разве нельзя заставить говорить прислугу?

Через несколько часов бесплодных поисков лейб-медик уехал с Анной Гавриловной, объявив обер-гофмаршалу, что он остается под караулом впредь до распоряжения императрицы.

Оставался еще один, последний арест — старшей дочери Натальи Федоровны, фрейлины государыни, красавицы Настеньки. С девочкой особенно церемониться не стоило бы, но дело в том, что объявленный наследник престола великий князь Петр Федорович, видимо, начинал интересоваться ею все больше и больше. С одной ею он любил говорить, не стесняясь и не краснея передавать свои неглубокие соображения и мечты о вахтпарадах и военных экзерцициях. Девочка слушала, уставив на него свои выразительные голубенькие глазки, ничего не понимала, но, конечно, заинтересовывалась вниманием великого князя.

В то время, как происходил арест ее отца, матери и брата, она, в сопровождении мадам Шмидт и великого князя, гуляла по островам, нисколько не подозревая, что делается с близкими.

По окончании прогулки, счастливые и спокойные, все гуляющие воротились к дворцу, но здесь, на подъезде Настеньку ожидало неприятное известие. Один из придворных, высадив из кареты великого князя и мадам Шмидт, доложил девочке, что

Наталья Федоровна внезапно занемогла и присылала за ней. Встревоженная дочь тотчас же поехала домой, но привезли ее не в свои палаты, а во дворец на Марсовом поле, куда были собраны все арестованные, размещенные по отдельным комнатам.

Снова в Петербурге тревога и говор, снова заколыхалось людское море, словно волнами перекачивается и журчит оно о новом заговоре, серьезном, опасном, не под стать нехитрым замыслам каких-нибудь лакеев, камер-лакеев и лейб-кампанцев, о заговоре, в котором замешаны старые родовитые фамилии, стоящие наверху, около самого трона. Все напуганы преувеличенными слухами, да и как было не пугаться мирным обывателям, когда точно туча обложила Петербург, когда в тяжелом воздухе слышится острый запах крови, когда будущее не обеспечено даже и на один час. По городу ходят усиленные патрули, зорко за всем наблюдавшие — значит, должна же быть причина немаловажная.

При дворе началась таинственная тишь, словно ожидание новой перемены; празднества, прекратились, придворные точно пришибленные, только один Алексей Григорьевич не трусит, лукаво усмехается не верится ему в злые умыслы Лопухиных и Бестужевых, но сметливый хохол до времени не выпускает своих мыслей, думает, будет время, пройдет горячка, не в пору слово только испортит, встревоженное страхом чувство не может холодно взвешивать и обсуждать.

Для исследования преступных замыслов образовалась особая комиссия из лип достойных и не способных отступить ни перед какими мерами. Комиссия состоит из сенатора, старого ветерана подобных дел, бывшего начальника тайной канцелярии, ревностно в продолжение тридцати лет, с легкой руки Петра Великого, охранявшего общественное спокойствие и благочиние, Андрея Ивановича Ушакова, генерал-прокурора князя Никиты Юрьевича Трубецкого и тайного советника графа Армана Лестока; делопроизводителем комиссии выбрали тоже лицо подходящее — кабинет-секретаря Демидова. В состав комиссии не вошел даже действительный начальник тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов — не понадеялись; недостаточно казался он окрепшим в кровавом застенке.

Следователи торопились.

Едва защелкнул замок за последней арестанткой Настенькой, помещенной в отдельной комнатке, выходящей окнами на двор, как Андрей Иванович с Никитой Юрьевичем и Лестоком приступили к Ивану Степановичу с допросом. Андрей Иванович находил, что допросы, взятые тотчас же непосредственно после ареста, когда человек еще в полном смущении, расстроен, бывают самыми успешными, а товарищи верили его многолетней опытности, его тонкому знанию человеческой природы, его умению, как гениального артиста, извлекать из человеческого организма, как из музыкального инструмента, какие угодно ноты.

Андрей Иванович к каждому своему пациенту относился с особым приемом — грозным, мягким, равнодушным, небрежным, даже шутливым.

Игривый прием он особенно любил и чаще употреблял. Нельзя было видеть без особенного душевного умиления, как он, повторяя историю кошки с мышью, так любовно шутил с человеком: ласкает его, ободряет, а потом вдруг неосторожно схватит, закапает кровь, ожжет болью, — но Андрей Иванович по-прежнему улыбается, гладит по ране, заживляет до нового неосторожного приступа. Играя таким образом, высасывая у человека всю его силу, всю его крепость нервов, он достигал полнейшего бессилия — такого состояния, когда человек бессознательно говорит то, что незаметно ему подсказывается.

Ободрился Иван Степанович при первом допросе Андрея Ивановича и, наверное, выболтал бы все, если б было что на душе. К несчастью, он не чувствовал себя виноватым, никаких злых умыслов не замышлял, а если болтал, так на то и язык дан, и нет оттого никому никакого вреда. На ласковые расспросы Андрея Ивановича с чистосердечным соболезнованием о несправедливости к молодому человеку нового правительства Иван Степанович без запинки сознался, что действительно он считал себя обиженным за удаление от камер-юнкерства, за понижение чином, что это неудовольствие разделяли все близкие, отец и мать, что он жалел о бывшем правительстве, что осуждал императрицу Елизавету Петровну, говорил, что она

ездит в Царское Село пить английское пиво, что она родилась за три года до брака и что вообще находил чуть не предосудительным бабье правление. О злых же умыслах на перемену правительства, о восстановлении Брауншвейгской фамилии и о всяких реальных поползновениях к тому совершенно умолчал и даже положительно отрицал всякую мысль о том. Андрей Иванович напомнил ему об участии Ботты, но Иван Степанович отозвался полным неведением.

Для улики явились Бергер и Фалькенберг.

Теперь Иван Степанович понял, откуда гроза, понял игру офицеров, зачем они так усердно и добродушно его угощали.

Вот тот широкий, багровый, с синими жилками нос, который ему все мерещился во сне и хозяина которого он никак не мог вспомнить, как ни усиливался. Теперь около носа явились и глаза, нахальные и зоркие, которые так нагло смотрят на него.

Бергер казался несколько смущенным и говорил с запинкой, но Фалькенберг бойко напоминал Ивану Степановичу, как тот пил за здоровье императора Ивана, как обещал скорую перемену и как говорил об участии Ботты.

Иван Степанович сознался на улики, но оговорился тем, что был тогда пьян, болтал бессознательно, не помнит всего разговора о Ботте, а вспоминает только, что, когда Фалькенберг спросил: «Должно быть, маркиз Ботта не хотел тратить денег, а то бы принцессу Анну и принца выручил?» — он на этот вопрос отвечал: «Может статья».

Более этого следователи ничего не могли добиться от Ивана Степановича.

Кроме Андрея Ивановича, допрашивал и граф Лесток, но граф особенно напирал на участие Ботты, которое, видимо, его интересовало. Вмешательство Ботты придавало некоторую устойчивость призрачному доносу о заговоре и давало возможность сместить заведывающего иностранной политикой Алексея Петровича Бестужева. Несмотря, однако, на все ухищрения лейб-медика, Иван Степанович отказывался от подробных показаний насчет Ботты и наконец решительно объявил, что по сильной головной боли он не в силах давать никаких ответов. От вчерашнего кутежа, волнений и

неожиданного ареста действительно силы его изнурились, и волею-неволею пришлось отложить допрос до следующего дня.

Рано утром снова явились к Ивану Степановичу следователи с теми же вопросами: Иван Степанович повторил прежние показания, дополнив их только одним, по видам графа Лестока, весьма веским известием.

— После прощального визита Ботты призывала меня мать к себе и рассказывала, будто маркиз говорил ей, что не успокоится до тех пор, пока не поможет принцессе Анне, и что будет стараться склонить на ее сторону и прусского короля. Это же самое мать рассказывала и графине Анне Гавриловне, когда та в это время приехала к ней со своей старшей дочерью графиней Ягужинскою.

Следователи перешли в комнату самой Лопухиной.

Наталью Федоровну они нашли в более спокойном состоянии, чем ожидали. Истомленное сердце ее после высылки ее Рейнгольда, заставившее отказаться от света, от всего, что прежде было ей так дорого, и замкнуться в себе, несмотря на светский, общительный характер, вероятно, очерствело до нечувствительности к внешним страданиям. Она казалась даже как будто спокойнее прежнего. Не мелькнула ли у нее мысль о ссылке в отдаленный край, где может свидеться с ним? Она даже не заметила грубого тона вопросов от тех лиц, которые так недавно казались такими осчастливленными, если она случайно дарила их какою-нибудь ничего не значащею любезностью.

Совершенно спокойно она созналась в оскорбительных выражениях о поведении императрицы, в желании возвращения бывшей правительницы, умолчав об участии Ботты, о котором сказала только, что посланник бывал у них в доме, но разговоров с ним не припомнит.

От Натальи Федоровны следователи перешли к Анне Гавриловне.

Тревожную ночь провела Анна Гавриловна на новоселье. Энергия, поддерживавшая ее во время обыска Лестока, упала; во все продолжение обыска она не представляла себе серьезного исхода, она объясняла его незначащею интригою

графа, тороваго на подобные вещи, обнадеживалась, что по неимению улики интрига падет сама собой с неприятными последствиями для автора; но когда поневоле должна была убедиться в серьезном значении — иначе граф не решился бы на арест ее, жены обер-гофмаршала и невестки вице-канцлера, — тогда бодрость заменилась отчаянием, унынием, упадком сил.

Все Головкины, не отличались твердостью. Отец ее, покойный канцлер граф Гаврила Иванович, при всем своем уме и развитии, известен был изрядною мнительностью и нерешительностью; брат ее, Михаил Гаврилович, наследовал такую же мнительность, доходившую даже до трусости.

Добр и благороден был Михаил Гаврилович, а между тем не он ли, честный, прямодушный человек, изменил низко и бесчестно доверию благородных юных семеновцев, задумавших защитить отца и мать императора Ивана от оскорбления Бирона и низложить наглого и бездарного фаворита? И мало того, что он изменил им, он сам предательски выдал их на пытку, на ссылку, на казнь. Долго мучило потом это предательство самого Михаила Гавриловича, и не эта ли чистая, неповинно пролитая кровь привела его по Божьему правосудию на искупление к собственной ссылке в самый отдаленный сибирской, никому не известный острожек Германса? Эта ссылка брата была для Анны Гавриловны глубоким, тяжелым несчастьем. Сестра горячо любила Михаила Гавриловича, более других своих братьев; вместе они росли; в нем она находила постоянную ласку, дружбу и утешение.

Во всю ночь Анна Гавриловна не смыкала век.

Перед ее глазами поочередно проходили печальные картины прошлого. Не ей ли, по-видимому, любимице счастья, красавице, богатой и знатной, надеяться было на радостную будущность, а судьба наперекор дала одно горе. Молодою, еще не успевшею насладиться жизнью, выдали ее замуж, по приказу того же царя Петра, любившего устраивать своих любимцев, за Павла Ивановича Ягужинского, даровитого, хитрого жида, ловкого на интриги, любезного в обществе, но грубого пьяницу, сварливого и жестокого деспота дома, в особенности к жене.

Умер Павел Иванович, когда Анна Гавриловна все еще цвела полной, роскошной красотой. Года четыре она провела — тоже нерадостное время для женщины, не изведавшей счастья, — а потом вышла снова замуж за обер-гофмаршала Михаила Петровича Бестужева, который, казалось, так горячо полюбил ее. Рассчитывала она если не на счастье, то по крайней мере на спокойствие, но и его Михаил Петрович не дал ей. Несмотря на немолодые годы, обер-гофмаршал любил перемену, любил ухаживать за молоденькими женщинами, пользовался продажными телами и вскоре после свадьбы стал совершенно чуждым для жены, да и к эгоистическому, холодному характеру Бестужевых никак не могла подладиться ее теплая, впечатлительная природа.

Одинаковая участь сблизила, вернее, сроднила двух женщин; обе они тосковали о погубленных новой императрицею и страстно желали возврата прошлого, возвращения дорогих лиц: Наталья Федоровна — своего Рейнгольда, а Анна Гавриловна — брата. Друг другу они поверяли горе, и горе делалось для них более терпимым.

На показания Анны Гавриловны лейб-медик Лесток особенно рассчитывал.

Не может же быть, думал он, чтоб слабая женщина не выболтала чего-нибудь заподозревающего участие Бестужевых, а в этом-то и была вся суть разыгрываемой трагикомедии.

Каково же было разочарование графа, когда обер-гофмаршальша невольной и бессознательно оправдывала и совершенно выгораживала мужа и его брата. Она чистосердечно рассказала о своих неприязненных отношениях с мужем и Алексею Петровичу, о том, что она не любила мужа, который платил ей тем же, не говорила ему ни о чем и не слышала от него ничего. О себе же она, как и Наталья Федоровна, высказалась откровенно: и свою неприязнь к императрице, и свою симпатию к Анне Леопольдовне; о маркизе де Ботта точно так же не сказала ничего нового.

Очередь дошла до Степана Васильевича, от которого следователи много не ожидали, и не ошиблись. Степан Васильевич отнесся к опале совершенно равнодушно, как будто

она касалась не его, а совершенно постороннего незнакомого человека, как будто давно он был готов к ней. Спокойно, холодно, с обычным пасмурным выражением, даже с оттенком пренебрежения встретил он следователей. Какими, вероятно, ничтожными и мелкими казались ему новые люди новой императрицы, ему, бывшему сотруднику гигантов, творцов великих дел! Замечательно, что в ответах своих он ни разу не обратился ни к лейб-медику, ни к князю Трубецкому, которых он как будто совершенно не замечал, даже в ответах на их вопросы он обращался к Андрею Ивановичу, хотя черному, мрачному, но все-таки птенцу орлиного гнезда.

Степан Васильевич показал:

— Государынею я недоволен за обиды, нанесенные мне, за отписку вотчины, за арест и за незаслуженную отставку; желал, да и теперь желаю, возвращения Брауншвейгской фамилии, хотя и при ней было не совсем хорошо: мало принцесса сама занималась и совсем вверилась немцам. Говорил и теперь говорю, что ныне сенаторов путных мало, а прочие все дураки, — Степан Васильевич не обратил внимания на неудовольствие следователей, из которых Лесток и Ушаков были сенаторами, а Трубецкой генерал-прокурором сената, — да и те дела не делают, а только приводят правление ее величества народу в озлобление. С маркизом Боттою о настоящем правительстве, как не скрывал и не скрываю своих слов ни перед кем, говорил и соглашался с ним, что государыня напрасно разослала прежних министров: будет потом жалеть — да поздно.

Более этих ответов следователи ничего не добились от главных заговорщиков, виновных в осуждении императрицы, в оскорблении ее величества в интимных беседах между собою, но не опасных для правительства и, главное, не сделавших никакого показания на вице-канцлера.

После первых допросов обвиняемых перевели из дворца на Марсовом поле в тюремные казематы, кроме Настеньки Лопухиной, отправленной домой под присмотр караула, а между тем Андрей Иванович, по старой многолетней и успешной практике, обратился к допросам прислуги.

Донесли следственной комиссии, что управляющий именными Бестужевых, пользующийся расположением и доверием обер-гофмаршала, незадолго перед тем являлся к вице-канцлеру. Управляющего вытребовали к допросу.

— По какому делу ты был в имении обер-гофмаршала и не передавал ли он тебе каких поручений к его брату? — спросил князь Никита Юрьевич, окидывая управляющего взглядом, пропитанным желчью.

— Никогда я не бывал в доме господина вице-канцлера, — отвечал управляющий, — но не понимаю, почему же мне не бывать у него?

Смелый ответ перед такими высокопоставленными персонами, какими считались следователи, привыкшие к раболепству, взбесил кипучего генерал-прокурора до самозабвения. Он бросился на управляющего, ударом сшиб его с ног, начал бить и топтать ногами, потом обеими руками вцепился ему в волосы и таскал до тех пор, пока сам не выбился из сил.

Но ни подобные увещания генерал-прокурора, ни ласковые речи Андрея Ивановича не могли ничего поделать с прислугой Бестужевых. Она упорно стояла на своем: ничего не замечала, ничего знать не знала, ведать не ведала. Какие хитроумные соображения ни подсказывались ей, она не понимала и отрецивалась от них. Правда, от прислуги узнавали, кто бывал в доме Лопухиных и Бестужевых, арестовывали тех знакомых, допрашивали, увеличивали число обвиняемых, но узнали то же самое, те же жалобы на правительство и те же сожаления о прошедшем.

Не на шутку сердился граф лейб-медик и недаром, разъезжая по коротко знакомым домам, жаловался и приговаривал:

— Нет, надобно быть строгим, иначе ничего, кроме пустых сплетен и вздорной болтовни, не добьешься от упрямых баб!

Под строгостью граф разумел кнутовой допрос, который и пустили в дело.

Привели в застенок Ивана Степановича и в виду страшных орудий пыток стали допытываться положительных сведений о

формальном заговоре и об участниках в нем. На впечатлительную природу молодого Лопухина страшно подействовал застенок: он упал на землю, становился перед следователями на колени.

— Подумайте, — умолял он их, — стал ли бы я скрывать посторонних, когда выдал отца и мать?

Но следователи не думали или не хотели думать; может быть, природа их требовала возбуждающих сцен, как пресыщенный желудок требует пряностей. Молодого человека раздели, связали руки и потащили на виску...

Одиннадцать раз кнут взвивался змеей над жертвой и опускался на спину, разрезывая полосой, довольно крови излилось из разрезов, но несчастный упорно молчал. Замолкли глухие стоны, вылетавшие при первых ударах, и искаженное лицо с широко раскрытыми, почти выходящими из орбит глазами, со стиснутыми челюстями казалось окаменелым... Истерзанного Ивана Степановича, опустив на пол, снова стали допрашивать — и снова бесполезно. Сам опытный Андрей Иванович ошибся: с Иваном Степановичем случилась та перемена, которая совершалась с древними христианами-мучениками. Доведенные до последней крайности мучения произвели реакцию, силу противодействия, доведенную тоже до крайности. Иван Степанович понимал, чего желают следователи, понимал их прозрачные намеки, узнал, что им нужна не правда, а лганье, какое угодно грубое лганье, лишь бы достигавшее цели, сознавал и то, что этим лганьем он не повредил бы никому, что и без него с намеченными жертвами сделают все что угодно, но именно потому, что понял он и замолчал упорно, не высказал ни слова.

За Иваном Степановичем следовала очередь по застеночной работе за Натальей Федоровной и потом за Анной Гавриловной.

— Хоть разорвите нас на части, а мы не будем лгать, не будем сознаваться в том, в чем не виноваты, чего не делали, чего не слышали, — говорили обе женщины, когда обнажили их нежное тело и связывали руки назад веревкой, посредством которой по блоку поднимали на дыбу. Хрустнули суставы

вывихнутых рук, раздирающий крик раздался по застенку, заплечный, мастер держал наготове кнут... но умудренный опытом Андрей Иванович не допустил до кнута розыска.

Женщин сняли с дыбы, вправили руки, и, когда острая боль несколько успокоилась, Андрей Иванович повел ласковые речи:

— Ее величество милостивейшая государыня желала бы вас помиловать. Она изволит полагать, что вы содеялись невольной жертвой хитрой политики австрийского посланника маркиза Ботты, и потому если вы откровенно расскажете об его злых умыслах, то этим оправдаете себя в глазах ее величества. Маркиз же Ботта за границей, подданный чужой державы, в России никогда не будет и никогда не может подвергнуться никакой ответственности, следовательно, всемилостивейшая государыня желает слышать об его умыслах не для наказания его, что не в ее воле, а единственно для оправдания вашего.

Андрей Иванович внушал и развивал мысль, что чем больше будут валить на отсутствующего и притом безопасного Ботту, тем большую заслужат милость, а может быть, и спасение. Женщины поняли это, обнадежились и на последующих допросах стали говорить другое.

Наталья Федоровна к прежним показаниям добавила, что в последний визит на прощание Ботта в ее доме высказал, что будет стараться всеми силами, не пожалеет никаких денег, о возвращении на престол принцессы Анны и всех теперь сосланных.

Это показание подтвердила и Анна Гавриловна. Более лгать они не могли: не было канвы и не было материалов.

Вздернули на дыбу Степана Васильевича и даже, по благосклонности к нему следователей, а в особенности благодарного князя Никиты Юрьевича, заставили висеть более десяти минут, но, как и ожидали сами инквизиторы, никаких добавлений не узнали.

Вся суть содержания заговора исчерпывалась; комиссия ясно сознавала это и только в виде последней очистки совести или в виде последнего возбудительного приема она подвергнула Ивана Степановича новому кнута розыску. Дня через два или три после первого розыска его снова привели в застенки,

снова подняли на дыбу, снова резали тело кнутом — дали девять ударов, — но тоже без всякого результата.

Допытанный розыск, кроме сплетен и бабьих бредней, как выражался и сам граф лейб-медик, указал на участие маркиза де Ботты. К этому указанию присоединилось еще более веское, хотя не более справедливое, обвинение. Французский посланник в Петербурге граф д'Альон передал в следственную комиссию письмо маркиза де Валори, французского посланника при берлинском дворе, где состоял и маркиз де Ботта австрийским послом. Маркиз де Валори сообщал, что де Ботта нередко высказывал неблагоприятные отзывы о настоящем русском правительстве и будто уверял в скором и неизбежном его падении; кроме того, де Валори извещал и о попытках де Ботты склонить прусского короля к помощи для восстановления Брауншвейгской фамилии.

Замешать в заговор де Ботту, выставить его деятельным агитатором Брауншвейгской фамилии, конечно, отчасти удовлетворяло видам графа Лестока, подкупленного французским и прусским кабинетами, желавшими отвлечь Россию от союза с Австрией, но главная цель все-таки ускользала из рук. Никакие пытки, никакие извороты не заставили обвиняемых указать на общность интересов вице-канцлера и де Ботта, — напротив даже, из этих показаний ясно выказывалось, что Бестужевы, в особенности вице-канцлер, в последнее время с де Боттой были далеко не в дружеских отношениях.

Главная цель не достиглась, но волей-неволей, а пришлось прекратить следствие и представить его на рассмотрение суда.

Для суждения о заговоре образовалось при сенате генеральное собрание, в состав которого пригласили некоторых архиереев, как представителей с духовной стороны.

Заседание великого собрания открылось присягою, отобранною от всех членов в том, что они обо всем происходящем будут содержать в великой тайне. Затем прочтена была коротенькая записка, с обстоятельным содержанием всего несложного следствия.

Начались прения, шумные, горячие, но не о том, виновны или нет обвиняемые — в этом никто не должен был и не смел сомневаться, — а в выборе наказания, в выборе смертной казни.

Один из сенаторов высказал:

— По моему мнению, достаточно подвергнуть виновных обыкновенной смертной казни, ибо они никакого насилия еще не учинили, притом же и русские законы не излагают точного положения относительно женщин в подобных случаях.

Это мнение вызвало шумное негодование, явившийся только на этот раз, ради преданности к правительству и дружбы к графу лейб-медику, генерал-фельдмаршал — известный в обществе под кличкой фельдмаршала комедиантов — и вместе с тем сенатор принц Гессен-Гомбургский от негодования такой потачке преступникам вскочил с места и закричал:

— Разве неимение письменного закона может облегчать наказание? По моему мнению, в настоящем случае кнут и колесование — чрезмерно легкие казни.

Самыми строгими судьями явились сами следователи, а за ними, конечно, все члены, да и кто бы решился навлечь на себя подозрение в потворстве таким ужасным преступникам и в недостатке преданности к правительству? Генеральный совет присудил: отца, мать, сына Лопухиных и Анну Бестужеву казнить смертью колесованием и с урезанием языков. Последнюю меру присоединили по настойчивому предложению графа Лестока.

— Не имеет ли кто-нибудь из господ членов подать особое мнение? — спросил граф Лесток, пытливая осматривая собрание, когда прочтен был составленный приговор.

Замечаний не сделано, а напротив, все присутствующие спешили подписаться, заявляя тем свою глубокую преданность правительству.

Заседание кончилось; все стали уходить.

— Отец святой, преосвященнейший Стефане, да что же это такое? — шептал на ухо троицкий архимандрит Кирилл выходявшему впереди псковскому архиерею Стефану, дергая

того за широкий рукав голубой атласной рясы и мигая золотушными веками.

Преосвященный Стефан обернулся с недовольным видом, неодобрительно мотнул назад головой на строптивного архимандрита и вполголоса пробасил:

— А то, отче, что предержавшим властям да повинуются.

Императрица смягчила приговор, заменив смертную казнь сечением кнутом.

Гвардейские команды обходят все улицы Петербурга с барабанным боем, останавливаясь на всех перекрестках и извещая жителям о назначенной через два дня утром первого сентября на Васильевском острове перед коллежскими апартаментами экзекуции над преступными заговорщиками. В то же время начались приготовления. На площади у канала началась постройка эшафота в виде возвышенного помоста с высоким барьером кругом, недалеко от столба с навесом, под которым висел сигнальный колокол. К площади примыкают галереи гостиного двора, дома и заборы, а возле эшафота одинокое дерево с раскидистыми ветвями.

Тихое и ясное утро первого сентября.

С безоблачного неба греющие, но не жгучие потоки света, воздух мягкий и ласкающий — словно какое-то ликование; ярко отражаются в листве переливы всевозможных цветов, весело блещут искрами невские струи. Река изборождена снующими яликами всех величин.

Народ толпами валит к коллегиальной площади и становится массой кругом эшафота; всем интересно полюбоваться на давно небывалое зрелище публичного сечения и урезывания языков у высоких персон, из которых одна — знаменитая красавица, другая — невестка самого вице-канцлера, тоже не последняя по красоте. Гул, говор в толпе, прибаутки и смех; каждый продирается вперед, каждому лестно взглянуть на даровое представление.

В переднем ряду у самого эшафота стоит Матвей Андреевич Лопухинский, а в стороне от него дочь Стеня. Не много времени прошло от последнего свидания в саду около калитки, а много изменилась девушка и за это время. Черные глаза кажутся еще больше и глубже на осунувшемся лице, прежнее энергическое их выражение перешло в суровое и строгое, в упорном и неподвижном взгляде сказывается озлобление и твердая решимость, впалые щеки горят ярким,

ограниченным румянцем, а сложившаяся вертикальная морщинка между бровей говорит о неустанной работе недуга и мысли. Стена держится прямо, недвижимо, оперев взгляд в эшафот, не поворачивая головы по тому направлению, куда установлено внимание толпы. Народ занимал всю площадь; вновь приходящие взбирались на заборы и крыши.

— Идут! Идут! — пронеслось в толпе.

Приближался кортеж, предшествуемый и замыкаемый отрядами гвардейцев.

Впереди осужденных шла Наталья Федоровна; простой и в беспорядке наряд несколько не умалял ее очаровательной красоты, стройности и грации; даже время оказывалось бессильным над ней, и сорок три года, прожитые ею, не отняли свежести и нежности у все еще молодого лица. Преступницы по видимому спокойны; их несколько тревожит эта необозримая масса голов с жадно устремленными на них взглядами, но это только неловкость, неудобство церемонии.

Наталья Федоровна и Анна Гавриловна убеждены в добром исходе, уверены в словах Андрея Ивановича, обнадеживавшего их оправданием в награду за показания против маркиза де Ботта.

Степан Васильевич идет твердо, подлаживаясь под свою обыкновенную походку, но это ему стоит немалых усилий; по опустившимся углам рта и судорожному их подергиванию видно, какие чувствительные следы оставило знакомство с заплечным мастером. Иван Степанович бледен, изможден, слабая природа надломилась в пытке под кнутом; в полуопущенных глазах нет выражения мысли, а какое-то блуждающее бессознание, видно, ему все равно, жить или умереть.

Осужденных взвели на эшафот, на котором расхаживали в ожидании работы заплечные мастера.

С высоты помоста Наталья Федоровна окинула все это безбрежное море голов, нечесаных, бородатых, в шапках, картузах и платках, с вытянутыми к ней шеями, словно ждущих от нее чего-то.

Ей стало больно; она надеялась увидеть лица родных, знакомых, которые ободрили бы ее, в сочувствии, в

одобряющем симпатичном взгляде которых она почерпнула бы силы, но никого... Да и кому было? Мать лежала в это время больная, сломленная несчастьем — не вынесла она горя дочери, как, бывало, выносила свое; братья были под арестом, да если б и могли, то не пришли бы из опасения скомпрометировать будущую карьеру незаконным участием к преступной сестре, а знакомые, те, которые с такой жадностью, бывало, ловили каждый ее взгляд, так красно уверяли в своей преданности, любви, уважении, такой тесной толпой ухаживали за ней, считали счастьем ее малейшее внимание к себе, эти знакомые не явились сюда — их место подле блестящей красавицы, придворной знатной персоны, а не у эшафота преступницы.

«За что ж отвернулись все? Что я сделала? — мелькнул вопрос в ее голове. — Разве то, что я любила?..»

И Иван Степанович, войдя на эшафот, тоже оглянул толпу; его взгляд словно притянулся упорным электрическим взглядом двух больших черных глаз, ни на мгновение не отрывавшихся от него. Он узнал эти глаза и прочел в них не упрек за погубленную жизнь, а любовь, всепрощающую, все жертвующую без колебания, без вопросов о будущем. И не отрывался Иван Степанович от этих глаз во все время, пока был на эшафоте, не видя и не слыша ничего, что делалось кругом. В каземате он забыл было о своей Стене — физические страдания заглушали любовь; но теперь, когда он чувствует, что его сломленный организм не выдержит больше и скоро все кончится; он снова прильнул к своему детскому Другу, который никогда от него не отойдет.

На эшафот вошел сенатский чиновник и высоким фальцетом начал читать манифест императрицы о винах и наказаниях преступников.

В манифесте после упоминания о злоумышленных преступлениях Остермана, Миниха, Головкина и обер-маршала Левенвольда, наказанных не смертной казнью, как бы следовало по государственным законам, а только ссылками, говорилось о неблагодарности их сродников и ближних, которые, забыв страх Божий, не боясь страшного суда, несмотря ни на

какие опасности, презирая милости, решились лишить государыню престола, дошедшего к ней по духовному завещанию матери, по законному наследству и Божьему усмотрению.

— «Лопухины же Степан, Наталья и Иван, — выкрикивал чиновник, — по доброжелательству к принцессе Анне и по дружбе с бывшим обер-маршалом Левенвольдом, составили против нас замысел; да с ними графиня Анна Бестужева, по доброхотству к принцам да по злобе за брата своего Михайлу Головкина, что он в ссылку сослан, забыв его злодейские дела и наши к ней многие не по достоинству милости».

«Так вот мы в чем виновны! Да когда ж это мы мыслили?»— спрашивала себя Наталья Федоровна, с удивлением выслушивая далее подробные исчисления преступлений каждого из них.

— «За все эти богопротивные против государства и нас вредительные, злоумышленные дела по генеральному суду духовных, всего министерства, наших придворных чинов, также лиц гражданских и военных приговорено всех злодеев предать смертной казни: Степана, Наталью, Ивана Лопухиных и Анну Бестужеву, вырезав языки, колесовать. Все они этим казням по правилам подлежат, но мы, по матернему милосердию, от смерти их освободили и, по единой императорской милости, повелели учинить им следующие наказания: Степана, Наталью, Ивана Лопухиных и Анну Бестужеву бить кнутом, вырезать языки, сослать в Сибирь, а все имущество конфисковать».

Далее следовали определения казней другим второстепенным преступникам.

— «О всем этом публикуется, — в заключение читал сенатский чиновник, — дабы наши верноподданные от таких прелестей лукавых остерегались, о общем покое и благополучии старались, и ежели кто впредь таковых злодеев усмотрит, те б доносили, однако ж, самую истину, как и ныне учинено, не затевая напрасно по злобе, ниже по другим каким страстям ни на кого, за что таковые будут щедро награждены».

Чиновник сошел с помоста, а один из палачей подошел к помертвевшей Наталье Федоровне.

Палач грубо сорвал с бедной женщины верхнее платье и разорвал рубашку...

Наталья Федоровна заплакала и всеми своими слабыми силами пыталась отбиваться, стараясь вырвать от палача платье, чтоб прикрыть им обнаженное тело, сверкнувшее молочной белизною при ярких солнечных лучах перед жадными взглядами толпы. Борьба продолжалась недолго; подошел другой палач, который, схватив своими мускулистыми руками ее нежные руки, круто повернулся и вскинул ее к себе на спину^[39].

Заплечный мастер, самодовольно в ожидании своей очереди игравший кнутовищем по барьеру, сделал шага два, махнул рукой, и змеей взвившаяся тонкая ременная полоса, описав в воздухе широкий круг, впилась в нежное тело, потом другой удар... третий...

С эшафота разнесся раздирающий крик. Толпа заколыхалась, глухой говор загудел в народе; кто-то из осужденных рванулся было вперед, но его удержали.

По окончании экзекуции палач сбросил с себя полумертвую Наталью Федоровну, то была еще только первая часть обещанного милосердия.

К Лопухиной подошел новый палач с каким-то инструментом в руках, не то ручными клещами, не то ножом.

Операция вырезывания языка не встретила от полумертвой женщины никакого сопротивления. Без особенного затруднения разжав челюсти, палач просунул в рот инструмент и сильным движением вырвал оттуда большую половину языка с струившеюся кровью.

— Кому надо язык? Купите, дешево отдам! — предлагал толпе палач, показывая окровавленный кусок.

Снова глухой говор пронесся по толпе, но было ли то неодобрение — разобрать невозможно, кое-где слышался пьяный смех.

Покончив с Натальей Федоровной, около которой занялись служивые с перевязками, заплечный мастер подошел к Анне Гавриловне. Бестужева, все время не сводившая глаз с экзекуции над другом, не потерялась, не упала в обморок, не стала отбиваться и напрасно раздражать людей, от которых в

настоящую минуту совершенно зависела, — в ней сказалась прирожденная головкинская находчивость. Анна Гавриловна сама разделась и, сняв с шеи золотой крестик, подарила его главному заплечному мастеру.

Анну Гавриловну точно так же взял на руки тот же дюжий парень, точно так же вскинул к себе на спину, как легкую ношу, но удары были не те же: крестик оказал свое действие.

Заплечный мастер по-видимому старался еще более прежнего; размашистее поднимались руки, шире описывался круг ременной полосой, но удары ложились на тело бережно, оставляя по себе только легкую красную линию, не врезываясь и не делая нестерпимой боли. Как истый фокусник, мастер умел отводить зрителям глаза.

Такую же услугу оказал мастер своей крестовой сестре и при операции урезывания языка. С точно такими же приемами, если не с большим насилием, он ввел между челюстей нож, но, вместо почти всего языка, отрезал только конец.

За Анной Гавриловной следовала очередь Степана Васильевича. Его раздели — сам он не мог двигать изломанными членами, — и прежний великан взвалил на себя грузное тело. Пестро было теперь это тело с синими опухлыми суставами и с синими рубцами на спине. При первых же ударах показалась кровь из раскрывшихся струпьев и явилась нестерпимая боль, но Степан Васильевич оставался верен себе и не издал звука; как не выказывал он никакой боли во всю свою жизнь при ежедневных оскорблениях самолюбия, гордости и любви, так и теперь вынес временные физические страдания — только сильнее хрустнули сжатые челюсти, да две слезинки показались из закрытых глаз.

Степану Васильевичу урезали половину языка.

На Иване Степановиче когти застенка оказались еще сильнее. Виска и кнутовой розыск в два приема искалечили хрупкое тело молодого человека, перенявшего от матери слабость организма и чуткость чувств. Вся спина его была покрыта вспухшими рубцами и струпиями, из которых местами даже до удара кнута пробивалась кровь. Как и мать, Ивана

Степановича полумертвого спустили на пол. Приловчившийся мастер и ему точно так же вырезал половину языка.

По окончании экзекуции всех преступников рассадили по телегам и повезли за город, в деревню, за десять верст, где ожидали их те, которые желали с ними проститься.

Народ расходился.

— Матвею Андреичу наше наипочитание-с! — приветствовал Лопухинского торговец из бакалейного ряда в синей поддевке и в плисовых шароварах, запущенных в сапоги, приподнимая с утонченной вежливостью немецкий картуз. В другое бы время Матвей Андреич с не меньшею бы деликатностью отплатил за приветствие собрата, но в настоящее время он удовольствовался одним приподнятием картуза.

— Преинтересное, я вам доложу-с, зрелище, — продолжал тот же торговец, направляясь по одному пути с Матвеем Андреичем — примерно сказать, точно-с, зловредительные хуления, без сомнения, навлекают достойные штрафования, но, с другой стороны, по умственному соображению и то-с: женщины, известно, слабый сосуд-с... словесами весьма преизобильный... за что же-с?

Матвей Андреич молчал; может быть, он и не слышал слов товарища.

— Как же таперича насчета дельца, Матвей Андреич? Приказный прочитал, что вотчины Степана Васильевича конфисковать, сиречь отобрать-с, откуда же провиант будет вам доставляться? — не отвязывался бакалейщик, надеясь ударить на больное место и тем обратить внимание Лопухинского.

— А тебе, Ферапонт Лексеич, какое дело? По чужим карманам нечего лазить! — оборвал Матвей Андреич и прибавил шагу, видимо отделяясь от разговора.

— Что-с? Осерчали! Значит, примерно сказать, уж очень огорчены-с? — И, отстав от Матвея Андреича, бакалейщик постоял минуту, подергал губами, отплюнул через зубы и пошел отыскивать другого товарища.

Пошла домой и Стеня Лопухинская, машинально, как автомат, не сознавая, где и куда идет. Она не видела, как

наказывали Наталью Федоровну, Бестужеву, Степана Васильевича, не слыхала отчаянных, раздирающих криков, — она вся сосредоточилась в одном образе, видела только одного его, бледного страдальца — Ваню, смотревшего на нее с высоты помоста неотступно, будто прощальным взглядом, видела потом, как его поволокли, обнажили всего избитого и изрезанного...

Боже, думала она, как он страдал, как мучили, а она вот здорова и не чувствовала, как его резали злодеи... Нет, чувствовала, недаром же по целым ночам она не спала, недаром же острая боль резала грудь и замирало сердце. И вот теперь она стоит, пальцем не шевельнет, а его терзают, кровь льют... В голове у девушки все потемнело и спуталось, в расширенных зрачках стоит изрытая спина с лохмотьями кожи и с потоками крови.

Не чувствовала Стеня, как пошла вслед за другими, как воротилась домой и села к окну. В это утро оставалась дома одна мать с хлопотами по хозяйству. Работящая, не зная устали Ариша в последнее время опустилась. Давно она стала замечать в дочери неладное, перемену какую-то, словно стала Стеня совсем другая; материнское сердце подсказало, что беда тут от молодого соседа, от черного его глаза, и стала она присматривать за Стеней. Хоть и знала она свою дочку-гордыню, да ведь с девичьей немощью долго ли до греха! Иной раз, глядя на свою красавицу, Ариша раздумается и спрашивает себя, чем бы дочка хуже этих знатных барышень красотой, образованием, талантом и почему бы ей не сделаться из Лопухинской Лопухиной, а потом вдруг опомнится и перекрестится от испуга.

Арест господ сначала как будто даже обрадовал Аришу, оттого ли, что она не ожидала для них никакой опасности и не придавала новой опале другого значения, кроме временной острастки, или оттого, что в каждом человеке, подневольном силою внешнею, в самом добродетельном из таких подневольных, всегда хоронится в душе протест против господ, заставляющий радоваться их беде, или, может быть, и даже вероятнее, оттого, что арест отдалял хоть на время опасность от

дочки и принижал господскую гордость. К чести Ариши радость эта, однако ж, только скользнула по ее сердцу. С каждым днем затянувшегося розыска, с каждым новым известием о страстях застенка она все сильнее болела о несчастных благодетелях и все чаще забегала в соседние палаты поглядеть на детей, сидевших под караулом. С другой стороны, и состояние дочери сильнее стало ее тревожить: из энергичной, работающей помощницы Стеня сделалась какой-то растерянной и болезненной.

Положение дочери по возвращении с экзекуции, ее дикий, неподвижный взгляд напугали Аришу, однако ж она не показала тревоги, а только чаще, будто по надобности, подходила к тому месту, где сидела дочь, да искоса поглядывала на нее сквозь набегавшие слезы; наконец, вдоволь намучившись, решилась заговорить.

— Видела, Стеня, отца?

Дочь, по-видимому, не слыхала.

— Много, Стеня, народу было? — снова заговорила Ариша, которую все больше и больше пугала неподвижность дочери.

Стеня опять не слыхала вопроса.

— Куда, Стеня, пошел отец, в кладовую, что ль?

То же молчание.

— Знаешь что, Стеня, — с усилием заговорила Ариша, окончательно надорвавшись, — не поехать ли тебе... туда... в деревню... простилась бы...

— Не надо... — глухо отозвалась дочь.

В полдень того же первого сентября в неизвестной деревушке из немногих скривившихся бедных лачужек, в десяти верстах от столицы по Московской дороге, скопилось небывалое множество народа.

Солдатики то и дело шмыгают из одной избы в другую, шаря и выискивая себе что-нибудь подходящее на дальнюю дорогу; подводы стоят около каждых ворот; шум и суматоха — никогда не слыханные в забытом уголке; ругань стоит повсеместная: ругаются солдатики — не весело им ни за что ни про что от теплого гнезда ломать дорожку в Сибирь, да когда еще — в

самую-то ненастную осеннюю непогоду; ругается прислуга, забывая в сборах то, что именно-то и нужно в дороге, ругаются обыватели деревушки, у которых солдатики на глазах воруют кур, поросят и всякую живность.

В избе попросторнее других помещаются арестанты Лопухины, Анна Гавриловна, приехавшие проститься дети Лопухиных, красавица Настенька, будущие красавицы Аннушка и Прасковья, сыновья Абрам и Степа, их караульные и прислуга.

Наталья Федоровна, Степан Васильевич и Иван Степанович лежат не шевелясь на лавках трупами. Десятиверстная поездка в телеге по тряской дороге не могла не растревожить истерзанных членов.

Дети боязливо толпятся около отца и матери, плачут, Настенька осторожно целует руки матери, ее лоб, не касаясь повязок.

Наталья Федоровна даже не взглянула на детей.

Степан Васильевич хотел благословить их, попробовал было поднять руку, но та опустилась с нестерпимой болью.

Одна Анна Гавриловна смотрит бодрее всех и прямо сидит на лавке за столом.

Казалось бы, ничего не могло быть ужаснее положения Лопухиных, а между тем в сердце Анны Гавриловны шевелится зависть: она сравнивает свое положение и находит его печальнее. У них вот дети, думала она, любящие, преданные дети; пройдут тяжелые времена, воротятся отец и мать в родную семью, где встретят привет, любовь, бескорыстную преданность, — а ее кто будет ждать? Куда она воротится? Отец и мать умерли, муж рад, что избавился от жены, не приехал и проститься, дочь, графиня Ягужинская, вся характером в отца, Павла Ивановича, тоже нашла неуместным проститься с опальной матерью; есть брат Александр Гаврилович, да он далеко, посланником за границей, и человек холодный, совсем чужой: от него не было бы легче; есть брат любимый Миша, так он, верно, теперь умирает в какой-нибудь избе... Для кого же и для чего ей жить, а женское сердце требует любви во всяком положении и во всякое время.

Кончились наконец сборы, и, по приказу командира команды, стали размещать арестантов по телегам в дальнейшее путешествие, в Сибирь, с лишком за восемь тысяч верст.

Лопухинский заговор долго сохранялся в народной памяти, и рассказы о необыкновенной красоте Натальи Федоровны долго передавались легендарно, искаженные творческим инстинктом, от одного поколения к другому.

По народным рассказам, Наталья Федоровна была казнена единственно по ревности государыни, и красота ее была до такой степени обольстительна, что солдаты, наряженные к расстреливанию, из боязни обольщения стреляли в осужденную зажмурившись.

XVIII

Опустевшие Лопухинские палаты неприветливо смотрят двумя рядами заколоченных окон. Вскоре по высылке Натальи Федоровны и Степана Васильевича высланы были и дети их со всею челядью в отдаленную уцелевшую вотчину; в доме, в чине караульщика, остался один старый хромоногий Кирюшка да неразлучный его товарищ, чуть ли не такой же старый, слепой и кудластый пес Орелка. И доживают два друга в осиротевшем доме свои последние, неприглядные дни; удар, разразившийся над господами, наложил, казалось, мертвящую руку на весь дом, на каждую доску, на каждую утварь, на каждое дерево в саду.

С выселением Лопухиных обесцветилась и жизнь Лопухинских.

Матвей Андреич по торговым занятиям почти по целым дням не бывал дома, Ариша хоть и работала по хозяйству, но работа как-то не спорилась, не по-прежнему кипело дело в руках — очень уж привыкла она к господам; последний поезд из господских хором внес гнетущую пустоту в ее разнообразный и неширокий мирок. К этому горю налегло еще другое, непосильное и неотстанное, — видимая болезнь Стени.

Странная же была эта болезнь!

Без видимой причины девушка заметно начала таять и с каждым днем становиться все чуднее. Иной раз она делается такую радостною, точно свет какой озарит ее всю: глаза заблестят искрами, губы начнут улыбаться, словно говорит она с кем-то; а в другой раз вдруг осунется, как земляная станет, заботится чего-то и задрожит; иной раз как уставит неподвижный взгляд, так и застынет, а иной раз застонет, затошнит ее, словно внутренности подымаются.

Прибегала Ариша ко всем известным ей целебным, средствам, вынимала части за здоровье чуть не каждую обедню, бегала к отцу протопопу с просьбою помолиться о рабе Стефаниде, бегала и к знахарке Улите, приносила от знахарки

какие-то корешки, зашивала их в тряпочки и тихохонько подкладывала под изголовье дочери, — но ни молитвы отца протопопа, ни корешки Улиты не помогали.

Прошел месяц от экзекуции; Петербург окутала глубокая осень с безрассветно туманными днями, с мелкой изморосью, с холодными морскими ветрами. В небольшом, но уютном флигельке Лопухинских тепло, да и как не быть теплу: Матвей Андреич сам надзирал над постройкой дома, зорко наблюдал за плотной пригонкой, без щелей и прорух, куда так любит забиваться осенняя непогодь, и действительно, ни зимой, ни осенью хозяева не жаловались ни на холод, ни на сырость.

У окна на улицу сидит Стеня — любит она это окно; из него, бывало, посматривала и поджидала, как пройдет Ваня, как он поглядит и улыбнется.

Ариши нет дома, она побежала снова к знахарке пожаловаться — не помогают корешки, попросить — нет ли какого другого зелья.

Стеня смотрит в окно и смеется: точно будто увидав милого, она вскочила, набросила на себя полушубейку и побежала в господский сад, к тому месту около калитки, к заветной скамейке, где она пожертвовала всем для него. И сидит она на скамье, жадно вперив взгляд на тропинку, протоптанную к широкому двору, ждет своего Ваню; ярко зарделись щеки, диким блеском загорелись глаза, заколыхалась грудь от порывистого дыхания из открытых, засохших губ. Ей надобно передать Ване все, что ее мучает, то, что их любовь может не быть тайной для матери... что она не вынесет позора...

Проходят минуты, медленно ползут они, а его все нет; глухо в господском саду, только карканье грачей на высоких ветвях да шелест падающих запоздалых листьев. Напряженный слух обманывает: не раз простой шелест показался за походку Вани, не раз показывалась и тень его... всматривается... нет, это столб вязовый, стоящий у входа в сад одиноко.

Холодные дождевые капли падают на лицо Стени; она начинает вспоминать жалкий, умоляющий взгляд с помоста, потом окровавленную, изрытую спину...

С диким хохотом вскочила Стеня со скамейки и бросилась бежать; вихрем пронеслась она мимо ворот по улице, дальше и дальше; морской ветер режет лицо, разметал длинную, густую косу, но она не чувствует ни холода, ни липкой грязи. Она подбежала не то к реке, не то к взморью, к той береговой круче, на которой раз под раскидистым кустом густого орешника она сидела с Вайей и миловалась при шуме набегавших волн.

Стеня приостановилась на краю высокой кручи, сбросила полушубейку и полетела вниз...

Шелохнулось море, забрав в себя новую жертву, широким кругом раздалась вода у кручи, и потом снова все слилось... за несколько шагов дальше показалась было над поверхностью рука Стени, как будто на прощанье с землей.

Воротилась домой Ариша веселою; тетка Улита дала ей новый порошок с крепким словом, что от одного его приема всю лихую болезнь как рукой снимет, что этот порошок дорогой и никому бы она его не дала, да решилась ради жалости к Арише да ради ласки ее в виде немалых приносов полотен и шитых рушников. Во всю дорогу домой Ариша думала, как она незаметно положит порошок в питье и подаст его Стене, та выпьет, выздоровеет, снова станет прежней милой девочкой, потом как она выдаст дочку замуж за богатого и хорошего человека и станет она нянчить своих внучат.

Войдя в комнаты, Ариша даже довольна была, что не застала Стеню на обычном месте у окна.

«Видно, прогуляться пошла, пусть ее, только как же двери-то оставила настежь?» — подумала Ариша и принялась за свои хлопоты.

Проходит час, другой, а Стени все нет, как нет; скоро придет и Матвей Андреич, надобно позвать дочь. Ариша пошла в свой сад, прошла в соседний господский, справилась у хромоногого Кирюшки, не приходила ли Стеня, не видел ли он ее где-нибудь, и, получив отрицательный ответ, отправилась дальше на улицу. Чем больше проходило времени, тем тревожнее становилась мать. Наконец, проходя недалеко от берега, она заметила наверху кручи какую-то одежду, подошла, узнала полушубейку Стени... и ей стало все ясно...

Через несколько дней рыбаки вытащили тело Стени.

Иван Степанович пережил Стеню только несколькими днями.

Медленно тянулся ссыльный поезд по дороге, и в хорошую-то погоду трудной, а осенью почти непроездной. Иван Степанович страдал и в минуты, когда приходило сознание, молил у Бога скорой развязки. Наконец и она наступила, когда поезд, перевалив через Урал, спустился в сибирские степи, на одной из первых станций из повозки вытащили Ивана Степановича совсем охолодевшим трупом.

Ворча на досадную помеху, команда наскоро вырыла могилу, наскоро отслужил панихиду деревенский поп, равнодушно простились с сыном Наталья Федоровна со Степаном Васильевичем и засыпали бедного холодной сибирской землею.

Когда и где именно умер и погребен Иван Степанович — никому не известно.

На дальнейшем пути умер и Степан Васильевич; места назначения достигли только Наталья Федоровна и Анна Гавриловна.

Лопухинский заговор составляет один из характерных эпизодов борьбы в Петербурге политических и придворных партий в царствование Елизаветы Петровны.

Раздувая измышленный заговор, граф и лейб-медик Лесток всеми средствами старался замешать австрийского посланника маркиза Ботта д'Адорно в полнейшей надежде через это если не сломить окончательно своего врага Алексея Петровича Бестужева, явного сторонника австрийского союза, то по крайней мере его, как вице-канцлера, сильно скомпрометировать. Благодаря вынужденным показаниям двух женщин это удалось, и графу нетрудно было убедить государыню в необходимости преследовать Ботту, которого нерасположение она испытала, еще бывши цесаревною.

По настоящему приказу из Петербурга наш посланник в Вене Ланчинский потребовал от австрийского правительства сатисфакции за богомерзкие поступки маркиза Ботта д'Адорно,

но получил уклончивый ответ. Императрица Австрии Мария-Терезия, а за ней и канцлер ее Улефельд, отозвались невозможностью подвергнуть ответственности маркиза, не спросив от него объяснений, без обсуждения его вины и без предания суду.

— Неприятели мои, для повреждения нашей с российской императрицею дружбы, нанесли на маркиза Ботту затаенные, но тяжкие вины, а он человек разумный: как он мог так постыдно вмешиваться в Петербурге во внутренние дела? — печально жалобилась Мария-Терезия Ланчинскому.

Вслед за тем и Улефельд сообщил нашему послу ответ Ботты о том, что тот никогда в близких отношениях с Лопухиными не бывал, ездил к ним в год не более пяти или шести раз, а с другими участниками и вовсе не был знаком. Точно так же даже и сам Фридрих прусский, несмотря на все свое желание поссорить Елизавету Петровну с Марией-Терезией, отвергнул положительно и официально известие де Валори относительно Брауншвейгской фамилии.

Против этих ответов Ланчинский, возразив, что для обвинения достаточно одного свидетельства русского правительства, продолжал настаивать на сатисфакции и наконец решительно объявил о перерыве дипломатических сношений и о скором своем выезде из Вены. В это время императрица Австрии, стесненная со всех сторон прусским королем, находилась в самых критических обстоятельствах, из которых вывести ее могла только поддержка России. В таком положении она отправила в Петербург особоуполномоченного посла графа Розенберга с поручением заискать расположение Елизаветы Петровны и сообщить, что маркиз Ботта после домашнего ареста подвергнут шестимесячному заключению в замке Грац, где содержатся государственные преступники. Вместе с тем графу Розенбергу было поручено, в случае неудовлетворения подобным взысканием, просить присылки подлинного следствия или в извлечении показаний участников Лопухинского заговора для назначения формального уголовного суда над преступным маркизом. Но так как отсылка подлинных показаний, из которых ясно открывалось, каким путем

достигались ответы на участие Ботты, оказывалась неудобной, то императрица и поспешила объявить свое удовольствие на сатисфакцию и желание предать дело с Ботте забвению.

Политическая роль Лопухинского заговора кончилась шумным, трескучим фейерверком, опалившим ни за что ни про что несколько лиц, но не доставившим авторам никакого результата.

По-прежнему при дворе боролись, не останавливаясь ни перед какими средствами, две партии: одна — состоявшая из послов Франции и Пруссии, графа Лестока, получавшего от них пенсии, Блюммера, Трубецкого и Румянцева — интриговала в пользу союза четырех держав: Франции, Пруссии, Швеции и России; другая, — состоявшая из английского посла Вейча и вице-канцлера Бестужева — стремилась к союзу с морскими державами и Австрией. Вице-канцлер находил сближение и союз с морскими державами и Австрией совершенно отвечающими интересам русского государства и единственными мерами сохранения европейского равновесия; в доказательство своего мнения он приводил политику Петра Великого и указывал на опасный рост Пруссии, которая со временем по соседству может сделаться для России опасною.

Трудно было Елизавете Петровне, не подготовленной и не знакомой с государственными делами, найтись в паутинных интригах двух партий. Она, понимая свое положение и сознавая свою неопытность, естественно, боялась решительного шага и ограничивалась выслушиванием обеих сторон до той поры, когда доводы их выяснятся до очевидности.

Борьба между Лестоком и Бестужевым велась упорная и ожесточенная, не допускавшая никаких компромиссов. Лопухинский заговор, по-видимому, дал перевес партии лейб-медика, который, считая дело свое выигранным, стал торопить государыню на заключение союзов с Францией и Пруссией, но Елизавета Петровна далеко уже не чувствовала прежнего расположения к своему доктору; даже во время производства розыска над Лопухиными она продолжала принимать доклады от вице-канцлера, хотя реже и с некоторой сдержанностью.

Для окончательного низвержения вице-канцлера Лесток вызвал из Франции бывшего французского посланника маркиза Шетарди, старинного своего приятеля и друга. Маркиз приехал в качестве гостя, преданного человека императрицы, *бесхарактерного* — по современному выражению о неимении политической официальности, — но с тайными поручениями и полномочиями от версальского кабинета. Для содействия Шетарди в Петербурге явилось шведское посольство с таким же тайным поручением — употребить все возможные средства, не исключая даже и составления подложных документов, истратить до ста тысяч рублей, но стереть Бестужева. Какой вес придавали Алексею Петровичу, можно видеть из современной тогда переписки кабинетов со своими агентами. Французский посланник граф д'Аальон писал к министру Амелоту:

«Я ни на одну минуту не выпускаю из вида погубления Бестужевых. Господа Блюммер, Лесток и генерал-прокурор Трубецкой не меньше моего этим занимаются. Блюммер мне вчера говорил, что готов ручаться головою за успех нашего дела. Князь Трубецкой надеется отыскать что-нибудь, в чем бы он мог поймать Бестужевых; он клянется, что если ему это удастся, то он уже доведет до того, что они сложат на эшафоте свои головы».

В то же время знаменитый и великий Фридрих прусский писал к своему министру:

«Я не пощажу денег на привлечение России на свою сторону и чтоб иметь ее в своем распоряжении; теперь настоящая пора, или мы в этом никогда не успеем. Поэтому-то нам нужно очистить себе дорогу сокрушением Бестужева и всех тех, которые могли бы нам помешать, так как, когда мы крепко уцепимся в Петербурге, тогда только будем в состоянии громко говорить в Европе».

Несколько позже тот же Фридрих писал Мардефельду:

«Если я должен буду воевать с одной австрийской императрицей, то, конечно, всегда выйду победителем, но для этого непременно условие — сокрушение Бестужева. Я не могу ничего сделать без вашего искусства и без вашего счастья; от ваших стараний зависит судьба Пруссии и моего дома».

Великий Фридрих не щадил ни денег для подкупов, ни ума на измышление ловких изворотов, внушений, лжи и клевет. Скоро у Фридриха явился еще новый деятельный союзник в лице матери невесты великого князя, принцессы Ангальт-Цербстской, душевно преданной великому Фридриху и действовавшей по его указаниям.

Против всех этих могучих врагов стоял почти одиноким Алексей Петрович, если не считать тайной поддержки от лиц, близко стоявших к государыне, от Алексея Григорьевича Разумовского, впрочем отстранявшегося от государственных дел, и от князя Воронцова, выжидавшего, чем кончится борьба. Правда, был еще союзник — архиепископ Амвросий Юшкевич, имевший особенное значение по набожности Елизаветы Петровны, но он, по личному своему характеру, постоянно уклонялся от прямого участия.

В таком положении находились дела во время приезда в Петербург Шетарди, на которого смотрела своя партия как на главного вожака и представителя. Елизавета Петровна приняла его как старого друга.

«Шетарди, несомненно, возьмет верх над всеми своими политическими соперниками и оставит их с длинным носом», — писал Мардефельд берлинскому кабинету. И действительно, с приезда Шетарди придворная интрига закипела с тою энергией, которою всегда отличался отважный француз: созидались комбинации, возникали беспрерывные переговоры, летали ноты и депеши, явные и тайные. Шетарди усиленно работал, нисколько не подозревая, что вся его работа шла в руку вице-канцлеру. Прочитывая все шифрованные депеши Шетарди с помощью ключа, открытого академиками Гольдбахом и Таубертом, Алексей Петрович представлял их императрице, с должными объяснениями и примечаниями, в которых, разумеется, не скупился на краски для обрисовки деятельности французской партии. Таким образом, самыми верными союзниками Алексея Петровича делались сами же Лесток и Шетарди. Самонадеянные, несдержанные, осмеивающие все и всех, оба они в депешах нередко отзывались об императрице в выражениях оскорбительных как для государыни, так и для

женщины. Конечно, и этих депеш Алексей Петрович не утаивал, а, напротив, сумел выставлять их еще в большем оскорбительном виде.

Последствия не замедлили обнаружиться. В одно прекрасное утро неизбежный Андрей Иванович Ушаков, в сопровождении советников иностранной коллегии, явился в квартиру Шетарди с подлинными депешами для улики маркиза и объявил ему распоряжение императрицы о немедленном, в двадцать четыре часа, выезде его из столицы. Сконфуженный Шетарди не рискнул на оправдание, а, напротив, был очень доволен, что так дешево отделался.

Удовольствие вице-канцлера по поводу отъезда Шетарди сквозит в каждой строке письма Алексея Петровича к графу Воронцову: «Поистине доношу, что такой в Шетарди конфузии и торопости никогда не ожидали. Конфузия его была велика: ни опомниться, ни сесть попотчевал, ниже что малейшее в оправдание свое привести, стоял, потупя нос и во все время сопел, жалуясь немалым кашлем, которым и подлинно не может! По всему видно, что он никогда не чаял, дабы столько противу его доказательств было собрано, и когда оныя услышал, то еще больше присмирел, а оригиналы когда показаны, то своею рукою закрыл и отвернулся, глядеть не хотел».

Между тем и другой враг вице-канцлера, мать невесты, принцессы Ангальт-Цербстской, за обнаруженное в депешах участие в интриге получила от государыни веское внушение, отбившее у нее на будущее время охоту вмешиваться в политические дела. Шансы Алексея Петровича повысились: у него остался только один прямой, Открытый враг — Лесток, но дискредитированный, потерявший доверие государыни и потому неопасный.

— Лесток негодяй, готов продать меня кому угодно, но я привыкла, и мне жалко его, — все чаще и чаще поговаривала Елизавета Петровна по мере того, как все глубже укоренялась в ней уверенность в нахальной продажности своего доктора и бывшего друга. Но по самонадеянности и избалованности Лесток не обращал внимания на упадок расположения государыни и встрепенулся только тогда, когда не было уже

средства воротить прошлое и даже не было возможности удержать за собою и ту долю влияния, которою он все еще пользовался.

Постепенно, почти незаметно, он падал и наконец по какому-то неважному обстоятельству был отослан от двора навсегда.

Алексей Петрович, сделавшись полным и властным руководителем отношений петербургского кабинета, привел в исполнение свои политические виды. Благодаря вмешательству России, Австрия сохранила свое положение великой державы, а Фридрих Великий должен был вынести страшную Семилетнюю войну, из которой мог выйти окончательно нераздавленным только его гений.

Остается сказать два слова о судьбе главных участниц в Лопухинском заговоре. Анна Гавриловна умерла в Якутске, в котором году — неизвестно, но во всяком случае не ранее пятидесятих годов, а ее шестидесятитрехлетний муж, еще при ее жизни, рискнул жениться в третий раз в Дрездене на молодой вдове. Наталья Федоровна через двадцать лет, при вступлении на престол Петра III, воротилась в Петербург и бывала в больших собраниях, где ее окружала тоже толпа, но не поклонников, а любопытных слышать ее мычание. Умерла она в 1763 году, прожив последние годы счастливо в кругу детей и внучат.

А что же случилось с Бергером? Он за усердие к службе, выразившееся в доносе на Лопухиных, был переведен из лейб-кирасирского полка в конно-гвардейский поручиком же, да и впоследствии не отличался по службе: в 1762 году вышел в отставку подполковником.

Евгений Карнович
На высоте и на доле
Царевна Софья Алексеевна

— Когда я была еще в отроческом возрасте, явилась на небе чудная звезда с превеликим хвостом, и звали ее в народе «хвостушею». Бывало, лишь зайдет солнце, и она чуть-чуть, как пятнышко, покажется на востоке, потом замерцает ярче, а ночью засияет на темном небе светлее всех звезд. Смотрела я подолгу на нее, и о многом думалось мне, но знаешь ли, отче, мне тогда становилось очень страшно...

Так говорила царевна Софья Алексеевна стоявшему перед нею монаху, который с большим вниманием прислушивался к каждому ее слову.

— Ты звездочет, так скажи мне, что за звезда являлась тогда? — спросила пылливо царевна.

— Подобные звезды нарицаются с греческого языка кометами, что будет значить волосатые звезды. Называются они также звездами прогностическими, или пророческими, — наставительно отвечал монах.

— Из чего же сотворены они? — перебила с живостью молодая девушка.

— Из того, что по-латыни зовется матернею, а по-гречески эфиром; эфир же для создания такой звезды, или кометы, был сперва сгущен силою Божиею, а потом зажжен Солнцем.

Софья слово в слово повторила это объяснение.

— Так ли я уразумела твою речь? — спросила она.

— Ты совершенно верно пересказала мои слова, благородная царевна, — одобрительно и с выражением удовольствия на лице отозвался монах.

— А зачем же являются такие звезды? Ты знаешь или нет?

— Тайны Божии непроницаемы для нас, смертных человек. Всего наш ум объять не может, но как убедились мудрецы, как толкуют умные люди и как поучает история, кометы являются на небеси во знамение грядущих событий. Ходят они превыше луны и звезд, никто не отгадает их бега по

тверди небесной, никто не ведает, где и когда они зарождаются, где и когда они исчезают, — поучал монах царевну.

— Ты говоришь, что кометы являются во знамение грядущих событий, а каких же? Расскажи мне о том, отец Симеон, — сказала царевна. — Да ты, верно, уж устал стоять, присядь, — ласково добавила она.

Царевна вела эту беседу с монахом в своем тереме. В той комнате, где они теперь были, шла вдоль одной из стен лавка, покрытая персидскою камкою. В переднем, или красном, углу этой комнаты стоял под образами стол с положенными на нем книгами, а подле него было большое, с высокою резною спинкою, обитое синим бархатом дубовое кресло, на котором сидела Софья Алексеевна. По тогдашнему обычаю, на это единственное во всей комнате кресло, кроме царевны, как хозяйки терема, также навещавших ее царя, царицы, членов царского семейства и патриарха, никто не мог садиться. Все же мужчины и женщины, как бы знатны и стары они ни были и как бы долго ни шла у них беседа с царевною, должны были во все время разговора оставаться перед нею стоя и только изредка, в виде особой милости, им дозволялось садиться на лавку поодаль от царевны.

Монах низко поклонился Софье Алексеевне, благодаря ее поклоном за чрезвычайный оказанный ему почет, и затем присел на лавку.

— Явление комет предвещает разные события, — начал он. — Чаще же всего предвещают они бедствия народные, в числе коих три бедствия полагаются главными: война, мор и голод. Предвещают кометы и о других еще бедствиях, как-то: о потопе, о кончине славного государя и о падении какого-либо знаменитого царства. О наступлении всех таких событий надлежит угадывать по тому, где впервые комета появится, на востоке или на западе, куда она свой хвост поворачивает и куда сама направляется, в какую пору наиболее блестит она, какого цвету бывает ее сияние, сколько главных лучей идет от нее и многое сверх того еще наблюдать должно. Для познания всех предвещаний, делаемых кометою, нужны, царевна, и мудрость, и книжное учение, и многолетняя опытность.

— Ты, отче, я думаю, все небесные явления легко уразуметь можешь!.. Какой ты счастливый! — как будто с сожалением о себе самой, и с завистью к своему ученому собеседнику проговорила царевна.

— Где все уразуметь мне, грешному человеку!.. Но, впрочем, слава Господу, сподобил он меня понимать многое, — скромно заметил монах.

Наступило молчание. Монах, как казалось, размышлял сам с собою, а царевна, опершись рукою на стол и склонив на ладонь голову, обдумывала те вопросы, которые хотелось ей предложить своему наставнику. Во время беседы любимая постельница царевны, Федора Родилица, родом украинская казачка, стояла, прислонившись спиною к стене. С видимым любопытством старалась она прислушаться к происходившему между царевною и Симеоном разговору; но заметно было, что многое она не могла взять в толк, и, поутомившись порядком, начинала позевывать и беспрестанно переминалась с ноги на ногу.

— Ты бы, Семеновна, пошла да отдохнула, придешь ко мне после, — сказала царевна постельнице.

Родилица, приложив под грудь вдоль пояса правую руку, отвесила ей низкий поклон и тихими шагами вышла из комнаты.

— Ведь наука гаданья по звездам называется астрологиею? Так?.. — спросила Софья монаха по уходе постельницы.

— Ты верно говоришь, благородная царевна, — отвечал он.

— А гадание, составленное по течению звезд, зовется гороскопом?

— И это верно изволишь называть, — перебил Симеон.

— Видишь, преподобный отче, я все помню, чему ты наставляешь меня, — не без некоторого самодовольства заметила Софья.

— Недостоин я, смиренный, такой славной ученицы, как ты, благоверная царевна! Сердце мое радуется, когда я смотрю на тебя, и дивлюсь я твоему уму-разуму и твоей жажде к познаниям.

— На лице Софьи мелькнуло удовольствие при сделанной ей похвале.

— А ведь по звездам можно гадать больше, чем по кометам? — спросила она.

— Речь твоя разумна! Кометы предвещают только важнейшие, чрезвычайные, так сказать, народные или политические события, тогда как по сочетанию звезд и планет можно предсказать судьбу каждого человека, — глубокомысленно заметил наставник.

— Скажи мне, отче, но скажи по сущей правде, известно ли тебе, что при рождении брата моего, царевича Петра Алексеевича, был составлен гороскоп, и не знаешь ли ты, что было предречено царевичу астрологами? — полушепотом спросила Софья, не без волнения ожидая ответа на этот вопрос.

— Слышал я, — отвечал нерешительно монах, — будто бывшему здесь в Москве голландскому резиденту Николаю Гейнзию писал нечто из Утрехта земляк его, профессор Гревий. Ведомо мне также, что государь, твой родитель, посылал к знаменитым голландским астрологам приказ, чтобы они составили гороскоп новорожденному царевичу. Много золота он заплатил им за это. Предсказали же они царевичу, что он в монархах всех славою и деяниями превзойдет, что соседей враждующих смирит, дальние страны посетит, мятежи внутренние и нестроения обуздает, многие здания на море и на суше воздвигнет, истребит злых, вознесет трудолюбивых и насадит благочестие, где его не было, и там покой примет. Слышно также, что и епископ Димитрий, увидев звезду пресветлую около Марса, предсказал твоему родителю, что у него будет сын, что ему наречется имя Петр и что не будет ему подобного среди земных владык.

Царевна с заметным беспокойством прислушивалась к рассказу своего собеседника, который, приостановившись немного, таинственно, чуть слышным голосом добавил:

— Но за то век его будет непродолжителен.

Софья как будто вострепелась при этих словах.

— А что пророчат звезды о моей судьбе? — тревожно спросила она. — Ведь ты, отец Симеон, обещал составить мой гороскоп.

— До сих еще пор сочетание планет и течение других светил небесных не благоприятствовали мне и я не мог начертать весь твой гороскоп. Я знаю пока только то, что ты, благоверная царица, будешь на высоте, — торжественно-пророческим голосом проговорил монах.

Софья быстро поднялась с кресел, щеки ее вспыхнули ярким румянцем, и она уперла свои смелые глаза на Симеона, который быстро приподнялся с лавки.

— А разве я теперь не на высоте, а на доле? — гордо и раздраженно спросила она. — Разве я не московская царица, не дочь и не внучка великих государей всея Руси? Мачеха моя, царица Наталия Кирилловна, никогда не отнимет и не умалит моей царственной чести...

— Не о высоте твоего рождения говорю я, благоверная царица, — спокойно перебил Симеон. — На эту высоту поставил тебя Господь Вседержитель, так что ты тут ни при чем. Я говорю о другой высоте, о той, какой ты сама, при помощи Божией, можешь достигнуть...

Тяжело дыша, прислушивалась Софья к словам монаха.

— О какой же высоте говоришь ты? — резко спросила она. — Разве я могу стать еще выше? Разве у нас, в Московском государстве, для женского пола, кроме терема да монастыря, есть что-нибудь другое? Разве есть у нас такой путь, на котором женщина может вознестись и прославиться? Ты, отец Симеон, хотя родом и из Польши, но давно живешь в нашей стороне, и пора бы тебе ознакомиться с нашими обычаями и знать, что на Москве не так, как у вас в Польше...

— Знаю, хорошо знаю я все ваши московские обычаи, — заговорил монах. — Ведомо мне, что они совсем иные против того, что ведется в Польше и в других чужеземных государствах; да разве, сказать примером, хотя бы в греческой стране, в Византии, где женский пол был в такой же неволе, как и у вас, немало прославились женщины из царского рода.

— Садись, отче, — сказала Софья Симеону, опускаясь сама опять в кресло, — и расскажи мне о них что-нибудь.

Монах сел на лавку на прежнее место.

— Я расскажу тебе, благоверная царица, о дочери греческого кесаря Аркадия, о царице Пульхерии. Жила она двенадцать веков тому назад. По смерти отца ее правление империей греческою перешло к брату ее Феодосию; он был скорбен главою, а она была светла умом и тверда волею. Стал при нем управлять царством пестун его Антиох, родом перс, но царица не стерпела этого: она удалила Антиоха от царского двора и начала править за своего брата. Нашлись, однако, у нее враги и повели дело так, что брат царицы, наущенный ими, приказал заключить ее в дальний монастырь. Она сошла с высоты, но не долго пребывала на доле. Вскоре возвратилась она в царские чертоги, снова взяла власть над братом и правила царством до самой его кончины...

— Что же случилось с нею потом? — торопливо перебила Софья, с напряженным вниманием слушавшая повествование монаха.

— По смерти брата царская власть осталась в ее руках, но так как в Византии не было обычая, чтобы замужняя женщина, а тем паче девица, заступала место кесаря, то Пульхерия взяла себе в супруги прославившегося и добродетельного полководца Маркиана, но власти ему не дала. Осталась она и в браке с ним девственницею и со славою управляла царством до конца своей жизни.

— Но ведь, кроме нее, были и другие женщины, которые правили царством; я помню, ты рассказывал мне о королеве англицкой Елизавете; да в нашем царстве, как значится в «Степенных книгах», прославилась благоверная великая княгиня Ольга...

— Ну, вот видишь, благородная царица, Значит, и в Российском царстве были именитые жены...

— Иные тогда, как видно, были обычаи, женский пол был тогда свободен; царицы и царицы не сидели взаперти в своих теремах, как сидят теперь. Знаешь ли, преподобный отче, как я тоскую!.. Что за жизнь наша! Смотрю я на моих старых теток, и думается мне, как безутешно скоротали они свой век: никаких радостей у них не было! На что мне все богатства, на что мне

золото и камни самоцветные, когда нет никакой воли? Разве так живут чужестранные королевны?

— Что и говорить о том, благоверная царевна. В вашей царской семье жизнь повелась иным обычаем; царевен замуж за своих подданных родители не выдают, а иностранные принцы в Москву свататься не ездят.

— А меж тем где же найдешь для мужа лучшее житье, как не у нас на Москве? — улыбнувшись, перебила Софья. — Вот посмотри, чему поучают у нас, — сказала она, взяв со стола переплетенные в кожу рукописные поучения Козьмы Халкедонского. — «Пытайте, — начала она читать, — ученье, которое говорит: жене не веля учить, ни владети мужем, но быти в молчании и покорении. Раб бо разрешится от работы господския, а жене нет разрешения от мужа». Поучают также у нас, что от жены древнезмейный грех произошел и что с него все умирают. Выходит так, что наш пол во всем виноват, а мужской из-за нас неповинно страдает...

— Это древнее учение, сила его ослабела, — возразил Симеон.

— Да, у просвещенных народов, а не у нас; ты сам не мало раз мне говорил, что народ наш еще не просвещен, — заметила Софья.

— Не просвещен-то он не просвещен, это так, а все же у вас людей разумных и книжных наберется немало, только нет им ходу, да и мало кто знает о них. Вот хотя бы Селивестр Медведев... какой умный и ученый человек! Соизволь, царевна, чтобы я привел его к тебе, ты побеседуешь с ним и на пользу и в угоду себе.

— Я не прочь от знакомства с такими людьми, приведи его ко мне; он, статья, может, вразумит меня многому, а тебе, преподобный отче, приношу мое благодарение за то, что ты наставляешь меня всякой премудрости, и божеской, и людской. Принеси мне еще твоих писаний, читаю я их с отрадою, а теперь иди с Богом...

Монах стал креститься перед иконою и потом поклонился в ноги царевне, которая пожаловала его к руке, а он благословил ее. После этого Симеон вышел, а царевна, оставшись в креслах,

глубоко задумалась: рассказ о царице Пульхерии запал в ее мысли. Ей казалось, что положение этой царицы было во многом сходно с тем, в каком она сама находилась.

Непритворно сетовала Софья Алексеевна перед Симеоном на свою долю. Жизнь московских царевен была для нее невесела и казалась гораздо хуже, чем жизнь девушки-простолюдинки, пользовавшейся до замужества свободой в родительском доме. Чем выше было в ту пору общественное положение родителей девицы, тем более стеснялась ее свобода, а царевны в своих теремах жили в безысходной неволе. Можно с уверенностью сказать, что ни в одном из тогдашних русских монастырей не было столько строгости, воздержания, постов и молитв, сколько в теремах московских царевен. Во всем этом могло быть немало и лицемерия, а при нем еще тяжелее становилось «строгое соблюдение исстари заведенных порядков. Царевен держали настоящими отшельницами: они тихо увядали, осужденные на жизнь вечных затворниц. Им были чужды тревоги молодой жизни, хотя бы сердце и подсказывало порою о любви, о которой, впрочем, они могли узнавать разве только по сказкам своих нянюшек, болтавших по вечерам о прекрасных царевичах. Вероятно, впрочем, что на большинство царственных отроковиц и «сказки с любовным содержанием производили самое слабое впечатление. Привыкнув от раннего детства к своему затворничеству в тереме, царевны ограничивали свои помыслы лишь потребностями заурядного домашнего обихода; сердечным их порывам не было ни простора, ни исхода; им не на кого даже было направить их девичьи мечты и грезы, если бы они случайно встревожили и взволновали их.

Из посторонних мужчин никто не мог входить в их терема, кроме патриарха, духовника да ближайших сродников царевен, притом и из числа этих сродников допускались туда только пожилые. Врачи, в случае недуга царевен, не могли их видеть. Из теремов царевны ходили в дворцовые церкви крытыми переходами, не встречая на своем пути никого из мужчин. В церкви были они незримы, так как становились на особом месте

в тайниках, за занавесью из цветной тафты, через которую и они никого не могли видеть. Редко выезжали царевны из кремлевских хором на богомолье или на летнее житье в какое-нибудь подмосковное дворцовое село, но и во время этих переездов никто не мог взглянуть на них. Царевен обыкновенно возили ночью в наглухо закрытых рыдванах с поднятыми стеклами, а при проезде через города и селения стекла задерживались тафтою. Они не являлись ни на один из праздников, бывавших в царском дворце. Только при погребении отца или матери царевны могли идти по улице пешком, да и то в непроницаемых покрывалах и заслоненные по бокам «запонами», то есть суконными полами, которые со всех сторон около них несли сенные девушки. В приезд царевны или царевен в какую-нибудь церковь или в какой-нибудь монастырь соблюдались особые строгие порядки. В церкви не мог быть никто, кроме церковников. По приезде же в монастырь все монастырские ворота запирались на замки, а ключи от них отбирались; монахам запрещалось выходить из келий; службу отправляли приезжавшие с царицею или царевною попы, а на клиросах пели привезенные из Москвы монахини. Только в то время, когда особы женского пола из царского семейства выезжали из монастыря, монахи могли выйти за ограду и положить вслед уезжавшим три земных поклона.

В детстве царевен холили и нежили, но все их образование оканчивалось плохим обучением русской грамоте. Одна царевна Софья Алексеевна составляла исключение в этом отношении. Вырастали они, и начиналась для них скучная и однообразная жизнь в теремах. Утром и вечером продолжительные молитвы, потом рукоделья, слушание чтений из божественных книг, беседы со старицами, нищенками и юродивыми бабами. Все же мирское их развлечение ограничивалось пискливым пением сенных девушек да забавами с шутихами.

Затворничество царевен было так строго и ненаруσιμο, что, например, приехавший в Москву свататься к царевне Ирине Михайловне Вольдемар, граф Шлезвиг-Голштинский, прожил в Москве для сватовства полтора года, не увидев ни разу, хотя бы мельком, своей невесты. Затворничество в семейной жизни

московских царей доходило до того, что даже царевичей никто из посторонних не мог видеть ранее достижения пятнадцати лет.

Вот как современник этого нелюдимого быта, Котошихин, очертил его: «Царевны имели свои особые покои разные, и живущие яко пустынницы, мало зряху людей и их люди, но всегда в молитве и в посте пребываху и лица свои слезами омываху, понеже имеяй удовольствия царственные, не имеяй бо себе удовольствия такого, как от Бога вдано человеком». Это мнение бытописателя объясняется тем, что «государства своего за князей али за бояр замуж выдавати царевен не повелось, потому что и князи и бояре есть их холопи и в челобитье своем пишутся холопьями, и то поставило бы в вечный позор, ежели за раба выдать госпожу; а иных государств за королевичей и князей не повелось для того, что не одной веры и веры своей отменять не учинять, ставят то своей вере в поругание, да и для того, что иных государств языка и политики не знают и от того им было бы в стыд».

Живя в избытке и в тишине с успокоившимися, а может быть, и никогда не возбуждавшимися страстями, эти царственные отрасли еще в нестарые годы тяжелели телесно и окончательно тупели умственно. Свыкшись с детства с неволею, они не замечали ее и обыкновенно умирали в преклонных летах, много напостившись, и немало раздавали милостыни.

У царевны Софьи Алексеевны были на глазах примеры такой жизни, казавшейся ей томительною и невыносимою. В то время, когда она подрастала, в царской семье было девять безбрачных царевен. Из них две ее тетки были уже почтенные старушки. Они только молились да постились, отрешась от всего мирского и думая единственно о спасении души. Из сестер царевен шесть были от первого брака ее отца с Марией Ильиничной Милославской; из них Анна постриглась и скончалась в монастыре. А от второго брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной была одна только дочь Наталья Алексеевна. Из всех царевен три были моложе Софьи. Все они, и старые и юные, безропотно покорялись своей участи. Одна только царевна Софья, умная,

страстная и кипучая нравом, не хотела поддаться своей доле и с самых ранних лет рвалась душою из тесного терема на простор.

По смерти царя Алексея Михайловича сел в 1676 году на московский престол старший его сын Федор, болезненный шестнадцатилетний юноша, и тогда уже пошла по Москве молва, будто бы покойный государь хотел передать верховную власть, помимо старших своих сыновей, Федора и Ивана, болезненных и неспособных, самому младшему сыну, царевичу Петру. Москва приписывала это намерение проискам молодой царицы Натальи Кирилловны, которая хотела устранить от престола своих пасынков и доставить его своему родному сыну Петру, в то время только четырехлетнему отроку, отличавшемуся и здоровьем, и бойкостью. При царском дворе шли тогда интриги и происки между представителями двух фамилий, родственных царскому дому, между Милославскими и Нарышкиными, и каждая из этих фамилий старалась о том, чтобы предоставить корону царевичу, принадлежащему или к семейству Милославских, или к семейству Нарышкиных. Обе эти семьи имели своих приверженцев среди боярства, но ни одна не пользовалась расположением среди чиновного люда и любовью в народе. Дворцовые интриги могли бы прекратиться, если бы у царя Федора был сын, прямой наследник престола, но он, после смерти одного сына, остался бездетен от первого брака с Агафьей Семеновной Грушенкой, и не было у него пока детей от второго его брака с пятнадцатилетнею Марфой Матвеевной Апраксиной; слабость же его здоровья была плохую порукою за его долголетие, и теперь в тереме царицы Натальи Кирилловны зрели замыслы на случай кончины царя Федора.

Чем больше подрастала царевна Софья, тем тяжелее становилась для нее затворническая жизнь. В будущем не виделось ничего отрадного, а воспоминания о минувшем детстве хотя и могли быть приятные, но и они уже не тешили молодой девушки с пылкими страстями, с умом, все более и более развивавшимся и требовавшим не теремной обстановки, а живой, кипучей деятельности.

В памяти царевны оживали порою ее детские годы, проведенные в роскошных кремлевских палатах и в тенистых

садах села Коломенского, но и эти воспоминания отравлялись воспоминанием о неволе, в какой держали ее в ту пору, когда надоедливые мамы и няни носили на руках, как бы не доверяя, что она умеет ходить.

Присмотрелась царевне и пышная полуазиатская обстановка московского двора, и не нравилась она Софье потому, что в ней на каждом шагу проглядывали стеснения и неволя женщины под строгим охранением стародавних московских обычаев.

Бывало, царица, мать Софьи, совершая «богомольные подвиги», отправится в монастырь; засадят молоденькую царевну в наглухо закрытую колымагу, а ей между тем хотелось бы посмотреть, что делается за стенами терема. Подсмеивалась тайком царевна и над странным поездом, сопровождавшим царицу-мать при отправке на богомольные подвиги. Впереди, сзади и по бокам царицыной колымаги ехали тогда попарно горничные девушки верхом, сидя в седлах по-мужски, одетые в пестрые длинные платья и с желтыми сапогами на ногах, в высоких шляпах из белого войлока с алыми на них лентами и с такими же кистями, а лица этих молодых и старых наездниц были плотно закрыты густыми покрывалами. Весь склад московско-царской жизни, лишенный всякого умственного движения, приходился ей не по душе. Не любила царевна проводить время в пустых толках с обычными посетительницами теремов, не по ней были занятия рукодельями, нередко заглядывала она в мастерскую палату, где множество женщин и девушек шили наряды царице и царевнам и изготовляли воздухи, пелены и облачения для патриарха, архиереев, церквей и монастырей. Царевна томилась и изнывала, сознавая, как бесцельно и бесплодно проходит ее молодая жизнь. Вечные прятки от людей, удаление от всего, что давало простор мыслям и чувствам, сильно смущали ее, и любимую мечтою Софьи было — порвать те путы, которые приготовило ей на всю жизнь ее царственное рождение.

Уже несколько дней обычный ход жизни в Кремлевском дворце заметно изменился. Государь не вставал, по обыкновению, ранним утром в четыре часа. Не ожидали царский духовник, или крестовый поп, и царские дьяки его выхода в Крестовую палату, где он каждый день совершал утреннюю молитву, после которой духовник, осенив его крестом, прикладывал крест к его лбу и щекам и кропил святою водою, привозимую из разных монастырей в воцаных сосудах. В Крестовой палате, перед устроенным в ней богато и ярко вызолоченным иконостасом, теплились теперь только лампы, а не зажигались восковые свечи разных цветов, как это делалось во время царской молитвы. В отсутствие царя духовник его и царские дьяки пели в Крестовой палате молебны о выздоровлении государя, после чего, по заведенному порядку, царский духовник клал на аналой икону того праздника или святого, который приходился в этот день, но не читались там поучительные слова и жития святых, которые слушал ежедневно царь, сев по окончании молитвы на кресло, стоявшее в виде трона посреди Крестовой палаты. Такие отступления от установленного порядка показывали, что государь был так болен, что не мог подняться с постели.

О тяжком недуге царя свидетельствовало и то, что, по установившемуся обычаю, один из ближних людей отправлялся в покои царицы спросить ее о здоровье, но сам государь не ходил теперь по утрам в терем своей супруги. Не собиралась теперь и царская дума в Грановитой палате, и хотя и съезжались во дворец на ежедневный поклон государю бояре и думные люди, но они не могли видеть его светлые очи и довольствовались лишь спросом о здравии. Не являлся Федор Алексеевич и в столовой избе, где обедал прежде или один или с супругою, а порою и приглашал к своей трапезе некоторых ближних людей. Вообще, во дворце многое шло не по заведенному порядку. В опочивальне, под шелковым пологом,

лежал теперь царь Федор Алексеевич. Почти безвыходно, то в изголовье, то в ногах у него, сидела царица Софья Алексеевна. Она с нежною внимательностью сестры ухаживала за ним, стараясь угодить больному и успокоить его ласками и участием.

— А кто отведал новое лекарство? — спросил он слабым голосом у стоявшей около него царицы.

— Я блюду постоянно твое царское здоровье, и не дали тебе, милый братец, еще ни одного лекарства, прежде чем не отведали его или я, или ближние люди. Можешь спокойно принять и это, мы и доктору пить его приказывали! — успокоительно говорила царица.

— Пью я, ваше царское величество, все лекарства! — отозвался на ломаном русском языке царский врач Данила Иевлевич фон Гаден и, с этими словами вынув из-за пазухи своего черного кафтана, сшитого на немецкий покрой, серебряную ложку, налил в нее лекарства до самых краев и, хлебнув, крепко поморщился.

— Отпусти мне, Господи, мой тяжкий грех за то, что я принимаю лекарство из рук поганого жидовина! — набожно прошептал царь. — Грешим мы тем, что верим в человеческое врачевание, а не возлагаем надежду на помощь Всевышнего, — добавил он, обращаясь лицом к царице.

— Греха в том нет, братец-голубчик. Ведомо, конечно, тебе, чему поучает апостол Павел. Он прямо пишет, аще болен, помазуйся елеем и позови врача, — вразумляла Софья своего брата.

— Приготовленное мною лекарство успокоит внутренности вашего царского величества. Оно составлено из веществ, имеющих самую целебную силу; в него положен и рог единорога, — докладывал Гаден.

Говоря это, он взбалтывал бывшую в руках его стекляницу и, посмотрев ее на свет, налил лекарства на золотую ложку и подошел к государю, между тем как царица приподняла с подушки голову брата и поддерживала его за спину.

Царь осенил себя трижды крестным знаменем. Гаден поднес к губам его ложку, а он, пристально и недоверчиво посмотрев на «жидовину», с видимым отвращением хлебнул

поданную ему микстуру и, снова трижды перекрестясь, в бессилии опустился на постель.

Гаден тихонько вышел, а царевна встала около брата на колени и, взяв его свесившуюся с постели руку, со слезами целовала ее.

— Светик ты мой ненаглядный, братец ты мой родимый! Пошли тебе Господи скорее исцеление. Встань поскорее с одра скорби в утешение и на защиту нас, твоих единоутробных! Как усердно, и день и ночь, молю я о тебе Господа нашего Иисуса Христа и его пречистую Матерь! — говорила царевна, продолжая целовать со слезами руку брата.

— Ведаю, милая сестрица, твою любовь ко мне и плачу тебе ею же взаим, — говорил тихо царь, тронутый участием сестры. — Ты безотходно остаешься при мне, не как другие. Вот хотя бы матушка-царица в кой раз пришла бы навестить меня, а то совсем забыла!.. Чем я ее царское величество мог прогневать, да и как я дерзну сделать что-нибудь подобное, когда покойный наш родитель заповедал нам любить и чтить ее, как родную мать? — сетовал Федор Алексеевич, оскорбленный невниманием к нему мачехи Натальи Кирилловны.

На это сетование не отозвалась царевна ни полсловом, но по выражению ее лица можно было заметить, что ей не любы были такие почтительные и нежные речи царя о молодой мачехе.

— Прикажи-ка, сестрица, позвать ко мне князя Василия, — добавил он, смотря на Софью.

Румянец вспыхнул на щеках молодой царевны; с трудом преодолела она охватившее ее волнение и, поспешно встав с колен, неровным голосом передала приказание Федора постельничему, стоявшему в другой комнате у дверей царской опочивальни.

Царь, казалось, впал в забытие. Закрыв глаза, он тяжело дышал, а Софья, вернувшись в опочивальню, села в изголовье его постели.

Спустя немного времени дверь в царскую опочивальню тихо отворилась, и на пороге показался боярин.

При появлении его щеки царевны зарделись сильнее прежнего. Вошедший в царскую опочивальню боярин был высок ростом и статен. Он был, впрочем, далеко уже не молод; с виду было ему лет под пятьдесят, и седина довольно заметно пробивалась в его густой и окладистой бороде. Легко, однако, было заметить тот страстный взгляд, каким впиалась царевна в пожилого боярина. Она так засмотрелась на него, как засматривается молодая девушка на полюбившегося ей юношу-красавца.

Помолившись перед иконою и отдав земной поклон перед постелью государя, боярин остановился поодаль от нее, ожидая, когда царь подзовет его к себе.

— Хочу я поговорить с князем Василием о царственных делах, а такие дела не женского ума работа. Уйди отсюда на некоторое времечко, сестричка, — ласково сказал Федор сестре.

Поцеловав снова руку брата и перекрестив его, она пошла из опочивальни, но на пороге приостановилась и обернула назад голову, чтобы взглянуть еще раз на боярина, и украдкой кивнула головою, как бы стараясь ободрить его этим знаком.

В передней царского дворца, которая в ту пору соответствовала нынешней приемной зале и в которую пошла теперь Софья, были в сборе все бояре, явившиеся во дворец, чтобы наведаться о царском здоровье. Боясь нарушить тишину, господствовавшую в царских палатах, они, рассевшись на лавках, шептались между собою, и заметно было, что между ними не было общего лада, так как одни искоса и с недоверием посматривали на других. Теперь в царской передней собралось все, что было на Москве богатого и знатного. С беспокойством ожидали бояре вестей о здоровье государя, предвидя, что кончина его вознесет одних и низложит других, что одни воспользуются милостями, других поразит опала.

Неожиданный приход царевны в переднюю удивил и смутил бояр. Появление ее в таком собрании, где были только мужчины, показалось необычайным нарушением не только придворных порядков, но и общественного приличия. В особенности изумило то, что лицо царевны не было покрыто фатою в противность обычаю, которого, как тогда думалось,

нигде и ни в каком случае нельзя было нарушить. Изумленные бояре сперва исподлобья посмотрели на царевну, а потом вопросительно переглянулись друг с другом. Софья, однако, не смутилась и, в свою очередь, смело смотрела на них, так что они, приподнявшись поспешно с лавок, приветствовали царевну раболепными поклонами.

Не обращая на поклоны внимания, царевна остановилась посреди передней.

— Здравие его царского величества, по благодати Господа Бога, улучшилось в эту ночь, — громким и твердым голосом заявила она. — Великий государь повелел сказать вам милостивое слово и приказал отпустить по домам.

В ответ на это последовали снова низкие поклоны, которые в ту пору были в таком обычае, что, например, боярин князь Трубецкой, выражая однажды свою благодарность царю Алексею Михайловичу за оказанные ему милости, положил сразу перед государем тридцать земных поклонов.

Но и на повторенные поклоны царевна не отвечала никаким приветствием. Холодность и важность ее смутили бояр.

— Пошли, Господи, великому нашего государю скорое выздоровление! Молим пресвятую Богородицу Деву и святых Божиих угодников о долголетию и здравии его царского величества! — заговорили бояре и стали один за другим выходить из передней; но между ними не трогался с места один только боярин, Лев Кириллович Нарышкин.

— Что же ты не едешь домой? — строго спросила его Софья. — Ведь тебе, как и всем другим боярам, сказано уже о государевом здоровье...

— Не затем только, чтобы узнать о здоровье его царского величества, прибыл я сюда, — отвечал смелым, почти дерзким голосом Нарышкин. — У меня, царевна, есть еще и другая надобность.

— Какая? — резко перебила Софья, смерив суровым взглядом боярина с головы до пяток.

— Благоверная царица, великая государыня Наталия Кирилловна повелела мне наведаться, может ли она навестить

его царское величество, и так как ты, государыня царевна, соизволила объявить, что здоровье его царского величества...

Софья не дала Нарышкину докончить его слов.

— Точно что здоровье государя-братца стало лучше, — перебила она, — да все же ему еще пока не под силу вести беседу с царицей-матушкой. Слышишь, что я говорю? Так и доложи ее царскому величеству.

По губам боярина пробежала насмешливая улыбка, а Софья сделала несколько шагов вперед, чтобы выйти из передней.

— Думается мне, — заговорил ей вслед Нарышкин, — что если к его царскому величеству есть доступ другим сродникам, то отказ в этом царице Наталии Кирилловне будет непристойен.

Царевна быстро повернулась к Нарышкину. Лицо ее выражало сильный гнев.

— Что ты говоришь? — спросила она его раздраженным голосом.

— Говорю я, благоверная царевна, что никому не следует забывать, что царица Наталия Кирилловна, по вдовству своему, старейшая в царской семье особа и что, по супружеству своему, она тебе, твоим братьям и сестрам заступает родную мать.

— Не тебе учить нас почтению к царице! — воскликнула Софья, топнув ногою о пол. — Хотя ты и царский сродник, но не забывай, боярин, что ты остался все тем же нашим холопом, каким родился, и должен всегда памятовать, с кем ты говоришь. Ступай отсюда! — крикнула она громче прежнего, показав Нарышкину на выходную дверь повелительным движением руки.

Как ни казался сперва тверд и надменен боярин, но он опешил при грозном на него окрике царевны и, отвесив ей низкий поклон, смиренно выбрался из передней на Красное крыльцо, на котором оставались еще бояре, державшие сторону царицы Наталии Кирилловны и поджидавшие Нарышкина.

— Что скажешь, Лев Кириллович? — спросил Нарышкина боярин князь Черкасский, когда Нарышкин в сильном смущении появился на Красном крыльце.

— Пойдите, да поговорите-ка с царевной Софьей, Алексеевной! Как же, допустит она царицу к государю! Видно,

что у них на уме свое дело. Да и обманула нас царица: говорит, что здоровье государя лучше, а Гаден сказывал, что много, если царь еще дней с пяток или с неделю проживет. Посмотрите, что они изведут его царское величество, — зловеще добавил Нарышкин.

— А царица-то сегодня? Каково? Надивиться не могу ее бесстыдству! — говорил Одоевский, покачивая головою.

— Что и говорить! — отозвался князь Боротынский. — Слыхано ли дело, чтобы когда-нибудь царица, да еще с открытым лицом, выходила к мужчинам!

— Никакого женского стыда в ней нет, а помните ли, как прошлым летом, когда царица Наталья Кирилловна, проезжая по Москве, приподняла только занавеску в своей колымаге, как вся Москва заговорила и укоряла царицу за небывалое у нас новшество! А царица-то что делает?

Бормоча и шушукаясь между собою, бояре нарышкинской партии спустились медленно с Красного крыльца и поехали домой.

Выпроводив Нарышкина из передней, царица осталась там, поджидая выхода князя Василия Васильевича Голицына из государственной опочивальни. Она догадывалась, о чем царь желал поговорить с князем, и сильно билось у нее сердце в ожидании, что скажет ей Голицын, который наконец показался на пороге передней. По лицу его было заметно, что беседа с государем расстроила его. Увидев Голицына, Софья бросилась к нему навстречу.

— Не удалось на этот раз, царица! — сказал Голицын, печально покачав головою и с выражением безнадежности разводя руками. — Ссылается государь на волю покойного своего родителя и говорит, что после его кончины следует быть на царстве царевичу Петру Алексеевичу.

— Это дело Нарышкиных! — запальчиво вскрикнула Софья.

— Видно, ты, царица, плохо сторожишь от них государя, — слегка улыбнувшись, заметил Голицын.

— Сторожу я его хорошо, от зари и до зари сижу при его постели! Не теперь, а давно Нарышкины опередили нас в этом деле. Они, как только скончался батюшка, пустили по Москве

молву, будто он завещал престол царевичу Петру. Он, пожалуй, и вправду сделал бы это, если бы в ту пору, когда он отходил, пустили к нему нашу мачеху. Она сумела бы уговорить его, ведь ты знаешь, какую власть взяла она над нашим родителем...

— Просто-напросто околдовала его! — перебил Голицын.

— Полно, князь Василий! Нам нужно думать теперь о том, чтобы одолеть Нарышкиных не волшебством, а другими способами, и мне кажется, что стрельцы и раскольники могут пособить нам лучше всяких знахарей и кудесников...

— Ты правду говоришь, царевна! — как-то радостно вскрикнул Голицын. — Стоит только нам привлечь к себе Москву, а следом за ней наверно пойдет и все государство...

В это время в переходе, ведшем в переднюю, послышались чьи-то шаги. Царевна и князь быстро двинулись в разные стороны. Она вошла в опочивальню брата, а он в глубоком раздумье вышел на Красное крыльцо.

IV

Глубоко в памяти подраставшей Софьи Алексеевны запечатлелся суровый и величавый облик Феодосьи Прокофьевны Морозовой, жены боярина Глеба Ивановича. Царь Алексей Михайлович отменно жаловал и особенно чествовал эту знатную боярыню, деверь которой, боярин Борис Иванович Морозов, был женат на Анне Ильинишне Милославской, родной сестре царицы Марии Ильиничны, и следовательно, приходился свояком государю. Каждый день боярыня Морозова приезжала вверх к царице Марии Ильиничне, чтобы вместе с нею слушать позднюю обедню. По несколько раз в неделю бывала она за царицыным столом и редкий вечер не проводила с государынею, запросто беседуя с нею. Казалось, судьба дала Феодосье Прокофьевне все, чтобы она была счастлива в земной своей жизни: она была богата и знатна, и вся Москва говорила о ней, как о боярыне разумной, сердобольной и благочестивой. Морозова была дочь боярина Соковнина, она вышла за-, муж за далеко не равного ей по годам Глеба Ивановича, так как ему во время брака было уже пятьдесят, а ей только минуло семнадцать лет. Но брак этот был удачен: молодая жена любила и уважала своего пожилого мужа, а он, как говорится, души в ней не слышал. Тридцати лет овдовела Морозова и жила первые годы после своего вдовства, как следовало жить богатой боярыне. Было у нее восемь тысяч крестьян, разного богатства считалось более чем на двести тысяч рублей, а в московских ее покоях прислуживало ей более четырехсот человек. Ездила она по Москве в карете, украшенной мусиею (мозаикою) и золотом, на двенадцати армагаках с «гремячими цепями», а около кареты ее ехало и бежало, по тогдашнему обычаю, множество дворовой челяди: иногда сто, иногда двести, а иногда даже и триста слуг. Но вдруг боярыня, ни с того ни с сего, перестала навещать родных и знакомых.

— Видно, больно возгордилась, уже слишком чествуют ее в царских палатах! — заговорили родные и знакомые.

Вскоре, однако, они увидели, что, отзываясь так, они сильно ошибались, потому что Морозова перестала показываться и во дворце, а между тем молва о добрых делах ее становилась в Москве все громче и громче.

— Совсем позабыла ты нас, Федосья Прокофьевна! — приветливо укорял царь Алексей Михайлович Морозову при встрече с нею.

— Препней дружбы со мною вести не хочешь, — ласково выговаривала ей царица Марья Ильинична, когда боярыня, по необходимости, в праздники или в день своего ангела, с именинным калачом приезжала к царице.

На эти милостивые слова она не отвечала ничего и только смиренно кланялась царю и его супруге.

Скончалась царица Марья. Ильинична, и царь позабыл на время о Морозовой, но когда наступило время второго его брака с Натальей Кирилловною, он вспомнил и указал Морозовой, как старейшей по покойному ее мужу боярыне, стоять первую между боярынями и говорить «царскую титлу».

С извещением о таком милостивом почете отправился к Морозовой царский стольник.

— Не буду говорить я царскую титлу, — отозвалась с недовольным видом Морозова, вместо того, чтобы с радостью принять оказанную ей честь.

— Так и прикажешь сказать государю? — спросил изумленный стольник.

— Так и скажи, — решительно отвечала она.

Царский посланец только пожал плечами и поехал с дерзким ответом к государю.

— Нешто обидел я ее чем-нибудь? — спросил сам себя царь, как бы теряясь в догадках о причине отказа Морозовой, и отправил к ней ее седовласого дядю, боярина Михаила Алексеевича Ртищева.

— Скажи бабе, чтобы не дурила, — было коротким поручением царя второму посланцу.

— Не велел тебе, племянница, его царское величество душить, — сказал приехавший к Морозовой Ртищев. — И

воистину ты дуришь! С чего не хочешь говорить царскую титулу на бракосочетании великого государя?

— Потому не хочу говорить, что мне придется назвать его благоверным, а какой же он благоверный, коль идет во сретение антихристу? — с негодованием отвечала боярыня.

Дядюшка, заслышав это, раскрыл от удивления рот и вытаращил глаза.

— Чего так смотришь на меня? Разве он благоверный? Еретик он! Могу ли я поцеловать у него руку? А в палатах его могу ли я уклониться от благословения архиереев? Нет, дядюшка, лучше пострадать, чем иметь сообщение с никонианцами, — сказала Морозова и, закрыв лицо руками, отчаянно замотала головою.

— Говоришь ты неправду! Святейший патриарх Никон — муж великий и премудрый учитель, и новые книги, которые при нем напечатаны, правильны, — вразумлял. Ртищев племянницу. — Оставь распрю, не прекословь великому государю и властям духовным. Видно, протопоп прельстил тебя?

— Нет, дядюшка, — с улыбкою перебила Морозова, — неправду говорить изволишь, сладкое горьким называешь. Протопоп — истинный ученик Христов!

— Ну поступай, как знаешь! — с досадою проворчал Ртищев. — Только берегись, смотри, чтобы не постиг тебя огнепальный гнев великого государя.

С эту угрозою старик приподнялся с кресла и поехал во дворец.

— Больна, ваше царское величество, боярыня Морозова, да так больна, что и со двора выехать не может, — доложил лживо Ртищев, спасая свою племянницу от государева гнева.

— Больна, так что ж тут поделаешь! Другой предназначенная ей честь достанется, — заметил кротко царь и пригрозил ездившему к Морозовой стольнику отдуть его батогами, чтобы он впредь на боярыню Федосью Прокофьевну облыжно не доносил.

В то время, когда боярыня беседовала с дядею, в подклети, то есть в нижнем жилье ее хором, шла другая беседа.

— Будет тебе, протопоп, лежать! Ведь ты поп, а стыда у тебя нет! — так говорил лежавшему на постели, одетому в подрясник мужчине стоявший посреди комнаты в одной грязной рубашке, с длинными растрепанными волосами и со включенною бородою парень лет за тридцать. — Посмотри на меня, днем я работаю во славу Господню, а ночью полежу да встану и поклонов с тысячу отброшу.

— Юродствуешь ты, Федька, дурь и блажь на себя напускаешь. Неужто ты мнишь тем угодить Господу Богу? Думаешь ты, что годится день-деньской шляться да разный вздор молоть, а ночью вскакивать да земные поклоны класть. Жил бы ты, как живут все люди, лучше бы было, — спокойно отвечал Аввакум Петрович.

— Нетто ты, протопоп, не знаешь, что Бог повелел пророку Исаии ходить нагу и босу, Иеремии возложить на выю клады и узы, а Иезекиилю возлежать на правом боку сорок, а на левом сто пятьдесят дней? Все это ты знаешь, да тебе бы только лежать, а я пророк и обличитель... Ты вот и молиться-то не охоч, сам лежа молитвы читаешь, мне же» велишь за тебя земные поклоны класть, а я и от своих спину разогнуть не могу.

— Как же! Рассказывай! — насмешливо перебил Аввакум. — Богу достоин поклоняться духом, а не телодвижениями, а кто любит Христа, тот за него пострадать должен. А разве мало я настрадался? Был я, как ты знаешь, в великой чести, состоял при Казанском соборе протопопом, церковные книги правил, беседовал не только с боярами и патриархом, но и с самим царем, а предстала надобность, так от страданий не уклонился. Когда я был отдан под начало Илариону, епископу рязанскому, каких только мук не натерпелся я! Редкий день не жарил меня епископ плетьюми, принуждая к новому антихристову таинству, а батогам так и счету нет. Сидел я в такой землянке, что в рост выпрямиться не мог, тяжелые железы с рук и ног моих не снимали. А в Сибири сколько страданий я перенес, да и не один, а была со мной моя протопопица! Где мы только с ней не блуждали! Не раз хищные звери устремлялись на нас, и только Господь охранял нас своею

благодатью. Вот такие страдания подобают человекам, а не дурачества попеременно с молитвой.

Федор присмирел и присел на пол на корточки. Охватив колени обеими руками, он начал качаться из стороны в сторону.

— Вот хотя бы ты, Федор, вместо того чтоб попусту юродствовать, вышел бы на площадь, разложил бы костер, да и сжег бы на нем новые книги! — начал опять Аввакум.

— А что, и вправду! Завтра же сделаю! Да где только таких книг достать? — привскочив с полу, крикнул юродивый.

— Где достать? Да боярыня их хоть целый воз закупит!

— Ай да ладно! Пышь! Пышь! — весело выкрикивал Федор, подсакивая на одной ноге по комнате.

— И коли пострадаешь, так пострадаешь за дело, — вкушал Аввакум. — Вот Киприан тоже юродствовал, да смел был, за то и сподобился мученической кончины, когда ему в Пустоозерском остроге голову отрубили. Страдальцем за истинную веру стал, а ты что?

— Погоди, протопоп! Придет и моя чередка! — продолжая подпрыгивать, крикнул Федор.

Он не ошибся, так как его вскоре за упорство в староверстве повесили в Мезени.

Об Аввакуме, нашедшем себе убежище по возвращении из Сибири в доме Морозовой, часто толковали и в царских хоромах, и в кремлевских теремах, как о ревностном поборнике раскола. Давно слышала о нем царевна Софья и наметила его в числе людей, которые должны были служить орудием ее замыслов.

Проводив Ртищева, Морозова принялась за обычные занятия, а их у нее было не мало: всеми делами обширного своего как городского, так и деревенского хозяйства заправляла она сама, да сверх того были у нее и другие хлопоты. Дом ее был полон посторонними людьми, которых она у себя приютила. Кроме Аввакума, Федора и Киприана, жило у нее еще несколько юродивых мужчин и женщин, а также пять инокинь, изгнанных из монастырей за приверженность к древнему благочестию. Проживали у нее также сироты, старицы, странницы, захожие черницы и калеки. Одних нищих кормила у себя боярыня человек по сто каждый день. Словом, благочестие господствовало в доме Морозовой, а чтение священных книг и молитвенное пение немолчно слышались в ее обширных хоромах.

Много добрых дел творила она на стороне: выкупала с правежа должников, щедрою рукою раздавала милостыню нищим, посещала колодников; ездила она также и по церквам и монастырям, оскверненным никонианами, но делала это, как говорила она, только «из приличия». Не довольствуясь благочестивыми подвигами, она захотела постричься в монахини, хотя ей встречалось в этом случае особое затруднение: сын Морозовой подрастал и предстояло вскоре справлять его свадьбу, на которой ей пришлось бы быть хозяйкою, а в иноческом чине этого делать не подобало.

— Пусть будет, что будет, а о душе надобно пещись прежде всего, — сказала боярыня и решилась постричься, несмотря на то, что от такого намерения отклонял ее Аввакум.

И тайно от всех ее постриг бывший игумен Домфей, один из ревностнейших расколоучителей. Аввакум и после этого сохранил свою прежнюю силу над боярынею-инокинею, и любила она часто и подолгу беседовать с ним.

— Не наделил их Господь разумом, — говорил однажды протопоп боярыне. — Оба царевича и все царевны куда как

тупы рассудком, одна царевна Софья Алексеевна заправская умница и чем более подрастает, тем более крепнет умом. Сказывал мне не раз князь Василий Васильич Голицын, что не может надивиться ее светлому разуму, все она в толк взять может. Как заговорят с нею о делах государственных, так она складнее всякого боярина и думного дьяка рассуждает, да и к книжному учению она куда как прилежит. Поверишь ли, матушка, что она писание Сильвестра Медведева вчерне поправляла и на многие погрешности ему указала и недомыслия его разъяснила! Послушала бы ты, что о ней князь Иван Андреевич Хованский рассказывает. Да и вообще слышно, что такой разумной девицы никогда в целом свете еще не бывало...

— Вот бы ее от никонианства отвратить да преклонить бы на нашу сторону! Царевна ведь! — перебила Морозова.

— Велика важность, что царевна! — с презрением отозвался протопоп. — Пожалуй, и ты Бог весть что о себе думаешь? Али ты лучше нас тем, что боярыня? Помни, что одинаково над нами распростер Бог небо, одинаково светит нам месяц и сияет солнце, а все прозябающее служит мне не меньше, чем и тебе, — говорил протопоп, повторяя в главных чертах свое основное учение.

Протопоп призадумался. В голове его зашевелилась обычная, не дававшая ему покоя мысль.

«Богу достоин поклоняться духом, — думал он. — Ошибки в церковных книгах сами по себе небольшая еще беда, и по таким книгам и даже вовсе без книг может молиться тот, кто захочет. Книги — только предлог, чтоб поднять народ против государственного и мирского строения».

— Нет, матушка, нам нужна не царевна, а ее душа, ведь и у нее такая же душа, как и у меня, а душа человеческая — не игрушка. Справим мы наше мирское дело и без царевен. Тот, кто на земле пребывал на доле, пребудет по смерти на высоте.

— О царевне Софье Алексеевне я заговорила, отец протопоп, потому только, что твоя пречестность сам навел меня на мысль о ней своими речами, — робко извинялась Морозова.

— Ни на кого и ни на что не навожу я моими речами, — резко отозвался суровый Аввакум, а сам между тем подумал:

«Как бы все-таки хорошо было, если бы удалось уловить в сети раскола умную и бойкую Софью Алексеевну!»

Как ни таила Морозова свою принадлежность к расколу, но молва об этом дошла наконец до царя. Проведал он также, что она привлекла к расколу и сестру свою, боярыню, княгиню Евдокию Прокофьевну Урусову. Подшепнули великому государю и о том, почему боярыня Морозова несколько лет тому назад не захотела сказывать на свадьбе его величества «царскую титулу». Узнав об этом, «тишайший царь» пришел «в огнепальную ярость» и отправил снова к боярыне дядю ее Михаила Алексеевича Ртищева. На этот раз дядя поехал не один, а взял себе на подмогу свою дочь Анну, двоюродную сестру Федосьи, которую прежде так нежно любила Морозова.

Боярин заговорил племяннице свои прежние речи, но встретил с ее стороны ту же непреклонность. Заговорила после него Анна.

— Ох, сестрица, — сказала она, — съели тебя старицы. Как птенца отучили тебя они от нас; не только нас презираешь, но и о сыне своем не радеешь, а надобно бы тебе и на сонного его любоваться, над красотой его свечку поставить! Сколько раз и великий государь красотой его любовался...

— Не прельщена я старицами, — сурово отвечала Морозова. — Творю я все по благодати Бога, которого чту целым умом, а Христа люблю более, чем сына. Отдайте моего Иванушку хотя на растерзание псам, а я все-таки от древнего благочестия не отступлю. Знаю я только одно: если я до конца в Христовой вере пребуду и сподоблюсь за это вкусить смерть, то никто не может отнять у меня моего сына; в царствии небесном соединюсь я с ними паки.

Ртищев убедился, что попусту будет уговаривать упорствующую племянницу. Он распрощался с нею, поехал к царю и доложил обо всем по правде, боясь, что теперь и помимо него государь проведает.

Алексей Михайлович нахмурил брови.

— Ступай к боярыне Морозовой, — обратился он к бывшему при докладе Ртищева князю Троекурову, — и скажи,

что тяжко ей будет бороться со мною. Один кто-нибудь из нас одолеет, и, наверно, одолею я, а не она!

Вернулся князь Троекуров от Морозовой и коротко и ясно донес государю, что боярыня покориться не хочет и новых книг не принимает.

Заговорили в теремах об ослушании Морозовой перед царскою волею.

— Вишь ведь какая упорная!.. — повторяли женщины, окружавшие Софью Алексеевну. — Только боярыня, а как упорствует, никого себе в версту не ставит!

Чутким ухом прислушивалась девятнадцатилетняя царевна к рассказам о Морозовой.

«Вот и женщина, — думалось ей, — а по твердости нрава и по смелости не уступает мужскому полу. Не будь только робка, а наделаешь много», — добавляла мысленно царевна, и пример Морозовой ободрял молодую девушку в ее намерении действовать решительно и отважно, если бы представился к тому случай. Захотелось ей также узнать и о расколе, которого так крепко держалась Морозова, и с вопросом об этом обратилась она однажды к князю Ивану Андреевичу Хованскому, который тоже слыл в Москве тайным врагом никониан.

— Тут, благородная и пресветлейшая царевна, выходят разные церковные препирательства, — отвечал уклончиво князь Иван на вопрос царевны о различия между новою и старою верою. — Ведать об этом должен духовный чин, а не мы, миряне. Думается, впрочем, одно: в том, что зовут ныне у нас расколом, кроется небывалая народная сила, и что если она поднимается, то трудно будет одолеть ее мирским и духовным властям. Вознесет она того, кто будет ею править...

Такой отзыв Хованского о расколе зародил в ней мысль воспользоваться, когда придет пора, этою грозною силою.

Почти с год оставил царь Морозову в покос, как вдруг до него дошел слух, что она не называет его благоверным.

— Не именует меня благоверным, стало быть, не признает моей царской власти! — вспылал он и отправил к Морозовой боярина князя Петра Семеновича Урусова с повторительным требованием, чтобы она покорилась.

Сообщил Урусов царское повеление своей снохе и грозил ей страшными бедами.

— Почто царский гнев на мое убожество? — смиренно отвечала Морозова. — Если царь хочет отставить меня от веры, то десница Божия покроет меня. Хочу умереть в отческой вере, в которой родилась и крестилась.

— Не покоряется боярыня твоему царскому величеству, — печально доложил Урусов царю.

— Не покоряется? Так разнесу я ее вконец! — грозно крикнул великий государь и гневно затряс своею темно-русою бородою.

Урусов, выйдя из дворца, поспешил домой, чтобы через свою жену предупредить Морозову о предстоящей ей беде. Но с бесстрашием выслушала боярыня эту грозную весть.

— Матушки и сестрицы мои во Христе Иисусе! — заговорила она, собрав около себя всех живших в доме ее монахинь в странниц. — Наступил час пришествия антихристового, беда движется на нас, идите вы все от меня, куда вас Господь наставит, а я одна буду страдать за вас.

— Ты одна не останешься, я с тобою до конца пребуду! — заливаясь слезами и кидаясь на шею сестры, вскрикнула княгиня.

Между тем сильно струхнувшие старицы и странницы, позабрав наскоро свои мешки и котомки и получив от боярыни денежную и съестную подачку, с плачем и жалобными причитаниями выбрались из ее хором и разбрелись по Москве и за Москву во все стороны.

Стало вечереть, на колокольнях московских церквей отзвонили ко всенощной. Загородили в Москве улицы на ночь рогатками, и все успокоилось, как будто замерло в городе. Отходя ко сну, боярыня и княгиня сотворили усердную и продолжительную молитву, после которой Морозова легла в постельной, а княгиня в соседней комнате. Они крепко спали, когда вдруг на улице около хором послышался шум, а следом за тем раздался сильный стук в воротах, в которые колотили несколькими палками с настоятельным требованием, чтобы тотчас же отсунули затвор.

— Царская посылка к нам прибыла! — в ужасе вскрикнула проснувшаяся боярыня.

Она хотела вскочить, но ноги у нее от страха подкосились, и она снова опустилась на постель.

— Не бойся, сестрица! — отозвалась из другой комнаты тоже проснувшаяся княгиня. — Христос с нами! Сейчас приду к тебе, положим начало нашим страданиям.

Княгиня спешно вошла в постельную.

Пока отворяли ворота и слышались тяжелые шаги шедших по лестнице людей, обе сестры клали на прощанье одна перед другою земные поклоны, а потом, благословись друг у друга, легли на прежние места.

Вскоре дверь в постельную отворилась, и при тусклом свете лампад боярыня увидела перед собою седобородого архимандрита Чудова монастыря Иоакима в сопровождении думного дворянина Лариона Иванова.

— Встань, боярыня! — повелительным голосом сказал вошедший архимандрит. — Я принес тебе царское слово.

Боярыня не отозвалась на эту речь и даже не пошевелилась.

— Встань, говорю тебе! — прикрикнул Иоаким. — В присутствии духовного лица лежать тебе не приличествует.

— Я больна, — пробормотала Морозова.

— Ну, перемогись, а все-таки встань. Говорю тебе не от своего имени, а от имени благоверного великого государя.

— Какой он благоверный! — вспылила Морозова, быстро привскочив в постели, и затем снова опустилась на нее.

— Говорить так тебе негоже, — внушительно заметил архимандрит, — да и лежать теперь не след; не можешь стоять по болезни, так хотя посиди на постели.

— Не встану и не сяду, — отозвалась упорно Морозова и с этими словами отвернулась на постели от архимандрита.

— Добром с тобою, как видно, ничего не поделаешь; спрошу благоверного государя, как повелит он поступить с такою ослушницею.

— Какой он благоверный! — сердито проговорила Морозова.

Архимандрит сделал вид, что не слышал этих предерзостных слов.

— Посмотри, кто там, в другой горнице, — приказал он думному дворянину.

— Ты кто такая? — окликнул Иванов, заглянув в соседнюю комнату и увидав там лежавшую на лавке женщину.

— Я жена боярина князя Семена Петровича Урусова, — отозвалась княгиня.

— А спроси-ка ее, как она крестится? — приказал Иоаким Иванову.

Княгиня быстро соскочила с лавки и, вбежав опрометью в постельную, остановилась перед архимандритом.

— Сице верую! — закричала она, подняв руку, сложенную в двуперстное крестное знамение.

Архимандрит только крякнул и значительно покачал головою.

— Сторожи-ка их здесь, не пускай никуда, а я отправлюсь к его царскому величеству испросить, как велит он поступить с ними, — сказал Иоаким дворянину.

С этими словами архимандрит вышел, а Иванов остался караулить боярынь.

Когда архимандрит пришел в царские палаты, пробило четыре часа утра, и царь Алексей Михайлович был уже на ногах. Архимандрит доложил царю, чем кончилась его посылка, и рассказал, как Морозова крепко сопротивляется царскому велению, прибавив, что и княгиня Урусова оказалась непокорна.

— Истинно ли ты говоришь? — спросил, удивившись, царь. — Не думаю я, чтобы так было. Слышал я, что княгиня смиренна и не гнушается нашей службы, а про боярыню я давно знаю, что люта и сумасбродна.

— Сестра боярыни, — возразил Иоаким, — не только уподобляется ей, но еще злее ругается.

— Так возьми их обеих под караул да допроси хорошенько слуг Морозовой! — распорядился царь.

Архимандрит из царских палат отправился снова в хоромы боярыни Морозовой.

— Велено отогнать тебя от дому; полно жить на высоте, сойди долу! — торжественно заявил он, входя в постельную. — Встань и иди отсюда!

Боярыня лежала и безмолвствовала. Как настоятельно и грозно ни приказывал ей встать с постели архимандрит, она, казалось, не обращала никакого внимания.

— Нечего делать! — сказал он Иванову. — Приходится забирать ее силою.

Думный дворянин отворил окно, крикнул во двор, и на зов его вошли в постельную несколько стрельцов.

По приказанию архимандрита они приподняли с постели полновесную боярыню и, посадив ее силою в кресла, понесли из хором.

На поднявшийся шум прибежал наверх молодой боярин Иван Глебович. Он хотел было проститься с матерью, но его не допустили, и он мог только положить ей вслед земной поклон.

Княгиня не упорствовала. Она беспрекословно подчинилась приказу архимандрита идти в людскую хорому, в которую втащили на креслах и Морозову. Там по приказанию архимандрита заковали им руки в тяжелые железа, а на ноги надели конские железные путы и держали их так два дня под крепким караулом. На третий день приказано было доставить их в Чудов монастырь, в так называемую вселенскую, или соборную, палату. Княгиня пошла пешком, а упорствовавшую Морозову понесли на креслах. Толпа народа валила за нею, и в этой толпе шел разноречивый говор: одни осуждали Морозову

за упорство, а другие, напротив, превозносили ее мужество и стойкость.

Во вселенской палате ожидал боярыню и княгиню крутицкий митрополит Павел, а также сановные люди церковного и мирского чина. Там сопротивление Морозовой началось с того, что она оказывала властям презрение и неуважение и не хотела говорить с ними стоя. Как ни бились, чтобы заставить ее стоять, но ничего не могли поделать. Приподнимут ее, а она опустится и присядет на кресло или на пол. Станут держать ее под руки, она рвется, мечется и отбивается.

— Я помню честь и породу Морозовых, — кричала она, — и перед вами стоять не буду.

Власти, наконец, уступили Морозовой, допустив, скрепя сердце, чтобы она сидела в кресле.

— Прельстили тебя старцы и старицы, с которыми ты так любовно водилась, — начал свое пастырское увещание Павел, — покорись царю и вспомни сына.

— Не от старцев и стариц прельщена я, — бойко возразила Морозова, — а навыкла от праведных рабов Божиих истинному пути и благочестию. Ты вспомнил мне о сыне, но знай, что я живу для Христа, а не для сына.

Долго бился Павел с обеими боярынями, но чем более продолжались увещания, тем упорнее делались они обе и тем дерзновеннее становились их речи.

— Дьявол тебя погубил, сдружился ты с бесами, мирно живешь с ними, любят тебя они! Скольких ты порубил и пожег христиан, скольких низвел в ад! — с торжественным укором говорила Морозова, обращаясь к епископу рязанскому Илариону, мучителю Аввакума.

Истомились порядком духовные власти и, убедившись, что приходится отказаться от дальнейших увещаний, постановили: предать непокорных боярынь мирскому суду. Тогда повели их в монастырскую подклеть. Там, в мрачном подвале, под низко нависшими сводами, с окошечками, заслоненными толстыми железными решетками, стояли на полу две большие, тяжелые

деревянные колоды, так называемые «стулья», со вделанными в них железными цепями, на конце которых были железные ошейники, или огорля.

— Вхожу я в пресветлую темницу! — радостно проговорила Морозова, когда ее ввели в подклеть.

Ее подтащили к колоде и приподняли с полу огорлие.

— Слава тебе, Господи, что сподобил меня, грешную, носить узы! — сказала Морозова, перекрестясь и целуя огорлие, которое стрельцы надели на шею боярыни, заперев его на большой висячий замок.

— Не стыжусь я поругания, а веселюсь во имя Христа, — добавила она, когда холодное железо плотно охватило ее шею.

После этого обеих боярынь, вместе с колодами, взвалили порознь на дровни. Сестры поняли, что их хотят разлучить.

— Поминай меня, убогую, в твоих молитвах! — крикнула на прощанье Морозова сестре.

И действительно, из Чудова монастыря Морозову повезли на печерское подворье, а Урусову в Алексеевский монастырь. Когда первую провозили мимо кремлевских палат, то она, думая, что царь смотрит на нее в окно, умышленно привстала на дровнях и беспрестанно крестилась двумя перстами.

На подворье Морозову посадили в темный подвал. Железный ошейник скоро протер ее нежную и белую шею до кровавых мучительных ран, а оковы изъязвили ей руки и ноги. Боярыня, однако, не роптала и не смирялась, а скорбела лишь о том, что короткая цепь и тяжелые оковы не допускали ее класть земные поклоны. В свою очередь и княгиня упорствовала. Сидя в Алексеевском монастыре, она, в противность воле царской, не хотела ходить в церковь, и ее, «как мертвое тело», носили туда на рогоженных носилках.

— Зачем волочите меня! — вопила она. — Не хочу я молиться с вами.

Скоро об упорстве Урусовой заговорили в Москве, и в Алексеевский монастырь стала съезжаться московская знать, а также стало сходиться множество народа, чтоб смотреть, как «волокут» княгиню в церковь.

Минул почти год со времени заточения обеих сестер, когда на патриарший престол вступил Питирим. Игуменья Алексеевского монастыря доложила вновь поставленному святейшему владыке о том соблазне, какой причиняет Урусова своим упорством, а кстати напомнила и о Морозовой. Новый патриарх, мирволивший расколу, завел с государем речь о заточенных боярынях.

— Советую твоему царскому величеству, — сказал Питирим государю, — отдать вдове Морозовой дом да дворов сотницу за потребу, а сестру ее, княгиню, отдал бы ты князю; так приличнее будет. Дело их женское, что они смыслят?

— Давно бы я так сделал, да не знает твое святейшество лютости боярыни. Надругалась она, да и ныне надругается надо мною. Не веришь, так испытай сам; позови ее к себе и узнаешь, какова она; и когда вкусишь неприятное, тогда я и сделаю, что повелит твое владычество.

После этого разговора Морозову представили снова во вселенскую палату перед патриархом.

— Приобщись, боярыня, — сказал кротко святитель, — по тем служебникам, по которым причащается благоверный великий государь и его благочестивое семейство.

— Не у кого мне приобщаться, — резко отозвалась Морозова.

— Как не у кого? — с удивлением спросил патриарх. — Попов в Москве много.

— Много, да истинных нет! — перебила боярыня.

— Ну, так я приобщу тебя, — уступчиво предложил патриарх. — Я вельми пекусь о тебе.

— Да разве есть какая разница между тобою и ими? — вскрикнула с негодованием Морозова. — Все вы еретики. Никон был еретик, и вы ему подобны. Ты исполняешь только веленья земного царя! Отвращаюсь от тебя и не хочу твоего приобщения!

Так как Морозова во время разговора не хотела стоять перед патриархом, то стрельцы поддерживали ее по сторонам, так что она висела у них на руках. Патриарх между тем приказал облачить себя и хотел помазать Морозову елеем.

Увидев эти приготовления, она быстро выпрямилась во весь рост и, подняв вверх сжатые кулаки, зазвенела цепями.

— Не губи меня, грешную, отступным маслом! — неистово редела она. — Неужели ты хочешь одним часом погубить весь мой труд? Отступишь, а не то опростоволошусь, сорву с головы убрус! Осрамлю и тебя, и себя, — угрожала Морозова, так как, по тогдашнему обычаю, женщине позорно было показаться, а мужчинам видеть ее с непокрытою головою.

— Вражья ты дочь! — пробормотал патриарх. — Отныне я и сам отступаюсь от тебя, — торжественно на всю палату возгласил он, выведенный из терпения решимостью Морозовой опозорить патриаршие седины.

Вкусив неприятное, патриарх обо всем происходившем в Чудове монастыре доложил государю.

— Сожжем ее, владыко, в срубе! — заревел в ярости «тишайший» царь Алексей Михайлович. — А тем временем я сумею распорядиться с нею, — добавил он, грозно пыхтя от гнева при своей царственной тучности.

Между тем к страдавшим за древнее благочестие боярыням присоединились и их прежние сопричастницы.

При разброде из дома Морозовой стариц и странниц успели между ними скрыться инокиня Мария и старица Меланья, до такой степени влиявшая на Морозову, что последняя, как она сама говорила, «отсекла перед Меланьею вконец свою волю». Беглянок этих успели, однако, захватить и теперь их привезли на ямской двор, куда доставили также боярыню и княгиню. Когда там их всех собрали в пыточную избу, то туда вошли бояре: князь Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынский.

Зловеще выглядывала пыточная изба: устроенная посреди нее дыба, лежавшие на полу веревки, ремни, цепи, плети и кнуты показывали, что здесь занимались мучительскими делами, и, вдобавок к этой обстановке, наводившей ужас, один из палачей разводил огонь на кирпичном полу избы под сделанной в потолке трубою.

— Что ты, Федосья Прокофьевна, понаделала? — сказал сострадательно покачивая головою и обращаясь к Морозовой,

князь Воротынский. — От славы дошла до бесчестия. Вспомни только, какого ты рода!

— Не велико наше телесное благородие, — отвечала равнодушно Морозова на укорительное увещание Воротынского, — а слава земная — суета. Вспомни только, что Сын Божий жил в убожестве и был распят жидами. Что же после того значат все наши страдания? Обещалась я Христу и не хочу изменить ему до последнего вздоха. Не страшны мне ни изгнание из дому, ни узы, ни царский гнев, ни истязания...

Воротынский, смешавшись, замолчал и, исполняя царское повеление, приказал приступить к пытке.

Палачи подвели к дыбе Марию, обнажили ее по пояс, стянули ей назад руки ремнями и, прикрепив к ним конец веревки, шедшей с потолка по блоку, стали поднимать Марию на встряску. Завизжал блок, и заскрипела на нем веревка, на которой тянули к потолку страданицу; послышался отчаянный визг, захрустели суставы. Между тем один из палачей, привстав с зажженною в руках лучиною на чурбан, стал водить ею по голой спине несчастной.

— Это ли христианство, чтобы так людей мучить! — вскрикнула Морозова и сильно рванулась к Марии, но тяжелые оковы и короткая цепь с колодою удержали ее на месте.

Первый допрос кончился. Марию спустили с дыбы и вытащили во двор. Наступила очередь Морозовой; с нее сняли цепи и ошейник, крепко затянули ей ремнем руки за спиною и ремнем же связали ноги; после этого ее приподняли на дыбе, а палач начал задавать ей встряски, состоявшие в том, что он ставил на ремень, которым были связаны ноги боярыни, свою ногу и сильными ударами по ремню оттягивал вниз висевшую на дыбе Морозову. От таких ударов руки, стянутые назад, выходя из суставов, заходили все выше за спиною и стали потом подниматься над головою пытаемой. Полчаса провисела Морозова на дыбе, и в это время истязатели то увещевали, то допрашивали ее, но она и среди жестоких мук не отвечала им ничего, а только славословила имя Христово.

— Ремень протер мне кожу до жил, — проговорила она, когда ее спустили с дыбы, взглянув на свои руки, около кистей

которых и без того уже были язвы, натертые оковами, а теперь явились и кровавые раны.

Морозову вытащили также во двор и положили на снегу так, что в ногах у нее пришлась Мария, за которую палачи принялись теперь снова. Они били ее в пять плетей сперва по спине, а потом по животу, а между тем бояре угрожали Морозовой, что и ей будет то же самое, если она не откажется от ереси. Но она и сострадалица ее оставались непреклонными. Измученную Морозову отвезли снова на печерское подворье, куда неожиданно привели к ней Меланию.

— Уже дом твой, матушка, готов, — заговорила она радостно Морозовой. — Вельми он добр, целыми снопами соломы уставлен. Отойдешь ты скоро в блаженство!

— Знаю, что ты говоришь, Меланьюшка. Пойду я в жертву Христу, как свечка. Ничего я не боюсь. Испытала я разные страдания, не испытала только сожжения, пусть же испытаю и огненную смерть!

Не лгала Меланья, говоря Морозовой о том доме, который ей был приготовлен, и не ошиблась боярыня, предугадывая, что ее сожгут.

Царь, действительно, порешил сжечь Морозову на страх еретикам, и на так называемом Болоте, в московском пригороде, был уже приготовлен сруб для этой страшной, обычной, впрочем, в то время казни. Меланью водили на Болото, а потом впустили к Морозовой, чтобы она напугала боярыню. Когда, однако, дело не шутя пошло о сожжении Морозовой, то бояре «не потянули» в сторону царя, и он, в угоду им, отменил свой указ, повелев отвезти Морозову в Новодевичий монастырь и содержать там ее под крепким караулом «и каждодневно волочить к церковному пению». Меланью же и другую сподвижницу Морозовой, старицу Иустину, сожгли, и у раскольников сохранилось предание, что в час сожжения Меланьи и Иустины они наяву в видении предстали Морозовой с радостными лицами в сияющих ризах. Сожгли также в Боровске и бывшего холопа Морозовой, за то, что он добросовестно сохранил часть богатства, принадлежавшего опальной боярыне.

Твердость духа в Морозовой поддерживал протопоп Аввакум, который, несмотря на строгость надзора, успевал доставлять заточенным свои послания. Называя Морозову и сестру ее ангелами земными, столпами непоколебимыми, камнями драгоценными, звездами немеркнущими, он поучал их не бояться убивающих тело, а потому не могущих уже ничего сделать. «Мучьтесь за Христа хорошенько, — писал протопоп, — не смотрите вперед, не оглядывайтесь назад. Побоярили на земле довольно, нужно попасть в небесное боярство».

Много наслышалась в тереме царевна Софья о страданиях Федосьи Морозовой, и неукротимая духом боярыня представлялась ей образцом женской твердости, хотя бы твердость эту и приходилось применить к другим целям. Наслышалась она немало и о протопопе Аввакуме, и ей очень желалось познакомиться с этим отважным вожаком раскола, вступившего в смелую и упорную борьбу как с царскою, так и с церковною властью.

Что приведется нам делать, когда не станет государя? Притеснят нас мачеха и Нарышкины, житья нам от них не будет, погубят они нас. Сказал Гаден, что братцу жить осталось лишь несколько дней, а я объявила боярам, что ему лучше стало! — Так шепталась царица Софья Алексеевна с дальним родственником своей матери, боярином Иваном Михайловичем Милославским, посевшим в крамолах, а теперь, по уважению к старости и родству, забравшимся, как гость, в терем царицы.

— Ты разумно поступила, царица, пусть кончина государя застанет наших недругов врасплох, а сами мы подготовимся на тот случай, когда совершится воля Божия... А видала ли ты сегодня, царица, князя Василия Васильевича?

При этом имени царица несколько смутилась, а опытный глаз Милославского подметил ее смущение.

— Знаю, царица, что он тебе мил, — сказал, не стесняясь, Милославский. — Да и кто же укорит тебя за это? Князь Василий человек уже старый, да и любишь ты его не девичьим сердцем. Какая это любовь! Он боярин умный, всегда благой совет подать может, держись его.

— Поговорим лучше о деле, — с живостью перебила царица, стараясь замять начатый разговор. — Я спрашивала тебя: что нам делать, когда по воле Божией не станет государя-братца?

— Просто объявить царем Ивана Алексеевича. Ведь престол принадлежит ему и по праву первородства. Слыхано ли дело, чтобы можно было обойти старшего!

— Да ведь братец Иванушка хил, неразумен и почти что слеп. Куда же он годится? — заметила Софья.

— А ты на что, государыня царица? — смело и глядя в упор на Софью, проговорил Милославский. — Разве ты за него править царством не сможешь?

Царица встрепенулась, гордо и самоуверенно взглянув на Милославского.

— Пусть Нарышкины затевают что хотят, да и мы не оплошаем. Козни их я давно знаю. Вспомни, царевна, что еще при кончине царя Алексея Михайловича сродник их, боярин Матвеев, уговаривал государя, чтобы он обошел обоих старших братьев и объявил своим наследником царевича Петра Алексеевича. Дело к тому и шло, да мы тогда помешали, не пустили царицу Наталью Кирилловну к государю перед его кончиною. Стащили с постели царевича Федора Алексеевича, еле он мог тогда подняться, и посадили его на всероссийский престол. Помешаем и теперь. Мы всю Москву против нарышкинского отродья восставили и изведем его вконец! — злобно добавил Милославский. — Знаешь, благоверная царевна, иди-ка в царскую опочивальню, не отходи напоследки от государя, а если что проведаешь, то пришли вечерком ко мне Родилицу, да и я, быть может, передам тебе с нею кой-какие весточки.

Милославский поклонился царевне, но, уходя от нее, он вдруг в раздумье остановился.

— Видно, ты, Иван Михайлович, позабыл мне что-нибудь сказать? — спросила царевна.

При этом оклике Милославский вздрогнул и медленно возвратился к Софье Алексеевне.

— Не знаю, говорить ли тебе, царевна, что у меня теперь на уме; пожалуй, тебе страшно будет. Ты, чего доброго, не решишься на то, что необходимо придется сделать, — проговорил как-то нехотя боярин.

— Видно, ты плохо знаешь меня, Иван Михайлович, — бодро отозвалась царевна, — убеди только меня в необходимости, а я решусь на все.

Боярин вытащил из-за пазухи своей ферязи сложенный лист бумаги и подал его Софье Алексеевне.

— «Бояре Иван Кириллович, Кирилл Полуэктович, Афанасий Кири...» — начала читать Софья, развернув лист. — К чему ж ты это написал? Все они наши заклятые враги; их и без тебя я хорошо знаю, — сказала царевна, устремив смелые глаза на Милославского и возвращая ему бумагу.

— Разумеется, ты их и без меня знаешь, царевна, да не ведаешь только, что с ними нужно сделать, — загадочно возразил Милославский.

— Нужно настоять у братца-государя, чтобы он отправил их поскорее в ссылку, — перебила Софья, — да это трудно будет добиться: он больно уж добр.

Иван Михайлович улыбнулся.

— Что ссылка, царевна! — махнув небрежно рукою, возразил он. — Разве из нее люди не возвращаются? Помяни мои слова: как только посадят царевича Петра Алексеевича на престол, так в сей же час Артамон Матвеев явится снова в чести и в славе. Разве ссылкой можно отделаться от врагов? Отделяются от них... смертью! — решительно проговорил Милославский с сильным ударением на последнем слове.

Царевна вздрогнула.

— Испугалась? — насмешливо заметил Милославский. — Неужели ты думаешь, что если Нарышкины возьмут верх, то они дадут нам пощаду?

С усиленным волнением слушала царевна внушения своего клеветы. Двадцатичетырехлетняя девушка, хотя и не рожденная с кротким и сострадательным сердцем, колебалась поддаться тому страшному искушению, в которое вводил ее беспощадный советник.

— Зачем ты, Иван Михайлович, говоришь об этом? Расправлялся бы ты сам, как знаешь, а меня зачем на такой страшный грех наводишь? — говорила с выражением неудовольствия взволнованная царевна.

— Говорю я тебе вот почему: первое, если ты будешь во власти, то, чего доброго, почтешь верных тебе людей за злодеев и вздумаешь казнить их за то только, что они, поусердствовав тебе, избавят тебя от твоих недругов. Второе, не дрогнет ли, царевна, твое женское сердце, когда начнется кровавая расправа? Ты не будешь знать, пора ли или не пора еще окончить ее, и, пожалуй, захочешь рано прекратить ее, а тогда враги твои останутся в живых на твою же погибель. Теперь, когда я показал тебе перепись, ты можешь быть уверена, что, кроме тех, о которых я тебе в ней заявил, никто больше не

погибнет. Других не тронут. Прямого твоего согласия на истребление Нарышкиных и их соучастников я от тебя не требую. Довольно с меня, если ты только не будешь перечить. Не забывай, царица, что если мы не расправимся с нашими недругами, то они расправятся с нами смертельным боем, а на тебя, царица, наденут черный клобук... А он молодую голову куда как крепко жмет! — насмешливо-угрожающим голосом добавил Милославский.

— Делай, что хочешь, — твердо проговорила царица, — и знай, что передо мною никто в ответе за Нарышкиных и их единомышленников не будет!

Сказав это, она рванулась в сторону, как бы желая освободиться от дальнейшего разговора с боярином.

— Помни же слова твои, благоверная царица, и не отступись от них! А теперь сторожи хорошенько государя и если усторожишь его, то, статья может, все уладится мирно.

От царицы Милославский через Спасские и Иверские ворота выехал на Царскую, нынешнюю Тверскую, улицу. Улица эта по своим постройкам не многим отличалась от других местностей тогдашней Москвы. По ней, рядом с убогими избами, лачужками и незатейливыми домиками, стояли вперемежку большие деревянные хоромы бояр, которые жили и в государевой столице, словно у себя в вотчине, в деревенском раздолье. За боярскими хорами широко расстилались сады и огороды, во дворах были людские и конюшни и множество разных хозяйственных построек. Каждый боярский дом был окружен плотным высоким забором с наглухо запертыми и день, и ночь воротами. В конце Царской улицы, около нынешней Тверской площади, заметно выделялся из ряда других построек большой, в два жилья, каменный дом, и ярко блистала на нем в солнечные дни гладко полированная медная крыша.

Шумно, по тогдашнему обычаю, двигался по Царской улице боярский поезд. Слуги, ехавшие верхом и бежавшие с палками в руках, все без шапок, перед рыдваном Ивана Милославского, кричали во всю глотку! «Гис! Гис!» — предупреждая всех встречных, чтобы они сторонились и давали дорогу ехавшему боярину. Развалиясь в рыдване на мягких бархатных подушках,

Милославский тихо подъезжал к каменному боярскому дому. Неторопливо, с важностью, свойственной знатым людям того времени, вылез он из своего рыдвана и, поддерживаемый по сторонам слугами, стал медленно подниматься по широкой каменной лестнице, украшенной стенною живописью.

Дом с медною крышею, в который приехал теперь Иван Михайлович, не слишком отдавал стародавнюю Москву. Заметно было, что живший в нем боярин успел уже порядком освоиться с иноземными новшествами. В больших окнах просторных и высоких палат была вставлена не слюда, а стекла; стены были обиты шелком и обоями из тисненной золотом кожи. Вместо обычных в ту пору, шедших вдоль стен лавок была расставлена по комнатам немецкая и польская мебель: изящно точенные стулья и кресла, столы на выгнутых и львиных ножках с мраморными и мозаичными досками. Стены были увешаны картинами и гравюрами иностранных художников. Убранство комнат дополняли шандалы, жирандоли, стенные и столовые часы, подзоры или драпировка над окнами и дверями и богатые ковры, бывшие, впрочем, в большом употреблении и у тех бояр, которые жили на старый лад. Особенно роскошною и затейливою отделкою отличалась одна палата с сорока шестью окнами. В этой палате среди потолка было изображено позолоченное солнце и живописные знаки Зодиака. От солнца на трех железных прутах висело белое костяное паникадило о пяти поясах, а в каждом поясе было по восьми подсвечников. По другую сторону солнца был изображен посеребренный месяц. Кругом потолка в двадцати больших вызолоченных медальонах были нарисованы изображения пророков и пророчиц. На стенах палаты висело в разных местах пять больших зеркал, из которых одно было в черепаховой раме. Весь дом князя Василия Васильевича блистал роскошью, и недаром французский путешественник Невиль писал, что дом Голицына был великолепнейший в целой Европе.

В то время, когда подъезжал Милославский, хозяин, сидя за столом, заваленным книгами и рукописями, с большим вниманием читал в латинском подлиннике сочинение знаменитого Пуфендорфа, стараясь изучить из его творений

трудную науку государственного правления. Он был одет по-домашнему в шелковой однорядке, но, узнав о приезде Милославского, поспешил надеть ферязь, длинный и широкий кафтан из атласа, так как встретить знатного и почетного гостя только в однорядке, без ферязи, было бы, по тогдашним понятиям, в высшей степени неприлично.

Милославский, войдя в комнату, перекрестился и поцеловался с хозяином, который, приняв гостя с видимою приветливостью и обычною вежливостью, не слишком был рад в душе его неожиданному посещению.

— Просим вашу, милость садиться, — сказал Голицын, уступая гостю свое кресло.

— Как поживаешь, князь Василий Васильевич? — спросил, усаживаясь в кресло, Милославский. — Ты все умудряешься чтением?

— Нужно читать, Иван Михайлович, всего своим умом не осяжешь, а европейские народы могут дать каждому немало от плодов своего просвещения. Вот я теперь читал главу из писания Пуфендорфа «О гражданском житии, или О поправлении всех дел, яже належахт обще народу», — отозвался князь, садясь насупротив гостя.

— Хитро что-то, уж больно хитро, — заметил нелюбознательный гость, — да и пользы-от большой нет. Вот погоди, как придет нарышкинское царствие, так умным людям ни ходу, ни житья не будет, — поматывая с угрожающим видом головою, перебил Милославский.

— Почему ж, боярин, ты думаешь, что придет их царствие? — нахмуясь, спросил Голицын.

— Потому, что царю Федору Алексеевичу жить недолго, а по кончине его Нарышкины посадят на престол царевича Петра Алексеевича. Молод он больно, того и смотри, что Наталья Кирилловна захочет быть правительствующею царицею, да, пожалуй, и будет. Шибко она что-то зазналась; забыла, видно, как до брака в Смоленске в лаптях ходила.

Слушая Милославского, князь, с выражением неудовольствия на лице, тяжело отдувался.

— А что ж хозяйюшки-княгини не видать? — спросил, помолчав немного, Милославский — Видно, я у тебя в доме обычной чести недостойн? — шутливо добавил он.

Милославский заговорил об этом, потому что княгиня, вопреки обычаю, не выходила к нему, как к почетному гостю, чтобы с низкими поклонами поднести ему на подносе чарку водки.

— Будь, Иван Михайлович, милостив к моей княгине; не может она что-то все эти дни, а потому и должной чести тебе не оказывает. Не взыщи с нее за это, боярин!

— Знаю, знаю я ее немоготу, — подмигивая Голицыну, подхватил Милославский. — Просто-напросто ты, князь Василий Васильевич, стародавних наших обычаев не любишь. Сам от них уклоняешься, да и супругу свою к тому же неволишь. Впрочем, и то сказать, в нынешние времена и сам женский пол от многого себя освобождает. Вот хотя бы, например, царевна Софья Алексеевна: по нерасположению своему к старым порядкам с тобою сходствует и недаром так возлюбила тебя...

— Ставлю себе в отменную честь, коль скоро удостоиваюсь внимания государыни царевны, — скромно заметил Голицын, — великого разума она девица! Во время теперешней болезни государя мне часто приходится встречаться с ее пресветлейшеством в опочивальне государя, и соизволяет она нередко удостоивать меня своей беседы, причем, я всегда дивлюсь ее уму.

— Ты, князь Василий Васильевич, только и толкуешь, что об уме царевны, а о девическом ее сердце никогда не подумаешь.

— Да какая же мне стать думать о сердце царевны! — усмехнулся Голицын.

— Не сказал бы ты того, что теперь говоришь, князь Василий Васильевич, если бы знал, как оно лежит к тебе, — таинственно прошептал Милославский.

— Негоже тебе, Иван Михайлович, вымышлять такие бредни; да и неучтиво так издеваться надо мною. Я человек уже не молодой, не моя пора уловлять девичьи сердца, а о сердце царевны я не дерзнул бы никогда и помыслить.

— Да и дерзать-то нечего, коли оно само к тебе рвется, — проговорил Милославский.

Голицын медленно приподнялся с кресел.

— Оставь, боярин, эти пустые, шуточные речи, — начал он, сурово посматривая на Милославского и слегка потирая ладонью свой лоб, между тем как перед ним живо представились и те взгляды, которые подолгу останавливала на нем царевна, и та краска, которая, при встрече с ним, кидалась ей в лицо, и то смущение, которое овладевало ею, когда она начинала заводить с ним речь.

Голицын давно заметил все это, но, беседуя с Софьей лишь о делах государственных и об ученых предметах, он, годившийся ей, при тогдашних ранних браках, почти в деда, не думал вовсе ни о любви, ни о том, что ему принадлежит сердце царевны. Он полагал, что Софья смущается перед его умом и его знаниями и что никакой сердечной привязанности тут не может быть. В старинном русском быту романические затеи вовсе не существовали, да и Голицын никогда не был ходяком по любовной части. Теперь же Милославский своими странными речами надоумил его и открыл тайну, которую он не мог даже подозревать без насмешки над самим собою.

— Затолковались мы, Иван Михайлович, о чем бы и не след нам было говорить; мне уж вторая полсотня жизни идет. Да и не о том теперь думать надлежит; из твоих слов вижу, что смутные времена подходят, — сказал спокойно Голицын.

— То-то и есть, а потому нам крепко царевны Софьи Алексеевны держаться нужно; впереди всех нас ее на высоту следует поставить, а то сокрушат нас Нарышкины.

— Нужно нам, — начал поучительно Голицын, — царственный закон соблюсти и не царевну возносить, а посадить в случае чего, береги Бог, по порядку старшинства на московский престол ее брата, царевича Ивана Алексеевича.

— Да разве Иванушка-царевич на что-нибудь годен? Может он только мух летом ловить, да и тех, пожалуй, прозевает, ничего он почти не видит, — с дерзкою насмешкою проговорил Милославский. — Впрочем, — уступчиво добавил он, — что за

беда! Совет боярский при нем учредим, не век же боярству в законе быть.

Голицын хотел что-то возразить.

— Знаю, знаю наперед, — поторопился Милославский, — что ты, князь Василий Васильевич, против боярства идешь. Ну, что же, ради тебя и уступочку сделаем. Царевич Иван Алексеевич государем станет, а царевна Софья Алексеевна пусть царицею хотя и не будет, а только за брата царством править станет. Почитай, что это тебе с руки будет! — насмешливо добавил Иван Михайлович.

Князь сделал вид, будто не слышал последних слов боярина, который теперь со злобою начал перебирать Нарышкиных и всех бояр, державших сторону царицы Натальи Кирилловны, перемешивая эту переборку многочисленных недругов с шутивными намеками на любовь царевны к князю.

Голицын только морщился. Он хорошо знал коварный характер сотоварища по боярской думе и отвечал ему уклончиво и нерешительно.

— Вдвоем, впрочем, мы, князь Василий Васильевич, не можем столкнуться как следует, а вот приезжай ко мне в четверг хлеба-соли откусать. Окажи мне, боярин, такую великую честь! — сказал, низко кланяясь, Милославский, расставаясь с Голицыным, поблагодарившим его за приглашение.

Боярин Иван Михайлович Милославский, потомок литовца, выехавшего в Россию в 1390 году, принадлежал, в царствование Федора Алексеевича, к числу старейших бояр как по летам, так и по времени пожалования боярством. Он всегда был охотник мутить, и любимым его занятием было строить разного рода подвохи и козни. Когда же в последние три-четыре года жизни царя Алексея Михайловича Милославский, под влиянием наговоров царицы Наталии Кирилловны, был оттерт от двора, то молодая государыня и ее родственники сделались предметом его непримиримой и ожесточенной ненависти. Он только и думал о том, чтобы, как говорилось в старину, извести их.

В противоположность князю Голицыну Милославский жил по старинному обычаю, не заводя никакой иноземной новизны, а потому съехавшиеся к нему на званый обед гости находились среди той же незатейливой обстановки, среди которой жили и сами они, и их деды и прадеды. Стены обширных, но низких хором Милославского не были обиты дорогими тканями, но были обтянуты холстом, выбеленным известью, и увешаны только иконами. В комнатах не было никаких отделок и украшений, а также никакой другой мебели, кроме столов и лавок да нескольких простой работы кресел для самого боярина и его немногих почетных гостей.

Обед, за который сели гости Ивана Михайловича, стряпался в стародавнем московском вкусе, и из всего иностранного можно было найти за столом старого боярина только хорошее венгерское вино, которым он теперь и угощал весьма радушно своих гостей, рассчитывая, что после обильной выпивки они будут посговорчивее и легче поддадутся его внушениям. Как и всегда, они не отставали друг от друга, и к концу обеда почти у всех порядочно уже шумело в голове, а языки развязывались все более и более. Все гости Милославского прилежали хмельного питья, как тогда говорилось, за исключением трезвого и воздержного Голицына, который, ссылаясь на нездоровье,

уклонялся насколько мог от потчевания и приневоливания со стороны хозяина дома. Во время обеда велась беседа о предметах самых обыденных и порою вспоминалось о прошлом.

— Покойный государь, царь Алексей Михайлович, — рассказывал Милославский, — был великий постник. Хотя в мясные и рыбные дни любил покушать, и за столом его бывало в эти дни до семидесяти блюд, но зато в постные дни был воздержан всем на диво; ни единый монах так строго не держал постов, как его царское величество. В Великом посту в целые сутки съедал он по кусочку черного хлеба с солью, по соленому огурцу или грибу и выпивал только по стакану полпива. На Страстной же, в понедельник, среду и пятницу, ничего не вкушал и во весь Великий пост только два раза кушал рыбу. Выходило так, что в год он постился восемь месяцев.

— Да и насчет молитвы он крепко усердствовал, — подхватил Воротынский, — хотя и был вельми тучен, но ежедневно, а иной раз даже и сряду без передышки, по тысяче поклонов клал; а в большие праздники и до полутора тысячи отбрасает; пот с него, бывало, ручьем катит, а он знай себе кланяется! Любил царь и иконопись; после смерти его осталось восемь тысяч двести икон.

— Кроткий и благодушный был государь! — заметил Милославский, с удовольствием вспоминая дни своего особенного почета.

— Ну, не скажи этого, боярин, — возразил ему князь Иван Андреевич Хованский. — Бывал иной раз царь Алексей Михайлович с большим норомом и не раз с нашею братиею, боярами, кулачно расправлялся. Какой стих на него находил! Забыл разве, как однажды он своего старого тестя, боярина...

— Что вы тут зеваете! — вдруг крикнул Иван Михайлович на прислуживавших за столом холопов. — Службу у боярского стола покончили, так ротозеять тут нечего!

По приказу боярина холопы повалили из столовой избы, а он встал с места и, притворив дверь, посмотрел, не остался ли там кто-нибудь подслушивать боярские речи. Доносы и тогда были в Москве в большом ходу, и бояре крепко побаивались своих холопов, которые очень часто кричали на них государево

«слово и дело», объявляя, что господин их вел худые речи о государе, царице или их семействе.

— Вспомнил я, — продолжал Хованский, обратившись к возвратившемуся на свое место Ивану Михайловичу, — о боярине Илье Даниловиче, как он единым похвалялся перед государем, что если бы царь поставил его первым воеводою, то он взял бы в полон короля польского. При мне то было. «Как, слышь ты, страдник, худой человек! — крикнул царь на своего тестюшку. — Своим искусством в ратном деле похваляешься! Когда же ты ходил с полками? Какие победы оказал ты над неприятелем? Или ты, бестолковый, смеешься надо мною?» Да так с последним словом заушил его, а там хватить его за бороду, да и ну трепать. Мало того, в пинки его принял, да так в двери и спровадил...

Бояре весело захохотали.

— Непригожие были эти дела для боярской чести, — насупясь, заметил Голицын.

— Говоришь ты — непригожее дело, — подхватил снова Вольтинский, — а сам-то у бояр наиглавнейшую опору их чести отнял, местничество отменил, разрядные книги сжег, — укорял он Голицына.

— Не я все это сделал, — обращаясь к говорившему, вразумительно возразил. Голицын, — сделали это выборные люди по царскому указу, а я только, по должности моей, правдивый доклад об их мнении государю представил. Да и что же было местничество, как не пустая только боярская забава, коли государь нет-нет да и прикажет быть всем без мест? Все равно обычай этот вскоре бы сам по себе вывелся, так не пригоднее ли было порешить с ним по приговору выборных? И разве местничество служило в ограду истинной чести боярства? — с жаром продолжал объяснять Голицын. — Из-за него только лишние батоги по боярским спинам ходили, а от заушений, трепанья бороды и пинков никого оно не спасало. Жил я в Польше и знаю, что там король не только сенатора или знатного пана, но и шляхтича простого пальцем тронуть не может, да и в других странах то же ведется. А у нас, господа бояре, не такие порядки...

— Пстой, заведутся хорошие порядки, как станут править царством Нарышкины! — подхватил Семен Волынский, один из самых преданнейших друзей Милославского.

В то время, когда Голицын говорил толково и уверенно, плотно подъевшие и порядком подвыпившие бояре, казалось, не обращали на его речь особого внимания. Обычный послеобеденный сон начинал одолевать их, и кто из них сидел как осоловелый, поклевывая носом все чаще и чаще, кто, подперев руки на стол и поддерживая ладонями щеки, лениво позевывал и жмурил глаза; кто, положив локоть на стол и свесив на него голову, готовился всхрапнуть, а кто собрался даже разлечься враспяжку на лавке. Сонливость эта, однако, мгновенно исчезла, как только послышалось имя Нарышкиных. Все встрепенулись и наострили уши. Видно было, что обсуждение общих государственных порядков не слишком занимало их, но зато вопрос о личном положении и о будущем затрагивал каждого за живое.

— Против своеволия Нарышкиных можно и боярский совет учредить, — зевнув протяжно и проведя раскрытою ладонью со лба по лицу и по длинной бороде, сказал князь Воротынский.

— Как же! Так тебе сейчас на это волю и дадут, да еще, пожалуй, и твою милость в совет призовут! — насмешливо отозвался Волынский. — Нет уж, коли Нарышкины одолеют, то скрутят так, что и духу не переведешь!

— Ну, еще посмотрим, как им это удастся! Что за важное дело, что на их стороне патриарх, духовный чин и большинство бояр; ведь зато на нашей стороне весь черный народ! — подхватил Милославский.

— Не надейся на число, Иван Михайлович, — спокойно отозвался Голицын. — Припоминается мне, как разумно на такой случай говаривал боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Бывало, с ним кто заговорит так, как ты теперь изволишь говорить, а он и отвечает: «Во всяком деле сила в промысле, а не в том, что людей собрано много; и людей много, да промышленника нет, так ничего не выйдет».

— Дельно, дельно говоришь, князь Василий Васильевич! Разумные речи повторяешь. Каким делом без смышленного

заводчика управишься? — подхватил Хованский. — Вот хотя бы ты, Иван Михайлович, в нашем деле на первое место стал, — добавил Хованский, обращаясь к Милославскому.

— Да и то уж я хлопочу давным-давно и могу сказать по чести, что успел кое-что сделать. Решить только нужно, к чему наш замысел вести? — сказал Милославский. — Сговориться нам больно трудно, что человек, то разум.

— Как к чему вести? Известное дело: посадить на престол царевича Ивана Алексеевича, а если он править неспособен, то приставить к нему царевну Софью Алексеевну! — заявил Хованский.

— Воистину, что так, достойна она править царством. Блаженной памяти царь Алексей Михайлович, родитель ее, неоднократно говорил, что она «великого ума и самых нежных проницательств, больше мужеска ума исполнена дева», — заявил Иван Михайлович.

Опершись рукою на стол и позаслонив глаза ладонью, князь Голицын внимательно слушал толки своих собеседников о царевне, не принимая, однако, в них никакого участия.

— Ну, а что же ты, князь Василий Васильевич, молчишь? — окликнул его Милославский. — Согласен или нет с тем, что говорит князь Иван Андреевич!

— Не моего завода это дело, — сказал Голицын, вставая с места и собираясь уехать домой. — Ты в нем, Иван Михайлович, и хозяйствуй как знаешь, а от ответа за него, в случае какой беды, я не уклоняюсь и никого никогда не выдам, вот тебе мое в том рукобитие.

Бояре вкруговую ударились по рукам и затем потолковав еще с Милославским и порасспросив его о сторонниках царевича Ивана Алексеевича, порешили «выкрикнуть» его царем, и во дворце, и на площади, а Нарышкиных к первенству не допускать.

В тринадцать часов дня, по старинному русскому счету часов от восхода солнца, или в четыре часа пополудни, 27 апреля 1682 года, в четверг на Фоминой неделе, раздались над Москвою с Ивановской колокольни тоскливые удары большого колокола.

— Никак, гудит «Вестник»? — заговорили в Москве, прислушиваясь к протяжному и редкому благовесту. — Знать, царь умер? — с изумлением спрашивали москвичи друг у друга, так как им хотя и было известно о болезни Федора Алексеевича, но никто не ожидал такой скорой кончины двадцатичетырехлетнего государя.

Догадывавшиеся о смерти царя не ошибались. Действительно, теперь звонили в колокол, называвшийся «Вестник», который каждый раз оповещал население столицы о смерти государей. Вскоре к одинокому его благовесту стал присоединяться заунывный перезвон московских церквей, и народ со всех сторон густыми толпами повалил в Кремль. Туда же, в царские палаты спешили в колымагах или неслись верхом бояре, думные и разных чинов служилые люди. Вскоре весь Кремль наполнился народом.

После непродолжительных приготовлений тело государя вынесли из опочивальни и поставили среди Крестовой палаты. Эта палата славилась своими издалека привезенными святынями: в ней был в ту пору камень, на котором стоял Иисус Христос, читая молитву «Отче наш». Там же были: печать от гроба Господня, иорданский песок и «чудотворные» монастырские меды. В этой палате родился царь Федор Алексеевич, так как, по тогдашнему обычаю, царицу выносили в Крестовую палату, чтобы там она разрешалась от бремени. В Крестовой палате бояре, по старшинству, подходили к усопшему и прощались с ним, целуя его руку. За боярами следовали окольничие, дьяки, дворяне и жильцы, и вся дворцовая прислуга, а затем стали пускать в палату, для прощанья с

государем, и простой люд. Между тем на Благовещенской площади поднимался говор о том, кому быть царем, и среди народа шныряли какие-то люди, которые то шепотом, то вполголоса, то громко говорили — одни, что надлежит быть царем Ивану Алексеевичу, а другие, что нужно посадить на царство Петра Алексеевича. Народ, однако, молчал в недоумении, не принимая ни стороны Ивана, ни стороны Петра. Он вяло и равнодушно и только с чувством обыкновенного любопытства выжидал, что будет далее. Между тем в царских хоромах происходило совсем иное: там разыгрывались страсти, там шла борьба за верховную власть.

Отдав лобзание покойному государю, духовный чин, бояре и чиновные люди собрались в так называвшейся Ответной палате, где обыкновенно цари принимали и отпускали иноземных послов. Посреди этой палаты стоял теперь аналой, на котором лежало Евангелие и за который встал патриарх Иоаким, положив левую руку на Евангелие, а в правой держа крест.

— Царь Феодор Алексеевич, — начал патриарх, обращаясь к присутствовавшим, — отошел в вечное блаженство. Чад по нем не осталось, но остались братья, царевичи Иоанн и Петр Алексеевичи. Царевич Иван шестнадцатилетен, но одержим скорбью и слаб здоровьем. Царевич же Петр десятилетен. Из них кто будет наследником престола российского? Кого наменуем в цари всея Великия, Малыя и Белыя России? Единый или оба будут царствовать? Спрашиваю и требую, чтобы сказали истину, как перед престолом Божиим. Кто же изречет по страсти, да будет тому жребий изменника Иуды.

— Быть народному избранию! Сами по себе решить это дело не беремся, — заговорили бояре, причем как сторонники Милославских, так и сторонники Нарышкиных надеялись, что преданные им люди успели уже подготовить народ в их пользу.

С крестом в руке, предшествуемый духовенством и сопровождаемый боярами, вышел патриарх на Красное крыльцо. Народ на площади мгновенно смолк, все как будто притаили дыхание в ожидании, что изречет святейший владыка.

— Известно вам, благочестивые христиане, — начал громким, но старчески-дребезжащим голосом патриарх, — что благословенное Господом царство Русское было под державою блаженной памяти государя царя Михаила Федоровича, а по нем державу наследовал блаженной памяти царь Алексей Михайлович. По его преставлении был воспреемником престола государь царь Феодор Алексеевич, самодержец всея Руси. Ныне же изволением Всевышнего перешел он в бесконечный покой, оставив братьев, царевичей Иоанна и Петра Алексеевичей. Из них, царевичей, кому быть царем всея России? Да объявят о том свое единодушное решение!

В то время, когда патриарх произносил эту речь, в плотно сомкнувшейся толпе, занявшей место у самого Красного крыльца, начинал уже слышаться все более и более усиливавшийся говор: «Быть на престоле царевичу Петру Алексеевичу!» — и едва лишь окончил патриарх свое обращение к народу, как в этой толпе раздались громкие крики: «Быть царем Петру Алексеевичу! Хотим Петра Алексеевича!»

Но вместе с этими возгласами раздались на площади и другие: «Не хотим Петра Алексеевича, хотим Ивана Алексеевича! Быть ему царем!»

Крики эти неслись из огромной ватаги, которая сперва бежала опроретью к Красному крыльцу, но потом, увидев, что там место уже занято, отчаянно напирала сзади на толпу, требовавшую на царство Петра. Подбежавшая к Красному крыльцу ватага пускала в ход толчки, локти, кулаки; подававшиеся из нее вперед молодцы хватили за шиворот заслонявших им дорогу к Красному крыльцу и силились оттащить их, но те, в свою очередь, осаживали напиравших и отплачивали своим противникам кулачным отпором.

— Напирай, наваливай! — вопил в бешенстве дворянин Максим Сунбулов, предводительствовавший подбежавшею ватагою. — Страдники вы эдакие, из-за вас я опоздал! — кричал он в отчаянии следовавшей за ним толпе, завидев, что патриарх собирается уже уходить с Красного крыльца в царские палаты.

С уходом патриарха поднялся шум, произошла страшная давка. Одни хотели перекричать других, и имена Ивана и Петра

слились теперь в общий, но уже бесполезный вопль.

Дрожа от волнения и страха и крепко прижав к себе десятилетнего Петра, стояла в Крестовой палате, около гроба царя Федора Алексеевича, величавая и стройная царица Наталья Кирилловна и с трудом сдерживала сына, который хотел вырваться и бежать на Красное крыльцо, чтобы взглянуть, что делается на площади.

— Приветствую твое пресветлое царское величество, — сказал боярин Кирилла Полуэктович Нарышкин, обращаясь к царевичу Петру, и с этими словами он поклонился в ноги своему внуку.

Царица быстро отстранила к деду своего сына. Бледное лицо ее покрылось румянцем, и радостно заблестали ее большие черные очи. Она упала на колени, творя с молитвою земные поклоны. То же стал делать и Кирилла Полуэктович, а за ним и его внук.

— Иди, благоверная царица, на Красное крыльцо, там ожидают тебя и великого государя патриарх и весь синклит, — сказал он, почтительно становясь позади своей дочери, которая, ведя под руку сына, пошла медленным шагом на Красное крыльцо. Когда она там появилась с новоизбранным царем, площадь огласилась страшным радостным ревом, среди которого слышалось, однако, и имя Ивана, которого также звали из толпы на царство.

Патриарх, осенив крестом царя-отрока, благословил его на царство, а затем святейший владыка, духовный чин, бояре и бывшие на Красном крыльце служилые люди принесли поздравление Петру Алексеевичу, «великому государю и царю и самодержцу всея Великия, и Малыя и Белыя России».

Если царица Наталья Кирилловна, не будучи в состоянии осилить себя, волновалась и страшилась в ожидании, чем кончится избрание, то царевна Софья Алексеевна, в противоположность ей, казалась спокойною и не поддавалась страху. Иван Михайлович Милославский уверил ее в успехе дела. В то время, когда площадь кипела и шумела, царевна сидела у постели своего старшего, хворого брата, который не заботился и не думал о том, призовет его или нет народ к

царской власти. По временам царица подходила к открытому окну и внимательно прислушивалась к доносившемуся до нее с площади гулу, с нетерпением ожидая той торжественной и радостной для нее минуты, когда ей придется, подняв с постели брата, явить его народу с Красного крыльца, как великого государя.

Прежде чем патриарх успел объявить на Красном крыльце об избрании царем Петра Алексеевича, из толпы бояр поспешно и незаметно выскользнул Милославский и побежал к царице. Когда он вошел к ней, его смущенный и растерянный вид показал Софье, что дело ее кончилось неудачей.

— Иди скорее, благоверная царица, на Красное крыльцо! Ты там нужна! — торопливо проговорил Милославский.

— Должно быть, братца Петрушу избрали царем? — проговорил равнодушно царица Иван, с трудом всматриваясь большими и подслеповатыми глазами в Милославского.

На вопрос царицы не обратили внимания ни боярин, ни царица, которая поспешила выйти из братской опочивальни.

— Максимка Сунбулов нам изменил, — говорил на ходу Милославский Софье, — но дело наше вконец еще не пропало. Будь только мужественна, царица, и не уступай Нарышкиным, они лишь временно осилили нас!

— На праотеческий всероссийский престол избран великий государь царь Петр Алексеевич, — объявил патриарх появившейся на Красном крыльце царице.

Гневный огонь вспыхнул в ее глазах.

— Избрание неправо! — крикнула она, обведя грозным взглядом патриарха, царицу и бояр, и быстро повернулась, чтобы уйти в палаты.

— Не начинай смуты, умоляю тебя именем Божиим! — тихо проговорил патриарх вслед уходившей Софье, которая сделал вид, что не слышит мольбы патриарха.

Выдержала себя перед людьми Софья, а Иван Михайлович, после долгих убеждений, уговорил даже ее пойти поздравить царя Петра Алексеевича с воцарением, чтобы не подать повода к дальнейшим подозрениям. Но когда она после этого удалилась

в свой терем и там осталась одна, то залилась слезами, осыпая проклятиями и мачеху, и Нарышкиных.

В это время власть избранного государя утвердилась, на верность ему приводили к присяге бояр, окольничих, стольников, дворян, стряпчих и всех служилых людей. Все беспрекословно присягали Петру. В одном только приказе стрельцы отказывались целовать крест царю Петру Алексеевичу, но посланные к ним из дворца окольничий, думный дворянин и дьяк уговорили и их присягнуть Петру.

В тот же день началось возвышение Нарышкиных. Великий государь постановил в спальники Ивана, Афанасия, Льва, Мартемьяна и Федора Кирилловичей, а также Василия Федоровича Нарышкиных. Он же снял опалу с Артамона Сергеевича Матвеева и послал к нему указ о возвращении в Москву немедленно. Освобождены были из ссылки и четверо Нарышкиных, им также велено было прибыть в Москву. В противоположность этим милостям объявлено было первым любимцам покойного царя: боярину и чашнику Языкову, двум братьям Лихачевым и ближнему стольнику Языкову, чтобы во время выходов великого государя их не видали. Опала эта была недобрым предвестием для сторонников Милославских, которые дружили прежде с опальными царедворцами.

На другой же день кончины царя Федора Алексеевича, то есть 28 апреля, происходило его погребение. Обряд этот совершали патриарх, девять митрополитов, пять архиепископов, два епископа и все бывшие в Москве архимандриты и игумены. Погребальное шествие открывали шесть стольников, они несли обитую золотую объярью крышку царского гроба. От них ее приняли на Красном крыльце стольники. Гроб, покрытый золотой парчой, несли также стольники на носилках, обитых бархатом, а при входе в Архангельский собор их заменили священники. За гробом шли: царь Петр Алексеевич, царица Наталья Кирилловна и царевна Софья Алексеевна, а другую вдовую царицу, Марфу Матвеевну, несли в креслах спальники и бояре, которые, как и царское семейство и все другие чиновные и служилые люди, были одеты в «печальной», то есть в черной,

одежде. За гробом шел народ, с зажженными восковыми свечами, розданными на счет царской казны.

— Дивно, что так спешно государя хоронят! — говорил в толпе один старик. — Того иногда прежде не водилось. Бывало, дадут собраться из окрестных мест множеству народа и съехаться отовсюду духовным властям и служилым людям. Чего так теперь торопятся? Чего доброго, заживо его похоронят.

— Нешто не знаешь, что на погребение царя Алексея Михайловича набралось столько народу в Москву, сколько прежде никогда не бывало. Принялись тогда душить, резать и грабить; так что в день его похорон нашли в Москве более ста ограбленных и убитых. Вот для того-то, чтобы того же и ныне не случилось, и поторопились поскорее похоронить государя, — вразумлял старика подьячий.

— Нет, тут что-нибудь да неладно, — отозвался кто-то из толпы, а старик, сомнительно покачав головою, вопросительно взглянул на окружавшую толпу, среди которой поднялись разные толки.

Появление Софьи, как сестры-царевны, на погребении ее брата было в Москве первым еще случаем. Все дивились этому и в особенности тому, что молодая царевна шла не только пешком, но и не заслонила «запонами» и даже с отброшенной с лица фатою. Изумление бояр и разных чинов служилых людей возросло еще более, когда царь и царица, не оставшись на отпевании, тотчас после обедни ушли из собора, а между тем царевна Софья оставалась в соборе до тех пор, пока не засыпали могилы.

Лишь только царица вернулась в свой терем, как к ней явились монахини, посланные тетками и сестрами покойного государя.

— Благоверная царица! — заявила старшая из этих посланниц. — Царевны кручинятся и скорбят, что ты на отпевании их племянника и братца остаться не изволила.

— Сынок мой больно устал, мал он еще; неумоготу ему было на ножках стоять, — отвечала царица на этот укор за невнимание ее к пасынку.

Совсем иначе отзывались в теремах царевен о Софье Алексеевне:

— Вот она братца любила, так поистине любила. В горести не помнила даже, что и делала; для него и своей царственной скромности не поберегла и на отпевании осталась до конца. Не то что мачеха! — умиленно почмокивая губами, говорили приживалки, которыми были наполнены терема царевен.

Возвращаясь одна из Архангельского собора, царевна, закрыв ширинкою лицо, громко всхлипывала, сопровождая свои слезы обычными в то время причитаниями.

— Извели братца нашего злые люди, — плакалась Софья, идя посреди расступившегося перед нею народа. — Нет у нас ни батюшки, ни матушки, братца нашего Ивана на царство не выбрали! Умилосердитесь, православные, над нами, сиротами; если мы в чем провинились перед вами, отпустите нас в чужие земли к королям христианским!

— Эх вы, сиротинки горемычные! — подхватывали на пути царевны московские торговки и бабы, расчувствовавшись от ее причитаний, и принимались сами реветь и нюнить.

Слова и слезы царевны не прошли даром, и уж на другой день заговорили в Москве и принялись ахать и охать о царевиче Иване Алексеевиче и об его сестрах, предсказывая, что изведут их злые люди. После похорон Федора Алексеевича, по существовавшему в ту пору обычаю, в опочивальне умершего царя сидели, в продолжение первых девяти суток, денно и ночью, около его постели очередными сменами бояре, окольниковые и дьяки, а священники и дьячки беспрестанно читали Евангелие и Псалтырь. Такие же смены и такое же чтение было, в течение всего Сорокоуста, и в Архангельском соборе у могилы новопреставившегося. Каждый день отправлялись по нем панихиды как в этой древней усыпальнице государей московских, так и в кремлевском дворце, в так называемой Панафидской палате, а по монастырям ежедневно на счет царской казны кормили монашествующую братью и нищих за упокой души царя Федора Алексеевича.

Давно уже принялись проказничать и своевольничать на Москве стрельцы, регулярное пешее, а частью и конное войско, заведенное еще в 1551 году царем Иваном Васильевичем Грозным и постепенно умножавшееся в своей численности, так что при воцарении Петра Алексеевича в Москве было уже до 15 000 стрельцов. В стрельцы вступали вольные люди, жили они в разных местах Москвы отдельными большими слободами, обзаводясь семьями. Установился обычай, что сын стрельца, достигнув юношеского возраста, делался стрельцом; а из посторонних в стрелецкое войско принимались только люди «резвые и стрелять гораздые» и притом не иначе как по свидетельству и одобрению старых стрельцов. Обязанности стрельцов в мирное время были следующие: держать в Москве караулы, гасить пожары и при встрече иноземных послов становиться на месте их проезда в два ряда. Особенным почетом среди стрелецкой рати пользовался так называвшийся «выборный», или «стремянный», полк. Он состоял из конников и постоянно сопровождал государя при его выездах из Москвы, почему и назывался еще «государевым» полком. Военная служба была, кроме походного времени, легка для стрельцов; много оставалось у них досуга, и они стали заниматься торговыми и различными промыслами, не платя, однако, за это наравне с посадскими никаких податей и пошлин. Большая часть стрельцов сделалась благодаря этому людьми достаточными и даже богатыми, да и кроме того жизнь их была обеспечена правительством, так как раненые, увечные и престарелые стрельцы рассылались на кормление по монастырям. Стрельцы выделялись из местного населения столицы и жили с ним не в ладах. Они беспрестанно задирали мирных жителей Москвы, а также оскорбляли их жен и дочерей, и трудно было найти на них управу, так как у них был свой особый суд, Стрелецкий приказ, а для своих внутренних

полковых распорядков они, подражая казакам, завели круги, на которых и решали дела большинством голосов.

Не худо жилось бы московским стрельцам, если бы их не притесняли начальники: полковники отбирали у стрельцов их сборные деньги, захватывали их земли, не доплачивали им царского жалованья, не выдавали сполна хлебных запасов, обращая и то, и другое в свою пользу, били стрельцов нещадно батогами, принуждали и их самих, и их жен и дочерей работать в своих огородах, косить сено, строить в своих деревнях дома, мельницы и плотины, не отпуская их с работы даже в Светлую неделю. Полковники заставляли стрельцов одеваться слишком щеголевато, требуя, чтобы они покупали на собственный счет цветные кафтаны с золотыми нашивками, бархатные шапки и желтые сапоги, хотя им шла одежда из царской казны. Особенно между всеми полковниками отличался корыстолюбием, произволом и жестокостью Семен Грибоедов. Он довел свой приказ до того, что в самый день смерти царя Федора Алексеевича подчиненные Грибоедову стрельцы подали государю на него челобитную. Грибоедов был тотчас же смещен, и на другой день его били кнутом, а двенадцать других полковников были биты батогами.

При воцарении Петра стрельцы не произвели никаких беспорядков, но потом между ними начали ходить толки о том, что если бы был другой царь, то им было бы несравненно лучше жить. В стрелецких слободах начали появляться теперь какие-то таинственные личности, из которых мужчины шушукались со стрельцами, а женщины громко и бойко болтали со стрельчихами. И те и другие возбуждали стрельцов против бояр, бывших на стороне царицы Наталии Кирилловны и царя Петра Алексеевича, в особенности же против Нарышкиных.

— Кабы ваши мужья да сыновья знали царевну Софью Алексеевну, то Нарышкиным и боярам, их согласникам, ее в обиду ни за что бы не дали! — говорила постельница Родилица, беседа в одной из стрелецких слобод со стрельчихами.

— Нетто они крепко ее притесняют? — с участием спросила одна из стрельчих, выслушав Родилицу.

— А то как же? Спуску небось не дадут! Ныне все в их власти. Мало того что притесняют, да извести ее, голубушку, хотят, а она-то и есть истинная доброжелательница всему стрелецкому войску! — говорила жалобно постельница.

Стрельчихи покачали головами.

— Думаете вы, сударушки, что царь Феодор Алексеевич вольною смертью живот свой покончил? Как же! — загадочно проговорила Родилица.

Стрельчихи наострили уши.

— Отравил его яблоком проклятый жидовина-дохтур, что гадиной прозывается... А как покойный-то государь его, злодея, ласкал и жаловал! Бывало, не только его самого, да и жену его, треклятую жидовицу, чем только не обдарит: и золотом, и соболями, и бархатом!

— Что и говорить! Ведь недаром же ты в царских палатах живешь, ты все должна знать досконально, — заметила одна из стрельчих.

— А что же эту окаянную гадину за его злодейство не сожгут на Болоте в срубе? — спросила другая стрельчиха.

— Как доберешься до него? Не по своей охоте он злодейство учинил, а по уговору от Нарышкиных; они и защитят его! — вразумляла Родилица.

— Вправду ли, Федора Семеновна, говорят, что царевна Софья Алексеевна премудрая девица? — спросила первая из говоривших с постельницею стрельчих.

— Уж больно премудра: все читает да пишет или с людьми учеными толкует, — был ответ Родилицы.

— Вот бы ей самой сесть на царство!.. — сболтнула одна из стрельчих. — При ней бы и нашему женскому полу повадно и вольготно было.

— Стрелецкие полки бы из баб завели! — весело подхватила другая.

Стрельчихи захохотали.

— Не смейтесь, сударушки! — заговорила строгим голосом самая старая из них. — Дней пяток тому назад заходила к нам в слободу благочестивая странница из смоленской стороны и пророчила, что вскоре на Москве наступит бабье царство.

— Оно так и быть должно, — подхватила Родилица. — Ходил к царевне монах Семен, из Полоцка был он родом, ныне он покойный, так и тот по звездам небесным вычитал то же самое. Да говорят еще...

— Никак, мой муженек домой бредет? — крикнула вдруг стрельчиха-хозяйка, взглянув в окно и увидев приближающихся к избе мужчин. — Он и есть! Вишь, как запоздал, а идет с ним московский дворянин Максим Исаевич Сунбулов; часто он в наших слободах бывает и диковинные речи ведет: пророчит разом и о бабьем и антихристовом царствии. Кто тут разберет!

— Не призамолкнуть ли нам, сударушки, нашу речь да не затянуть ли песню? — спросила старая стрельчиха. — А то, чего смотри, Кузьма Григорьевич осерчает.

— Чего призамолкнуть? — бойко запротиворечила ей Родилица. — Совсем супротив того делать нужно: толкуйте стрельцам, чтобы выручали они из беды благоверную царевну Софью Алексеевну. Расскажите им, что ее извести хотят, а при ней было бы стрельцам житье вольное, да толкуйте, им, что и царя Феодора Алексеевича Нарышкины извели отравой и что то ж самое хотят учинить и с царевичем Иваном.

Стрельчихи, однако, невольно замолчали на некоторое время при приближении хозяина дома, выборного стрельца Кузьмы Чермного, и его спутника Сунбулова.

— На тебя, Кузька, понадеялся я крепко, а ты, окаянный, что со мной сделал? А теперь мне из-за тебя житья от Ивана Михайловича нет: все бранит да корит, что мы запоздали выкрикнуть царевича Ивана, говорит, что я один все дело сгубил, изменником обзывает! — говорил Сунбулов.

— Не унывай, Максим Исаевич, — ободрял Кузьма Сунбулова. — Дело поправить успеем, у нас в слободах теперь много насчитаешь народа, который хочет постоять за царицу. Не перевелись у нас еще и такие молодцы, что с Разиным по широкой Волге плавали, хотят они стариной тряхнуть!

— Со стариной-то они пока пусть поудержатся; преж всего законного наследника на царство посадить надо.

Коли станет стрельцам привольно при царе Иване Алексеевиче да при его сестре царевне Софье Алексеевне, так

незачем будет и стариной тряхнуть, разве только себе на погибель! — заметил Сунбулов.

— Дельно ты, Максим Исаевич, говоришь. Не окажешь ли ты мне честь великую, не зайдешь ли ты ко мне чарку водки выпить? — сказал Чермный, снимая шапку и кланяясь дворянину.

— Некогда, брат Кузьма, теперь не время; зайду к тебе вдругорядь, — отвечал Сунбулов. — Помни же наш договор: как сегодня схватим мы тебя в потемках на улице, да как будто примемся тебя бить, то ты и кричи во всю глотку: «Боярин Иван Кириллыч! Помилуй меня, бедного человека! Помилосердуй надо мною. Чем я, Иван Кириллыч, твою милость прогневал?» Тогда и мы со своей гурьбой примемся кричать: «Что прикажешь, Иван Кириллыч, с ним делать! Отпустить его, что ли, Иван Кириллыч?» Сразумел?

— Как не сразуметь, дело понятное, — улыбнулся Чермный, — Сказывают, боярин Иван Михайлович Милославский и не то еще творит; нарядится, говорят, бабой, сядет где-нибудь на перекрестке или на крыльце, да и ну плакаться бабьим голосом: «Изобидили, изувечили, искалечили Нарышкины меня, человека Божьего, ни за что ни про что!» Народ-то около него соберется, а он примется еще пуще прежнего голосить. Кто его с закрытой рожей признает? Под фатой-то бороды не увидишь. А в народе меж тем начнут жалоститься и за говорят: «Эх вы, бояре, бояре, от душегубцев Нарышкиных защитить нас не умеете! Из-за чего они так убогую старуху изобидили?»

— Смотри, Кузя, коли уж знаешь, так никому не проболтайся! — предостерег Сунбулов.

— Ни, ни! — подхватил Чермный. — И тебе-то я только по тайности открыл. Знаю я еще и то, — продолжал стрелец, — что охочие люди за полученные от боярина Ивана Михайловича деньги нарочно под лошадей нарышкинских бросаются. А в народе вопль поднимается: «Вишь, как Нарышкины своевольничают, скоро в Москве весь народ христианский перетопчут да передавят!..»

Говоря между собою, Сунбулов и Чермный подошли к воротам избы и, пошептавшись немного друг с другом, расстались до завтрашнего дня. Стрелец вошел к себе в избу.

— Здоровы, бабы! — крикнул он, снимая с себя охабень. — Чай, пустяки болтаете? Почитай, что вас тут Федора Семеновна мутит! — шутливо сказал он, кланяясь одной только постельнице. — Вашей чести, Федора Семеновна, мое почитание.

— Не мутит, а умные речи заводит, говорит о наступлении на Москве бабьего царства, — отозвалась хозяйка.

— Видно, вас мужья еще мало плеткой хлещут? Знать, побольше захотелось? Вот уж я своей задам! — шутливо по-прежнему продолжал Чермный.

— Задай, Кузьма Григорьич, да только поскорей а то, чего доброго, и запоздаешь, как запоздал намеднясь на площадь, — подсмеиваясь, перебила молоденькая стрельчиха. — Поторопись, родной, а то как бабье царство настанет, то мы из-под власти вашей все выйдем. Сказывают, что и в пророчествах о том написано, — говорила, хорохорясь, стрельчиха.

— Молчи, баба, не в свои дела путаешься! — вдруг крикнул сердито Чермный, раздосадованный тем, что стрельчиха ему напоминала о позднем приходе на площадь. — Ступайте, бабы, по домам! Чего здесь без толку галдить! Чай, досыта наболтались, — выпроваживал Чермный гостей своей жены.

Стрельчихи, одна за другою, повыбрались из избы. Осталась одна Родилица, и с нею начал втихомолку беседовать Чермный, выслав сперва свою жену из горницы.

Потолковав с Чермным, Родилица отправилась к боярину, Ивану Михайловичу Милославскому, чтобы пересказать ему о том, что ей привелось услышать в стрелецкой слободе, но она не застала его дома, так как Иван Михайлович уехал к царевне.

Милославский беседовал с Софьей Алексеевной в ее тереме, где находился также князь Василий Васильевич Голицын. Они оба поместились на лавках, вблизи царевны, сидевшей в креслах.

— Ты говоришь, князь Василий Васильевич, что если поднимется во всем народе смута, то от того произойдет одно лишь государственное нестроение, а пользы не будет; каждый тогда станет тянуть в свою сторону, и сами заводчики дела не будут знать, за что им тогда приняться... И кажется мне, что ты прав, — рассуждала Софья Алексеевна.

— И не по сему только одному не подлежит поднимать народа, но и потому еще, что он ничего не поделает, если станут против него стрельцы с пищалями и с пушками. Попусту только перебьют много народу.

— Нет, князь Василий Васильевич, по-моему, коль скоро заводить смуту, так уже заводить ее всенародную! Во время ее и заводчики сумеют справиться со своим делом, а коль скоро народ не будет на нашей стороне, не станет кричать да бурлить, то и скажут, что мы посадили на царство Ивана Алексеевича недобрым согласиём, не по народному избранию, а токмо насильством, — говорил внушительно Милославский, большой охотник до смут и крамол.

— Ни о каком насильстве тут и слова быть не может: престол московский принадлежит, по праву первородства, благоверному царевичу Ивану Алексеевичу, — начал Голицын, — и избранию тут не должно быть и места; нужно лишь взять царевичу свое право мирным порядком.

— Мы — старшее племя! — перебила с живостью Софья. — Не мы, а над нами учинили насильство! С какой стати царица Наталья Кирилловна правит государством? Сказывают, указы от имени великого государя, а за великим государем во все глаза присматривают мамы да няни! Нечего сказать, хорош великий государь! — насмешливым и раздражительным голосом

говорила царица. — А братец Иванушка человек в полном возрасте. Мог бы и сам царством править. За что же обошли его?

— Дело только в том, благоверная царица, чтобы устранить от власти Нарышкиных; а Петра Алексеевича с престола сместить никак нельзя; теперь поздно уже думать об этом, так как ему все Российское царство присягу на верность принесло. Станем мы поднимать народ против него, так дурной покажем обычай: ни во что присягу государю ставить начнут.

— Что же, князь, Василий Васильевич, по твоему разумению, следует теперь делать?... — спросила в недоумении царица.

— А вот, пресветлейшая царица, что мне приходит на мысль, — начал с расстановкою Голицын. — Всего бы лучше учредить двоевластие...

— Двоевластие? Что же это такое? — торопливо спросила Софья.

— Пусть будут разом два царя, — сказал Голицын.

— Экую ты, князь Василий Васильевич, небывальщину вымыслил, — засмеялся Милославский. — Преотменный ты выдумщик!

— Совсем не небывальщину и совсем не выдумщик, — спокойно возразил Голицын. — История поучает нас, что в древности у спартанцев было всегда по два царя. В Греческой империи было тоже два совместно царствовавших кесаря: кесари Аркадий и Гонорий; оба они правили империею одновременно и правили со славою.

— Больно уже много начитался ты разных мудреных книг, князь Василий Васильевич, да и крепко ты любишь всякие новшества. А что скажут бояре в ответ на такую затею? — заметил Милославский.

Софья не вмешивалась в начавшееся препирательство между двумя собеседниками и только внимательно прислушивалась к их речам. Новость предложения, сделанного Голицыным, поразила ее, и она, по своему обычаю, уклонилась от участия в разговоре, который пока был для нее неясен,

выжидая, чтобы ей выяснилось дело и она могла бы сказать что-нибудь разумное.

— Не трудно будет втолковать боярам всю пользу такого двоевластия. Нужно будет разъяснить им, что именно от того произойдет. Так, если один царь заболит, то другой царством править может. Если один царь пойдет на войну, то другой останется на Москве, чтобы ведать гражданским урядом.

— Пожалуй, что ты и дело говоришь! Да, почитай, что и для боярства тогда лучше будет: если кто попадет под опалу одного из государей, так останется в чести у другого, — сказал Милославский.

— Смущает меня тут только одно, князь Василий Васильевич, — вмешалась наконец царица. — При двоевластии один царь и его сторонники смогут осилить другого, и тогда власть осиленного царя, пожалуй, ни во что превратится. Вот хотя бы, примером сказать, что может случиться у нас. Положим, что так или сяк посадим мы Иванушку на царский престол, да какая от того польза будет, если на царстве все-таки Петр Алексеевич останется? Ведь тогда и над Иванушкой Нарышкины силу заберут.

— Ну, нет, царица, этому не бывать! — почти вскрикнул Голицын, быстро приподнявшись с лавки. — Досталась бы только единожды власть в руки, а уже выпускать ее не годится! Тогда нужно, да и можно будет побороть всех противников!

Говоря это, Голицын горделивым движением вытянул вперед правую руку и слегка помахивал ею то вверх, то вниз, как будто принижал тех, кто захотел бы приподняться перед ним. С сильным биением сердца и со страстным выражением в глазах смотрела царица на стоявшего перед нею величавого боярина, у которого и в осанке, и в движениях, и во взгляде, и в голосе было что-то обаятельное для нее. В нем, как ей казалось, олицетворились теперь и ум, и твердость, и та самоуверенность, которая дает господство над другими.

— Чем более мирным способом достанется царский престол царевичу Ивану Алексеевичу, — продолжал Голицын, — тем будет лучше для всех. К чему кровавые побоища? Зачем междоусобия? Если раз мы поднимем чернь, то трудно уже

будет усмирить ее; придется пустить тогда в дело и казни, и пытки, а и те и другие только ожесточат народ против нового государя. Разве мало и теперь стонет людей в застенках? Неужели же еще прибавлять страждущих!..

В продолжение этой речи Милославский слегка откашливался, как будто готовясь возразить Голицыну, и с насмешливою улыбкою посматривал на него.

— Как же, князь Василий Васильевич! Так вот добром с Нарышкиными и поладишь! Дашь им теперь спуска, так потом они тебе за то не дадут его. Отблагодарят они тебя в свое время по чести, — сказал Милославский.

— На то, Иван Михайлович, дал Господь Бог человеку разум, чтобы он сумел справиться каждое дело без насилья. Если стрелецкое войско подаст общую челобитную, чтобы быть на царстве государю Ивану Алексеевичу, да сделает это мирным обычаем, так поверь, что несравненно лучше будет. Нарышкины побоятся стрельцов и тем охотнее уступят, что и царь Петр Алексеевич на престоле останется, а там уже можно будет сладить и с ним без кровопролития. Умоляю тебя, боярин, не допускай народного мятежа, при котором не будут отличать правого от виноватого. Вспомни мое злое предсказание!

Когда Голицын договаривал последние слова, в горем вошла Родилица, обращавшаяся совершенно свободно как с царевною, так и со всеми близкими к Софье Алексеевне боярами.

— Была я у твоей милости, — заговорила она, кланяясь Милославскому, — да проведала, что ты здесь, так сюда побежала. Совсем ноженьки отбила, в двух слободах перебивала сегодня.

С этими словами она, как бы обессилев, медленно опустилась на пол и села на нем, вытянув вперед ноги.

Неприветливо взглянул Голицын на постельницу. Он присел на лавку и, сложив на коленях ладони, понурил голову.

— Многие множество стрельцов хотят постоять за царевича Ивана Алексеевича и за тебя, царевна, и за весь ваш старший род, да и не из рядовых только стрельцов, а и из чиновных! Меж

их полковник Озеров да полуполковник из кормовых иноземцев, как бишь его...

— Цыклер, что ли? — подсказал Милославский.

— Он и есть; да из стрелецких выборных, Борис Федорыч Одинцов, Обросим, как звать по отчеству не знаю, а по прозванию Петров, да Кузьма Григорыч Чермный. Последний куда как отважен, с ним часто я выдаюсь, да и у всех других по несколько раз перебывала. Не с ними, впрочем, веду я особенно речи, а больше все с их бабами, те мужей подбить сумеют. Сказывала я им, чтобы они, Иван Михайлович, пожаловали к тебе завтра в ночную пору, ты с ними лучше столкнешься. Много делают мне они таких запросов, на которые я и ответить не сумею... Сказывали, что пишут челобитную.

Слушая Родилицу, Милославский одобрительно кивал головою.

— Ну, вот видишь, князь Василий Васильевич, дело по твоему желанию направляется. Начинают стрельцы не с мятежа, а с челобитной, а затем, если дело повернется на что иное, так уж не наша в том вина будет. Значит, добром с Нарышкиными поладить не успели.

— Дай-то Господи, чтобы избавились мы от кровавых мятежей, не лежит у меня к ним сердце! — отозвался Голицын.

— В слободах, — принялась опять болтать скороговоркою Родилица, — серчают крепко на царицу Наталью Кирилловну за то, что они Матвеева из ссылки возвращают. «Несдобровать ему, говорят стрельцы: пусть только покажется, разговаривать с ним долго не станем».

— Да и нам-то он не на радость едет, примется по-старому воротить всем, — с досадою промолвил Милославский.

При упоминании о Матвееве царевна нахмурилась. Нахмурился и Голицын.

— Что тут поделаешь? С ним, наверно, и без посторонних подущений стрельцы сами по себе скоро расправятся, у них к нему ненависть большая, — заметил Иван Михайлович. — Ну, скажи теперь, князь Василий Васильевич, статочное ли было бы дело, если бы вдруг стрельцы пошли на Матвеева, а мы за него,

врага нашего, вступаться бы вздумали? Ведь это, почитай, все равно что себе самому заранее могилу рыть добровольно.

— Горько сознаться, а приходится сказать, что есть и правда в твоих речах, Иван Михайлович, — печально проговорил Голицын. — Пусть будет, что будет, скажу только и пресветлейшей царевне и тебе, боярин, что в кровопролитии участвовать я не отважусь; на душу грех тяжкий ляжет. Не хочу быть повинен в крови христианской.

— Ну, как знаешь! — проворчал себе под нос Милославский, — А думается мне, что бороться себя от врагов греха никакого нет. Не давать же себя на расправу своим недругам? Приму я все на свою совесть, — добавил он, успокаивая Голицына, — да и царевна ни в чем перед Богом в ответе не явится: все, что будет нужно, сделаю я сам.

— Так и порешим на этом. Пусть Иван Михайлович, как он знает, оберегает честь и здоровье благоверного царевича Ивана Алексеевича. Прощайте, бояре, пора мне пойти к царице Наталье Кирилловне. Стараюсь я теперь поступать, чтоб ни в чем меня в подозрение не взяли.

— И разумно делаешь, государыня царевна, — одобрил Милославский.

Милостиво отпустив от себя бояр, Софья крытыми переходами пошла из своего терема к мачехе.

У царицы Натальи Кирилловны собирались также в ту пору по два раза в день на совет бояре, державшие ее сторону, и почти безотлучно находилась при ней вся многочисленная семья Нарышкиных.

Чуяло сердце царицы что-то недоброе; нарышкинские разведчики и соглядатаи шныряли по Москве и приносили из города в царицын терем нерадостные вести. Подумывали сторонники Натальи Кирилловны, как бы захватить главных злоумышленников, но опасно было сделать это: чего доброго, раздражили бы всех еще больше, и стрельцов, и народ. Не решаясь пока ни на что, царица и преданные ей бояре с нетерпением поджидали приезда в Москву Артамона Сергеевича Матвеева, твердо надеясь, что он даст им всем разумный совет. Промедление на несколько дней не

представляло, по-видимому, особой опасности, так как хотя тревожные слухи и носились по Москве, но не было еще никаких явных признаков, что взрыв уже готов. Да и некому было взяться за дело решительно; среди сторонников царицы Натальи Кирилловны не находилось таких людей, которые отважились бы прямо пойти навстречу опасности; все думали только о том, как бы уклониться от угрожающей беды, а не о том, чтобы предупредить ее неожиданным ударом.

Царевна вошла в горницу царицы, и бывшие там женщины, монахини и приживалки, низко поклонившись ей, вышли, оставив их с глазу на глаз.

— Здравствуй, матушка царица! — сказала Софья, входя к своей мачехе и почтительно целуя ее руку. — Всенижайший сыновний поклон принесла я тебе от братца-царевича. Лежит он в постели, да и сама я что-то недомоганию, никак, огневица напасть на меня хочет. Видно, и мне слечь придется...

— Побереги тебя Господь Бог, Софьюшка, — с притворным участием сказала Наталья Кирилловна.

Софья присела на низенькую скамью у ног мачехи.

— А что слыхать на Москве. Софьюшка? — спросила царица, смотря пристально своими черными глазами на падчерицу и как бы стараясь смутить ее своим взглядом...

— Где мне что знать! Сиж у себя взаперти, ни с кем не вижусь и ни с кем не знаюсь. Вот и святейший патриарх забыл меня совсем; никто ко мне не заглянет. Все нас позабыли, как братец Федя Богу душу отдал, — жаловалась царевна.

— Вот, Софьюшка, кажись, ведь какой ты смиренницею живешь, никого не затрагиваешь, ан, смотришь, злые люди между нами ссору завести хотят: толкуют, что из-за твоих искательств переполох на Москве затевают, — заговорила царица, сдерживая свое волнение.

Софья слегка вздрогнула, но тотчас же оправилась.

— Выдай мне, матушка, того, кто смеет это говорить, — спокойно сказала она, — зачем тебе злых людей боронить? Если что из-за них потом выйдет, так сама же ты виновата будешь: зачем злодеев нам на пагубу укрываешь!

И царевна смело взглянула в глаза мачехи.

Царица в свою очередь смутилась.

— Да кого же мне тебе выдавать? Молва по Москве такая ходит, как тут кого уловишь и уличишь? Сказываю я тебе только то, что на миру твердят, — проговорила она, стараясь придать своему голосу оттенок равнодушия.

— Говорят на миру! — насмешливо повторила вдруг вспыхившая Софья и быстро вскочила со скамейки. — Да знаешь ли ты, матушка, что говорят о тебе самой на миру? Говорят, что ты всех нас извести хочешь!

— Опомнись, безрассудная, что ты сказала! Ты винишь меня в смертном грехе! — вскрикнула царица, приподнимаясь с кресел. — Забыла ты, видно, негодница, что завещал вам покойный родитель!

— Забыла, видно, и ты, что завещал тебе он! — задыхаясь от гнева, вскрикнула Софья. — Завещал он тебе любить и оберегать нас, а разве ты так поступаешь с нами? Ты гонишь братца Иванушку в могилу, а меня и сестер моих спроваживаешь в монастырь...

Вскрикнув, царица почти что упала на кресло и заплакала навзрыд. Царевна, окинув мачеху взглядом, исполненным ненависти, и не простившись с нею, пошла в свой терем.

«Нечего нам более от них ждать; погубят они нас, если мы не обороним себя вовремя», — думала царевна.

Возвратясь в свой терем, она тотчас же на лоскутке бумаги написала:

«Мешкать не годится; принимайся, Иван Михайлович, за дело».

Записку эту царевна отправила с Родилицею к Милославскому. На другой день после стычки Софьи с Натальей Кирилловной по кремлевским палатам пошел слух, что царевна сильно заболела, заперлась в тереме и не пускает к себе никого, даже из самых близких к ней людей. Наталья Кирилловна успокоилась, полагая, что до приезда Матвеева Софья и ее согласники ничего не успеют сделать. А между тем Милославский деятельно работал. Он по нескольку раз в день пересылался через Родилицу с царевною, сообщая ей, что дело идет как нельзя лучше.

С несказанною радостью встретила Наталья Кирилловна возвратившегося из ссылки боярина Артамона Сергеевича Матвеева, ближайшего друга ее покойного мужа, который звал Матвеева почетным именем «Сергеич». При виде его в памяти царицы оживали ее детские и девичьи годы. Вспоминала она, как ее, еще маленькою девочкою, привезли из Тарусы, где было у ее отца небольшое поместье, в Москву на воспитание к родственнику Нарышкиных, Матвееву, как ее поразил тот дом, в котором жил боярин. Дом этот отличался по своей отделке и обстановке слишком резко от домов других бояр и, подобно дому князя Василия Васильевича Голицына, был устроен на европейский образец. Боярин Матвеев слыл на Москве человеком разумным и ученым. Он любил чтение и беседу с книжными людьми, не только из русских, но и из иностранцев, и постоянным его собеседником был ученый грек Спатарий. Ходила даже молва, будто Матвеев знает тайную силу трав и занимается чернокнижием, и повод к этой последней молве подавал, между прочим, служивший у Матвеева араб Иван.

— Дьявол идет! — кричали, бывало, в Москве, когда араб, или по-тогдашнему «мурзин», появлялся на улице. — Вишь ведь, черный какой! Черт губастый!

— Да ведь он тоже крещеный! — заметит иногда кто-нибудь, защищая слугу Матвеева от уличных оскорблений и насмешек.

— Что в том, что он крещеный? Рожа все та же черная осталась, значит, и в крещении не отмылся!

Давно бы над ним учинили в Москве что-нибудь недоброе, если бы нападки на него не сдерживались его богомольем. Крещеный негр часто ходил в церковь Николы в Столбах, в приходе которой жил его боярин. Став в церкви к стороне, он усердно молился и тем ослаблял злобу суеверов.

Любил боярин Матвеев толковать и с раскольниками, а также и состязаться с Аввакумом, к которому он нередко

хаживал вместе с Семеном Полоцким. Вскоре, однако, протопоп разошелся с боярином.

— Ты ищешь, — сказал ему при одном споре Аввакум, — в словопрении высокой науки, а я прошу ее у Христа моего со слезами. Како же могу я иметь общение с тобою: мы разнимся, яко свет и тьма.

Вообще, раскольники не жаловали Матвеева за склонность его к новшествам. Не любило его и стрелецкое войско, зная, что боярин был строг и не снисходительно посматривал на распущенность и своеволие стрельцов. Едва лишь Матвеев возвратился в Москву, как вражда готовилась снова подняться против него, хотя стрельцы и встретили его с хлебом-солью. «Но, — как писал впоследствии его сын, — принос стрелецкого хлеба и соли был ядением ему, боярину, меду сладкого на остром ноже».

Живо напомнил приезд Матвеева царице ее неожиданную высокую судьбу.

Царь Алексей Михайлович часто, в противность тогдашним понятиям, требовавшим сколь возможно большого отчуждения государя от подданных, ездил к боярину, который, не блюдя исконного московского обычая, не скрывал от взоров бывавших у него гостей ни своей жены, ни жившей в его доме Натальи Кирилловны. При первой же встрече сильно приглянулась царю эта молодая, красивая и стройная девушка, и он, шутя, пообещал Матвееву приискать ей жениха.

Прошло после этого несколько дней, и Алексей Михайлович снова навестил Матвеева.

— Я нашел твоей родственнице жениха, — сказал государь.

— Кто же он таков? — спросил нерешительно боярин.

— Царь Алексей Михайлович! — было ответом на этот вопрос.

Матвеев повалился в ноги государю и умолял отстранить от него эту высокую честь, ссылаясь на то, что, вследствие царского брака с его родственницею и воспитанницею, у него, Матвеева, явится много завистников, и уговорил царя справить сватовство по старинному обычаю. Тогда собрали со всего государства в Москву дворянских девиц и поместили их в

царевниных теремах. Только перед светлыми очами великого государя, одного из всех мужчин Русской земли, могли откинуться девичьи фаты. Царь вдосыть насмотрелся на своих хорошеньких подданных, но остался верен прежнему своему выбору: Наталья Кирилловна была объявлена невестой государя, а вместе с тем и наименована благоверною царевною и великою княжною московскою, так что государь как будто вступал в брак с девицей царской крови.

Отложил тогда Алексей Михайлович в сторону все государственные и земские дела и начал с своим синклитом мыслить только о том, кого в какой «свадебный чин» избрать? В чин этот нужны были сановные лица «в отцово и материно место», нужны были они в «сидячие бояре и боярыни», в «поезжане», в «тысяцкие», в «дружики», в «свахи», в «свешники», в «конюшенный чин» и в «дворецкие». И боярам, и боярыням, и вообще служилому чину при отправлении «царского веселия» нашлась бы почетная работа. Вся родовитая Москва переполошилась, все только и думали, кого куда царь соизволит назначить. Поднялись местнические счеты не только между мужчинами, но и между их супружницами, каждому и каждой хотелось занять более видную должность. Долго пришлось бы возиться царю с этим делом и решать местнические споры по разрядным книгам, а потому он, избегая проволочек, покончил все дело своею царственною властью очень просто: он повелел быть всем без мест, затем, не соображаясь уже со служебною знатностью того или другого рода, приказал расписать всех по местам, с прибавкою, чтобы «в те дни, когда у него, великого государя, будет радость, в том чину, кому где указано быть, были бы готовы без лет, не по роду и не по чинам». Не лишним счел государь задать на всякий случай и острастку, прибавив в своем указе: «А как будет у него радость и в те дни будет кто из бояр, и окольников, и думных, и ближних людей учинять в свадебном деле породю своею, местами или чином какую смуту, и в том свадебном деле учинится помешка, и того за его слушание и смуту казнить смертью без всякого милосердия, а поместья и вотчины взять на него».

Показалось, однако, великому государю недостаточным и это для сохранения, при его «радости», должного порядка и благочиния. Поразмыслил он и о том, что будет после его свадьбы, и потому в своем указе повелел сделать еще и следующую прибавку: «Также и после свадьбы никому никого никакими словами о свадебных чинах не поносить и в случай не ставить, кто кого в чину выше был, а буде кого учнет поносить, а себя высити и про то сыщется, и тому быть от великого государя в опале и в наказании».

Настращав порядком своих верноподданных, великий государь спокойно принялся справлять свой «свадебный чин», а Наташа между тем перешла на житье в царские хоромы, к царевнам-сестрам своего жениха.

Накануне царской свадьбы справили в столовой избе Кремлевского дворца ужин, во время которого Наташа чувствовала уже себя царицею, так как она сидела с государем за особым столом, тогда как бояр и боярынь, которые еще так недавно смотрели свысока на безвестную доселе семью Нарышкиных, усадили за особые столы, поодаль от будущей государыни. Перед ужином крестовый протопоп благословил крестом царя и царевну и «велел им меж себя учинить целование». Зарделись щечки девушки от этого первого поцелуя чужого мужчины, и смутилась она, когда дородные бояре и такие же боярыни принялись кланяться ей в ножки, поздравляя ее нареченною невестою великого государя.

Благословился на другой день Алексей Михайлович у патриарха, отпели для его царского величества молебен, после которого отправили панихиду по его отцу и его сродникам, и пошел он потом в Архангельский собор, к гробам прежних царей московских, «испросить у них прощение».

Но вот наступил и день брака Наташи с великим государем. К этому дню обили большую палату Кремлевского дворца бархатом, разостлали в ней на полу турецкие и персидские ковры, устроили посреди палаты царское место, чтобы сидеть на нем жениху и невесте, а перед царским местом поставили стол, а кругом этого стола другие столы, за которыми сидели бы

бояре и боярыни; покрыли столы камчатными скатертями и положили на них хлеб и соль.

Забилось сердце боярышни-царевны, когда ее, одетую в царское одеяние, ввели под руки боярыни в эту палату и посадили там на особое место. Донесли тогда государю, что все пришли и устроились. Помолился он усердно перед иконами, благословил его духовник, благословили посаженные отец и мать, и отправился он в большую палату к своей невесте. Коровайники понесли перед ним хлеб и соль, а за ними пошел протопоп, за протопопом царь, а за царем бояре.

Вошел в палату великий государь, а царевна встала со своего места, и оглянула она жениха так зорко, как никогда еще не оглядывала его прежде, и показался он ей не слишком молодым и не очень пригожим, но зато сановитым и важным, и хотя дородность в мужчине не считалась в ту пору изъяном, но все-таки, как думалось Наташе, жених уже больно тучен, так что он с трудом на ходу двигается. Но зато приветливо и кротко смотрели его глаза из-под собольего околыша высокой царской шапки, блиставшей алмазами и жемчугом. Бело и нежно было его добродушное лицо; величаво и пышно разлеталась на драгоценных царских бармах его темно-русая густая борода. Ослепительно великолепен был и весь наряд державного жениха, шитый из золотой парчи и украшенный такими же кружевами, а все одеяние его сияло разноцветными лучами, которыми с разными переливами так причудливо играли алмазы, изумруды и рубины, как будто отягчавшие великого государя в его царственном облачении.

Помолился царь и в палате, помолилась с ним и невеста, и благословились и он и она у своих посаженных отцов и матерей, и сели они на царское место оба на одной бархатной подушке. Вслед за ними сели по своим местам бояре и боярыни и весь свадебный чин.

Поднялся со своего места духовник, поднялись с подушки царь и царевна, встали с лавок и все сидевшие за столами, и начал протопоп читать громко «Отче наш». Окончил он молитву, и стольники принесли в палату кушанья и поставили их на столы. Усердно, начиная с главного «действителя», отца

протопопа, все принялись за еду. Только друзьям и подружьям женского пола не до того теперь было. Подошли они к отцу и матери невесты и благословились у них, чтобы расчесывать косу Наташи. Заслонили на это время и ее и жениха пологом из розовой тафты, который держали свешники, а за пологом свахи сняли с царевны девичий венок, и вот густыми прядями рассыпались по плечам ее черные волосы, и тогда свахи принялись расчесывать и «укручивать» ее косу.

Покончили свахи-боярыни с косою невесты и надели ей на голову покрывало с вышитым на нем крестом, и тогда начались раздача и посылка подарков от невесты: от имени ее стали подносить ширинки, то есть носовые платки. Ширинки были из белой тафты, шитые золотом, серебром и шелком. Не забыли при этом подарками и отсутствовавшего патриарха и от имени невесты отправили к святейшему владыке несколько кусков белого полотна.

Царь и его невеста не прикасались к яствам, так как они весь этот день должны были поститься, да и свадебному чину не дали кончить обеда, потому что начались сборы к венцу. Посаженные отцы и матери благословили царя и царевну иконами в золотых окладах, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, а потом отец и мать невесты подвели ее к царю и сдали ему ее. Государь взял невесту за правую руку и повел ее в одну из дворцовых церквей. Духовник предшествовал им, кропя святою водою все переходы, чтобы избавить врачующуюся чету от волшебства, колдовства и чародейства. В это время во всех московских церквах раздался трезвон и началось молебствие о здоровье царя и царевны, а также о счастливой будущности их супружеского союза.

В церкви государь и невеста встали вблизи алтаря на разостланную для них золотую обьярь, а сваха отслонила от лица невесты шелковую фату. Царя с одной стороны стал поддерживать под руку дружка, а царевну — сваха.

Окончился обряд венчания, и протопоп стал поучать, как следует жить супругам.

— Жене у мужа быти в послушенстве, — внушал он, — и друг на друга не гневаться, разве некия ради вины мужу поучити

ее слегка жезлом, зане же муж жене, яко глава на церкви, и жиги вам в чистоте и богобоязни, неделю и среду и пяток и все посты постить, и к церкви Божией приходить, и подаяния давать, и с отцем духовным спрашиваться почасту, той бо на вся блага научит.

Преподал отец протоиерей в этом подлинном своем слове еще и особую статью о супружеской любви в великие праздники.

Сказав поучение, протопоп передал царю невесту и велел им поцеловаться, а царские дьяки грянули многолетие благоверной государыне царице Наталье Кирилловне. Молодую между тем закрыли снова фатою, и начались поздравления. После поздравлений царь с царицею вернулись в столовую избу, и там, в присутствии их, и весь свадебный чин принялся за продолжение прерванного обеда. Когда же принесли столыники третье яства, жареного лебедея, то царь встал, встала и царица, а протопоп благословил новобрачных, которые отправились в опочивальню, предоставив боярству и всему свадебному чину есть и пить вдоволь, а около той хоромы, куда удалились новобрачные, стал разъезжать на лихом коне конюший с обнаженным наголо мечом, не допуская никого приблизиться к царским хоромам.

Порядком должен был поумаяться этот конный царедворец, так как ему пришлось разъезжать вплоть до рассвета.

В эту брачную ночь в царском дворце шло необычайное веселье: в продолжение ее играли на трубах и сурнах, били что есть мочи в литавры, как в сенях, так и на дворе, на котором «для светлости» жгли большие костры дров. Отпраздновали свадьбу Натальи Кирилловны и обедами, и подарками; царя дарили бояре и боярыни бархатами, узорчатыми камками, атласами и объярями, а царицу, вдобавок ко всему этому, еще и соболями и золотыми перстнями с дорогими камнями, а также и серебряною посудю. По случаю царского веселья были посланы из дворца в монастыри столыники, стряпчие жильцы с милостынею и с молебными деньгами, и в течение нескольких недель кормили на счет царской казны изобильною трапезою чернецов и черниц, выдавая каждому и каждой из них сверх денег еще по полотенцу и по два платка. Ходили царь и царица

по богадельням и тюрьмам, облегчая участь колодников и раздавая щедрую милостыню как им, так и вообще убогим и нищим, и, по свидетельству современника, истратили на это «множество тысяч».

Припоминала царица Наталья Кирилловна и радость своего супруга по случаю рождения ею царевича, которому, вследствие особого предвещения юродивого, дали имя Петр — имя, не бывшее еще в царском семействе. Припоминала она, как царь на радости стал тогда ходить пешком в «цветном» платье по монастырям, творить многие добрые дела сверх обычных и угощать бояр водкою, фряжским и ренским вином, яблоками, дулями, коврижками и инбирем.

Царь, читавший в переводах иностранные «куранты», то есть газеты, порадовался и тем предзнаменованиям, какие он в них нашел; так, он узнал, что в день рождения царевича Петра король французский перешел за Рейн, а султан турецкий через Дунай; после чего первый из них завоевал четыре бельгийские области, а второй Каменец и всю Подолию.

Были, впрочем, в жизни царицы и тяжелые дни, хотя и неизвестно, доходило ли когда-нибудь дело до «жезла», употребление которого царю разрешал при совершении его брака духовный отец, могший, по собственному его о себе самом отзыву, «наставить на вся благая». Известно только, что огорчения Натальи Кирилловны происходили от положения ее, как мачехи, среди взрослой семьи, которая осталась после царицы Марьи Ильиничны и в которой самую непокорную личностью оказалась падчерица Натальи Кирилловны, царевна Софья Алексеевна. В эти тяжелые дни ободрял, утешал и успокаивал царицу ее сродник, боярин Матвеев, с которым разлучили ее Милославские, но теперь обстоятельства, к радости вдовствующей царицы, изменились, так как опальный боярин с великою честью возвращался в Москву и в нем она должна была найти и твердую опору, и надежного советника.

С обычной для той поры боярскою пышностью въезжал Матвеев в Москву, которую он, как изгнанник, должен был оставить семь лет тому назад. Раздумывая о своей ссылке, он скорбел о том невежестве, в каком находились тогда его соотчичи. Еще в исходе XVII столетия подозрения в порче, в отраве и в волшебствах были весьма часты в Московском государстве, и каждый человек, занимавшийся в то время не только такими «отреченными» или проклятыми науками, какими считались тогда алхимия и астрология, но даже медициною, считалсяознакомившимся с нечистою силою. Таким подозрениям давалась большая вера и в царских чертогах, а опасения насчет отравы на каждом шагу высказывались постоянно около царя и его семейства. Так, чашник, подносящий напитки, и кравчий, резавший государю пищу, должны были, прежде чем станет пить или кушать государь, отвеживать напитки и «надкушивать» яства. В случае болезни царя ближние бояре должны были принимать подаваемое ему лекарство. Подозрительность относительно отравы и порчи до того господствовала при московском дворе, что все служившие при нем люди давали присягу не покушаться на жизнь государя и его семейства отравою и не портить их волшебством и нашептыванием. Опасения предусматривались до таких мелочей, что, например, давалась клятва не наводить чар ни на седло, ни на стремяна, ни на уздечку, которые надевались на царских коней. Во всем чудились тогда отравы и порчи, все могло пропитаться ими, и потому против этого принимались самые тщательные предосторожности. Стирку белья, употреблявшегося в царском семействе, доверяли только самым надежным женщинам, а возили его полоскать на реку запечатанным царскою печатью и покрытым красным сукном, под охраною такой знатной боярыни, на благочестие и преданность которой к царскому дому можно было вполне положиться. Ладанки, кусочки мощей, крестное знамение и

святая вода считались лучшим противодействием всякому дьявольскому наваждению.

Милославские поспешили воспользоваться такою подозрительностью и таким легковерием на пагубу ненавистного им боярина Матвеева. В особенности они мстили ему за то, что он уговаривал царя Алексея Михайловича, чтобы он, обойдя двух старших царевичей, Федора и Ивана, рожденных от Милославской, благословил на царство младшего своего сына, царевича Петра, рожденного от Нарышкиной. По наущениям Милославских доктор Берлов донес, что Матвеев хотел отравить царя Федора Алексеевича, что он вызывал нечистых духов, которых видел живший в его доме карлик Захарка, и что, кроме того, боярин не отведывал лекарств, подносимых царю, отчего здоровью его царского величества немало вреда причинилось. Справедливо или ложно, но пустили также молву о том, что Матвеев держал у себя не только лечебник, писанный цифирью, но даже и черную книгу.

Оговоренный боярин должен был считать себя еще весьма счастливым, что, при таких тяжких обвинениях, его не только не сожгли в срубе, но даже и не подвергли пытке, а только по лишении боярства и чести и но взятии всего имущества на государя отправили на житье к берегам Ледовитого моря.

Заглянул боярин Матвеев по приезде в Москву в свой прежде великолепно убранный дом. Дом был теперь пуст, все было из него повыбрано, высокая, чуть не до пояса трава, крапива и полынь разрастались привольно каждое лето во дворе покинутого дома, где, как верили москвичи, гуляла и тешилась на просторе нечистая сила, привыкшая посещать по ночам прежнего хозяина дома.

Когда проезжал по московским улицам «Сергеич», многие недружелюбно посматривали на него и уже толковали о том, как бы от него избавиться народным сколом, «вольным обычаем».

— Эй, Митюха, не толкуй об этом! — наставительно крикнул старый кузнец своему молодому работнику, заговорившему о том, что нужно-де снова посбыть так или иначе строгого боярина, добавляя, что так как его добром наверно не выдадут,

то отчего бы и не взять его силою. — Из-за такого дела мне всю жизнь ковылять приходится, — наставительно добавил старик.

— Нетто тебе, дядя, досталось когда-нибудь? — спросил парень, потрянув кудрями.

— Да и не одному мне. Вспоминать-то я не охоч об этом, но тебе в науку, пожалуй, и расскажу.

Кузнец бросил на пол тяжелый молот и присел на скамейку.

— Ты, почитай, еще и не родился, когда был коломенский «гиль», — начал он, отирая с лица рукавом рубашки капли крупного пота, — Тебе который год?

— Кажись, семнадцать.

— Ну, так, значит в ту пору ты еще соску сосал, а потом, видно, ничего не слыхивал.

— Нет, дядюшка, слыхал что-то, да перезабыл.

— Так слушай же, что было. Вел войну царь с польским королем, и денег у царя на жалованье ратным людям не хватило. Вот и надумались тогда делать медные деньги и пускать их в народ, вровень с серебряными. Пошли на первый раз такие деньги ходко, а потом вдруг все вздорожало. Деньги оказались негодные, и не стали крестьяне возить в города ни сена, ни дров и никаких запасов. Настала тогда на все дороговь великая, и появились воровские деньги, оловянные и медные, ртутью натирали да и давали темному народу за серебряные.

— А ты, дядюшка, таких денег не делывал? — спросил Митюха.

— Делывал бы, так разве бы так жил?. В ту пору кто делал воровские деньги, так поставил себе дворы каменные и большущие деревянные хоромы, понаделал себе и женам платье боярского обычая. Многие в том воровстве попадались, да откупались; брали с них откуп, да настоящими деньгами, и брали-то не одни сыщики и приказные, а и бояре, хотя бы тогдашний царский тесть Илья Данилыч Милославский! А кто откупиться не успел, была тем тяжкая расправа! Ой, тяжкая! Горло заливали свинцом, отсекали руки, ноги или пальцы и калекими в дальнюю ссылку отправляли, а отсеченные руки и ноги, на страх другим, прибывали к денежным дворам. Бывало, в

иной день по сотне отхваченных топором рук и ног гвоздями приколотят.

— Тем дело и покончилось? — спросил молодой работник.

— Хуже было! Государь велел казнить тех, кто посулы брал, а тестю своему, да и другим боярам, дал пощаду, маленько только погневался на них. Ну, вот народ и взбудоражился. Собрался на Лобном месте у рядов да и принялся толковать: «За что-де боярам спуску давать? Расправимся с ними сами!» Ну и принялись грабить. Царя на ту пору в Москве не было, жил он в Коломенском. «Пойдем, братцы, в Коломенское!»— крикнул кто-то, да и взаправду пошли. Царь слушал обедню в тот час, когда к нему в село, а потом и во двор привалили «гилевщики»; не смутился, иначе, он и достоял до конца обедню, попрятались только от страха царица, царевичи и царевны в своих хоромах.

— А что же царя-то защищать никто не стал? — перебил работник.

— А разве царь знал, что гиль будет! При нем, разумеется, находился заурядный караул, а больше не было. Только уж тогда, когда проведали бояре, что гилевщики пошли в Коломенское, тогда послали из Москвы и стрельцов на подмогу царскому караулу. Ну и было же тут!

— А ты что же, дядя, в те поры делал?

— Да что делал? Обороняться мне было нечем, так и я следом за другими побег, а меня на бегу какой-то окаянный стрелец как мазнет пулей в ногу, так я тут же и присел! Спасибо товарищам, не выдали меня, кое-как приволокли к Москве, да месяца три укрывался я потом от сыска, пролежал под крышей да хромым на весь век и остался. Стал потом говорить, будто на работе сильно ногу попортил. Да мне хотя и непопусту досталось, а то были и такие, у кого на уме ничего не было, пошли так себе, поглазеть, а и им досталось за один уряд!

— А что ж поделали с виновными? — спросил парень.

— Да в тот же день около Коломенского повесили сотню разного народа, а достальных пытали и жгли, кнутом били, разжженным железом клали на лицо знамение «буки» в указ того, что бунтовщики были...

— Чу! Никак, всполох бьют, — крикнул парень.

— Оно и есть, — сказал старик, вслушиваясь к начинавшему гудеть вдалеке набату.

— Да, слышь, никак, и в слободе-то в барабаны ударили!

Хозяин и работник выбежали из кузницы, а между тем гул набата и барабанный бой усиливались все более и более.

Это было 15 мая 1682 года.

Настало ясное и жаркое майское утро; по голубому небу не пробегало над Москвою ни одного облачка. Неподвижен был воздух, но к полудню какая-то невидимая сила начинала по временам поднимать на пустых улицах Москвы небольшим дымком пыль и кружила ее на месте, что по народной примете должно было предвещать сильную бурю. В Москве около полудня все стало тихо: прекратилась в городе и езда, и ходьба, так как около этой поры наступал тогда для всех обеденный час. Собравшаяся в Кремлевском дворце боярская дума уже оканчивала свое заседание, которое в этот день продолжалось долее обыкновенного. На нем, после долгого отсутствия, находился и боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Дума рассуждала о том, какие следует принять меры, чтобы пресечь ходившие по Москве тревожные слухи, и тем самым предотвратить то, пока еще глухое волнение, которое, как ожидали бояре, может, чего доброго, перейти в народное возмущение. Все бояре надеялись, что умный и рассудительный Матвеев подаст при настоящих затруднительных обстоятельствах спасительный совет. Но Матвеев, ссылаясь на то, что лишь трое суток, как прибыл в Москву, отозвался, что не успел еще ознакомиться с положением дела. Поэтому он уклонился и просил отложить окончательное решение вопроса на несколько дней. Заметно было, что Матвеев был не только озабочен, но и грустен, хотя благоприятный переворот в его судьбе должен был радовать и веселить его. Какое-то тяжелое предчувствие безотчетно томило возвратившегося в Москву боярина. Хмуро и озабоченно выглядывали и его сотоварищи по думе; и они как будто чуяли что-то недоброе, зная, что между стрельцами давно уже идет глухой ропот, но ободряли себя тем, что до возмущения дойдет еще не так скоро и что между тем успеют принять меры, которые предупредят опасные замыслы в среде недовольных.

Окончив заседание в думе, бояре, один за другим, стали медленно спускаться с Красного крыльца, когда до их слуха долетел гул начинавшегося набата.

— Знать, где-нибудь загорелось, — сказал князь Яков Никитич Одоевский. — Слава Богу, что тишь стоит в воздухе, скоро погасят.

Бояре стали оглядываться по сторонам, но на ясном небе ни в одной стороне не было видно дыма, который при каждом пожаре так скоро поднимался черными клубами над тогдашнею Москвою сплошной деревянной постройки.

Следом за набатом послышался отдаленный рокот барабанов.

— Должно быть, стрельцы спешат на пожар, — проговорил боярин Шереметев.

Действительно, барабанный бой оповещал о приближении стрельцов, но спешили они не на пожар, а в Кремль, куда их вовсе не ожидали.

В то время, когда бояре заседали в думе, стольник Александр Милославский и стрелецкий голова Петр Толстой во всю прыть прискакал на конях в одну из стрелецких слобод.

— Нарышкины задушили царевича! — кричали они, мчась по слободским улицам.

Стрельцы повыбежали из изб, барабаны ударили сборную повестку, а в приходских церквах, стоявших по слободам, забили в набат. Стрельцы схватили знамена, ружья, копья и бердыши, а пушкари принялись впрягать под пушки лошадей.

— Нарышкины удушили царевича! — кричали стрельцы, передавая один другому весть, привезенную Милославским и Толстым.

— Бояре хотят произвести между нами розыск и главных виновников казнить смертью, а прочих сослать в дальние города. Хотят они истребить вконец наше стрелецкое войско. Покажем им, что этому не бывать! Пойдем в Кремль, изведем изменников, — говорили влиятельные стрельцы своим товарищам.

В то время, когда стрельцы готовились двинуться на Кремль, огромная и плотная толпа окружила Александра

Милославского, который передавал ей подробности о кончине царевича.

— Иван Нарышкин, — рассказывал он, — надел на себя царскую одежду и шапку и сел на престол, при своих сродниках и согласниках, и похвалялся перед ними, что «ни к кому царская шапка так не пристала, как ко мне». Царица. Марфа Матвеевна и царевна Софья Алексеевна захватили его в этом воровстве и принялись корить за продерзость при царевиче Иване Алексеевиче, когда тот пришел в палату на учинившийся шум. Как вдруг Нарышкин вскочил с престола, кинулся на царевича да тут же и задушил его!

То же самое рассказывал другой толпе и Петр Толстой.

— Вспомните, православные, какой сегодня у нас день! Сегодня ведь празднуется память святого мученика царевича Дмитрия Углицкого, и сегодня же явился другой царевич-страстотерпец! — говорил Толстой.

Стрельчихи быстро разносили по слободам страшную весть, и теперь все слухи, которые рассеивали сторонники Милославских, начали громко и с полной уверенностью повторяться на все лады и притом с разными произвольными прибавлениями.

— Царевич Иван Алексеевич был наш законный государь, никогда он не отказывался от престола, сплели эту молву Нарышкины! Нужно наказать их за все их злодеяния! — твердили разъяренные стрельцы.

С громкими криками, с распущенными знаменами, при грохоте двухсот барабанов и в сопровождении нескольких пушек подходили они к Кремлю с разных сторон.

Не успевшие сойти еще с Красного крыльца бояре в недоумении от гула набата и барабанов приостановились на площадке лестницы, а бояре, поехавшие прежде них, стали возвращаться назад во дворец.

— Нет проезда, весь Белый город полон стрельцами! — крикнул воротившийся ко дворцу боярин князь Урусов Матвееву, который хотел было сойти по лестнице, чтобы сесть в колымагу. — Не ездь, боярин, плохо будет! Да несдобровать и всем нам.

Матвеев опрометью кинулся вверх к царице Наталье Кирилловне, чтобы предупредить ее об опасности, за ним в испуге бросились и все бывшие на Красном крыльце бояре, надеясь найти в царских палатах убежище от подходивших к Кремлю мятежников.

Предуведомив царицу о приближении стрельцов, Матвеев послал за патриархом, приказал бывшему в карауле стремянному полку охранять дворец и распорядился, чтобы немедленно заперли все кремлевские ворота. Но было уже поздно: стрельцы, пройдя Земляной город, плотную гурьбою ввалились в Кремль с неистовым ревом и с оглушительным барабанным боем, и перед опустевшим Красным крыльцом запестрели теперь их алые, синие, малиновые и голубые кафтаны, замелькали разноцветные шапки и заблестали на ярком солнце ружья и копья. Стрельцы, идя на царский двор, разоделись по-праздничному; на многих из них были бархатные кафтаны и цветные сапоги, преимущественно желтого цвета; у некоторых были на кафтанах золотые нашивки и шли через плечо золотые же перевязи, на которых висели бердыши, остро отточенные сабли, изогнутые наподобие полумесяца. Следом за привалившею толпою показались тяжело грохотавшие пушки. Стрельцы, по современному сказанию, стали теперь перед царским дворцом «во всем своем ополчении».

В воздухе между тем сильно парило, становилось все душнее и душнее, а вдали стала надвигаться на Москву черносиняя туча. Начали пробегать по временам быстролетные, но все более и более усиливающиеся порывы ветра, развевая стрелецкие белые с двуглавым орлом знамена и все громче и громче шелестя ими.

На несколько мгновений все стихло на площади. Стрельцы как будто призадумались, что им теперь делать? Было тихо и во дворце; там слышался только робкий шепот среди бояр и царедворцев, пораженных ужасом. Стрельцы между тем отряжали в царские палаты своих выборных к великому государю.

— Слушайте, братцы, кого нужно нам потребовать на расправу, — крикнул выступивший вперед стрелецкий выборный

Кузьма Чермный.

— Князя Юрия Алексеевича Долгорукова, — начал читать он по бумаге, — князя Григория Григорьевича Ромодановского, Кирилу Полуэктовича Нарышкина, Артамона Сергеевича Матвеева, Ивана Максимовича Языкова, Ивана Кирилловича Нарышкина, постельничего Алексея Тимофеевича Лихачева, казначея Михаила Тимофеевича Лихачева и чашника Языкова. С Лихачевыми и Языковыми нужно нам расправиться за то, что они не берегли здоровья царя Федора Алексеевича, — добавил он и затем принялся читать далее: — Думных дьяков: Иванова, Полянского, Богданова и Кирилова и стольников: Афанасья, Льва, Мартемьяна, Федора, Василья и Петра Нарышкиных. Так? — спросил в заключение Чермный окружавших его стрельцов.

— Так! Так! Они царские изменники и наши недруги, — завопили стрельцы. — Князь Григорий Григорьевич мучил нас в Чигиринском походе. Боярин Языков всячески притеснял нас, Вступаясь за наших начальников!

В это время солнце все чаще и чаще стало прятаться за обрывками, предшествовавшими по небу набегавшей большой туче. На площади пронесся сильный порыв ветра, подняв густые, высоко взвившиеся клубы пыли. Упало несколько крупных капель дождя, и послышались глухие раскаты грома.

Не успели еще выборные вступить на лестницу Красного крыльца, как с нее стал спускаться престарелый боярин, князь Михаил Алегукович Черкасский.

— Зачем вы, страдники, пришли сюда? — строго спросил он у стрельцов. — Проваливайте отселе, тут вам не место.

— Небось твое тут место? — насмешливо отозвался один из стрельцов. — Трогают тебя, что ли?

— Проваливай сам отселе, татарская рожа! — крикнули вдруг другие стрельцы.

Боярин грозно посмотрел на них, но, прежде чем он успел сказать еще что-нибудь, шелковая ферязь затрещала на нем, и попятившийся от стрельцов боярин в одно мгновение очутился от напора стрельцов на Красном крыльце с оторванным рукавом

и располосованной вдоль спины ферязью, возбуждая разодранною одеждою громкий хохот.

— Видно, и надеть тебе нечего, что в лохмотьях ходишь? Принимайся-ка, боярин, на старости за иглу! — насмехались вслед ему стрельцы.

Появление Черкасского в изодранной ферязи в Грановитой палате, где собрались и жались в кучку около царя, царицы, царевича и царевны Софьи дрожавшие от страха бояре, возбудило ужас.

— Не дадут они нам никому пощады! — зловеще вскрикнул боярин князь Одоевский.

— Сходи ты к ним, князь Василий Васильевич, — сказала царица Наталья Кирилловна, обращаясь к князю Голицыну. — Ты вразумишь их.

Софья вздрогнула. Она хотела возразить что-то, но удержалась и, отойдя в сторону, встревоженная и взволнованная, присела на лавку.

— Пойду и молю Бога, чтобы он помог мне моим словом одолеть их безумство! — перекрестившись, сказал твердым голосом Голицын.

— Стыдно славному стрелецкому войску творить такие бесчинства! — выкрикнул Голицын, став на последней ступеньке лестницы. — Или хотят стрельцы на все Московское государство прослыть изменниками?

Стрельцы не дали далее говорить Голицыну.

— Не мы изменники, а вы, бояре, изменники; мы пришли сюда затем, чтобы взять тех, кто извел царевича!

— Не извели царевича! Милосердием Божиим он здравствует по-прежнему! — отозвался Голицын.

— Рассказывай! — крикнули стрельцы. — Мы лучше твоего знаем! Убирайся-ка, боярин, подобру-поздорову! Ничего с нами не поделаешь, а станешь долго толковать, так еще хуже будет!

Без успеха вернулся Голицын с Красного крыльца в Грановитую палату.

— Пошел бы ты к ним, князь Иван Андреевич, — сказал Матвеев Хованскому. — Авось они тебя послушают.

— Иди, иди! — подхватили бояре. — Они все тебя любят, ничего дурного с тобою не сделают.

При появлении Хованского на Красном крыльце прошел на площади между стрельцами одобрителный говор.

— Зачем вы, ребяташки, пришли сюда? — спросил ласково Хованский, обращаясь к выборным, стоявшим отдельно от толпы. — Нешто мне не верите и через меня бить челом великому государю не хотите?

— Как не верить тебе! Да трудить тебя, боярин, не посмели, — простодушно отозвались некоторые из стрельцов.

— Так скажите мне теперь, зачем вы сюда пришли?

— Пришли мы к великому государю ударить челом, чтобы указал он выдать нам изменников, — отвечали с поклоном выборные.

— Кто же изменники?

— Возьми, боярин, эту роспись и представь ее от нас великому государю. Коли ты ее возьмешь, так и выборных мы посылать не станем. По ней он узнает, кто изменники, — сказал Чермный, почтительно подавая Хованскому недавно прочитанную перед стрельцами бумагу.

Хованский взял бумагу и пошел с нею в Грановитую палату.

— Вот боярин так боярин! — одобрително кричали ему вслед стрельцы. — Говорит толком, не грозит, а выспрашивает ласковым обычаем!

И, говоря это, они разбрелись по площади, терпеливо, по-видимому, ожидая, какой указ даст великий государь по их челобитной.

В Грановитой палате началось теперь совещание. Царевна заглянула в список, и на лице ее выразилась радость: в росписи не было никого из близких ей людей.

— Великий государь, — заголосил вышедший на Красное крыльцо дьяк, — указал объявить вам, что тех бояр, которых вы требуете, у него, великого государя, в царских палатах нет.

— Нет так нет! Мы и сами опосля отыщем, куда они схоронились, а теперь пусть нам покажут царевича; хотим увериться, жив ли он? — заголосили стрельцы.

Прошло немного времени, и на площадке Красного крыльца показались жильцы с метлами и с корзиною песку.

— Знать, патриарх, хочет выйти, — заговорили стрельцы, так как, по существовавшему обычаю, перед ним всегда мели дорогу и посыпали ее песком.

Действительно, спустя немного показался протодьякон с большим крестом, а следом за ним, в низком белом клобуке и «пестрой» рясе, медленно выступал патриарх Иоаким. За ним шла царица, с лицом, закрытым фатою. Неровным шагом приближалась она к золотой решетке, отделявшей площадку лестницы от входа, ведя за руку царя Петра Алексеевича, рядом с которым плелся царевич Иван Алексеевич. За царскою семьею нерешительно и робко двигались бояре, а между ними и оборванный князь Черкасский.

— Вот благоверный царевич Иван Алексеевич! — сказал патриарх, выдвигая его вперед и ставя у самой решетки Красного крыльца.

— А вот царь Петр Алексеевич! — в смущении проговорила царица Наталья Кирилловна. — Оба они, благостию Божиею, здравствуют, и в доме их нет изменников.

— Это не царевич Иван Алексеевич! — гаркнул один из стрельцов.

— Нам нужно его поблизости рассмотреть! — подхватили на площади другие, и при этих криках несколько стрельцов приподнялись на плечах товарищей сбоку лестницы и перескочили за решетку.

Царица и бояре в страхе попятились назад.

— Ты ли это, царевич? — спрашивали стрельцы, дотрагиваясь и ощупывая Ивана Алексеевича.

— Аз есмь и никто не изводил меня, — тихо проговорил царевич.

— Царевич жив! — крикнули с Красного крыльца смотрельщики-стрельцы своим товарищам.

— Теперь он жив, а наутро злодеи изведут его! Нужно перебить бояр-изменников! — заревели стрельцы на площади в ответ на сделанное с Красного крыльца извещение.

Толпа при этих криках сперва грозно заколыхалась на площади. Царица, ее сын, царевич, царевна Софья, патриарх и бояре кинулись в ужасе в царские палаты, тесня и давя друг друга, а ватага стрельцов, наклонив перед собою острые копья, дружным натиском, с оглушительным ревом бросилась на опустевшее Красное крыльцо. В это время загрохотало несколько пушечных залпов, направленных на дворец, и затрещали ружейные выстрелы. Задребезжали и зазвенели выбитые и треснувшие стекла, а испуганные стаи воробьев, голубей и галок взвились над крышею дворца и тревожно заметались под черною тучею. В это же мгновение молния серебристыми зигзагами промелькнула по туче, заволокнув все небо и нагнавшей почти ночную тьму. Ярко освещенная молниею, редевшая толпа вдруг остановилась и притихла. Все сняли шапки и стали набожно креститься, когда вдруг над головами стрельцов грянул резкий и сухой удар грома, рванул сильный ветер, загудел, завыл и застлал всю площадь высоко взлетевшею пылью. Хлынул проливной дождь, и под шумом разыгравшейся бури толпа с диким завыванием ринулась к царским чертогам.

Среди смятения, охватившего Благовещенскую площадь и достигшего уже до порога Грановитой палаты, отважно выступил перед разъяренными стрельцами показавшийся на Красном крыльце боярин, князь Михаил Юрьевич Долгоруков, начальник Стрелецкого приказа.

— Негодники, изменники! Как осмелились вы ломиться в государево жилище? — крикнул на них Долгоруков. — Прочь отсюда!

Бессильна и бесполезна, однако, была эта угроза. Заслышав ее, рассвирепевшие стрельцы не только не присмирели, но ожесточились еще более. Они схватили Долгорукова и, раскачав его за ноги, с криком: «Любо ли?» — сбросили с Красного крыльца на копья, подставленные их товарищами.

— Любо! Любо! Любо! — закричали стрельцы, стоявшие внизу и, подхватив на копья Долгорукова, скинули его с них на землю и принялись неистово рубить его бердышами. Под сильными и остервенелыми ударами стрельцов брызгала во все стороны кровь, отлетали клочки мяса и отскакивали обрубки членов распостертого на земле боярина.

Не окончилась еще кровавая расправа с Долгоруковым, когда толпа стрельцов, поднявшаяся по другой лестнице, быстро добралась до сеней Грановитой палаты.

— Остановитесь! Грех и срам вам так разбойничать! — кричал Матвеев, пытаясь удержать нахлынувших стрельцов перед Грановитую палатую, в которой укрылась теперь царица с царем и с царевичем.

— Нам тебя-то и нужно! — завопили стрельцы, хватая за бороду Матвеева.

— Не трогайте его!.. Именем Бога прошу вас, оставьте его, — кричала в отчаянии царица Наталья Кирилловна, обняв руками шею старика.

— Отступись от него, царица! Выдай его нам мирным обычаем, а не то силою отберем его от тебя! — сурово сказал один из стрельцов, отдергивая руку царицы от шеи боярина и отстраняя ее самое от него.

В беспамятстве она громко зарыдала, а стрельцы мигом оттеснили ее от своей жертва, втолкнув царицу в Грановитую палату. Они повалили Матвеева на пол и за волосы, за бороду и за руки потащили его к перилам Красного крыльца.

— Я не выдам его вам! — крикнул боярин, князь Михаил Алегукович Черкасский, бросаясь враспяжку на поваленного Матвеева и сиюсь заслонить его собою от наносимых ему ударов.

— Пошел, старина, не мешай! — крикнул какой-то стрелец на Черкасского.

Он вытащил из-под него Матвеева, а его самого отбросил сильным толчком в сторону.

— Отпустите его! — закричал умоляющим голосом патриарх, прибежавший на Красное крыльцо.

Но стрельцы не обратили на этот возглас никакого внимания. Они быстро оттерли Иоакима от Матвеева и, расступившись перед патриархом, пропустили его в Грановитую палату, а Матвеева выволокли на Красное крыльцо.

— Кидай его вниз! — бешено заревели стрельцы и, раскачав Матвеева, с веселыми криками и с дружным хохотом сбросили его с крыльца на стрелецкие копыя.

— Любо! Любо! Любо! — ревели бывшие внизу их товарищи и, поймав Матвеева на острия копей, сбросили его потом на землю и принялись уже полумертвого рубить, как рубили Долгорукова, на куски своими острыми бердышами.

— Пора нам разбирать, кто нам надобен! — озлобленно кричали стрельцы, вламываясь в Грановитую палату, но она была пуста; все бояре и царедворцы разбежались, укрываясь, где попало. Царица, царь и царевич тоже скрылись из палаты во внутренних покоях дворца.

— Сбежали, страдники! — злобно кричали стрельцы.

До тех пор, пока стрельцы не появились на пороге Грановитой палаты, царевна Софья оставалась там, вместе с

мачехою и обоими братьями. Она была тверда и спокойна, но уклонилась от всякого вмешательства в происходившие перед глазами ее неистовства. Когда же стрельцы вбежали в Грановитую палату, она протеснилась через толпу и крытыми переходами пробралась в свой терем.

Следом за нею вбежал туда Голицын. Он был бледен, и, в противность строго соблюдавшегося обычая, на голове его не было высокой боярской шапки.

— Выйди, царевна, на Красное крыльцо! Попытайся остановить безумных! Они послушают тебя! — торопливо закричал Голицын, падая на колени перед Софьей.

Царевна равнодушно улыбнулась и положила свои руки на плечи князя.

— Пусть изведут всех... Был бы только ты жив, князь Василий! — проговорила она и, нагнувшись, поцеловала его в голову.

Голицын быстро вскочил с колен.

— Не дивись тому, князь Василий! Приходит конец моей тяжелой неволи. Я вхожу теперь на высоту, на которую возведу и тебя! — проговорила она, страстно смотря на изумленного боярина.

— Но, царевна... — задыхаясь от волнения, начал Голицын.

Он не успел договорить, как в переходах, прилегавших к терему Софьи, послышались неистовые крики стрельцов.

— Они бегут сюда! — побледнев и сильно задрожав, вскрикнула царевна. — Уходи со мною! Я укрою тебя!

Она кинулась к Голицыну и, толкнув его к дверям своей крестовой палаты, заперла за собою двери.

— Тут живет царевна Софья, — крикнул стрельцам Кузьма Чермный, войдя с товарищами в терем царевны, — искать нам у нее некого. Не укроет она у себя ни Нарышкиных, ни их согласников.

Стрельцы, однако, позамялись, не желая обойти без обыска и терема царевны.

— Нечего здесь времени попусту терять! — прикрикнул строго Чермный. — Других, кого взять нужно, упустим. Ступай, ребята, за мной!..

Между тем на Красном крыльце толпа стрельцов продолжала неистовствовать, сбрасывая при криках «Любо! Любо! Любо!» своих недругов на подставляемые внизу копыя. Такой страшный конец испытали уже стрелецкие полковники Горошкин и Юрнев, а также дьяк Иванов и стольник, его однофамилец.

Другая толпа, забравшись вовнутрь дворца, рассыпалась по всем хоромам.

— Ищи бояр! — кричали стрельцы.

И при этом во всех покоях, и даже в теремах царевен, обыскивали чуланы, забирались на чердаки, заглядывали во все углы, тыкали копьями даже в перины царевен, подозревая, что в этих перинах укрывался кто-нибудь; осматривали под лавками и забирали тех, против которых у них была какая-нибудь вражда. Входили они и в дворцовые церкви, копьями шарили под престолами, протыкали их насквозь и сдвигали с места. В особенности доискивались они Нарышкиных, из которых братья царицы Лев, Мартемьян и Федор, а также и отец ее спасались в этот грозный для них день в тереме царевны Натальи, оставшемся, на их счастье, без обыска.

— Не найдем сегодня, так придем завтра, — угрожали стрельцы.

— Эй ты, уродина! — вдруг крикнул один из стрельцов, увидев прижавшегося в углу карла царицы Натальи, по прозвищу Хомяка. — Ты должен знать, где схоронились царицыны братья?

— В церкви Воскресения Христова, — пробормотал карлик.

— Веди нас туда, — потребовали стрельцы и пошли следом за своим провожатым.

Стуча копьями и гремя бердышами, ввалились они, не снимая шапок, в церковь Воскресения, одну из многих церквей, находившихся в царском дворце. Сурово, казалось, смотрели там на дерзких крамольников потемневшие лики икон и трепетно, от сильного движения воздуха, дрожали огоньки теплившихся лампад. Внушительная обстановка храма не подействовала, однако, нисколько на разъяренную толпу.

— Обманул ты нас! — крикнули стрельцы на карлу, оглянув кругом церковь и никого не видя в ней, но карла дрожащею рукою указал им на алтарь.

Мигом распахнули они и боковые двери и царские врата, вбежали в алтарь, сбросили всю утварь с престола, опрокинули его, и тогда под престолом показался бледный, трепещущий средний брат царицы, Афанасий Кириллович.

— Тебя-то мы и искали! Теперь от нас не уйдешь! — с бешеною радостью завопила толпа и поволокла Нарышкина на церковную паперть. Здесь началась страшная рубка бердышами, и через несколько минут окровавленные куски Нарышкина летели вниз с Красного крыльца при громких раздавшихся на площади криках: «Любо! Любо! Любо!»

Поутомились, наконец, стрельцы от своего кровавого и опустошительного набега на царское жилище. День между тем начал склоняться к вечеру, и в ярком блеске заходило весеннее солнце, озаряя своими прощальными лучами ужасающую картину. Страшная буря быстро пронеслась над Москвою, оставив следы в огромных лужах грязи, в которой теперь около царских палат лежали рассеченные и изувеченные трупы. Кроме этих трупов, на Благовещенской и Ивановской площадях валялись убитые или издыхали в муках подстреленные боярские лошади, лежали разбитые и опрокинутые боярские колымаги, а около них были убитые и раненые слуги, сопровождавшие в Кремль своих бояр. Ударив отбой в барабаны, стрельцы принялись расставлять кругом Кремля сильные караулы и оцепили ими его так, что никому нельзя было ни пробраться в него, ни выбраться оттуда. Окружили они также караулами и Китай, и Белый город.

С самого начала мятежа Красная площадь и Лобное место кипели народом, который и в обыкновенное время толпился там с утра до позднего вечера. На этой площади стояли тогда, как стоят и теперь, торговые ряды, а также находились пирожные, харчевни и выносные очаги. Там же были устроены особые палатки, в которых продавали квас и пекли пшеничные оладьи. Особенно много было палаток около церкви Василия Блаженного. Из окон иных харчевен целый день валил дым, так

как печи были без труб и дым выходил в окна, а между тем в них без устали жарили рыбу. В этом обжорном ряду, кроме съестной продажи, велась еще и деятельная торговля с рук разными дешевыми вещами, и потому там народу было всегда тьма-тьмушая. Когда раздался барабанный бой и в особенности когда загудел набат на Иване Великом, толпы народа с Красной площади кинулись в Кремль. Они запрудили собою все ворота и частью добрались даже до самого Красного крыльца. Столпившийся здесь народ выражал свое сочувствие стрелецкой расправе, дружно подхватывая крики стрельцов: «Любо! Любо! Любо!» — и в одобрении им высоко над головами помахивая своими шапками.

— Расступись!.. — вдруг крикнули стрельцы народу. — Давай дорогу, боярин поедет!

Ужасен был на этот раз боярский поезд: он оставлял за собою широкий кровавый след. Стрельцы волокли по земле через Спасские и Никольские ворота тех, кто были обречены ими на смерть, на Красную площадь и там рассекали их на части бердышами.

Чернь радостно приветствовала эту расправу, но с особенным восторгом кинулась она вслед за стрельцами, когда они направились разносить Холопий приказ.

— Ни холопства, ни кабалы теперь нет, и впредь им никогда не бывать! Все теперь люди вольные! Дана всем от нас полная воля, все прежние крепости и кабалы разодраны! — кричали стрельцы, разметывая и выбрасывая из окон разорванные на клочки царские указы, книги и дела ненавистного народу Холопьяго приказа. Громко и весело вторила чернь этим крикам, считая себя навсегда свободною от холопской и кабальной зависимости от бояр и богатых людей.

Во время разгрома стрельцами и чернью Холопьяго приказа пронесли мимо него на носилках, связанных из стрелецких копий, труп юноши, иссеченный, облитый кровью, с пробитою головою и с отрубленною рукою.

— Убили ни в чем не повинного боярина, Федора Петровича Салтыкова, сына Петра Михайловича, — толковал жалостно

народ, шедший впереди, кругом и позади носилок: — Смотри, как всего его искровавили!

— Такой грех уж вышел, — объясняли стрельцы народу, — метили не на него, он никому зла не сделал, а почли его за Ивана Кирилловича Нарышкина, который был из намеченных, да ухоронился!

Пришли стрельцы с обезображенным трупом в дом боярина Салтыкова.

— Помните, братцы, уговор! Только бить смертно, а ничьих домов и ничьего добра не грабить! — кричали они друг другу. — Беда тому, кто чужое возьмет!

— Помним! Помним! — отзывались в толпе стрельцы и, действительно, несмотря на разгул и убийства, нигде не прикасались ни к чьей собственности.

— Боярина нашего мертвого принесли! Стрельцы убили его! — заголосила прислуга, когда внесли убитого Салтыкова в дом его отца.

Петр Михайлович в испуге выскочил на крыльцо.

— Прости нам, боярин! — сказали стрельцы, снимая перед ним шапки. — Слезно мы тебя молим! Ненароком сына твоего мы убили. Не его хотели мы извести, а Ивана Кириллыча, а боярчоюк сам к нам под руки подвернулся. Отпусти нам вину, боярин! — повторяли стрельцы, кланяясь Салтыкову в землю.

Заскрежетал зубами от злобы старый боярин, и горячие слезы покатались у него из глаз, но делать было нечего, нужно было присмиреть.

— Бог простит! — проговорил он, задыхаясь от плача.

— Вот так-то будет лучше! Прощай, боярин! Не гневайся на нас, тебя мы не тронем! — кричали стрельцы, выходя со двора Салтыкова.

— Пойдем, братцы, теперь к князю Юрию Алексеевичу Долгорукову, ведь его сына мы с Красного крыльца спустили. Нужно и у него прощенья испросить! — насмешливо кто-то крикнул в толпе.

Восьмидесятилетний князь Юрий Алексеевич был разбит параличом и уже давно не вставал с постели. Стрельцы, удерживаясь от шума, тихо вошли в его опочивальню.

— Отпусти нам, боярин, смерть твоего княжича! С запалу убили мы его и пришли к тебе с повинною! — сказали стрельцы.

— Знать, на то было попущение Божие! — проговорил притворно-смирненным голосом Долгоруков, стараясь одолеть свою ярость против убийц.

— Коли не гневаешься на нас, боярин, так докажи, вели угостить! — заявили стрельцы.

— Прикажу сейчас дворецкому, сам-то я встать не могу!

— Да и не нужно тебе вставать; по что тебе, старику, трудиться! — подхватили стрельцы. — И без тебя, боярин, мы угощением в твоём доме справимся. Только прикажи. Спасибо тебе! — благодарили стрельцы, расставаясь с Долгоруковым.

Из княжеского погреба немедленно выкатили на двор несколько бочек водки, пива и меда, и началась шумная попойка.

— Здравия и многолетия желаем князю-боярину! Милостив он и не злобен!.. — орали стрельцы, выходя после обильного угощения с княжеского двора.

Не успели они еще отойти далеко от дома князя Юрия Алексеевича, как вдруг приостановились, и среди толпы поднялись сперва оживленные толки, а потом и ужасный шум.

— Грозить вздумал нам! — неистово завопили в толпе. — Слушайте, братцы, что он говорит! — кричали друг другу стрельцы, указывая на стоявшего посреди них холопа, выбежавшего из дома Долгорукова вскоре по уходе пировавших там стрельцов. — Пересказывай-ка! — крикнули они холопу.

— Как вы ушли от боярина, — начал холоп, — так прибежала к нему его княгиня и ну плакаться о своем сыне и ругать вас ворами и изменниками. А он-то ей сквозь слезы и молвит: «Не плачь, княгинюшка, знаешь русскую поговорку: хотя-де они щуку и съели, а зубы-то ее целы. Если Бог поможет, — сказал боярин, — то все они, воры и бунтовщики, по Белому и Земляному городам будут перевешаны». Так-таки и сказал. Сам своими ушами я слышал.

— Вот он каковский! — завопили стрельцы. — Прощает, а сам думает, как бы вконец извести нас! Бери его на расправу!

С страшным ревом поворотила толпа к дому Долгорукова. Боярин слышал, как стрельцы отбивали ворота и ломались во двор, но он без чужой помощи не мог подняться с постели, чтобы укрыться где-нибудь, а между тем слуги к нему не являлись. Лежа на постели, он творил молитву, когда стрельцы уже не «тихим обычаем», а с шумом и бранью явились в его опочивальню. Короток был их расчет с престарелым боярином. Кто схватил его за бороду, кто за волосы. Сдернули его с постели и поволокли по лестнице. Глухо застучало по деревянным ступенькам его бессильное тело. Стрельцы вытащили Долгорукова на двор, принялись там за бердыши, и мгновенно изрубленное в куски тело боярина было брошено в навозную кучу.

Другие стрелецкие ватаги чинили между тем беспощадную расправу в иных местах Москвы. Одна из них направилась за Москворечье, убивая на пути встречных служилых людей и тех холопов, которые пытались оборонять своих господ. С веселым разгулом пришла она к Ивану Фомичу Нарышкину и мигом порешила с ним своими бердышами.

К вечеру стали стихать неумолчно раздававшиеся в продолжение целого дня вопли, крики, барабанный бой и набат, а к ночи в Москве все стихло, перекликалась только стрелецкая стража. Возшел на ясном небе полный месяц. Тоскливо, серебристым светом озарял он Кремлевский дворец, который стоял теперь, окруженный стрелецким караулом, с разбитыми стеклами, вышибленными оконными рамами и с выломанными дверями. При лунном свете еще затейливее, чем днем, представлялась масса строений, составлявших дворец. Разнообразные эти строения частью скрывались в тени, частью резко выдавались, облитые сиянием месяца. Свет месяца то отражался ярким сиянием на вызолоченных крестах, гребнях и маковках, венчавших отдельные здания дворца, то расстилался широкою полосой по белой их жести, придавая странные очертания множеству дворцовых крыш, гладких и чешуйчатых, то покатых, то построенных над башенками и вышками в виде бочек, скирд сена и шатров, с поставленными над ними двуглавыми орлами, львами, единорогами, драконами и

флюгерками. На стенах дворца выдавались узорчатые карнизы и лепные надоконники с колонками, столбиками, зубчиками и городками. Дворец казался какою-то беспорядочною громадою, в которой отражалась смесь всего, что только могло придумать самое прихотливое воображение зодчего.

Тихо приотворилась дверь из крестовой палаты в опочивальню Софьи, в то время когда царевна, не сняв еще с себя своей денной одежды, задумчиво сидела на постели. При легком скрипе двери она слегка вздрогнула.

— Знать, Иван Михайлович или князь Иван Андреевич, — подшепнула стоявшая около нее Родилица и, подбежавши к двери, заглянула за нее. — Оба они и есть!

— Войди, Иван Михайлович, войди и ты, князь Иван Андреевич, — отозвалась Софья, не поднимаясь с постели. — Изморилась я сегодня!

— Попомнят-таки этот денек Нарышкины! — с выражением удовольствия сказал Милославский, входя в опочивальню. — И завтра опять то же будет.

— Стрельцы готовы стоять за царевича Ивана Алексеевича, и по чести сказать должно, что с истинною прямою стоят за него: били только его лиходеев, да и у тех добра не тронули. Поджогов тоже нигде не произвели, да и кабаки целый день, почитай, что пустыми оставались. Стрелецкое смятение было совсем не то, что мятежи прежнего времени, когда черный народ только и думал о том, как бы награть, перепиться да пустить «красного петуха» по всей Москве! — докладывал царевне Хованский.

— А что, князь Иван Андреевич, много на Москве побитых? — не без волнения спросила Софья.

— Кто их в точности теперь сочтет! Слышно, что из чиновных людей стрельцы за Кремлем убили князя Юрия Алексеевича Долгорукова да за Москворечьем, говорят, изрубили Ивана Фомича Нарышкина; а о здешних ты, я чаю, царевна, сама хорошо знаешь, — отвечал Хованский.

— Побили бы и больше, да многие успели ухорониться, — прибавил Милославский.

— Трусы бояре! — с презрением заметила Софья. — Все кинулись вразброд и себя-то отстаивать не посмели.

— Будешь тут трус, когда бьют беспощадно! Да и кто же не струсил? Вот хотя бы князь Василий Васильевич! Из книг много он о геройстве начитался, а как дело дошло до настоящей расправы, так и он Бог весть где ухоронился! — насмешливо сказал Милославский. — Пойди-ка отыщи его теперь.

— Князь Василий Васильевич мужественно действовал, — с заметным смущением проговорила Софья, — да и что он один мог поделаться!

— Вот тем-то и все отговариваться станут! — перебил насмешливо Милославский.

— Ну, а назавтра как? Опять придут стрельцы ко дворцу, как прикажешь действовать? — спросил Хованский царевну.

Софья призадумалась; заметно было, что она боролась сама с собою.

— Смешное дело, князь Иван Андреевич, что ты вздумал спрашивать у ее пресветлости, как действовать! Известно, нужно известить всех Нарышкиных! — вмешался Милославский.

— Нет, Иван Михайлович, не так ты говоришь, — перебила царевна. — Если уже изводить кого-нибудь, так изведите разве только старшего брата царицы. Он прямой мой ненавистник.

— А с Кириллом Полуэктовичем что же поделаем? — спросил Хованский.

— Пускай стрельцы потребуют его пострижения, — отвечала царевна, под влиянием кротких внушений, сделанных ей заранее Голицыным.

— Быть по-твоему, благоверная царевна. Да скажу я тебе, что бы ни произошло завтра, ты не пугайся: ни тебя, ни царевича, ни сестер твоих, царевен, никто не избидит! — с уверенностью сказал Хованский, уходя от Софьи.

Между тем в другой части Кремлевского дворца царица Наталья Кирилловна заливалась горькими слезами. Все ей чудилось, что стрельцы снова наступают на дворец, и страшно ей было за своих кровных. При начале возмущения отец царицы с некоторыми из своих родственников укрылся сперва в тереме царевны Натальи, а потом в деревянных хоромы царицы Марфы Матвеевны, примыкавших глухою стеною к патриаршему

двору. Их провела туда царицына спальница Клушина, которая одна только и знала, где утаились Нарышкины.

— Узнают они вас по волосам, — сказал Иван Кириллыч прятавшимся вместе с ним стольникам Василью Федоровичу, Кондрату и Кириллу Алексеевичам Нарышкиным. — Больно длинны вы их носите, остричь нужно! — И он, схватив ножницы, живую рукою остриг своих сродственников.

Постельница провела их всех в темный чулан, заваленный перинами, и хотела затворить за ними дверь.

— Не запирай! — крикнул ей молодой Матвеев, сын боярина Артамона Сергеевича. — Хуже наведешь подозрение; скорее искать не станут, коли дверь отворена будет.

В сильном страхе жались там Нарышкины, когда до них стал долетать сперва гул набата, а потом и барабанный бой.

— Наступил наш смертный час! Пришел нам конец! — крестясь, говорили они.

Действительно, вооруженные стрельцы ввалились в Кремль и прямо подошли к Красному крыльцу, отделявшемуся от площади золотою решеткою.

— Подавайте нам Кирилла Полуэктовича, Ивана Нарышкина, думного дьяка Аверкия Кирилова да дохтуров Степана-жида и Яна! — кричали они.

Смело, в сопровождении Хованского и Голицына, вышла теперь Софья к волновавшимся стрельцам.

— Ни Кирилла Полуэктовича, ни Ивана Кирилловича, ни дохтура Степана у великого государя нет! — объявила она.

— Если их нет, — закричали стрельцы, — то мы придем за ними завтра, а теперь пусть государь укажет выдать нам Аверкия Кирилова да Яна.

Царевна поднялась наверх. Стрельцы продолжали кричать, требуя немедленной выдачи Кирилова и Яна, и спустя несколько времени оба они, беззащитные и трепещущие, появились на крыльце. Стрельцы встретили их с диким воем и не дали сойти с лестницы, как кинулись на них. Сперва подняли их на копья, потом сбросили вниз с лестницы и тут же, на месте, изрубили в куски бердышами.

— За Кириллом Полуэктовичем и Иваном Нарышкиным придем мы завтра, — угрожали они.

Между тем несколько ватаг, отделившихся от толпы, повторяли и сегодня в хоромы царицы, царя, царевича и царевен такой же тщательный обыск, какой производили они там накануне.

Обмерли и не смели дышать Нарышкины и Матвеев, когда стрельцы проходили мимо того чулана, где они спрятались.

— Коли дверь отворена, — кричали некоторые из них заглядывавшим в чулан товарищам, — знатно, что наши здесь были и изменников не нашли. Ступай дальше!

Не все, однако, стрельцы были так доверчивы; некоторые из них тыкали копьями в подушки и перины, не видя, однако, Нарышкиных и Матвеева, притаившихся в это время за притворенную дверь.

— Нарышкиных нигде нет! — оповещали стрельцы своих товарищей.

— Если сегодня их здесь нет, так за Кириллою Полуэктовичем и Иваном Кирилловичем придем завтра! — кричали в толпе и, расставив по-вчерашнему кругом дворца и всего Кремля крепкие караулы, двинулись в Немецкую слободу отыскивать доктора Степана Гадена.

Сильно переполошились обитатели Немецкой слободы, мирные немчины. Немало жило их там в ту пору, и никто прежде не обижал и не затрагивал их. Занимались они в слободе более всего ремеслами. Жены и дочери их проводили время не по-московски, сидя взаперти, а ходили по гостям и веселились с мужчинами. У немцев бывали пирушки и танцы под веселые мотивы их родного вальса. Разревелись теперь немки, завидев наступающую на слободу грозную стрелецкую силу. Страх их был, однако, напрасен. Стрельцы не тронули никого из немцев.

— Никак, братцы, жидовина-дохтур нам навстречу плетется! Харю-то его жидовскую я признаю издалека! — крикнул один стрелец, указывая рукою на нищего, спокойно шедшего сторонкою улицы около домов, с бьющим в глаза еврейским типом лица.

— Он, проклятый, и есть! — поддакнул другой стрелец, пристально вглядываясь в нищего. — Стой-ка, приятель, ведь ты Степан, или Данила, Иевлич! — заревел он, загораживая дорогу оторопевшему нищему. — Что-то больно скоро ты обнищал?

Нищий побледнел и затрясся всем телом.

— Забирай его! — крикнули стрельцы, окружив доктора Гадена, который, проведая еще накануне о возмущении стрельцов и о делаемых ему угрозах, переоделся нищим, запасся сумою и убежал в подгородный лес, а теперь, проголодавшись, пришел в Москву, чтобы заpastись чем-нибудь съестным.

От ужаса у Гадена была лихорадка.

— Были мы у тебя в доме и нашли там сушеных змей. Зачем их, поганый жидовина, ты сушишь? На извод, видно, православных да и на дьявольские чары? — говорили ему стрельцы.

Гаден невнятно бормотал: «*Spiritus armorciae, conserva radiceis et sichori*», бессознательно твердя латинские названия самых употребительных в ту пору лекарственных снадобий, и растерянным взглядом, точно помешанный, обводил стрельцов, которые привели его в Кремль и сдали там под стражу своим товарищам, находившимся в карауле в царском дворце.

Несмотря на буйства стрельцов, день 16 мая миновал в Кремле гораздо благополучнее, но зато в стрелецких слободах производилась теперь страшная расправа.

— Любо ли? — кричали стрельцы, втаскивая на каланчи или высокие сторожевые башни и раскачивая там за руки и за ноги не любимых ими начальников.

— Любо! Любо! — вопили им в ответ снизу, и при этих криках летели стремглав с каланчей на копья стрельцов несчастные, обреченные на смерть, которых тут же рассекали на части бердышами.

Наступил третий день стрелецкого смятения, и опять рано поутру загудел 17 мая над Москвою набат, а на улицах раздался грохот барабанов. В одних рубахах и почти все без шапок, но с ружьями, копьями и бердышами, двинулись стрельцы из своих слобод к Кремлю проторенною ими в эти дни дорогою.

Расположились они опять перед Красным крыльцом и отправили вверх выборных бить челом великому государю, чтобы указал он выдать им Кирилла Полуэктовича Нарышкина, сына его Ивана и доктора Степана.

Долго медлили во дворце ответом. Наконец на Красном крыльце показалась царица Софья, но уже не одна, а в сопровождении своих сестер, рожденных от царицы Марии Ильинишны.

Стрельцы встретили царицу сдержанным ропотом, который, впрочем, затих, когда она заговорила.

— Для нашего многолетнего государского здоровья простите Кириллу Полуэктовича, его сына Ивана и дохтура Степана, — сказала царица, низко кланяясь стрельцам; вместе с нею поклонились им и ее сестры. — Пусть Кирилла Полуэктович пострижется в монашеский чин, а на жизнь его не посягайте.

Стрельцы принялись толковать и спорить между собою, а царица, стоя неподвижно на площадке Красного крыльца, ожидала их решения. Но вот шум затих, и перед толпою стрельцов выступил Чермный.

— Для тебя, благоверная государыня царица Софья Алексеевна, — громко сказал он, снимая шапку и кланяясь царице, — мы прощаем Кириллу Полуэктовича. Пусть идет в монастырь. Любо ли? — спросил он, обращаясь к стоявшей позади него толпе.

— Любо! Любо! — заголосили они.

— А Ивана Кириллыча простить мы не можем: зачем надевал он царскую шапку и садился на престол? Не можем мы простить и дохтура Степана: он извел отравою великого государя царя Федора Алексеевича. Пусть нам и того и другого выдадут мирным обычаем, не то возьмем их силою. Любо ли? — снова спросил Чермный стрельцов.

— Любо! Любо! — было ответом.

— Нам, благоверная царица, — заговорил другой выборный, Петр Обросимов, — о выдаче дохтура и просить было бы не след. Он и без того наш, мы его сами изловили и сюда привели!

Крики усиливались все более и более, когда царевны ушли с Красного крыльца в хоромы.

Царица Наталья Кирилловна в это время сидела в своем покое в креслах. Закрыв ширинкою лицо, она громко рыдала. Безмолвно около нее стояли ее отец и старший брат, бледные, напуганные и не знавшие, что им делать; позади кресел находились духовник царицы и несколько бояр, захваченных во дворце первым стрелецким набегом и потом не успевших выбраться оттуда через сторожевую стрелецкую цепь.

— Отмолила я, матушка, у стрельцов твоего родителя! — сказала Софья, входя в царицыну палату; Наталья Кирилловна бросилась обнимать царевну, а потом кинулась на шею своему отцу. — Требуют только его пострижения.

Кирилла Полуэктович вздрогнул.

— А еще чего они требуют? — спросил он прерывающимся голосом.

— Требуют выдачи твоего сына Ивана, — произнесла царевна таким твердым голосом, в котором слышался окончательный и неизменный приговор.

С пронзительным криком обняла царица своего брата.

— Не выдам я Иванушку, не выдам! Пусть лучше убьют меня злодеи! — кричала она в исступлении.

— Не выдавай меня, сестрица! — молил Нарышкин, упав перед царицею на колени и охватывая ее ноги.

— Ты слышишь, матушка, как там кричат? — хладнокровно сказала царевна, обращая движением руки внимание мачехи на окно, из которого неслись озлобленные возгласы против Ивана Нарышкина. — Ничего, матушка, с ними не поделаешь!

Испуганно и дико обвела глазами царица всех окружавших ее; потупив глаза в землю, они молчали, никто не изъявлял желанья отстаивать Ивана Нарышкина, и Наталья Кирилловна поняла, что жребий ее брата решен бесповоротно.

Медленными шагами пошла молча царица из своей палаты в церковь Нерукотворенного Спаса, ближайшую к Золотой решетке. Перед этою решеткою стрельцы волновались все сильнее и сильнее, настоятельно и с угрозами требуя

немедленной выдачи Ивана Кирилловича. Следом за царицею пошли и все бывшие с нею в палате.

— Помолись, братец, всемилостивому Спасу, исповедайся и причастися Святых Тайн. Быть может, Господь Иисус Христос и Его Пречистая Матерь защитят тебя! — проговорила, заливаясь слезами, царица.

Молодой боярин положил среди церкви три земных поклона, после чего духовник царицы повел его в алтарь и там наскоро исповедал, причастил и помазал муром.

Когда он вышел из бокового притвора, царица с отчаянным воплем кинулась к нему навстречу, но он, протянув вперед руки, остановил ее перед собою:

— Аз на раны готов, и болезнь моя передо мною есть выну! — проговорил он спокойно. — Государыня царевна! — продолжал он, обращаясь к Софье. — Бесстрашно иду я на смерть и желаю только, чтоб моею невинною кровью прекратились все убийства.

Затем молодой боярин стал прощаться со всеми, бывшими в церкви. Крепко обнял он сестру-царицу и, рыдая, припал головою к ее трепетавшему плечу. В это время от неистовых криков стрельцов, казалось, дрогнули своды церкви.

— Подавайте нам Ивана Нарышкина, а не то мы сами придем за ним! — вопили они.

— Не медли, боярин! — сказал тихо Нарышкину князь Яков Никитич Одоевский, слегка отвлекая его от сестры.

Царица словно опомнилась от глубокого сна и, раскрыв большие черные глаза, с изумлением взглянула на Одоевского.

— Сколько тебе, государыня, ни жалеть, — продолжал тот дрожащим голосом, — а отдавать его будет нужно. Да и тебе, Ивану, — проговорил Одоевский, обращаясь к Нарышкину, — отсюда поскорее идти надобно. Не всем же нам умирать из-за тебя одного.

— Вот ему великая заступница! — сказала царевна, перебивая Одоевского и подавая взятый ею с аналоя образ Божьей Матери. — Увидят стрельцы эту святую икону, устыдятся и отпустят его невредимым.

При этих словах Софьи надежда на спасение брата несколько оживила царицу. Она передала ему икону, которую он, поддерживая обеими руками, понес на груди. Нарышкин стал сходить с лестницы, по бокам его шли, рядом с ним, с одной стороны царица, а с другой — царица. За ними спускались с лестницы немногие бояре, бывшие в этот день около царицы. За эту небольшую толпу, одетую в парчу и в шелк, медленно, на ослабевших от страха ногах, тоже спускался с лестницы нищий в лохмотьях, лаптях и с торбою, перекинутою через плечо. Он был окружен стрельцами, но никто не обращал теперь на него внимания, все смотрели только на юношу-боярина, на прекрасном лице которого выражение невольного ужаса смешивалось с выражением горделивой твердости.

Царица обманулась в своей последней надежде на спасение брата. Едва распахнулись двери Золотой решетки, как толпа стрельцов с яростью кинулась на Нарышкина. Царица рванулась вперед, желая кинуться на выручку брата, но голос ее замер, ноги подкосились, и она, обеспамятев, зашаталась. Царица поддержала ее, а бояре, взяв ее, полумертвую, под руки, повели наверх.

— Неспроста нужна ему смерть! Тащи его в Константиновский застенок!.. Пытать его станем, зачем он на царство сесть домогался? — кричали стрельцы.

Следом за Нарышкиным, осыпаясь браню и ругательствами, поволокли и жидовину-доктора, над которым стрельцы издевались и потешались, заливаясь веселым, громким хохотом.

— Что, брат, жидовская харя, попался к нам! Вот сейчас узнаешь, как мы лихо лечить тебя станем. Что же не благодаришь нас за ласку? — трунили над несчастным.

Ошалелый Гаден принялся кланяться стрельцам на все стороны.

— Вишь ведь, он и вправду нас благодарит! — захохотали стрельцы. — Ну-ка, поблагодари еще!

Привели боярина и доктора к одной из кремлевских башен, в которой помещался Константиновский застенок. Здесь были

готовы к услугам стрельцов и дыбы и кнутья, и ремни, и цепи, и веревки, и клещи, и жаровня, и все это тотчас же пошло в дело.

Пытки кончились, и измученных страдальцев, еле живых, поволокли на Красную площадь.

— Ведут! Ведут! — раздалось на площади, когда из Спасских ворот показался отряд стрельцов, с криками и с барабанным боем направлявшийся к Лобному месту.

Там стрельцы остановились и обступили плотным кругом брошенного на землю Нарышкина, совершенно обнаженного, с истерзанною от ударов кнута спиною, с прожженными боками и с вывихнутыми руками и ногами.

— Любо! — дружно крикнули они, и среди этого зловещего крика страдалец высоко взлетел на копьях над головами своих мучителей, а оттуда тяжело рухнулся на землю. Засверкали и застучали над ним бердыши, отлетели разом голова, руки и ноги, началась ожесточенная рубка, и через несколько минут раздробленное туловище и отсеченные члены обратились в кровавое крошево человеческого мяса, которое смешалось с бывшею на площади грязью; голова же была воткнута на копья и высоко поднялась над толпою.

Такою же мученическою смертью погиб и не повинный ни в чем доктор, наклепавший, впрочем, сам на себя при невыносимых пытках невозможные даже преступления, совершенные будто бы им при содействии нечистой силы. Быть может, выставляя с нею свой тесный союз, он хотел только напугать стрельцов последствиями ее мщения, если они убьют его.

Удовлетворенные вполне выдачей Нарышкина, стрельцы, расправясь с ним, подступили снова к царским хоромам.

— Дай Бог здоровья и долголетия царю-государю! — кричали они. — Мы свое дело сделали, а теперь пусть он, великий государь, управится с остальными злодеями. Рады мы теперь умереть за великого государя, царевича и царевен.

Выражая в таких восклицаниях свое удовольствие, стрельцы сняли расставленные около дворца караулы и возвратились в свои слободы.

Перед закатом солнца слышался снова на улицах барабанный бой. Все вздрогнули в ожидании новых смятений и бед, но на этот раз все обошлось благополучно. Теперь грохот барабанов созывал москвичей на площади, торжища и перекрестки для выслушивания царского указа о том, что дозволяется хоронить убитых. Указ этот был издан по распоряжению царевны Софьи Алексеевны. Работы было немало, но трудно было признать родных и знакомых в обезображенных и рассеченных на куски трупах. Бояре со своими слугами и разного чина люди бродили теперь по Москве, стараясь по каким-нибудь приметам добраться до тех, кого они искали.

Но прежде чем появился этот указ, с особым усердием занимался таким печальным делом богомольный арап Иван. Он отыскал куски рассеченного трупа своего боярина, собрал их в простыню, принес в дом и, созвав ближайших родственников убитого, а также служителей Никольской церкви, что на Столбах, предал останки своего господина честному погребению. Хвалили даже и стрельцы такую бескорыстную и опасную преданность черного раба, которому они не препятствовали несколько заботиться о похоронах их бывшего врага, боярина Артамона Сергеевича Матвеева.

Не забыли стрельцы отца царицы, и 19 мая явились снова перед дворцом; но на этот раз они были без оружия и мирно били челом великому государю о пострижении его деда, и великий государь повелел постричь Кирилла Полуэктовича Нарышкина, назначив быть при его пострижении боярину князю Семену Андреевичу Хованскому и окольниковому Кириллу Осиповичу Хлопову. Нарышкина, окруженного стрельцкою стражею, повели в Чудов монастырь. Там его постригли под именем Киприана и на другой день отправили на Белоозеро в Кириллов монастырь.

XVIII

В это бурное время, когда, по словам одного современника, «бысть ослабление рук у всех людей», когда все правительственные власти бездействовали и даже скрылись, а царица Наталья Кирилловна не решилась показаться, боясь, чтобы и ее не увели в монастырь, — в это время смело выступила царица Софья Алексеевна. Она «мудрыми и благоуветливыми словами» уговаривала стрельцов каждый день, чтобы они жили мирно по-прежнему и служили верно, чтобы страхов, всполохов и обид никому не делали. Влияние царицы на стрельцов сделалось теперь слишком заметно, и сама она убедилась, что может располагать ими для достижения своей цели. Чтобы прикрыть на первый раз свои единоличные распоряжения, она стала являться повсюду в сопровождении царевен, своих теток и сестер, так что, казалось, сбылось пророчество стрельчих: в Москве наступило бабье царство.

— Повелела бы, царица, ведать Стрелецкий приказ боярину князю Ивану Андреевичу Хованскому, — говорил Иван Михайлович Милославский, беседуя с Софьей и рассчитывая на дружбу и преданность к нему князя Ивана. — Стрельцы его отменно любят и не иначе как батюшкою называют..

Царица призадумалась.

— Знаешь, Иван Михайлович, когда ты начинаешь говорить о князе Иване Андреевиче, мне словно чуется что-то недоброе, как будто какой беды я боюсь от него! — нерешительно проговорила она.

— И полно, благоверная царица, он всегда в твоих руках будет, а меж тем он нам нужен. Князь Иван нам близкий человек, он стрельцов до новой смуты не допустит, да и другим с своею стрелецкою ратью гилевать не позволит. Притом же он и в расколе влиятелен, а ведь того и смотри, что и раскольники поднимутся!

В воспоминании царицы ожил отзыв Хованского о расколе, который он называл грозною народною силою.

— Много уж будет силы у князя Ивана, хлопот бы он нам не наделал, — сказала она озабоченно.

— Окажется у него много силы, так и отберем ее, — ответил Милославский с уверенностью, подействовавшей на Софью.

— Хорошо, Иван Михайлович, по совету твоему, я укажу князю Ивану Хованскому быть начальником Стрелецкого приказа, — сказала Софья. — Посматривай только за ним хорошенько, полагаться крепко на него нельзя, старая он лисица...

— Статься может, что ты, государыня царица, в речах моих о Хованском сомневаешься, так поговори с князем Васильем Васильевичем. Человек он породы знаменитой. Тебе, верно, слышать приводилось, что один из его прапращуров женился на польской королевне и вместе с нею сел на королевский престол.

Царица слегка встрепенулась.

— Рассказывал мне покойный Симеон, что один из рода Гедиминовичей, от которых происходит князь Василий, по имени Ягелло, великий князь литовский, женился на королевне Ядвиге и что от него пошло родоначалие королев польских. Но что же из этого?

— Да так, к слову пришлось...

И он и царица замолчали.

«К чему он заговорил об этом? — думалось Софье. — Ведь князь Василий женат, да и царь Петр сидит на престоле, а братец Иванушка в загоне... Как все это далеко еще даже до первого шага!».

— Что призадумалась так, государыня царица? — заговорил Милославский, придавая своему вкрадчивому голосу выражение участия. — Тягчат, видно, царственные дела, нужно бы тебе иметь для них оберегателя. Разделить бы с кем-нибудь державные твои заботы...

— И я разделяю их с братом, царевичем Иваном Алексеевичем. Он должен быть на престоле московском! — резко и твердо проговорила царица.

— И сядет через несколько дней, — отозвался уверенно Милославский. — Князь Иван Алексеевич совладеет с этим делом.

Недолго после этого шла беседа боярина с царевною. От Софьи Милославский отправился к Голицыну, с которым уже предварительно говорил о назначении князя Хованского начальником Стрелецкого приказа. После того Милославский навестил Хованского и, передав ему о предстоящем начальстве над стрельцами, условился о том, как должны будут действовать они для доставления престола царевичу Ивану.

23 мая явились в Кремлевский дворец выборные от всех стрелецких полков. При виде их болезненно заняло сердце царицы Натальи Кирилловны, не успевшей еще наплакаться над ссылкой своего отца и смертью брата. Выборные заявили собравшейся в Грановитой палате боярской думе, что стрельцы и «многие чины» Московского государства хотят видеть на престоле обоих братьев. Для напуганного стрельцами боярства достаточно было такого простого заявления стрельцов, чтобы склонить думу к немедленному исполнению их требования. Но выборные сочли не лишним высказать про запас еще и такую угрозу, что если кто-нибудь из бояр воспротивится желанию стрельцов, то они придут с оружием, мятеж поднимется не малый, и будет, он, пожалуй, еще страшнее прежнего.

Бояре явились в терем царевны, чтобы известить ее о требовании стрельцов.

И на этот раз она вышла к ним не одна, а в сопровождении своих сестер-царевен. Если Софью радовала захваченная верховная власть, то радовало ее и то, что, она сделала крутой и неожиданный переворот в затворнической жизни московских царевен. Вырвавшись сама из тесного терема, она вывела за собою и сестер.

— Надлежит вам рассмотреть челобитную стрельцов доложить о ней великому государю. Призовите в думу святейшего патриарха, духовные власти и выборных от чинов Московского государства. Пусть все они сообща обсудят дело, — сказала царевна, окидывая гордым взглядом бояр.

Покорное молчание и низкие поклоны были ответом на повеление царевны.

Перед этим собранием, как бы некоторого рода Земским собором, созванным на третий день после прихода стрельцов с

челобитною, князь Василий Васильевич Голицын красноречиво и убедительно изложил доводы о пользе царского двоевластия. Насколько убедились его доводами думные и выборные люди, неизвестно, но известно только, что никто не решался прекословить требованию стрельцов, особенно ввиду сделанной ими угрозы. И потому все единогласно порешили: быть благоверному царевичу Ивану Алексеевичу на московском престоле вместе с братом его, великим государем царем Петром Алексеевичем.

— Кого же мы будем считать первым царем? — запросил патриарх собрание. — Отдадим ли мы преимущество первенству рождения или же первенству избрания?

— Быть первым царем великому государю Ивану Алексеевичу, — крикнули стрелецкие выборные. — Он старший брат, обходить его не можно.

Вслед за ними повторило тот же клик и все бывшее в Грановитой палате собрание.

Этим решением, как казалось, удовлетворено было желание стрельцов.

— Чтобы не было смятения, — толковали они по наущению Хованского, — пусть великий государь Иван Алексеевич будет первым царем на отцовском престоле и учинит себе честь первенства, а великий государь Петр Алексеевич, как молодой, пусть станет вторым царем. Мы же, всех полков стрельцы и люди, будем служить и прямить обоим великим государям.

Донесли царевне Софье о решении собора.

— Быть тому можно, — сказала она. — Когда приедут иноземные послы, выходить к ним и принимать их будут оба государя. Петр Алексеевич будет водить войска против неприятелей, а царь Иван Алексеевич станет править Московским государством.

— Быть тому! — повторили и другие царевны, отправившиеся вместе с Софьей Алексеевною и с боярами поздравить вновь нареченного государя.

— Первенства я не желаю, — проговорил болезненным и тихим голосом Иван Алексеевич. При этих словах Софья строго взглянула на брата.

— Впрочем, да будет воля Божия, — пробормотал великий государь, смутившийся от взгляда сестры.

— В том-то и есть воля Божия! — перебила его Софья. — Выборные не сами собою говорят, но наставляемые Богом.

Ударили в большой колокол Успенского собора, и оба царя пошли рядом в Грановитую палату. Там все присутствовавшие стали подходить к руке царя Ивана Алексеевича, а царские дьяки усердно голосили многолетие новому великому государю.

— Не все еще кончено, — сказал Иван Михайлович, явившись после этого торжества к Софье Алексеевне, — и ты, государыня царевна, должна взойти на высоту; стрельцы сделают свое дело.

Краска удовольствия разлилась по лицу Софьи. Облик царевны Пульхерии все чаще и чаще начал мелькать перед нею, а рядом с этою царевною являлся и добродетельный Маркиан в виде князя Василия.

Милославский, князь Иван Хованский и постельница Родилица принялись снова радеть в стрелецких слободах в пользу Софьи Алексеевны.

— Слышно, — заговорили стрельчихи, подбиваемые Федорой Семеновной, — что царь Иван болезнует о своем государстве, да и царевны сетуют.

И говорившие это стрельчихи принимались разьяснять своим мужьям, что между царями-братьями начались смуты и раздоры, что царя Ивана Алексеевича обижают и притесняют, а для царевен настала плохая жизнь.

— Нужно прекратить смятение в царских палатах, — внушал своим товарищам выборный стрелец Кузьма Чермный, и словам его начали вторить сторонники его: Борис Одинцов, Цыклер и Обросим Петров, полагая, что в этом случае необходимо участие стрельцов и заступничество за царя Ивана и царевен.

Заговорили в стрелецкой слободе о новом походе на Кремлевский дворец и с ненавистью принялись толковать о «медведице», называя этим прозвищем царицу Наталью Кирилловну.

— Плох царь Иван Алексеевич, он болен и хил, сам царством править не может, нужен ему помощник, а кому же и быть ему в помощь, как не царевне Софье Алексеевне? — внушал Хованский стрельцам, которые и распространили его речь между товарищами.

Прошло три дня после провозглашения царем Ивана Алексеевича, и стрельцы, собравшись снова перед Красным крыльцом, отрядили своих выборных к великим государям с челобитною, в которой просили, чтобы правительство царством Московским, ради ранних лет их величеств, вручить сестре их, благоверной государыне царевне Софье Алексеевне. Скоро в ту пору все делалось по требованию стрельцов, а потому оба царя, патриарх, духовные власти, бояре, думные и служилые люди, а также и выборные от московских сотен отправились, не медля, в терем царевны.

Сдерживая охватившее ее волнение, царевна равнодушно, как казалось, встретила явившихся к ней просителей. Все они ударили ей в землю челом, за исключением царей, сделавших перед сестрою три низких поклона.

— Пришли мы к тебе, государыня царевна Софья Алексеевна, бить челом, чтобы ты соизволила принять правление царством Московским, за малолетним возрастом великих государей, братьев твоих, — заговорил патриарх Иоаким, обращаясь к Софье Алексеевне.

— Не женских рук такое великое государское и земское дело, святейший владыка, — отозвалась царевна. — Нет у меня к тому делу ни навыка, ни познаний, да и в государстве Московском то не за обычай.

— Пресветлейшая государыня царевна! Соизволь исполнить волю Божию и желание всего московского народа! — просительно заговорили все присутствующие и снова упали ниц перед будущею правительницею. — Снизойди, государыня царевна, на рабские мольбы наши! Не оставь нас, великая государыня, в скорбях и печали! Ты, единая, утвердишь у нас покой и тишину...

Долго слышались мольбы, и несколько раз колени и лбы усердно стучались об пол царевнина терема, где прежде редко и

тихо раздавались шаги мужчин, с большим трудом допускаемых туда, как в недоступное святилище, да и то лишь по уважению родства с царевною и преклонных лет. Совсем иным стал теперь девичий терем Софьи Алексеевны. В нем перед многочисленным собранием мужчин стояла молодая царевна с лицом, не покрытым фатою, а разных чинов московские люди — эти исконные притеснители женского пола, поучавшие его «жезлом», — покорно, умиленно, со слезами на глазах просили, чтобы она стала править Российским царством!

«Теперь я на высоте! — подумала торжествующая царевна, и вспомнилось ей пророчество Симеона. — И не сойду я отсюда долу», — с уверенностью и твердостью мысленно добавила она.

— Уступаю я, — заговорила царевна, обращаясь к присутствующим, — мольбам всего народа и дозволяю думным людям докладывать мне обо всех государственных делах для совершенного во всем утверждения и постоянной крепости и повелеваю писать имя мое наряду с именами государей-братьев, нарицая меня великою государынею, благоверною царевною и великою княжною всея Великия, Малыя и Белыя России.

От сильного, радостного волнения готов был перерваться звонкий голос царевны, но она осилила себя и довела речь до конца.

— Желаем здравия великой государыне!.. Пошли ей Господи многолетие! — воскликнули челобитчики, и снова застучали перед царевною их лбы и колени.

— Да наставит тебя Господь на путь правых! — произнес торжественно патриарх, благословляя царевну, поцеловавшую его святительскую десницу. — Выкрикни многолетие благоверной царевне! — приказал патриарх стоявшему близ него протодьякону.

Смело обвела царевна своими умными и проницательными очами всех окружавших ее, и охватил ее легкий радостный трепет при сознании, что теперь все покорствуется перед нею.

Рассвет раннего летнего утра проникал в небольшую низенькую горенку, пропитанную запахом ладана и деревянного масла. Горенка эта была наполнена предметами, относящимися к отправлению богомоления. В ней на простом белом столе лежали груды увесистых книг в кожаных с медными застежками переплетах и с закладками из лент. На стене висели образа, черные ременные лестовки и разноцветные ладанки; в переднем углу горенки местился большой киот, на верхушке которого, под вербами, стояло множество стеклянниц со святою водою и просвиры всевозможных величин, а перед почерневшими от времени и копоти иконами теплилось несколько неугасаемых лампад и, вдобавок к лампадам, были прикреплены к самым доскам икон желтые восковые свечи. Кроме стола с книгами и небольшой скамейки, в этой горенке не было никакой другой обиходной комнатной рухляди, а под образами, головою к киоту, был поставлен белый тесовый гроб. В этом домовище лежал кто-то, окутанный саваном, полы которого, сдернутые вместе, закрывали лицо покоившегося во гробе. Размеры гроба и прислоненной близ него крыши, с начертанным на ней черною краскою крестом, показывали, что покойник должен был быть человек рослый и плотный.

Вдруг в дверь горенки кто-то постучался. Стук все более усиливался, и наконец покойник зашевелился, повытянулся, приподнялся и, отбросив с лица саван, начал лениво протирать глаза, потом несколько раз перекрестился, зевнул и не торопясь вылез из гроба.

— Подожди! — крикнул он, отвечая на продолжавшийся стук; при этом он снимал с себя саван и надевал поверх белой рубашки старый черный подрясник из самого грубого сукна, а затем вздел на свою лысую голову порыжелую от времени остроконечную бархатную скуфейку.

— Эх ты как, отче Сергей, заспался! Или всегда та подолгу дрыхнешь? — спрашивал за дверью грубый голос.

— Какое заспался? С вечера до поздней ночи радел Господу Богу, так вот сон и одолел меня, и прилег-то я только перед самую зарю.

Говоря это, вставший из гроба откинул щеколду от двери, и в ней показался стрелец громадного роста, упирившийся головою под самый потолок горенки.

Стрелец подошел к Сергию под благословение, а потом начал креститься перед образами. То же вместе с ним стал делать и хозяин.

— Пришел я к тебе с поклоном от нашей братии стрельцов: просят тебя в их круг пожаловать, — заявил расстриженному иноку Сергию выборный стрелец Обросим, или Амбросий Петров.

— Идти-то к вам боязно, человек, я тихий и смирный, а ваши-то молодцы больно шумят, — отозвался Сергей.

— Эй, батька, не робей! Не все ли тебе равно: ведь в стрельцы тебя не возьмем; ты, чай, и пищаль-то зарядить не сумеешь.

— Отстреливаюсь я от моих врагов божественною пищалью, а в мирской пищали и нужды мне не стоит, — проговорил Сергей, указывая стрельцу на стол, заваленный книгами и рукописями.

— А что, батька, чай, бока-то в гробе порядком отлежал? — продолжал подсмеиваться стрелец, заглянув в не обитый ничем гроб. — Для чего никакой подстилочки туда не положишь? Хотя бы сенца аль соломки?

— Не кощунствуй, Петр Гаврилыч! Пришел антихрист, а разве ты ведаешь, когда наступит конец миру. Не вспоминают об этом лишь нечестивые никониане, а нам, ревнующим об истинном древнем благочестии, постоять за него следует.

— Вот о том, чтобы ты постоял за него, я и пришел к тебе от нашей братии, — перебил Петров.

— В чем же дело?

— Нужно будет написать государям и государыне Софье Алексеевне челобитную, чтобы допустили они нас, православных, препираться с никонианами о вере.

— Изволь, такую челобитную я напишу, а потом что будет? — пылливо спросил Сергей.

— Станем всенародно спорить с никонианами и одолеем и их, и патриарха их! — с уверенностью отвечал стрелец.

— Какой он патриарх, он «потерях», потерях бо он истинную веру, — с насмешкою проговорил Сергей.

— Ловкое словцо ты вымолвил, «потерях»! Так оно и есть, — весело засмеялся стрелец. — Столковаться, впрочем, с тобою самолично я обо всем не могу, а приходи к нам. Ведь не смуту хотим мы учинить, а к христианскому подвигу готовиться, и не ваше ли монашеское дело приуготовлять к тому нас, несведущих мирян?

— Коли так, то приду сегодня, если успею челобитную написать, а теперь Богу молиться нужно, — сказал Сергей, расставаясь со своим гостем.

После долгой и усердной молитвы и после сотни отброшенных поклонов Сергей присел на скамью и, облокотись на стол, принялся обсуждать сам с собою, в чем должна состоять стрелецкая челобитная об истинной вере.

«Нужно первее всего постоять за «аз», — думал Сергей, — читалось прежде в символе веры «рожденна, а не сотворенна». С чего же никонианцы выпустили бывшую промеж этих слов букву «аз»? Потом, — соображал Сергей, — надлежит восстановить в чине богоявленского водоосвящения слова «и огнем». Молились прежде об освящении воды Духом Святым и огнем, а никониане «и огонь» из книг вычеркнули; хотели, значит, огонь в Божьем мире извести...».

Продолжая глубокомысленно рассуждать о предстоящей задаче по составлению челобитной от имени стрельцов, Сергей находил, что нужно будет разрешить вопросы «о сугубой аллилуе», о «хождении посолонь» и о «двуперстном знамени» в том смысле, в каком принято было это до водворения в православной Церкви никоновских новшеств. Задавался он также и вопросами о том, зачем никониане вместо «благословен грядый» стали петь «обретохом веру истинную», как будто прежде истинной веры не было; почему архиереи носят жезлы с «проклятыми» змеями и надевают клобуки, как бабы. Воззрения

его на способы умиротворения Церкви далее этих вопросов не шли, и в этом случае он не был похож на других смелых и пылких вождей раскола, которые придавали своему учению не одно только религиозное, но и политическое значение.

Обдумав содержание челобитной, Сергей принялся писать ее, прося в ней великих государей и великую государыню взыскать старую веру, в которой российские чудотворцы, великие князи и благоверные цари Богу угодили, и потребовать от патриарха и от властей духовных ответа, отчего они священные книги, печатанные до Никона, при первых благочестивых патриархах, возненавидели, старую и истинную веру отвергли и возлюбили новую, латино-римскую?

Написав челобитную, Сергей отправился к стрельцам. Стрельцы собрались на сход. Сергей начал там читать свое сочинение. Умилились стрельцы, слушая челобитную, наполненную скорбью и сетованиями о падении в Московском государстве древнего благочестия.

— Мы и за тленное голов наших чуть не положили, а из-за Христа-света отчего не умереть? — кричали они, вспоминая о первом своем приходе в Кремль, и повели Сергея к своему начальнику, князю Ивану Андреевичу Хованскому.

— Вот, батюшка, — говорили они, кланяясь вышедшему к ним на крыльцо боярину, — привели мы к тебе инока Сергея, поспорит он с никонианами.

Хованский подошел к Сергию под благословение, а затем поклонился ему в ноги и, приняв от него челобитную, возвратился в свои хоромы, чтобы прочитать ее прежде подачи государям.

Нахмурился при чтении ее боярин. Сочинение Сергея показалось ему слабым и не соответствующим тем широким замыслам, какие имел Хованский, рассчитывая на возмущение раскольников.

— Ты, отче, — сказал Сергию боярин, вышедший снова на крыльцо, — инок смиренный, тихий и не многоглаголивый. Не станет тебя на такое трудное дело, как препирательство с никонианами. Надобно против них ученому человеку ответ держать.

— Хотя я, боярин, и немногословен, но надеюсь на Сына Божьего и верую, что он может и немудрых умудрить, — возразил Сергей.

— Так-то так, а все-таки...

Хованский приостановился и призадумался. Видно было, что он не решался поручить Сергию борьбу с никонианами.

— Да не позвать ли на такое дело попа Никиту? — подсказал Хованскому кто-то из стоявших около него стрельцов.

— И точно что позвать! — радостно вскрикнул как будто спохватившийся Хованский. — Так это он совсем у меня из головы вышел? Знаю я этого священника гораздо, не раз беседовал я с ним. Против него никонианам нечего будет говорить, он сразу уста им заградит. А мне самому дело это не за искус. Божественного писания вконец я не знаю; измлада навык к воинскому, а не к духовному чину... Но верьте мне, не будут вас по-прежнему казнить, вешать и жечь в срубах. Бога призываю во свидетели, что рад стоять за вас! Доложу челобитную вашу великим государям, чтобы они назначили собор, — сказал Хованский, отпуская от себя стрельцов.

Стрельцы верили князю, да и нельзя было не верить ему. Со вступлением его в заведование Стрелецким приказом начали государи оказывать стрельцам небывалые милости. Повелели они выдать им из государевой казны жалованье, которое недодано им было их полковниками за прежнее время; пожаловали им по десяти рублей на человека и указали собирать эти деньги со всего государства, а для чеканки их отбирать у частных людей серебряную посуду; раздали им также дворы и животы бояр и думных людей, взятые на государя, после того как владельцы и тех и других были убиты в стрелецком мятеже; прибавили им жалованья, ограничили их службу одними городами, простили все бывшие на них недоимки и запретили наказывать плетью без царского разрешения. Удовлетворили их требование и относительно ссылки тех лиц, которые при восстании стрельцов были обречены на смерть и которые успели спастись от избиения. Но особенная награда была оказана стрельцам 6 июня 1682 года, когда великие государи указом своим благодарили стрельцов «за побиение за

дом Пресвятыя Богородицы» и наименовали их «надворною пехотою», строго запретив называть их изменниками и бунтовщиками. В память же их подвигов приказано было поставить каменный столб с прибитыми к нему жестяными листами, на них означить имена убитых стрельцами бояр с прописанием их вин, как против государя, так и против стрельцов.

Уйдя от Хованского, стрельцы рассыпались по подмосковным посадам, населенным раскольниками, извещая их о предстоящем соборе и убеждая их постоять единодушно за истинную древнюю веру.

Покончив беседу со стрельцами и войдя в хоромы, князь Иван приказал позвать к себе своего сына, князя Андрея.

— Ну, сынок! — начал старый князь, важно поглаживая свою седую бороду, и приказал Андрею сесть возле него. — Ты знаешь, что мы идем из рода Гедиминовичей, великих князей литовских и королей польских, а древние родословцы, через князей полоцких, доводят родоначалие наше до первого российского государя Рюрика и до святого равноапостольного великого князя Владимира, крестившего Русскую землю.

— Ведомо мне это, князь-батюшка, — отвечал молодой Хованский, слышавший беспрестанно от отца о древности и знатности рода Хованских, но далеко не так гордившийся этим, как его тщеславный родитель.

— Веду я речь к тому, что нам, князьям Хованским, не след оставаться в заурядном боярстве и надлежит подняться на ту высоту, какая свойственна нашей знатной породе. Время теперь наступило такое, что достичь того будет не трудно. Будь только разумен и помогай отцу всеми силами.

— Готов я, родимый батюшка, исполнять во всем твою родительскую волю! — почтительно проговорил князь Андрей.

— И за то благословение Божие будет над тобою во веки веков. Слушай же, выбрось из головы всю прежнюю дурь. Не чета тебе та невеста, которую ты подобрал себе, не дам я тебе моего благословения на брак с нею! — сурово сказал старик.

Молодой князь не возражал и только печально понурил голову.

— Не такую невесту найду я тебе, — проговорил старик.

Князь Андрей в сильном волнении взглянул на отца.

— Готовлю я тебя в женихи царевне Екатерине Алексеевне, и, буде воля Господня станет, от тебя должно пойти поколение государей московских.

Князь Андрей вздрогнул и в изумлении посмотрел на отца.

— Повторяю тебе, что ты, по породе, достоин такого супружества, но надлежит тебе отстать от нечестивых никониан и присоединиться к древнему благочестию, — продолжал старик.

— Не понимаю я, батюшка, разности между старою и новою верою. Кажись, вся распря идет из-за книжных переправок, никто, однако же, с достоверностью не знает, которые из книг истинны?

— Истинны старые книги! — сердито проворчал старик. — Да и опричь того, по старым богослужебным книгам должная честь воздается боярству. По служебнику, изданному при царе Борисе Федоровиче, молились «о боярах, иже землю Русскою пекутся». Молились, значит, о нас, боярах, а по служебнику, напечатанному при патриархе Филарете, молитва эта оставлена!

— Если ты, батюшка, желаешь, то я стану молиться и по старым книгам, — предупредительно отозвался князь Андрей.

— Желать мне самому нечего, а желаю я для спасения твоей души. Да беседуй почаще с отцом Никитою, — сказал старый князь, увидев подходящего к княжеским хоромам Пустосвята.

Князь Андрей был сильно озадачен предположением своего отца о браке его с царевною Екатериною Алексеевной, но не решался, да и не успел заговорить с ним об этом, так как старик пошел навстречу к Никите и, приняв распопа с особым почетом, сообщил ему, чтобы он завтра, 23 июня, пришел рано поутру со своею богохранимою паствою на Благовещенскую площадь и остановился бы перед Красным крыльцом.

— Не след допускать, чтобы государи венчались на царство по новым книгам. Ляжем все до одного на месте, а этого учинить не дозволим! — раздраженно толковала толпа раскольников, направлявшаяся из-за Яузы к Кремлю.

Хотя толпа эта была безоружна, но тем не менее она подступала к царскому дворцу грозною бурною тучею. Впереди нее, в истасканном подряснике, с включенною бородою и растрепанными длинными волосами, шел известный всей Москве расстриженный суздальский поп Никита, по народному прозванию Пустосвят. Он нес в руках крест и, часто оборачиваясь назад, иступленными глазами обводил толпу, ободряя ее и ускоряя ее движение.

— Чего стали? Вали вперед смелее! Ведь идем умирать за истинную веру! Или страх обуял? К нечестивым никонианам приобщиться хотите? — кричал Никита на двигавшуюся за ним ватагу народа.

За Никитою шли бывшие иноки Сергей и Савватий. Первый из них нес Евангелие, а второй — огромную икону с изображением Страшного суда. На пути толпа увеличивалась пристававшими к ней как раскольниками, так и никонианами, и когда она подошла к Красному крыльцу, то достигла громадных размеров.

— Зови их в ответную палату, — сказал жильцу бывший уже во дворце Хованский, увидев приближавшуюся толпу. Жилец спустился с лестницы, чтобы исполнить приказание князя, который, вместе с другими боярами, пошел в ответную палату, чтобы подждать там прихода главных расколоучителей. По зову жильца вошли в палату Пустосвят, Сергей и Савватий, и из всех находившихся в палате бояр один только Хованский подошел к кресту, бывшему в руках Никиты.

— Зачем, честные отцы, пришли вы сюда? — спросил Хованский вошедших ересиархов.

— Пришли мы побить челом великим государям о старой православной вере, чтобы велели они патриарху и властям служить по старым книгам, а в новых книгах мы затеи и многие грехи обличим, — в один голос отвечали расстриги боярину.

— А челобитная при вас есть?

— Есть.

— Подавайте ее сюда, я покажу ее великим государям. — И, взяв челобитную из рук Сергия, Хованский пошел с нею вверх.

— Указали великие государи быть собору в среду, через три дня после царского их венчания! — объявил Хованский, возвратившись в ответную палату.

— Не подобает тому быти, — заворчали честные отцы. — Коли собор после венчания произойдет, так, значит, цари венчаться будут по новым книгам. Какое же это венчание? Еретическое оно будет.

— Будут венчаться по старым книгам, — утвердительно сказал Хованский, незаметно подмигнув Пустосвяту.

— Ну смотри, боярин, великий грех, непрощенный, берешь ты на свою душу, коль что да не так выйдет. Смотри! — предостерегал Хованского Пустосвят.

— Не придется брать мне на душу никакого греха! Будет так, как я вам говорю, — успокаивал князь, выпроваживая расколоучителей из ответной палаты, в которой государи обыкновенно принимали и отпускали иноземных послов.

— А чтобы не допустить до греха, так я сам принесу патриарху просвиры. Пусть на них он и отслужит обедню, — добавил Никита.

— Ладно, ладно! — уступчиво отвечал Хованский. — Не опоздай только, батька!

Накануне дня венчания царей в Успенском соборе было приготовлено так называемое «чертежное» место, с устроенным на нем помостом в двенадцати ступенях, крытых алым сукном. От этого места и до входных дверей разостлали две дорожки: одну для государей из «рудо-желтого» бархата, а другую для патриарха из бархата вишневого цвета.

25 июня 1682 года, ранним утром, торжественно загудели колокола всех московских церквей, возвещая о наступившем

дне венчания на царство великих государей Ивана и Петра Алексеевичей, а в восемь часов утра государи пошли из своих хором в Грановитую палату. Предшествовали им окольные и ближние люди, а за ними шли царевичи сибирские и касимовские и медленно выступали сановитые бояре в парчовых ферязях и высоких бобровых и собольих шапках. Заняв в Грановитой палате свои царские места, государи начали жаловать в бояре, а также в окольные и думные дворяне. Новопожалованные, которым объявляли о такой милости думные дьяки, отправились на казенный двор, чтобы принести оттуда царские регалии: шапки, скипетры и державы. Все эти знаки царского достоинства были сделаны совершенно одинаковые для каждого из обоих братьев.

Величаво, вслед за боярами, пронесшими царские регалии, вошел в Грановитую палату князь Василий Васильевич Голицын.

— Время пришло вам, великие государи, идти во святую соборную церковь! — доложил он царям, отдав им при этом глубокий поклон.

Государи поднялись со своих мест и пошли в собор, а архимандриты, предшествуя им, понесли туда Мономаховы шапки на золотых блюдах, а также скипетры и державы. В соборе государи стали на «чертежное» место; здесь митрополиты надели на них царские облачения и шапки, а патриарх дал им в руки скипетры и державы, и тогда стали им петь многолетие, как всем собором, так и на клиросах; а между тем патриарх, духовные власти, бояре, окольные и ближние люди стали «здравствовать им, великим государям, на их превысочайшем престоле».

Окончилось поздравление, и началась обедня. После «Херувимской» государи сошли с «чертежного» места и по «золотным бархатам» приблизились к царским вратам, где патриарх надел на них золотые цепи с животворящими крестами, служившие также знаками царского сана. Перед причащением государи приложились к иконам и потом низко поклонились присутствовавшим в церкви на все стороны. Растворились царские врата, митрополиты сняли с царей шапки, а патриарх помазал миром у каждого из государей лоб, щеки и

сердце. После этого он ввел их в алтарь, и на время их причащения затворились царские врата. Причастившись в алтаре, цари встали опять на «чертежное» место, и, когда обедня кончилась, патриарх приблизился к ним, осенил их крестом, дал каждому в руки жезл и стал поучать их от слов евангельских и апостольских.

При звоне колоколов цари вышли из Успенского собора. Весь Кремль был тогда наполнен народом, но никаких восклицаний не слышалось, так как в ту пору уважение к царскому величеству выражалось лишь благоговейною тишиною; да и восклицать было бы не слишком удобно, потому что весь народ при появлении государей должен был пасть и лежать ничком.

Идя по пути, устланному алым сукном, среди повалившихся на землю и безмолвствовавших подданных, великие государи направились сперва в Архангельский собор, а потом в Благовещенский. При входе их туда царевичи сибирские Григорий и Василий Алексеевичи осыпали их у самых дверей по три раза золотыми монетами, которые в золотых мисах подавали царевичам стольники. В то же время с соборных папертей бояре бросали народу золотые и серебряные деньги, и таким образом было разбросано сорок тысяч тогдашних рублей.

Прежде чем началась обедня в Успенском соборе, через плотную, окружавшую его толпу с отчаянными усилиями пробивалось несколько человек, желая во что бы ни стало дойти до собора.

— Пропустите нас! Дайте пролезть! Умилосердитесь! Истинная вера гибнет! — кричал исступленным голосом один из протискивавшихся, поднимая высоко над своею головою небольшой узел из белого чистого холста, в котором были завернуты просфоры; он был в рясе, с надетыми поручами и эпитрахилью.

— Ошалел ты, что ли, батька! Куда так ломишься! Не доберешься ты до собора, — отозвался в толпе один из посадских, глядя на распопа Никиту, который побагровел и весь в поту настойчиво протискивался вперед.

— Несу к патриарху просвиры! Пустите! Вера православная гибнет!.. — жалобно вопил задыхавшийся Пустосвят.

Но все его крики, просьбы, увещания и ругательства были напрасны. Неподвижно стояла перед ним плотная и равнодушная толпа. И вдруг на Ивановской колокольне ударили к «Достойной».

— Запоздал я! — взревел дико Никита и, побледнев, рванулся как бешеный вперед, но снова встретил неодолимый отпор. — Погибла истинная вера! Еретики венчали царей по новым книгам! Отныне они неблагочестивые!

Обойдя кремлевские соборы, государи вернулись в Грановитую палату. Там сели они на своих престолах, а царевичи сибирские и касимовские положили к их ногам венцы своих царств, поклонившись три раза в землю перед великими государями. Ни словом, ни движением не ответствовали московские самодержцы на такое выражение верноподданства иноземных царевичей. Старший царь, подслеповатый, с нахлобученною на глаза Мономаховою шапкою, казалось, дремал, утомленный продолжительным торжеством этого, дня; но бодро и смело посматривал на всех отрок Петр с высоты своего престола, выражая быстрыми взглядами и порывистыми движениями избыток кипевшей в нем жизни.

В Крестовой палате и патриарх воздал царям поклонение в землю, но ему они ответили тем же, а потом, взяв его под руки, повели и посадили на патриарший престол.

Приняв поздравления от бояр и всяких чинов людей, государи угощали в столовой избе бояр, окольничих, думных и ближних людей водками и ренским вином. Тем и окончилось в Кремле торжественное венчание на царство Ивана и Петра Алексеевичей. Но зато громко принялись толковать о нем среди раскольников.

— Не истинно было нынешнее царское венчание. Служили не по старым книгам, молились не о «совокуплении», а о «соединении» Церквей; просили не «умножения», а «изобилия» плодов земных; в «Херувимской» пели не «всякую ныне житейскую отверзем печаль», а «всякое ныне житейское отложим попечение», в «символе веры» пели не «несть конца»,

а «не будет конца» и пропустили «аз», — гневно говорили раскольники, указывая и на другие отступления от древнего благочестия и отвергая ввиду этого действительность помазания обоих государей на царство.

— Что же ты, отец, не принес в собор своих просвир? — выговаривал, в свою очередь, Хованский пришедшему к нему в тот же день Никите. — По всем сторонам я тебя высматривал, да так-таки и не видел. Сам виноват!

— Виноват не я, а паскудница просвирня. Замешкала она больно и задержала нас, а когда мы прибежали на площадь, то протискаться к собору не было мочи, мы уж запоздали. А тут и нечестивые никониане с злым умыслом не пускали нас дальше, да еще издевались над нашим усердием! Что теперь, благоверный боярин, прикажешь нам делать?

— Подожди, отец, собора, скоро он будет, и мы постоим на нем за древнее благочестие; только вы не опаздывайте да не сробейте!

— С чего мы опаздывать и робеть будем? На собор не опоздаем, ведь там дело без просвирни обойдется! Только ты, боярин, не выдавай нас!

— Не выдам вас, а притворствоваться мне пока нужно. Когда проведает правительствующая царевна, что я с вами заодно, так будет тогда моя погибель. Недолюбливает она вас крепко и за любовь мою к вам отнимет у меня начальство над стрельцами, а тогда никакой силы у нас под рукою не будет, — пояснил Хованский.

— Ладно, ладно, благоверный князь! Мы на тебя, как на каменную гору, упование наше возлагаем! — заявили Никита и его товарищи, расставаясь с боярином.

Патриарх московский и всероссийский считался после царя «начальным» человеком во всем государстве. Если низложение Никона, заспорившего было с царем Алексеем Михайловичем, и показало громадный и даже безусловный перевес верховной светской власти над верховною духовною властью, то все же по делам собственно церковным патриарх был и после этого первенствующим лицом во всей Русской земле. Такое первенство принадлежало и патриарху Иоакиму, несмотря на то, что он не отличался ни обширным умом, ни твердостью характера. В его правление Церковью время было бурное. Прежняя патриаршая всероссийская паства распалась теперь на два духовных, враждебных одно другому стада. Над одним стадом по-прежнему оставался пастырем патриарх, а другим овладели противники его, раскольники, и, кроме того, независимо от раскола, прокладывалась в православную Церковь и латинская ересь, распространителем которой был прежде наставник царя Федора Алексеевича и царевны Софьи Симеон Полоцкий, вскормленник польских иезуитов, а после смерти его скрытным ревнителем этой ереси стал Сильвестр Медведев, ученик и друг Симеона, сблизившийся теперь все более и более с царевною-правительницею.

При таких обстоятельствах нелегко и несладко было жить старику Иоакиму, и немало накопилось разного рода забот и огорчений под его низеньким белым клобуком. Сверх хлопот по делам церковным приходилось ему, хотя и безуспешно, увещевать буйных стрельцов, а после этого, под тайным руководством князя Ивана Андреевича, принялись наступать на патриарха еще более опасные для него враги — раскольники.

Крепко поморщился святейший владыка, когда 3 июля явился к нему из царского двора посланец князя Хованского с приглашением от имени государей — прибыть безотлагательно в Крестовую палату для объяснений по челобитной о вере, поданной великим государям выборными от стрелецкого войска.

— Ох уже эти стрельцы! И в дела веры вмешиваться начинают! — охал и ворчал пастыреначальник, собираясь исполнить царское повеление.

Еще до зова патриарха во дворец явился туда Никита Пустосвят с выборными и заявил, что ему нужно видеть боярина князя Ивана Андреевича Хованского.

— Что нужно тебе от меня, честной отец? — спросил он Никиту.

— Пришли они постоять за истинную веру, — было ответом на этот вопрос, причем Никита, указав на стрелецких выборных, тотчас же спрятался между ними.

— Да все ли вы готовы стоять за нее? — спросил Хованский выборных.

— Не только стоять, но и костями лечь! — отвечали они.

Три раза повторял Хованский этот вопрос и три раза получал на него один и тот же решительный и единодушный ответ.

— То дело святейшего патриарха, — сказал Хованский, выслушав заявление стрельцов, — и я послал звать его в Крестовую палату; идите и вы туда.

Выборные пошли, но вдруг палата наполнилась народом, так как следом за ними ворвались и сопровождавшие их раскольники, а в числе их и Никита.

— Пришли они спросить твое святейшество, за что отвергнуты старые книги? — сказал Хованский вошедшему в Крестовую палату патриарху, указывая ему на выборных.

— Не подобает вам, чада мои и братья, — начал поучительно патриарх, обращаясь к стрелецким выборным, — судить и простого человека, а кольми паче архиерея. Вы люди чина воинского, и вам это дело не за искус: нашею архиерейскою властью оно разрешается и вяжется. Мы на себе Христов образ носим, я вам пастырь, а не наемник, я дверьми вошел в овчарню Господню, а не перелез в нее, как тать, через ограду.

Долго бы, по всей вероятности, говорил святейший владыка со стрельцами в таком поучительном смысле, если бы из толпы их не выступили смелые книжники, предводимые Никитою.

— Пришли мы спросить тебя, за что предаешь ты богочтителей проклятию? За что отсылаешь ты их в дальние города? За что велел ты Соловецкий монастырь вырубить, а монахов за ребра вешать? Дай ответ на письме, почему ты старые книги выкинул? — заговорили расколоучители.

Патриарх хотел сказать им что-то в ответ, но замялся, зашамкал губами и стал слегка откашливаться.

— Да что тут толковать! Выходи, старче, препираться с нами на Лобное место! — нагло и хвастливо крикнул Никита.

— Статочно ли препираться на площади о делах церковных! — возразил патриарх, и от сильного негодования белый клобук затрясся на его голове.

— Знать, старина, ты струсил! Что же? Так и не пойдешь? — подзадоривали раскольники Иоакима.

Не говоря ни слова, патриарх пошел из Крестовой палаты, сопровождаемый насмешками своих дерзких противников.

— Святейшему патриарху на Лобное место ходить незачем, великие государи указали быть собору пятого числа сего месяца в Грановитой палате, — заявил Хованский выборным.

Обо всем, что происходило в Крестовой палате, дошло тотчас же до сведения царевны-правительницы.

«Не напрасно подозревала я Хованского, недоброе он затевает!» — подумалось ей.

Между тем раскольники стали деятельно подготавливаться к предстоящему собору. Они ходили по стрелецким слободам, побуждая стрельцов рукоприкладствовать под челобитною, которую следовало подать государям при открытии собора. Нападали они на православных священников и избивали их до полусмерти.

— Мы против челобитной отвечать не сумеем, а если к ней руки приложить, то и ответ должно будет дать. Сумеют ли сделать это и старцы? Чего доброго, намутят они только. Это дело не наше, а патриаршее, — заговорили стрельцы, не сочувствовавшие расколу вообще и в особенности подаче челобитной.

Проведала об этом царевна-правительница и, по совету Голицына, решила противодествовать влиянию Хованского

на раскольников; но, опасаясь с первого же раза раздражить их самих и множество стрельцов, их единомышленников, она допустила состояться собору.

Настало 5 июля 1682 года, день, для того назначенный.

Не успел еще патриарх отслужить в Успенском соборе молебствие об утишении и умиротворении святой Божьей Церкви, обуреваемой расколами и ересями, как до него стал доходить постепенно усилившийся на Соборной площади шум, который вскоре усилился до того, что пришлось приостановить службу.

— Выйди ты к ним, отец Василий, и уйми нечестивцев. Чего они бесчинствуют перед храмом Господним! — гневно сказал патриарх, обращаясь к протопопу Спасской церкви.

— Того... святейший владыко... оно того... — замялся и забормотал протопоп, оробевший ввиду предстоявшего ему опасного поручения.

— Чего того? — передразнивая протопопа, сердито прикрикнул патриарх. — Ступай, коль приказываю. Вот тебе обличение на Пустосвята, прочитай его им.

Неохотно поплелся отец Василий в шумную толпу, и сильно екнуло его сердце, когда он, выйдя на паперть Успенского собора, взглянул на площадь.

Вся площадь была сплошь покрыта народом, на который сзади напирали новые прибывающие ватаги. По площади ходил и смешанный гул, и громкий говор. Над головами бесчисленной толпы то поднимались, то опускались старые закоптелые иконы, огромные подсвечники с пудовыми свечами, ветхие книги, аналои и скамейки. Над волновавшеюся площадью высоко виднелся Пустосвят, взобравшийся на устроенные подмости, а около него стоял его неразлучный спутник, Сергей.

— Пусть они идут к нам! Гони их из хлебов и амбаров! — рычал Никита, указывая на кремлевские храмы, — Чего они не выходят на Лобное место препираться с нами!

Протопоп колебался, идти ему или нет в это шумное сонмище. Он видел, что теперь временная его паства состояла не из мирных овец, а из бешеных волков. Протопоп решился не идти и, остановившись на паперти, начал там наскоро читать

отпечатанное накануне по указу патриарха отречение от раскола, которое дал на соборе Никита и в котором он просил прощения за отпадение в ересь. Не успел, однако, отец Василий прочесть даже наскоро двух строк, как стрельцы подхватили его, полумертвого от страха, под руки и потащили к подмосткам, на которых голосил Пустосвят. Раскольники с остервенением кинулись на протопопа.

— Не трожь! — крикнул Сергей. — Пусть читает обличение, нам только этого и нужно. С него мы и спор с никонианцами заведем.

Толпа послушалась Сергея, расступилась и поставила Василия на скамейку подле Никиты.

— Читай, батька! — закричали со всех сторон протопопу.

Дрожащим и прерывающимся голосом принялся он за чтение, но тотчас же на площади поднялся такой страшный шум, что нельзя было расслушать ни полслова, а стоявшие несколько поодаль от протопопа раскольники начали спускать с правого плеча накинутые на опашку кафтаны и вынимать из-за пазухи камень, готовясь половчее метнуть ими в злосчастного обличителя.

— Всеу, отче, будешь трудиться. Видишь, никто тебя не слушает, — сказал Сергей Василию. — Слезай-ка, брат, подобру-поздорову со скамейки да посмотри, как будут внимать нам, ибо мы не собою глаголем, а от божественных писаний.

Говоря это, Сергей потянул Василия за полу рясы, живо стащил со скамейки и сам взобрался на его место.

Толпа, увидя, что Сергей собирается говорить, мгновенно смолкла; камни были спрятаны опять за пазуху, а кафтаны натянуты на плечо.

Воспользовавшись вниманием, с каким раскольники слушали Пустосвята о силе двуперстного знамения и о нечестивом поклонении четырехконечному кресту, отец Василий проворно шмыгнул от скамейки и успел здраво и невредимо пробраться в Успенский собор, где и донес патриарху, что с раскольниками никак сладить нельзя, почему и святейший поспешил поскорее выбраться из собора и удалиться в свои хоромы.

Кончил свое поучение Сергей, и снова раздался на площади громовой голос Никиты:

— Пойдем, православные, препираться с патриархом. Осквернены церкви никонианцами! Наступило царство антихриста! — ревел Пустосвят, ведя толпу за собою к Красному крыльцу.

— Пусть выйдет к нам патриарх! — неумолчно голосила толпа.

В кремлевски палатах господствовали теперь ужас и смятение. Бодрствовала-одна лишь правительница, порываясь выйти сама на Красное крыльцо, чтобы увещевать раскольников.

— Пошли к ним, благородная царевна, на Лобное место патриарха, и они с ним уйдут из Кремля, а сама к ним не ходи, не пускай к ним и государей. Убьют они вас всех, — запугивал Софью Хованский. — Умолите ее пресветлость не выходить на Красное крыльцо, не пускайте туда и государей; не ровен час, беда будет!

— Нет! — отвечала она. — Не оставлю я без защиты Церкви и верховного ее пастыря. Если препираться о вере необходимо, то быть собору в Грановитой палате, туда пойду и я. Кто хочет идти со мной? — смело спросила Софья.

Решимость царевны придала бодрость всем находившимся в палате.

— Я пойду с тобою! — откликнулась царица Наталья Кирилловна, не желая дать царевне Софье случай одной показать свое бесстрашие.

— Пойду и я! — с живостью проговорила двадцатидвухлетняя царевна Мария Алексеевна, младшая сестра Софьи от одной с нею матери.

— Нешто не пойти ли и мне? — как бы про себя проговорила Татьяна Михайловна.

— Пойдемте! — воскликнула Софья и, взяв тетку и сестру за руки, повела их в Грановитую палату. Между тем Хованский вышел на площадь. Он объявил народу ролю царевны и звал «отцов» в Грановитую палату.

— Сама царица хочет выслушать вашу челобитную, не идти же ей к вам на площадь! — вразумлял Хованский раскольников, не желавших пойти во дворец.

— Государь царский боярин, — возразил Сергей Хованскому, — идти нам в палату опасно, не было бы над нами какого вымысла и коварства. Лучше бы изволил патриарх здесь перед всем народом свидетельствовать священные книги. Как пустят в палату нас одних, что мы там станем делать без народа?

— Невозбранно никому идти туда! Кто хочет, тот и ступай! Кровью Христовою клянусь, что вас никто не тронет, — говорил Хованский.

— Идем, православные! — воодушевленно крикнул Никита.

Внушительно и великолепно для того времени выглядывала Грановитая палата, бывшая главной приемною комнатою Кремлевского дворца. На стенах этой палаты, расписанных цветами, узорами и арабесками, были нарисованы по золоту изображения всех великих князей и царей московских, а на сводах палаты были картины из Ветхого завета и из русской истории. На находившихся в ней разных поставцах ставили в торжественных случаях хранившуюся на казенном дворе золотую и серебряную посуду, изобилие и ценность которой так дивили иностранцев и давали им высокое понятие о громадных богатствах московских государей. В Грановитой же палате стоял древний трон московских государей, сделанный из слоновой кости и золота. При введении царского двоевластия в Грановитой палате поставили для обоих государей одно, общее царское место, ступени которого были обтянуты багряным сукном и на помосте которого находились два царских трона, богато вызолоченных и обитых пурпуровым бархатом. На эти троны сели царевны Софья Алексеевна и Татьяна Михайловна, а в креслах, поставленных на ближайшей к тронам ступени, поместились царицы Наталья Кирилловна, царевна Марья Алексеевна и патриарх. Около царского места, справа расселись на скамьях митрополиты и весь Священный собор, а слева — бояре, думные люди и выборные стрельцы. Между тем священники и дьяконы огромными ворохами несли в палату старые и новые книги, а также древние рукописи, славянские и греческие, на которые думали ссылаться отцы собора для поражения своих противников.

Радостно, и торжествуя в душе, смотрела царевна Софья на это небывалое еще в Москве собрание, на котором не только явились царица и царевны с отброшенными фатами, но на котором женщины занимали первенствующее царское место. Предрассудки насчет женской неволи, искони гнездившиеся в московских теремах, были теперь окончательно уничтожены.

Женщины, благодаря отважности царевны Софьи, добились не одной свободы, но и права участвовать не только в государственных, но даже и в церковных делах. И справедливо гордилась двадцатичетырехлетняя девушка тем, что такой быстрый и резкий поворот в судьбе русской женщины произошел по ее почину. Не хотела, однако, она остановиться на первых шагах своего победного шествия и замышляла идти все дальше и дальше и стать самой на такой высоте, которая была бы в Московском государстве без примера в прошедшем и, быть может, осталась бы без подражания в будущем. Жажда безграничной власти и блестящей славы манила вперед честолюбивую царевну, и Софья не знала, где и когда придется ей остановиться в ее смелых стремлениях и пылких мечтаниях.

Раздумывая о заманчивой будущности, сидела царевна на царском престоле, когда сильный шум и крики, раздавшиеся в дверях Грановитой палаты, заставили ее встать.

В двери палаты врывалась толпа, таща с собою с площади огромную чашу со святою водою, иконы, свечи, аналои, просфоры, книги и скамейки.

На пороге палаты началась страшная давка, и вдобавок к этому раскольники затеяли на Красном крыльце драку с никонианскими попами. Стрельцы едва разогнали подравшихся, заступаясь, впрочем, за раскольников и порядком помяв бока неприязненным им богословам.

Буйный вход раскольников в царское жилище предвещал бурю, но, казалось, царевна была готова выдержать бестрепетно все ее порывы, и вот, среди шума и стука, раздался ее звонкий и твердый голос.

— Для чего так дерзко и так нагло пришли вы в царские чертоги, как будто к иноверным и не знающим Бога государям? — спросила она.

Все с изумлением посмотрели туда, откуда несся этот смелый и строгий голос. Там стояла молодая девушка в блестящем царственном облачении. Густые темные — волосы выбивались длинными прядями из-под надетого на ее голове и сиявшего драгоценными камнями золотого венца с двенадцатью, по числу апостолов, закругленными зубцами.

Лицо ее не поражало прелестью женственной красоты, но в нем выражались ум и мужество. Щеки царевны горели румянцем негодования, а глаза сверкали гневным блеском. Все приутихли. Видно было, что строгий женский голос, раздавшийся так неожиданно под сводами Грановитой палаты, подействовал на непривычную еще к нему толпу сильнее, нежели мог бы подействовать на нее повелительный и грозный окрик мужчины.

— Пришли мы, — заговорил на первый раз смиренно Пустосвят, — к великим государям побить им челом об исправлении православной христианской веры. Пришли мы просить, чтобы царское рассмотрение дала ты нам с новыми законодателями, чтобы Церковь Божия была в мире и соединении, а не в мятеже и разодрании.

Царевна взглянула на патриарха и подала ему знак глазами, чтобы он отвечал Пустосвяту.

— Не ваше то дело, — заговорил Иоаким, — судить о том надлежит архиереям. У нас вера старого православия. Мы от себя ничего не внесли, но все от божественных писаний заимствовали, вы же грамматического разума в книгах не коснулись.

— Мы пришли не о грамматике с тобою толковать, — резко перебил Никита, — а о церковном догмате. Ты, старик, отвечай только на вопросы.

Шепот негодования прошел по палате при такой дерзости, оказанной Пустосвятом первосвятителю. Царевна готовилась сдержать своею угрозою позабывшегося перед патриархом распопа, но холмогорский архиепископ Афанасий предупредил ее.

— Так ли ты дерзаешь, негодник, говорить со святейшим владыкою! — крикнул на всю палату архиепископ.

— А ты зачем выше главы ставишься? Не с тобою я говорю, а с патриархом! — отвечал Пустосвят, с презрением взглянув на оторопевшего архиерея.

Софья не выдержала.

— Да ты как смеешь говорить со святейшим патриархом? — крикнула она на Никиту. — Разве ты забыл, как отцу нашему, царю Алексею Михайловичу, святейшему патриарху Питириму и

всему Освященному собору принес повинную, а ныне снова за прежнее дело принялся?

— Оно точно, что принес я повинную, — равнодушно и лениво поглаживая бороду, отвечал Пустосвят, — да принес я ее между топором и срубом, а ответом на мою покаянную челобитную была тюрьма. А за что? И сам я того не ведаю.

— Молчать! — грознее прежнего крикнула царевна.

Никита не унялся окончательно, но продолжал что-то сердито ворчать.

— Ты, страдник, и замолчать не хочешь! — вмешался снова холмогорский владыка, но на этот раз вмешался весьма неудачно.

Разъяренный распоп заскрежетал зубами и кинулся на архиепископа.

Припадении Никиты на Афанасия все в ужасе вскочили с мест.

— Вы видите, что делает Никита! — вскрикнула Софья.

— Не тревожься, государыня царевна, он только рукою его от себя отвел, чтобы прежде патриарха не совался! — успокаивал Софью какой-то раскольник.

В палате начался теперь общий переполох, среди которого с сильным стуком и треском валялись на пол скамейки, аналои, свечи, книги и иконы. Выборные стрельцы кинулись на иступленного Никиту и с трудом оттащили его, но большой клоч из бороды преосвященного остался в руках изувера. Утрата значительной части бороды, впоследствии не заросшей, расстроила благообразие святительского лица, и Афанасий стал брить бороду. Он был единственный безбородый иерарх в нашей Церкви, и Петр Великий отменно любил его за это и чрезвычайно ласкал, вспоминая, что Афанасий утратил часть своей бороды в борьбе с расколом.

После нападения распопа на архиепископа едва удалось восстановить тишину в Грановитой палате. Стрельцы с трудом сдерживали за руки Никиту, который тяжело дышал и снова рвался врукопашную с кем-нибудь из отцов собора.

— Читай их челобитную! — приказала царевна дьяку.

Дьяк принялся исполнять отданное ему приказание, но чтение прерывалось беспрестанно дерзкими возгласами раскольников и поднимавшимися вслед за ними ожесточенными спорами с обеих сторон. Царевна то взглядом, то движением руки, то словами унимала расходившихся через меру богословов.

— Еретик был Никон! — вдруг гаркнул какой-то раскольник. — Никон поколебал душою царя Алексея Михайловича, и с тех пор благочестие у нас пропало!

В порыве страшного гнева вскочила царевна со своего кресла.

— Такой хулы терпеть нельзя! — вскрикнула царевна. — Если патриарх Никон и отец наш были еретики, значит, и мы тоже. Выходит, что братья наши не цари, а патриарх не пастырь Церкви, и нам не остается ничего иного, как только покинуть царство и идти в иные грады...

С этими словами правительница стала спускаться со ступеней трона.

— Пора бы, государыня, вашей чести идти в монастырь! Полно вам царством мутить! Нам бы цари наши здоровы были, а и без вашей милости место пусто не будет! — заговорили в толпе, — Пора бы вам на вашу разумную головку черный клобучок надеть да засесть в келейку, — подтрунивали раскольники над Софьей.

Гневно озираясь кругом и тяжело дыша, остановилась царевна посреди Грановитой палаты. Духовные власти, бояре, думные люди и стрелецкие выборные обступили ее.

— Преложи, благоверная царевна, гнев на милость! Прости невеждам за их продерзность и грубиянство! Соизволь по-прежнему править царством Российским! — говорили они, готовясь упасть ей в ноги.

— А по правде-то сказать, не женского ума дело царством править, — громко позевывая на всю палату, сказал кто-то в толпе с тем равнодушием и с тем спокойствием, которые так свойственны русскому человеку в самых торжественных и в самых затруднительных случаях.

Насмешка эта, в которой прозвучало полное пренебрежение к женщине, долетела до слуха царевны. Задетая этими словами за живое, она побледнела от гнева и, не говоря ни слова, быстро повернулась назад и, через расступившуюся перед нею толпу, вошла тихою и твердою поступью на помост и там снова села на прежнее место.

— Читай дальше челобитную, — равнодушно приказала она дьяку.

Дьяк принялся снова за свое дело. Читал, читал, но нелегко было ему одолеть целых двадцать столбцов, тем более что и теперь, как и прежде, чтение беспрестанно прерывалось криками и спорами, но уже далеко не столь яростными, как при начале собора. Стало вечереть. Наконец чтение челобитной окончилось. Все по-умаялись порядком: кому хотелось поесть, кому выпить, кому соснуть. Царевна воспользовалась усталостью собора.

— За поздним временем заседать долее собору нельзя, указ сказан будет после! — громко и твердо объявила она.

Послышалось было слабое выражение неудовольствия, послышалось и насмешливое шушукание. Но царевна поднялась с места, встали за нею также и все прочие, участвовавшие в соборе. Царевна, ее сестры и их мачеха отправились в свой хоромы, а густая толпа, громко толкуя, повалила из Грановитой палаты на Красное крыльцо и, сойдя с него, вступила на площадь и потянулась из Кремля. Впереди нее горделиво выступал Никита, высоко держа поднятую вверх руку со сложенным двуперстным крестным знаменем.

— Тако веруйте! — голосил он. — Тако творите! Всех архиереев попрахом и пострамихом.

Его сопровождали шесть чернецов «волочаг», тоже возвещавших народу о торжестве древнего благочестия над новою верою. Дойдя до Лобного места, толпа остановилась, раскольники расставили там иконы, свечи, аналои и скамейки, и Никита долго поучал народ истинному православию. Затем с громким пением раскольники двинулись за Язу. Там встретили их колокольным звоном, и они, отслужив молебен в церкви

Спаса, что в Чигасах, разбрелись по домам, радуясь своей победе.

Следуя советам Голицына, царица велела, чтобы на завтра были у нее в хоромах выборные от всех стрелецких полков. Они явились, и царица вышла к ним, окруженная сестрами и боярами.

— Ужели вы променяете нас на шесть расстриг и предадите поруганию православную Церковь и святейшего патриарха? — сказав это, царица приложила к глазам ширинку и громко заплакала. — Стыдитесь, вы отборное царское войско, а якшаетесь с глупою чернью, которую мутят побродяги. Или хотите, чтобы я ушла от правления? Так что же, я уйду!

Слезы молодой царицы, ее вкрадчивый голос и складная речь сильно подействовали на выборных.

— Нет, государыня царица, не хотим мы, чтобы ты уходила от правления! — заговорили они. — За старую веру мы не стоим: она не нашего ума дело.

Удовольствовавшись на первый раз таким ответом, царица пожаловала стрелецких пятисотенных в думные дьяки, допустила выборных к ручке, угостила их из царского погреба, приказала раздать денег и пообещала всем стрельцам новые милости и награды.

Обласканные и награжденные, а потому и чрезвычайно довольные царицею, возвратились выборные в свои слободы и принялись отдалять своих товарищей от раскола, но рядовые стрельцы с негодованием слушали их внушения.

— Посланы вы были говорить о правде, — упрекали они выборных, — а творите неправду, пропили вы нас на водках и на красных винах.

Ропот между раскольниками-стрельцами усиливался все более и более, но царица не теряла бодрости. Она звала поочередно к себе стрельцов, на которых указывала ей Родилица, как на людей, готовых постоять за новую веру, выходила к ним, подолгу разговаривала с ними, и число приверженцев ее в слободах быстро множилось. Прошла лишь

неделя со времени бурного собора, происходившего в Грановитой палате, как правительница решила нанести жестокий удар расколу. Она — потребовала от преданных ей стрельцов, чтобы они представили на расправу Никиту Пустосвята и главных его сообщников. Стрельцы исполнили это требование.

— Я не хочу сама решать его участь, не хочу также, чтобы Никиту судили бояре и приказные люди. Осудят они его хотя и правильно, да потом в народе примутся говорить, что они сделали мне это в угоду, — сказала царевна и приказала предать распопа «городскому» суду, составленному из одних только выборных.

Суд в тот же день порешил Никиту, признав, что он за хулу на святую православную Церковь, за оскорбление царского величества, святейшего патриарха и за нападение на архиепископа подлежит смертной казни.

— Не на меня падет его кровь, а на его судей, — спокойно сказала царевна, приказывая привести в исполнение смертный приговор, постановленный над Никитою и 11 июля 1682 года, лишь только начало восходить солнце на Болоте под ударом топора отскочила от туловища голова Пустосвята.

Главного его сообщника Сергия заточили в Спасский монастырь в Ярославле, некоторых разослали по разным монастырям, а прочие приверженцы в ужасе разбежались.

Москва притихла, но замыслы Хованского начали сильнее прежнего беспокоить Софью, а рассорившийся с ним неизвестно почему Иван Михайлович Милославский сделался вдруг непримиримым его врагом и решился расчитаться с ним, по своему обычаю, путем коварства и подкопов.

— Ты знаешь, царевна, — начал он нашептывать правительнице, — крепко обманулся я в князе Иване Андреевиче. Просил я же тебя за него, чтобы соизволила ты дать ему начальство над стрельцами, а теперь вижу, что ты была права, когда остерегалась его. Слишком силен и непокорен он стал: мутит стрельцов, царских указов не исполняет. Кажись, пора бы отнять у него силу.

Наговоры Милославского сильно подействовали на Софью, и без того уже предубежденную против Хованского, но увещания Голицына ослабляли влияние этих наговоров. Стали доходить до Милославского слухи, что Хованский грозит ему. Милославский струсил и выбрался поскорее из Москвы в свою вотчину, настращав царевну при отъезде из Москвы преступными замыслами Хованского.

Все громче и громче начали распространяться по Москве слухи, будто бы Хованский, при содействии преданных ему стрельцов, имеет намерение захватить верховную власть в свои руки. Возмущения стрельцов оправдывали, по-видимому, достоверность таких слухов. Стрельцы называли Хованского отцом и батюшкою и выражали полную готовность умереть за него. Но самонадеянный и опрометчивый Хованский сильно вредил самому себе.

— Мною держится все царство, — спесиво говорил он боярам, — не станет меня — и в Москве будут ходить в крови по колена.

Заговорили в Москве о том, что Хованский хочет убить патриарха, извести царский корень, оставив в живых только царевну Екатерину Алексеевну, чтобы женить на ней своего сына Андрея, что он хочет восстановить старую веру и перебить бояр. Хотя и не все противники Хованского придавали веру этим грозным слухам, тем не менее по злобе к нему усердно распространяли их; и многие бояре, в особенности же Иван Милославский, постановили погубить Хованского. Но, прежде чем они обдумывали, как им действовать, он сам решился идти навстречу их замыслам.

Казнь Пустосвята произвела среди стрельцов-раскольников глухой, сдержанный ропот, и Хованский воспользовался им. На третий день после этой казни стрельцы, по наущению Хованского, явились перед Красным крыльцом и потребовали выдачи тех бояр, которые считались недругами их главного начальника. Предлогом к тому выставлялось намерение этих бояр перевести стрелецкое войско. Правительница решительно отказала стрельцам в таком требовании, пригрозив, в случае их упорства, крутою с ними расправою.

— Детки! — сказал стрельцам Хованский, выходя из боярской думы, где состоялось решение об обуздании строгостью своевольства стрельцов. — И мне из-за вас грозят бояре, ничего не могу я поделывать! Как хотите, так сами и промышляйте.

Стрельцы вняли этому внушению и стали «промышлять». Начались опять между ними волнения. Послышались снова набат и барабанный бой, и грозные крики: «Любо, любо, любо!» — в ответ на предложение заводчиков мятежа отобрать ненавистных бояр у государей силою. Но теперь было уже не прежнее время. Правительница бодрствовала, она ободряла бояр и противопоставляла волновавшимся стрельцам своих приверженцев. Смятения продолжались два дня, но Софья одолела.

Когда волнение улеглось, Софья 19 августа поехала из Москвы в село Коломенское, любимое местопребывание ее отца, где он построил обширный дворец самой затейливой архитектуры. В этом селе проводила часто царевна свое детство и теперь отправилась туда, чтобы привести в исполнение свой смелый замысел, который должен был обеспечить за нею державную власть. Как живо чувствовалась царевне резкая перемена в ее судьбе, когда она, подъезжая к Коломенскому полновластною правительницею обширного царства, вспомнила о прежнем своем подневольном положении, доходившем до того, что даже попытка приподнять из любопытства край тафтяной занавесы у окна колымаги считалась грехом и преступлением.

Из Коломенского правительница потребовала к себе преданный ей стремянный полк.

— Не отпущу я его из Москвы, назначен он для похода в Киев, — отвечал Хованский, как будто не ставя ни во что повеление правительницы.

Но Софья настоятельно приказала исполнить ее требование, и Хованскому пришлось уступить царевне.

Находясь в Коломенском, Софья Алексеевна продолжала править государством, так как большая часть бояр поехала туда вместе с нею, другие же разъехались на летнее время по своим

поместьям и вотчинам, так что из всех знатных лиц оставался в Москве один только Хованский.

Наступило первое число сентября. В этот день, по старинному церковному летосчислению, праздновалось в России новолетие, или Новый год. Праздник новолетия справлялся в Москве с особенною торжественностью.

1 сентября каждого года народ с самого раннего утра толпился на площади между Архангельским и Благовещенским соборами, и на ней, в присутствии царя служили молебны. Патриарх, духовенство и вельможи поздравляли государя с Новым годом, а один из бояр говорил ему речь, наполненную похвалами и благодарениями за прошедшее время, а также пожеланиями и надеждами на наступивший новый год. После того все московское духовенство, с крестами, иконами и хоругвями, отправлялось к Москве-реке на водосвятие. Двенадцать стрелецких приказов, или полков, сопровождали этот торжественный крестный ход. В нем участвовал и государь в полном царском облачении. Он шел пешком, вели его под руки стольники, а за ним стряпчие несли полотенце, стул и подножие, или скамейку для ног. Они же, под охраною спальников, несли и так называемую «стряпню», то есть шапку, рукавицы и прочие принадлежности вседневной царской одежды, так как по окончании водосвятия царь снимал с себя торжественное облачение и возвращался во дворец в английской карете, запряженной в шесть лошадей, над головами которых развевались, по немецкому обычаю, пучки разноцветных страусовых перьев. Карета и упряжь блистали золотом. Возницы, правившие с коней, а не на вожжах, были одеты в бархатных кафтанах и с такими же шапками на головах. За государем во время крестного хода шли бояре, а за ними служилые и торговые люди. За небытностью в Москве государей царевна приказала Хованскому, как первому в Москве знатному сановнику, участвовать в этом церковном торжестве. Боярин-раскольник ослушался, уклоняясь от такого слишком поразительного знака уважения к новой вере, и Софья решила отнять у него за это начальство на Стрелецким приказом.

Занятая этой мыслью, она сидела в своем тереме, когда явившийся к ней стрелецкий полковник, Акинфий Данилов, подал ей бумагу.

— Найдена она была у передних дворцовых ворот, — Доложил царевне полковник.

Софья взяла бумагу и в сильном волнении начала читать. На наружной подписи значилось: «вручить государыне царевне Софии Алексеевне, не распечатав». Бумага эта оказалась подметным письмом, в котором какой-то стрелец и двое посадских, не называя себя по имени, но указывая свои особые приметы, извещали правительницу, что князь Иван Хованский намерен объявить обоих государей еретическими детьми, убить их, а также царицу Наталью Кирилловну и царевну Софию, женить на одной из царевен своего сына Андрея, а остальных постричь. Хованский, как говорилось в подметном письме, имел намерение расправиться и со служилыми людьми, и с боярами, побить и тех, и других за то, что они старой веры не любят и заводят новую, и когда от всего этого замутится царство, то сделать так, чтобы его, Ивана Хованского, избрали в цари, а в патриархи поставить того, кто любит старые книги.

В памяти правительницы мгновенно ожили рассуждения Голицына о политическом значении раскола, противопоставшего еретическому исправлению церковных книг по повелению властей царской и патриаршей. Ожили и последние внушения Милославского о тех опасностях, какими может угрожать царскому правительству Хованский, забравший так много силы в расколе и столь любимый стрельцами.

Немедленно царевна собрала совет из бывших в селе Коломенском бояр. В ту пору подметным письмам придавали вообще большую веру, особенно в тех случаях, если было нужно или хотелось кого-нибудь погубить. Почти все члены временного совета, собравшегося в Коломенском, были заклятые враги Хованского, да и укрывались они там, потому, что опасались его враждебных замыслов. Бояре порешили, что подметное письмо выставляет не выдуманные, а истинные намерения Хованского, и предложили правительнице разослать немедленно окружные

грамоты во Владимир, Суздаль и другие города, чтобы призвать тамошних дворян к Москве на защиту царского семейства.

— Ты здесь, великая государыня, не в безопасности, — заговорили бояре Софье Алексеевне, — при родителе твоём приходили сюда гилевщики, и большой переполох они наделали. Надлежит на время укрыться великим государям и тебе, благородная царевна, в ближайшем надёжном месте, — и, как на такое подходящее место, бояре указали царевне на Саввин-Сторожевский мужской монастырь, построенный на реке Москве, в полуторах верстах от Звенигорода.

Монастырь этот стоял на горе и был некогда сторожевым укреплением против нашествия Литвы и крымцев. Он был обведен каменною стеною с башнями и бойницами. Туда, по совету бояр, немедленно отправилась Софья со всем царским семейством, и туда же прибыл из своего подмосковного поместья боярин Иван Михайлович Милославский, проведавший, что против его врага, князя Ивана, правительница принимает решительные меры.

Еще весьма недавно, покуда железные полосы не легли между Москвою и Троицко-Сергиевскою лаврою, путь этот напоминал стародавнюю московскую богомольную Русь. По нему почти всегда тянулись нескончаемою вереницею ходившие в лавру или возвращавшиеся оттуда пешие богомольцы. Но в исходе XVII столетия местность эта была еще люднее, как потому, что вообще народ был в ту пору набожнее, так и потому, что по этой дороге цари и царицы московские предпринимали по нескольку раз в год благочестивые шествия, или так называемые «походы», в Троицкую лавру, и ни одной из всех великорусских обителей не приводилось встречать так часто царственных богомольцев, как часто встречала их обитель святого Сергия Радонежского. Не проходило в царском семействе ни одного ни радостного, ни печального события без того, чтобы русские государи и их супруги не отправлялись на поклонение мощам угодника. Царские походы в Троицкую лавру отличались всегда пышною обстановкою. Хотя государи и государыни ходили пешком, но тем не менее их всегда сопровождал многочисленный и разнообразный конный поезд, в особенности, если вместе с царем отправлялась в лавру царица с семейством. Кроме длинного ряда колымаг, рыдванов и обозных телег, царский поезд состоял из стрельцов стремянного полка, сопутствовавших государю в качестве телохранителей, бояр, окольничих, стольников и ближних людей, ехавших на конях; всадники эти были одеты в парчу, шелк и бархат. К ним присоединялись царицыны поезжане, ехавшие тоже верхом помужски с закрытыми лицами. Многочисленная придворная прислуга, ехавшая и при обозе и шедшая при государе, государыне и их семействе, открывала и замыкала царский поезд, который двигался медленно, соблюдая строгий порядок и тишину, и несколько раз останавливался для отдыха на подхожих станах, в числе которых считалось и государево село Воздвиженское с его путевым деревянным дворцом. На прочих

же станах для кратковременного царского пребывания были устроены так называемые вышки.

В сентябре двигался тоже по московско-сергиевской дороге царский поезд, но на этот раз была заметна необычайная спешность в его движении. Колымаги, в которых сидели порознь оба государя, царица и царевны, ехали быстро, по дороге поднимались клубы пыли от мчавшихся во всю прыть всадников; на распутьях выставлялись сторожевые караулы. Сопровождаемые боярами и ратными людьми, государи въехали в Троицкую лавру, которая обратилась тотчас же в военный стан, напоминая этим Смутное время, бывшее до воцарения Романовых. Ни царевны, ни царица не скрывались уже теперь, как прежде, от монахов, которым тоже не было запрета выходить из келий во время их пребывания.

Спустя трое суток по приезде государей по дороге из Москвы в Троицкую лавру двигался другой, тоже большой поезд, но уже далеко не столь многолюдный, как царский. С этим поездом ехал начальник Стрелецкого приказа, боярин князь Иван Андреевич Хованский. Он ехал вполне довольный своею судьбою, так как в бытность свою в Москве получил от великих государей милостивую грамоту «со многою похвалою прежних служб его» и с изъяснением, что «за те его прежние службы он и сыны его достойны высокого назначения, и милости, и чина, и деревень». В этой же грамоте указано было Хованскому приехать, не мешкав, в село Воздвиженское для выслушания царского повеления о принятии ехавшего в Москву сына малороссийского гетмана Самойловича.

Доехав до села Пушкина, боярин сделал там привал. Он пообедал и в разбитом для него шатре, под горою, за крестьянскими избами, между гумнами, спокойно заснул после обеда, думая о той милостивой встрече, какая ему готовится в Воздвиженском. Но приятный послеобеденный сон боярина был внезапно прерван шумом, поднявшимся около его шатра. Бывшие с ним сорок человек стрельцов и многочисленная прислуга в испуге засуетились.

— Вставай живее, князь Иван Андреевич! Спасайся скорее! Беда! — торопливо крикнул один из выборных стрельцов,

вбежав в княжеский шатер.

Не успел еще Хованский опомниться спросонья, как в шатер к нему вошел окруженный царскими ратными людьми боярин князь Иван Михайлович Лыков.

— Собирайся проворнее, князь Иван Андреевич! — повелительно сказал Лыков. — Великие государи указали мне привезти тебя под караулом в Воздвиженское.

Хованский хотел сказать что-то, но в это мгновение на него кинулось несколько служилых людей и, крепко скрутив его веревками по рукам и по ногам, вытащили из шатра, бросили в телегу и повезли, обеспамятовавшего от ужаса, в Воздвиженское.

Поступая так круто с Хованским, Лыков исполнял в точности приказание, данное ему царевною-правительницею по наущению Милославского.

— Трудно будет взять Хованского добром из Москвы; стрельцы отчаянно будут стоять за него. Вымани его, царевна, из Москвы и прикажи боярину князю Лыкову схватить его на дороге. Лыков на него злобствует и спуску не даст, — говорил Милославский царевне, и по его совету была послана в Москву Хованскому зазывная грамота, и в то же время был отправлен навстречу ему князь Лыков.

Лыков опасался напасть открытою силою на Хованского, предвидя со стороны бывших с ним стрельцов упорную защиту их любимого начальника. Поэтому он посылал вперед по московской дороге разведочные отряды, которые следили тайком за Хованским и дали знать, когда представилась возможность напасть на Хованского врасплох.

— А где князь Андрей Иванович? — спросил Лыков, забирая Хованского, у его прислуги.

— Его милость недалече отселе, в своей вотчине на Клязьме, — ответили Лыкову, который немедленно отправился туда, чтобы захватить и молодого князя.

Князь Андрей мог также дать сильный отпор Лыкову, так как у него в вотчине находились и стрельцы, и множество вооруженного народа из его дворовых холопов, но, узнав, что

отец его уже захвачен, он сдался без малейшего сопротивления. Его также связали и вместе с отцом повезли в Воздвиженское.

Обрадовался Милославский, увидев, что Хованского так легко поймали в расставленную западню. Желая поскорее избавиться от своего лиходея и опасаясь, что при розыске Хованский может оговорить и его, Милославский повел дело так, что еще до привоза Хованских в Воздвиженское участь их была решена окончательно и боярами, и правительницею.

Едва лишь привезли Хованских в Воздвиженское, как их без всяких расспросов прямо повели за село для объявления смертного приговора. Казнь над ними должна была, по настоянию Милославского, совершиться немедленно, хотя-было 17 сентября — день именин царевны Софьи.

— Господа бояре! — говорил испуганный и смущенный старик Хованский своим товарищам по царской думе, собравшимся теперь присутствовать при его казни. — Выслушайте от меня о главных заводчиках с самого начала стрелецкого мятежа, от кого он был вымышлен и учинен, и их царским величествам милостиво донесите, чтобы дали нам с теми заводчиками очные ставки. Если же то все, как говорят мои враги, наделал мой сын, то я предаю его проклятию.

— Поздно теперь толковать об этом! — крикнул Милославский, — Великие государи порешили казнить тебя за твои злодеяния смертью. Выслушай-ка лучше свой приговор.

Измученными глазами смотрели Иван Хованский и его сын на Милославского и других бояр, в то время когда с них снимали кафтаны, отрывали ворота их рубашек и связывали им назад руки, а заменявший палача стремянной стрелец пробовал пальцем только что отточенное лезвие простого деревенского топора.

Окончились все приготовления к казни, и выступил в середину составившегося около Хованского круга дьяк Федор Шакловитый и начал читать громким голосом написанный им заранее приговор о винах Хованских.

В приговоре этом старик Хованский обвинялся в том, что он «всякия дела делал по своим прихотям, не докладывая государям», «что он государеву казну истощил и выграбил,

всему же государству тем учинил великое разорение и людям тягость», «что он учинил великим государям бесчестие», «держал мучительно за решетками и за приставы многих людей мучительно», «чинил жестокие правежи», «многих людей обесчестил, изувечил и разорил», «царское величество преслушался». Затем в приговоре, читанном Хованскому, объявлялось, что он говорил при государях и боярах, «будто все государство стоит по его кончину, и когда его не будет, то не спасется никакая плоть», что он, «совокупи проклятых раскольников, Никиту Пустосвята с товарищами, ратовал на святую Церковь» и «оберегал их от казни». Винили его и в том, что он не отпускал стрельцов против башкир и калмыков, а также и в Коломенское, что он не был «у действия нового лета и тем своим непослушанием то действие опорочил, святейшему патриарху досаду учинил и от всех пародов в зазор привел». Обвиняли старика Хованского и в том, что он делал изветы на дворян новгородских, «облыгал надворную пехоту», а сам говаривал ей смутные речи. В заключение упоминалось о подметном письме, с которым «сходны были воровские дела и измена Хованского».

Кроме того, старик Хованский и его сын обвинялись еще и в том, что они при великих государях и при всех боярах «вычитывали свои службы с великою гордостью, будто никто так не служивал, как они», тогда как, — говорилось в приговоре, — всюду, где ни бывали Хованские, «государских людей своевольством своим и ослушанием их государских указов и безумною своею дерзостью они напрасно теряли и отдавали неприятелям». Обвинялись оба Хованские и в том еще, что «в палате дела всякие отговаривали против их государскому указу и Соборному уложению с великим шумом, невежеством и возношением, и многих господ своих и всю братию бояр бесчестили и нагло поносили и никого в свою пору не ставили, и того ради многим граживали смертью и копиями».

Слушая этот длинный и разнообразный приговор, старик Хованский только отрицательно покачивал своею седою головою, а сын его пожимал по временам плечами и вопросительно взглядывал на отца.

— И великие государи, — возгласил Шакловитый, окончив чтение обвинительных статей, — указали вас, князь Иван и князь Андрей Хованских, за такие ваши великие вины, и за многие воровства, и за измену. — казнить смертью.

Старик Хованский понял, что всякие оправдания будут теперь напрасны. Молча, со злобным укором оглянул он бояр, исполнителей казни, подошел к заранее приготовленной плахе и положил на нее свою голову. Один стрелец схватил его за волосы, другой махнул топором, и отсеченная голова упала на землю, а подле нее рухнулось туловище.

С воплем кинулся молодой Хованский к плахе, с трудом нагнулся он со связанными назад руками, поцеловал сперва бледную голову отца, а потом его грудь, выпрямился горделиво во весь рост и, так же молча, как его отец, положил свою голову на плаху, уже залитую родною кровью. Стрелец махнул топором в другой раз, и голова князя Андрея отделилась от тела.

Третьим взмахом топора была отсечена на той же плахе голова Бориса Одинцова, одного из самых преданнейших людей Хованского.

Обезглавленные трупы обоих князей были положены в один гроб и ночью отвезены в село Городец, находящееся в недалеком расстоянии от Воздвиженского.

Вздрыгнула и побледнела царевна, узнав о казни Хованских. К устрашавшему ее призраку красавца-юноши Нарышкина прибавились еще три новые тени. Не слишком, однако, поддавалась она страху, оправдывая себя в совершенных казнях необходимостью спасти Церковь и государство и успокаивая себя тем, что приговоры об этих казнях были поставлены не ею, а боярами Двадцатичетырехлетнюю девушку-правительницу, решительную и властолюбивую, гораздо более смущали не призраки мертвецов, а живые люди.

В числе стольников царя Петра Алексеевича был младший сын Ивана Хованского, князь Иван. Узнав о казни отца и брата, он тотчас вскочил на коня и без оглядки помчался в Москву из Троицкой лавры. К ночи он был уже там. Прискакав в стрелецкую слободу, он приказал ударить набат и сбор.

Проворно на этот тревожный призыв сбежались стрельцы к съезжим избам.

— Отца и брата моего, князя Андрея, убили бояре, без розыска, без суда и ведома царского! Переведут они и вас, — кричал Хованский собиравшимся около него стрельцам.

Начавшийся в стрелецкой слободе набат все далее и далее расходился над Москвою, и снова грозно загремели в ней стрелецкие барабаны. Стрельцы кинулись в Кремль и обставили его кругом орудиями, взятыми с пушечного двора.

— Хотят нас вырезать бояре всех до последнего младенца, а дома наши сжечь, — кричали озлобленные стрельцы, толпясь перед патриаршими палатами.

— Пойдемте, братцы, сами против бояр! Чего нам ждать, когда они нападут на нас! — говорили смелейшие, подбивая своих товарищей к походу в Троицкую лавру.

— Надо прежде поговорить с патриархом, он без царя начальный человек в Москве. Потребуем от него, чтобы он разослал в украинные города грамоты с приказанием тамошним служилым людям идти к Москве на нашу защиту, — советовали некоторые из стрельцов своим слишком горячившимся товарищам.

На этом совете остановились, и выборные отправились к патриарху, который вышел к ним в Крестовую палату.

— Не смущайтесь, чада мои, прелестными словами, ждите царского указа и самовольно к царям в поход не ходите! — начал увещевать святейший Иоаким.

— Ведай, старче, — закричал ему один из выборных, — что если ты с боярами заодно мыслишь, то мы убьем и тебя, никому пощады не дадим!

Патриарх увидел бесполезность дальнейших увещаний. Со страхом удалился он в свои хоромы, а стрельцы между тем безвыходно толпились в Крестовой палате, все сильнее и сильнее негодуя на патриаршую «дурость».

— Пойдем на бояр! — вопили они в палате.

— Успеем еще, подождем царского указа! — унимали другие.

Наступила ночь. Набат продолжал гудеть. Стрельцы вооружались и укрепляли Кремль. Переводили туда свои семьи, перекапывали улицы, строили надолбы и ожидали нападения служилых людей, бывших при царях в Троицкой лавре. В то же время и там укреплялись против ожидаемого нападения стрельцов: втаскивали на раскаты пушки, расставляли стражу по зубчатым стенам монастыря. Высылали на дорогу разведочные отряды и устраивали в оврагах и лесистых местах засады для наблюдения за движением стрельцов в случае их похода из Москвы. Во всех этих распоряжениях Софья принимала деятельное участие, вверив оборону лавры князю Василию Васильевичу Голицыну с званием ближнего воеводы.

Напрасны, однако, были все эти приготовления. Стрельцы пока не двигались на лавру.

Софья между тем принимала все меры для утишения стрельцов. Она послала в Москву указ о казни Хованских и думного дворянина Голосова для объяснения со стрельцами.

— Скажи им, — говорила царевна, отпуская в Москву Голосова, — чтобы за Хованских не заступались. Скажи им также, что суд о милости и казни поручен от Бога царям-государям, а им, стрельцам, не только говорить, но и мыслить о том не приходится. Объяви также стрельцам через патриарха, что им опалы не будет, если принесут повинную и пришлют в лавру по двадцати человек лучшей своей братьи от каждого полка.

— Зачем нам идти в поход к государям? — заговорили стрельцы после того, как им был прочитан указ о казни Хованских. — Сами государи наших лиходеев изводят. Вот ведь и князю Ивану Андреевичу отрубили голову за то, что он «облыгал» нас, надворную пехоту, перед государями, а сам мучил нас своими речами. Казнь его праведна.

Быстро переменилось мнение стрельцов об их погибшем, прежде столь любимом начальнике. Принялись теперь стрельцы порицать Хованского и за то, и за другое и, наконец, порешили, что мстить за него боярам не приходится. Стали они также убеждаться и в том, что на них из лавры нападать не желают. Преданные царевне люди внушали стрельцам, чтобы они

вполне успокоились. Стрельцы присмирели и стали просить патриарха, чтобы он уговорил государей возвратиться в Москву.

27 сентября выборные отправились в лавру и на пути встречали сильные отряды дворян и служилых людей. Окруженная в укрепленном монастыре и теми и другими, смело и грозно заговорила правительница с прибывшими к ней стрельцами. Теперь она вышла к ним одна, без царевен, лишь с немногими боярами, не возбуждавшими к себе в стрельцах особой ненависти.

— Люди Божии, как вы не побоялись поднять руки на благочестивых царей? Разве забыли вы крестное целование? Посмотрите, до чего довело ваше злодейство: со всех сторон ратные люди ополчились на вас. Вы именуетесь нашими слугами, а где ваша служба, где ваша покорность? Раскайтесь в ваших винах, и милосердные цари помилуют вас; если же не раскаетесь, то все пойдут на вас.

Выборные повалились царевне в ноги, заявляя, что у стрельцов нет злого умысла ни против царей, ни против бояр. Правительница отпустила их всех из лавры, а в Покров привезена была туда челобитная, в которой стрельцы клялись служить верно государям, без измены и шаткости, прежних дел не хвалить и новой смуты не заводить. 5 октября стрельцам, созванным в Успенский собор, было объявлено царское прощение, но правительница ожидала, пока они совсем успокоятся, и только 6 ноября она и все царское семейство вернулись в Москву, а 6 декабря думный дворянин Федор Леонтьевич Шакловитый был назначен начальником Стрелецкого приказа, со званием окольничего. Возвышение его было и неожиданно и чрезвычайно быстро.

Стрелецкие и раскольничьи смуты, подавленные царевною, придавали молодой девушке все более и более самоуверенности и твердости. Все сильнее и сильнее чувствовала она власть, бывшую теперь в ее руках, и по выражению одного современника, правила государством «творяще, яже хотяй».

По возвращении в Москву из лавры она начала деятельно заниматься государственными делами. При этом главным

пособником и постоянным ее руководителем стал князь Василий Васильевич Голицын. В то же время царевне пришел на память разговор с Милославским о том, что ей для государственных дел нужен «оберегатель», и она повелела Голицыну именоваться и писаться «новгородским наместником, царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателем и ближним боярином».

— Ты, Митька, сбегал бы на Ивановскую колокольню посмотреть на солнце; кажись, сегодня оно ясно взойдет! — говорил строитель Спасского монастыря, что за Иконным рядом, Сильвестр, в мире Семен Медведев, вставши на рассвете и выглянув в окно своей кельи.

— Отчего же не посмотреть? Давно я этого не делал, может быть, что-нибудь и новое увижу, — отвечал на это приказание нечистым русским говором живший при келье строителя, мирянин Дмитрий Силин и, схватив проворно картуз, побежал смотреть на солнце.

Вскоре после него вышел из кельи и отец строитель. Осмотрев, все ли в порядке в его богохранимой обители, он вернулся в келью и начал там рыться в бумагах и книгах, а спустя некоторое время вернулся в его келью побывавший на Ивановской колокольне Силин. Он шел по монастырскому дворцу приунылый, понурился голову.

— Ну, что же ты видел? — спросил его торопливо Сильвестр.

Митька молчал.

— Верно, что-нибудь нехорошее, — добавил строитель.

— Так и есть, да только не пугайся, превелебный отец, это, должно быть, только временно, потом будет лучше, — успокаивал Силин.

— Да кто тебе сказал, что я боюсь? Рассказывай, что такое! — и Сильвестр опустил в кресла, готовясь выслушать сообщение Митьки.

— Видел я, — заговорил смело Силин, — что у государей царские венцы на головах, у князя Голицына было два венца, один царский — тот мотался на спине; а другой брачный — тоже мотался, да только на груди, а сам боярин стоял темен и ходил колесом; ты, отец, тоже был темен, как и он, царевна печальна и смутна, а Федор Леонтьевич стоял, повесив голову...^[40]

— Что ты за вздор несешь? Да как же боярин будет вертеться колесом? — перебил насмешливо отец строитель.

— Да вот поди же, вертелся, а как, я показать тебе этого не смогу. Да и мало чего не может быть на земле, а бывает в солнце; ведь у князя не мотается же два венца, а в солнце я их видел, — с уверенностью возразил Силин.

— Верно, ты так же умеешь хорошо смотреть в солнце, как умеешь лечить. Покойный отец Симеон вызвал тебя из Польши, чтобы ты вылечил глаз царевичу Ивану Алексеевичу; ты взялся за это, а что сделал? — с пренебрежением сказал Сильвестр.

— Да кто его вылечит? Разве знал я, живучи в Польше, что он почти слепой, да и лечить-то его не потреба, скоро он умрет, — возразил Митька.

— Болтай-ка побольше, так тебя отлично проучат в приказе Тайных дел. Хвастунишка ты и враль! Ступай я позову тебя, когда будет нужно.

Митька вышел. Хотя же Сильвестр и говорил с ним не только равнодушно, но и насмешливо, но по уходу его крепко призадумался.

«А ведь, пожалуй, — размышлял он, — Митька и правду сказал. У князя Василия могут быть два венца: царский за спиною, который достать трудно, и брачный на груди, который достать ему легче. Да и колесом в иносказательном смысле он вертеться может, то есть может действовать как колесо в огромной государственной машине... Эх, эх! Что-то будет? Не сочинить же так ловко самому Митьке, глуп он!»

Он стал перечитывать и поправлять с особенною тщательностью те места своих записок в которых говорилось о царевне Софье.

— «Премудрый Бог, — читал вполголоса Сильвестр, — яко Сый, все в себе объем, и в длани своей концы земные держай, благоволил в промысле своем удивляти людей, да и ненадеющиеся, надежду имевши, возглаголют: яко есть Бог, сотворивший вся и оною твариюю промышляяй и яко и древние роды чудодействуя жены мудрыя. К пособию правлению царства благочестивейшего царя и великого князя Петра Алексеевича, в юных его летех воздвиже сестру его, благородную царевну и

великую княжну Софью Алексеевну, ей же даде чудный смысл и суждение неусыпным сердца своего оком непрестанно творяще к российскому народу великий труд».

Сильвестр продолжал прочитывать и поправлять свои сказания, когда к нему в келью вошел высокий и статный мужчина, лет около тридцати пяти, щегольски разодетый. Пышный наряд вошедшего мужчины как нельзя более соответствовал его представительной наружности.

— Спасибо тебе, земляк; что не зазнаешься и не забываешь меня, — приветливо сказал монах вошедшему к нему Шакловитому.

— С чего же мне перед тобою, отец Сильвестр, зазнаваться? Перед другими, пожалуй, что и зазнаюсь вскорости, а тебе я слишком много обязан! Пошли мне твои советы на пользу, да и теперь я пришел к тебе посоветоваться! — сказал гость, дружески поцеловавшись с хозяином.

— А что, Федор, думал ли ты, живя со мною в Новоселках, что дойдешь когда-нибудь до такой великой чести в царствующем граде Российского государства? Помнишь, как мы, бывало, с тобою иной раз в пустынный Курск завернемся, так и там никто на нас смотреть не хотел. Впрочем, я-то и теперь только смиренный иеромонах, а ты уже стоишь на чреде боярской...

— Погоди, Сильвестр, — сказал одобрительно Шакловитый, — станешь и ты скоро на такую высоту, о какой тебе и не думалось.

— Нешто и я доберусь до пестрой патриаршей ризы? — полушутя и полууверенно спросил монах.

— Отчего ж не добратся, если только удастся то, что задумал я и о чем пришел потолковать с тобою? — проговорил твердо окольник.

— А что же такое ты задумал?

— Задумал я женить князя Василья Васильевича на царевне Софье Алексеевне, объявить его царем, самому стать при нем первым лицом, а тебя, земляка, поставить патриархом московским и всея Великия, Малыя и Белыя России.

Сильвестр добродушно засмеялся.

— Смел ты больно!.. Хватит ли у тебя на то сил? — спросил он с выражением сомнения.

— Сил-то как не хватит, когда стрельцы у меня под рукою! А хватит ли у меня уменья без твоих разумных советов?

— Ведь вот какие диковинные затеи у тебя в голове. Об них небось мы не только не смели сами помыслить, когда служили вместе в приказе Тайных дел подьячими, да еще ловили и пытали таких затейщиков! — смеясь, проговорил Сильвестр.

— Прежняя служба пошла мне впрок, на ней ко многому я присмотрелся и многому научился; да времена-то теперь не те: из простого приказного попал я в окольников, из бедного стал богатым; царевна пожаловала мне много вотчин и отписной двор в Белом городе на Знаменке. Неужели же остановиться на этом и не попытаться идти далее? — говорил Шакловитый.

— Ну, так если уже ты пришел ко мне, Федор Леонтьевич, за советом, скажу тебе вот что: нужно, чтобы царевна венчалась на царство и объявила себя самодержицею, тогда власть ее не только будет равно власти ее братьев, но, как старшая между ними, она будет первою царствующею особою. А о браке князя Василия с правительницею пока не думай. Еще Бог знает кто может быть ее суженым! — сказал загадочно Сильвестр.

Шакловитый вопросительно взглянул на негр и призадумался, а монах замолчал.

— Да кто же, кроме князя Василья, может быть достоин ее руки? — заговорил Шакловитый.

— Ну, Федор Леонтьевич, в истории разные случаи бывали. Да и что тебе за нужда идти в сваты? Выбрать мужа будет делом самой царевны, а ты только устрой при помощи стрельцов так, чтобы она венчалась на царство, а без этого ничего не выйдет. Подрастет царь Петр и отнимет у нее правление. Смотри, каким орлом этот малолеток и теперь уже выглядывает! Не даст он царевне долго оставаться с ним в одном гнезде, выживет ее оттуда.

Черные глаза Шакловитого злобно сверкнули, и судорожная дрожь подернула его губы.

— Ну, это еще посмотрим! — насупясь, промолвил, он. — Хотя орел и знатная птица, да ведь и ее общипать можно!.. А что, отец Сильвестр, погадал ты мне на звездах?

Сильвестр вздрогнул, медленно приподнимаясь с кресел. «Ох, ох! Плохо тебе будет!» — подумал он и, подойдя к полке, приделанной вдоль стены, достал о нее ворох бумаг и выбрал оттуда один листок.

— Вот твой жребий, — сказал он, показывая Шакловитому кусок бумаги, исчерченный кругами и линиями, исписанный цифрами со множеством вычислений и помарок и искрещенный разными непонятными фигурами.

— Ничего я тут, отец Сильвестр, в толк взять не могу! — сказал он.

— Еще бы захотел понять что-нибудь! Всему, брат, нужна наука. Разъяснить эти чертежи, фигуры и цифры может только такой звездочет или астролог, как я, — не без самоуверенной гордости заметил монах. — Смотри, — начал он, положив на стол бумагу и указывая на ней циркулем, — вот здесь будут знаки Зодиака, а здесь идут планеты, а тут звезды...

Шакловитый приготовился слушать внимательно объяснения Сильвестра, как вдруг вбежал в комнату молодой келейник.

— Боярин князь Василий Васильевич пожаловал к тебе, отец строитель! — торопливо крикнул келейник.

Сильвестр и Шакловитый взглянули в окно.

По дорожке, обсаженной по сторонам молодыми березами и ведшей к хоромам строителя, важно и медленно шел сановитый Голицын. Монах и окольников поторопились выйти к нему навстречу, но, прежде чем успели подойти к боярину, к нему уже подбежал завидевший его Силин. Митька упал на колени перед князем и раболепно поцеловал полу его ферязи, а боярин снисходительно протянул ему свою руку, которую он тоже поцеловал.

— Поди-ко сюда, — подмигнул ему Голицын, вызывая его с дорожки на лужайку.

Заметив, что боярин хочет говорить с Митькою наедине, Сильвестр и Шакловитый приостановились.

— Ну что же, Митька, гадал ты мне в Солнце? — полушепотом спросил Голицын. — Что же ты узнал?

— Ты любишь чужбину, и она тебя любит, а свою жену ты забыл, — шепнул ему на ухо Митька, тотчас же отскочив от боярина, встал почтительно за его спиной.

Голицын как будто пошатнулся при этих словах Митьки и нахмурил брови.

— Глупости ты городишь! — сказал он ему через плечо, полуоборотя к нему свое лицо.

— Ни, не глупства, наияснейший князь, не глупства я молвлю, а правду, — смело возразил поляк.

Голицын сделал вид, что не слышит этого возражения, и пошел далее. Сильвестр и Шакловитый поспешили к нему. Боярин, сняв шапку, подошел под благословение отца строителя и приветливо кивнул головою окольному, как близкому человеку.

Вошедшего в келью Голицына Сильвестр усадил в кресло около стола.

— А ты, отец Сильвестр, по-прежнему занимаешься отреченною наукою? — начал князь, увидев попавшийся ему на глаза гороскоп Шакловитого. — Смотри, сожжем мы тебя где-нибудь на Болоте в срубе за колдовство!

— Это, боярин, не колдовство, а наука, — заметил Сильвестр.

— У нас, на Москве, наука и колдовство почитаются за одно и то же. — возразил Голицын.

— Правда твоя, боярин, не только черный народ, но и служилые люди и даже боярство куда еще не просвещены у нас. Для них разгадка тайностей природы кажется чародейством, тогда как познание таковых тайностей ведет к познанию величия Божьего! — говорил монах.

— Ну, знаешь, отец Сильвестр, по-моему хотя в природе и есть божественные тайности, однако же бывает и колдовство, — начал поучительно Голицын, отличавшийся при всем своем уме большим запасом суеверия.

Шакловитый с напряженным вниманием, как бы переходившим в благоговение, стал прислушиваться к

завязывавшейся беседе между Сильвестром и Голицыным, считавшимися в ту пору самыми умными и просвещенными людьми не только в Москве, но и во всем Московском государстве.

— Как, например, постичь то, что я однажды, в тысяча шестьсот семьдесят пятом году, сам видел в царском дворце и о чем покойный царь Алексей Михайлович указал, на память будущим векам, записать в дворцовых книгах? А видел я вот что: какой-то простой заезжий в Москву человек положит на стол ножи, а потом они вдруг на пол-аршина, а почитай, что и более, поднимутся над столом невидимою силою, да мало того, что поднимались сами, а поднимали за собою без всякой привязи и деньги, и венки из цветов. Думали все, что тут дьявольское наваждение, ан нет, совсем не то. Позволял он всем крестить ножи, читать над ними: «Да воскреснет Бог» — и кропить их святою водою, а они и после того поднимались со стола по-прежнему. Доказательно стало тогда всем, что нечистой силы тут нет, хотя, как известно, она при оплошке человека горазда действовать разными обмороченьями.

— Да при крестном знаменье, молитве и при святой воде нечистой силе ходу не бывает, — глубокомысленно заметил Сильвестр, — тут должна быть наука.

— Вот о расширении-то ее в российских пределах и нужно нам усердствовать. К слову: когда же ты, отец Сильвестр, приготовишь привилегию на академию для поднесения ее правительнице-царевне? Ведь она ждет ее с нетерпеливостью. Ты хорошо знаешь ее ревность к наукам?

— Как не знать! Сперва от покойного Симеона слышал, а потом и сам в том убедился. Дивлюсь ей, дивлюсь и дивиться не перестану! — с восхищением говорил Сильвестр.

— Совсем на иную стать она теремную жизнь повела, и сдается мне, что скоро придет пора, когда царством Московским будут править женщины да книжные люди, — с уверенностью сказал Голицын.

— Если Господь Бог потерпит грехи наши и продлит благословенное правление царевны, — озабоченно промолвил Сильвестр, — царь Петр подрастет...

— И изведет он нас всех! — вдруг с озлоблением крикнул не выдержавший Шакловитый.

Голицын исподлобья взглянул на него.

— Не изводить же его нам, — сказал сурово, боярин.

— К чему посягать на царское величество! — перебил Сильвестр. — И без такого страшного злодейства обойтись можно. От чего бы, например, правительнице не венчаться на царство и не объявить себя самодержавною? Тогда бы она стала вровень с братьями-царями и власть ее была бы без нынешней шаткости, — сказал Сильвестр.

Шакловитый одобрительно кивал головою в то время, когда говорил монах.

— Мы здесь люди близкие между собою, — начал Голицын, — и скажу я тебе, отец Сильвестр, что мне часто приходит на мысль то, о чем ты теперь говоришь. Да подождать надо. Вот как покончим мы переговоры со шведскими послами, заключим мир с Польшею да сходим в Крым войною на басурманов, тогда прославится во всей вселенной правление премудрой царевны Софьи Алексеевны, и можно будет подумать об ее венчании на царство. А до той поры нужно только готовить к этому наш народ, потому что женское правление для него не за обычай.

Сильвестр и Шакловитый проводили Голицына за монастырские ворота. Против тогдашнего обыкновения бояр Голицын ездил в колымаге без многочисленной прислуги. С ним были только два вершника, которых он, разъезжая по Москве, посылал иной раз с дороги за приказаниями к разным должностным лицам. Из Заиконоспасского монастыря Голицын поехал осматривать строившуюся тогда по его распоряжению на главных улицах Москвы бревенчатую и дощатую мостовую для уничтожения в городе той грязи, которая в осеннюю и в весеннюю пору не позволяла иногда ни проехать ни пройти, под главным надзором Голицына работа шла чрезвычайно деятельно. Заехал также Голицын и к нынешнему Каменному мосту на Москве-реке. На берегу ее, в этом месте, работа кипела еще деятельнее; тут занято было множество народу:

одни свозили камень, другие тесали его, третьи устраивали на реке плотину.

— Бог на помочь! — весело смотря на кишевшую толпу рабочих, крикнул Голицын, завидев идущего к нему монаха с чертежом в руке, в сопровождении нескольких рабочих, которые шли за ним с мерными саженьями, аршинами, лопатами и бечевками.

Голицын вышел из колымаги и подошел к берегу реки, приняв благословение от монаха.

— Живо, честный отец, идет у тебя работа! — сказал Голицын.

— Благодарение Господу! Задержки и препятствий пока никаких нет, кладу теперь первый устой, и, кажись, будет прочно.

— Оканчивай, оканчивай поскорее, — одобрял Голицын, — соорудишь ты мост, соорудишь себе и славу, и имя твое памятно будет в Москве вовеки, — предсказывал боярин строителю Москворецкого моста, впрочем, ошибочно, так как имя его не сохранилось в потомстве. — Говорят, — продолжал Голицын, — что я люблю иноземцев. Правда, я люблю их за познания, но если я найду знания у православного русского, человека, то всегда предпочту его каждому иноземцу. Ведь вот сколько иностранных архитекторов и художников вызывались построить мост, а я все-таки доверил тебе это дело, преподобный отец, зная, что ты своими знаниями и сметливостью по строительной части не уступишь никому из иноземцев.

Голицын хвалил и ободрял монаха-техника и возвратился домой чрезвычайно довольный тем, что предпринятые им постройки идут так успешно.

Царевна Софья Алексеевна вошла в довольно просторную комнату, в которой стены и потолок были обиты гладко выстроганными липовыми досками, а в углу была каменка — невысокая, с большими створчатыми дверцами печь из зеленых изразцов. Около одной стены этой комнаты стояла широкая с деревянным изголовьем лавка, с набросанными на нее свежими душистыми травами и цветами, покрытыми белой как снег простынею, а подле лавки были две большие лохани и шайка из липового дерева, у другой стены была поставлена постель, прикрытая шелковым легким покрывалом, с периною и подушками, набитыми лебяжьим пухом. Пол этой комнаты был устлан сеном и можжевельными ветвями, с разбросанными по ним березовыми вениками, которые в огромном количестве доставлялись в Кремлевский дворец в виде оброка из царских вотчин. Комната, в которую вошла Софья, не имела окон, а освещалась несколькими привешенными к потолку слюдяными фонарями. В ней была баня, или так называемая «мыленка». Вода сюда поднималась из Москвы-реки посредством машины, устроенной для Кремлевского дворца каким-то хитрым немцем, которому царь Алексей Михайлович, как говорили, заплатил за эту не виданную еще в Москве выдумку несколько бочонков золота, а ненужная вода стекала с полу «мыленки» в реку через свинцовые трубы.

Сопровождавшие царевну постельницы сняли с нее обычную одежду и принялись мыть ее и парить, а потом она понежилась с часик на Лебяжьем пуху в душисто-бальзамическом воздухе роскошной «мыленки».

По выходе из «мыленки», царевна пошла в мастерскую палату, или «светлицу», просторную комнату со многими большими окнами. Здесь до пятидесяти женщин и девушек шили постоянно наряды для цариц и царевен. В мастерской можно было насмотреться на все ткани, составлявшие тогда предмет роскоши. Там были: аксамит, или парча, с шелковыми

разводами или узорами, венецианский бархат, объяр — тяжелая шелковая материя, атлас, «зуфь» — нечто вроде камлота, тонкие арабские миткали и кисея, привозимая из Крыма. Царевна захотела посмотреть, как идет работа по заготовке пышного царственного облачения, в котором она через несколько дней должна была принять приехавших в Москву шведских послов. В обыкновенную пору мастерицы заняты были не одним только шитьем одежды, но и заготовлением белья, а также шитьем облачения, вышивкою золотом и шелками пелен, воздушов, плащаниц и икон с мозаичных рисунков, и всеми этими предметами делались от царской семьи приношения в церкви и во святые обители. Заготавливались также в мастерской палате разные подарки для европейских государей, турецкого султана и крымского хана. Вообще, там всегда шла самая деятельная работа под надзором ближних боярынь, царевен и самих цариц. Теперь все эти работы, для которых так называвшиеся «знаменщики» рисовали узоры, были приостановлены на время, так как вся мастерская палата спешила окончить для царевны ее великолепный наряд.

Заглянула, кстати, царевна и в кладовую, или, понынешнему, в гардеробную, где хранились разные принадлежности ее туалета. Там на «столбунцах», или болванах, были надеты зимние и летние шляпы царевны. Летние ее шляпы были белые поярковы с высокою тульею; поля этих шляп, подбитые атласом и отороченные каемкою из атласа, были гляцевитые, так как они окрашивались белилами, приготовленными с рыбьим клеем. Шляпы по тулье были обвиты атласными или тафтяными лентами, расшитыми золотом и унизанными жемчугом и драгоценными камнями. Ленты эти шли к задку шляпы и там распускались книзу двумя длинными концами, к которым были пришиты большие золотые кисти. Летние шляпы составляли важную статью в наряде тогдашних московских щеголих, и у царевны Софьи было в кладовой до шести таких шляп. Здесь же хранились и зимние ее шапки с бобровыми и собольими околышами и с небольшим мыском спереди, а бархатные их тульи были сделаны «столбунцом», или, говоря иначе, имели цилиндрическую

форму, и были вышиты разными узорами, изображавшими пав, единорогов и орлов не только двуглавых, но даже и осьмиглавых. Хранились также в кладовой и другие головные уборы: меховые каптуры и треухи. Каптуры — убор вроде капора с тремя широкими лопастями мехом вверх, прикрывавшими затылок и часть лица с обеих сторон, а треухи — название слишком неблагозвучное для нынешних дамских мод — были такого же покроя, как и каптуры, с тою разницею, что у них соболий или бобровый мех был подкладкою, а покрышкою служил атлас, унизанный яхонтами и алмазами.

Кладовая была наполнена крашеными сундуками, обитыми белым железом, и коробами, в которых, при несуществовании еще в ту пору в Москве шкафов, были сложены парчовые и бархатные наряды царевны, а также и «белая ее казна», то есть носильное и спальное белье. Спрятаны были также в сундуках и коробах и другие принадлежности одежды царевны. Там были телогреи, распашное платье, которое спереди застегивалось пуговками или завязывалось лентами, рукава же телогреи не надевались на руки, но откидывались назад на спину. Шились они из тяжелой шелковой ткани и окаймлялись золотым кружевом. Хранились там и летники, и опаненицы, и охабни, теплые на меху чулки, и «четыги» и «чедоги» — сафьянные чулки без подошв, которые царевна, как и другие богатые женщины, носила в комнатах.

Заготавливаемый для царевны в мастерской палате наряд поспел к назначенному сроку, и в день приема шведских послов спальни и сенные девушки спозаранку ожидали царевну в ее уборной. Уборная Софьи Алексеевны во многом отличалась от того, чем была бы она, если бы царевна жила в наше время, но, несмотря на то, что почти два века отделяют нас от той поры, к которой относится наш рассказ, уборная московской царевны сходилась в главных чертах с уборною современной дамы, так как и там можно было найти все, что, по тогдашним понятиям, должно было придавать особую привлекательность женской наружности.

На одном из столов, бывших в уборной, лежала поднесенная царевне ее наставником, Симеоном Полоцким,

рукопись под заглавием: «Прохладные, или избранные, вертограды от многих мудрецов о различных врачевских веществах». В этом сочинении смиренный инок поучал свою молоденькую питомицу, «как наводит светлость лицу, глазам, волосам и всему телу». Надобно полагать, что автор помянутой рукописи, хотя и человек «ангельского чина», был в свое время знатоком по части косметики. Он поучал, что овсяная мука, смешанная с белилами и варившаяся в воде, была лучшим умыванием «для белизны и светлости лица».

В уборной царевна разделась до белой полотняной сорочки с короткими рукавами и с воротом, стянутым шнурком, и тогда начался ее туалет. Прислужницы не надели на нее ни корсета, ни юбки и никакого турнюра. Хотя все эти принадлежности туалета были уже давно в употреблении у западноевропейских дам, но их не носили и даже не ведали еще о них московские боярыни и боярышни, телеса которых привыкли к полному, ничем не стесняемому простору.

Готовясь к торжественному приему иноземных послов, царевна, не любившая прежде пышных нарядов, одевалась теперь со всевозможным великолепием. Вместо кроеных и сшитых в светлице атласных или тафтяных чулок она надела шелковые пестрые чулки, привезенные из Германии, и чеботы-полусапожки из бархата, строченные шелком, отделанные жемчугом и золотым кружевом и на таких высоких каблуках, что носки едва касались земли. Затем подали царевне вторую сорочку из белого атласа, шире и длиннее первой и с рукавами, длиною аршин в шесть, но собранными во множество таких мелких складок, что они как раз приходились по длине рук. Рукава этой сорочки были шиты золотом и украшены драгоценными камнями. Поверх этой сорочки надели на царевну через голову царское одеяние — шубку, длинное до пят, без разреза на полы платье, с широкими рукавами, из аксамита, то есть плотной парчи, на которой вытканы были шелком двуглавые орлы. На плечи царевны накинули «ожерель» — пелерину из гладкого золотого глазета, отделанную узорами или кружевом из жемчуга, и рубинов, и лал, со стоячим на картонной бумаге воротником, низанным жемчугом и застегнутым спереди

алмазными пуговицами. Богатый и блестящий наряд царевны дополняли: алмазные серьги, длиною в два вершка, и «мониста» — тяжелая золотая цепь с крестом, осыпанным рубинами и яхонтами. Головным убором царевны был золотой о двенадцати зубцах венец, украшенный драгоценными камнями.

Нынешних раздушенных перчаток московские дамы тогда не носили, и царевна могла явиться куда бы то ни было с голыми ручками. Имелись, впрочем, у нее про запас и перчатки, но назывались попросту «рукавицами» и надевались только в холодное время. Самыми щегольскими рукавицами считались перчатки «немецкого дела», вязанные из шелка брусничного цвета с золотою бахромою, были также «иршайные», или лайковые, шитые золотом рукавички и бархатные, низанные жемчугом. Носили в ту пору перчатки очень бережно, и как бы удивились современные нам дамы, если бы узнали, что, например, царица Евдокия Лукьяновна носила одну пару перчаток в продолжение тринадцати лет.

По окончании туалета следовало царевне, по тогдашнему московскому обычаю, закрыть лицо фатою, большим прозрачным покрывалом огненного цвета, завязанным у подбородка, но ненавистна была Софье фата как знак женской неволи. В первое время своей свободы она уже смело откидывала ее с лица, а теперь и вовсе не носила ее, возбуждая не только удивление, но и громкое порицание за такое неприличное новшество.

В то время, когда царевна так пышно рядилась, цари, ее братья, принимали шведских послов в Грановитой палате, из которой послы, представившись государям, отправились в Золотую палату, куда пошла также и царевна, оглядев себя перед выходом в большое венецианское зеркало. Осуждали Софью Алексеевну тогдашние богомолки и за зеркала, которые считались предметом соблазна и роскоши. Приличие не допускало держать зеркало постоянно открытым, поэтому его прятали в футляры, обитые бархатом или шелком, а висевшие на стенах зеркала закрывались тафтою. Зеркала были небольшие и вставлялись в рамки из слоновой кости, янтаря и перламутра. Царевна пошла против этого обычая, и комнаты в

новом ее дворце были украшены большими зеркалами, привезенными из-за границы, и оставались незавешенными. Перестала также царица курить в своих покоях ладаном, заменив его розовою водою и ароматными порошками, которые сжигались в серебряных курильницах.

Недаром та палата, в которую пошла царица для приема шведских послов, носила такое громкое название: в ней все стены и потолок были расписаны золотом. Здесь правительница должна была явиться иноземцам во всем блеске своего царственного величия.

Послов повели бывшие при них приставы из Грановитой палаты по длинным переходам и крыльцам Кремлевского дворца усыпанным просеянным желтым, белым и красным песком. По этим переходам и сеням, на пути к царице, были расставлены стрельцы с золочеными пищалями и «терлишники», ее телохранители, одетые в «терлики», или в кафтаны с золотым позументом, с копьями в руках. Посольскую свиту не сразу допустили к правительнице, ее остановили при входе в Золотую палату. Наперед пред светлые очи царицы должны были предстать только послы, но их задержали на короткое время перед Золотою палатою в сенях, где было девять стрелецких полковников, которым царица, по докладе ей о прибытии послов, приказала ввести их в Золотую палату.

Послы увидели правительницу, сидевшую на «государском» месте, в вызолоченных и оправленных драгоценными камнями креслах. В правой руке она держала жезл из черного дерева с серебряною рукояткою. В рукоятку жезла были вставлены часы и зрительная трубка, а украшена она была чеканным изображением льва, который дерется со змеем. В левой руке царица держала ширинку, или носовой платок, главный предмет хвастовства тогдашних московских барынь, так как ширинки вышивались золотом, унизывались бурмицкими зернами и алмазами и украшались по углам золотыми кистями. В ширинке высказывались весь вкус и вся роскошь женского рукоделья.

У ступеней царского места стояли по обеим сторонам кресел царицы две вдовы-боярыни в объяриновых телогрейках

и с убрусами, или кисейными покрывалами, на головах; около каждой из них было по девице-карлице, в парчовых шубах, подбитых соболями, и в повязках, унизанных жемчугом. За креслами царевны, на государском же месте, стояли бояре, князь Василий Васильевич Голицын и Иван Михайлович Милославский, разодетые в великолепные ферязи с высокими бобровыми шапками на головах.

Думный дьяк Украинцев «объявил», или, по-нынешнему, представил, царевне послов, а бывший с ними переводчик заявил царевне, что послы привезли ей поклон от короля и королевы.

— Вельможнейший король, государь Каролус, король свейский, и его королевского величества родительница, государыня Ульриха-Элеонора, по здорову ль? — спросила царевна послов через переводчика, и при этом вопросе она привстала с кресла в знак особого внимания к королю и его матери.

Послы, отчитав теперь весь королевский титул, отвечали на вопрос утвердительно; переводчик передал их ответ царевне, а она поручила послам отвести королю свейскому и его родительнице ее поклон. Послы благодарили правительницу. Выслушав их благодарность, царевна допустила их к ручке и спросила послов об их здоровье. Затем введена была посольская свита и тоже допущена была к ручке.

Не без любопытства рассматривали шведы живопись, которая украшала Золотую палату. На стене, приходившейся за креслами царевны, был нарисован на небе Спас, восседающий на херувимах. На другой стене, по правой стороне, были изображены на аллегорических фигурах: мужество, разум, чистота и правда; а по левой: блуждение, безумие и нечистота, а между этими двумя противоположностями являлся седмиглавый дьявол, над которыми «жизнь» держала в правой руке светильник, а в левой — копьё. Над «жизнью» был изображен ангел — дух страха Божьего. На третьей стене, в виде ангелов, были нарисованы четыре ветра, тут же были представлены: ангел, летящий в пламени, и ангел, стреляющий из лука. На этой же стене были изображены вода, твердь

небесная, солнце, заяц, волк и стрелец, человек, обвитый хоботом слона, и «всякия утвари Божии».

Не успели еще шведы присмотреться ко всем этим загадочным изображениям, смысл которых объяснялся надписями, сделанными золотую вязью, как торжественная аудиенция кончилась.

Прием шведских послов имел чрезвычайное значение, потому что Софья в этом случае явилась перед иностранцами в первый раз как царствующая особа. После этого она еще смелее пошла на высоту, которая так сильно манила ее, и по заключении мира с Польшею приняла титул «самодержицы всея Великия, Малыя и Белыя России».

Изумилась и сильно вознегодовала царица Наталья Кирилловна, узнав о таком громком титуле своей падчерицы.

— С чего вздумала она именоваться самодержицею? С чего стала она писаться сообща с великими государями? — выходя из себя, говорила мачеха-царица. — Ведь и у нас есть люди, которые заступятся за нас и дела этого не покинут! — с угрозой добавляла она.

Постельницы царевны, Нелидова и Синюкова, узнавали, что говорила царица, и передавали царевне, которая делала вид, что не обращает на ропот мачехи никакого внимания, а между тем обдумывала, как бы ей лишить мачеху всякого значения в правительстве. В свою очередь, Шакловитый деятельно принялся подготавливать стрелецкое войско к окончательному возвышению царевны, а Медведев заготовлял сочинение, в котором доказывал необходимость и право царевны торжественно возложить на себя царский венец в Успенском соборе.

— Согласится ли на это патриарх? — в нерешимости спрашивали стрельцы.

— Экая важность — патриарх! — насмешливо отзывался Шакловитый. — Не тот, так другой будет на его месте; и простого старца патриархом сделать сумеем!

— Да захотят ли бояре? — вопросительно добавляли стрельцы.

— Нашли о ком толковать! — с презрением возражал Шакловитый. — И бояре отпадут от правления, как листья с зяблого дерева.

Некоторые, однако, стрельцы наотрез возражали против намерения Шакловитого.

— Статочно ли дело царевне венчаться царским венцом! Только царю достоин такая честь, — говорили они.

Ввиду колебания стрельцов Шакловитый на время приудержался от своего замысла. Между тем сама царевна становилась все притязательнее на присвоение царских почестей и приказала в церквах «выкликать свое имя в одной статье с царскими именами» и сильно разгневалась, когда какой-то протодьякон во время богослужения по забывчивости или по неведению «обошел ее кадиллом», то есть царям покадил особо, а ей этого не сделал.

В Москве с каждым днем все громче и громче стали поговаривать о намерении царевны-правительницы повенчаться на царство, и в ее воображении все яснее представлялись теперь сперва являвшиеся ей только, как в тумане, облики греческой царевны Пульхерии и ее супруга Маркиана. Осторожный Голицын сдерживал, однако, отважные стремления царевны, находя, что он, не одержав еще над внешними врагами государства блестящих побед, не совсем подходит в этом отношении к доблестному полководцу Маркиану и что ему необходимо приобрести воинскую славу, которая осенила бы его своим лучезарным блеском.

В Кремле, этой дворцовой крепости, обведенной зубчатыми стенами с башнями и стрельцами и окопанной глубокими рвами, которые существовали еще в исходе XVII столетия, высились палаты московских государей, живших в прежнее время в деревянных хоромах. В начале XVI столетия они были разобраны, и на месте их итальянские зодчие выстроили каменный дворец, сохранив, однако, в этой новой постройке все условия старинного русского быта. И в новом здании были избы, горницы, клетки, гридни, передние, палаты, терема, подклеты, чуланы (последнее название носили тогда вообще все жилые покои). Каждая комната в дворцовом здании составляла как бы отдельное помещение, имея свои сени, и соединялась с другими частями жилья крытыми холодными переходами. Нижний этаж, или подклеть, нового дворца, был со сводами, и под ним были устроены погреба и ледники. При дворце были две церкви: одна Благовещения «на сенях», а другая Преображения, среди двора. Дворец этот сгорел 27 июня 1547 года, но был снова выстроен; вскоре он сгорел опять, и его отстроили вновь. В Смутное время он был ограблен и поляками, и русскими. Царь Михаил возобновил его, а сын Михаила, царь Алексей Михайлович, заботливый и распорядительный хозяин, распространил и украсил жилище своего отца. После этого дворец явился жилищем, соответствовавшим для того времени своему назначению, и в особенности славилась в нем Грановитая палата, с историческим перед нею Красным крыльцом, на которое вели три лестницы. Из них одна, расписанная золотом, называлась Золотою. При царе Алексее забралось в Кремлевский дворец немало принадлежностей заморской обстановки: золотые кожи, или обои, и мебель на немецкий и польский образец.

У царя Алексея Михайловича было большое семейство; тесен становился прежний Кремлевский дворец, и царь, по мере приращения своей семьи, пристраивал для нее около дворца

особые, деревянные хоромы. В них до 1685 года жила и Софья Алексеевна, а в этом году она перешла в построенный для нее новый каменный дворец, в котором почти все было устроено на европейский лад. Здесь обыкновенную обивку жилых дворцовых комнат, делавшуюся из холста, загрунтованного красками, заменили персидские и индийские ковры, иностранные обои с изящными рисунками и сукна пестрые, голубые и красные. В оконных рамах причудливого узора были вставлены цветные стекла или разрисованная слюда. Внутри комнат над окнами сделаны были уборы из персидского волнистого бархата, а занавеси — из шелковых тканей, обшитые золотыми кружевами и галунами. Такие же занавеси были в сенях. Они отделяли наружные входы от дверей, ведущих во внутренние покои. Мебель была расписана красками по золоту и серебру, а на столах были доски из мрамора и кипариса с перламутром.

В Москве долго толковали о той роскоши, какую окружила себя царевна-правительница, но особенный говор шел по поводу одного обстоятельства.

— Затеяла царевна Софья Алексеевна отнять бояр у великих государей; видно, совсем хочет войти в царскую власть. Если бы не замышляла этого, так незачем бы ей было заводить в своем дворце новую боярскую палату, — толковали москвичи.

Действительно, в нижнем этаже нового дворца царевны была устроена обширная и великолепная палата, обитая бархатом и назначенная для заседаний боярской думы. Переводя думу в свой дворец, Софья хотела показать, что бояре точно так же должны служить советниками и ей, как служили они в этом качестве государям-самодержцам.

— Уж больно много князь Василий Васильевич силы набрался, — говорил однажды при выходе из этой палаты боярин князь Михаил Алегукович Черкасский, недовольный Голицыным. — Да что с ним поделаешь! Царевне слишком он люб, горою стоит за него. Снова в поход против Крыма собирается, идет затем только, что-бы людей губить, а сам думает славы себе нажить.

— Не мешай ему, пусть отправится снова в поход. Ходил раз, да ни с чем вернулся, а теперь наверно шею себе сломит. Я

и другим боярам толкую: пусть они не только его от похода не отговаривают, а напротив, подбивают. Пойдет он на этот раз на свою погибель, — отвечал боярин князь Иван Григорьевич Куракин.

— Знаешь, князь Михайло Алегукович, не место, кажись, здесь говорить об этом, — заметил, боязливо озираясь кругом, боярин князь Борис Иванович Прозоровский. — Лучше соберемся мы к тебе да в сторонке потолкуем об этом.

Черкасский послушался предостережения Прозоровского и уже не обращался к боярам со своими речами, направленными против Голицына, но, бормоча что-то под нос, уселся в колымагу, зазвав к себе на совещание некоторых бояр, неприязненных царевне и ее любимцу.

Говоря о Голицыне, Черкасский и Куракин вспоминали о неудачном его походе, предпринятом в Крым с осени 1686 года. С трудом двигаясь вперед, вследствие медленного прихода разных людей, Голицын только в конце апреля следующего года проходил лежавшую на пути его степь, когда в воздухе стал проноситься запах едкой гари, а на южной стороне степи начал подниматься дым, захватывая на горизонте все большее и большее пространство, ночью же в том же месте стало показываться зарево. Запах гари, а также дым и зарево усиливались с каждым днем. Ясно было, что в степи начался пожар и что южный ветер нес его прямо на московское войско. Заметно близился этот грозный истребитель туда, где шел Голицын. Пожар рвался по направлению ветра. На захватываемом пожаром пространстве по иссохшей степной траве стелились и быстро ползли вперед черные клубы удушливого дыма, при малейшем ветре над почерневшею степью вставало пламя. Его красные языки поднимались вверх и извивались, точно огненные змеи, пепел кружился в воздухе, словно снег в сильную вьюгу. Будто горящее море, выступившее из берегов, сбирался пожар нахлынуть на войско Голицына.

Измученные походом и истомленные палящим зноем и жаждою ратные люди выбивались из сил и едва дыша-, ли воздухом, раскаленным и пропитанным дымом. Голицын увидел невозможность идти далее и повернул назад, а степной пожар

без устали гнался по пятам за отступавшим войском, грозя истребить его своею неудержимою и разрушительною силою.

Несмотря на неудачу этого похода, Голицын был встречен в Москве правительницею, как победитель, и такая незаслуженная встреча еще более восстановила и озлобила бояр и против него, и против его покровительницы.

— Пускай сходит еще раз в Крым, — говорили теперь они, заслышав о новом походе, замышляемом Голицыным против Крыма, и заранее радовались тем неудачам, которые, как они ожидали, и на этот раз должен был встретить любимец царевны.

— Я знаю, что меня обвиняют в неудаче первого похода на Крым, но мог ли я предугадать, что гетман Самойлович изменит нам со своими казаками и подожжет степь, чтобы погубить московское войско? — говорил Голицын Софье, оправдывая печальный исход своего нашествия на Крым. — Нужно еще раз сходить мне на басурман и одолеть их.

Царевна вздрогнула.

— Ты опять, Василий Васильевич, надолго покинешь меня! А знаешь ведь ты хорошо, как мне тяжела разлука с тобою; без тебя я все оченьки выплакала, чего только не снилось и не думалось мне! — печально проговорила Софья.

— Тяжка и мне разлука с тобою, да тяжело ведь и то, что из-за меня ходит против тебя народный ропот! — сказал твердо Голицын.

— Не со мною тяжело тебе, Васенька, расставаться, грустить ты станешь по жене, — с чувством ревности перебила Софья. — Ведь я знаю, что ты любишь ее больше, чем меня, — добавила с ласковым укором Софья, пристально смотря на Голицына.

— Есть на то апостольская заповедь, царевна, — равнодушно проговорил он.

— Зачем ты женился второй раз? — порывисто сказала Софья.

Голицын сидя подле царевны, молчал, потупив в пол глаза.

— Что же ты ничего не говоришь? Задумался, видно, о своей княгинюшке?

— От жены у нас в Москве всегда легко избавиться, — глухо проговорил он, — пусть идет в монастырь, там ей жить будет лучше, нежели с мужем, если он невзлюбит ее. Я своей почасту говорю об этом.

— Что ж она? — торопливо, с сильным волнением спросила царица.

— Плачет только. Впрочем, что же мне рассказывать об этом! Смутно у меня на душе от таких речей становится. Спроси у Ивана Михайловича, он все тебе расскажет, у меня от него никакой тайности нет!

Лишним было бы царице спрашивать об этом у Милославского, который затеял теперь развести княгиню с мужем. Милославский внушал Голицыну, чтобы он убедил княгиню, рожденную Стрешневу, уйти добровольно в монастырь, и так как в то время пострижение жены освобождало мужа от брачных уз, то Милославский и рассчитывал обвенчать после этого Голицына с царицей. На эту смелую мысль навел его Шакловитый, и он, со свойственною ему беззастенчивостью, высказал об этом предположении Софье. Не доверяла, однако, она вполне Милославскому в том, что Голицын убеждал жену постричься, и решила сама заговорить с ним об этом щекотливом предмете. Пример царицы Пульхерии и полководца Маркиана не выходил из головы Софьи, и как ни тяжело было ей расстаться с князем Василием, но она признавала необходимым доставить ему случай прославиться бранными подвигами и заставить умолкнуть злобную молву о неудаче первого его похода.

Ввиду этого второй крымский поход, под начальством Голицына, был решен правительницею.

К этому времени нелады в царском семействе усиливались все более и более. Порою можно было видеть, как из Москвы выезжали по направлению к селу Преображенскому, отстоявшему в трех верстах от столицы, телеги, наполненные стрельцами. Они останавливались вблизи этого села, и вылезшие из телег человек триста стрельцов притаивались здесь в оврагах и буераках, а наиболее решительных и смелых

из них уводил с собою в село их начальник Шакловитый и располагал гам на кормовом дворе.

— Смотрите, братцы, — говорил он им, — если в царских хоромах начнется крик, то вы будьте готовы, и кого вам дадут, тех и бейте, не разбирая, кто они.

Такие распоряжения Шакловитого, как вблизи Преображенского, так и в самом селе, означали, что вскоре туда приедет царевна Софья для свидания с братом Петром и с мачехою. Редко, впрочем, и неохотно она ездила туда, а принимаемые Шакловитым предосторожности показывали, что царевна, опасаясь насилия, готовилась отразить силу силою.

Покончив с Голицыным вопрос о втором крымском походе, царевна, с обычными предосторожностями, отправилась в Преображенское, чтобы предупредить об этом брата и царицу. Софью считали там немолою гостьей, но царица притворно соблюдала все, даже самые мелочные обычаи тогдашнего радушного гостеприимства. С поклонами и упрашиваниями предлагались царевне и яства, и питья, и лакомства, но царевна отказывалась от всякого угощения, опасаясь отравы, и чем настоятельнее потчевали ее, тем более усиливалась ее подозрительность.

— Как знаешь, Софьюшка, так и делай, ты разумнее нас! На то ты и правишь царством, чтобы указывать другим, а Петруша тебе прекословить не станет, — с поддельным смирением говорила царица Софье в ответ на ее запрос о втором крымском походе под начальством Голицына; Наталья Кирилловна охотно, впрочем, соглашалась на это, разделяя мнение преданных ей бояр, что Голицына ждет новая неудача.

Петруша действительно, по внушению матери, не стал противоречить сестре, да, казалось, он пока и не думал вовсе о делах государственных, усердно занимаясь обучением «потешных» и редко, да и то на короткое время, приезжая в Москву из любимого им подмосковного села.

Вскоре после поездки Софьи в Преображенское стали рассылать по городам из разряда грамоты от имени обоих самодержцев и самодержицы о сборе ратных людей для похода против басурманов.

Накануне выхода войска из Москвы Голицын пришел к царевне, печальный и мрачный. Для царевны такое настроение Голицына было понятно, она приписывала его гнетущему чувству разлуки и тем тревожным думам, которые неизбежно должны были волновать Голицына при отправлении в поход, который мог или доставить ему блестящую славу, или окончательно покрыть его позором. Не ошибалась в своем предположении царевна, но была еще и другая, особая причина его душевного беспокойства. В этот день в дом князя какие-то неизвестные люди принесли наглухо заколоченный ящик, наказав прислуге представить его их боярину.

Голицын велел вскрыть при себе ящик, и когда приподняли крышку, то он в ужасе отшатнулся назад: в ящике был гроб, а в гробе лежала следующая записка:

«Вот что ожидает тебя, если поход твой в Крым будет неудачен».

Мрачное предчувствие и мучительные думы овладели Голицыным при виде такой страшной посылки и сопровождавшей ее угрозы, и напрасно царевна старалась ласками ободрить и рассеять тоску своего друга.

— Я оставляю тебя под охраною Феодора Леонтьевича; он со своими стрельцами обережет тебя до моего возвращения. Доверяйся ему во всем, пиши мне через него, и от него ты будешь получать вести обо мне и мои письма.

Осилив свое волнение, правительница с патриархом к боярами приехала на Девичье поле для провода войск. Болезненно замерло у ней сердце и жгучие слезы подступили к ее глазам, когда грянули барабаны и московская рать, с распущенными белыми знаменами, двинулась в дальний поход, предводительствуемая князем Василием.

XXVIII

Печальные дни начались для царевны, и как обрадовалась она, когда получила первое письмо Голицына, принесенное ей Шакловитым, который уже и прежде был вхож к царевне как начальник Стрелецкого приказа. Засматривалась порою на него царевна. Шакловитый был мужчина представительной наружности, в лице его заметны были признаки южного происхождения: его большие темно-карие глаза смотрели то нежно, то сурово, из-под длинных черных усов виднелись свежие губы с привлекательною улыбкою, а черные, слегка вьющиеся волосы подходили к смуглому цвету его лица. Много, однако, он терял в глазах царевны при сравнении с князем Василием, умное лицо и величаявая осанка которого гораздо более нравились Софье, нежели молодцеватость Шакловитого. Она беспрестанно молилась за Голицына у себя дома, ходила по монастырям служить молебны об его благоденствии.

«Свет мой братец, здравствуй, батюшка мой, на многие лета! — писала ему царевна. — И паки здравствуй! Свет мой, веры не имеется, что ты возвратишься, тогда веру пойму, как увижу в объятиях своих тебя, света моего. Велик бы мне день тот был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Свет очей моих! Мне веры не имеется, сердце мое, чтоб тебя видеть, по всем монастырям сама пеша бродила, чтоб молиться о тебе».

«Радость моя, свет очей моих! Мне не верится, сердце мое, что тебя я увижу. Если бы было возможно, я единым бы днем поставила бы тебя перед собою». Так начиналось другое письмо Софьи, тоже наполненное нежностью и ласками.

В то время, когда царевна так тосковала о князе Василии, поверенный его, Шакловитый, все чаще и чаще стал являться к царевне, то с письмом, то с вестями от Голицына, то с донесением царевне о том, что делается в Москве, или с известием о том, что намерены предпринять противники царевны. Разговоры обо всем этом все более и более сближали его с нею.

— Ты, благородная царица, соизволила бы взглянуть хотя раз на твою стрелецкую войско; хочет оно зреть твои пресветлые очи, — говорил однажды, Шакловитый Софье Алексеевне.

Правительница давно уже приняла на себя все обрядовые обязанности цариц, являясь вместо братьев всюду, где, по заведенному обычаю, требовалось присутствие государя. Она принимала благословение патриарха при празднествах, первенствовала на всех торжествах и председательствовала в боярских собраниях, принимала иностранных посланцев, отпускала войско в поход, а также лично жаловала чины и награды. Предложение Шакловитого понравилось царице. В назначенный день она с большим поездом, окруженная боярами и ближними людьми, отправилась в раззолоченной карете на Девичье поле и там, войдя в разбитый для нее на высоком помосте шатер, смотрела производимые по команде Шакловитого стройные для того времени движения стрелецкой рати.

Смотр кончился. Ловко подскакал к шатру на лихом коне Шакловитый и сразу осадил его перед царицею. Шакловитый был в бархатной ферязи вишневого цвета, обложенной широким золотым кружевом, из-под ферязи виднелась голубая шелковая однорядка. Подскакав к царице с булавою в левой руке, он правою рукою проворно снял с головы бархатную шапочку с большим околышем, султанчиком из белых перьев и большою алмазною пряжкой.

— Что повелишь объявить, великая государыня царица, твоему верному стрелецкому войску? — спросил Шакловитый.

— Объяви ему мое милостивое слово, — величественно проговорила царица, вместе с тем приветливо и страстно взглянув на молодежавшего наездника, который показался ей на этот раз гораздо красивее Голицына.

Тем же торжественным поездом возвратилась царица в свой дворец.

— Оставил меня князь Василий под твою охрану, а ты, Федор Леонтьевич, не всегда находишься у меня под рукою, хотя и часто бываешь мне нужен. Перебрался бы ты на время в хоромы, что стоят позади моих палат, тебе сподручнее будет являться ко мне оттоль, да и дело идет теперь к лету, тебе

можно будет ходить через сад, — равнодушно, как будто передавая обычное приказание, говорила царица Шакловитому на другой день после смотра стрельцов на Девичьем поле.

Шакловитый сделался теперь самым близким к царице человеком.

— Скоро возмужает царь Петр, и скоро не станет царя Ивана. Помяни меня, царица, что младший твой брат будет злейшим твоим врагом. «Медведица», учит его ненавидеть тебя. Нужно было известить ее еще при первом стрельцком восстании, да на беду тебе она уцелела. Изведи ее теперь! — говорил с ожесточением Шакловитый, который, пользуясь отсутствием Голицына, сдерживавшего Софью от решительных и кровавых мер, хотел покончить с царицей Натальей и ее сыном до возвращения князя из Крыма, чтобы быть первым человеком не только при царице лично, но и во всем государстве.

— Страшно, Федор, решиться на это, — возразила Софья.

— Так венчайся сама скорее на царство, тогда будет у тебя власть постричь и царицу, и ее сына, — говорил Шакловитый.

— Отец Сильвестр мне говорит то же самое, — заметила царица.

— А он человек разумный, и советов его слушать можно, — перебил Шакловитый. — Венчайся, царица, скорее на царство, а Сильвестра сделай патриархом. Стрельцы постоят за тебя; все до последнего лягут они, когда будет нужно.

Царица сомнительно покачала головою.

— Подождем князя Василья, когда он вернется со славою из похода, тогда можно будет отважиться на все, — настаивала правительница.

Выражение недовольствия пробежало по лицу Шакловитого.

— И без него сумею я охранить тебя, царица! — самоуверенно и не без наглости сказал Шакловитый. — Я и теперь оберегаю тебя от твоих недругов: не проходит дня, чтобы я не захватывал и не пытал их, не отсекал бы им пальцев и не резал бы языков. Знай, царица, что если бы я не охранял тебя...

— Знаю, знаю твою верность, — заговорила, нахмурясь, Софья, недовольная самохвальством Шакловитого, и при этом в памяти ее ожил Голицын, никогда не раздражавший ее неуместными хвастливыми речами и так обаятельно влиявший на нее своим светлым и спокойным умом.

— Я прикажу Сильвестру посмотреть по звездам, — сказала царевна, — он хороший звездочет, учился у покойного Симеона.

— Звездочет он и вправду хороший. Вот хотя бы мне он пророчит, что женою моею будет та, которой предназначено царствовать, — развязно сказал Шакловитый.

— Безумный и дерзкий холоп! Как ты скоро забылся! Я знаю, к чему ты говоришь это! — вскрикнула с сильным негодованием царевна, грозя Шакловитому пальцем. — Не думай много о себе и знай, что ты служишь мне только на время пустою, забавою!

Шакловитый побледнел и опешил. Неожиданная вспышка Софьи изумила его, так как много думавшему о себе Шакловитому казалось, что правительница была в его власти.

— Благоверная царевна, великая государыня! — несвязно забормотал он. — Далек я от всякого дерзновения перед твоим пресветлейшеством.

Слегка улыбнувшись, взглянула Софья на испугавшегося Шакловитого. Самолюбию ее было приятно, что такой дерзкий и отважный человек, каким слыл Шакловитый, робел и терялся от нескольких гневных ее слов.

— Дурак ты, вот что! — засмеявшись, сказала она. — Ты полагаешь, что ты ровня московской царевне? Как же! Пригож ты, правда, да зато глуп же порядком, а глупых мужчин я не люблю.

— Всепресветлейшая великая государыня! — продолжал бормотать Шакловитый.

Припугнутый царевной, Шакловитый не решался завести снова речь об истреблении мачехи и ее брата Петра, но сам, без ведома ее, замышлял порешить как с ними, так и со всею семьею Нарышкиных. С этою целью он хотел зажечь разом несколько дворов в селе Преображенском, произвести там этим пожаром суматоху, среди которой, как ему казалось, легко было

убить Петра и его мать. Подумывал также Шакловитый и о том, чтобы бросить в Петра ручные гранаты или подложить их под сиденье в его колымагу или одноколку. С своей стороны, и царица Наталья подготовляла и подстрекала своих приверженцев к низложению Софьи и вселяла в своего подраставшего сына непримиримую к ней вражду и беспредельную ненависть.

Царь Петр Алексеевич продолжал в селе Преображенском заниматься со своими «потешными», которых обучал военному ремеслу при помощи иностранцев. Невзлюбили стрельцы этот початок нового царского войска и с презрением обзывали «потешных» конюхами, опасаясь, однако, что новые ратные люди скоро превзойдут их своею выправкою и навыком в военном искусстве, Быстро подрастал и заметно мужал учредитель новой московской рати, и шестнадцати лет от роду он был высокий и стройный юноша, яркий румянец играл на его щеках, густые темно-русые кудри падали на его плечи, умно и смело смотрели его черные глаза, а его *живость* приводила в смущение степенных московских сановников. Все предвещало в Петре, что он выйдет из ряда обыкновенных государей, а противник с большими задатками ума и твердой воли был опасен для правительницы, власть которой могла иметь только временное значение. В сравнении с бодрым, кипучим и впечатлительным Петром старший брат, хилый, болезненный, равнодушный, робкий и почти слепой, был ничтожною личностью, и не только нельзя было царевне Софье полагаться на его защиту и заступничество, но, напротив, надобно было ожидать, что он, под влиянием Петра, станет заодно действовать против своей властолюбивой сестры.

Софья видела, что ей предстоит необходимость начать решительную борьбу с младшим братом, и готовилась к ней, опираясь на стрельцов и поджидая возвращения Голицына из крымского похода.

— Не выдавайте меня царице Наталье Кирилловне и ее сыну, — твердила правительница часто приходившим к ней выборным стрельцам, — зачинает она против меня смуту с братьями.

— Отчего бы тебе и не принять царицу! — отвечали стрельцы, подразумевая под этими словами окончательную расправу с Натальей Кирилловной.

— Жаль мне ее, — отвечала царевна.

— Твоя воля, государыня, что изволишь, то и делай, — говорили стрельцы, готовые и постоять за Софью, и щадить ее врагов, если она сама пожелает того или другого.

— Не о себе пекусь я, боюсь за вас! Переведут они стрельцов своими «потешными», — заботливо добавила Софья, надеясь, что стрельцы и без ее участия догадаются избавить ее от мачехи и царя Петра и тем не особенно потревожат ее совесть.

Запугиваемые царевною стрельцы расходились от нее по домам, унося с собою озлобление против царицы, ее сына и «потешных».

— Хороша была бы вам пожива, если бы вы расправились с боярами, — внушал, в свою очередь, стрельцам их начальник Шакловитый. — Есть что пограбить у них. Отмолили бы потом да раздали часть взятого у бояр по церквам и по монастырям, и отпустил бы вам Господь Бог ваши прегрешения!

Сильвестр Медведев также волновал против царицы и Петра людей богобоязненных.

— Смотрите, — говорил он, — благочестивая царевна постоянно молится, а они, нечестивцы, в Преображенском на органах и скрипичах играют.

8 июля 1689 года Красная площадь была усеяна народом в ожидании, когда, по окончании обедни в Успенском соборе, начнется крестный ход, установленный в память изгнания из Москвы ляхов, а между тем в соборе произошла первая стычка Петра с Софьей.

— Не стать тебе, царевне, ходить по улицам и площадям с народом! — гневно сказал Петр, заставившая дорогу сестре, которая, подняв местный образ и неся его сама, готовилась выйти из церкви, чтобы следовать с крестным ходом.

Презрительно и грозно сдвинув брови, взглянула она на брата.

— Говорю я тебе, не ходи! — с большим гневом повторил Петр.

Такой же взгляд царевны был ответом и на это внушение.

Царь-юноша побледнел от гнева, свирепо посмотрел на сестру, вышел быстро из собора, вскочил на коня и поехал в Преображенское, а правительница, окруженная боярами, пошла с крестным ходом; в толпе же слышалась похвала ее благочестивому усердию.

Еще более разгневался Петр, подстрекаемый матерью, когда спустя одиннадцать дней после первого столкновения с не послушавшею его сестрою правительница выехала к возвращавшемуся из похода Голицыну, для которого она устроила торжественную встречу. Здесь явилась она во всем царственном величии, принимая воевод, спрашивала их, по государскому обычаю, о здоровье и объявила им и всему войску свое милостивое слово.

Поход Голицына, в сущности, кончился не блестящим образом. Со стодвенадцатьютысячным войском он пошел на крымцев в феврале 1689 года. Стужи и снега препятствовали быстрому движению предводительствуемой им рати. Он подходил к Перекопу только в начале мая. Хан собирался зажечь степь. Голицын встретил и отбил его, но опасность не миновала. Как грозная туча, подвигались крымцы на московское войско, которое не находило ни рек, ни колодцев, ни корма для лошадей. Голицын увидел опасность, грозившую ему, и повернул назад. Татары преследовали его, но не упорно, не слишком наседавая на него.

Сторонники царицы Натальи и, разумеется, во главе их царь Петр громко высказывали неудовольствие и против второго похода Голицына.

— Не хочу видеть я ни князя Василия, ни бывших с ним в походе воевод, — гневно говорил молодой царь.

Правительница, однако, настояла на своем. Всем участвовавшим в походе великие государи раздали разные награды, а Голицын, вдобавок к ним, получил и похвальную грамоту.

«Неприятели твоею службою, — сказано было в грамоте, — нечаянно и никогда не слыханно от наших царских ратей в жилищах их поганых поражены, побеждены и прогнаны. Пришли

они в отчаянье и ужас, все посады и деревни пожгли и перед тобой не показались, за то милостиво тебя похваляем».

Пасмурно, однако, выглядывал теперь прежний любимец Софьи. По прибытии в Москву узнал он о многом и увидел, что если Шакловитый и не оттер его окончательно, то все же значительно отдалил его от царевны. Москва искони была усердною сплетницею, и теперь отношения царевны к Голицыну и участие в этих отношениях Шакловитого подали повод к самым разнообразным толкам и пересудам, Рассказывали, между прочим, что князь Василий, встретив, по возвращении из крымского похода, счастливого соперника в Шакловитом, призвал к себе знахаря, которому ведома была тайная сила трав, и, получив от него приворотные коренья, подсыпал их в кушанье царевне «для прилюбления» ее себе. Рассказывали также, что, опасаясь болтливости этого чародея по амурной части, Голицын приказал его сжечь в бане, чтобы не было от него «проносу».

Как бы то ни было, но теперь Голицын стал еще сдержаннее прежнего. Он советовал царевне помедлить некоторое время, не вступать в борьбу с Петром, но пылкий Шакловитый, напротив, торопил царевну, чтобы она поскорее покончила со своими недругами. Все более и более недобрые вести стали доходить до царевны о враждебных против нее намерениях, замышляемых в Преображенском, и вздрогнула Софья, когда царь Петр приказал схватить Шакловитого, хотя отлегло несколько у нее от сердца, когда вскоре после того он без всякого допроса приказал отпустить окольного.

— Видно, заострились когти орленка, — с яростью говорил Шакловитый, — вздумал он взяться за меня, да тотчас же одумался, испугался стрельцов. А кто знает, не станет ли он еще посмелее и не доберется ли до тебя, царевна? — грозил он Софье. — Позволь покончить с ним поскорее.

Наступили темные августовские ночи. Царевна все чаще и чаще стала ходить по ночам на богомолье в разные монастыри. Стрельцы, как стража, сопровождали правительницу в этих благочестивых хождениях, и она пользовалась ими для того, чтобы говорить со стрельцами.

— Долго ли терпеть нам? Уж житья нам не стало от дядьки царя Петра, Бориса Голицына, брата Иванушку ни во, что ставит, меня девкою называют, как будто я не дочь царя Алексея Михайловича; князю Василию Васильевичу голову хотят отрубить, а он добра много сделал. Надобны ли мы вам? Если же нет, то мы пойдем с братом где келью искать.

— Не кручинься, царевна, — отвечали стрельцы на горькие жалобы царевны, — постоим и умрем мы за тебя, а твоим лиходеям тебя не выдадим.

Начались снова волнения между стрельцами, каждый день происходили их шумные сборища у съезжих изб и слышались крики и угрозы. На площадях, на рынках, в банях, в харчевнях пошли разные толки. Одни опасались возмущения стрельцов, другие — нашествия на Москву «потешных». Последнего ожидали царевна и ее приверженцы.

Особенно тревожна была в Москве ночь с 8-го на 9 августа. Вооруженные стрельцы собрались на площади перед Кремлевским дворцом. Среди них мелькала царевна, сопровождаемая Шакловитым. На площади ходил какой-то зловещий гул. Собравшиеся стрельцы ждали только набата или повестки барабаном, чтобы двинуться туда, куда поведет их Шакловитый. Все они толковали о беспощадном истреблении недругов царевны.

Пройдя несколько раз по площади между стрельцами, царевна отправилась во дворец. Она вошла в Крестовую палату и, упав на колени перед образом Спаса, начала усердно молиться. Сзади нее, несколько поодаль, сумрачно стоял Шакловитый. Скрестив на груди руки, он внимательно следил за царевною, с нетерпением ожидая, когда она окончит молитву. В одном углу Крестовой палаты находился Сильвестр. Он был бледен и, творя шепотом молитву, перебирал четки, навешенные на левой руке. По временам доходил в Крестовую палату усиливавшийся на площади шум. Царевна вздрагивала, прекращала молитву и вопросительно взглядывала на Шакловитого, который успокоительно кивал ей головою, и царевна снова принималась молиться.

Софья окончила молитву и, выйдя в сени, бывшие перед Крестовою палатою, села там на лавку, приказав сесть возле себя с одной стороны Сильвестру, а с другой Шакловитому.

— Успокойся, благоверная царевна! Пустые, значит, были слухи; начинает светать, теперь они уже не нападут на нас, — заговорил Сильвестр.

— Да, нынешняя ночь прошла благополучно, — перебил Шакловитый, — а кто скажет тебе, отец Сильвестр, что они не отложили своего замысла до завтра? Позволь, государыня, порешить мне с ними. Я пойду в Преображенское, перебыю всех и приведу к тебе царицу Наталью и царя Петра Алексеевича, а ты уж поступи с ними, как будет на то твое соизволение.

— Боязно отважиться на это, — нерешительно проговорила царевна. — Лучше ждать их прихода в Москву, здесь на нашей стороне будет сила.

— Горше будет, когда... — начал было Сильвестр, но в это время послышался первый удар благовеста к заутрене у одной из дворцовых церквей.

Сильвестр встал с лавки и, сняв с своей лысой головы клобук, начал креститься. Царевна и Шакловитый тоже стали креститься.

— Возблагодарим Господа, — сказал Сильвестр, — что он сподобил нас провести сию ночь без нашествия врагов наших.

— Теперь можно распустить стрельцов, — сказала царевна.

Она вышла из сеней и в сопровождении Шакловитого стала спускаться с лестницы. Истопник Евдокимов нес за нею три больших мешка с серебряными деньгами.

— Вот вам награда за вашу верную службу, — громко сказала царевна стрельцам, выйдя на площадь. — Федор Леонтьевич раздаст вам пожалованные мною деньги.

— Рады мы постоять за тебя, великая государыня! — заговорили стрельцы, получая деньги из рук Шакловитого и уходя после того с площади.

В это время подскочил к Шакловитому ездовой стрелец и, нагнувшись на коне, шепнул что-то на ухо.

Шакловитый задрожал и опрометью кинулся по лестнице, по которой уже поднималась царевна.

— Царь Гетр убежал из Преображенского! — в отчаянье вскрикнул он.

— Куда? — спросила изумленная Софья.

— Никто не знает! Сейчас оттуда прискакал гонец. И расспрошу, а между тем велю ударить сбор.

Наутро вся Москва заговорила, что царь Петр Алексеевич пропал без вести. В городе поднялась страшная суматоха; все ожидали, что он забрался куда-нибудь в сторону и оттуда начнет наступать на Москву со своими «потешными».

— Спасайся, государь! — отчаянно крикнул стольник, вбежавший в полночь в спальню царя Петра Алексеевича. — Стрельцы из Москвы идут на нас.

Царь быстро спрыгнул с постели, опрометью кинулся в конюшню, босой и в одной сорочке вскочил на неоседланного коня и помчался из Преображенского.

Во дворце началась страшная тревога. Боярин князь Борис Алексеевич Голицын, царский дядька, и несколько ближних людей спешно сели на лошадей и понеслись вслед за государем. Заслышав за собою раздавшийся в ночной тишине конский топот, Петр, при мысли о погоне, бил изо всей силы в бока своего лихого скакуна и летел без оглядки.

Едва удалось Голицыну и его спутникам догнать Петра. Они приостановились. Петр наскоро оделся в захваченное для него из дворца платье и снова помчался, опережая всех своих спутников на взмыленном, но не обессиленном еще коне.

В течение пяти часов он без отдыха проскакал шестьдесят верст и в шестом часу утра внесся в ворота Троицкой лавры. Вслед за ним примчался туда же и Голицын. Утомленный Петр не в состоянии был слезть с лошади; его сняли, внесли в келью архимандрита и там положили на постель.

— Защити меня, отец Викентий! — почти бессознательно говорил царь архимандриту. — Сестра Софья хотела убить меня! — и он громко разрыдался, рассказывая о своем неожиданном бегстве из Преображенского.

Преподобный отец Викентий начал преподавать ему, как умел, душеспасительные утешения, подкрепленные текстами Священного писания, и измученный Петр вскоре крепко заснул под однообразный и тихий говор отца архимандрита.

Между тем в лавру с чрезвычайною поспешностью ехала царица Наталья Кирилловна с дочерью и беременною невесткою Евдокией Федоровною. В лавру же торопились «потешные»; туда же из Преображенского везли пушки и

скакали и верхом, и в колымагах бояре и царедворцы, бывшие на стороне Петра.

Оправившись чрез несколько часов от страшного утомления, Петр приказал князю Борису Голицыну заняться укреплением мирной обители и отправил в Москву к царю Ивану запрос: зачем стрельцы собирались ночью в Кремле?

— Государыня царевна намеревалась ночью идти на богомолье в Донской монастырь, и стрельцы были собраны для охраны ее чести и здравия на этом пути, — отвечали из Москвы на запрос, сделанный из лавры.

Софья между тем сильно взволновалась, не зная, как выйти из затруднительного положения. Василий Голицын советовал ей примириться с братом. Шакловитый и Медведев, напротив, подстрекали, чтобы она не уступала, и царевна приняла этот последний совет.

Теперь главною для нее задачею было заставить царя Петра приехать в Москву, и с целью склонить его к этому она отправила в лавру боярина князя Ивана Борисовича Троекурова. В ответ на этот зазыв было повеление Петра, чтобы стрельцы шли к нему в лавру «для великого государственного дела, которое им будет объявлено, когда они по прибытии туда увидят пресветлые очи государя».

— В распрю мою с братом не мешайтесь и в лавру к нему не ходите, — объявила правительница собранным по ее приказанию стрельцам, которым сделалось известно повеление царя. — Если же кто-нибудь из вас осмелится пойти туда, тому велю отрубить голову, — пригрозила царевна, а стрельцы хорошо знали, что угрозою ее нельзя шутить.

Никто из стрельцов не посмел пойти к Петру. Софья ободрилась и склонила царя Ивана, остававшегося в Москве, чтобы он отправил в лавру боярина князя Петра Ивановича Прозоровского уговорить Петра приехать в столицу. В подкрепление этому хотя и весьма почтенному, но не слишком красноречивому послу был дан поп Меркурий. Но и боярин, и поп возвратились оттуда без всякого успеха.

— Поезжай-ка ты, святейший владыка, в лавру, утиши неправедный гнев на меня брата Петра. Склони его прибыть в

Москву и примириться со мною; не нам, единокровным, враждовать между собою, — поручала царица патриарху.

— Исполню веление твое, благоверная царица, — отвечал смиренно Иоаким.

— Да возвращайся сюда поскорее! — добавила она.

«Как же! Так вот я и вернусь! Будто я не знаю, что на мое место ты и Федька Шакловитый прочтете другого, а меня хотите услатить на покой в дальний монастырь!» — подумал бывший себе на уме старик, обрадовавшись удобному случаю выбраться из Москвы.

Патриарх как поехал, так и не возвращался, словно в воду канул.

Неподатливость Петра начала сильно смущать царицу. Пришла из лавры в Москву царская грамота, что «тем из стрельцов, кто не явится в лавру, быть в смертной казни». Таким образом, стрельцы очутились между двух топоров, и потому часть их решила отправиться в лавру.

— Федькина злого умысла мы не знаем, воров и разбойников ловить рады и во всем царскую волю исполним, — объявили пробравшиеся в лавру стрельцы вышедшему к ним Петру.

— Если говорите правду, то приведите ко мне сюда первого вора и разбойника Федьку Шакловитого! — настоятельно объявил Петр и, выбрав самых надежных стрельцов, приказал им отправиться в Москву для поимки Шакловитого.

Разведчики царицы, бывшие в лавре, донесли ей, что Петр ни за что не хочет приехать в Москву и что к нему все более и более собирается ратных людей.

— Поеду я сама в лавру, он не посмеет мне ничего сделать, а я так или иначе сумею поладить с ним, — сказала Софья Голицыну, решившись повести лично переговоры с Петром.

И 31 августа она выехала из Москвы. Царица подъезжала уже к селу Воздвиженскому, когда на дороге перед ее поездом стала вдали подниматься пыль.

— Из лавры к нам навстречу едут, — доложил царице сопровождавший ее стольник.

Царевна приказала остановиться и готовиться к обороне на случай нападения.

Прошло несколько тревожных для царевны минут, и к карете ее подъехал стольник Бутурлин.

— Не ходи, благоверная царевна, в лавру, — доброжелательно предупредил он ее.

— Пойду! — гневно отвечала царевна и, не сказав более ни слова, отвернулась от Бутурлина.

Поезд правительницы тронулся далее. Но при самом въезде в Воздвиженское царевну остановил боярин князь Троекуров, явившийся к ней в сопровождении значительного числа вооруженных ратных людей.

— Имею к тебе, пресветлейшая царевна, царский указ, — почтительно сказал Троекуров, сняв при приближении к правительнице шапку и низко поклонившись ей.

С негодованием вырвала царевна указ из рук боярина.

В указе этом от имени Петра объявлялось, что царевне впуска в лавру не будет и что «в случае дерзновенного ее туда прихода с нею поступлено будет нечестно».

— Скажи царю Петру Алексеевичу, что после такого указа я и сама не хочу к нему ехать. Скажи также ему, что и я выдам указ, чтобы, не пускать его в Москву! — приказывала Троекурову раздраженная царевна, и затем ее поезд направился обратно к столице.

Озлобленною до крайности против своего младшего брата возвратилась назад царевна. Невозможность рассчитывать на поддержку со стороны царя Ивана, который сам прятался в своих хоромах, была очевидна, и это обстоятельство вынудило царевну действовать решительно только от своего лица. Распоряжения ее начались тем, что 1 сентября стрельцы были собраны перед Красным крыльцом.

В сильном смущении вышла к ним царевна и остановилась на последней ступеньке лестницы.

— Вы тому верите, — громким голосом сказала она стрельцам, — что вам из Троицы пишут. Грамоты эти — выдумка злых людей. Зачем хотите вы выдавать добрых и верных моих слуг? Их станут пытать, а они, не стерпя, оговорят многих.

В этот день праздновалось новолетие, а потому, кроме стрельцов, около дворца собралось множество народа, ожидая торжественного выхода правительницы на молебствие. Но теперь царевне было не до внешнего царственного величия: из рук ее хотели исхитить верховную власть, которую она так ревниво охраняла от всяких притязаний со стороны брата Петра.

— Злые люди поссорили меня с братом Петром Алексеевичем, — начала она, обратившись к народу, — они подговорили злодеев разгласить о заговоре против него. Выставили они изменником Федора Леонтьевича Шакловитого только из зависти к его услугам. Брат Петр отверг меня, и я со стыдом возвратилась с дороги. Вам известно, что я более семи лет правила государством, была милостива и щедро награждала; докажите же мне теперь вашу преданность. Злодеи хотят погубить не Шакловитого, а меня; они ищут моей головы и жизни моего родного брата! — Царевна, говоря это народу, громко зарыдала. — Впрочем, если хотите, то вы все до единого можете бежать в лавру, но помните, — добавила она вдруг твердым и грозным голосом, — что здесь останутся ваши жены и дети!

В народе прошел какой-то неопределенный гул в ответ на сетования и угрозы царевны; но что говорили в толпе, разобрать было невозможно. Пристально смотря на толпу, царевна готовилась заговорить снова, если бы среди народа послышался неприязненный отклик. Между тем стоявшие вблизи царевны москвичи принялись низко ей кланяться, бормоча что-то себе под нос. Царевне казалось, что народ хочет взять ее сторону, как вдруг толпа заколыхалась.

— Раздайся! Раздайся! Пропусти! — закричали на площади. — Гонец от Троицы приехал!

Среди расступившейся толпы показался теперь стрелецкий полковник Нечаев. Он подошел к царевне, поклонился ей и встал против нее с непокрытою головою.

— Привез я тебе, пресветлейшая царевна, царский указ. Соизволь допустить меня в твои хоромы, — сказал полковник.

— Можешь ты говорить со мною и здесь, при всем православном народе! — запальчиво возразила царица.

— Указал мне великий государь взять первого вора и изменника Федьку Шакловитого! — проговорил спокойно Нечаев.

— Никакого вора и изменника Федьки Шакловитого нет, а есть в Москве окольный и начальник Стрелецкого приказа Федор Леонтьевич Шакловитый, — гневно перебила Софья.

— Он именно мне и нужен, — равнодушно заметил полковник, — так соизволь, государыня царица, чтобы я забрал его...

— Схватите его! — крикнула в испуге царица, указывая рукою окружающим ее стрельцам на Нечаева. — Сейчас же отрубить ему голову!

Стрельцы бросились на ошеломленного Нечаева, чтобы исполнить приказание царицы. На площади все стихло, все, притаив дыхание, с любопытством смотрели, чем кончится дело. Борьба Нечаева с напавшими на него стрельцами скоро кончилась. Распорядившись стрельцами голова Кузьма Черный тут же на площади хотел отсечь голову полковнику, но не нашлось на месте палача, и потому связанного Нечаева потащили в Стрелецкий приказ, чтобы там немедленно исполнить над ним приговор правительницы. Толпа народа повалила с площади за обреченным на казнь полковником.

Царица возвратилась в хоромы. Шакловитый упал ей в ноги.

— Благодарствую, государыня царица, что защитила меня! Взяли бы они меня на лютые пытки и на страшную казнь, — целуя ноги и руки царицы, говорил он.

— Не посмеет никто тебя тронуть, пока я твоя заступница, — самоуверенно проговорила Софья. — Садись и пиши грамоту ко всем чинам Московского государства!

И она рассказала в общих словах содержание грамоты, или воззвания, которое должен был написать Шакловитый. В нем царица жаловалась, между прочим, Народу на то, что Лев Кириллович Нарышкин и его братья «к ее ручке не ходят и тем государскому ее имени ругаются», что от «потешных» многим

людям чинятся обиды и насилия, что Федор Кириллович Нарышкин «забросал поленьями комнаты царя Ивана и изломал царский венец».

Шакловитый написал начерно воззвание. Царевна перечитывала несколько раз эту бумагу, делая в ней пометки и поправки. На другой день Шакловитый принялся переписывать воззвание начисто, а царевна, в сопровождении отряда стрельцов, отправилась к обедне в Новодевичий монастырь.

Ровно скрипело и прытко ходило по бумаге привычное перо бывшего приказного, когда явился в Москву новый посланец от Троицы. Не имея никаких известий ни от Нечаева, ни о нем самом, Петр отправил в Москву за Шакловитым и Сильвестром другого полковника с настоятельным требованием их выдачи. Новый посланец воспользовался уходом правительницы на богомолье и через боярина князя Прозоровского потребовал у царя Ивана выдачи Шакловитого.

— По мне, пусть забирают кого хотят, лишь бы меня не трогали, — равнодушно проговорил Иван, лежавший, по обыкновению, целый день в постели.

Прозоровский отправился с полковником и прибывшими из Троицы стрельцами в хоромы, которые занимал Шакловитый во дворце царевны. Никто из бывшей при ней стражи не посмел, да и не имел повода задержать боярина.

— Иди, Федор, спешней к великому государю Ивану Алексеевичу, он тебя к себе требует! — равнодушно сказал Прозоровский Шакловитому.

Не подозревая никакой западни в этом призыве, Шакловитый тотчас оставил свою письменную работу и побежал к государю. Но едва он показался на крыльце, как троицкие посланцы напали на него, крепко скрутили по рукам и по ногам веревками, ввалили в телегу и повезли в лавру.

Возвращаясь из монастыря, Софья узнала о захвате Шакловитого, но спасти его не было уже никакой возможности; теперь его быстро мчали по троицко-сергиевской дороге. Гневу и отчаянию царевны не было пределов.

Еще до захвата Шакловитого стрельцы навестили Заиконоспасский монастырь, чтобы схватить Сильвестра

Медведева, но след его уже простыл. Он выбрался из Москвы в село Микулино и, там переодевшись в крестьянское платье, побрел, в виде странника, по смоленской дороге, пробираясь в Польшу.

В то время, когда Шакловитый висел на дыбе в Троицкой лавре и бояре, преданные Петру, допрашивали его под ударами кнута, в селе Медведкове, на реке Яузе, в семи верстах от Москвы, укрывался от гнева Петра князь Василий Васильевич Голицын, не принимавший никакого участия в действиях царевны Софьи со времени неудачной ее поездки к Петру. Голицын, которому в мечтах царевны Софьи приготавлился царский венец, помышлял теперь о побеге в Польшу, но невозможность захватить с собою свои громадные богатства заставляла колебаться и без того не слишком решительного боярина.

С ужасом узнал он, что Петр, хотевший пощадить Шакловитого, приказал, по настоянию патриарха, отрубить ему голову и что такой же казни, и тоже по требованию святейшего владыки, подверглись перед монастырем на московской дороге стрелецкие головы Петров и Чермный и трое рядовых стрельцов, выданные своими подчиненными и своими товарищами. У крыльца царских палат, при многочисленном народе, думный дьяк объявил Голицыну о лишении его самого и его сына чести боярства, отписке их имущества на государя и о ссылке их с женами и детьми в Каргополь.

Софья осталась теперь одинока, и как правительница и как женщина; самые преданные ей и самые любимые ею люди были у нее отняты. Софья поняла, что конец ее власти близится. Противники ее действовали смело и неутомимо.

«Вручен скипетр правления прародительского нашего Российского царства, — писал в Москву из Троицкой лавры царь Петр своему брату Ивану, — двум особам, а о третьей особе, чтобы быть с нами в равенственном правлении, отнюдь не вспоминалось, а как сестра наша, царевна Софья Алексеевна, государством нашим учала владеть свою волею, и в том владении, что явилось особам нашим противное, а народу тягость, о том тебе, государь, известно. А теперь, государь-

братец, настoит время нашим особам Богом врученное нам царствие править самим, понеже мы пришли есьми в меру возраста своего, и третьему, зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужескими особами в титлах и расправе быти не изволяем, на то бы и твоя, государя моего брата, воля склонилась, потому что учала она в дела вступать и в титлах писаться без нашего изволения, к тому же еще и царским венцом для конечной нашей обиды венчаться хотела. Срамно, государь, при нашем возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас. Тебя, государя-брата, яко отца, почитать готов. Писавый в печалех брат ваш Петр здравия желаю и челом бью».

С обычным равнодушием выслушал царь Иван прочтенное ему письмо Петра.

— Пусть братец Петр поступает по своей воле, — пробормотал он, повернувшись на постели с одного бока на другой.

Достаточно было противникам Софьи этих слов. Петр тотчас же приказал исключить имя царевны Софьи из имен царей, и 12 сентября 1689 года она сошла с той высоты, на которую возвел ее смелый ум. Но у нее, как у женщины, оставалась еще добытая ею свобода.

Под Москвою, у Воробьевых гор, по берегам реки Москвы расстилается широкий дол, носивший издавна загадочное название Девичьего поля. В 1524 году, по обету великого князя Василья Васильевича, была построена здесь женская обитель. В этот «обетный» монастырь собралось много инокинь «девичьего чина», и он, в отличие от старого, уже существовавшего в Москве женского монастыря, был назван Новодевичьим. В него вступали только представительницы сильных и знатных московских родов, и бывало так, что на сто двадцать две тамошние монахини приходилось двадцать боярынь, не считая вдов и дочерей других, тоже весьма чиновных людей.

В этот монастырь, в исходе сентября 1689 года, была, по распоряжению Петра, заключена на безысходное житье «за известные подыскательства» царевна Софья Алексеевна. Долго и упорно противилась она такому распоряжению брата, не желая расстаться с привольною жизнью в своих кремлевских палатах. С большим трудом настоял Петр на выезде ее оттуда.

Со времени переселения царевны в Новодевичий монастырь богохранимая обитель приняла воинственный вид. В ней завелись крепкие караулы, зорко, под главным начальством стольника князя Федора Юрьевича Ромодановского, сторожившие невольную отшельницу, которая не унималась и за монастырскою оградю, продолжая по-прежнему именовать себя самодержецею Великия, Малыя и Белья России.

«Не вечно же будет длиться мое заточение, — ободряла себя Софья в минуту страшного отчаяния. — Симеон говорил мне, что, по предсказанию астрологов, век Петра будет недолог. Да и царевна Пульхерия была также заключена братом в монастырь, но потом возвратилась во дворец и правила опять государством со славою до конца своей жизни».

Живя в Новодевичьем монастыре, Софья не могла жаловаться на строгое уединение. Молельщики и молельницы

по-прежнему допускались в монастырь беспрепятственно, а в большие праздники навещали ее тетки и сестры. В монастыре она была окружена своими прежними мамами, постельницами и прислужницами; но скучна и томительна была для Софьи однообразная их беседа; ей нужны были разговоры с разумными и книжными людьми, а не пустая обыденная болтовня баб.

Бездействие всего сильнее угнетало и удручало царевну, привыкшую уже к кипучей и разнообразной государственной деятельности.

Проходил год за годом, и минуло уже пять лет с того времени, как Софья, лишенная власти, въехала в монастырские ворота.

Умерла в это время злейшая ее ненавистница, царица Наталья Кирилловна.

В январе 1696 года умер царь Иван, не посещавший сестры под предлогом болезни.

Среди своего отчуждения Софья отводила порою душу в беседах с сестрами, приезжавшими к ней в монастырь.

— Наш-то Петрушка все на новые выдумки и затеи лезет, свернуть бы ему поскорее шею! — говорила однажды старшая из сестер, царевна Марфа Алексеевна, разделявшая с Софьей непримиримую ненависть к Петру. — Хорошо было бы, если бы стрельцы, а за ними парод поднялись против него и ты бы, сестрица, тогда на свободу вышла. Держит он тебя, злодей, в тяжкой неволе. Толковали прежде, будто все зло от Натальи Кирилловны шло, а теперь и нет ее, а тебе, родная моя, все-таки не полегчало.

— Крепко она научила его нас ненавидеть, весь грех за наши страданья на ее душе! — сказала гневно Софья, с навернувшимися на глазах слезами.

— Господь Бог даст, все твои муки, Софьюшка, скоро кончатся. Стрельцы снова шуметь принимаются, за тебя хотят постоять, все они тебя добром вспоминают, — утешала ее царевна Марфа.

— Бояре против меня, невзлюбили они меня за то, что я им воли не давала, — перебила Софья.

— Да бояре-то не постоят за Петрушку, роптать на него начинают за то, что с иноземцами дружит, а своих, русских, как будто презирает, — перебила Марфа.

— Надобно бы, Марфушка, со стрельцами поближе ставиваться, посылай-ко почаще в их слободы, пусть твои постельницы да другие надежные и толковые бабы со стрельчихами сходятся. Ведь и в прошлые годы я через них стрельцами распоряжалась, — наставляла сестру царевна.

— Исполняю твои советы, сестрица-голубушка. Слышно, что Петрушка в Воронеж ехать собирается, суда там строить хочет, а потом пойти войною на басурман.

— Пропасть бы ему там! — пожелала Софья.

Подобные беседы, в которых слышалась постоянная злоба против Петра и надежды на перемену к лучшему, вела Софья и с другими своими сестрами — Марией, Екатериной и Феодосией. Надежды эти, как казалось царевнам, готовы были осуществиться, когда состоявший в царской службе и пользовавшийся прежде расположением Петра иноземец Цыклер, а из русских Соковнин и Пушкин составили против Петра заговор. Смелый их замысел был, однако, открыт, и их четвертовали: сперва отрубили руки и ноги, а потом и головы; а при производстве о них дела оказалось, что царевна Софья не была чужда замыслов заговорщиков. В 1697 году сходил Петр под Азов и, возвратясь оттуда в Москву победителем, задумал отправиться с великим посольством за границу.

— Смотри за царевною Софьей Алексеевною, да смотри, Федор Юрьевич, хорошенько, чтобы порухи какой не было. Гляди в оба, чтобы она никаких сношений за монастырскою стеною не заводила. Знаю я ее преотменно. И сидя в Новодевичьем, сумеет она наделать много бед. Не пускай к ней никого из чужих, да и за другими царевнами присматривай. Ведь и на них больно много полагаться нельзя. Хитрый народ эти бабы, сумеют они провести хотя кого. Сестрам не позволяй ездить в монастырь во всякое время, как это велось прежде, пусть приезжают только дважды в году: в Светлый праздник и в храмовый, — да разве в случае тяжелой болезни Софьи Алексеевны дозволяй им побывать у нее, но и тогда не оставляй

их без присмотра. Молельщиков, как только служба кончится, а пуще всего баб, тури из монастыря вон, а кого в чем заподозришь, того тут же и хватай.

Особенно не допускай в монастырь певчих: в церкви они поют «спаси от бед рабы твоя», и на паперти денег дают на убийство! — наказывал Петр Ромодановскому при отъезде своем за границу.

— Положись на меня, великий государь, все без тебя по монастырю в порядке будет, — самоуверенно успокаивал Петра будущий князь-кесарь и будущий грозный начальник страшного Преображенского приказа.

Кроме словесных наставлений, царь дал Ромодановскому еще и письменные, пригрозив, разумеется, что плохо ему будет, если он сделает что-нибудь против государевой воли.

Уехал царь в чужие земли, крепко положившись на Ромодановского, и, надобно сказать правду, сторожил Ромодановский царевну усердно, приглядывался и прислушивался он ко всем приходившим в монастырь, расспрашивал и разведывал, хватал тех, которые казались ему подозрительными, и вообще исполнял царские наставления со всевозможною добросовестностью, хотя подчас и становилась ему тяжела его слишком заботливая и беспокойная жизнь.

Сидел однажды Ромодановский у окошка своего жилья, отведенного в монастыре, и поглядывал на монастырский двор. Перед ним то пройдет, еле плетясь, древняя старица с потупленными глазами, бормоча что-то себе под нос, то живо шмыгнет молоденькая беличка, в остроконечной черной шапочке, и стыдливо, будто невзначай, вскинет глазки на здоровенного князя-стольника и плутовато улыбнется.

«Ведь вот поди, — думал Ромодановский, глядя на расхаживавших взад и вперед по монастырскому двору монахинь и беличек, — живи они мирянками, такой бы свободы не имели, ходили бы они под фатою да укрывались бы от мужчин, а тут знай себе разгуливают промеж народа! Выходит, что в монастыре им вольготнее, чем было бы в супружеском или родительском доме. Да и к чему теснить люд Божий? Долга ли вся-то наша жизнь, а пожить-то каждому хочется».

Так думал стольник, не отличавшийся прытким умом, но, как видно, рассуждавший на этот раз очень толково.

В ту пору куренье табаку было не в ходу. По патриаршим и царским указам «чертово зелье» находилось еще под запретом и за попытку курить, или, как тогда говорилось, «пить» его, можно было поплатиться отрезкою носа, а потому стольник, не имея чем бы развлечься, свесившись за окошко, поплевывал вниз да мурлыкал вполголоса какую-то заунывную песню.

— Эй ты, тетка! — вдруг встрепенувшись, крикнул он, завидя шедшую по монастырскому двору карлицу. — Куда ты бредешь?

— К государыне царевне, милостивец! — бойко отвечала карлица, подняв к Ромодановскому свое безобразно-добродушное лицо.

— А от кого?

— От сестрицы ее, царицы Марфы Алексеевны.

— А как зовут тебя?

— Авдотькою, кормилец, Авдотькою.

— А что в узле тащишь?

— Стряпню, государь боярин!

— Ну, иди с Богом, — снисходительно проговорил Ромодановский.

— Да что, светик мой, караульные-то твои не хотят меня пропускать, больно уж теснят! — вздумала жаловаться карлица, ободренная обходительностью царского стража.

— Ничего, тетка, тебе ходить можно, я велю пропускать тебя. — И, свесившись снова за окошко, князь-стольник принялся от скуки за прежнее занятие.

«Пусть себе ходит! Нужно же чем-нибудь и царевне попризаняться! Не все же ей молиться или сидеть сложа руки», — думал Ромодановский.

Действительно, по приказанию царевны Марфы карлица несла Софье Алексеевне стряпню: словом этим означалось в старину, между прочим, и женское рукоделье.

С беспокойством Софья стала перебирать присланную ей от сестры посылку и между «знамениями», или узорами для вышивания, мотками шелка, нитей бисера и бус, кусками

бархата, парчи и атласа нашла письмо от Марфы. Из этого письма она узнала чрезвычайно важные вести, которые дошли до ее сестер от ходивших к ним на «кормки» стрельчих. Кормки бывали у цариц по девяти раз в году, а у царевны Марфы, как и у других ее сестер, по четыре раза. Происходили они во дни поминовения покойных их родителей, и тогда в кремлевские терема набиралось каждый раз всякого бабья не менее двух сотен. Всего более собиралось на эти кормки стрельчих, которые свели близкое знакомство с постельницами царевны Марфы, Анною Клушиной и Анною Жуковой, и через них до Марфы дошли известия о таких событиях, о которых не знали еще бояре-правители, назначенные уехавшим в чужие земли царем ведать и вершить государственные и земские дела. Лицо царевны-узницы просияло радостью, когда из подосланного ей Марфою письма она узнала, что стрельцы, отправленные после азовского похода на литовскую границу, не захотели туда идти, что из них сто семьдесят пять человек убежали в Москву и здесь громко заговорили против царя и против бояр-правителей.

— Житья нам не стало от царя! Сперва он только пристал к немцам, а теперь и сам залетел в их сторону, а между тем мучают нас непосильною службою да никогда не бывальыми прежде «фортециями», а по милости бояр три года мы скитаемся в походах. Такое ли было наше житье при царевне Софье Алексеевне? Нужно опять посадить ее на державство, она нам повольготит.

Узнав об этом из письма сестры, царевна схватила перо и принялась писать:

«Постояли бы стрельцы за меня, а я службу их не забуду. Жаль мне их, бедных, хотят изрубить их всех бояре», — отвечала письменно Софья на извещение Марфы о начавшемся волнении между стрельцами, и карлица понесла этот ответ к своей царевне.

Князь-стольник продолжал смотреть по-прежнему на монастырский двор, и низко поклонилась ему Авдотька, проходя мимо него.

— Приходи, тетка, и в другой раз! — сказал ей почему-то особенно благодушествовавший в этот день Ромодановский. —

Пропускать я тебя уже велел.

— Благодарствуем, кормилец, благодарствуем, — бормотала карлица, спокойно выходя из монастыря, охраняемого у ворот сильною воинскою стражею.

Письмо Софьи тотчас же сделалось известно стрельцам, и они поспешили отправиться из Москвы к своим полкам, остановившимся в Торопце, чтобы мутить их, поручив выборным вести сношения с царевною. Карлица продолжала ходить в монастырь, и через нее обе сестры вели деятельную переписку под самым носом оплошавшего Ромодановского.

Софья как будто ожила. Ей после девятилетнего заточения стали грезиться не в далеком будущем кремлевские палаты и царский венец. Царевна стала теперь деятельно заниматься возбуждением нового стрелецкого мятежа для низвержения ненавистного ей брата. Дело, казалось, шло успешно. За распутицею не было долго никаких известий о царе, подъезжавшем между тем к Вене. Пошел по Москве слух, что царь за границею умер, что бояре хотели задушить царевича Алексея Петровича и до того зазнались, что били по щекам его, царевича, мать, царицу Евдокию Федоровну. В Москве настало опять тревожное время.

Софья между тем смело вела начатое дело.

«Пусть четыре стрелецких полка станут табором на Девичьем поле, — распорядилась она в письме своем к Марфе, — и бьют мне челом идти к Москве против прежнего на державство, а если бы солдаты, которые стоят у монастыря, к Москве отпускать меня не стали, то управиться с ними и побить их, то же сделать и со всеми, кто стал бы противиться».

Стрельцы, в свою очередь, не исполняли присланного им от бояр повеления о походе на литовский рубеж, но самовольно, грозя смертью своим начальникам, двинулись к Москве для выручки из монастыря царевны. Стрельцы пошли на Москву малыми отрядами, и 6 июня 1698 года все четыре полка соединились на реке Двине, но там заколебались: идти ли им далее или нет?

«Чего стали? — писала им туда Софья. — Ныне вам худо, а будет еще хуже. Идите на Москву, про государя ничего не

слышно».

— Грянем на Москву! Умрем друг за друга! Перебьем бояр, а чернь нас не выдаст. Кто не будет с нами, того посадим на копыя, а на державство призовем царевну Софью Алексеевну! Коли царь жив, так не пустим его в Москву, начал он веровать в немцев, принял звериный образ и стал носить собачьи кудри! — кричали бурливо стрельцы, ободряемые Софьею.

Разинули рты и повытарацили от изумления друг перед другом глаза бояре-правители, когда нежданно-негаданно проведали, что не послушавшиеся их повелений стрельцы подходят к Москве. Выслали они против мятежников новые царские полки, при двадцати пяти пушках, под начальством боярина Шеина, дав ему в товарищи иноземца генерала Гордона и воеводу князя Кольцова-Масальского. Приблизившись 18 июня к стрельцам, около Воскресенского монастыря, московские военачальники вступили с ними в переговоры.

— Нечего нам с вами переговариваться! У всех у нас одна душа: ляжем за государыню Софью Алексеевну, да и только! — отвечали стрельцы.

Гордон, принявший, вместо оробевшего Шеина, главное начальство, дал им четверть часа на размышление.

— Эй, вы, батьки! Живее служите молебен о победе и одолении! — прикрикнули стрельцы на своих попов. — Стойте, братцы, что Бог ни даст! — кричали они друг другу, и едва лишь выстроились они в боевой порядок, как над их головами с шипением и свистом пролетели пущенные из царских пушек ядра для острастки.

— Пойдем, братцы, грудью напролом! — гаркнули стрельцы.

Полетели вверх их шапки, и начали они отстреливаться. Вскоре, однако, смешались и попятились назад, а преображенцы и семеновцы дружно ударили на них, кололи и рубили их, а захваченных живьем тащили в тюрьмы Воскресенского монастыря.

Круто принялись бояре расправляться с забранными в полон стрельцами, допрашивали их с пытки и с огня, но ни один из них не выдал Софьи Алексеевны.

— Спроста хотели мы стать табором на Девичьем поле, потому что оттуда слободы наши близки, — отвечали они на все пыточные допросы и молча, творя только крестное знамение, шли на смертную казнь.

Вешали бояре сразу человека по три, по пяти и перевешали, таким образом, семьдесят четыре человека, немилосердно исполосовали кнутом спины у ста сорока стрельцов, а тысячу девятьсот шестьдесят пять, менее виновных, отправили в дальнюю ссылку.

Пробыв уже полтора года за границею и узнав в Вене о возмущении стрельцов, Петр отложил свое дальнейшее путешествие и явился в Москву ранее, чем его ожидали бояре-правители. 25 августа, в шесть часов пополудни, он был в Москве, а на ночь уехал в Преображенское.

На другой день вельможи явились на поклон к государю. Ласково принял их двадцатилетний государь, многих обнимал, целовался с ними, рассказывал им о своем путешествии, а между тем бывшими у него в руках ножницами то одному, то другому отрезывал бороду, вдруг захваченную его державною рукою, освободив от этой операции только Тихона Никитича Стрешнева да князя Михаила Алегуковича Черкасского, первого — в уважение его преданности, а второго — по уважению слишком преклонных его лет. Пошла теперь стрижка бород, а ими в ту пору всего более дорожили и всего более гордились русские люди. Спешно подбирали они с полу остриженные царем бороды и приказывали положить их с ними в гроб, чтобы не предстать на страшном судилище без бороды и хотя про запас иметь ее в руках в день ответа за все прегрешения вольные и невольные. Забыто было теперь, что на соборе, бывшем при царевом прародителе, патриархе Филарете, положили «анафемствовать» за бритье бород, как за обращение лица человеческого, созданного по образу и подобию Божию, в «псовидное безобразие». Забыто было гонение, поднятое отцом государя, царем Алексеем Михайловичем, на бривших бороду, которых он, как отлученных от Церкви, воспретил предавать христианскому погребению. Не обращали внимания и на поучение настоящего патриарха Адриана, который в пастырских своих посланиях поучал, что «брадобритники с одними усами подобны котам и псам».

Обрезывая бороды, царь думал и о том, что не мешает для государственного блага отрезать и головы.

— Бабьих рук дело был последний стрелецкий бунт! Худо вы допрашивали, я допрошу лучше вашего! — гневно крикнул он, выслушав доклад бояр о стрелецком мятеже.

Голова его нервно задрожала, и судорожное подергивание, признак необузданного гнева, появилось на его лице.

Принялся сам царь за допросы. Разосланных прежде боярами стрельцов стали свозить отовсюду в Москву и рассаживать по тамошним монастырям или в крепких оковах, или прикованными на цепи к стенам. Устроили в Преображенском четырнадцать застенков, заскрипели там ремни и веревки, затрещали блоки и послышалось тяжелое шлепанье кнута. С лишком тридцать костров курилось в то время в Преображенском, и носился около них смрадный запах от сжигаемого человеческого тела, так как пытка огнем была теперь в большом ходу.

В день именин бывшей правительницы, 17 сентября 1698 года, начался немилосердный розыск.

— Софью Алексеевну в управление взять себе хотели? По письму ль ее вы ваше злодейское дело затеяли? — допрашивали стрельцов на пытке.

— Шли мы сами к Москве от голоду и скудости, а царевна ни в чем не виновата, — отвечали они.

Один только из них не выдержал пытки, да и то уже с третьего огня.

— Точно, что царевна писала, чтобы мы шли к Москве и, спросясь ее, стали бы табором под Новодевичьим, — пробормотал измученный стрелец Алексеев с растерзанною спиною, изломанными членами и, вдобавок к тому, с боками, поджаренными три раза на медленном огне.

— Подавай сюда баб! От них мы допытаемся, через кого сносилась со стрельцами Софья Алексеевна, — крикнул Петр, узнав о показании Алексеева.

Тотчас же захватили маму царевны Софьи, Марфу Вяземскую, четырех ее постельниц и карлицу Авдотью. Притащили также в застенки разных Любавок, Маринок, Улек, Аринок, Мавруток, Васюков, Танек, и начали раздаваться там женские взвизгиванья, вопль, плач и стоны.

— Вот все ждали бабьего царства, а наступила гибель бабьего рода! — заговорили по Москве, узнав о расправе Петра с женщинами.

— Помилосердитесь, отцы родные! Дайте хотя опаматоваться! — кричали женщины, приходившие, по тогдашнему выражению, «в изумление» от жестоких пыток.

Все сумрачнее становился царь, по мере того как открывалось прямое и деятельное участие Софьи в последнем стрелецком мятеже. Долго он не решался увидеть и допросить виновную сестру.

«Ну, как дрогнет мое сердце, когда я увижу ее?» — думал он и только после долгой борьбы с самим собою решился отправиться в Новодевичий монастырь и там лично допросить царевну.

Молча некоторое время стояли брат и сестра, злобно смотря друг на друга. Царевна тяжело дышала, Петр чувствовал, что голос его замирает от сильного волнения.

— Писала ты то письмо, которое стрельцы от твоего имени получили на Двине? — глухо спросил он.

Софья не отвечала ничего.

— Ты слышишь, о чем я тебя спрашиваю? — грознее прежнего проговорил Петр.

— Такого письма я не посылала, и стрельцы пришли меня звать в правительство не по моему письму, а потому, что я была уже в правительстве, — задыхаясь от гнева и с горделивым воспоминанием о своем прошлом, вымолвила царевна.

— Не хочешь сознаться добровольно, так сознаешься у пытки! — не проговорил, а как будто прорычал царь и, окинув сестру свирепым взглядом, быстро вышел из ее кельи.

— Мучитель ты мой! — взвизгнула Софья, хватаясь в отчаянии руками за волосы. — Бог накажет тебя за твое злодейство!

— Не сознается, — сказал Петр приехавшему с ним вместе в монастырь Гордону и ожидавшему у крыльца государя.

— Казни ее смертью! — посоветовал сумрачно Гордон.

— Нет, Патрикий, казнить ее смертью я не буду, а пусть увидит она, к чему привели ее козни! — говорил царь, садясь на

коня на монастырском дворе, и выехал он из Новодевичьего еще мрачнее, нежели туда приехал.

Еще до поездки Петра к Софье начали ставить виселицы в Белом городе и в стрелецких слободах у съезжих домов. Виселицы устраивались на двух высоких столбах с длинною поперечною перекладиною наверху. В некоторых местах виселицы располагали так, что они составляли равносторонний четырехугольник. 30 сентября начались в Москве казни, которые не только напоминали время Иоанна Грозного, но, пожалуй, и превосходили это время своим беспощадным зверством.

В этот день, рано утром, потянулись из Преображенского к Белому городу, под сильным военным прикрытием, сотни телег. В каждой из них сидели по два стрельца, в саванах, с горящею восковою свечою в руках. За телегами, с отчаянным воплем и воем, бежали жены, матери и дети обреченных на казнь. Ужасный поезд остановился у Покровских ворот, в ожидании приезда государя. Вскоре приехал он туда, в зеленом бархатном кафтане польского покроя, с маленькою шапочною на голове. С ним явились, в качестве приглашенных зрителей, генерал Лефорт, а также множество бояр. Все они были на конях.

— Слушать и стоять смирно! — громко крикнул царь, сделав знак рукою, чтобы замолчали. — Читай приговор! — обратился он к дьяку.

Среди глубокой тишины началось чтение приговора. При этом чтении беспрестанно слышались слова: воры, изменники, клятвопреступники, бунтовщики — названия, которые придавал приговор привезенным на казнь стрельцам. По прочтении приговора дьяк стал вызывать по очереди присужденных к казни.

Безропотно всходили они на лестницы, приставленные к виселицам; палачи накидывали им на шею петли и сталкивали их с подмостков, и вскоре двести шесть человек или уже висели бездыханными трупами, или отходили в вечность в предсмертных корчах. После вешанья началась рубка, и пять стрелецких голов мигом отделились от туловищ.

— Этих сберечь про запас для розысков! — крикнул Петр, когда стали подводить к плахе еще других стрельцов,

приговоренных также к отсечению голов.

В то время, когда на Красной площади вешали стрельцов и рубили им головы, там же нещадно били кнутом других их товарищей, признанных менее виновными. В бессознательном положении снимали их с кобылки и тут же клеймили в левую щеку, рвали ноздри и резали уши и пальцы.

Вопль и стон стоял на этом ужасном месте. С суровым равнодушием разъезжал на коне царь между плахами, виселицами и кобылками, на которых лежали притянутые ремнями стрельцы, а между тем в Преображенском и на Красной площади готовились новые, еще лютейшие казни. В этом селе, на возвышении, которое было занято торговой площадью, стояли ужасные орудия смерти, и здесь, рассказывает очевидец Корб, «благороднейшая десница Москвы отрубила пять мятежных голов». Офицеры Преображенского и Семеновского полков взяли также за топоры. Обезглавленные трупы валялись в крови на площади, и, казалось, с завистью посматривали на них те, которых ожидали колесование и четвертование. Казни продолжались с небольшими перерывами несколько месяцев, и сбылось предсказание Долгорукова о том, что зубцы кремлевских стен будут унижены повешенными на них стрельцами, так как стрельцов вешали теперь и на этих зубцах. Повторялись казни и в Преображенском. Там принимались за работу все: бояре, думные дьяки, палатные и служилые люди, — Они неопытными, дрожащими руками наносили казнимым неверные удары, то рубя их по затылку, то рассекая им спины. Немало досталось тут всем кровавой работы, так как в один прием было отхвачено триста тридцать голов. 28 октября вешали перед церковью св. Троицы расстриженных попов, служивших молебны при наступлении стрельцов на Москву. Сюда явился царский шут в красной однорядке, с надетым поверх ее синим кафтаном с земляным поясом и в такой же шапке с лисьим околышем и в красных сапогах. Живо сбросил он с себя этот обычный шутовской наряд, оделся попом и в этой одежде то накидывал одному из расстриг на шею петлю, то, быстро отбегая от него, рубил голову другому.

Отсюда, по окончании казни, царь поехал на Девичье поле.

Накануне этого дня царевна Софья была заперта одна в келье с тремя окнами, выходившими на поле, и вот около полудня под окнами ее кельи послышался шум и раздался конский топот. С ужасом, смешанным с любопытством, взглянула царевна сквозь железную оконную решетку: по полю двигался длинный ряд телег с посаженными в них стрельцами, и в то же время показался невдалеке скачущий на коне Петр, окруженный близкими к нему людьми.

Задрожав всем телом, царевна забилась в угол кельи, и ей, точно в тяжелом забытии, чудился громкий говор, слышались плач, рыдания, крики, а среди всего этого зловеще звучал в ее ушах повелительный голос Петра... Наконец все стихло. Софья подбежала к окну и в ужасе отшатнулась. Бросилась к другому и к третьему и быстро отскочила от них. Она вскрикнула, рванулась к двери, ударила в нее изо всей силы, но глухо отозвался удар женской руки о крепкую железную дверь, а на ее отчаянный вопль не только никто не поспешил, но даже и не откликнулся. Среди мертвенной тишины на глазах царевны было теперь потрясающее душу зрелище. Перед каждым окном ее кельи, на веревке, привязанной к бревну, укрепленному между зубцами монастырской стены, висел мертвец с посинелым, раздувшимся лицом, высунувшимся языком и выкатившимися глазами. У каждого из них правая рука была протянута к окну кельи, а в руке была вложена бумага — стрелецкая челобитная о вступлении царевны в правительство.

Настала ночь. Поднялся в небе полный месяц и навел свой бледный свет на мертвецов, которые протягивали к царевне окоченелые руки, зазывая ее на державство, а несколько далее на поле виднелось, в белых саванах, еще сто девяносто пять повешенных стрельцов.

Тянулось медленно для царевны время день за днем, а неожиданные пришельцы оставались на прежних местах. Слетавшиеся к ним вороны выклевывали им глаза и рвали саваны, добираясь до мертвечины. Ветер качал трупы, становившиеся с каждым днем отвратительнее, и поотлегло от сердца у Софьи, когда зимний снег запорошил их, истрепались в

кочки бывшие у них в руках челобитные, но стрельцы не отступали ни на шаг от окон царевниной кельи.

Все страшные рассказы о мертвецах беспрестанно приходили на память Софье, и ужас, нагоняемый суеверием, не давал ей покоя. Пробудились в душе царевны терзания совести при мысли, что она была виновата в гибели этих людей.

«Мы пришли к тебе, благоверная царевна, ударить челом и не отойдем от тебя, пока ты не пожалуешь к нам на державство. Мы надеялись на тебя и за тебя пострадали. Умерли мы мучениками, ты не видишь тех язв и ожогов, которыми покрыто все наше тело. Выходи поскорее к нам, великая государыня; давно мы ждем твоего царственного выхода, твоих милостей и наград!»

Петр сказал правду Гордону: он измыслил для своей сестры страшную кару, которая была для нее ужаснее смертной казни.

Вскоре после этого царевна Софья, некогда полновластная правительница государства, обратилась против воли, по принуждению брата, в смиренную инокиню Сусанну, и строже прежнего преображенцы и семеновцы стали сторожить ее в Новодевичьем монастыре.

Сестру свою Марфу отправил Петр в Александровскую слободу, и там, в Успенском монастыре, она была пострижена под именем Маргариты.

Теперь Софье, которой казался тесен и душен терем московской царевны, пришлось в течение многих лет испытывать заточение в Новодевичьем монастыре, сделавшемся ее вечною темницею. Чтобы сторожить хорошенько царевну, Петр поселил в Новодевичьем монастыре, на счет монастырской казны, трех майоров, двух капитанов и четырех поручиков; и все эти штаб- и обер-офицеры принялись хозяйничать во святой обители по-военному, гораздо полновластнее, чем мать-игуменья и разные должностные старицы.

Между тем повешенные и обезглавленные трупы оставались на прежних местах, а на Красной площади стояли столбы, на которых воткнуты были отрубленные головы. В начале февраля 1699 года вывезли из Москвы тысячу

шестьдесят восемь трупов и разложили их грудями на двенадцати больших примосковских дорогах, а зарыли только в половине марта. Стрелецкое войско было уничтожено Петром в июле 1699 года, слободы стрелецкие разорены, а стрельчихи повысланы из Москвы.

Страшно отомстил Петр главному своему ненавистнику, уже умершему боярину Ивану Михайловичу Милославскому. Тринадцать лет лежал он спокойно в могиле, когда Петр приказал вырыть его труп и отвезти в Преображенский приказ. Когда труп откопали, голова у него оказалась цела, но сделалась величиною только в кулак, борода у Милославского выросла в могиле почти до колен, а все тело его было твердо, как камень. Этот безобразный труп от могилы до приказа везли в сопровождении палачей на тележке, в которую запряжены были шесть чуждских свиней. В приказе труп рассекли палачи топорами на мелкие части, и эти куски были зарыты под дыбами во всех застенках.

— Он желал царской крови, так пусть теперь захлебнется иною кровью под дыбами! — сказал Петр, отдавая приказание о заgrabной казни своего врага.

На помосте, внутри соборной церкви Смоленской Божией Матери, находящейся в Новодевичьем монастыре, стоит каменная гробница, в подножие которой вделана следующая надпись: «Лета 1704, июля 3-го, в понедельник, в первом часу дня, скончалась благородная царевна и великая княжна Софья Алексеевна, от рождения 45-ти лет, 9-ти месяцев и 16-ти дней. В соборе во имя Божией Матери погребена 4-го июля».

Перед кончиною она постриглась в схимну и приняла при этом прежнее свое имя — Софья.

Участь лиц, близких царевне, была также печальна.

Сильвестр Медведев не успел пробраться в Польшу, он был схвачен на смоленской дороге и привезен в Москву вскоре после его побега. Его судили «царским» судом, расстригли, назвав опять Симеоном по мирскому его имени, «истязали огнем и бичьми до пролития крови» и обвинили в ереси, чародействе, намерении убить патриарха, в участии в замыслах Шакловитого,

в побеге в Польшу и в наущении народа к мятежу, за что и приговорили к смертной казни.

— Не вели казнить, великий государь, Семена Медведева смертью, а отдай его мне, я обращаю его из еретичества и спасу его душу! — просил Петра патриарх Иоаким.

— Возьми его, святейший владыка, и делай с ним что заблагорассудишь! — отвечал царь на эту просьбу.

«Постой же, — думал со злобным простодушием Иоаким, — ты хотел добраться до моей пестрой ризы и до моего патриаршего жезла, так доберусь же я теперь до тебя. Покажу я тебе, что значит писать еретические книги, как твоя «Манна».

Принялся патриарх обращать бывшего инок Сильвестра из ереси в истинную веру. Отрекся Семен от своих заблуждений, свалив, разумеется, свои вины на дьявола, и тогда его святейшество постановил следующее решение: «Жить Семену Медведеву под началом искуснейшего в писании мужа, не давать ему бумаги и чернил и сдать его в твердое хранило». Таким «хранилом» была назначена Троицко-Сергиева лавра. Менее полутора года прожил там Сильвестр, как обвинили его снова в ереси и чародействе, снова употребили над ним кнут и огонь и затем 11 февраля 1691 года ему, как неисправимому еретику и чародею, отсекали голову.

Долго томился в ссылке князь Василий Васильевич Голицын. Он умер в Пустозерске 13 марта 1714 года.

В 1740 году императрица Анна Ивановна тешила себя и русскую знать свадьбою своего придворного шута с калмычкою, по прозванию Буженинова. Свадьбу эту справляли в «ледяном доме», и женихом калмычки был князь Михайла Алексеевич Голицын, родной внук знаменитого любимца царевны Софьи Алексеевны.

notes

Примечания

По общему свидетельству всех иностранцев, бывших в России в XVI и XVII веках, все русские женщины белили лица и плечи, румянили щеки, в особенности ягодицу, красили волосы, брови, ресницы и даже пускали черную краску в самые глаза в виде особого состава из металлической сажи с гуляфною водкою или розовою водою.

Монисто — шейный убор, золотое ожерелье с золотыми привесками на гайтане (снурке). В старинных лечебниках о корольковом монисте говорится: «Аще который человек на монисте кралки носит, того колдование и иное никакое ведовство не имеет, а как тот человек позанеможет, то кралки красные белети станут, а как поздоровеет тот же человек, так кралки опять станут черны... От тех же кралков дух нечистый бегаёт, понеже кралек крестообразно растёт». Домаш. быт рус. цариц. И. Забелина, М., 1869 г.

23 октября 1681 года велено было всякое палатное строение крыть тесом, по которому насыпать землю и устилать дерном, людям же состоятельным дозволялось крыть дранью на подставках. Далее в этом же указе повелевалось обывателям больших улиц Китая и Белого города строить дома каменные, для чего разрешалось отпускать им кирпич из приказа Большого дворца по указанной цене в долг с рассрочкой уплаты на 10 лет. Мера эта действительно могла бы быть практична и полезна, если бы только возможно было без подарков выходить разрешения из приказа Большого дворца.

4

В то время часы разделялись на дневные, начинавшиеся с восхода солнечного, и ночные — с заката. Следовательно, в конце апреля 13-й час дня соответствует нашему 4-му часу пополудня.

5

Титул, присваиваемый патриархами.

Иван Михайлович Милославский мог считаться самым влиятельным человеком царского двора, так как с 22 мая 1680 г. он управлял Приказом большой Казны, московскою таможеню, номерною и мытною избою, городовыми таможенями и всякими денежными доходами.

7

Бранное прозвище Нарышкиных.

Др. рос. Вивлиоф. XI. 212. Более подробно об этом случае упоминается в польских источниках.

Старинная рукопись. Опыты изучения русских древностей и истории. И. Забелина. Москва, 1872, стр. 150.

До принятия христианской веры в России год считался с весны от первого новолуния по равноденствию. После принятия христианства время стало считаться с сотворения мира и новый год начинался различно: церковный 1 марта, а гражданский 1 сентября. По определению же Московского собора, бывшего при митрополите Феогносте, новый год решено считать как гражданский, так и церковный 1 сентября. Такое исчисление продолжалось до 1700 г., когда Петр Великий указал празднование нового года совершать 1 января и исчисление вести с Рождества Христова.

«Царем, государем и Великим князем Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя, и Белыя России Самодержцам, извещают Московской стрелец, да два человека посадских на воров на изменников, на боярина князя Ивана Хованского, да на сына его князя Андрея. На нынешних неделях призывал он нас к себе в дом девяти человек пехотнаго чина, да пяти человек посадских и говорил, чтобы помогли им достигати царства Московская, и чтобы мы научали свою братью Ваш царский корень извести, и чтоб придти большим собранием извести в город и называть Вас государей еретическими детьми и убить Вас Государей обоих и царицу Наталью Кирилловну, и царевну Софию Алексеевну, и патриарха, и властей, а на одной бы царевне князь Андрей женится, а достальных бы царевен постричь и разослать в дальний монастыри, да бояр побить Одоевских троих, Черкасских двоих, Голицыных троих, Ивана Михайловича Милославского, Шереметьевых двоих и иных многих людей из бояр, которые старой веры не любят, а новую заводят; а как то злое дело учинять, послать смущать во все Московское государство по городам и по деревням, чтобы в городах посадские люди побии воевод и приказных людей, а крестьян научать, чтоб побии бояр своих и людей боярских; а как государство замутится и на Московское бы царство выбрали царем ево князя Ивана, и патриарха, и властей поставит косо изберут наводом, которые б старые книги любили; и целовали нам на том Хованский крест, и мы им в том во всем что то злое дело делать нам вообще крест целовали, а дали они нам по двести рублей человеку и обещалися пред образом, что если они того допустят, пожаловал нас в ближние люди, а стрельцам велел наговаривать; которые будут побиты и тех животы и вотчины продавать, а деньги отдавать им стрельцам на все приказы и мы три человека убоися Бога, не хотя на такое дело дерзнуть извещаем Вам Государем, чтобы Вы Государи, свое здоровья

оберегли. А мы холопы ваши ныне живем в похоронках, а как Ваше государское здравие сохранится и все Бог утишит, тогда мы Вам государем объявимся; а имен нам своих написать невозможно, а примет у нас: у одного на правом плече бородавка черная, у другою на правой ноге поперечь берца рубец, посечено, а третьего объявим мы, потому что у него примет никаких нет».

Церковь эта сохранилась и до настоящего времени.

В этом монастыре помещалась при царе Алексее Михайловиче основанная окольным Федором Михайловичем Ртищевым в 1665 году Славяно-греко-латинская академия, переведенная в 1679 году в Заиконоспасский монастырь.

Преображенское находилось на левом берегу Яузы, за Сокольниками, в 7 верстах от Кремля. В настоящее время — 2-й квартал Покровской части.

Бухвостов числится первым русским солдатом в именах лейб-гвардии Преображенского полка.

Придворный доктор Захар Гулетлу.

Доказательством близких отношений царевны Софьи Алексеевны с князем Василием Голицыным служит сохранившаяся их переписка. Вот одно из этих писем: «Свет мой братец Васенька, здравствуй, батюшка мой, на многие лета и паки здравствуй Божиего и пресвятые Богородицы и твоим разумом и счастием, победив агаряны... и мне, свет мой, веры не имеется, што ты к нам возвратитца тогда веры пойму, как увижу в объятях своих тебя, света моего. А что, свет мой, пишешь, штобы я помолилась, будто я верна, грешная, пред Богом и недостойна, однако же дерзаю надеяться на его благоутробие, аще и грешная. Ей всегда того прошю, штобы света моего в радости видеть. Посем, здравствуй, свет мой, о Христе на веки неищетные».

Официальное уничтожение местничества, то есть сожжение всех прошений о случаях и местах записок, а не самих разрядных книг, как думают многие, совершилось в январе 1628 года, при царе Федоре Алексеевиче, вследствие красноречивого доклада князя Василия Васильевича Голицына, терявшего — надобно отдать полную справедливость бескорыстию князя — от этого уничтожения едва ли не более всех. Впрочем, уничтоженное официально местничество еще береглось в умах бояр, как это видно из спора бояр князя Григ. Афан. Козловского и Ал. Кирилл. Нарышкина, возникшего десять лет спустя после уничтожения местничества.

Почти все наши и иностранные историки Сегюр, Штелин, Галем и другие красноречиво рассказывают очень эффектное происшествие, случившееся с Натальей Кирилловной в Троицком монастыре. Они говорят, что будто, когда царь с матерью укрывались в алтаре одной из церквей Троицкого монастыря, туда ворвалась толпа стрельцов, решившихся убить их, но что будто бы при самом исполнении злодеи остановились, пораженные царственным величием государя.

Подобного случая не было. Происхождение его объясняется увлечением народной фантазии, как вообще в представлениях богатырских типов. Во время первого стрелецкого бунта Петр и Наталья Кирилловна находились в Москве, во время второго бунта, то есть после казни князей Хованских, Петр с Натальей Кирилловной находились в Лавре вместе с Софьей Алексеевной, и стрельцы приходили туда с повинной, наконец в смуте 1689 года стрельцы тоже не могли быть в монастыре, так как об отъезде Петра правительница узнала только спустя несколько часов, а следовательно, стрельцы никак не могли опередить потешных.

Самой употребительной пыткой была у нас дыба или виска, существовавшая еще у римлян для рабов, под названием *equuleus*. В этой пытке допрашиваемому крепко связывали руки назад веревкой, другой конец которой перекидывался через блок, утвержденный к потолку, а к подошвам ног привязывалась горизонтально деревянная доска. Свободным концом веревки, через блок, пыточный поднимался кверху, и в то же время на доску становился палач. При поднятии кости рук хрустели, выходили из суставов и нередко ломались, так как находившийся на доске палач подпрыгиванием усиливал вывихи, кожа лопалась, жилы вытягивались и рвались. Кроме того, по голой спине жертвы наносились удары кнутом до такой степени сильно, что кожа отделялась лоскутьями. Если же пытка производилась с особенным пристрастием, то по спине после ударов трясли зажженным веником. По окончании пытки палач снова вправлял кости, с особенной силой дергая руки несчастного вперед.

21

Это показание хранится в подлинном розыскном деле.

Впоследствии Василий Васильевич, со всем семейством своим, перевезен был из Яренска в Пустозерск, а оттуда в Пинежский волок, где и умер в старости, забытый всеми.

Приказ Посольский, в котором, кроме дипломатических сношений, сосредотачивались дела по управлению Малороссией, слободскими полками, Новгородом, Смоленском, Галичем, Устюгом, Пермью, монастырями, Немецкой слободой, Приказы Судный Владимирский, Челобитный, Иноземный, Рейтарный и Пушкарский, бывшие в заведении Василья Васильевича Голицына, переданы были в управление: Посольский — Льву Кирилловичу Нарышкину, Иноземный, Пушкарский и Рейтарский — к князю Федору Семеновичу Урусову, Владимирский Судный и Челобитный — к князю Михаилу Григорьевичу Ромодановскому, Приказ Стрелецкий Федора Леонтьича Шакловитого поступил в заведывание князя Троекурова, Приказы большой казны и большого прихода, бывшие в заведывании окольничего Алексея Ивановича Ржевского, перешли к боярину князю Петру Ивановичу Прозоровскому и т. д. Только самый главный деятель в перевороте удовольствовался сравнительно незначительной частью: князь Борис Алексеевич Голицын получил в управление один Приказ Казанского дворца.

В дни поминовения по усопшим близким лицам не только в царском доме, но даже у всех сколько-нибудь достаточных семейств строго соблюдался обычай кормить нищих и убогих. Из ведомости о кормке нищих в 207 году видно, что царица Марфа Алексеевна по Федоре Алексеевиче кормила по 300 человек пять раз в году, царевна Татьяна Михайловна — девять раз в год по 220 человек, младшие царевны — четыре раза в год по 200 человек. Угощение состояло в мясоед из студня, языков говяжьих, полотков гусиных, ветчины, кур в каше, из караваев, пирогов с говядиной и с яйцами, в пост из икры армянской, соленой белужины, тешки, снетков, из караваев с рыбой и пирогов с кашей. Кроме яств, угощались и вином, медом цеженным и пивом ячным.

Эти дочери посредственно или непосредственно играли важную роль в русской истории. Кроме них, у Ивана Алексеевича были еще две дочери, но те умерли в младенчестве.

Во всех современных свидетельствах причины заговора Соковнина и Цыклера высказываются неясно, но они видны при внимательном рассмотрении характеров и положений главных виновников. Алексей Соковнин, брат знаменитых раскольниц Морозовой и Урусовой, сам считался ревностным раскольником Капитоновой секты. Поэтому нововведения Петра, сближение его с иноземными еретиками, назначенная поездка царя за границу, а главное, назначение в посылку за границу его двух сыновей не могли не возбудить его к преступлению, которое, по своим убеждениям, он находил святым делом. Что же касается до Цыклера, то этот товарищ Милославского и Хованского считал себя обиженным за открытие замыслов царевны Софьи и Шакловитого ничтожной наградой — званием думного дворянина и Верхотурским воеводством. Притом же Петр, помня его участие в первом стрелецком бунте, постоянно показывал ему пренебрежение и холодность.

По рассказу Матвеева, труп Милославского, по вскрытии гроба, оказался в неестественном состоянии: голова сгнила и уменьшилась до величины кулака, борода выросла и покрывала всю грудь, живот надут, как бы тимпан, руки и ноги в совершенной целости, а покрывавший тело камчатный белый саван только пожелтел в некоторых местах от сырости.

По свидетельству Штелина, стрельцы будто бы действительно подкопались под монастырь к покоям царевны, взломали пол и вывели ее этим ходом, но были захвачены при исполнении и после упорной схватки с караульными солдатами переловлены и потом казнены. Это известие, впрочем, не подтверждается никакими другими свидетельствами и по всей вероятности ложно, как основанное только на слухе о предположениях стрельцов.

Вот содержание этого письма: «В 204 году были они на службе под Азовом, и Азов взят; а они оставлены с жеребья зимовать... И живучи в нем, всякую нужду терпели; и служили по всякой верности, и Азов, и всякие городовые крепости основали вновь, и делали зимою и летом непрестанно. В 205 году велено их отпустить к Москве, и они пушечную и оружейную казну от Азова вверх Доном отвезли до Воронежа, 200 будар, работою своею, не покладывая рук; а шли 10 недель... и голод, и холод, и всякую нужду терпели; а для постоев давано было им на полки дворов малое число, и стояли на дворе человек по сту и по полтора; а на покупку хлеба давано им месячного корму по 10 алтын 4 деньги и того не ставало и на две недели, не только что на месяц, и многие скитались по миру. И переведены на Великие Луки, и стояли недель с 13; и для прокормления многие из них просились по миру, и их не отпускали; а которые ходили, и те, многие, биты батогами, и пришли с Лук в Торопец. А служили все те походы одним подъемом, и от того оскудали и одолжали неоплатно. И из Торопца воеводе (М. Ю. Ромодановскому) велено идти к Москве, а ратных, конных и пеших людей велено распустить по домам; а им велено идти по городам на Белую, на Вязму, на Ржеву — Володимерову, в Дорогобуж и стоять до указа. И воевода пошел к Москве, Новгородский полк вывел, не сказав указа о роспуске; а их велел вывести на разные дороги по полку, и велел у них брать ружье и всякую полковую казну и знамена, и велел конным, обступя их вкруг, рубить. И они, того убоясь, в указные места не пошли; а идут к Москве, чтобы напрасно на умереть, а не для московского разоренья или какого смертного убивства и междуусобия и бунту. А если они на Москве с женами и детьми свидятся хотя малое число, и как позовет какой воинский случай неприятельских людей, а им велят быть на службе, и они со усердием служить рады. А на которых лошадях везли они пушки, свинец, порох и полковые всякие припасы, и те лошади

пристали, а те припасы везут они на себе; а по городам и в селах, и в деревнях подвод под ту казну не бирали и никакого грабительства и обид не чинили. А с сею отповедью послали они для того, чтоб напрасного кровопролития не было.

Из сохранившихся писем царицы Евдокии Федоровны к Петру отчасти можно видеть постепенность охлаждения супружеских отношений. Так, в 1689 году она пишет: «Лапушка мой, здравствуй на множество лет. Да милости у тебя прошу, как ты позволить ли мне к тебе быть... И ты, пожалуй, о том, лапушка мой, отпиши. Засим писавы женишка твоя Дунька челом бьет». А через пять лет в 1694 году в ее письмах проглядывает уже сдержанность: «Предрожайшему моему государю радость царю Петру Алексеевичу». О лапушке и тому подобных прозваниях, в которых невольно выбивается женское чувство, нет и помину.

По свидетельству же Белябужского, застенков было двадцать.

Начальниками застенков были князь Петр Иванович Прозоровский, князь Михаил Алегукович Черкасский, князь Владимир Дмитриевич Долгорукий, князь Иван Борисович Троекуров, князь Борис Алексеевич Голицын, Алексей Семенович Шеин, Тихон Никитич Стрешнев, князь Михаил Григорьевич Ромодановский, князь Юрий Федорович Щербатый, Иван Иванович Головин, князь Петр Лукич Львов, Федор Юрьевич Ромодановский, Никита Моисеевич Зотов и Семен Иванович Языков.

Писем этих не сохранилось, и, по всей вероятности, они были уничтожены преданными стрельцами тотчас же после Воскресенской битвы.

У Натальи Федоровны и Степана Васильевича было три дочери и три сына. Из дочерей старшая, Настасья, была замужем за графом Головиным, вторая, Анна, умерла девушкой и третья, Прасковья, замужем за князем Голицыным. Из сыновей за старшим, Иваном, следовал второй, Абрам, и, наконец, третий, Степан, род. в 1732 году. (Здесь и далее — примечание автора, кроме специально оговоренных случаев).

Как характеристику отношений нельзя отказать в удовольствии привести в извлечении одно из писем Мавры Егоровны Шепелевой к Елизавете Петровне из Киля, с соблюдением орфографии: «Данашу я вашему цесарьскому высочеству, что приехал к нам принц Ордов и принц Август. Матушка цесаревна, как принц Ордов хорош! Истинно я не думала, чтобы он так хорош был, как мы видим; ростом так велик, как Бутурлин, и так тонок, глаза такие, как у вас цветом и так велики, ресницы черные, брови томнарусые, валоси такие, как у Семона Кириловича, бел, немного почернее покойника Бышова и румянец алой всегда в щеках, зуби белии и хараши, губи всегда али и хороши, речь и смех так как у покойника Бышова, асанка походит на асудареву асанку, ноги тонки, потому что молат, 19 лет, воласи свои носит и воласи по паес, руки паходят на Бутурлина. Еще-ш данашу, что у нас в Кили такие дни харошие, как бы летом, и места мух пчели; как в Питербурхи мух много, так у нас впчол, и укусила меня за руку пчела, и я думала, что без руки буду, потаму что распухла и лом великой был три дени. Еще-ш данашу: купила я табакерку, и персона в ней пахожа на ваше высочество, как вы нагие».

В графское достоинство возведен был отец вице-канцлера и обер-гофмаршала при коронации.

По правилам правописания того времени. *(Примеч. ред.)*

Анна Карловна Скавронская, любимая родственница Елизаветы Петровны по матери, была замужем за М. Л. Воронцевым.

Сечение кнутом обыкновенно производилось в то время на спинах или палачей, или кого-нибудь из прохожих, кого схватывали как способного по росту и силе. Этот способ практиковался до семидесятых годов восемнадцатого столетия, когда людей стали заменять или деревянный чурбан, наложенный на козлы, или сани, опрокинутые полозьями вверх.

Подлинные слова Силина.